ДНЕВНИКИ XX ВЕКА

ЭРНСТ ЮНГЕР

Излучения

(февраль 1941–апрель 1945)

Санкт-Петербург
Издательство ВЛАДИМИР ДАЛЬ
2003

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Издав нынешний том сочинений Эрнста Юнгера, издатели серии «Дневники XX века» выполнили свое обещание представить отечественному читателю уникальный памятник художественного творчества и мысли европейской культуры, какими являются, по общей оценке, собрание дневников и созданные на их основе литературные произведения этого замечательного немецкого писателя.»

- Эрнст Юнгер
  - Первый парижский дневник
    - 1941
    - 1942
  - Кавказские заметки
    - 1942
    - 1943
  - Второй парижский дневник
    - 1943
    - 1944
  - Кирххорстские листки
    - 1944
    - 1945
  - Ю. Н. Солонин
  - В. Ноткина
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105

- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149

- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193

- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237

- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281

- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325

- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338

- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30

- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74

- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118

- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162

- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206

- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214

Эрнст Юнгер
Излучения
(февраль 1941 — апрель 1945)

Первый парижский дневник

1941

Сар-Потери, 18 февраля 1941

Прибытие до рассвета на грузовокзал Авен, где меня разбудили, вырвав из глубокого забытья. Видел чудесный сон: я, одновременно ребенок и мужчина, как всегда еду своей старой дорогой в школу из Вунсторфа в Ребург в маленьком вагончике узкоколейки. В Винцларе я выхожу и продолжаю путь пешком по шпалам. Была ночь, так как в стороне отцовского дома светились следы взлетающих в темноту пуль. Но в то же время — и день, слева от меня лежали залитые солнцем поля. На одном из них, покрытом густой зеленью посевов, я вижу ожидающую меня мать, прекрасную молодую женщину. Я сажусь рядом с ней, и, так как я устал, она берется за край пашни, точно за зеленое одеяло, и натягивает его над нами.

Я почувствовал себя счастливым; пока я стоял на холодном погрузочном пути и отдавал распоряжения, это видение долго согревало меня.

Переход до Сар-Потери, устройство на квартиры. Я у двух старых дам, одной из них 82 года, — она видела три войны. Ее ужин, к которому я добавил немного колбасы, был более чем скуден; он состоял, в сущности, из трех картофелин, прикрытых на плите керамической грелкой. Устройство называется угольной тушилкой, блюдо томится в ней без доступа воздуха.

Сар-Потери, 20 февраля 1941

Прошелся вблизи вокзала, на керамической фабрике поинтересовался происхождением земли, давшей этой местности ее звучное имя. Пройдя немного вперед по шпалам, добрался до карьера, выкопанного в буром и удивительно белом песке. Я надеялся найти здесь окаменелости, но не обнаружил их. В заброшенной выработке стояли озерца воды, временами ее, по-видимому, сильно затопляло; на дне ее росли ивы на высоту человеческого роста, ощетинившиеся тонкими корешками; точно мхи пробились они на стволах и ветках, — прекрасный пример того, как каждая часть растения способна произвести другую. Сила жизни нераздельно живет во всей постройке. Мы, люди, уже утратили это искусство, и там, где в наших культурах красуются цветы и листья, никогда уже больше не увидишь корней. Находясь в опасности, мы жертвуем совсем иными, более духовными органами, определяя им роль щупальцев в неведомом, — разумеется, за счет жизни одиночек. На этом

зиждятся все наши современные достижения.

На обратном пути вдруг повалившая снежная крупа осыпала землю. Но в садах я уже заметил орешник и волчник в цвету, их ветви были окутаны цветочным флером, точно мохнатой сиренью, в защищенных местах — кучки подснежников, для которых сейчас, думаю, самое время, особенно после суровой зимы. Их зовут здесь «цветами святого Иосифа», день которого празднуют 19 марта.

Сар-Потери, 21 февраля 1941

Сон под утро: я в маленькой аптеке, где покупаю всякую всячину, затем Рем разбудил меня. Прежде чем открыть глаза, я быстро взглянул на пакет с надписью «Брауншвейгские эластичные прокладки». Иногда происходят всякие странности.

Чтение: «Рене» Юлиуса Лермина; эту книгу дала мне моя хозяйка. Довольно забавно, в стиле «Трех мушкетеров», в ней описывается раскол в партиях в 1815 году. Натыкаешься на места, перерастающие развлекательное чтение, например: «В любом заговорщике всегда обнаружишь какую-нибудь детскую черту». Это суждение я могу подтвердить исходя из собственного опыта.

Сар-Потери, 22 февраля 1941

Утром сквозь дрему размышлял об экзотических книгах. Вроде «Тайн Красного моря» Анри де Монфрея, в ней живут мерцание кораллов, перламутра и тонкий запах моря. Кроме того, книга Мирбо{1} «Сад страданий». Этот сад с дорожками из красного толченого кирпича полон пышной зелени и массы ярких пионов. Все это изобилие растет на бесчисленных трупах кули, создававших сад своим мучительным подневольным трудом, а ныне безымянно гниющих в его земле. Заслуга книги в том, что красоту и ужас мира она показывает поделенными поровну, Как две силы, в своей игре и смешении напоминающие тех выброшенных на берег морских чудовищ, у которых великолепие радужной оболочки прикрывает грозную оснастку их вооружения. В этом глубочайшем взаимопроникновении рая и ада, когда оттенки страсти и страдания сливаются воедино, словно пестрая чаща первобытного леса на далеком острове, судьба готовит духу зрелище неслыханного рода.

Затем о Вагнере. Я увидел его в новом, полном умысла для нашего времени свете. Мне очевидно заблуждение Бодлера, обладающего, впрочем, истинным пониманием древнего и вечного. Мысли о могуществе актерского дара перевоплощения, искусно оживляющего забытые времена и исчезнувшие культуры, так что они обретают голос, подобно мертвецам, когда их

цитируют. Чистое колдовство — ворожить живой кровью у врат подземного мира. Предметы наливаются красками, и самый острый глаз не отличит правду от обмана. Призрак обретает плоть, становится исторической персоной, достигает триумфа и лавров, зеленеющих, как настоящие. Что толку опровергать его, спорить с ним, — он здесь, так как грянул его час. Вот все, в чем он виноват, и, соответственно, не в его персоне дело. Искусство — это оранжерея ушедших времен; расхаживаешь по нему, как по зимнему саду или салону с цветущими пальмами. И его не должно судить, ибо страх перед исчезновением всеобъемлющ, а желание сохранить хотя бы тень — слишком понятно. Но, вопреки всему этому, — Ницше, сражавшийся и павший в ледяных бурях. Таковы образцы, перед которыми наша молодежь стоит, словно Геракл на распутье.

В связи со случаем Ницше — Вагнера вспоминаешь о метеовышках, с которых в зависимости от состояния атмосферы видны различные фигуры погоды. Часть из них, отдаленных, профетически определяя будущее, оставляет нас между тем в неведении относительно сроков его наступления. Другие же, ближние, отвечают здешнему климату, и, хотя дыхание катастрофы уже ощутимо, именно эти, находящиеся вдали от горнего света, определяют нашу уверенность в прогнозе. Но у чародея все это занесено на одну дощечку.

Сен-Мишель, 24 февраля 1941

Прощание с Сар-Потери, прежде всего с моей восьмидесятидвухлетней старой девой; утром у ее постели я высказал ей свою благодарность. Затем на марше — сперва по легкому морозцу, потом под мокрым снегом. Место — нежилое, с множеством разрушенных и покинутых домов; из маленькой речки торчит танк, струи обтекают его. По этому поводу уже существуют мифы; говорят, водитель сам переехал через перила моста, дабы не сделать машину добычей немцев. На дверях домов, в которые вернулись жители, в знак их присутствия прикреплены белые холщовые полоски. Эти люди выглядят еще более голодными и жалкими, чем жители Сар-Потери. Стайки босых замерзших детей жмутся у полевых кухонь. В домах с шумом бегают крысы; кошки глядят из пустых оконных проемов.

Я живу с Ремом у хозяйки, муж которой в плену в Германии. Ей, кажется, к сорока, но она еще вполне приглядна, бодра, гостеприимна и охотно рассказывает о муже, о котором усердно хлопочет. Тем не менее она не кажется мне недоступной, она полна той живости, какую могут придать только свежие и жизнерадостные впечатления. И то и другое одновременно

существует в одном и том же сердце, ибо в сфере духовного нет места расчету, и в ней все не так однозначно, как в мире физического. Соответственно и многие мужчины ведут себя, чего я раньше не мог понять, совсем не так, как Отелло, а умеют, особенно в зрелом браке, прощать.

Сен-Мишель, 27 февраля 1941

Как всегда, под утро самые яркие сны. Я принимаю участие в собрании, развлекающемся передразниванием умерших или забытых политиков. И это не подготовленные роли, а моментальный импульс, когда то один то другой из присутствующих поднимается с места и мимикой и жестами вызывает всеобщее веселье. Так, например, я видел одного крупного осанистого мужчину, он жестикулировал, как Бисмарк, и снискал себе тем самым бурные аплодисменты. Я обратил внимание, что кое-какие совершенно незначительные жесты вызывали особое оживление и смех, — правда, лишь у некоторых. Из этого я заключил, что речь здесь шла о современниках, быть может коллегах, т, е. оставшиеся в живых члены маленьких, ушедших в прошлое кружков бурно аплодировали образам, юмор которых был недоступен никому, кроме них.

На первый взгляд общество это производило впечатление собрания высших государственных чиновников или генералов на покое, какими их иногда видят в клубах, развлекающимися анекдотами или забытыми персоналиями. Здесь, однако, есть еще один нюанс — зрелище человеческой истории, утратившей горечь и вызывающей веселье. Сверкнула черта детскости, нередко удивляющая в старых забытых сановных персонах. Было, конечно, что-то и от plaudite amici,[1] когда в речах присутствовала ирония и самоирония.

Сен-Мишель, 1 марта 1941

Последние два дня значительное потепление, сопровождавшееся то осадками, то сиянием солнца. Под теплым ветром снег сразу растаял; вода поднялась, деревья заиграли красками, предвещающими весну.

О животных: вчера я видел, как большая тимарха ползла под дождем по еще замерзшей земле; судя по очень широким лапкам, это был самец, Появление этих хризомелид связано, по-моему, с ранним приходом теплых дней. Будучи ребенком я обращал на них внимание как на первый признак жизни еще голых ребургских болот. Они — словно голубые искры в свете февральского или мартовского солнца. В Алжире и Марокко я видел более крупные их разновидности уже в декабре, и всякий

раз их появление было связано с ощущением особой грусти, нападавшей на меня в это время и смягчавшейся с появлением зелени на деревьях.

Затем на дороге, ведущей в Хирсон, я чуть не наехал колесами велосипеда на самку тритона, отличающуюся в это время сильно набухшим венериным бугорком, — нежным холмиком, заканчивающим ее подсвеченный тусклой краснотой живот в коричневых пятнах. Я перенес маленькую даму, мягко извивавшуюся в моих пальцах, на влажный луг и тем самым спас ей жизнь. Уже в который раз вид живого существа наполняет меня новой живительной силой.

Сен-Мишель, 7 марта 1941

Вчера с Ремом был у тетки мадам Ришар, куда меня пригласили на обед. Говорили о любви с первого взгляда, или coup de foudre,[2] как о роде любви, которого следует избегать.

Утром изучение местности в окрестностях фермы Ла-Бют. При этом — медитации на тему «миры», об отражениях, для вящей наглядности, в иных пространствах свойственных человеческому миру пропорций. Например, в полированных шарах, где происходящее становится меньше, глубже и отчетливей, а также в дымчатом опале или горном хрустале. Все это могло бы переливаться в одном большом доме, исхоженном от подвала до чердака.

Сен-Мишель, 27 марта 1941

В Шарлевиле свидетелем в военном суде. Использовал случай для покупки книг: романов Жида{2}, разных трудов о Рембо, родившегося там; маленький круг поэтов, как рассказал мне книготорговец, бережет память о нем. На обратном пути прочел в «Si le Grain ne meurt»[3] прекрасное место о калейдоскопе.

Париж, 6 апреля 1941

Суббота и воскресенье в Париже. Вечером в обществе старшего лейтенанта Андуа в таверне «Королева Гусиные лапы», у вокзала Сен-Лазар, затем в «Tabarin». Там ревю с голыми женщинами, перед офицерами и чиновниками оккупационной армии в партере, с пальбой пробок от шампанского. Тела хорошо сложены, но стопы, испорченные обувью, ужасны. Может быть, поэтому пришло в голову: нога — это деградировавшая рука. Зрелища подобного рода бьют по клавишам инстинкта — острота действует безошибочно, пусть даже она всегда одна и та же. И все, что есть петушиного в галльской расе, сразу выступает наружу. Les poules.[4]

Затем в «Монте Кристо» — заведении, где нежатся на мягких низких диванах.

Серебряные бокалы, вазы с фруктами и бутылки сверкают в полутьме, точно в православной часовне; общество ублажают молоденькие девушки, почти все — дети русских эмигрантов, родившиеся уже во Франции, болтающие на множестве языков. Я сидел возле маленького меланхолического существа двадцати лет от роду и, немного захмелев от шампанского, вел с ней беседы о Пушкине, Аксакове, Андрееве, с сыном которого она когда-то дружила.

Сегодня воскресенье, дождь льет непрерывным потоком. Я дважды ходил к церкви Магдалины, ступени которой осыпаны листьями буков. Днем и вечером у Прунье. Город похож на хорошо знакомый запущенный сад, где все же угадываются дорожки и тропинки. Удивителен дух неизменности, какой-то античный, словно искусно заданный неким режиссером свыше. Чужими здесь кажутся только белые указатели для проходящих через город войск — порезы, зияющие на древнем теле этого города.

Сен-Мишель, 12 апреля 1941

Новые планы, новые идеи. «Еще не поздно». Во сне мне явилась прекрасная женщина; она нежно целовала меня в закрытые глаза. Потом какое-то ужасное место, куда я попал, открыв оплетенную колючей проволокой дверь; безобразная старуха, певшая чудовищные песни, повернулась ко мне задом, высоко подняв свои юбки.

За ночь до этого сон: я путешествую по Тибету. Дома, комнаты, мебель ничем особенным не отличались; влияние чужих форм было лишь незначительным. Прошел по домам, не найдя жителей; чувствовалось, однако, что они где-то рядом в соседних помещениях. Сон был зловещим, покуда я, словно некий демон, оставался невидимым. Царские офицеры составили мне компанию, *мы* могли видеть и издалека узнавать друг друга; существовала иерархия видимого.

Сен-Мишель, 13 апреля 1941

Прогулка на Пасху. Коричневые, еще не обработанные поля кажутся голыми, но местами они повиты низкой, чуть заметной сеткой крапивы, ловящей ультрафиолет, в котором как прозрачные видения танцуют насекомые.

Узкие наезженные дороги в поле. Но и у них существуют северный и южный склоны, где растения различаются не только по силе, но и по виду.

Париж, 24 апреля 1941

Рано встал; погрузка в Париж. Полк откомандирован туда в качестве охраны.

Подъемом был прерван один из тех снов, где застывшие, подобно живым картинам, группы людей полны в то же время удивительного напряжения. Глядя на них, сновидец испытывает наслаждение высшего рода: ему внятны душа, желания и страдания каждой фигуры в отдельности, но одновременно он словно со стороны наблюдает составленную из них неподвижную картину. Однако полнота содержания приходит в противоречие с недостатком движения. Энергическая картина в своей застылости вызывает ощущение головокружения, часто приводящее к лунатизму.

Так, я увидел Хозе с высоким врачом и его женой, себя и четверых санитаров в комнате, своей обстановкой напоминающей клинику. Хозе, в припадке ярости вонзивший зубы в шею супруги врача, чтобы заразить ее; не было сомнений, что это намерение ему удалось. Я видел его жертву, уложенную затем на кушетку двумя санитарами, видел раны от укусов, на красных краях которых остался налет гноя. Высокий врач собрался сделать инъекцию уже почти сходящей с ума женщине, и пока он проверял раствор в шприце, взгляд его, серьезный и полный боли, в котором, однако, читалось совершенное владение страстью, упал также на Хозе. Хозе лежал, прижатый кулаками двух санитаров, то ли в забытьи после припадка, то ли торжествуя, что нападение удалось. Я двумя руками охватил его сильную шею тем движением, каким обычно похлопывают коня, оглаживая его бока, но мог бы, однако, и придушить его, если бы по лицу заметил, что он хочет вырваться.

Маленькое помещение, где происходило это безумие, было так залито светом, что я видел всё находившееся в нем, точно текст, который читают в книге. Чудовищность нападения состояла в том, что Хозе, спустя долгие годы тайной связи с женой высокого врача, хотел сочетаться с ней браком через смерть, и в глазах супруга я прочел понимание всей тяжести этого поступка. И все же, чувствуя себя так, точно в него проник яд змеи, он не утратил самообладания, оставшись в сфере врачевания, и только поэтому выходка Хозе стала для него знаком болезни, симптомом бешенства, по отношению к которому исполнение долга врача было достойным ответом. То, что этот благородный человек, обладающий таким огромным запасом воли, остался благожелательным, показалось мне великим и удивительным.

И все же в этом противостоянии я чувствовал, что нахожусь на стороне Хозе. Я похлопывал его по широкому затылку, как добрую лошадь, мчащуюся закусив удила к заветной цели. И хоть я и ощущал, что духовное в нем не выделено, мне он казался похожим на тех древних правителей, которые забирали с собой в загробный мир все то, к чему прикипело их сердце в жизни, — золото, оружие, рабов и женщин. В этом теле, в котором уже поселилась смерть, я ощущал огромную жизненную силу.

Но я был еще и зрителем этой картины, сплетенной из смысла и безумия, и наблюдал все это, как узор на ткани занавеса.

Прощание с Сен-Мишелем; вероятно, мы сюда еще вернемся. В памяти у меня останутся мягкие очертания ив, изгороди из белого шиповника, в прохладной гуще которых виднеются зеленые шары омелы и темные сорочьи гнезда. Сквозь прошлогодние листья пробились чистик и фиалки, зазеленела крапива. Местность волниста, то там то здесь в ее складках прячутся фермы с хлевами и сараями. Точно зеркала выглядывают блестящие шиферные крыши. Мысли при виде этих дворов: старые, ностальгические времена исчезли, однако все еще остались ключи к их воскрешению. А то, что следует, — это ступени, на которых человек все больше утрачивает само представление о добре и истине. И он не знает источников своего несчастья.

Днем в Лаоне; мы подъехали к старому городу. С радостным чувством я снова увидел собор: издалека его башни кажутся особенно мощными. Взгляд разом охватывает все строение, его стрелы и стержни, весь план замысла. Все сооружение будто спокойно поворачивается вокруг своей оси под звон колоколов, предлагая едущему мимо всю полноту калейдоскопических изменений.

В Париж мы приехали очень поздно и прошли по темным и пустынным улицам к форту Венсен, где должна была расположиться часть. К утру после блуждания по улицам занял комнату в отеле «Модерн» у Венсенских ворот. Ранним утром взгляд на большие колонны площади Нации. За ней в дымке — Эйфелева башня. Громада кажется еще больше на фоне окружающего ее города.

Венсен, 27 апреля 1941

Первое воскресенье в Париже. Я уже въехал в квартиру с чудесным видом на донжон крепости. Сильная тоска. Днем в зоопарке Венсена. Жирафы, жующие засохшую акацию, которую они выбирают из кормушки длинными острыми языками. Черный

американский медведь, семейство гепардов, горные козлы с Корсики, красующиеся на уступах огромных скал. Магия их ликов — говорящих, хотя их божественность уже сокрыта от нас.

Венсен, 28 апреля 1941

Прогулка по улицам и переулкам Венсена. Детали: мужчина, узким серпом срезающий траву с откоса дороги рядом с оживленной улицей и уминающий ее в мешке, вероятно для кроликов. В другой руке у него корзиночка, в которую он собирает маленьких улиток, попадающихся ему во время его занятия. В пределах большого города часто встречаешь такие картины экономики по-китайски — вспоминаются травы, растущие в швах кладки стен.

Венсен, 29 апреля 1941

Отель-де-Виль и набережная Сены; изучаю развалы букинистов. Tristitia…[5] Искал выходы; все казались сомнительными. Нотр-Дам с его химерами, в них больше звериного, чем в демонах собора в Лаоне. Эти идолы всеведущие уставились сверху на город мира, так же смотрели они и на империи, сама память о которых исчезла. Память — да, но разве и существование тоже?

У Прунье, рю Дюфо. Маленький зал на втором этаже прохладен и полон веселья, аквамариновый колер предлагает насладиться плодами моря. Круглая церковь поблизости, у ее стены зеленеет фикус. Дальше — Магдалина, церковь как ни странно. Бульвар Капуцинок. Проворная девушка, замеченная мною еще позавчера на площади Этуаль, высокая, с волнистыми волосами. Странное ощущение, когда, проявляя взаимный интерес, двое начинают подыгрывать друг другу. Мы — это те, кто рождает на свет знакомства; каждый новый человек — росток, появляющийся внутри нас. Чужой образ запал в нашу душу; он точно маленькая рана, легкая боль, которую нам суждено пережить. Женщины хорошо понимают этот эффект, постоянно увеличивающийся по мере повторения встреч.

Звонил Шлюмберже{3}, но его, как почти всех моих старых знакомых, нет в Париже.

Ища проход между Новым мостом и мостом Искусств, я вдруг отчетливо ощутил, что запутанность ситуации всегда заключена в нас самих. Отсюда вредным будет применение силы, она разрушила бы самые стены, всю обитель нашего «я», — не в этом путь к свободе. Регулирование времени сокрыто внутри часов. Передвинув стрелку, мы изменим цифры, но не ход событий. Спасаясь бегством, мы несем на себе нашу родную оболочку; и

даже совершая самоубийство, мы не изменяем самим себе. Нам следует расти, хотя бы и сквозь страдания, тогда мир станет более постижимым.

Венсен, 1 мая 1941

Сакре-Кёр. Шевалье де Да Бар[4], совсем молодым подвергнутый страшной казни за то, что не приветствовал духовную процессию. Его историю я недавно прочел у Вольтера. Статуя шевалье у столба пыток установлена здесь в виде масонского алтаря вблизи церкви. Выбор места придает памятнику оттенок диалектики, мешающий проявлению участия к судьбе несчастного. Так и стоит он здесь с поднятым указательным пальцем.

Затем площадь Терн. Подснежники, букетик которых я купил, чтобы отметить день, бывший, пожалуй, и моей виной, когда я встретился с Рене, юной конторщицей из универмага. Подобные знакомства завязываются в этом городе без всякого труда; сразу видно — он основан на месте алтаря Венеры. Это ощущается даже в воде и в самом воздухе. Я это чувствую более остро, так как первые полтора года войны прожил замкнуто в казармах, крестьянских домах и блокгаузах. В долгие периоды аскезы, когда приходится обуздывать самые мысли, мы ощущаем привкус приходящей с годами мудрой веселости.

Обедали, потом в кино; я коснулся ее груди. Жаркая гора льда, весенний холм, в котором таятся мириады ростков жизни, каких-нибудь белых анемонов.

Во время демонстрации новостей зал, во избежание митинга, был освещен. Показывали наши атаки в Африке, Сербии и Греции. Один вид средств уничтожения вызвал крики ужаса. Их автоматизм, скольжение стальной чешуи танков, патронных лент с холодными пулями, разрывающимися затем адским огнем. Кольца, шарниры, смотровые щели, части брони, весь арсенал существующих в жизни форм, затвердевших, как у щитоносцев, черепах, крокодилов и насекомых, их видел еще Иероним Босх.

Изучить: пути, по которым пропаганда переходит в террор. С самого начала говорится о том, о чем хочется забыть. Власть ходит по-кошачьи мягко, действуя хитро и изощренно.

Расстались у Оперы, чтобы, вероятно, никогда больше не увидеться.

Венсен, 3 мая 1941

Площадь Терн, на солнце перед пивной «Лотарингия». В эти мгновения я глотаю воздух, как утопающий. Напротив меня — девушка в красном и синем, в которой соединяются совершенная

красота с большой толикой холодности. Ледяной цветок: кто его растопит, нарушит его форму.

Когда гашу свет, сознание, что восемь-девять часов я пробуду один, делает меня счастливым. Я жажду одиночества, как убежища. Мне становится так же хорошо, когда время от времени я пробуждаюсь, чтобы порадоваться этому одиночеству.

Венсен, 7 мая 1941

Опять на площади Терн перед пивной, привлекающей меня как приятное место. Там я обычно выпиваю чашку чая и уничтожаю прозрачные сэндвичи — почти облатки, посвященные памяти о прошедшем изобилии. Затем через Елисейские поля на рю Дюфо. В ее начале меня всегда радует фикус перед маленькой церковью.

Порфировая скала. В каждом растении и животном тоже есть что-то неповторимое.

Венсен, 10 мая 1941

Ботанический сад. Иудино дерево{5} в пышном цвету. Некоторые цветы высыпали прямо на стволе. Они ярко сияют, точно чаща коралловых веток или гроздья розовых пчел.

Большие черные или янтарного цвета кошки дремлют в окнах лавок. Затем павловнии, еще без листьев, но уже в цвету, стоящие в аллеях или большими группами на площадях. Их нежная фиолетовая вуаль зачаровывает серебристо-серый камень. Аметисты на коже слона.

Венсен, 11 мая 1941

Как обычно, поехал на площадь Терн. Захотелось сойти у Бастилии. Я оказался там как раз на празднике Орлеанской девы, один в униформе среди многотысячной толпы. Но мне доставляло определенное удовольствие разгуливать посреди нее, при этом медитируя, словно я мечтательно бродил с зажженной свечой по пороховому складу. Вечером я узнал, что на площади Согласия были беспорядки.

Венсен, 12 мая 1941

Нас с голыми ногами рассадили вокруг яркого огня, придвинув вплотную к нему, так что я увидел, как кожа сразу покраснела, став пергаментной, и пошла пузырями. Затем нас хлестали бичами, на которых вместо ремней висели связки гадюк. Они вонзали свои зубы в раненую плоть, но после боли от ожога их укусы я ощущал как облегченье.

На каких галерах запали в нас эти картины?

Венсен, 17 мая 1941

Ночью я лежал в темноте, совершенно измученный, пересчитывая секунды. Потом наступило ужасное утро во дворе казармы Венсена. Я был похож на человека с пересохшей глоткой: в перерывах между учениями я жадно впивал глазами пенную свежесть белых зонтиков на крепостном валу. Видя так покойно нежащиеся на солнце цветы, я бесконечно глубоко понимал их наслаждение. Я ощущал их обращенные ко мне речи, такие нежные и утешительные, и каждый раз чувствовал боль из-за того, что ни один их звук не достигает нашего слуха. Нас зовут, но мы не знаем куда.

В полдень пришел полковник с капитаном Хёлем{6}, который должен рисовать мой портрет, он задержится здесь на какое-то время. Вечером я был с ним в окрестности церкви Магдалины, где покупал для Перпетуи[6] {7} подарки. В лавке одного негра; разговоры о кокосовых орехах и белом роме. День был странный, он укрепил меня во мнении, что управление переживаниями — в наших собственных руках; мир лишь предоставляет нам инструментарий. Мы заряжены особого рода силой, лишь потом приходят в движение соответствующие предметы. Так, в нас есть что-то от самцов, и вот являются женщины. Или что-то от детей, и на нас валятся подарки. Когда же мы набожны…

Париж, 20/21 мая 1941

В полдень я со своей ротой принял в отеле «Континенталь» главный пост. До этого — торжественный развод караулов на авеню Ваграм. Я велел при этом выполнить приемы, в которых мы упражнялись весь месяц, а затем прошли парадным маршем мимо могилы Неизвестного солдата и памятника Клемансо{8}, так хорошо предвидевшего все это. Я дружески кивнул ему.

Ночь была беспокойной, временами бурной, так как ко мне привели свыше сорока человек, задержанных патрулями в кабачках и отелях. Речь шла в основном о пьяных или солдатах без увольнительной, прихваченных в «отелях на час»; девочек для радостей, занимавших их там, приводили с ними. После короткого допроса я заносил их имена в книгу дежурств и отправлял затем в маленькие камеры на втором этаже, в которых было устроено множество душевых. Переспавших с девицами предварительно подвергали «обработке». Утром разносили завтрак, и затем всю компанию отводили на суд к дисциплинарному судье, служившему в том же доме. С уловом, привезенным машиной с Монмартра, прибыла восемнадцатилетняя проституточка, она приветствовала нас, стоя

навытяжку, как солдат. Так как крошка вообще была очень забавна и отличалась bon moral,[7] я разрешил ей сидеть и болтать на посту; она мне казалась канарейкой в этом мрачном месте.

Венсен, 24 мая 1941

Утром в отеле «Континенталь», членом коллегии военного суда. Три случая. Сперва водитель, напившийся и опрокинувший своей машиной газовый фонарь. Ему показалось, что «что-то шмыгнуло через улицу». Четыре недели строгого ареста. Спросил, хочет ли он что-нибудь заметить по поводу приговора. — «Ошарашен, что такой мягкий».

Затем второй водитель, попавший в бар с четырьмя морскими унтер-офицерами и оказавший при задержании пассивное сопротивление. При опросе свидетелей один из моряков, пытаясь доказать благонравие своего приятеля, сказал: «Он давно не был на берегу». Он также проводил градации: сильное пьянство — «большой заход», легкое опьянение — «малый заход».

Затем один ефрейтор, как одержимый кинувшийся перед станцией метро Жан Жорес на вереницу прохожих, раздавая своим штыком удары, пока его не задержал патруль. Перенос заседания, так как некоторые пострадавшие не явились, вероятно от страха.

В последнем случае помрачение, в коем находился виновник, отразилось на слушанье дела. Суду пришлось восстанавливать все происшедшее из кусков и обрывков, при этом многое осталось невыясненным. Заслуживала также внимания разница между показаниями французских свидетелей и тем, как их передавала служившая здесь переводчица: видишь человека, выступающего в роли некоего воспринимающего и передающего органа чувств, и понимаешь, сколько теряется на этом пути.

Вечером в «Рице» с графом Подевильсом, которого я сегодня увидел впервые, хотя давно переписываюсь с ним и его женой. Он привел с собой старшего лейтенанта Грюнингера, напомнившего мне персонажей из «Ардингелло».{9} Хёль также был там. Позже ненадолго появился еще начальник Генерального штаба главнокомандующего полковник Шпейдель.{10}

Венсен, 25 мая 1941

«Утренний визит». Два друга в шелковых платьях стоят у стола, разукрашенного перламутром и слоновой костью. Они раскрыли папку с цветными гравюрами и через лорнет разглядывают оттиски. Комната пестра, пышна, затейлива; в особенности бросается в глаза богатая инкрустация стола. Но в

столе этом есть нечто необычное. Присмотревшись, я обнаружил, что под ним таится стоящая на коленях женщина. Тяжелое парчовое платье, слегка припудренное лицо, шляпа с пестрым пером так слились с формой стола, что спрятанная под ним напоминает одну из тех бабочек, что неотличимы от цветов, на которых они отдыхают. И вот теперь я ясно ощущаю ужас, таящийся за веселой пестротой залитой утренним светом комнаты, и читаю загадочную картинку, линии которой отчетливо выявляют этот ужас. Смысл картины скрывался уже в названии, так как речь здесь идет не только о посетителе, но и о посетительнице, его прелестной обожаемой супруге.

Венсен, 26 мая 1941

Днем у Хёля, на шестом этаже дома на рю Монтрей. Втроем мы осушили несколько бокалов: сперва за его модель Мадлен, затем за прекрасную радугу, появившуюся над крышами Венсена, словно двойные ворота счастья.

Разговоры, связанные с профессией девушки, «entraîneuse», удерживающей клиентов в ночном кафе. Красота, конечно, не мешает, но образование, хорошее происхождение и еще, вероятно, доброта, по-видимому, излишни при этом занятии. Но надо кормить больную мать. Как всегда в подобных случаях, охватывает смесь легкомыслия и грусти. Так на украшенном гирляндами из цветов и листьев корабле движутся к пропасти. Инфляция, развращающая эти буржуазные создания, требует большего благоразумия; в конце концов, она является завершением всеобщего оскудения. Деньги скрывают в себе одну из величайших тайн. Когда я кладу на прилавок монету и получаю за это кусок хлеба, в этом отражается не только государственный, но и мировой порядок. Нумизматикой высшего толка было бы исследование, изучающее, как знание отражено в вычеканенных на монетах символах.

Общение с Хёлем действует благотворно, отвлекая меня от тех опасных мыслей, в которые я погружен с начала года. На самом дне бездны я оказался в феврале, когда в течение недели отказывался от пищи и во всех отношениях истощил все, накопленное прежде. Я похож на обитающего в пустыне человека, нечто между демоном и мертвецом. Демон зовет к действию, труп взывает к сочувствию. Как уже не раз случалось в моей жизни, в период кризиса мне на помощь приходит человек искусства. Он один в силах доставить утешение богатством мира.

Париж, 29 мая 1941

К массе всяких мерзостных вещей, угнетавших меня,

добавился еще приказ осуществить надзор за расстрелом одного солдата, приговоренного к смерти за дезертирство. Сначала я хотел сказаться больным, но эта уловка показалась мне слишком дешевой. К тому же я подумал: а может, и к лучшему, что это ты, а не кто-то другой. В самом деле, я мог бы внести в это что-то более человеческое, чем было предусмотрено.

В сущности, это было любопытство особого рода, совершенно неожиданное для меня. Я видел много смертей, но ни одной — в заранее определенное для нее время. Как выглядит событие, грозящее ныне каждому из нас, отбрасывающее тень на все наше существование? Как ведут себя в нем?

Я просмотрел акты, заключавшиеся приговором. Речь шла о ефрейторе, девять месяцев тому назад покинувшем часть, чтобы исчезнуть в городе, где его приютила одна француженка. Он передвигался в основном то в штатском, то в форме морского офицера и даже затеял какие-то дела. Кажется, он постепенно осмелел и не только дал своей возлюбленной повод для ревности, но даже стал ее поколачивать. Она отомстила, донеся на него полиции, передавшей его немецким властям.

Потому и отправился я вчера с судьей в маленький лесок под Робинсоном — предуказанное место. На поляне — ясень, ствол расщеплен предыдущими казнями. Видны две серии выстрелов: вверху — в голову и пониже — в сердце. В древесине, среди порванных тонких волокон растрепанного луба, отдыхают несколько темных навозных мух. Ими вызвано то чувство, с каким я подходил сюда: невозможно уберечь место казни от деталей, напоминающих о живодерне.

К этому леску мы и выехали сегодня. В машине — штабной врач и старший лейтенант, возглавляющий команду. Разговоры во время поездки «как если бы он здесь присутствовал», они отличаются некой особой доверительностью и конфиденциальностью.

Команда уже на поляне. Она образует перед ясенем нечто вроде коридора. Выходит солнце после дождя, сопровождавшего нас по дороге; его капли сверкают на зеленой траве. Мы ждем еще немного, около пяти на узкой лесной дороге появляется частная машина. Осужденный выходит, с ним двое тюремных охранников и священник. После них приезжает еще один грузовик; он привозит могильщиков и гроб, заказанный согласно инструкции: «обычного размера в самом дешевом исполнении».

Человека вводят в коридор; меня охватывает чувство подавленности, вдруг становится трудно дышать. Его ставят перед военным судьей, который находится Рядом со мной: я вижу, что руки осужденного схвачены наручниками за спиной. На нем

серые брюки из добротной материи, серая шелковая рубашка и распахнутый военный китель, наброшенный кем-то ему на плечи. Он держится прямо, хорошо сложен, черты его лица приятны: такие нравятся женщинам.

Зачитывается приговор. Обреченный следит за церемонией с величайше напряженным вниманием, и все же мне показалось, что смысл текста не доходит до него. Широко открытые глаза, большие и неподвижные, впивают в себя окружающих. Все происходящее — будто придаток к ним; полные губы шевелятся, точно он по буквам повторяет текст. Его взгляд падает на меня и на секунду задерживается на моем лице с пронзительным испытующим напряжением. Я вижу, что возбуждение красит его, сообщая ему даже что-то детское.

Крошечная муха вьется у его левой щеки и несколько раз впивается возле уха; он подергивает плечами и трясет головой. Зачитывание длится долю минуты, но мне кажется, что время тянется бесконечно. Медленно и тяжело раскачивается маятник. Затем часовые подводят приговоренного к ясеню; священник сопровождает его. Смертельная тяжесть разливается вокруг. До меня доходит, что следует спросить, не нужна ли ему повязка на глаза. Священник отвечает за него; затем часовые обвязывают его двумя полосами белой ткани. Священник тихо задает ему несколько вопросов; я слышу, как он утвердительно отвечает. Затем он целует маленький серебряный крестик, поданный ему, и врач укрепляет ему на рубашке в области сердца кусок красного картона с игральную карту величиной.

Между тем по знаку старшего лейтенанта стрелки отходят и встают за священником, пока еще закрывающим собой приговоренного. Вот он отступает, последний раз взмахнув перед ним рукой. Следуют команды, и с ними я вновь прихожу в сознание. Мне хочется отвести глаза, но я заставляю себя смотреть туда и ловлю миг, когда на картоне следом за залпом образуются пять маленьких темных отверстий, похожих на капли росы. Человек еще стоит у дерева; его лицо выражает безмерное удивление. Я вижу, как открывается и закрывается его рот, пытаясь вытолкнуть гласные, силясь высказать что-то. Момент замешательства — и снова время тянется бесконечно. Появляется ощущение, что теперь этот человек очень опасен. Наконец, колени его подгибаются. Веревки снимают, смертельная бледность заливает его лицо, словно на него вылили ведро извести. Торопливо подходит врач и объявляет: «Он мертв». Один из двух охранников снимает наручники и обтирает тряпкой кровь с блестящего металла. Труп укладывают в гроб; мне кажется, маленькая муха все еще пляшет над ним в солнечном луче.

Возвращение в новом, еще более сильном приступе депрессии. Штабной врач объясняет мне, что жесты умирающего всего лишь пустые рефлексы. Он не заметил того, что так очевидно в таком ужасном свете явилось мне.

Венсен, 30 мая 1941

Днем в «Рице» с полковником Шпейделем, Грюнингером, Клеменсом Подевильсом. Мысль Грюнингера, моего одаренного читателя и, пожалуй, ученика, что пребывание в Париже для меня — самое лучшее из всего, чем я занимался прежде. Пожалуй, этот город на самом деле таит в себе не только особые дары, но также источники труда и деятельности. В каком-то теперь, быть может, даже более важном смысле он все еще остается хранилищем, символом и цитаделью унаследованных от прошлого жизненной высоты и связующих идей, которых ныне так не хватает нациям. Может, я правильно поступил, использовав возможность обрести здесь почву под ногами. Впрочем, она возникла сама собой, без моего участия.

Вечером меня навестили две сестры, знакомые по квартире в Нуази. Мы болтали втроем. Старшая в разводе с мужем, промотавшем ее приданое; она говорит о его «подвигах» и своем иске с романской деловитостью в выражениях опытного нотариуса. Заметно, что тут нет сложных проблем. Кажется, она одержима враждебностью если не к мужчинам вообще, то по крайней мере к браку, и собирается свою младшую, похожую на амазонку сестру вести в жизни по своему пути. Примечательно здесь заключенное в педагогическую форму эпикурейское содержание.

Венсен, 3 июня 1941

Днем в маленькой кондитерской Ладюре на рю Руаяль я прощаюсь с «амазонкой». Красная кожаная куртка, зеленая сумка на длинном ремешке, родинка над левым уголком рта при улыбке нервно мило вздергивается, при этом обнажается резец. В субботу ей исполнится восемнадцать.

От всего, что раньше обозначалось словом «train» — умения мужчины и его окружения прожигать жизнь, — осталось только общество хорошенькой женщины, и одно оно еще позволяет ощутить это забытое состояние.

Большие города не только делают наслаждение своей специальностью, но и выделяют вещи, вообще-то специфические, в отдельный ряд. Так, в Барселоне мне бросилось в глаза, что есть особые магазины для всяких солений, пирожковые, антикварные, где скупают книжные переплеты XVIII века, и те, в которых

продают русское серебро.

Чтение: Анатоль Франс, «Sur la Pierre Blanche».[8] Мысли очищены от всяких примесей, с математической ясностью выявляя манеру автора. Стиль пропущен сквозь фильтр скепсиса, обретя на этом пути прозрачность дистиллированной воды. Подобная проза читается с удвоенной скоростью — потому уже, что каждое слово стоит на своем логическом месте. В этом ее недостаток и ее достоинство.

Монж, 8 июня 1941

Прощание со своей маленькой квартирой в Венсене. В спальне висит фотография сбежавшего хозяина, который сразу стал мне неприятен. В его чертах было что-то напряженное, что-то подстрекающее: признаки неудовлетворенной души, — это отразилось и на подборе книг его библиотеки. Я часто, особенно вечерами, думал о том, чтобы убрать портрет, и только боязнь изменить что-нибудь в обстановке квартиры удерживала меня от этого. И вдруг мне показалось, что в лице этого незнакомца, не по своей охоте ставшего моим хозяином, я открываю новые черты — будто из-под маски проступило и улыбнулось что-то иное, проблеск согласия, симпатии. Это удивительно — точно в отплату за то, что я вел себя в этой квартире по-человечески, или, может, в ответ на то, что я по собственному желанию проник сквозь поверхностную личину туда, где мы все едины и понятны друг другу: в боли, в таящемся на дне страдании.

Днем 5 июня мы отбываем. Девушки Монтрея и Венсена выстроились шпалерами перед воротами форта, как некогда красотки на проводах войск Александра из Вавилона. Хёль тоже прощался здесь со мной. Все-таки общение с художниками, ведущими свободную, легкую жизнь, всегда сказывалось на мне самым плодотворным образом.

Мы двинулись сквозь Венсенский лес, затем через Нож, Шель, Ле-Пен, Месси, Винант в Монж, где я пробыл с ротой три дня. Название этого места, говорят, происходит от «mons Jupiter».[9] Я живу здесь у некоего господина Патруи и его супруги, людей уже преклонных лет, но еще бодрых и энергичных. Муж — инженер, проводит всю неделю в Париже, где у него свое дело. Жена занята домом, а также большим садом, который обильно приносит им плоды и овощи и орошается семью поливальными устройствами. Болтая о цветах и фруктах, я обнаружил в ней любительницу в лучшем смысле этого слова. Это видно хотя бы из того, что она охотно делает подарки из своего богатейшего урожая, но никогда не продает его. Господин Патруи — каталонец, родившийся в Перпиньяне; мы беседовали о его языке, о котором он сказал, что

из всех существующих языков он ближе всего к латыни.

Чтобы дожить до старости, полагает он, нужно работать; только лентяи умирают рано. Я же считаю: чтобы дожить до старости, нужно оставаться молодым.

Виллер-Котре, 9 июня 1941

Марш по огромным лесам в тумане, под сильным дождем до Виллер-Котре. Там я согрелся у печи в квартире одного врача. Мы разговаривали за столом, и, когда его срочно вызвали, он оставил меня в компании своей дочери. Она, жена хирурга, оказалась человеком, много путешествовавшим и начитанным; мы беседовали о Марокко и Балеарах, затем о Рембо и Малларме, в особенности о первой строфе «Brise Marine».[10] Знание литературы представлено здесь сплоченной группой ее почитателей, неким кружком, тогда как у нас дома это в лучшем случае отдельные индивиды, разобщенные одиночки, обособившиеся к тому же по политическим направлениям. То же самое в отношении живописи; я видел в Париже совсем простых людей, останавливавшихся перед витриной торговцев живописью, и слышал от них дельные суждения о выставленных картинах. Без сомнения, литературная одаренность должна сочетаться с живописной; странно, однако, что у такого музыкального народа, как немецкий, так мало развито чувство пластики.

Суассон, 10 июня 1941

Мы двигались до Суассона, где я ночевал в «Красном Льве». Фасады домов изуродованы осколками снарядов — часто неясно, этой или прошлой войны. Может быть, в памяти картины обеих войн вскоре вообще сольются в одну.

Нувьон-ле-Конт, 11 июня 1941

Трудный марш до Нувьон-ле-Конта. Справа на возвышенности величественные руины Суси-ле-Шато. Обед на стекольной фабрике Сен-Гобэн. Из-за непогоды ели в помещении между горами стеклянных пластинок и брусков, мне бросилась в глаза стерильность этого материала. Несмотря на усталость, я пошел вечером на берег Сэр на «деликатную» охоту — ловлю насекомых. Ее радости похожи на душ, смывающий пыль службы, в них кроется свобода.

Собственно, 12 июня мы провели как дождливый выходной. Писал письма, заполнял дневники, работал. Вечером легкий хмель белого бордо, при этом читал Жионо{11}: «Pour saluer Melville».[11] В таком настроении книги воспринимаются лучше. Мы фантазируем над ними, импровизируем, точно на клавишах

рояля.

Сен-Альги, 13 июня 1941

Марш с боевыми учениями полка в Буа-де-Берюмоне. Только около одиннадцати часов вечера мы добрались до квартир в Сен-Альги. Я сидел там еще час вместе с семьей хозяина у очага за сидром и сыром с хлебом. Мы хорошо поговорили, напоследок хозяйка поставила кофе, подала сахар, стаканчик глинтвейна.

Особенно мне понравился глава дома, мужчина пятидесяти шести лет, сидевший за столом в жилетке, в которой он работал в поле. Я задавал себе вопрос: как в наши дни могло сохраниться такое простое, доброе, обезоруживающее своей детскостью существо? В его лице, прежде всего во взгляде голубых глаз, была не только внутренняя веселость, но и черта какого-то высшего благородства; это был, без сомнения, человек из прошлой жизни. Я особенно почувствовал это, когда он с большой деликатностью задавал мне свои вопросы, вроде: «Vous avez aussi une dame?»,[12] и как заблестели его глаза, когда он обнаружил, что кроме этого я обладаю еще и массой других достоинств!

Сен-Мишель, 14 июня 1941

Еще утром я пил кофе в обществе моих хозяев, и вот мы в Ориньи шагаем на боевые учения. После их обсуждения на нагретом солнцем холме генерал Шёде отвел меня в сторону и сообщил, что меня отзывают в штаб главнокомандующего. Я понял, что Шпейдель позаботился обо мне. Время подобно горячему предмету, температуру которого уменьшить нельзя, но ее можно переносить дольше, если перебрасывать предмет из руки в руку. К тому же мое положение напоминает положение человека, владеющего запасом золотых самородков, но напрасно перерывающего карманы в поисках мелкой монеты, когда ее у него требуют. Нередко, особенно в Дилмиссах и в начале моего пребывания в Париже, попадал я в круговерть обстоятельств, но всегда мне хватало дыхания если не плыть, то хотя бы просто держаться на поверхности. Теперь предстояло то же самое, но формы, в которые все это облекалось, были для меня новыми.

Днем мы снова прибыли в наш старый Сен-Мишель. Мадам Ришар приветствовала меня с трогательной радостью; по ее мнению, время без меня тянулось ужасно медленно. После дойки пришла тетушка со своей корзинкой и спросила, не пришлось ли мне пережить в Париже coup de foudre. Потом мы с Ремом в прежнем домашнем кругу распили бутылку вина.

Чтение писем; среди них одно от Хёля с рю Монтрей, в котором он вспоминает радугу. В письме постскриптум от

Жермены, выражающей надежду, что она еще увидит обоих немецких capitaine, встретившихся ей в поворотный момент ее жизни, Вообще, должен сказать, что парижский период оказался плодотворным еще и Потому, что принес мне массу знакомств. В людских душах еще таятся семена, они смогут вновь дать всходы, когда смягчится непогода и появится солнце.

Хорошие письма от Перпетуи. Вот отрывок одного из них от 10 июня: «Вчера ночью опять странный сон. Вместе с молодым Майером и Ламанном я задержала грабителя, прятавшегося ночью в нашем шкафу, пока ты поднимался по лестнице. При звуке мужских голосов выражение твоего лица стало таким, какое у тебя обычно появляется, если тебе что-то неприятно. Я показала вора, и ты рассмеялся. Затем долго разглядывал меня и сказал; „Напомню тебе одно мое замечание о Гёльдерлине{12}, о его высказывании, что страх, парализующий все чувства, придает лицу человека странный демонизм, но как только лицо от него освобождается, то разглаживается и излучает чудесную веселость. Так же происходит и с тобой, и ты мне нравишься еще больше“».

Я пишу эти строки у стола овальной формы, за которым я уже столько раз читал и работал. Среди писем, дневников и рукописей стоит высокая ваза с розами, срезанными мадам Ришар в саду к Троице. Время от времени с цветов, раскрывшихся полностью, падает темно-красный или бледно-фиолетовый лепесток, так что беспорядок предметов на столе еще увеличивается за счет беспорядка цветочного.

Впрочем, записи обычно лишь на следующий день обретают окончательный вид, но датирую я их не по времени написания, а по событиям. Иногда все же обе даты вторгаются друг в друга, так возникают некоторые неточности перспективы, которым я следую не без удовольствия. С ними происходит то же самое, что я только что сказал о цветах.

Сен-Мишель, 17 июня 1941

В субботу местность у ручья Гландбах, где я впервые в этом году предоставил людям возможность заняться спортом. Сам я занялся ловлей насекомых в чудесной листве на заросшем берегу. Однажды, еще до пребывания в Париже, в одном древесном грибе я нашел красно-коричневую орхезию, теперь я добыл родственный ей вид с оранжевыми пятнами и немного дальше, на ольховом пне, — разновидность эухении. В этот раз мне отчетливо были видны обычно неразличимые стафилиниды. В азарте жизни, отставив задки, они плясали в солнечном свете на свежей корке прибрежного ила, точно черное пламя. В лаковом блеске их хитина узнаёшь, до чего же благороден черный цвет.

Я снова вспомнил свою работу о черном и белом цвете. Мне кажется, чтобы приступить к ней, я должен еще заработать средства.

О том, кто спрашивает неотступно. К одному старому отшельнику пришел однажды юноша и спросил, по какому правилу следует жить. Отшельник ответил:

— Желай достижимого.

Юноша поблагодарил и спросил, не будет ли нескромным попросить еще о напутствии на дорогу. На это отшельник присовокупил к первому совету еще один:

— Желай недостижимого.

Вечером в саду мадам Ришар. Пчела, облетавшая розовый люпин, повисла на нижней губе цветка, заметно склонившегося под ее тяжестью. Тем самым открылось второе, узкое, темно-красное в глубине влагалище, в котором расположились тычинки. Ими пчелы лакомились сбоку, совсем у основания цветка, куда их заманивает цвет.

Затем я долго стоял у лилового ириса с разрезанным на три части венчиком, путь в чашечку которого ведет Через золотистое руно в аметистовую бездну.

О вы, цветы, кто вас выдумал?

Уже поздно в гости приехал на машине Хёль. Так как мой фельдфебель праздновал день рождения, я взял Хёля с собой к унтер-офицерам. Была крепкая попойка; около двух часов ночи мы выпили с ним на брудершафт.

Он привез с рю Монтрей фотоснимок. Лица и крыши удались вполне, но не было радуги, символа взаимной приязни. Мертвая линза не вбирает своеобычного и чудесного.

Сен-Мишель, 18 июня 1941

Во сне я сидел с отцом за обильным столом в конце трапезы в обществе еще нескольких человек. Он был в хорошем настроении и втолковывал нам, в какой мере каждый жест мужчины в разговоре с женщиной имеет эротический смысл. Он обнажил в некотором роде каркас жестикуляции, что казалось довольно циничным, однако впечатление смягчалось его удивительной начитанностью. Так, в связи с жестами, которыми мужчины стремятся засвидетельствовать свою опытность, он упомянул Ювенала.

Прежде чем расстроился круг сидящих за столом, ему протянули кубок, в котором красная земляника ярко светилась на холмике белого льда. Я слышал, как он сделал по этому поводу какое-то замечание, к сожалению, забытое мной; оно было скорее глубокомысленным, чем шутливым.

Париж, 24 июня 1941

В ранний час отбытие в Париж. На рю Ла-Боветт мадам Ришар и ее тетушка, вновь предостерегшая меня от coup de foudre, живо обняли меня.

Снова Лаон с его собором, к которому прикипело мое сердце. В лесу виднеются заросли каштана, обозначающие собой климатическую зону. Вплотную к метрополии — кроны, полные крупной чудесной черешни, которая, созревая, светится коралловым цветом. Они уже переходят границы садоводческого искусства, переливаясь светом драгоценных камней и ожерелий, подобно деревьям, которые Аладдин увидел в волшебной пещере.

Уже три дня мы находимся в состоянии войны с Россией; странно, как мало затрагивает меня эта весть. Вообще, способность воспринимать факты в наше время ограничена, если только не относишься к ним с известной долей безразличия.

Париж, 25 июня 1941

Снова перед «Лотарингией», площадь Терн. Опять встреча с часами, на которых столько раз останавливался мой взгляд.

Когда я, как в понедельник при прощании со своей ротой, стою перед частью, то чувствую, что мне хочется отклониться от оси отряда, — черта, указывающая на склонность к наблюдению, к созерцательности.

Вечером с Циглером у Друана на Буйабес. Я ожидал его на авеню Опера перед магазином ковров, оружия и украшений из Сахары. Среди них — тяжелые серебряные браслеты для рук и ног, снабженные замками и шипами, — украшения, привычные для стран рабов и гаремов.

Затем в «Кафе де ла Пэ». Обсуждение положения, становящегося все более ясным.

Париж, 26 июня 1941

Под утро сон о землетрясении; я видел, как земля поглощала дома. Зрелище ошеломляло, как водная пучина, грозило головокружением, в котором исчезнет и самый разум. Я стал сопротивляться и все же полетел в водоворот уничтожения, точно во вращающуюся шахту. Прыжок был связан с восторгом, сопровождавшим ужас и преодолевшим его, как будто тело растворилось в зловещей атомистической музыке. И точно склоненное знамя, тут же присутствовала печаль.

В «Амбассадоре» продолжение разговора с Циглером о нашем положении. Также о некоем даре провидения, переходящем по наследству в семье его жены. Она видела пожар на цеппелине,

воздушном корабле, за три часа до того, как радио объявило о нем, и т. п. Да, существуют особые источники, питающие наше предвидение; например, она видела Кньеболо лежащим на земле с залитым кровью лицом.

Париж, 27 июня 1941

За столом я шутил с чудесным трехлетним ребенком, сразу пришедшимся мне по сердцу. Мысль: это один из твоих детей, не зачатых и не рожденных.

Вечером с сестрами на Монмартре, кипящем, как кратер. Обе дополняют друг друга, точно сиамские близнецы духовно-телесного рода.

В полусне проникал в дух языка, особенно четко представились мне группы согласных *m — n*, *m — s*, *m — j*, которыми выражаются высота, мужественность и мастерство.

Париж, 5 июля 1941

Морис, с которым я познакомился на площади Анвер, ему 67, духовно активен и оживлен. Всю свою жизнь он занимался тем, что водил богатых англичан, американцев и скандинавов по городу, о котором имеет во всех отношениях основательные познания. Велик его опыт и в подпольной сфере, в пороках богатых и сильных мира сего. Как и у всех, кто прошел эти сферы, лицо его несет печать демонизма. Пока мы обедали с ним на бульваре Рошешуар, он прочел мне доклад о технике эротического сближения. Его глаз почти безошибочно отличает женщин, которым надо платить, — черта низшего порядка. Несмотря на всю его опустошенность, в глубине его есть что-то достойное любви. При этом на меня пахнуло холодом одиночества человека, долгие годы проведшего в квартале этого большого города, предоставленного самому себе.

Париж, 12 июля 1941

Прогулка с мадам Скриттор к площади Тертр напротив старой мэрии. Недалеко от Сакре-Кёр я показал ей коровяк, вылезший из унылой трещины в стене, о котором она сказала, что он расцвел там «стараниями Святого Духа». Разговор о муже, хорошем супруге, но плохом любовнике. В этих случаях женщинам свойственно утешать себя: «Я всегда вела двойную жизнь». Меня удивила такая доверительность; дело, по-видимому, в одиночестве, с каким два человека существуют друг подле друга.

В подобных случаях мужчины живут будто над пропастью, кое-как прикрытой цветами, тогда как на дне ее шипят змеи и

торчат обломки костей. Но почему так? Потому только, что им внушают неуверенность и страх. При совершенном, при божественном взаимопонимании наши близкие спокойно доверяли бы нам свои тайны, как дети.

Мы пообедали в винном погребке на площади Анвер. Я доставил себе удовольствие, расспрашивая свою спутницу о подробностях французской истории, например о геральдическом значении лилий. За соседним столиком сидела супружеская пара, явно люди «тонкого образования», как выразился китаец; они проявляли беспокойный, все растущий интерес к нашему разговору. Пару раз муж с трудом удерживал свою супругу, желающую вмешаться в процесс моего просвещения.

Париж, 14 июля 1941

День Бастилии. Оживленные улицы. Когда я шел вечером по площади Терн, почувствовал вдруг, как кто-то тронул меня за руку. Человек со скрипкой под мышкой крепко на ходу пожал мне руку, молча, но тепло. Эта встреча приободрила меня и поправила мое довольно грустное настроение.

Город подобен подруге; его улицы и площади полны сюрпризов. Особенно нравятся мне парочки, идущие обнявшись, время от времени тянущиеся в поцелуе друг к другу.

Париж, 19 июля 1941

Днем со Шпейделем на «блошином» рынке, в водовороте которого я бродил несколько часов, чувствуя себя, как в сказке «Аладдин и волшебная лампа». Место, где совершенно чудесным образом смешались Восток и Запад.

Впечатление сказочности усиливается тем, что сокровища металлов, камней, картин, тканей, древностей расположились средь уличной толчеи. В дешевых лавках находишь подлинные чудеса, среди наваленного хлама — драгоценные вещи.

Здесь — перевалочный пункт вещей, годами, десятилетиями, веками ведших дремотное существование в семьях и домах. Они стекаются сюда из комнат, чердаков и кладовок, принося с собой чужие воспоминания. Весь рынок наполнен дыханием безымянных домашних очагов.

Париж, 8 октября 1941

Из-за переезда в Париж в моих заметках образовался пробел. Еще больше в этом повинны начавшиеся одновременно с этим события в России, вызвавшие, вероятно, не только у меня своего рода духовный шок. Кажется, война спускается с лестницы, устроенной по законам неведомой драмы. Впрочем, об этом

можно только догадываться, поскольку тот, кто переживает этот процесс, ощущает его как стихию. Пучина близка, она увлекает за собой, и нигде, даже на этом старом острове, нет укрытия. Ее прибой проникает уже и в лагуны.

В полдень со Шпейделем у посла де Бринона, угол улицы Рюд и авеню Фош. Маленький дворец, в котором он нас принял, говорят, принадлежит его жене-еврейке, что не мешало ему за столом потешаться над «жидами». Я познакомился там с Саша Гитри{13}, показавшимся мне приятным, хотя живость мимики перевешивает в нем артистизм. Он обладает южным темпераментом — таким я представляю себе Дюма-отца. На мизинце сверкает огромный перстень с печаткой, на золотом поле которого вырезаны S. G. Я беседовал с ним о Мирбо, он мне рассказывал, что тот умер у него на руках, шепча на ухо: «Ne collaborez jamais!»,[13] которое я внес в свое собрание слов, произнесенных перед смертью. Имелось в виду соавторство в работе над комедиями, ибо тогда эта фраза не приобрела еще сегодняшнего оттенка.

За столом рядом с актрисой Арлетти, недавно снявшейся в фильме «Madame Sans-gêne».[14] Чтобы ее рассмешить, достаточно слова *Сосu;* в этой стране она всегда веселая. В вазе орхидеи, гладкие, крепкие, с разделяющейся на дрожащие усики губой. Цвет их: удивительно белое сало, точно эмаль, нанесенная специально для глаз насекомых в девственном лесу. Блуд и невинность чудесным образом соединились в этих цветах.

Pouilly, бургундское, шампанское, по одному наперстку. По случаю этого завтрака возле дворца были расставлены 20 полицейских.

Париж, 11 октября 1941

Днем в «Монте Карло» с Небелем,{14} с ним я обсуждал вопрос о сейфе. Он вернулся из отпуска и рассказал мне, что в Германии из-под полы распространяется роман Томаса Манна «Один день из жизни старого Гёте».

Затем у посланника Шлайера на авеню Суше. Разговор с Дриё ла Рошелем,{15} издателем «Nouvelle Revue Française»,[15] в особенности о Мальро,{16} за публикациями которого я слежу, с тех пор как несколько лет тому назад мне попал в руки его роман «La Condition humaine».[16] Я считаю его одним из тех редких наблюдателей, кто обладает верным глазом на панораму гражданских войн в XX веке.

Вечером у Шпейделя, только что говорившего по телефону с начальником тыла. В центральной части Восточного фронта уже лежит снег.

Париж, 13 октября 1941

Утром было свежо, но я провел приятный час в Тюильри. На солнце невозможно соскучиться: купаешься в потоке света. Затем на набережной Сены, где я приобрел экземпляр «Искушения святого Антония» Калло{17} в хорошем состоянии. У того же киоска я разглядел цветной рисунок с известным мотивом: птичку заманивают в клетку. Парочка, то ли в изнеможении, то ли только что пробудившаяся, расположилась на бидермайеровской кушетке; на них тонкие, прилегающие к телу одежды, сквозь которые, правда, не просвечивают подробности анатомического строения, но они обрисовываются тканью, точно легкие отпечатки раковин и аммонитов. Самое главное в этом жанре — заставить фантазию клюнуть на наживку; речь идет об искусстве двусмысленного.

Серпентарий; сперва в опытно-зоологическом отделе, затем у произведений искусства и этнографических коллекций. В завершение змея в качестве магической и культовой силы. Все на фоне южного ландшафта, в лабиринтах садов и скал, полных мерцающего шевеления. Туда ведут мраморные лестницы, на их ступенях нежатся ярко освещенные черные, пестрые и бронзовые змеиные тела. Подходить опасно; это доступно только посвященным. На заднем плане возле гротов — еще постройки, что-то вроде бань или храма Эскулапа.

Змея в качестве древней силы — это метафора, платоновская идея. Все ее воплощения — в природе ли, в Духовном ли мире — всего лишь приближаются к ней, не достигая ее. То же во всяких червях, круглых рыбах, рептилиях, ящерах, китайском Драконе и мифических тварях всякого рода.

Для «Дома» главное — архитектонически организованный мир, от темных подвалов до обсерваторий наверху. Важны также лестницы с их встречами. В каморках, комнатах и залах разыгрывается жизнь, она видна во всех подробностях, точно картины яркого сна. Движешься, как на сцене, одновременно чувствуя себя зрителем. «Pilgrim’s Progress».[17] {18} К рукописи следовало бы относиться отчасти, как к указаниям режиссера. Сюда вплетается акустика — реплики, значительно упрощающие жизненные отношения. «On tue les nôtres».[18] «Они выведывают у детей». Пройти весь земной круг; конечно, для этого нужен более зрелый возраст, больший опыт.

Отдельные помещения: камера неоспоримых решений, как платоновская идея любого суда. Служба переведения в низший класс. Лифты для преуспевших, которым больше не нужны лестницы; зеркальный кабинет.

Париж, 14 октября 1941

Вечер у Шпейделя в «Георге V». Там Зибург[19], с очаровательной легкостью овладевший арсеналом средств международного журналиста и, что важно, с ярко выраженным чувством собственного достоинства, делающего талант презентабельным. По гороскопу, вероятно, средний Юпитер и полное Солнце; как обычно в таком случае, очертания лица от овала приближаются к окружности. Впечатление еще усиливают волосы, торчащие точно лучи.

Он считает поражение Франции неизлечимой болезнью, но верит, однако, в длительное превосходство этой страны в вопросах вкуса и культуры.

Днем со Шпейделем у Саша Гитри на авеню Элизе Реклю. Перед домом на тротуаре стоит бюст отца, актера Люсьена Гитри, [20] в саду — скрученный порывом страсти женский торс работы Родена.

В знак приветствия Гитри протянул мне папку, где лежало по одному письму Октава Мирбо, Леона Блуа[21] и Дебюсси,[22] — трех авторов, о которых мы говорили в нашу первую встречу; он просил меня включить их в мою коллекцию. Особенно хорош листок, принадлежащий Блуа, с его личными замечаниями, написанными свойственным ему монументальным почерком.

Затем мы осмотрели книги и рукописи, среди них — «Воспитание чувств» Флобера. Он показал мне посвящение Бергсона на одной из его книг: «A Sacha Guitry un admirateur»,[19] причем это *un* в сравнении с *son* он считал особенно утонченным. Дорожный кофр Мольера с первыми изданиями всех его пьес, Наполеон с маршалами Империи, отлитыми из олова, и многое другое.

В спальне. Над кроватью в стене пробито окошко, как в столовых, куда подается поднос из кухни. Оно выходит к кровати супруги. «Немного узко для Вас, маэстро», — говорит один из гостей. «Хорошо, что Вы не мадам Гитри», — осаживает его изящная хозяйка дома.

Опоздав, является подруга по театру. «Самая прекрасная женщина в Париже двадцать лет тому назад», — шепчет мне Гитри, прежде чем поздороваться с ней.

За столом. Салат сервирован на серебряной, мороженое — на золотой посуде, видевшей еще Сару Бернар. Снова удивил меня африканский темперамент, особенно при рассказывании анекдотов, в которых встречи с королями играли особую роль. При этом изображение разных лиц, о которых шла речь, подкреплялось той или иной мимической деталью. Очень

хороши, артистичны были руки, манипулирующие при разговоре большими очками в роговой оправе.

Ясно, что при подобной одаренности человек расходует весь личностный запас, который мог бы достаться браку. Впрочем, мое первое впечатление изменилось, так как речь идет о человеке, без сомнения обладающем сердцем, наделенным той частью первоначальной материи, что придает стержень характеру. Верно также и то, что мы сами наслаждаемся, находясь в орбите притяжения подобной индивидуальности, — это хорошее настроение и создает тот климат, в котором она расцветает.

Париж, 18 октября 1941

Днем в «Рице» с Карлом Шмиттом,{23} делавшим позавчера доклад о значении различий в сухопутном и морском международном праве. Присутствовали полковник Шпейдель, Грюнингер, граф Подевильс. Разговор о научных и литературных контроверзах нашего времени. Карл Шмитт сравнил свое положение с положением белого капитана, захваченного черными рабами, из мелвилловского «Бенито Серено»{24} и процитировал выражение: «Non possum scribere contra eum, qui potest proscribere».[20]

Гуляли в Трокадеро вдоль правого берега. Обсуждали ситуацию. Карл Шмитт видит ее суть в том, что с человека, словно корка, начинают спадать наслоения, мешающие проявлению свободной воли, подобно тому как животные являются отпавшими масками человеческого образа. Человек отторгает новый звериный порядок; опасность процесса в том, что в него втягиваешься.

Я добавил, что это *окостенение* уже описано в Ветхом Завете символикой образа Медного Змия. Чем ныне стала техника, тем был тогда закон.

В конце дня осматривали черепа и маски в Музее человека.

Париж, 19 октября 1941

С Грюнингером и Карлом Шмиттом в Порт-Рояль. Я снова увидал там маленькое птичье гнездо на книгах Паскаля, так развеселившее меня однажды. В самой заброшенности этих мест больше жизни, чем в их музейной предназначенности. Мы сорвали лист с уже начавшего погибать орехового дерева Паскаля. Потом завтрак в Мулен-де-Бишерель и пребывание в Рамбуйе и Шартре, где я впервые увидел собор. Не хватало витражей и вместе с ними — его величия.

Париж, 21 октября 1941

Докторесса отыскала меня в «Мажестик» по поводу вещей из сейфа. Речь идет о письмах, написанных мною из Швейцарии в 1936 году Йозефу Брайтбаху{25} и исчезнувших среди прочих бумаг, изъятых из сейфа. Там упоминается и другая переписка, например с Валериу Марку. Я осторожно попытаюсь завладеть этими вещами через девизный отдел при главнокомандующем. Мои личные заметки и дневники я держу в «Мажестик» под надежным замком. Ввиду того что по поручению Шпейделя я обрабатываю бумаги как об операции «Морской лев», так и «о борьбе за власть во Франции между командующим и партией», в моей комнате установлен особый стальной сейф. Впрочем, все эти бронированные ящики — лишь символ личной неприкосновенности; если она будет под вопросом, взорвут и самые крепкие замки.

Париж, 22 октября 1941

Прогулка с модисткой-южанкой, прибывшей с испанской границы и справлявшейся у меня о своем приятеле. Я доставил себе удовольствие, купив ей шляпку в салоне недалеко от Оперы. Модель размером с гнездышко колибри, с зеленым пером. Удивительно, как похорошела и изменилась малышка в этом новом украшении, точно солдат с приколотым на груди знаком отличия. Это уже был не головной убор — это была декорация.

Болтая, бродили мы по сумрачным переулкам вокруг церкви Магдалины. На этот квартал указал мне Морис. Такие соприкосновения будят во мне острое любопытство: хочется прислушаться к незнакомым людям, войти в чужие сады и подняться по лестницам запертых домов. Так удалось мне заглянуть в этот почти деревенский угол — *a noste,* как они говорят, — с его каштановыми рощами, грибами и голубями.

Волк, вламывающийся в загон, разрывает из загнанных туда овец лишь две или три. Прочие несколько сотен затаптывают друг друга сами.

Париж, 23 октября 1941

Разговор с докторессой в небольшом кафе. Она — врач; изящный, точный, сметливый ум. Предметом разговора сразу стал сейф, потом беседовали о грамматике и общих знакомых, об Эркюле например.

Закончил: Гюисманс{26} «По течению», я обнаружил его у Бере, с посвящением автора другу Рафаэлли,{27} если я правильно понял.

Герой книги, Фромантен, буржуазный Дез Эссент.{28} Весь тон произведения говорит о стойком отвращении к искажениям,

произведенным цивилизацией, на каждой странице видишь мнения и приговоры, выдающие заболевание желудка на нервной почве. Мне снова пришло в голову, что иные болезни словно увеличительное стекло позволяют более проницательно разглядеть суть сопутствующих им явлений, по ним можно классифицировать литературу декаданса.

Как обычно бывает, мы опускаемся все ниже, и лакомством становятся так ненавистные Фромантену вещи: жилистое мясо в обшарпанных ресторанчиках, синее вино, вообще змеиные яства.

Гюисманс обозначает одну из тех точек, за которой начинается скудость во всем. Именно сейчас переживает он свое возрождение.

Париж, 25 октября 1941

Днем с Иной Зейдель у Прунье. Она волновалась за своего зятя, бывшего у Гесса консультантом-астрологом, ныне заключенного в тюрьму. Это было настолько неожиданным, что я даже высказал мнение, что полет в Англию, по-видимому, состоялся с ведома или даже по поручению Кньеболо. На это можно возразить, что сама по себе причастность к определенным тайнам так же опасна, как и раскрытие государственных секретов. Вместе с тем эта гусарская выходка дает представление о возрождении духа азартной игры. Возрождение форм абсолютистского государства, но без аристократии, обладающей внутренней дистанцией, способно вызвать катастрофы, размер которых трудно себе представить. О них можно только догадываться по предчувствию беды, отбрасывающей тень и на сами победы.

Как не раз уже от умных женщин, слышал я от Ины Зейдель, что точность языка при изображении фигур и положений я довожу до непозволительного уровня, так что иногда возникает ощущение непосредственной опасности. Подобные упреки приходится выслушивать часто, хотя я всего лишь следую своим законам. В словах, как и в атомах, есть свое ядро, вокруг которого они вращаются, и его нельзя касаться, не вызвав тем самым опасных сил.

Париж, 2 ноября 1941

Там, где ведется духовная борьба, люди вовлекают смерть в свою стратегию. Они становятся неуязвимыми; мысль, что противник жаждет их крови, ничуть не угнетает их. Главное, чтобы дело велось должным образом, высвечивался символический характер целого, свидетелями правоты которого они являются. Временами кажется, что эти люди отступают перед

смертью, на самом же деле они подобны военачальнику, выжидающему благоприятного момента, чтобы дать сигнал к атаке. Победы бывают разными.

Даже тупой враг по-своему чувствует это, отсюда его невероятная бешеная злоба, когда ему противостоит истинный дух. Отсюда стремление уничтожить последнего уже на подступах, уязвить его, заставить свернуть с дороги. В этих сражениях бывает так, что все случайное, все предшествующее противостоянию полностью исчезает, и выступает то, что издревле составляет смысл на земле. Тогда роли странным образом меняются, и страх переходит на сторону атакующего, будто он, стремясь всеми средствами уязвить свою жертву, все же медлит со смертью, которую ей готовит. Тогда к избиению прибавляется еще злорадное торжество. В истории бывают ситуации, когда люди захватывают смерть, как штаб противника. Так, в процессе тамплиеров их великий магистр неожиданно показал себя, судей и суть их отношений в истинном свете, точно корабль, прорвав пелену заблуждений и явившись удивленному взору во всем блеске своего оружия. Тем же вечером его сожгли, но велели всю ночь охранять место сожжения, боясь, что народ разберет останки на реликвии. Тирана страшит сам прах; даже он должен исчезнуть.

Париж, 5 ноября 1941

Судьи в кровавых делах. Когда они движутся по коридорам, входят, им присуща автоматическая манерность, превентивная важность зловещих кукол. Они — словно марионетки, исполняющие ритмический танец.

«Что не может меня погубить — делает меня сильнее», но то, что может — сильнее стократ.

Идеи развиваются в истории не по прямой, они сами из себя вырабатывают противоборствующие силы, так же как груз маятника двигает не только стрелки, но и свой противовес.

Так создается уравновешенность, препятствующая превращению соответствующих идей и форм в нечто Монструозное или закоснелое. В царстве духа это сродни тем формам, которые в зоологии останавливают ход развития.

Роланд, вернувшийся из России, сообщает о чудовищном механизме уничтожения пленных. Вначале предупреждают, что их будут измерять и взвешивать, велят раздеться и подводят к «измерительному прибору», в действительности — пневматическому оружию, производящему выстрел в затылок.

Париж, 10 ноября 1941

Во все времена существовали две теории происхождения человека, из которых одна ищет начало вверху, другая — внизу. Обе правы; человек определяет себя, признавая одну или другую.

Париж, 11 ноября 1941

О болезнях. Есть разница в их влиянии на фантазию, не совпадающая со степенью их опасности. Я скорее склонен забыть о раздражениях, связанных с легкими и сердцем, чем от вызванных желудком и печенью, вообще нижней частью тела. Присутствуя в плоти, они влияют даже на характер смерти. Пламя — прерогатива неверующих; посему растет число кремированных трупов, и огненный ад уготован живущим на земле.

Париж, 12 ноября 1941

История так же составлена из атомов, из которых нельзя и помыслить изменить хоть один, не изменив процесса в целом. Все выглядело бы совершенно по-иному, называйся Марат Баратом или находись он в тот час, когда мстительница проникла к нему, за письменным столом, а не в ванне. Именно покушение, являющееся, в сущности, результатом множества случайностей, производит особенно мощные изменения, в чем убеждает пример Сараева.

В картине прошлого нельзя изменить ни камешка. Если б из прошлого можно было судить о будущем, если б дух был в состоянии охватить подобную целостность, пусть даже для него все относящееся к будущему неизбежно в эту целостность включено! Или это настоящее влияет на изменение агрегатного состояния времени, закрепляя, монументализируя его? Целое же подобно карточной игре: следует различать карты, которые вышли, и те, которые еще находятся в игре.

Такова мозаика наблюдений; следовало бы, как это умел Боэций, видеть все эти случайные детали объединенными в картину, полную высокого смысла, свойственного его душе. Истинно моральное лежит вне времени.

Днем читал прощальные письма расстрелянного по приговору суда графа Эстьена д'Орва, переданные мне его защитником. Это чтение высшего сорта; я чувствовал, что в моих руках документ, которому суждена долгая жизнь.

Париж, 13 ноября 1941

Различие путей морального и физического здоровья: часто мы терпим нравственное поражение при самом лучшем физическом состоянии, и наоборот. Подъем наступает тогда,

когда соединяются все потенции человека.

Хорошо, если на эти дни приходится значительная дата или важная встреча.

Вечером в «Георге V». Принес полковнику Шпейделю максимы Рене Кентона.{29} Когда он попросил надписать книгу, я выбрал фразу: «La récompense des hommes, c'est d'estimer leurs chefs».[21] Под его эгидой мы образовали внутри военной машины ячейку, своего рода пребывающий в чреве Левиафана рыцарский орден, стремящийся сохранить сердце для слабых и беззащитных.

Разговор с Грюнингером о солдатском повиновении, его отношении к абсолютной или хотя бы к конституционной монархии. Превращаясь в инстинкт, эта добродетель только вредит своему обладателю, делая его инструментом сил, лишенных совести и чести. Именно с честью, второй опорой всякого рыцарства, вступает он в конфликт. Как более уязвимая, эта добродетель разрушается быстрее других; в результате остается некий автомат, слуга без истинного хозяина, всего лишь принадлежность пользователя.

В подобные времена лучшие характеры терпят крах, острейшие умы кидаются в политику. В крайнем случае, найдется какой-нибудь генерал из патрициев, умеющий смеяться над тем, кто хочет им командовать и указывать таковому его место, pourriture.[22]

Париж, 14 ноября 1941

Утром визит доктора Гёпеля, передавшего мне привет из Лилля от Карла Шмитта. Затем с Грюнингером в собрании гравюр в Лувре, где мы разглядывали прекрасные старинные изображения цветов и змей.

Час сумерек; ночь вползает почти неощутимо, точно первые шуршащие волны, высылаемые приливом. Странные создания объявляются с их наступлением. Это час, когда совы расправляют крылья и прокаженные выходят на улицу.

Мы можем требовать от людей только того, что им свойственно, — это как ожидать от женщины любви, но не справедливости.

Париж, 15 ноября 1941

Приглашение на день рождения от Жаклин, модистки-южанки, набережная Луи Блерио. Узкая черная лестница ведет на пятый этаж в лабиринт тесных мансард, напоминающих помещения для кукловодов в театре. Квартира — крохотная спальня, почти целиком занятая огромной кроватью, и крошечная, словно каюта, кухня, где подруга по имени Жанетт —

длинная, тощая, слегка демоническая особа — готовит праздничное угощенье. Как по мановению волшебной палочки является обед из семи блюд. К нему бордо, кьянти и кофе с ромом.

В углу висел кусок дерева: это был сильно извитой ствол старой калины — из подобного у нас резчики делают заготовки. Этот тоже был обработан так, что имел вид змеи, обвившейся вокруг шеста. Шероховатость поверхности, будто игра мускулов под кожей, была прекрасно использована: это удалось, потому что в растении живет та же сила. Очень естественны были и цвета — желто-коричневый с черными пятнами, как у тех разновидностей, что живут в болотах.

В связи с этим разговор о змеях вообще. Подруга рассказала, как однажды у себя на родине в Беарне сидела в саду с матерью, кормившей грудью маленькую сестру. Запах молока привлекает змей, и вот гигантская гадюка незаметно и медленно проскользнула к ее стулу сквозь живую изгородь. Мать закричала. Прибежал отец и убил животное.

Она рассказывала это точно миф, живописуя все подробности.

Париж, 18 ноября 1941

О дневнике. Лишь известная доля процессов, происходящих в духовной и физической сфере, находит завершение. То, что занимает нас в глубине, часто недоступно выражению, порой — даже собственному осмыслению.

И тут есть темы, над которыми по какой-то тайной причине мы размышляем годами, такова тема безысходности, определившая собой наше время. Она напоминает великолепный образ волны жизни в азиатской живописи или образ бездны Эдгара По. К тому же это бесконечно поучительная ситуация, ибо там, где нет ни выхода, ни надежды, нам приходится делать остановку. Это изменяет перспективу.

И все же, как ни странно, где-то на самом дне живет вера. Сквозь клочья пены валов и разрывы туч светит звезда судьбы. Я думаю, это относится не только к личности, но и к обществу в целом. В эти дни нами пройдена нулевая отметка.

Напряжение, с каким мы пытаемся выстоять и обрести силу, глубоко скрыто. Это происходит на самом дне сознания. Об этом был тот значительный сон на вершине Патмоса во время поездки на Родос. Наша жизнь подобна зеркалу, в котором — пусть туманно и смутно — отражаются наполненные смыслом вещи. Однажды мы войдем в этот зазеркальный мир и обретем совершенство. Мера совершенства, доступная нам, уже

обозначается в нашей жизни.

Во время перерыва на обед у прилавка в отделе эстампов, где я ранее заказал несколько оттисков уже раскупленных гравюр. Среди них — прекрасное изображение кобры, поднявшейся с раздутым капюшоном. Девушка, продающая гравюры, худая брюнетка лет тридцати, сказала, что всегда кладет этот лист изображением вниз. Заворачивая покупку, она не преминула заметить: «Sale bête».[23]

А впрочем, занятная особа. Услышав от меня замечание, показавшееся ей необычным, она на мгновение прервала свое занятие и сказала с интонацией, в которой слышалось признание: «Ah bon!»[24]

Во время этого краткого посещения я перебирал в большой папке гравюры Пуссена.{30} Хотя английская репродукция его «Геракла на распутье» уже многие годы висела над моим письменным столом, мне только теперь стало ясно его мощное, прямо-таки королевское ощущение пространства. Вот что делает абсолютная монархия.

Париж, 19 ноября 1941

Днем у докторессы, в квартиру которой идешь аметистового цвета лестничной клеткой. Поднимаешься в фиолетовом сумраке по поворотам винтовой лестницы. В таких вековой давности домах само время стало строителем. Все эти маленькие спуски, сдвиги, изгибы потолочных балок, неизвестным образом вдруг меняющие пропорции, каких не измыслит ни один архитектор. Докторесса полагает, что семьи, живущие в этих квартирах, никогда отсюда не выезжают; они просто вымирают.

Затем мы пошли пообедать на площадь Сен-Мишель. Устрицы, сервированные на льду и фукусе, шнуры которого пересекают миску. Интересен цвет этих водорослей, так как на первый взгляд он черный. При ближайшем же рассмотрении — глухой, темномалахитовый, но без свойственной минералу жесткости, скорее полный живой прелести. И к этому — отливающие зеленью, инкрустированные перламутром створки устриц среди рефлексов серебра, фарфора и хрусталя.

Париж, 21 ноября 1941

Вечером полчаса у Вебера, где докторесса сообщила мне о том, что сейф открыли. Далее она упомянула об одном враче, фотографировавшем умирающих; тем самым он изучал и фиксировал образцы агоний, вызываемых разными болезнями, — идея, показавшаяся нам одновременно остроумной и отвратительной. Для подобных естествоиспытателей нет уже

никаких табу.

Париж, 23 ноября 1941

В полдень у Моранов на авеню Шарль-флоке. Я встретил там Гастона Галлимара{31} и Жана Кокто.{32}

Моран{33} — в некотором роде изобразитель светского комфорта. В одной из его книг я нашел сравнение океанского парохода с пропахшим шипром Левиафаном. Его книга о Лондоне весьма достойна; город он изображает как большой дом. Если бы англичане строили пирамиды, эта книга вполне сгодилась бы для вещей, помещаемых в погребальную камеру.

Кокто симпатичен и в то же время выглядит страдающим, словно пребывает в каком-то отдельном аду, впрочем, вполне комфортабельном.

С умными женщинами очень трудно преодолеть физическую дистанцию, — как будто они вооружили свой вечно бодрствующий дух неким поясом, заставляющим терпеть поражение любую страсть. Слишком яркий свет их окружает. Здесь успешнее всех продвигаются те, чьи намерения не столь явно эротичны. Это можно приравнять к шахматным ходам, обеспечивающим прочность позиции.

У подчиненных можно спрашивать совета о делах, но только не об этике, лежащей в их основе.

Более священным, чем жизнь, должно быть достоинство человека.

Веком гуманности будет век, в котором люди станут самым ценным из всего, что есть на земле.

Истинные вожди мира обретут покой лишь в могиле.

Оказавшись в безнадежном окружении, следует, словно военный корабль, поднявший флаг, не скрывать своих намерений.

Решившись на такой шаг, как работа в прусском Генеральном штабе, открываешь себе доступ в высокие сферы осведомленности, исключив себя из высших сфер познания.

Париж, 25 ноября 1941

Обеденный перерыв я часто провожу на маленьком кладбище в Трокадеро. Некоторые могильные плиты обросли мхом, имена и надписи словно оторочены зеленым камнем. Так часто в воображении или в воспоминаниях вещи вспыхивают красотой, прежде чем кануть в безбрежном и безымянном.

После этих прогулок у меня по меньшей мере есть полчаса, чтобы выпить кофе в своей комнате, почитать книги или посмотреть картины, как, например, сегодня — серию Мемлинга о шествии десяти тысяч дев. Эти картины дают представление о

том просветлении, какое может обрести человек, а также о том, как художнику следует его воспроизвести.

Чтение: «Курение опиума» Буассьера, книга, рекомендованная и присланная мне Кокто, и еще странная история острова Хуан-Фернандес — подарок доктора Беста.

Париж, 26 ноября 1941

Днем на рю Турнон, где находятся магазины, торгующие эстампами и книгами. В антиквариате Леше-валье, с которым я давно переписываюсь, разглядывал старые тома по энтомологии, среди них один Сваммердама.{34}

Вечером с Небелем и Пупе в пивной «Лотарингия». Так Пупе высказывается о чем-то незначительном, вроде книги, сделанной шумихи ради: «Cela n'existe pas».[25] Ему нравится работать в постели: проснувшись утром, он продолжает работать. Спит среди книг, разбросанных вокруг него на ложе, и осторожно поворачивается во сне, чтобы их не задеть.

Париж, 29 ноября 1941

Днем у графини Подевильс я встретил Гюнингера, вернувшегося с Пиренеев. Там он видел меня во сне, в котором спрашивал, нужно ли ему изобразить руину с плющом; я не возражал, добавив однако: «Как это для Вас характерно; мне, например, как раз хочется рисовать слона», что вызвало у него досаду как намек на его романтизм.

Вечером с докторессой в «Гран-Гиньоле», помогаю ей развеять хандру. Теперь это уже не так забавно, как перед войной; дело, по-видимому, в том, что ужасное заняло в этом мире место обыденного, и тем самым его демонстрация на сцене утратила всю свою экстраординарность.

Монмартр — мрачный, сырой, из-за покушения, случившегося там накануне, перегороженный полицейскими и солдатами.

Париж, 30 ноября 1941

В разговорах друг с другом мужчины должны быть подобны неуязвимым богам. Фехтование идеями подобно сражению духовными мечами, поражающими цель без боли и усилия; и наслаждение тем чище, чем острее вы задеты. В подобных духовных упражнениях учатся не бояться ран.

Париж, 3 декабря 1941

Днем у Лешевалье на рю Турнон. Рассматривая гравюры и цветные изображения насекомых, ощутил вдруг отвращение,

будто находящийся поблизости труп испортил всю радость. Существуют злодеяния, затрагивающие мир в целом, в его осмысленной связности, и тогда и художественной натуре приходится посвящать себя не прекрасному, но свободному. Самое ужасное в том, что свободы нет ни у одной из партий, и сражаться приходится в одиночку. Воистину можно позавидовать поденщикам этой войны, честно гибнущим на отдельных ее участках. Они все же возвращаются к целому.

Потом у Шармиль на рю Бельшас. Тихая улица; когда проходишь лестничной клеткой, время остается позади, в вечереющих дворах. Чувство защищенности: «Никто не знает моего имени, никому не известно это убежище».

«Voyage autour de ma chambre»[26] в старом кресле, как на ковре-самолете из «Тысячи и одной ночи». Мы болтали, чаще всего о словах и их значениях, справляясь время от времени в книгах. Библиотека, богатая прежде всего книгами по теологии и глоссариями.

Шармиль. Что я в ней ценю: чувство свободы, запечатленное на ее челе. Среди людей есть такая их часть — соль земли, не дающая истории совершенно увязнуть в тупом повиновении. Это дано лишь некоторым — чувствовать свободу инстинктов, даже если они рождены в мире полицейских и заключенных. Еще бывают такие орлиного племени люди, узнаваемые даже и за решеткой тюрьмы.

Я должен был дожить до моих лет, чтобы обрести наслаждение в духовном общении с женщинами, что и предсказывал мне Кубин{35} — этот маг и чародей. В этом изменении, именно потому, что я был доволен своей судьбой, есть что-то ошеломительное, точно для баллистика, видящего, как проходящий предписанную траекторию снаряд вдруг отклоняется совсем в другие слои атмосферы. Но законы стратосферы ему неизвестны.

К тому же тоска по людям все время растет. Именно в тюрьме становится ясно, что значит единомышленники. Можно отказаться от всего, лишь бы не утратить людей.

В «Рафаэле» закончил: Буассьер, «Курение опиума». Вышедшая в 1888 году, эта книга стала для меня разведочной шахтой. Она изображает не только жизнь в болотах и лесах Аннама,{36} но и духовные обретения. В опиумных грезах над малярийными тропическими зонами колышется иной хрустальный мир, с ярусов которого сама жестокость теряет свою силу. Куда-то уходит вся боль. Наверное, в этом — высшее свойство опиума: так оживлять творческую силу духа, фантазию, что она воздвигает для себя волшебные замки, со стен которых не

страшна утрата туманных и болотистых пределов здешней жизни. Душа строит себе мосты для перехода в смерть.

Париж, 4 декабря 1941

В сильный туман в Пале-Рояль. Вернул Кокто Буас-сьера. Он живет там на рю Монпансье, как раз в том доме, где Растиньяк принимал г-жу Нусинген. У Кокто было общество; среди окружающих его вещей мне бросилась в глаза грифельная доска, на которой он быстро набрасывал мелом штрихи, иллюстрируя разговор.

На обратном пути меня особенно охватило ощущение опасности, когда в старых переулках вокруг Пале-Рояль стали раскрываться двери в крытые дворы, откуда просачивался мутный красный свет. Кто знает, что затевается в тамошних кухнях, кому известны планы, которыми заняты эти лемуры?{37} Проходишь незримо сквозь эту сферу, но когда исчезнет туман, неминуемо будешь опознан двигающимися в нем существами.

«L'homme qui dort, c'est l'homme diminué».[27] Одно из заблуждений Ривароля.{38}

Париж, 7 декабря 1941

Днем в Немецком институте. Там, среди прочих, Мерлин,{39} высокий, костлявый, сильный, неотесанный, но яростный в дискуссии, или, скорее, в монологе. У него отстраненный взгляд маньяка, глаза прячутся под надбровными дугами, словно в пещерах. Он не смотрит ни влево, ни вправо; кажется, он следует какой-то неизвестной цели. «Смерть всегда при мне», — и он тыкает пальцем возле кресла, будто там лежит его собачонка.

Он выразил свое несогласие, удивление по поводу того, что солдаты не расстреливают, не вешают, не изничтожают евреев, — удивление по поводу того, что тот, к чьим услугам штык, не использует его неограниченные возможности. «Если бы большевики были в Париже, они бы вам показали, как прочесывают население, квартал за кварталом, дом за домом. Будь у меня штык, я бы знал, что делать».

Было весьма полезно послушать в продолжение двух часов витийство подобного рода, насквозь пронизанное невероятным нигилизмом. Таким людям слышна всего лишь *одна* песня, но уж она-то захватывает их целиком. Они похожи на железные автоматы, двигающиеся своим путем, пока их не разрушат.

Интересно, что эти умы выступают от имени науки, например от имени биологии. Они обращаются с ней, как жители каменного века, делая из нее лишь средство уничтожения.

Их счастье не в том, что у них есть идея. Идей бывало уже

достаточно, — тоска гонит их на бастионы, откуда лучше всего сеять ужас и открывать огонь по толпам людей. И если это им удалось, они продолжают свой духовный труд, все равно на какие тезы они взгромоздились. Они предаются наслаждению убийством, и именно эта страсть к массовому уничтожению и была тем, что с самого начала тупо и бессмысленно толкало их вперед.

В прежние времена, когда все поверялось верой, такие натуры распознавались быстрее. Теперь они проникают под прикрытием идей. Идеи же могут быть любыми, что видно хотя бы из того, что по достижении цели их отбрасывают, как тряпки.

Сегодня стало известно о вступлении в войну Японии. Именно 1942 год может быть тем годом, в котором больше, чем когда-либо, людей отойдет в загробный мир.

Париж, 8 декабря 1941

Вечером прогулка по пустынным улицам города. Из-за покушений передвижение населения ограничено уже ранним вечером. Мертвая тишина и туман, лишь из домов слышится пение по радио и щебетание детей, будто идешь вдоль рядов с птичьими клетками.

В связи с моей работой о борьбе за власть во Франции между армией и партией я перевожу прощальные письма заложников, расстрелянных в Нанте. Они попали мне в руки вместе с актами, и я хочу обезопасить их от потери. Это чтение придало мне сил. В момент объявления человеку о смерти он перестает быть слепым орудием чужой воли и осознает, что из всех связей самая глубинная — любовь. Кроме нее, единственно смерть истинная благотворительница в этом мире.

Во сне я ощутил, как Доротея, словно в старой детской сказке, порхнула ко мне и стала ощупывать меня кончиками своих нежных тонких пальцев. Сначала она скользила по рукам, ощупывая каждый палец отдельно, особенно лунки ногтей, затем принялась за лицо, трогая веки, уголки глаз, надбровные дуги.

Это было очень приятно, так характерно для этого создания и его замысла. Она будто бы исполняла на мне тончайшее искусство обмеривания, почти как если б задумала изменить меня, шевеля пальцами, словно над какой-то нежной массой, особым тестом.

Она снова вернулась к руке и, помедлив, прошлась Минными касаниями по ее тыльной стороне. По магнетизму ее прикосновений я понял, что теперь она ласкала духовную руку, пальцы которой немного длиннее пальцев руки физической.

На прощание она положила руку мне на лоб и прошептала:

«Бедный мой друг, со свободой покончено».

Долго лежал я в темноте; такой тоски я не испытывал со дня приезда из Венсена.

Париж, 9 декабря 1941

Японцы решительно наступают. Может быть потому, что время — самая большая ценность для них. Я ловлю себя на том, что путаю союзников; иногда мне ошибочно кажется, что это японцы объявили нам войну. Все переплелось, как змеи в мешке.

Париж, 10 декабря 1941

Наводнение. Я в каком-то загородном обществе XIX века, среди людей, собравшихся из-за окружающей их тины на поваленных дубах. Тут же масса змей, устремившихся к сухим островкам. Мужчины избивают животных, высоко зашвыривают, так что часть их, растерзанных, но все еще кусающихся, падает обратно в толпу. Отсюда паника. Люди валятся в грязь. На меня тоже упал такой еще живой труп и укусил. При этом мысль: оставь негодяи животных в покое, мы были бы в безопасности.

В письмах расстрелянных заложников, переводимых мной в качестве документа для будущих времен, мне бросилось в глаза, что чаще всего там встречаются два слова — «мужество» и «любовь». Чаще, может быть, встречается только слово «прощай». Кажется, человек в таких ситуациях ощущает в сердце избыток благословляющей силы, осознавая до конца свою роль не только жертвы, но и жертвователя.

Кирххорст, 24 декабря 1941

Отпуск в Кирххорсте. Едва ли склонен делать заметки — верный знак душевной устойчивости, которой я обязан Перпетуе. Монолог ни к чему. Посетители, среди них Карл Шмитт. Он пробыл здесь два дня.

Ночью картины в стиле Иеронима Босха: толпа голых людей, среди них — и жертвы и палачи. На переднем плане — женщина дивной красоты, которой палач одним махом снес голову. Я видел, как тело стояло еще мгновение, прежде чем опуститься на землю, и, обезглавленное, оно вызывало желание.

Другие палачи тащили свои жертвы на спине, чтобы где-нибудь не спеша прикончить их. Некоторым они заранее подтянули платком подбородки, чтобы они не мешали им при казни.

Утки в саду. Спариваются в лужах, оставленных дождем на газоне. Потом утка становится перед селезнем и, напыжившись, бьет крыльями — древняя форма галантности.

1942

В поезде, 2 января 1942

Полночь, возвращение в Париж. До этого ужин с Эрнстелем и Перпетуей на площади Стефана. Разглядывая мальчика в профиль, заметил черты благородства и одновременно страдания, появившиеся в его лице. Да, в это время одно влечет за собой другое. Год предстоит в высшей степени опасный, когда не знаешь: может быть, люди видятся в последний раз. Тут в каждом прощании живет вера в обещанное небом свидание.

В купе разговор с лейтенантом, прибывшим из России. Его батальон потерял треть состава из-за обморожений, часть которых закончилась ампутацией конечностей. Тело сначала белеет, потом становится черным. Разговоры об этом стали повсеместным явлением. Есть лазареты для солдат с отмороженными половыми органами, глаза тоже в опасности. К постоянной стрельбе добавился мороз со своими страшными ножницами.

Париж, 4 января 1942

У Ладюре, в обществе Небеля и докторессы. Полдень мы провели за болтовней в «Ваграме». У меня такое впечатление, что невозможно больше оставаться застывшим в рамках теперешней ситуации, как того требует осторожность. Нужно тужиться, как при родах. Все это по поводу дискуссии о «Мраморных скалах» в швейцарских газетах.

Я обратил внимание на звучное *ei в* слове *bleiben*,[28] как это, впрочем, звучит и при произнесении других гласных в словах *manere, manoir*.[29] Здесь будто заново познаешь язык.

Грюнингер, беседовавший однажды с теологом: «Зло всегда является сначала как Люцифер, затем становится Дьяволом и кончает Сатаной». Этот ряд — от носителя света через вносящего раскол к несущему уничтожение — соответствует трезвучию в царстве гласных: *U, I, A*.

Париж, 5 января 1942

В обеденный перерыв нашлась бумага, она возникла, будто весть о мире. Начал с очерка. Проверил надежность сейфа.

Париж, 6 января 1942

Ставрогин. Его отвращение к власти; в условиях всеобщей продажности она его не привлекает. Петр Степанович, напротив, приходит снизу, понимая, по-видимому, что власть для него

только в этих обстоятельствах и возможна. Так радуется подлец, видящий втоптанной в грязь прекрасную женщину, которую он желает, ибо только тогда она может стать для него достижимой.

Это видно post festum[30] и в полку. Там, где властвует негодяй, замечаешь, что гнусность проявляется сверх всякой меры, противу всяких правил управления государством. Подлость отправляют, как мессу, ибо в ней на самом тайном дне таится мистерия власти черни.

Прочел в рукописи перевод «Садов и улиц» Мориса Беца. Слово *конечно* он перевел как *il est vrai,* что показалось мне не совсем точным. Слово *конечно* может предполагать ограничение; с другой стороны, оно означает также усиление. Вероятно, оно ближе всего к «мое мнение сводится к тому, что…» или «если мы хорошенько подумаем, то увидим, что…». Можно сказать, что оно носит подчеркивающий характер, а также раскрывает карты, но есть в нем и нечто другое, нотка уговаривания, что-то вроде веселого согласия, подсовываемого читателю. Так завоевывается его одобрение.

Вечером в «Георге V». Были Небель, Грюнингер, граф Подевильс, Геллер{40} и Магги Дрешер, молодая скульпторша. Небель прочел стихи к Гармодию и Аристогитону,{41} о чьих прекрасных скульптурных портретах, находящихся в Национальном музее, зашла речь. Затем стихи Сапфо, Софокла, Гомера. Его невероятная память, которой он свободно распоряжается, была весьма кстати; кажется, будто он был рядом, присутствовал при возникновении этих стихов. Так и надо цитировать — будто заклиная…

Париж, 7 января 1942

Днем у Пупе на рю Гарансьер. В этих переулках вокруг Сен-Сюльпис с ее антикварными лавками, книжными магазинами и старыми мануфактурами я чувствую себя как дома, будто живу здесь уже пять столетий.

Войдя в дом, я вдруг вспомнил, что уже переступал его порог летом 1938 года, прибыв тогда из Люксембурга, как сейчас с рю Турнон. Так, словно пояс, замкнулся круг протекших лет.

Уже входя, я пытался передать Пупе чувство, охватившее меня при виде давно знакомых вещей и людей, — это богатство, обретенное за прожитые времена, становящееся при свидании ощутимым, словно улов рыбы в сетях. И мне показалось, несмотря на всю трудность выразить это на чужом языке, что он меня понял.

Шармиль. Мы говорили о Прусте, Пупе подарил мне его письмо. Затем о знакомых, в отношении которых она довольно

проницательна. Также о влиянии, оказываемом Эросом на строение тела. В этой же связи о словах *souplesse*[31] и *désinvolture,*[32] имеющих непереводимые оттенки.

Первое письмо от Перпетуи. Как я и ощущал, проводив меня на вокзал и возвращаясь по ночным улицам, они еще долго говорили обо мне. Возможно, она купит для нас дом под Ульценом; местность среди бора, самая подходящая для замкнутой жизни, к которой мы стремимся.

Далее письмо от Вольфганга, призванного на службу третьим из нас, четырех братьев. Он в чине ефрейтора ведает теперь лагерем военнопленных в Цюллихау; пленным там повезло. В качестве курьеза он сообщает: «Вчера ездил в командировку в Зорау в Лаузице, где поместил в лазарет одного заключенного. Я должен был зайти по делам в психиатрическую больницу. Там я увидел женщину; единственная ее причуда состояла в том, что она беспрерывно бормотала: „Хайль Гитлер“. Весьма своевременный вывих».

Даже с точки зрения тактики чрезмерная осторожность опасна. Изменники кричат громче всех. Впрочем, существует как аристократический, так и плебейский нюх на чужаков. Существуют степени тонкости и пошлости, которые нельзя подделать. И вообще, что такое осторожность без предусмотрительности?

Париж, 9 января 1942

Вечером за бутылкой вина у Вайнштока, собирающегося в Анжер. По нему, Небелю, а также Фридриху Георгу{42} я вижу, какое мощное влияние на воспитание немцев по сей день оказывает эллинизм. Его язык, история, искусство и философия неизбежно присутствуют там, где образуется элита.

Снова усиленно думал о «Скалах». Книга открыта, незамкнута, она продолжается в сиюминутном. С другой стороны, события влияют на нее, меняют книгу. В этом смысле она напоминает эллипс с двумя центрами, из которых в одном находится автор, а в другом — действительность. Между ними, как при делении ядра, протянулись силовые линии. Они вмешиваются и в судьбу автора, определяя ее. Это свидетельствует о том, что работа происходит еще и в иных, чем язык, сферах, например в тех, где действуют механизмы сновидений.

Париж, 10 января 1942

Чай у докторессы. Вечером мы пошли повидаться с Пупе и Кокто в маленький погребок на рю Монпансье. Кокто, любезный,

страдающий, ироничный, деликатный. Жаловался, что саботируют его пьесы, швыряют на сцену бомбы со слезоточивым газом, пускают крыс.

Среди анекдотов, рассказанных им, особенно хороша история о коварном кучере фиакра, под проливным дождем везшего его, гимназиста, домой после представления. Не ведая, сколько положено давать на чай, он дал слишком мало и пошел к двери дома, где под дождем ждала одна семья, знакомые его родителей, так как замбк плохо открывался. Он поздоровался с ними, и тут же кучер окликнул его:

— И это деньги? Вот я скажу, откуда тебя вез!

Читал в «Рафаэле». Закончил роман графини Подевильс, затем «Исповедь» Канне, солидный труд, переданный мне Карлом Шмиттом, его издателем. Опыт Канне — в молитве. Он чувствует, когда она «доходит». Колесико личной судьбы вступает тогда в согласие с ходом универсума.

Проснулся в пять часов. Мне снилось, что умер мой отец. Долго размышлял о Перпетуе.

Утром меня разыскал Морис Бец со своим переводом. Мы просмотрели ряд сомнительных мест и привели в соответствие редкие слова, прежде всего названия животных и растений. При этом самое лучшее — углубиться в латынь, в систему Линнея, т. е. логическое понятие становится инструментом в постижении различий, присущих созерцаемому и его поэзии.

Париж, 13 января 1942

Празднование дня рождения в «Рафаэле», когда мне впервые стало ясно, что все его обитатели надежны. Подобное сегодня возможно, только если выбор шел по внутреннему, скрытому кругу. Злая шутка Филиппа над Кньеболо стала сигналом к откровенному разговору. Принуждение, осторожность разделяют сегодня людей, как будто их лица скрываются под масками; когда маски спадают, неистовое веселье овладевает всеми. Серьезный разговор с Мерцем и Хаттингеном, в котором я развил перед ними основные положения моей работы о мире.

Разговор с Лютером о разведке. Он сказал, что было очень трудно найти англичан, но ему все же удалось завербовать одного человека из хорошей семьи. Ему вручили коротковолновый передатчик, по которому он по сю пору посылает прогнозы погоды из Лондона, что очень важно для воздушных налетов. Этот англичанин принял недавно одного агента, сломавшего ногу при приземлении на парашюте, ему пришлось неделю провести на квартире, где его лечили и прятали. В первый же свой выход он был арестован, затем расстрелян; хозяина квартиры он не

выдал.

Все это вещи почти демонической природы, как подумаешь о жутком одиночестве этих людей среди многомиллионного населения. Поэтому я не могу доверить детали даже этим листкам.

Париж, 14 января 1942

Бывают разговоры, которые можно назвать курением опиума вдвоем. Так же легко, без усилий следуют глазами за кульбитами акробатов. Впрочем, она одобряет в моем разговоре то, что обычно порицается: что я все время погружен в думы о другом и отзываюсь репликой на сто́ящее замечание партнера только спустя несколько предложений после того, как оно прозвучало.

Париж, 15 января 1942

В почте письмо Огненного цветка с замечанием о «Гиппопотаме». «Думаю, Ваша княгиня находится под влиянием „Падения дома Ашеров“. Но здесь показан путь к излечению. Это хорошо. По изобразил только закат».

В самом деле, когда перед визитом к Кубину я видел во сне развитие этой фабулы, то ощущал, как сильно хочется мне выбраться из пучины. Эта тоска была словно предзнаменование, ведь выдуманные фигуры предваряют танец судьбы, вызывая то улыбку, то ужас. Поэзия есть еще неведомая, непрожитая действительность, ее априорный корректив.

Далее письмо от Перпетуи, осматривавшей дом под Бевензеном. Во время поездки у нее завязался разговор с шофером на тему политики, который он заключил развеселившим ее замечанием: «Только не быть заодно с этим вшивым руководством».

Вообще, к числу ее достоинств принадлежит то, что она умеет беседовать с людьми из всех слоев общества. За ее столом каждому хорошо.

Париж, 17 января 1942

Во сне разглядывал насекомых у Эммериха Райтера в Паскау. Он показал мне коробки, полные разновидностей рода *Sternocera,* но все они были плоскими и широкими, а не цилиндрической формы, как обычно. Несмотря на это, я prima vista[33] узнал их принадлежность к роду. Я люблю эти отклонения, в которых все же выделен тип. Таковы полные приключений странствия идей по архипелагам Материи.

Днем Шармиль зашла за мной, идя на купание. Великолепное зрелище в бассейне: крупная, чудесная рыба, облепленная

жемчужными пузырьками воздуха, колыхалась в зеленой воде. Как многие волшебные вещи, она казалась мне миражом. Ночью беспокойный, прерванный долгим бдением сон. Я думал о Карусе, моем воображаемом сыне.

Вечером видел Армана, собирающегося скрыться. Мы обедали в пивной «Лотарингия», после того как поднялись по рю Фобур-Сент-Оноре, где мне всегда бывает очень хорошо. Он спросил меня, не хочу ли я познакомиться с его другом Доносо; я отказался. На это, в качестве замечания в адрес обеих стран: «Ah, pour ça je voudrais vous embrasser bien fort».[34] Прощание на авеню Ваграм.

Затем, надев мундир, я пошел в «Георг V». Там Шпейдель, Зибург, Грюнингер и Рёрихт, начальник главного штаба 1-й армии, с которым я сразу после первой мировой войны беседовал в Ганновере о Рембо и тому подобном. Затем полковник Герлах, начальник тыла корпуса, прибывший с Востока; он познакомил меня с острыми потсдамскими шуточками.

В такой ситуации постоянно одни и те же разговоры, то более то менее решительные, словно в преддверии неизбежности. В этих условиях я всегда думаю о Бенигсене и царе Павле. Особенно Герлах был осведомлен о нехватке зимней одежды на Востоке, что наряду с расстрелом заложников на Западе станет одной из главных тем для позднейших исследований, коснись они военной истории или военного суда.

Об оптике. Днем в «Рафаэле», оторвавшись от чтения, я зафиксировал взгляд на круглых часах, затем, когда я взгляд перевел, их отпечаток выступил на обоях в виде светлого круга. Я перевел взгляд на выступ стены, более близкий, чем та ее часть, на которой были укреплены часы. Изображение здесь намного меньше, чем часы. Когда перевел глаза на стену по-соседству с часами, оно слилось с ними и было равным им. В конце я спроецировал взгляд на более удаленное место и увидел, что изображение увеличилось.

Это прекрасный пример психических изменений, которым мы подвергаем объективное впечатление в зависимости от удаленности предмета. При равном напряжении сетчатки мы тем больше увеличиваем знакомый объект, чем дальше он от нас, и уменьшаем его, когда он приближен. На этом правиле основан рассказ «Сфинкс» Э. А. По.

Когда я ночами, как это теперь часто случается, просыпаюсь в «Рафаэле», то слышу, как в деревянной обшивке стен идут часы смерти. Они ударяют громче и размереннее тех, что я часто слышал в мертвом дереве отцовской аптеки, — они более весомы. Вероятно, эти мрачные сигналы исходят от большого темного

жука-точильщика, чей экземпляр я обнаружил летом на лестничной клетке, он теперь в моей коллекции в Киррхорсте. Я не смог его классифицировать; по-видимому, это какая-то привозная разновидность.

Невероятно далекая тайная жизнь, о которой возвещает своими звуками существо, живущее в сухом дереве совсем рядом. И все же по сравнению с иными далями она кажется близкой и понятной. Мы плывем на одном корабле.

Париж, 20 января 1942

Вечером у доктора Вебера во дворце Ротшильда. Вебер прекрасно знает все оккупированные области и нейтральные страны, так как повсюду занимается тайной скупкой золота. Я просил его разыскать Брока в Цюрихе в связи со швейцарскими газетами. И вообще, он мне нужен. Мне нравится говорить с ним хотя бы потому, что он — мой соотечественник; это суховатый нижнесаксонский тип. При нем появляется уверенность, что закат мира произойдет не слишком рано.

Вообще, с точки зрения европейского и мирового масштабов поучительно наблюдать комплект фигур — как на том заседании национал-революционеров у Крейца в Айххофе. Подмечаешь, кто прячется внутри человека в виде зародыша: то ли тиран в маленьком бухгалтере, то ли организатор массовых убийств в ничтожном хвастуне. Редкостное зрелище, ибо для развития этих зародышей потребны чрезвычайные обстоятельства. Удивительно видеть, как обанкротившиеся одиночки и литераторы, чья бессвязная болтовня за ночным столом всплывает в памяти, вдруг предстают в виде властелинов и повелителей, каждое слово которых ловится на лету. Или претворяемые в действительность раздутые бредни. Все же Санчо Панса в роли губернатора Баратарии не принимал себя всерьез, что придавало ему особое обаяние.

Русские вчера сообщили, что когда с немецких военнопленных хотели снять сапоги, то они снимались вместе со ступнями.

Таковы пропагандистские байки из этого ледяного ада.

Париж, 21 января 1942

Визит к Шармиль на рю Бельшас.

Время за болтовней идет быстрее — как когда-то в девственных лесах. Здесь играют роль различные факторы: красота, полное духовное единение, близость опасности. Я пытаюсь замедлить бег времени путем рефлексии. Она сдерживает ровный ход его колеса.

Познаю человека — совсем как «открываю Ганг, Аравию, Гималаи, Амазонку». Я прохожу сквозь его тайны и пространства, наношу на карту скрытые в нем сокровища, изменяясь и учась при этом. В этом смысле, и именно в нем прежде всего, формируемся мы благодаря нашим братьям, друзьям и женщинам. Погода иных климатических зон остается в нас настолько сильна, что при некоторых встречах я чувствую: этот должен знать такого-то и такого-то. Как ювелир оставляет свое клеймо на драгоценности, так соприкосновение с каждым человеком оставляет метку и на нас.

Париж, 24 января 1942

В Фонтенбло у Рёрихта, начальника главного штаба 1-й армии. Он живет в доме Долли Систерс; я ночевал у него. Воспоминание о прошлых временах, о ганноверской школе верховой езды, о Фриче, Зеекте, старом Гинденбурге,{43} — мы жили тогда в чреве Левиафана. Каменный пол столовой из зеленого в разводах мрамора, без ковра, по старому обычаю, чтобы можно было кидать собакам кости и куски жаркого. Разговор у камина, сперва о Моммзене{44} и Шпенглере,{45} затем о ходе военной кампании. Снова отчетливо вспомнилось опустошение, какое произвел Буркхардт{46} своим «Ренессансом», — прежде всего импульсами, с помощью Ницше распространившимися на весь образованный слой. Они подкреплялись естественнонаучными теориями. Удивительно здесь превращение чистого созерцания в волю, страстное действие.

Усложнению соответствует упрощение, весу — противовес на маятнике часов судьбы. Бывает, словно некая религиозность, еще и исповедуемая брутальность, еще более бесцветная и нервозная, чем исконная.

В подобных разговорах всегда стараюсь видеть перед собой не индивидуум, а стоящее за ним множество людей.

Еще лейтенант Рамелов показывал мне утром замок.

Шармиль. О полетах во сне. Она рассказала, что часто видит себя во сне летающей, и грациозным движением обеих рук показала, как она это делает. Однако при этом у нее ощущение, что вес тела мешает ей. Жажда полета преследует и одновременно страшит ее. Это верно и для многих других ситуаций, также и для теперешней.

Полет, который она изобразила руками, был не полетом птицы, а скорее какого-то нежного ящера, или в нем было что-то от того и другого. Такими я представлял себе взмахи крыл археоптерикса.

Париж, 25 января 1942

Днем в театре «Мадлен», где давали пьесу Саша Гитри. Бурные аплодисменты: «C'est tout à fait Sacha».[35] Вкус столицы мира легкомыслен, он наслаждается превращениями, путаницей, неожиданными совпадениями, точно в зеркальной комнате. Перипетии столь запутаны, что их забываешь уже на лестнице. Кто кого — уже все равно. Огранка зашла так далеко, что ничего уже вообще не осталось.

В фойе портрет Дузе;{47} мне кажется, только в последние годы этот род красоты обрел для меня смысл. Духовность, точно еще одна добродетель, окружает ее ореолом, через который трудно перешагнуть. Дело в том, что в подобных натурах мы ощущаем нечто родное, сестринское, так что здесь еще играет роль инцест. Нам легче приблизиться к Афродите, чем к Афине. В Парисе, протягивающем яблоко, говорили естественные желания пастуха-завоевателя, что приносило великую страсть и великое страдание. Будь он более зрелым, то узнал бы, что объятие дает также силу и знание.

Перед тем как выключить свет, как всегда — чтение Библии, в которой я дошел до конца Книги Моисея. Там я нашел ужасное проклятье, заставившее меня вспомнить Россию: «Небо твое над головою твоей будет железом, и земля под тобою железная».

Шурин Курт жалуется в письме, что у него отморожены нос и уши. Они везут с собой молодых ребят, отморозивших ноги. При этом они выехали с большой колонной машин. В своей последней сводке русские сообщают, что бои на этой неделе обошлись нам в семнадцать тысяч убитых и несколько сотен пленных. Лучше быть среди мертвых.

Париж, 27 января 1942

Письмо от Огненного цветка, в котором она пишет о своем чтении «Садов и улиц» и о местах, на которые она обратила внимание, вроде: «Читать прозу — как продираться сквозь решетку». На это ее подруга заметила: «На львов надо глядеть, когда они в клетке».

Удивительно, что этот образ создает совсем иное представление, чем предполагалось. Я имел в виду, что слова — это решетка, сквозь которую мы вглядываемся в невыразимое. Они чеканят оправу, камень же остается невидимым. Но образ льва я тоже принимаю. В искажении видения — одна из ошибок, но и достоинство style imagé.

Париж, 28 января 1942

При чтении человека ведут сквозь текст, но здесь действуют и собственные ощущения и мысли, а также некая аура, сообщающая блеск чужому свету.

При чтении каких-то предложений и картин в сознании зримо возникают мысли. Я выхватываю первую, заставляя прочие подождать в прихожей, но время от времени приоткрываю дверь, чтобы взглянуть, там ли они еще. При этом я одновременно продолжаю чтение.

Но при чтении я все время ощущаю, что мое собственное — да, по преимуществу собственное — живет и действует, и автор должен этому способствовать. Он пишет как человек, взявший перо в руки для людей. Насколько он жертвует самим собой, настолько же — и для других.

В почте письмо от Шлихтера с новыми рисунками к «Тысяче и одной ночи». Особенно хорошо получилась картина Медного города — грусть, вызванная смертью и красотой. Вид ее пробудил во мне страстное желание иметь этот лист у себя: она очень подошла бы в качестве противовеса к его же «Атлантиде перед погружением», уже много лет висящей в моем кабинете. Сказка о Медном городе, на колдовскую силу которой мне открыл глаза еще в детстве мой отец, — одна из самых прекрасных в этой чудесной книге, а эмир Муса — это глубокий ум. Ему внятна меланхолия руин, гордая горечь поражения, составляющая у нас суть археологических устремлений, но ощущаемая Мусой в сказке еще сильнее, проникновеннее.

Париж, 29 января 1942

Писал Шлихтеру по поводу иллюстрации к Медному городу. Мне вспомнились и другие сказки из «Тысячи и одной ночи», прежде всего о пери Бану, казавшейся мне образом высокой любви, ради которой легко отказываются от наследственной царской власти. Прекрасно, как юный принц исчезает в этом царстве, словно в более высоком духовном мире. В этой сказке он вместе с Мусой принадлежит к властителям старых индогерманских княжеств, далеко превосходящим обычных восточных деспотов и понятным и нам тоже. Прекрасно также в самом начале состязание в стрельбе из лука, являющемся символом жизни; натягивание лука принцем Ахмедом обретает напряженность метафизического порядка. Его стрела уходит высоко над всеми прочими своим собственным, никому не ведомым путем.

Замок пери Бану — это гора Венеры, перенесенная в духовные пределы; тайное пламя дарует благо, тогда как видимое — пожирает.

Париж, 30 января 1942

Среди почты письмо от Фридриха Георга, в котором он по поводу «Садов и улиц» приводит цитату из Квинтилиана:{48} «Ratio pedum in oratione est multo quam in versu difficilior».[36] Он затрагивает здесь вопрос, больше всего занимающий меня в последние годы, — как сообщить прозе новое движение, устремление, соединяющее силу и легкость? К таящимся здесь великим возможностям следует подбирать новые ключи.

Париж, 1 февраля 1942

Утром у меня был Небель по поводу инцидента, происшедшего с ним во время его чтений. Он не может, конечно, сказать, что его не предупреждали об этом заранее. После публикации своего сочинения о людях-насекомых у Зуркампа он сделался подозрительным, но теперь дал повод уже к непосредственному доносу. В Новый год они потешались в коридорах над «Главным лесничим». Теперь Небель должен исчезнуть в провинции, однако отъезд из города человека такого блестящего ума вызывает сожаление.

Днем у мадам Будо-Ламот, где Кокто читал новую пьесу «Рено и Армида». Речь идет о волшебной гармонии, которую отлично передает его голос, соединяющий духовную благозвучность с гибкостью. В особенности удалось то пленительное пение, которым волшебница Армида опутывает очарованного Рено, исполненное одновременно властной и легкой силы. Это все время катящееся, словно наматывающееся на невидимое веретено «file, file, file»,[37] подобно серебряной нити пронзающее воздух осени.

Кроме Гастона Галлимара я встретил там еще Геллера, Вимера, докторессу и актера Маре{49} — Антиноя из народа. Затем разговор с Кокто, во время которого он, среди прочих прелестных анекдотов, рассказал об одной пьесе, где разрисованные человеческие руки должны были изображать поднимающихся из корзин змей, которых должны были бить палками; и случилось так, что одной из змей довольно крепко попало, на что раздалось «merde»,[38] отпущенное статистом из ямы.

У Друана, недалеко от Оперы. К моим вечным недостаткам принадлежит еще и тот, что те дни, когда я испытываю особенную любовь к своим близким, и те, когда я в состоянии дать им это почувствовать, редко совпадают. Временами мною неудержимо овладевает дух противоречия.

Ночью сны: мне открылся во всей своей глубине замысел

окружающих помещений. Двери из них выходят в комнату, где я сплю, рядом находятся комнаты матери, жены, сестры, брата, отца и возлюбленной; в их скрытой власти и влиянии, в их тесном соседстве и их замкнутости было что-то в равной мере от торжественности и страшной тайны.

«— И тут вошла мать».

Париж, 2 февраля 1942

Вечером в «Рице», у пригласивших меня скульптора Брекера и его жены, гречанки-интеллектуалки, богемы. На закуску — сардины, поглощаемые m-me Брекер так, что ничего не осталось: «J'adore les têtes».[39] Здесь был также Небель, вновь с присущей ему парнасской веселостью. В отношении вещей, которые ему по душе, он обладает своеобразной мягкой манерой, как будто поднимает занавес перед сокровищем.

Современную жестокость он считает уникальной в своем роде, поскольку она основана на неверии в то, что в человеке есть нечто неподвластное разрушению, и в отличие, например, от инквизиции, полагает, будто возможно навеки уничтожить и изгладить самую память о нем.

Впрочем, с Небелем обошлись достаточно снисходительно; его сослали в Этамп.

Париж, 3 февраля 1942

Утром Енссен, заглянувший ко мне в кабинет в «Мажестик». При виде его я вспомнил его верные пророчества, услышанные год назад, когда большинство еще и не помышляло о войне с русскими. Понимаешь, что значит ясный, неодурманенный ум, коему ведома внутренняя логика вещей. Это сразу замечаешь по нему, его глаза и особенно лоб говорят об этом. Прочно утвердились одновременно индивидуальная и идеальная силы духа. Такие люди, как он и Попиц,{50} также присутствовавший тогда, — последние семена, занесенные в эту пустыню немецким идеализмом.

Новые предсказания. Мы застыли в оцепенении, это чувствуется с начала года. Я ощущаю это настолько отчетливо, будто ношу внутри себя прибор, измеряющий попутные и встречные течения.

Затем Валентинер, сын командира подводной лодки, старого викинга. Будучи ефрейтором, он числится здесь переводчиком при летчиках, на деле же проводит все время в основном среди книг и друзей в студии, снятой им в мансарде на набережной Вольтера. Он пригласил меня туда. Кажется, встреча из тех, что сулит долгое знакомство. Как только он вошел в комнату, сразу

стало ясно, что это человек духовной отваги.

Кочегар в котельной, где за вентилями давление в несколько миллионов атмосфер, Стрелка манометра медленно переползает роковую красную отметку. Становится тихо. Иногда за бронированными стеклами угрюмым мерцанием вспыхивают языки пламени.

Париж, 4 февраля 1942

Закончил «Фаустину» Эдмона де Гонкура. Я купил эту книгу, подписанную автором, несколько недель тому назад у Бере.

При чтении я все время испытывал легкое недовольство, причина которого была мне известна еще по дневникам Гонкуров. То же самое мешает и в художественном сочинении, куда жизненный опыт должен быть вплавлен глубже и незаметнее. Иначе вспоминаются коллажи, где наклеенное перебивает нарисованное.

Об отношении авторов к читателю: обращение Гонкуров к своим читательницам с просьбой присылать documents humains, содержащие скрытые подробности женской жизни, знание которых для них, как для художников, могло бы быть важным, является неприличным, оно нарушает отведенные литературе границы.

«Фаустине» недостает композиции: герои появляются не когда это необходимо, а когда нужно автору. Дичь придерживают, что можно себе позволить лишь в тех произведениях, где пером движет настоящая сила.

Париж, 5 февраля 1942

Из Юберлингена прибыли новые стихи Фридриха Георга. «Целина», в которой я опять обнаружил его старую любовь к канатоходкам и циркачкам, уже известные мне «Павлины», в которых блеск солнца подобен самоцветам, и «Солнечные часы». Собственно говоря, мужчинами становятся лишь после сорока лет.

Париж, 6 февраля 1942

Утром сны о пруде или о закованной в камень лагуне, у которой я стою, наблюдая животных в воде. В ней ныряют на глубину птицы и всплывают наверх рыбы. Я вглядываюсь в серо-жемчужного морского петуха, проплывающего, взмахивая крыльями, над скалистым дном. Сонно поднимаются, сперва как тени, потом становясь все четче, рыбы цвета зеленого камня. Я смотрю на все это с плоских, наполовину торчащих над водой утесов, вдруг заколебавшихся под ногами: я стоял на черепахах.

Париж, 8 февраля 1942

Утром у Шпейделя, в прихожей которого толчея по поводу подписания воскресного указа. Он как раз вернулся из главного штаба и показал мне полученные там акты. Они меняют мое мнение о том, что тенденция к уничтожению, стремление взять верх расстрелами, голодом и истреблением людей — следствие общенигилистических устремлений времени. Все это так, но за стаями рыб несутся акулы в качестве погонщиков.

Нет сомнения, что существуют отдельные фигуры, ответственные за кровь миллионов. Они выходят, как тигры на кровавую охоту. Независимо от инстинктов черни, им присущи ярко выраженная сатанинская воля, холодная радость от гибели людей, а может, и гибели всего человечества. Кажется, ими овладевают страдание, жгучая досада, когда они чувствуют, что какая-то сила хочет помешать поглотить им столько, сколько велит им их страсть. Их тянет к бойне, даже если это угрожает их собственной безопасности. То, что Йодль{51} говорил там о планах Кньеболо, было ужасно.

Следует знать, что многие французы недооценивают эти планы и жаждут послужить палачам. Только дома существуют силы, способные помешать объединению партнеров или хотя бы задержать его, но действовать, конечно, следует, не раскрывая карт. Самое главное здесь — избегать всякого намека на гуманность.

Днем в «Х-Рояль», чай с докторессой. Затем у Валентинера на набережной Вольтера. Старинный лифт, поднимающийся на тяговом механизме, издающем жалобные звуки, внушил нам страх. В мансарде мы увидели несколько комнатушек со старой мебелью и книги, разбросанные на столе и кресле. Их владелец встретил нас в довольно небрежной штатской одежде. Как только ему позволяет время, он отправляется в эту келью и вместе с внешностью меняет существование, проводя время в чтении, созерцании или с друзьями. Способ, каким ему это удается, говорит о его свободе и фантазии. Все это напомнило Кокто первую мировую войну, когда он проводил время подобным же образом. Мы неплохо поговорили в этом гнездышке, глядя при этом поверх старых крыш на Сен-Жермен-де-Пре.

Париж, 10 февраля 1942

Вечером у Ностицев, площадь Пале-Бурбон, Среди гостей я обратил внимание на молодого графа Кайзерлинга, хотя за весь вечер он не сказал ни слова. Как кошка пролежал он, вытянувшись в кресле, то ли страдая, то ли погруженный в

приятные мечты. Представители старых родов даже и в самом интеллектуальном обществе все еще сохраняют уверенность и элегантность поведения.

Париж, 12 февраля 1942

В полдень прогулка по авеню Терн. После стольких суровых недель сияние весны впервые оживило город, хотя черный, слежавшийся снег еще лежал на земле. Я ощущал нервозность, возбуждение и раздражение, как это часто бывает в начале весны.

О катастрофах в человеческой жизни: раздавливающее нас тяжелое колесо, выстрел убийцы или просто первого попавшегося нам навстречу. Давно уже копилась в нас взрывчатка, и вот снаружи поднесли огонь. Взрыв исходит из нашего нутра.

Отсюда множество моих ранений в первую мировую войну. Они отвечали огненному духу, жившему во мне и искавшему выхода, так как он был слишком силен для тела. Отсюда все эти дикие неприятности с буйством, картами и любовью, наносящие душевные раны и ведущие часто к самоубийству. Жизнь сама рвется под дуло пистолета.

Париж, 13 февраля 1942

В «Рафаэле». Майор фон Фосс, в котором подобно серебряной жилке таится отблеск XV века. В нем течет кровь миннезингера, полная былой волшебной силы, легкой и свободной. Тут всегда появляются добрые спутники. Такие встречи — как урок истории.

Париж, 15 февраля 1942

Я навестил докторессу, лежащую с радикулитом. Разговор о человеческом теле, его анатомии в особенности. Она сказала, что раньше, возвращаясь домой из анатомического театра и наглядевшись там на яркокрасную человеческую плоть, ощущала приступы внезапного голода.

Париж, 16 февраля 1942

Андромеда: с царскими дочерьми вроде нее — то же, что и с германскими племенами, которые должны были пережить насилие христианства, перед тем как познали его глубину. Они способны любить, лишь когда их приводят к пропасти в жертву дракону.

Любовь к одной определенной женщине всегда двойственна, ибо она направлена то на общее, свойственное миллионам других, то на принадлежащее только ей одной отличие от всех прочих. Как редко встречается в индивидууме совершенное сочетание того и другого — чаши и вина!

Париж, 17 февраля 1942

Вечером у Кальве в обществе Кокто, Вимера и Пупе, принесшего мне автограф Пруста для моей коллекции. В связи с этим Кокто рассказал о своем общении с Прустом. Тот никогда не давал стирать пыль; она лежала «подобно шиншилле» на всех предметах обстановки. При входе домоправительница спрашивала, нет ли у пришедшего с собой цветов, не пользовался ли он духами и не проводил ли время в обществе надушенной женщины. Его видели чаще всего в постели, но одетым, в желтых перчатках, чтобы не грызть ногти. Он тратил много денег, чтобы в доме не работали ремесленники, чей шум ему мешал. Окна никогда не открывались; ночной столик был заставлен лекарствами, ингаляторами, пульверизаторами. Его рафинированность была не без зловещего оттенка; так, он ходил к мяснику и заставлял показывать «как закалывают теленка».

О плохом стиле. Всего вернее он проявляется в сфере нравственного, например, когда борзописец готов оправдать преступление вроде расстрела заложников. Это режет глаз намного сильнее, чем любой эстетический промах.

В конечном счете, стиль зиждется на справедливости. Только справедливому ведомо, на каких весах следует взвешивать слово или предложение. Именно поэтому мы никогда не видим хороших писателей на стороне дурных дел.

Визит кавалера ордена Железного креста фон Шрамма, прибывшего с Востока. Массовое умирание в ужасных котлах пробуждает тоску по старой смерти — когда она не раздавливает человека. По этому поводу Шрамм выразился, что не каждого втягивает в этот смертельный водоворот, как не каждому было уготовано судьбой погибнуть на манчестерских заводах. Главное, в конечном счете, — оставаться человеком и перед лицом смерти. Тогда каждый сам собственными силами творит себе ложе и алтарь. Там становится действительностью множество самых мрачных наших снов; происходят вещи, приход которых был очевиден еще более семидесяти лет тому назад, — теперь это наша историческая реальность.

Париж, 22 февраля 1942

Днем у Клауса Валентинера на набережной Вольтера. Я встретил там также Небеля, outcast of the islands,[40] точно во времена римских цезарей едущего завтра на один из островов. Потом к Вимеру, который прощался. Там Мадлен Будо, секретарша Галлимара, передала мне сигнальный экземпляр перевода «Мраморных скал», сделанного Анри Тома.

В «Рафаэле» я проснулся от нового приступа тоски. Это случается как дождь или снег. Мне стало ясно, как чудовищна отдаленность людей друг от друга, особенно очевидная, если они самые близкие и любимые. Мы — словно звезды, разделенные бесконечной бездной. Но после смерти все будет по-другому. В ней прекрасно то, что вместе с физическим светом она гасит и это отдаление. Мы будем на небесах.

Затем мысль, умиротворившая меня: может, именно сейчас Перпетуя думает обо мне.

Жизненная борьба, бремя индивидуальности. С другой стороны — затягивающая пучина невыделенного, неотграниченного. В момент объятия она поглощает нас, погружая в слои, где покоятся корни древа жизни. Существует также легкая, мгновенная страсть, исчезающая, как горючее вещество. И тут же брак — «и будете едина плоть». Его заповедь: вместе несите свой груз. Затем смерть, рушащая стены индивидуального разъединения, становящаяся моментом наивысшего блага. Матфей 22, 30. Лишь за ней одной за гранью времен скрыты мистические узлы всех наших истинных связей. Мы прозреем, когда померкнет свет.

Книги: хорошо, когда в них находишь мысли, слова, предложения, позволяющие думать, что рассказ — словно тропинка, проложенная в бескрайних неведомых лесах. Читателя ведут по землям, границы которых скрыты от него, и весть об их изобилии лишь иногда долетает до него, словно благоуханный ветерок. Писатель — это тот, кто черпает из несметных сокровищ, и, платя весомой звонкой монетой, он подпускает в деньги также монеты и чужой чеканки — дублоны, на которых виднеются гербы неизвестных царств. В тексте выражение Киплинга «но это уже другая история» проявляет свой точный смысл.

Париж, 23 февраля 1942

После обеда во дворце Талейрана за чаем у покидающего свой пост главнокомандующего, генерала Отто фон Штюльпнагеля.{52}

В нем удивляет смешение изящества, грации, гибкости, что делает его похожим на придворного распорядителя танцев, сухого и меланхоличного. Его речь отличается испанской вежливостью; он носит высокие лаковые сапоги и золотые пуговицы на мундире.

Меня вызвали по вопросу о заложниках, точное изображение которых для будущих времен занимает его сердце. Оно же стало поводом для его смещения теперь. На таком посту, как у него, снаружи видна только большая власть проконсула, но не тайная

история раздоров и интриг в недрах дворца. История же эта полна борьбы против посольства и той партии во Франции, которая постепенно завоевывает плацдарм, не пользуясь при этом поддержкой высшего командования. Развитие и перипетии этой борьбы, к которой также относится возня вокруг заложников, фиксируются мною по распоряжению Шпейделя в тайных актах.

Генерал сразу коснулся человеческих и слишком человеческих аспектов этого дела. Было заметно, что все это давно уже действовало ему на нервы и потрясло его до глубины души. Затем он углубился в тактику своего сопротивления. Необходимо соблюдать меру, хотя бы ради возможного получения результата. Промышленники охотнее помогут нам, если дела будут в порядке. Ведь изменись неожиданно обстановка на Востоке, все это будет чрезвычайно важно. И вообще, влияние на Европу должно опережать времена, когда все решается штыком. Он придерживался благоразумия; о слабости, в которой его упрекает руководство, не может быть и речи. Как многих старых профессиональных военных, упрек в слабости, «осторожничанье», задевает его больше всего.

Ввиду большого превосходства противника отход на исходные тактические позиции казался ему единственно верным. Поэтому он все время пытался подчеркнуть, что массовые контрмеры играют на руку Сопротивлению. Отсюда так часто в его «молниях» верховному командованию предложение: «Репрессии не оправдывают себя». Единственный выстрел из пистолета, произведенный террористом, мог потонуть в шквале ответной ненависти. Так, доходило до парадоксальных случаев, когда о большей части покушений в донесениях начальству умалчивалось.

В этих генералах проявляет себя, очевидно, общее бессилие буржуазии и аристократии. Остроты их взгляда хватает, чтобы видеть, к чему ведут события, но у них недостаточно сил против умов, не знающих других средств, кроме насилия. Новые владыки используют их в качестве надзирателей за полевыми действиями. Но что будет потом, когда падут и эти последние столпы? Тогда во всех странах установится свинцовый ужас в стиле ЧК.

Во всем этом есть еще одна сторона, выходящая за рамки нашего времени, — это то положение проконсула, в котором уже однажды был Пилат. Разъяренная толпа требует от него невинной крови и ликованием встречает убийц. Откуда-то издалека, с божественных высот, мечет громы и молнии император. Тогда очень трудно сохранять сенаторское достоинство; и, умывая руки или исчезая, как здесь, в качестве офицера противовоздушной обороны в каком-нибудь берлинском квартале, выносишь себе

приговор.

Смерть. Лишь немногие, те, кто слишком благороден для жизни, могут стать выше смерти. Они ищут чистоты, одиночества. Великодушие существ, светом стирающих грязь, выступает прекрасными чертами и на челе умершего.

Что мне дорого в человеке — это его существование по ту сторону смерти и общность с ним. Здешняя любовь — лишь слабый отсвет ее. «Что здесь мы есть, исправит там Господь…».

Как приходит Понтий Пилат к своему убеждению?

Следовало бы спросить коптов; они его чтят как мученика.

Ночью сны о глыбах скал, на которые я карабкаюсь. Они так слабо скреплены, что мой вес заставляет их колебаться и каждое движение грозит чудовищным обвалом.

Как только я почувствовал, что равновесие удержать невозможно, сделал усилие и открыл глаза, заставив сон прекратиться. Я поступил, как человек, демонстрирующий фильм, в котором сам участвует; когда приблизилась катастрофа, я вырубил ток.

В этом отношении я уже многому научился, из чего извлек пользу для повседневной жизни. Мы видим мир во сне и должны вмешиваться, если это необходимо. Решающим для этих лет, собственно, и стало мое поведение в том сне, когда во время переправы на Родос мне явился Кньеболо и стал мериться со мною волей.

Понять, как это все свершилось в ту ночь у Герстбергера в Эрматингене. На секунду открылся Везувий: стало ясно, что не хватает исторических сил для перемен. Рядом с домом выли собаки. Должно быть, накануне ночью вытоптали виноградник. «Это те, кто хочет идти на дракона, они ждут от тебя напутствия». Днем вокруг ужасного массива стянуло облака.

Париж, 24 февраля 1942

Вечер у Фабр-Люса, авеню Фош. Я встретил там обоих братьев, профессоров-философов, и г-на Рувье.

Хозяин рассказал об одном знакомом, не выносившем священников; часто, приходя домой, он складывал руки: «Господи, спасибо Тебе, что Ты не создал меня верующим».

Однажды в Верхней Баварии он сидел на скамье в лесу, разглядывая горы, и тут с дерева возле него на землю упала змея. Он сразу же ушел; пейзаж больше не радовал его. «Il y a des choses, qui rompent le charme».[41]

Мы обедали в кабинете, стены которого до половины были обшиты темным деревом. В одну из стен была вделана большая карта мира. Она была совершенно белой, как *терра инкогнита,* и

только места, в которых побывал хозяин, были закрашены.

Париж, 28 февраля 1942

Письма. Мать пишет из Оберсдорфа, что у нее вызывает отвращение слово *ничто,* по всяким поводам вылезающее теперь везде. Например, плакат: «Народ — всё, ты — ничто». Иными словами, некое целое, составленное из нулей. И правда, такое впечатление возникает часто. Игры нигилистов становятся все более явными. Высокая ставка вынуждает их открывать карты, и часто они уже отказываются от мотивировок своих действий.

В Гамбурге намерены, как считает Отта, напечатать остаток «Другой стороны» Кубина, еще лежащий у них. Это, если б удалось, можно назвать просто переводом бумаги, подобно тому как в применении к людям можно говорить о переводе их на пушечное мясо.

Наконец, письмо от Анри Тома, касающееся в первую очередь перевода некоторых географических названий и имен собственных, чьи скрытые значения использованы в «Мраморных скалах». Так, «Филлерхорн» происходит от исчезнувшего глагола *fillen,* что значит «сдирать шкуру, мучить, терзать». Он использовал для перевода *corne aux tanneurs*,[42] полагая, что это древнейшее занятие, а также упоминание о нем в связи с пользующимся дурной славой местом придают тексту мрачный средневековый колорит. «Кёппельсблеек», или лучше «Кёппелесблеек», — место, где «белят черепа»; он воспользовался словом *rouissage*.[43] Я использовал здесь название угодий под Госларом. В народе его уже переделали в «Геббельсблеек». Для «Pulverkopf» он решил использовать *hauteflamme* или *brusqueflamme*,[44] что кажется мне не вполне созвучным иронии реплики в адрес старого артиллериста, хваставшегося, что у него всегда найдется в запасе орудие для честных христиан, которому еще и названия не придумали. Поэтому я предложил назвать его *le vieux pétardier*,[45] что, однако, показалось Тома слишком грубым. Он склонялся, скорее, к *boutefeu*,[46] чему-то среднему между «Luntenstock»[47] и «Brandstifter»,[48] — слово, имеющее, как говорят, иронический оттенок по отношению к возрасту. Soit.[49]

Мне кажется, он проявил достаточно изобретательности при переводе книги, умело охотясь в дебрях языка. Перевод — это страсть.

Париж, 1 марта 1942

Закончил: Фредерик Буйе «Французская Гвиана», рассказ о путешествии, предпринятом автором в 1862/63 гг. Хорошее описание болот с их растительным, животным и человеческим

миром. Местным обитателям уже тогда был знаком состав инъекции против укуса змей. Один защищенный таким образом человек, копая могилу, нашел изящную змейку — кораллового аспида. И, несмотря на предупреждения, уложил ее вокруг шеи как украшение. Был укушен и тут же умер. Другой, также привитый от змеиного укуса, напротив, демонстрировал за деньги, как его кусает змея хабу. По его квартире их ползало целое семейство, так он экономил на замках и ригелях, ибо его обитель предпочитали обходить стороной.

Париж, 2 марта 1942

Визит к Грюнингеру, вернувшемуся с Востока. Он командовал там батареей. Из его каприччос:

281-я дивизия, выпущенная со скудным зимним обмундированием и сразу почти уничтоженная морозом, получила название «астматической дивизии».

На перекрещении траншей в положении стоя замерз комиссар, убитый немецким ефрейтором в рукопашной схватке. Этому ефрейтору часто приходилось сопровождать в походах по позиции приезжих офицеров и обычно он проводил их мимо этого места, словно скульптор, показывающий свою работу.

Одного русского полковника взяли в плен с остатками его полка, много недель проведшего в окружении. На вопрос, где он доставал продовольствие для части, тот ответил, что они питались трупами. На упреки в свой адрес он добавил, что сам потреблял только печень.

После мрачной зимы сегодня был первый весенний день. Толпа на Елисейских полях выказывает даже радость и веселье. Звон множества скребков, отдирающих снежную броню с улиц, вызывает светлое чувство, как пасхальные колокола.

Я купил в книжном магазине на рю Кастильоне, 8 трехтомное чтиво, обещающее мне будущими зимними ночами в Люнебургском бору часок-другой услады, — историю кораблекрушений, зимовок, высадок, робинзонад, пожаров, голодовок и других бедственных эпизодов на море, изданную Куше, Rue et Maison Serpente, на третьем году Республики. Штемпель указывает на прошлого владельца книги — иезуитский монастырь.

В этой большой шахматной партии женщины не всегда склонны позволять довести ее до конца. Но они ценят, когда стремление к этому придает скрытую остроту и изящество уже первым ходам. В чем и состоит соль галантности.

Вечером с Абтом, бывшим фаненюнкером, вместе с Фридрихом Георгом у Рампоно.{53} После обеда раздался удар,

показавшийся мне взрывом, поэтому я и записал эту минуту. Когда мы ощутили новые содрогания, то решили, что это весенняя гроза, изредка случающаяся здесь в марте. Когда Абт спросил кельнера, не идет ли дождь, тот ответил со сдержанной улыбкой: «Гости считают это грозой; думаю, это, скорее, бомбы». Мы решили выйти и услышали, что действительно в ответ заработала ПВО. Над морем домов повисли оранжево-желтые авиабомбы англичан. Временами над крышами, словно летучие мыши, скользили самолеты.

Обстрел все еще продолжался, когда я уже лежал в кровати. Я прочитал сочинение Дю Боса{54} о Гонкурах и главу из Книги Царств. Вспышки огня служили декорацией.

Париж, 4 марта 1942

Ночной налет, особенно досталось заводам Рено; к вечеру выяснилось, что он обошелся в 500 убитых, в основном это были рабочие. Десять немецких солдат были смертельно ранены, в госпиталях лежат свыше тысячи пострадавших. Хотя разрушило большие фабрики и 200 квартир, из нашего квартала все происходящее выглядело как сценическая подсветка в театре теней.

Париж, 5 марта 1942

Вчера в обществе докторессы, которая консультировала меня по поводу сильной простуды; ел курицу, присланную славной фрау Ришар из Сен-Мишеля. Выпив в «Рафаэле» горячего рома, не спал всю ночь, находясь в полубреду. Часы эти не проходят даром; уже не раз мне казалось, что с повышением температуры все жизненные и духовные процессы ускоряются, и человек подымается, словно вода над запрудой.

Ночи в лихорадке для меня всегда плодотворны. Я склонен думать, что они имеют преобразующий характер; они отделяют друг от друга не только болезнь и здоровье, но и целые духовные эпохи, как часто праздник знаменует переход в другое десятилетие.

Вечером в гостях у Валентинера в его студии на набережной Вольтера. Он раздобыл мне Токвиля,{55} а также подарил «Черные сказки» Сен-Альбена.{56} Затем Геллер, Ранцау, Дрешер; общий разговор о Токвиле.

Когда речь идет о таком тонком человеке, как Ранцау, часто натыкаешься на мнение, что в опасные времена, вроде наших дней, командование подобает грубым, властным натурам и должно принадлежать им. Après on verra.[50] Это точка зрения заезжего человека, остановившегося в кабаке и надеющегося, что,

пока он будет ночевать наверху, внизу все перебьют друг друга. Этот расчет не всегда оправдывается.

Париж, 6 марта 1942

В полдень у Прунье с Моссаковским, работавшим ранее сотрудником у Келлариса.{57} Пусть мне и следует ему доверять, но на этих живодернях, устроенных в восточных приграничных государствах, есть мясники, своей собственной рукой убившие людей больше, чем может насчитать жителей средний город. Свет дня меркнет от таких вестей. Хочется закрыть глаза; остается важным, однако, наблюдать за ними, как врач, исследующий рану. В них — симптомы неисчислимого множества болезней, требующих лечения, и, полагаю я, лечению поддающихся. Если бы не эта вера, я бы сам собственной персоной отправился ad patres.[51] Дело, конечно, глубже, чем в политике. Этот позор пронизал собою все.

Вечером в «Рафаэле» Вайншток и Грюнингер, переполненный каприччос с Востока. Может быть, когда-нибудь эти катастрофы обретут нового Гойю, которому известны градации и на точке абсолютного нуля.

Русские раненые, в течение долгих часов звавшие на помощь в лесу, вытаскивали пистолеты и стреляли в немецких солдат, пришедших за ними. Еще одно свидетельство того, что бои приобретают зоологический характер. Смертельно раненный зверь кусается, если до него дотронуться.

Можно видеть уложенные на брезенте трупы, по которым проехали тысячи танков, раскатав их окончательно. Движение продолжается по ним, как по декалькоманям или чертежам, впаянным в ледяной покров улицы.

Грюнингер является провозвестником того типа, что «поднялся над всем»: уже преодолев боль, он в то же время сохранил чуткое восприятие окружающего. Связь эта парадоксальна. Но на ней, вероятно, вообще зиждется развитие; оно совершается путем, отмеченным точками пересечения.

За столом один майор, долго живший в Москве перед первой мировой войной, повествовал о катании на санях, дивных мехах, сортах икры и обедах азиатской пышности. Сегодня это уже сон о роскошной сказочной стране, нечто вроде средневековой Персии. Один богатый купец велел вначале подать шампанское в серебряных ночных горшках и затем сразу сделал знак убрать их, когда один из гостей скривил лицо. Пример смешения варварства и своеобразной тонкости, и теперь мало что изменилось.

Затем Книга Царств. Соперничество между Саулом и Давидом — вечный пример столкновений молодых с легитимной властью.

Здесь не может быть соглашения.

Париж, 8 марта 1942

В почте письмо от Фридриха Георга, среди прочих новостей сообщающего о своем визите к Штраубам в Нусдорф, — в дом, мимо которого мы так часто проходили во время прогулок в лесу Бирнауэр. Он пишет о светильниках в этой квартире, напоминающих растения, — «в воздухе будто образуются очертания ярких цветов».

После обеда с Вайнштоком у молодого скульптора Гебхардта; он что-то вроде эмигранта, негласно получающего поддержку из дома. По дороге мы, как часто теперь бывает, обсуждаем ситуацию. Похоже, все три главнокомандующих на Западе едины во мнении, что результаты весенней кампании еще дадут о себе знать. В этих разговорах мы прошли мимо катафалка, сооруженного на площади Согласия в память о жертвах английской бомбардировки. Толпы парижан проследовали мимо него.

У Гебхардта мы встретили княгиню Барятинскую. Осмотр скульптур, из которых, по-моему, особенно удалась голова молодого Дрешера. Высказывание княгини о Клаусе Валентинере: «Он точно пчела, перерабатывающая в мед все, что ей попадается».

Затем за мной зашла докторесса, и я сопровождал ее по кварталам с антикварными магазинами, как всегда властно заставляющими погружаться в мечты из-за самой ауры, исходящей от наваленной в них исторической мишуры.

Ночью снились разные животные, среди них — тритон с синей спинкой и белым животом, обрызганным голубыми и желтыми пятнами. Особенность красок состояла в том, что они, как тонкая и влажная кожа, были напитаны протоплазмой; она влилась в них чудесной свежестью и нежностью. Так что сланцевая синева и белый, немного с желтизной, цвет нижней части превосходили всякое воображение. С таким блеском краски могут светиться, если только в них играет жизнь, подобно пламени, в котором сгорает любовь.

Проснулся в мыслях о моем старом плане — теории dei colori, в которой цвет будет трактоваться как функция поверхности.

То, что я люблю в них далеко запрятанное и, пожалуй, лучшее, — в этом причина холода, который во мне замечают.

Жизнь — это в сущности всего лишь ее край, только поле боя, на котором сражаются за существование. Это всего лишь наружный форт, кое-как слепленный по подобию цитадели, куда мы возвращаемся после смерти.

Цель жизни — обрести идею о том, что есть жизнь. Идея эта ничего не меняет в абсолюте, возвещаемом священником, но она помогает совершить этот переход.

Ставки, на которые мы играем со своими счетными жетонами, страшно, непомерно высоки. Мы похожи на детей, играющих на бобы и не ведающих, что в каждом из них заключены возможности чуда весеннего цветения.

Париж, 9 марта 1942

Вечером с докторессой, пригласившей меня в «Комеди Франсез». «Les femmes savantes».[52] Все еще есть острова, к которым можно причалить. В фойе — сидящий Вольтер Гудона: старческие и детские черты чудесным образом соединились в нем. Замечательно также, что духовная веселость легко торжествует над давящим грузом лет.

Париж, 10 марта 1942

Опусу до́лжно стремиться к тому пределу, за которым он становится лишним, ибо тогда проглядывает вечность.

Мера, когда он приближается к высшей красоте и глубинной истине, достижима на невидимой черте, и все меньше боли причиняет мысль о том, что он как шедевр сгинет со всеми своими летучими символами.

Все это относится к жизни вообще. В ней следует достигать состояния, в котором легко, осмотически совершается этот переход, — когда жизнь выслужила смерть.

Вечером у нового главнокомандующего Генриха фон Штюльпнагеля{58} в круглом салоне. Мы говорили о ботанике и византийской истории, в которой он сведущ. «Андроник» стало для нас теперь ключевым словом. Он полагает, что знаниями и всем прочим обязан своей теперь уже слабеющей памяти, когда, частенько скучая в лазаретах, пополнял штудиями скудное кадетское образование. В отличие от своего предшественника и двоюродного брата, он, без сомнения, обладает непринужденностью, придающей ему аристократизм. Его украшает улыбка, привлекающая к нему людей. Это сказывается во всем, прежде всего в его обходительности.

Париж, 11 марта 1942

В первой половине дня меня навестил Карло Шмид,{59} с которым я когда-то пропьянствовал целую ночь в Тюрингии; теперь он пребывает в Лилле при главнокомандующем Бельгии. Мы говорили о его переводах Бодлера, из которого он прочел «Les Phares».

Затем о положении. Он считает, что сейчас речь идет не столько о борьбе между людьми, сколько за людей, — ощутимо заметно, как людей залавливают и тащат в сторону правого или неправого дела.

После обеда у Галлимара. Там разговор о «Falaises de Marbre»[53] с главой издательского дома, его директором Стамероффом и Мадлен Будо-Ламот. От Галлимара, как и положено хорошему издателю, исходит ощущение духовной и интеллектуальной силы. В нем есть также что-то от пастыря.

Затем Книга Царств. Давид привносит нечто новое в Закон — черту элегантности. Видишь, как меняется и сам Закон, когда человек, по сути не меняя в нем ничего, служит ему иначе. Взаимосвязи вытанцовывались по-другому.

Ваал. В соседстве с такими богами Иегове приходилось внушать страх. Следовало бы сохранить о них представление, это позволило бы видеть их даже сегодня, когда их алтари уже давно рассыпались в прах. Ведь они не просто верстовые столбы на пути человечества. Достоевский увидел Ваала в лондонских вокзалах.

Когда наступят мирные времена, я намерен по-новому организовать свое чтение, сделав теологию его основой.

Париж, 12 марта 1942

Говорят, со стерилизацией и уничтожением сумасшедших число родившихся на свет душевнобольных детей увеличилось во много раз. Точно так же борьба с нищими окончилась повсеместной бедностью, а уничтожение евреев приводит к распространению еврейских качеств во всем мире, бытие которого обретает ветхозаветные черты. Истребление не гасит память об архетипах; скорее, таким образом их высвобождают.

Бедность, болезни и все зло держатся, кажется, на совершенно определенных людях, подпирающих их подобно столпам. Но это самая шаткая опора в мире. Когда она рухнет, груз опустится на своды. Обвал повергнет в прах всех этих безмозглых экономистов.

Шабаш лемуров с убийствами мужчин, детей, женщин. Страшные трофеи зарываются не глубоко. Тут приходят другие лемуры, разрывают их; со зловещей страстью они фотографируют расчлененные, наполовину разложившиеся останки. Затем одни лемуры демонстрируют их другим.

Какая невероятная возня вокруг мертвечины!

Париж, 14 марта 1942

Tristitia. Днем прогулка с Шармиль через авеню Мэн к рю Мезон-Дьё. Возвращались через кладбище Монпарнас. Мы

наткнулись там на могилы Дюмона д'Юрвиля и летчика Пежо.

После тарелки супа — «Мизантроп» в «Комеди Франсез». В антракте снова отыскал гудоновского Вольтера. На сей раз мне бросилась в глаза смесь злобности и детскости.

Парикмахерша говорила докторессе о бомбардировке:

— Я их не боюсь. Мертвым лучше, чем нам.

— Но ведь Вы этого не знаете.

— Да, конечно, но заключаю из того, что никто не возвращается обратно.

Париж, 15 марта 1942

Прогулка с Арманом в Буа при чудесном свете солнца. Я ожидал его под Триумфальной аркой, возле могилы, обложенной желтыми нарциссами и фиолетовыми анемонами, в их чашечки погружались пчелы. Мысль: неужели в этом каменном море они живут только за счет срезанных цветов?

Все чаще человек представляется мне страдальцем, зажатым меж зубцов и валов некой машины, раздавливающей ребро за ребром, член за членом; при этом он все же не может умереть, быть может он даже побеждает.

Париж, 16 марта 1942

Вечером в мою комнату пришел полковник Шпейдель; он принес статью, написанную обо мне Штернбергером во «Франкфуртере». Он также показал мне приказы. Что касается Кньеболо, разворот от Дьявола к Сатане все более очевиден.

Удивительно, что внутреннее вращение атомов свершается в каждом камне, в каждой крошке, в каждом клочке бумаги. Материя живет, и вещи обманывают нас; тогда мы не схватываем собственного характера материала, из которого они сделаны. Мы видим лишь тени Абсолюта, часть неделимого света.

Париж, 28 марта 1942

Вечером у мадам Гульд{60} в «Бристоле» с Геллером и Жуандо,{61} «Chroniques Maritales»[54] которого я когда-то давно читал.

Воздушная тревога. Мы сидели при свете и пили шампанское 1911 года в сопровождении гула самолетов и грохота снарядов, сотрясавших город. Маленькие, точно муравьи. При этом разговоры о смерти. Мадам Гульд сделала несколько заслуживающих внимания замечаний на эту тему — о том, что смерть принадлежит к тем немногим переживаниям, которых никто не в силах у нас отнять, и что, собственно, чаще всего нас обогащает именно тот, кто замыслил нанести нам особенно

сильный урон. Судьба может лишить нас всех значительных встреч — но только не со смертью.

В качестве самого верного политического поведения она упомянула: «Не бояться!» Однажды вечером в тропиках она увидела бабочку, опустившуюся рядом со светом садовой лампы на спину геккона. Пусть это и будет символом высшей отваги.

Затем о Мирбо. Мне казалось, ужасный ландшафт за окном обладал для нее притягательностью, той возбуждающей силой, что единственно еще действует после того, как испытаны все наслаждения, предлагаемые богатством.

Жуандо, с которым я говорил сперва о Бернаносе{62} и Мальро, затем о гражданской войне как таковой, считает, что ничто так ее не объясняет, как биография Цицерона. Он пробудил во мне желание снова заняться теми временами.

Картины, возникающие в нас. Все чаще я вижу себя теперь одиноким туманным вечером на опушке леса в Юберлингене или в Штралау в начале войны или ребенком, изучающим узор обоев комнаты в Брауншвейге. Мне кажется, значительные решения принимались именно там, пока я всего лишь грезил или размышлял.

Может быть, лишь временами, вне всякой деятельности, воспринимаешь такты мелодии жизни. Они возникают именно в паузах. В них мы прозреваем тогда весь строй, целое, лежащее в основе нашего бытия. Отсюда сила воспоминаний.

Целокупность нашей жизни, кажется мне, является нам не подряд, но чем-то вроде головоломки, в частях которой то там то здесь отыскивается немного смысла. Капризы детей часто ужасны; с другой стороны, наступающие затем формы жизни наносят детству раны без всякого промежуточного элемента.

Может быть, действие наших звезд сказывается сильнее всего, когда, грезя в тиши комнаты, мы встречаемся сами с собой, — ничто не является нам; это мы входим в новый дом.

Париж, 30 марта 1942

Клаус Валентинер вернулся из Берлина. Он рассказал о жутком подонке, бывшем учителе рисования, за кем тянулась зловещая слава руководителя команды убийц в Литве и других приграничных районах, ими было уничтожено бесчисленное множество людей. Согнав жертвы, их заставляли выкапывать массовые могилы и укладываться туда, затем расстреливали их слоями. До этого их обирали, оставляя на теле только рубахи.

Страшные картины всеобщего голода. На большом концерте Вагнера в кульминационный момент из музыки выпали тромбоны, так как ослабевшим духовикам не хватило дыхания.

Париж, 4 апреля 1942

Прогулка в темноте по Елисейским полям, пронизанным первым целительным ароматом цветения и юной зелени. Особенно сильный запах издавали цветущие каштаны.

Днем, чтобы немного развеяться, в студии Валентинера. Во дворе — старое ателье Энгра,{63} рядом высокий, стройный ясень, стремящийся из этого колодца к свету.

Клаус рассказал, что его отец, старый викинг, пообещал ему 500 марок в случае, если он вместе с прелестной француженкой, жившей у него, порадует его внучком.

Париж, 5 апреля 1942

С Геллером и Подевильсом у Валентинера, где мы встретили Ранцау. Будет ли война, как предсказывают многие авгуры, закончена осенью? Над высокими крышами разразилась весенняя гроза с градом, затем старые крыши и колокольни перетянуло двойной радугой на серо-голубом фоне неба.

Ночью, или уже под утро, забухала тяжелая артиллерия. За завтраком я узнал, что налет стал причиной многих пожаров, в частности горели заводы каучука Asnières.

Париж, 6 апреля 1942

Разговор с Косманом, новым начальником главного штаба. Он поведал мне жуткие подробности из жизни лемуров на Востоке. Мы в самом деле тонем в бестиальности, как предсказывал еще Грильпарцер.{64}

Париж, 7 апреля 1942

Прощание с парижским синклитом на набережной Вольтера. Здесь Дриё ла Рошель, Кокто, Вимер, Геллер, Дрешер, Ранцау, княгиня Барятинская, два немецких лейтенанта и молодой французский воин, отличившийся в последнем походе. Мадлен Будо-Ламот в шляпе с черно-красно-черными петушиными перьями, вроде мавританки. Пупе, кого бы я с удовольствием повидал, к сожалению, болен.

Глядя на этих людей, я отчетливо ощущаю, какое множество самых разных ответвлений потока моей жизни впадает в этот город, как в некое водохранилище.

Париж, 8 апреля 1942

Обед у Лаперуза с Эптингом{65} и Гро-Менье, чье лицо приобрело явно демонические черты. Оно утратило веселую живость, зажегшись взамен мрачным сатанинским светом. Он

пророчит, что скоро во Франции прольется кровь, что-то вроде кровопускания, возвращающего пациенту силу. Надо еще хорошенько разобраться, кого эта процедура коснется; сам он явно вне круга людей, на который намекает. Таким было и впечатление.

Затем о Японии, названной им единственной победительницей в этой войне.

Мангейм, 9 апреля 1942

В семь часов утра отъезд с Восточного вокзала. Рем привез меня к поезду. Небо было чистой голубизны, особенно заметна была волшебная игра красок на воде рек и каналов. Я различал тона, каких не ведал ни один художник. Голубые, зеленые и серые зеркальца вспыхивали на воде, точно прозрачные прохладные камни; цвет был больше, чем цвет: воплощение и отражение полной тайн глубины, играющие рефлексами на поверхности воды.

За Коолусом — сокол цвета светлой ржавчины, опустившийся на куст шиповника. Поля полны высоких стеклянных колпаков, в которых выхаживают дыни и огурцы, — они словно реторты, там происходят таинственные процессы сбраживания в царстве садоводческой алхимии.

Перед Тьокуром читал в солнечном свете «Faux-Mannayeurs». Когда солнце зашло за гору, буквы начали светиться глубоким фосфорно-зеленым светом.

Вечером в Мангейме, где на вокзале меня встретил Шпейдель; я был у него в гостях. Маленький Ганс с его артистическим умением радоваться. Такие дети словно магнитом притягивают к себе любовь и подарки. Затем дочурка, очень чувствительна; на следующий день после ночной бомбежки отказалась от еды. Кто знает, какой груз ложится на девичьи плечи?

Кирххорст, 10 апреля 1942

Утром Шпейдели провожали меня на вокзал. По тому как люди обходятся друг с другом в поездах, по обслуживанию, прежде всего в вагонах-ресторанах или в отелях, очевидны изменения, гасящие всякие различия. Особенно это ощутимо, когда выезжаешь из Франции.

Поздно вечером в Ганновере. Перпетуя с машиной ждала меня на вокзале.

Кирххорст, 22 апреля 1942

С детьми на болоте. Малыш назвал тритона, увиденного им в

первый раз, «водяной ящерицей», что порадовало меня больше, чем если б он дал верное название; тем самым он выказал дар к дифференцированию, лежащий в основе всякого познания; так золото обеспечивает печатанье денег.

Кирххорст, 24 апреля 1942

Отрывок из долгого разговора во сне; я записал его, когда проснулся.

Я: Лучше всего я продвигаюсь вперед в моей старой теме — сравнительная психология рыб.

Перпетуя: Если ему там что-то удается, сама эта радость внушает ужас его друзьям.

Я: Значит, будущее будет ужасным.

На полу лежали бледные, напоминающие по форме дольку месяца рыбы, одной из которых я просунул палец в глотку, чтобы нащупать железы, похожие на бугорки.

Кирххорст, 9 мая 1942

На болоте. Я слушал кукушку, лесную пророчицу, впервые имея при себе деньги в избытке. Запас же ветчины не только почат, но и давно уничтожен, — таково положение дел в этом году.

Принимал солнечные ванны на торфянике. Цвет старых, взрезанных лопатой стенок торфяной ямы восходит от жирного черного к мягкому золотисто-коричневому. Вплотную к водяному зеркалу протянулась лента мха, выше — росянка, словно красное шитье. Все это располагается красиво и целесообразно. Мысль: это только один из бесчисленных аспектов, всего лишь кусок гармонии мира. Через творение познаем мы созидающую силу.

Как весело шагать по влажному, отсвечивающему красным торфу. Идешь по пластам, наполненным чистой энергией жизни, более ценной, чем золото. Болото — это пространа, хранящая как здоровье, так и свободу: как замечательно я ощущал все это в глухих углах северной пустыни!

В почте письмо от Валентинера, где он сообщает, что Галлимар печатает второе издание «Falaises de Marbre». Далее он сообщает о посещении outcast of the islands на набережной Вольтера.

Чтение: маленькие рассказы Толстого. Среди них — «Записки маркёра». Ход рассказчика очень хорош: благородная, в сущности, жизнь, захваченная низменной страстью, отражается и наблюдается в дневнике слуги, точно в дешевом зеркале. В этих эскападах угадывается трагическая и своеобразная картина.

К сожалению, я не нашел в этом издании моей любимой вещи

— «Смерти Ивана Ильича».

Кирххорст, 12 мая 1942

Поездка к парикмахеру. Там разговор о русских пленных, присылаемых из лагерей на работу.

— Сволочи они все. Отнимают пищу у собак.

Записано дословно.

Кирххорст, 17 мая 1942

Фрау Луков принесла письмо от Грюнингера, где он сетует, что развалился «круглый стол короля Артура» в «Георге V». Далее обычные каприччос.

После того как отбили атаку русского отряда, солдаты обнаружили среди мертвых труп семнадцатилетней девушки, фанатично сражавшейся во время боя. Никто не мог сказать, как это произошло, но на следующий день тело лежало в снегу обнаженным, и так как зима — блестящий скульптор, сохраняющий недвижно живые формы, команда еще долго могла любоваться прекрасным телом. Когда позднее опорный пункт снова был отнят, добровольцы просились в патруль, чтобы таким образом снова взглянуть на чудесную статую.

Приближается прощание с Кирххорстом. Я уже привык к своему дому и кабинету, к саду, гряды которого оставляю хорошо ухоженными. Перпетуя считает, что осенью я снова войду в этот пасторский дом. Посмотрим. Как охотно бы я жил, постепенно старясь здесь, возле нее! Также велика тоска по работе.

Впрочем, она нашла слова и по поводу странных отношений между мной и лемурами. Она сказала, что я «в другом потоке».

Кирххорст, 18 мая 1942

Астор, пес, с которым я так плохо обращался, потому что он бегал по грядкам. И вот он подходит, виляя хвостом, пока я сижу под старыми буками, и глядит на меня без упрека, скорее вопросительно, задумчиво: «Зачем ты так?» И точно эхо отдается у меня внутри: «Да, зачем я так?»

Чтение: Джеймс Райли «Le Naufrage du Brigantin Américain Le Commerce»,[55] изданная у Ле Нормана, Париж, 1818 г. Потерпевшие кораблекрушение, частично убитые, частью же раздетые донага озверевшими кочевниками, гнавшими их в ужасных страданиях через мавританские пустыни, где встают вымершие, добела прокаленные солнцем города, еще помнящие лицо эмира Мусы; еще виднеется впереди брешь в стене и брошенные перед ней осадные машины, точно щипцы для устриц рядом с полной тарелкой. Встреча, достойная пера По,

происходит на гладкой поверхности скалы, вырастающей из моря до облаков. В ней вырублена тропинка в ладонь шириной, и, прежде чем ступить на ужасный путь, кричат с вышки на скале, чтобы убедиться, что никто не движется навстречу. Как это случилось с маленьким караваном евреев, еще до наступления темноты стремящихся добраться до привала; судьбе было угодно, чтобы в это же время отряд мавров, считавших путь свободным, шел им навстречу. Они встретились над самой серединой ужасной пропасти, где нельзя было разойтись. После долгих напрасных пререканий они ринулись друг на друга, и каждый падающий хватался за того, кто его сталкивал.

Твердость, да и вся судьба Райли доказывают силу, которой обладает рациональная вера сама по себе. Посреди ужасных страданий эта вера ведет к Богу, как действенная система кривых задуманной свыше математики. Для такого интеллектуала, как Райли, Бог есть высший, существующий внутри космоса интеллект. Человек находит себе подтверждение тем сильнее, чем логичнее он мыслит. Это напоминает «самые надежные батальоны» старого Фрица.[56]

Париж, 20 мая 1942

В одиннадцать часов Шольц забрал меня на машине на обратном пути в Париж. Перпетуя махала мне вслед в темноту, описывая светящиеся круги карманным фонариком.

В поездке чтение «Панамского канала», затем описание жизни берлинского энтомолога Крааца и наконец собрание античных писем, из которого мне больше всего нравятся письма Плиния. Бросая беглый взгляд по сторонам, я старался ухватить всяческие приемы в обработке полей и садов, годные для применения в Кирххорсте.

В Париже, хоть я и прибыл с опозданием, меня встретили Рем и Валентинер. С Валентинером я еще пошел в его студию, чтобы за чашкой чая бросить взгляд на старые крыши, отсвечивающие после грозы влажным глянцем.

Париж, 21 мая 1942

Среди почты, обнаруженной здесь, письмо от Грюнингера с новыми каприччос. Читая послания, я снова размышлял об этом человеке и его умении планомерно разворачивать силы. Подобные типы, вероятно, еще неизвестны другим народам, хотя уже предугаданы Достоевским. Ведь большевизм, судя по наиболее сильным фигурам его романа, оборачивается ничтожеством.

Очевидно, что только такие натуры, ощущающие власть как

основу, на которой зиждется мир, и «приходящие сверху», способны грудью встретить ужасный бунт черни, опустошающий мир. Они как змеи замешиваются в скопище крыс, жаждущих изгрызть все. К жутким празднествам лемуров, наводящих ужас на мир, они приближаются спокойно, сохраняя люциферовскую ясность, и входят в игру там, где другие отступают. Они дружат с музами, как это было у Суллы. Это субстанция, прозреваемая Петром Степановичем в Ставрогине.

Со своей тайной борьбой за власть Грюнингер был тем, кто если не помешал, то хоть на год отодвинул попытки Кньеболо учредить здесь свои органы. Такие натуры проигрывают, как Ставрогин, потому что разложение коснулось даже и той малой части руководящего состава, что был бы способен поставить заслон этим операциям, — в данном случае генералитета.

Париж, 22 мая 1942

Днем у Плона на рю Гарансьер, в обществе Пупе, которого я нашел в угнетенном состоянии. Он назвал лучшим, из когда-либо прочитанных им, посвящение на книге: «Виктору Гюго, Шарль Бодлер». Разумеется, не нужны ухищрения, чтобы выявить суть предмета. Сделать себе имя — это и значит сообщить ему субстанцию, придающую каждой букве высшую весомость.

То же справедливо и по отношению к языку вообще. «Больше света», — может сказать каждый, но лишь в устах Гёте проявилась сверхзначимость, таящаяся в паре слов. Так поэт наделяет нас дарами языка, как священник вином, — целокупно всех.

Вечером в «Рафаэле», крепкий грог заодно с чтением «Routes et Jardins».[57] Я нахожу, что в переводе Беца текст несколько стерся, но читается бегло.

Париж, 23 мая 1942

При всех сложностях моих отношений с другими армейскими чинами, особенно в «Мажестик», чувство подсказывает мне: ты здесь не напрасно; судьба еще развяжет узлы, которые затянула, сохраняй спокойствие. Гляди на проблемы, как на чертежи.

Позже эти мысли кажутся мне почти недопустимыми. Правда, вопреки страшным снам веришь, что бодрствование развеет их как дым, — но ведь днем эти игры плохо различимы. Они требуют серьезного отношения, иначе дети отыграют все орехи. С грехом пополам участвуешь в общей дремоте.

Когда-нибудь нас так же будет удивлять, что живые не видят нас, как сегодня удивляет то, что из царства духов к нам не проникает ни проблеска. Быть может, эти явления соседствуют друг с другом, точно слепая и блестящая сторона зеркала, для

них требуется разная оптика. Придет день, зеркало перевернут и завесят крепом его серебряный глянец. Наступит ночь, которую мы нашими ночами можем ощущать лишь оттор-женно.

Днем на набережной Вольтера. Взгляд на старые крыши чудесно умиротворяет душу. Здесь она пребывает вдали от распадающегося времени. Кроме Валентинера, я встретил еще Ранцау, Мадлен Будо-Ламот, Жана Кокто и актера Маре.

Разговоры о растениях, во время них узнал от Кокто прелестное название для трясунки — «le désespoir des peintres».[58]

Париж, 30 мая 1942

С двух до четырех часов ночи англичане летали над городом, сбрасывая бомбы на излучину Сены. Я пробудился от снов об островах, садах, животных и дремал, вскакивая время от времени, когда сверху приближалась какая-нибудь из огненных машин. Но и во сне я наблюдал за событиями и следил за опасностью. Говорят, во сне ею управляют.

Звон стекла на пустынной улице, осколки — точно метеориты на лунном ландшафте.

Днем в Багателе, где я любовался целой колонией клематисов разных сортов, чьи голубые и серебристосерые звезды стояли стеной. Розы уже в цветении. Особенно мне бросилась в глаза *mevrouw van rossem.* Еще закрытый бутон ее у основания был светло-желтый, как у чайной розы, от него шли пламенные прожилки к персиково-красному, покрытому росой кончику. Он так был похож на нежную округлость груди, с пульсирующим в жилах красным вином! Его аромат был нежен и силен.

Дневная прогулка к площади Терн с ее часами на аптеке. Затем «Мажестик». Я двигаюсь между офицерами, как между зоологами в неаполитанском aquario. Мы явно находимся по разным сторонам одной и той же игры.

Вечером у Валентинера я встретил Анри Тома, которого видел впервые.

Париж, 2 июня 1942

Косман, новый шеф, рассказал мне, что наш старый товарищ некоторое время тому назад совершил самоубийство, находясь в тире, где он руководил стрельбой. Держа револьвер на изготовку, он внезапно наставил его на себя и нажал курок.

Хотя со времени моей последней встречи с N прошло более семи лет, мне еще тогда бросилось в глаза что-то напряженное, натужно-этическое в его облике. Чувствовалось, что что-то неладно. Самоубийство у таких натур внезапно, как разрыв перетянутой струны.

Париж, 3 июня 1942

В Венсенском лесу. Я вспомнил мои прогулки и хлопоты год тому назад и навестил старую консьержку, жившую напротив форта. Разговаривать с простыми людьми — как с детьми, без всяких хитростей и на их языке. Хорошо, что в эти времена их клиентура мала. Бывают обстоятельства, когда они способны помочь больше, чем богатые и сильные.

Утром у меня появился Карло Шмид, приехавший из Бельгии. Мы говорили о его переводе «Fleurs du Mal»,[59] затем о мире в его эротической последовательности и о ловцах снов, среди которых ему известен тип людей, подобно параболическим зеркалам ловящих чужие сны, а затем воплощающих их в своей жизни. Им дано эти сны возвысить или принизить.

Он упомянул мимоходом о своем четырнадцатилетием сыне, пишущем ему в письмах о различиях стиля Толстого и Достоевского, он обещает стать замечательным рисовальщиком. Меня удивило при этом, что отец, с которым мы во время наших встреч касались стольких тем, в первый раз упомянул о такой важной вещи в его жизни, как сын.

Париж, 5 июня 1942

Утром явился Рем в походной форме. С начала войны он был моим ординарцем, и в нашем общении все еще сохраняется что-то от отношений рыцаря и оруженосца, поэтому мне было тяжело с ним расставаться. Вечер у Валентинера, где, пока мы смотрим на старые башни и крыши, время течет безбольно, незаметно.

Среди почты письмо от графини Каргуэ, поразившее меня духовной смелостью. «Уже пять веков моя семья живет все в том же доме. Мои предки были корсарами королевского флота, а позже — знаменитыми игуанами. Мы так и остались неукротимыми».

Затем она спрашивает, к чему я подчеркиваю, что женщины умнее, — во Франции они всегда обладали большей интуицией и быстрее все схватывали. Казалось бы, многие мужчины, поднаторев, говорят умно, но как же редко они действуют и живут по разуму!

Перпетуя пишет мне, что сад хорошо растет; она вложила в письмо цветок «летучего сердца» с клумбы. В письме чудесная фраза о том, что никогда нельзя привыкнуть к утрате свободы. Это основное, что отличает свободного человека от раба. Многие же под свободой понимают новые формы рабства.

Париж, 6 июня 1942

В первую мировую войну прозвучал вопрос, который необходимо было разрешить: что сильнее — человек или машина?

Между тем события развивались дальше; теперь речь идет о том, люди или автоматы должны господствовать на земле? Постановка вопроса влечет за собой образование совсем других противостояний, чем те грубые, в результате которых мир оказался поделенным на нации и группы наций. Здесь у каждого свое место в борьбе. Происходит то, что мы духовно не можем совпасть ни с одним из партнеров; возможно лишь большее или меньшее приближение. Прежде всего, надо побороть в своей груди то, что хочет там окаменеть, застыть, ожесточиться.

О марионетках и автоматах; превращению в них предшествуют утраты. Прекрасно изображено это ожесточение души в сказке о стеклянном сердце.

К автоматизму ведет порок, ставший привычкой, — ужасный, как у старых проституток, превратившихся в машину похоти. Тем же веет от старых скряг. Их сердце привязано к материальному и живет, облачившись в металл. Иногда повороту к этому предшествует особое решение; человек отказывается от блага. В основе всеобщего обращения к автоматизму, грозящему нам, лежит, очевидно, какой-то общий порок; определить его — задача теологов, этого порока лишенных.

Вот образец такого сверхчеловека, когда он с простреленной селезенкой скорчился на торчащем из дыр растерзанной обивки его машины конском волосе. Весть эта тусклым огнем радости озаряет тот ад, который он создал. Кто выбрал роль наводящего ужас, тот сам должен быть неуязвим и не должен ощущать боли, иначе в час казни случится конфуз.

Париж, 7 июня 1942

Днем в «Максиме», куда меня пригласили Мораны. Среди прочих бесед разговор об американском и английском романе, о «Моби Дике» и об «Урагане на Ямайке». Эти книги я читал когда-то в Штеглице, испытывая при этом болезненное напряжение, вроде того, когда видишь, что детям дали поиграть с бритвой. Затем о Синей Бороде и Ландру, убившем здесь в предместье семнадцать женщин. Наконец железнодорожный служащий заметил, что тот постоянно берет только один обратный билет. Фрау Моран рассказала, что жила с ним по соседству. После процесса какой-то мелкий торговец купил дом, где происходили убийства, и назвал его «Au Grillon du Foyer».[60]

На рю Руаяль я первый раз в жизни увидел желтую звезду, ее носили проходившие мимо три девушки, держащиеся за руки.

Эти знаки раздали вчера; днем я встречал эту звезду все чаще. Такая дата врезается в историю отдельного человека. Это зрелище не может остаться без последствий — я стыжусь своего мундира.

В космосе, быть может, менее всего чудесно то, что больше всего поражает сознание. На самом деле, нет разницы в чуде, будь это хоть один или миллиарды миров.

Париж, 14 июня 1942

Днем в Багателе. Шармиль рассказала мне там, что на днях арестовали студентов, нацепивших желтые звезды с разными надписями, вроде «идеалист» и тому подобное, чтобы демонстративно пройти с ними по Елисейским полям. Эти люди не знают, что времена дискуссий прошли. Они предполагают в противнике чувство юмора. Они похожи на детей, которые плещутся, махая флажками, в водах, где плавают акуды. Они метят себя.

Париж, 18 июня 1942

Чтение: «Le Martyrologe de l'Église du Japon»[61] аббата Профиле, Париж, 1895.

В ней пример достойного ответа на угрозу: Моника Нзэан со своим мужем и маленькими дочерьми в декабре 1625 г. предстала перед судом, так как укрывала иезуитского патера Жана-Батиста Золя. Под угрозами судей, приказавших сорвать с нее одежды, она сама сняла пояс и закричала: «Никакое насилие не заставит меня отринуть Христа; скорее я сорву с себя не только одежды, но и самую кожу».

Днем у княгини Каргуэ. Разговор об исходе этой войны, в которой она делает ставку на немцев. Затем об английском обществе и Черчилле, с которым она несколько раз встречалась. Она сказала, что виски законсервировало его, как те сливы в спиртном.

Париж, 22 июня 1942

Днем у Бере, где я купил «Mon Journal»[62] Леона Блуа. Об эпиграфе, поставленном им под заглавием: «Le temps est un chien qui mord que les pauvres».[63] С этим можно спорить, так как время гложет весь мир. Оно представляет собой демократический принцип, в противоположность аристократизму пространства. Его нельзя взять в долг, и никто не прибавит к своей жизни ни секунды.

Затем просматривал издание эпиграмм и стихотворений Иоганна Кристофа Фридриха Хауга, Берлин, 1805 г., изд. Унгера.

Сентенцию перед эпиграммами «In brevitate labor»[64] я нахожу неплохой — уже потому, что она, словно хороший педагог, дает экзистенциальный пример. Хотя цена обоих томов была немаленькая, я приобрел их ради эпиграммы о мосте — первой, бросившейся мне в глаза:

Хоть мост на диво крепок и высок,
Воды же — не замочишь и носок.

Париж, 24 июня 1942

Днем в Багателе. Долго общаясь с человеком, мы узнаем также его историю, по кирпичику складывающуюся из его болтовни и разговоров. Есть тайны, которые мы выкладываем ему одному. Мы ему доверяем.

Чтение: мемуары Александра Дюма и «Les Jeunes Filles»[65] Монтерлана.{66} Чтобы не забыть примечательные места, попавшиеся при чтении, я их подчеркиваю и в конце книги помечаю такие страницы ключевым словом. Для этого можно вклеить листок, на котором, как экслибрис, будет стоять имя владельца. Это сэкономит массу времени.

Париж, 27 июня 1942

Днем у Грюэля, чтобы узнать о футляре для моих дневников. Там я подержал в руках маленький череп, вещь эпохи Генриха IV, чрезвычайно искусно вырезанную из бука. Одна половина была обтянута кожей, другая представляла голую кость, из глазницы выползала змея. Разглядывая это, я вдруг увидел Вимера и Мадлен Будо-Ламот, остановившихся перед витриной. Чем больше город, тем более велика радость от таких случайных встреч.

Потом у Валентинера, передавшего из Берлина привет от Карла Шмитта мне и Флоранс Анри, фотографу с улицы Сен-Ромен, разведшей там на крыше чудесный огород. Она попросила меня срезать томаты, и запах завитых листьев, исходящий потом от моих рук, пробудил во мне тоску по Киррхорсту.

Париж, 29 июня 1942

Вчерашним воскресеньем выезд в Сен-Реми-ле-Шеврёз. Ночью сны, в памяти остался старинный крепостной вал. Я стоял там с Перпетуей, и мы видели, как бледная змея выползла из углубления рассыпающейся стены. Существо это было лунного цвета, на затылке виднелось овальное пятно волос с пробором посредине. Мы видели, как змея медленно ползла меж трухлявых

пней орешника, взбираясь на бастион, пока не исчезла в похожей на рундук яме, образовавшейся на месте рухнувшей амбразуры.

Было еще одно обстоятельство, особенно удивившее нас, — я думал, мы целую вечность знали эту стену, но ни разу нам не попадался даже след ее обитательницы. Хотя вал и стена всегда казались нам таинственными.

Утром я почти забыл этот сон, ставший бледным, как кожа змеи, но днем он вспыхнул снова.

Пятно волос следовало понимать как атрибут власти, вроде короны, во всяком случае, что-то, имеющее отношение к человеку. И все же оно производило неприятное впечатление. Вообще, присутствие человеческого в животном скорее принижает последнего.

Truhe:[66] от *truen,* «доверять, вверять, передать на хранение». Здесь же слово *Huestrue,* что значит «супруга, хозяйка», — слово, виденное мной на северных надгробиях. Затем *Trude* — «ведьма», здесь слова *тайное, скрытое* обретают уже дурной смысл. *Trudeln*[67] — тоже в этом ряду: так ведьмы со свистом чертили по воздуху.

Весть, что маленькому Шпатцу лучше. Сведения о его температуре, кашле, худобе угнетали меня. У человека сегодня со всеми его радио и телеграфом, в сущности, отсутствует средство для оказания в таких случаях помощи кому-нибудь на расстоянии. В иных снах нам удается это лучше, чем со всей нашей технической оснащенностью.

Затем в полдень пришло второе письмо Перпетуи от 26 июня, где она пишет, что ночью на Кирххорст упало девять бомб; они взорвались на пастбище за домом булочника Кене и оторвали нескольким коровам головы. Решая, спускаться с малышом вниз или оставаться наверху, она выбрала последнее; она не рискнула вынуть его из кроватки.

Париж, 1 июля 1942

Близость лемуров и их мрачных торжеств пробуждает тоску по архипелагам вечных звездных миров; их просторы, лежащие по ту сторону утесов и перевалов смерти, открываются лишь посвященным. Мы чувствуем, что там — мы дома, здесь же — на чужбине.

Париж, 2 июня 1942

Магги Грюнингер передала мне письмо от Фридриха Георга, из которого я с радостью вижу, что он теперь в лучшей форме.

Чтение: Монтерлан, «Les Jeunes Filles», одна из книг, присланная мне графиней Каргуэ и напомнившая мне «Liaisons

Dangereuses».[68] Некоторые черты охоты на красного зверя хорошо удались, особенно холодок восторга во время выслеживания. Совершеннейшее взаимопроникновение неведения и сознания и образование особых молекул из этих обоих элементов — отличительная черта состояния умов в наше время. Но смешение это осуществляется весьма редко, ибо обе части уничтожаются, если природа не поспособствует их соединению особым образом.

Книга рассказывает об одной подруге, пившей воду из источника и проглотившей змеиное яйцо. Спустя годы радиография показала внутри девушки тело змеи. И здесь скрещение картин первобытного и сознательного видения мира.

Затем мемуары Александра Дюма, которые знатоки предпочитают его романам, но я, хоть и не люблю бросать чтение, едва его начав, осилил лишь малую их часть. Самое досадное в таких писаниях состоит в том, что их автор не останавливается на тихих и тонких впечатлениях, воспринимая лишь яркие, усиливая их еще больше. Так и идешь по его книгам, точно лугами, на которых стоят неслыханных размеров цветы, но нет ни травы, ни мха.

Прилив и отлив. Когда мы дышим, спим, видим сны, обнажается полоса прилива с водорослями, раковинами, морскими звездами и другими плодами моря на пестрой гальке. Затем, подобно стремительной белой птице с красными ногами, слетает дух и склевывает добычу.

Желание смерти может быть яростным, сладострастным, как мечта о прохладе глубин у берега зеленеющего моря.

Париж, 4 июля 1942

Вечером в «Тур д'Аржан», в серебряной башне, где еще Генрих IV ел паштеты и откуда, словно из салона большого самолета, видна Сена и ее острова. В вечернем свете водное зеркало дышало блестящим перламутром. Прекрасна была разница в окраске ив и их отражений в воде. Серебристая зелень листвы, углубленной в самосозерцание, становилась в воде темнее.

Казалось, люди, пирующие там наверху, вкушающие морские языки и знаменитых уток, словно фигуры демонов на башне злорадно взирают на лежащее у их ног серое море крыш, где голодные влачат жалкое существование. Жрать, много и хорошо жрать! — в такие времена это дает ощущение силы.

Париж, 5 июля 1942

В почте письмо Клеменса Подевильса из Харькова, в котором он мне сообщает о русских совсем другие вещи, чем те, что слышишь обычно. Особенно о неприступности даже простых русских женщин. Большевизм едва ли смог нанести урон силе духа этих людей.

Некоторые сны невозможно записать. Они возвращают нас в доветхозаветные времена, к дикой первоматерии человечества. Лучше промолчать о том, что в них видишь.

Воспоминания приобретают черты перевернутой причинности. Пока развивающийся мир ветвится, подобно дереву, воспоминания уводят нас в сплетение причин. Часто при воспоминаниях мне кажется, будто я вытаскиваю водоросль из моря, — пучок, увиденный где-нибудь в волнах; и вот я тащу его на свет со всем множеством его ответвлений.

Прошлое и будущее пересеклись в одной точке — талии песочных часов, глядя из них друг на друга, подобно зеркальному отражению. В этическом — это вина и возмездие, в логическом — железный закон причинности. В этом конфликте поэт прозревает единство, внутреннюю оправданность мира; выразить это в стихе — его призвание. По нему видишь поэта:

> Сподобь наш разум
> Сойти во мрак и вновь вернуться.

Париж, 7 июля 1942

Чтение: Леон Блуа, «Мой дневник», я читал его в переплете из фиолетовой кожи, одно прикосновение к которой уже было удовольствием. Дух, как что-то ощутимое, сгущенное, — бульон из вымерших ныне рыб и черепах, становящийся густым после долгой варки. Хорошо читать, если тебе надоели пресные блюда. Впрочем, на сей раз мое внимание скорее привлекла связь с Гаманом,{67} — она лежит в сфере абсолюта, и сравнение этих двух авторов было бы весьма поучительным занятием.

Дважды упоминает он о том, что умершие будят его по ночам, то стуча в дверь, то называя свои имена. Тогда он встает и молится за упокой их душ. Так что, может, мы и теперь существуем не только за счет сил прошлого, но и в счет будущих молитв, которые кто-нибудь сотворит после нашей смерти.

Сильнее всего этот человек в своем отношении к смерти; при этом я думаю о прекрасном месте в другой его книге, где он говорит, что переход к смерти для нас — не более чем сдувание пыли с красивого шкафа.

Однако его мрачный памфлетизм отталкивает, когда он,

например, считает людей едва ли достойными даже того, чтобы выносить горшки из госпиталей или отдирать корку, засохшую в уборных прусских казарм. Он доходит до такой степени ненависти, что она обращается в страсть. Скажем, в рассказе о бывшем духовном лице, намекнувшем в своем газетном опусе на то, что в сутане он неотразим для женщин и что мог бы стать причиной падения любой из них, если б только захотел.

Париж, 8 июля 1942

Днем с Грюнингером и его молодой женой у Прунье. Он переполнен новыми каприччос и показывал снимки из России; один из них тронул меня: молоденькая девушка, раненная в бою, лежит в медицинском пункте; врач задрал ей платье, чтобы сделать укол в ягодицу. На снимке видно, что она плачет, но не от боли, а потому, что рядом с ней, будто вокруг пойманного в сети зверька, стоят солдаты.

Вечером прочел стихотворение Фридриха Георга о голубом кремне — гимн каменному веку.

Париж, 9 июля 1942

Когда закрываю глаза, я вижу темный ландшафт с камнями, утесами и горами на краю бесконечности. На заднем плане, на берегу мрачного моря, я различаю себя самого — крохотную фигурку, будто нарисованную мелом. Это мой форпост у самой границы с Ничто; там далеко, у самой бездны, я сражаюсь за себя.

Цветение лип в эти дни; никогда их аромат не был так силен и проникновенен.

В переводе Бодлера, сделанном Карло Шмидом, «Кошки», особенно удалась вторая строфа:

> Коты — друзья наук и сладостных забав,
> Для них ни тишина, ни мрак ночной не тяжки.
> Эреб избрал бы их для траурной упряжки,
> Когда бы им смирить их непокорный нрав.[69]

Две последние строфы изображают не только превосходство кошек над собаками, но и превосходство покоя над движением вообще.

Париж, 11 июля 1942

Днем у Валентинера; я встретил там Анри Тома с его женой. В Тома бросается в глаза смесь юности, бедности и достоинства, связанных с проницательностью ума, сообщающего суждениям независимость. Жена его, продолжающая жить у своих родителей,

невероятно грациозна. Я это понял, когда она сказала:

— Вы ищете в языке выражение, делающее предмет более явственным, чем в самой действительности. Я то же самое пытаюсь делать на сцене, но всем телом, а не только головой.

Я сказал Тома, что ее талант надо продвигать, но он думает, что это непросто: что касается осуществления способностей, тут человек всегда одинок.

— Но ведь помощь других ему необходима.

— Я думаю, что сами способности — ее лучшая защита.

О Монтерлане, сравненным им с пушечным ядром, он сказал:

— Да, но он не слишком глубоко проникает в суть вещей.

Старые крыши по-прежнему прекрасны; мне часто кажется, что красота выкристаллизовывается под гнетом времени. Надо ежедневно повторять себе, что в любую минуту может явиться знак встать и идти, когда, подобно Биасу,{68} надо будет взять все свое с собой и оставить все лишнее, если потребуется — даже кожу.

Вечером у Шармиль, где я ужинал и рассматривал календарь.

Париж, 12 июля 1942

С женщиной в лавке, где продают съедобных змей. Продавец вытаскивал ящик и, не раздумывая, запускал в него руку, чтобы показывать экземпляры, которые он удерживал за середину туловища. Прежде чем вручать их, он надевал каждой гадюке маленький намордник, из которого высовывались рожки, дрожащие, как щупальца. За средних размеров особь мы заплатили двенадцать или четырнадцать марок.

Проснувшись, я ломал голову над тем, кто была эта женщина. В таких фигурах есть что-то смутно знакомое; они часто витают рядом в образе сестры, жены и матери одновременно, прикрытые вуалью, — символом женственности. В этой облепляющей паутине мы чувствуем, но не знаем друг друга.

Днем у Валентинера; прежде чем пойти к нему, я рылся в изданиях на набережной у букинистов. Я забрал напечатанную в 1520 году «Doctrina Moriendi».[70] Согласно рукописной заметке Жана Герсона, начальника церковной парижской канцелярии, она была сочинена в XIV веке. Другая запись Балуце, библиотекаря Кольбера,{69} указывает, что экземпляр принадлежал библиотеке Кольбера.

Вечером с докторессой осматривали скульптуры в Лувре. Вечер прошел в веселой болтовне за ужином.

Париж, 14 июля 1942

Хорошо бы иметь запас книг, напечатанных на газетной

бумаге, чтобы читать их в ванне или в дороге, а потом выкидывать.

Кирххорстский план к дневнику. Два часа вечером пришлось потратить на «прогон назад» — просматривание и приведение в порядок книг, вырезок, рукописей, дневников, переписки. Cura posterior.[71]

Париж, 16 июля 1942

Передо мной в вазе на столе пять гладиолусов — три белых, один ярко-розовый и один цвета лосося. Цвета гладиолусов обычно безжизненны; перед интенсивностью их чистой окраски блекнет самое живое вещество цветка. Отсюда, вероятно, также чувство пустоты и скуки, охватывающее вас при взгляде на эти цветы, вызываемое обычно всем, что имеет слишком отчетливый вид. Их белые экземпляры возбуждают, однако, склонность к размышлению над теологическими проблемами.

В обеденный перерыв у Бере, там рылся в книгах. Купил «Monographie du Thé»[72] J. G. Houssaye, Париж, 1843 г., с прекрасными гравюрами и, к сожалению, с источенным червячком переплетом. Затем «La ville et la République de Venise»[73] Сен-Дидье, Париж, 1660 у De Luyne. Переплет прекрасный, прочный, пергамент с врезанными углами, с пергаментным же корешком. Наконец, Лотреамон:{70} «Préface à un livre futur»,[74] появилось в 1932 г. также в великом книжном городе Париже.

По дороге мне неудержимо захотелось написать хотя бы один или два коротких рассказа. Я подумал о кораблекрушении Райли и потом об истории чистильщика сапог с Родоса, которая уже давно стоит у меня перед глазами.

Париж, 18 июля 1942

Сон об архитектуре. Я видел старые готические здания; они стояли в заброшенных садах. Посреди этой пустынности не было ни души, чающей их смысла, но странно, что от этого они казались еще более прекрасными. Как это бывает свойственно растениям и животным, на них лежала печать иной высшей природы. Мысль: она хранится в них для Бога.

Днем у фотографа Флоранс Анри. До этого рылся в книгах на углу. Приобрел там между прочим «Les Amours de Charles Gonzague»[75] Джулио Капочеды, напечатанную в 1666 году в Кёльне. Старый экслибрис внутри: «Per ardua gradior»,[76] к которому я присовокупил на обратной стороне свой «Tempestatibus maturesco».[77]

Вчера здесь для депортации были арестованы евреи —

родителей отделяли от детей, так что все улицы заполнились плачем. Невозможно ни на мгновение забыть, что меня окружают несчастные, познавшие всю глубину страдания люди, иначе что бы я был за человек, что за офицер! Мундир обязывает оказывать защиту там, где она требуется. Для этого, как Дон Кихоту, придется, конечно, стать врагом многим.

Париж, 19 июля 1942

Днем на кладбище Пер-Лашез. Ходил там с Шармиль среди надгробий. Никого специально не разыскивая в этом городе мертвых, натыкались то тут то там на знаменитые имена. Так, мы нашли на могиле генерала Вимпффена плиту с изображением меча, вокруг которого вилась лента с надписью «Седан?» Знак вопроса на плите был сделан недавно. Затем могила Оскара Уайльда, с памятником, поставленным богатой читательницей, весьма безвкусным: гений под тяжестью груза парящих крыл, весом в тонну, в увековеченной муке. У одной замшелой, под зеленым сводом дорожки, ведущей, словно тропа забвения, к долине, — могила Керубини,{71} увенчанная урной, у подножия которой лежит гадюка. Рядом Шопен, с овальным рельефом из мрамора.

Особенно прекрасны заброшенные участки этого кладбища. Иногда с поверженных камней блеснет утешительная надпись, вроде «Obitus vitae otium est».[78] Думаешь о покоящихся здесь легионах людей. Не хватит никаких пространств, чтобы вместить их всерастущий сонм; тут надобен совсем другой принцип. Они уместятся и в орехе.

Это прикосновение темным жезлом давно исчезнувшего существования на самом деле — самое чудесное, что есть на свете. Его нельзя сравнивать с рождением, являющимся лишь почкованием на теле уже известной нам жизни. Жизнь находится посреди смерти, как маленький зеленый остров в темном море. Исследовать это, хотя бы только на краю бездны по линии прибоя, — и значит заниматься истинной наукой, рядом с которой физика и техника кажутся пустяками.

Таинственные дороги по возвращении домой. От крылатого гения Бастилии с его факелом и звеньями разорванной цепи в руках всякий раз, когда я на него смотрю, исходит ощущение страшной всепоглощающей силы. В нем соединились гигантский напор и неколебимое спокойствие. Гений прогресса вздымается ввысь, где уже поселился триумф будущего пожара. И как устремления черни и торговцев объединяются в его устройстве, так и разрушительная энергия этого гения соседствует с сообразительностью и ловкостью Меркурия. Это больше не

символ, это уже настоящий идол, окруженный молниями, издревле исходящими из его столпа.

Париж, 21 июля 1942

Закончил Лотреамона, «Préface à un livre futur». Чтобы утвердиться в своем мнении о нем, прочту весь его опус в этом томе целиком. Эта оговорка связана с неприятием формы нового оптимизма, снова без Бога, но на сей раз вместо утопического взгляда на прогресс, предлагающего сознание совершенства. Это придает докладу оттенок непререкаемости, металлического блеска и уверенности. Это тот бесчувственный стиль, какой можно наблюдать на прекрасном, быстроходном и безлюдном корабле, приводимом в движение не электричеством, а силой сознания. Сомнение устранено, как сопротивление воздуха, — истина и добро заложены в самом материале постройки, тем самым выявляясь и в конструкции.

Это настроение выступает в нашу эпоху все более отчетливо, сперва у художников вроде Кирико,{72} у которого мы находим вымершие города и людей, склепанных из бронированных частей. Этот оптимизм, который несет с собой мир техники, неизбежен для него.

Он звучит как торжество в голосе диктора, сообщающего по радио, что еще одна столица повергнута в прах.

Париж, 22 июля 1942

Днем Пикассо. Он живет в обширном здании, чьи этажи служат ныне складскими помещениями. Дому на рю Грандзогюстен принадлежит известная роль в романах Бальзака, сюда же доставили Равальяка{73} после совершенного им покушения. В одном из тупиков приютилась ведущая наверх винтовая лестница с каменными ступенями и дубовыми перилами. На одной из узких дверей прикреплен лист бумаги с написанным карандашом словом «Ici».[79] Когда я позвонил, мне открыл невысокий мужчина в обычном рабочем халате — сам Пикассо. Как-то раз я уже встречал его, и вновь он мне показался магом. Это впечатление еще более усиливалось острой зеленой шапочкой, бывшей у него на голове и в тот раз.

Его владения кроме маленькой квартиры с чуланом включали еще два больших помещения, в одном из которых он хранил свои пластические работы, а в другом — живопись. Кирпичный пол был выложен в виде сот. Под потолком тянулись черные дубовые балки. Мне показалось, что все комнаты как нельзя лучше подходят для работы; старые полы, на которых застыло время, излучали вдохновение.

Сперва внизу мы смотрели старые листы, затем поднялись на верхний этаж. Среди картин, стоявших там, мне понравились два обычных женских портрета и особенно пейзаж на берегу: чем больше я всматривался, тем ярче расцветали красные и желтые тона. Глядя на него, мы беседовали о том, как рисовать и писать по памяти. При этом Пикассо поинтересовался реальным пейзажем, легшим в основу «Мраморных скал».

Прочие картины, вроде нескольких асимметричных голов, казались мне монструозными. В то же время объективно нельзя не отдать должного необычайному дарованию, в течение долгих лет посвящающего себя подобным темам, пускай они и являются лишь его собственным восприятием. В сущности, речь идет о чем-то еще незримом и нерожденном, об экспериментах алхимии особого рода, даже если уже несколько раз в их адрес раздавалось слово «retorte». Как никогда мне стало ясно, что гомункулус — нечто большее, чем праздное изобретение. Магически провидится образ человека, и мало кому видна страшная глубина выводов, сделанных художником.

Я не раз пытался склонить его к разговору на эту тему, но он всегда, очевидно намеренно, уклонялся:

— Существуют химики, посвятившие всю свою жизнь отысканию элементов, таящихся в кусочке сахара. Мне надо знать, что такое цвет.

О впечатлениях от картин:

— Для моих картин ничего не изменилось бы, если после их окончания, никому не показывая, я завернул бы и опечатал их. Они сами по себе манифестации непосредственного рода.

О войне:

— Мы оба, сидящие здесь, выторговали бы мир еще до вечера. Тогда люди могли бы убрать светомаскировку.

Париж, 23 июля 1942

Приступил к Книге Эсфирь, где описанный Геродотом древний мир находится еще в полном расцвете и пышном великолепии, — начиная с первой главы, описывающей месяцами длившийся пир в Сузах в азиатском дворце Артаксеркса, владевшего свыше ста двадцатью семью царствами от Индии до Мавритании. Явившийся к нему незваным должен был умереть, если царь не протягивал ему золотой скипетр, как он и поступил с Эсфирь. От этой небывалой волшебной страны в наши дни уцелели единственно евреи — длинная, словно застывшая в бронзе вереница древней жизни. Временами я ощущал это совершенно отчетливо, как при виде одного польского еврея на Силезском вокзале в Берлине. Мысль: вот так ты стоял однажды в

воротах Иштар в Вавилоне.

Среди моей почты все больше писем, где выжившие читатели пишут мне о погибших. Часто кажется, что они здесь, — их голоса доносятся из тьмы.

Появление Курта, которому я обязан поездками на Биденсхорн. Это своего рода Фальстаф, соединяющий жизнелюбие с сознанием своей силы. Он прибыл с Востока, где командовал танковой ротой. Таскает в кармане служебную печать, чтобы при необходимости с ее помощью изготавливать удостоверения курьера, железнодорожные билеты, продовольственные талоны — вообще все, что в голову взбредет. Благодаря этому с комфортом располагается в специальных купе рядом с награбленной «курьерской почтой», велев проводникам стеречь ее. Требует громовым голосом, если в отеле не становятся сразу навытяжку, комнату, обслуживание, ви́на, так что владельцы, дрожа, извиняются перед ним. Если ему вздумается проникнуть за прилавок, как сегодня в маркитантской части военной школы, он не станет измышлять всякие хитрости, просто сразу начнет проверять пост на предмет какого-нибудь непорядка, велит обслуге тащить ему товары, закупая их оптом. Все это дает ему материал для рассказов, которыми он потешает компанию за бутылкой вина.

Я долго беседовал с ним в «Рафаэле»; его речь отличалась пусть цинической, но стихийной силой, к тому же он представляет собой весьма значительный тип. У него свой взгляд на положение наших дел. Он рассматривает как нечто отжившее, считает моей причудой то, что зло мира все еще уязвляет меня. Зло неистребимо. Здесь я обнаружил у него трогательную черту; заботу сильного о более слабом, каким я ему казался. Эта забота специфична, он не стал бы ее проявлять, будь мы рядом в бою или наступай мы на кого-нибудь из власть имущих, каких он повидал за свою жизнь достаточно. Но ему бы не хотелось, чтобы я пострадал из-за своего «добродушия». Что касается политики, его представления о ней не отличались от законов волчьей стаи, — следует избегать столиц и пытаться в стороне стричь свою овечку, пока она упитанна.

Пока так уютно текла наша беседа о ходе времени, я спрашивал себя, не следует ли сейчас, когда честь ничего не значит, предпочесть его представления бездумному послушанию прочих офицеров. Ленивому идеализму, продолжающему существовать, будто все идет как надо, как нечто настоящее противостоит солдат; чувствуешь, что он был, есть и будет всегда и повсюду, и эти живые трупы ничего не поделают с ним. И чем больше опасность, тем ему лучше, тем больше в нем нужды.

Париж, 24 июля 1942

Прекрасные образы, всплывающие в сумерках перед закрытыми глазами. Сегодня — это медово-желтый агат, пронизанный словно нарисованным сепией коричневым мхом. Он медленно проплыл мимо, будто тонущий в бездне цветок.

Красные цветы, какие видишь иногда в темных провалах окон. Кажется, они вобрали в себя весь свет и теперь искрами рассыпают его на солнце.

Париж, 25 июля 1942

Тигровая лилия передо мной на столе. Пока я ее разглядываю, с нее вдруг падают шесть лепестков и шесть тычинок, подобно безжалостно сорванному роскошному одеянию, и остается только высохший пестик с завязью плода. Мгновенно осеняет меня, что за власть обрывает цветок. Сбирайте плоды, ибо так велят Парки.

Днем в Латинском квартале, там удивительное издание Сен-Симона в двадцати двух томах, памятник историографической страсти. Его сочинения — это те зерна, вокруг которых кристаллизуется модернизм.

Чай у докторессы. Затем мы пошли к Валентинеру, пригласившему нас на ужин. Кроме него там еще Клосе. Разговоры о Пикассо и Леоне Блуа. О Блуа Клосе рассказал анекдот; хоть я и не верю ему, но анекдот все-таки записал, поскольку он позволяет ощутить всю бездонную и в какой-то мере заслуженную ненависть литераторов к этому автору.

Как всегда по своей привычке, однажды Блуа напрасно клянчил деньги также и у Поля Бурже,{74} после того как бесцеремонно обошелся с ним на публике. Спустя какое-то время Бурже получил новую записку от Блуа с просьбой тотчас одолжить ему 150 франков, так как у него умер отец. Бурже кладет деньги в карман и лично отправляется на Монмартр, где Блуа проживает в одной из сомнительных гостиниц. Из его комнаты, к которой подвел портье, несется музыка, и, когда Бурже постучался, Блуа открывает ему дверь, будучи неодетым, тут же голые женщины, вино и закуска на столе. Блуа издевательски предлагает Бурже войти, тот следует приглашению. Он сразу кладет деньги на камин и оглядывается вокруг.

— Г-н Блуа, вы ведь писали мне, что ваш отец умер?

— А, так вы кредитор, — отвечает Блуа и распахивает дверь в соседнюю комнату, где на постели лежит труп его отца.

Что делает историю особенно подозрительной, так это место;

его не назовешь предназначенным для смертного одра. Странно также, что в своих многочисленных дневниках Блуа ни разу не обмолвился об отце, хотя вообще-то в них с избытком деталей семейных отношений.

Сам Блуа, когда его, лежащего на смертном ложе, спросили, что он ощущает, глядя смерти в лицо:

— Une immense curiosite.[80]

Это прекрасно. Вообще он обезоруживает своими мощными, стремительными ударами.

Потом о знаменитостях. Графиня Ноэль, пригласившая маршала Жоффра:{75}

— Должно быть, перед битвой на Марне было ужасно скучно!

Портье принес блюда; подавая их, перед каждым щелкал каблуками. В первую мировую войну он был уборщиком при штурмовом отряде; он запрещает жене называть немцев «бошами».{76} — «Мне можно говорить „бош“, это я с ними воевал».

Париж, 26 июля 1942

Днем на кладбище Монпарнас. Долго проискав, нашел могилу Бодлера с высокой стелой, украшенную летучей мышью с гигантским ночным размахом крыльев.

Посреди этих разваливающихся мест последнего упокоения я долго стоял перед плитой Наполеона Шарля Луи Русселя, «художника», умершего 27 февраля 1854 г. в возрасте девятнадцати с половиной лет. На плите, заказанной в память о нем друзьями, лежал сброшенный с цоколя кубок, обросший мхом, изливавшимся из этого кубка зеленым потоком жизни.

Меня всегда трогает тайна, окутывающая подобные могилы безвестных людей в этом море склепов. Они точно следы на песке, которые скоро совсем заровняются ветром.

В «Рафаэле» я читал: Генрих Ганс-Якоб, «Теодор». Кажется, этот чисто народный дар рассказчика ныне совершенно иссяк. С его исчезновением ощущается нехватка гумуса литературной почвы, мшистой флоры у корней и основания стволов, критериев изобразительных устремлений вообще. Тогда засыхают и верхушки.

Ночью видел сон о прекрасной змее; ее панцирь отливал голубой сталью и был изрезан лабиринтом извилин, подобно персиковой косточке. Животное было таким большим, что я с трудом обхватил его за шею; мне пришлось его долго нести, так как не было клетки.

Мысль: мне хотелось бы создать для него прекрасный сад; но как же я его устрою, если у меня нет начального капитала?

Париж, 27 июля 1942

Сюрпризом была доставленная почтой корректура «Греческих богов» Фридриха Георга, отпечатанная у Клостермана. Хотя образы и идеи по нашим разговорам в Юберлингене уже были мне известны, в чтении они произвели на меня сильное впечатление. Прекрасно, как новое и старое касаются друг друга, — древние вещи поверяются хваткой времени. Хорошо ощущаешь, как немец шаг за шагом приближался к ним, и вот они уже сами двигаются ему навстречу. Мир мифов присутствует здесь постоянно; он подобен изобилию, укрытому от нас богами, — мы мыкаемся, как нищие среди неисчерпаемых богатств. Но поэты чеканят из них для нас монеты.

Париж, 28 июля 1942

Несчастный аптекарь на углу, у него насильно выслали жену. Такие благонравные натуры и не думают обороняться и защищать хотя бы то, что принадлежит им по праву. Даже если они себя убивают, то выбирают не судьбу свободного человека, возвращающегося в свою последнюю цитадель, они ищут у ночи убежища, точно испуганные дети, жмущиеся к своей матери. Слепота же молодых людей по отношению к страданиям беззащитных пугает; у них отсутствует орган для этого. Не говоря уже о рыцарских устоях… Они слишком слабы, да они утратили и простое приличие, запрещающее толкать слабого. Более того, они видят в этом свою доблесть.

Написав эти строки, я разыскал славного Потара, чтобы отдать ему рецепт, выписанный мне докторессой. Занимаясь со мной, он подарил мне кусочек мыла, словно чувствуя, что его судьба мне небезразлична, что я желаю ему добра. Не забывать, что я окружен страдающими. Это важнее всех военных и духовных доблестей, тем более — праздных аплодисментов молодежи, которой сегодня нравится одно, завтра — другое.

Затем на рю Фобур-Сент-Оноре у хромой антикварши, где я разглядывал иллюстрированное Карлом Вернером в 1870 году путешествие по Нилу. Когда я в дурном настроении, особенно помогает разглядывание картин.

Париж, 2 августа 1942

Днем на Пер-Лашез. Посреди города, вблизи перенаселенных кварталов вокруг Бастилии можно насладиться мирной прогулкой. На замшелой тропе, среди могил под кронами ясеней и акаций, я наткнулся на обелиск, воздвигнутый в память о великом энтомологе Латрейе.{77} Над надписью с именем вделан

скарабей, а под ней — шелкопряд; скарабей держит шар, похожий на солнечный диск. Я положил цветок на эту могилу. Когда я его срывал, мне в награду из чашечки в руку выпал долгоносик, какого еще не было в моей коллекции.

Старое кладбище, вроде этого, похоже на каменоломню, богатству сортов и видов камня здесь способствовали многие роды. При виде некоторых сортов гранита и порфира мне пришло в голову, что в мире камня шлифовка олицетворяет собой то же, что цветение у растений и брачное одеяние у зверей. Она открывает глазу глубоко скрытые в недрах материи великолепие и порядок, И обратно, в цветении проявляется процесс кристаллизации.

Вечером звонит колокол — знак, что надо покидать кладбище. Посетители устремляются группами или поодиночке к выходу. Их шаг убыстряется по сравнению с тем, как они бродили между могил; казалось, мысли, пробуждаемые этим лабиринтом смерти, будили в них смутный страх.

В таких местах погребений культура выявляется как целое во всей своей покоящейся вдали от всех сражений силе. Мертвые вернулись в материнское лоно, стали недоступны какому-либо прикосновению, их противостоящие прежде друг другу имена образовали некую сумму. Можно видеть целые народы, точно в пространстве за кулисами, хотя там актеры снова становятся людьми. Здесь же они опять превращаются в дух. Могущество мертвых — почему утрачено это знание?

Я возвращался по рю Рокетт, куда временами падал свет от грозного демона Бастилии.

В «Рафаэле» я обнаружил в своей комнате фройляйн Вильму Штурм, разыскивавшую меня здесь как авгура. Затем я читал Ренана,{78} биографию сестер Бронте{79} и, наконец, Книгу Иова, где в 28-й главе указано на безмерность расстояния, отделяющего людей от истины: «Бездна и смерть говорят друг другу: ушами нашими слышали мы слух о ней».

Париж, 3 августа 1942

Закончил: Ренан, «Жизнь Иисуса», затем: Робер де Траз,{80} «Семья Бронте».

Значение сестер Бронте в том, что в них живет и действует, кажется, совершенно другой род интеллекта, возникающий неотчужденно, точно электрический ток. Можно считать, что знание пронизывает землю и народы, пока не проникнет к гнезду и к обретающемуся в нем юному племени. Так поддерживается знание в теле мира.

Экстраординарность Бронте позволяет думать, что в иных

пределах, на иных звездах это — норма. В этом смысле прозрение, второе Я, пророчества экстраординарны. Подобно тому как есть цвета, лежащие за пределом шкалы видения, так существует темный ток знания, лишь изредка обретающий лицо в индивидуумах. Но на его невидимом влиянии зиждется гармония круга жизни, его стройность.

Париж, 4 августа 1942

Утром меня навестил в «Мажестик» г-н Зоммер и передал привет от Федеричи. Мы говорили о Китае, где он родился и который хорошо знает. Затем о Японии; его отец, желавший заказать себе спортивные брюки, доверился одному портному, отдав ему их образец, купленный ранее в Англии. Он объяснил японцу, что тот может этот образец распороть: брюки должны выглядеть точно так же. В обещанный день портной принес шесть готовых брюк, как в зеркале повторявших образец, — две заплаты и протертые до дыр места также не были забыты.

Париж, 5 августа 1942

Перпетуя пишет мне, что днем 2 августа на Ганновер было сброшено несколько бомб, унесших жизни многих людей. Когда занялся огонь, она услышала, как старый могильщик Щуддекопф возопил на кладбище: «Вишь ты, средь бела дня являются теперь!» В доме пастора наготове стоит чемодан, упакованный сменой белья и рукописями.

Обед у Морана, на котором его самого не было, так как сегодня он стал министром. Вместо него была его жена, я также видел там нового префекта полиции и княгиню Мюрат. С префектом мы говорили о разгуле преступности на рю Лапп; ему не понравилось, что я там бываю.

Париж, 6 августа 1942

Тальман де Рео.{81} «Историйки», которые я теперь читаю, выше истории Сен-Симона по своей плотской силе. Это в своем роде исследование социальной зоологии.

Так, вчера меня позабавил анекдот, рассказывающий о маркизе де Роклор. Он хорошо передает комизм, возникающий, когда общественные претензии начинают преобладать над естественным, музическим поведением человека.

На балу Роклор, взятый под руку мадам Обер, тянет за рукав своего дворецкого и спрашивает его, не станцует ли он с этой гражданкой. На этом был построен куплет:

Roquelaure est un danseur d’importance;

Mais
S’il ne connoist pas l’alliance
Il ne dansera jamais.[81]

Париж, 8 августа 1942

Вечером у Валентинера, где кроме Клосе я еще видел молодого летчика, командовавшего на островах танковой ротой. Во время разговора становилось все темнее; летучие мыши роились вокруг старых фронтонов, стрижи потревожили их гнезда. У жизни города есть и своя анималистская сторона, как на коралловом рифе.

Обратный путь с Клосе к площади Этуаль. Речь шла об обелисках, образующих на площадях магические центры, символы духовного устремления ввысь. Мир камня обретает в них смысл; иногда мне кажется, я вижу, как с их верха сыплются искры. Красиво, когда они светятся другим цветом, например красным, или когда случайно на них попадет луч света, но вид их также и устрашающ. В них угадываешь существование безлюдных городов, где тени этих колонн, подобно стрелке часов, отсчитывают время.

О Боэции и в этой связи о современной угрозе, когда и не требуется сбивать человека с наезженного пути, — о спокойствии слепоты. Клосе заметил по этому поводу, что человек всегда привязан к некоей неподвижной зоне. Так, будучи ребенком он всегда испытывал великий страх перед грозой, но мысль о том, что небо над тучами неизменно сияет голубизной, придавала ему силы.

Жуткая личность D. На замечание, что в его лагере принудительного труда от недоедания и нехватки лекарств умирают от шести до десяти человек в день и что нужно искать выход из создавшегося положения:

— Будем расширять кладбища.

Париж, 9 августа 1942

Не сами ли мы в некий решительный момент в преддверии нашего существования согласились со своей судьбой? Быть может, мы выбирали ее, вороша кучу одежд, как перед маскарадом. Но свет, при котором мы торопливо рылись в прихожей, был другим: ткань играла в нем своими собственными, естественными красками, и ветхое рубище нищего казалось нам, быть может, более желанным, чем мантия короля.

«Diable amoureux»,[82] там самое важное место, где Бьондетта

говорит, что не случайность, а система точно рассчитанных необходимостей правит миром, — от вращения звезд до мелочной игры фортуны. Все происходящее в универсуме существует по внутренним законам чисел, и, значит, можно рассчитать и будущее.

После этого заявления она дает Альваресу несколько советов, которые помогут ему выиграть у фараона. Хотя деньги от нее он не принимает, такую поддержку он все же не считает предосудительной.

Это тонкая черта, так как на самом деле чертовщина достигает в кабалистике своего апогея, когда стирается всякая причинно-следственная связь. Так, путем механических операций с бесчисленными рядами цифр и их комбинаций из них можно составить или имена святых, или «Отче наш», или места из Писания. Хотя на самом деле полученные таким образом тексты представляют собой лишь буквенный образ, лишенный смысла и священной силы, присущей оригиналу.

И то, что Альваресу, ничего об этом не ведающему, после нескольких побед наскучивает фараон, — это прекрасная реакция здоровой, в сущности, натуры.

На самом деле, незнание будущего — привилегия человека; это один из бриллиантов в короне свободной воли, которую он носит. Утратив ее, он становится автоматом в мире автоматов.

Париж, 10 августа 1942

Ночью сны о траншеях первой мировой войны. Я находился в блиндаже, однако на этот раз со мной сидели мои дети, я показывал им книжку с картинками. Потом я вышел наружу и улегся в воронку. Земля была вспахана взрывами. Я растер в ладони рассыпающийся комок, ощущая материю, из которой мы вышли и в которую уйдем. Из нее же состояли мое тело и моя рука. Так и лежал я там, точно прах среди праха.

Париж, 11 августа 1942

Письмо Шлихтера со снимками мощных картин и рисунков. Особенно многого я жду от его иллюстраций к «Тысяче и одной ночи».

Париж, 12 августа 1942

С Фридрихом Георгом на скалистом утесе на краю пустыни. Мы бросали камни в комочек вещества размером с улитку, вспыхивающий голубизной ляпис-лазури, и обсуждали расстояние, на котором должен был бы произойти взрыв, ибо речь шла о в высшей степени взрывоопасной материи. Странно, что во

сне я так часто встречаюсь с ним в сферах физики, тогда как наяву содержанием наших разговоров всегда является искусство.

Затем мы спустились к влажному, росистому краю уступа, чтобы собрать там насекомых, но они так отличались от всех известных мне видов, что я даже засомневался, стоит ли мне их брать с собой: они так мало придерживались присущих их роду законов, что собирание их не доставляло мне никакого удовольствия. Словно ребенок, я говорил их Создателю: «Я с тобой не вожусь».

Днем в парке Багатель, разглядывал чудесные цветы, там был долихос с роскошными пурпурно-фиолетовыми стручками. Это растение, чье торжество наступает не в цветении, а в плодах.

Затем текома с большими цветками, выставленными словно пылающие трубы, — прекрасный декор для входа в сады «Тысячи и одной ночи». Звезды клематиса; цветочные мухи тигровой окраски роились над ними, зависая почти неподвижно и дрожа крылышками.

Отдыхал в гроте. В мутно-зеленом пруду, среди которого он стоит, плавала крупная золотая рыба с темной чешуей на спине. Она тенью промелькнула в глубину, затем медленно всплывала, становясь все ярче, и, наконец, молнией коснулась поверхности воды.

Ночью, возможно под влиянием всего этого, мне снился мой экслибрис; на нем была изображена меч-рыба, всплывающая из бездны, залитой матово-черной тушью, по-японски изысканная, чей абрис был очерчен старинным золотом. Проснувшись, я был так захвачен этим видением, что даже хотел заказать гравюру, однако при свете дня его очарование поблекло. Радость, испытываемая во сне, сродни детской. Мгновение, следующее за пробуждением, снова превращает нас в мужчин.

Париж, 13 августа 1942

Закончил: Жан Кокто, «Essai de Critique Indirecte».[83] В ней — вещий сон, который автор мне однажды рассказывал у Кальве. Что касается меня, я не припомню подобных снов, напротив, переживания часто кажутся мне знакомыми по прежним снам. Они уже испытаны однажды в некоей бездонной глубине, в платоновской идее, что намного важнее, чем их конкретное воплощение. Таким же образом следовало бы ощущать и смерть, установить с ней некие доверительные отношения.

Из понравившихся мне замечаний хочу выписать такое: «Surnaturel hier, naturel demain».[84] Это так, ибо законам природы, по поводу незыблемости которых Ренан поднимает столько шума, приходится приспосабливаться к постоянным

изменениям. Они сродни музыке сопровождения, умолкающей, когда дело доходит до действительно важных вещей. Живое не знает закона.

Выражаясь осторожно: законы природы — это те законы, которые мы ощущаем. Всякий раз, сделав решительный шаг, мы перестаем принимать их в расчет.

Техника реализовала себя настолько, что даже с разрушением господства техников и техницизма все равно придется считаться с ее существованием. Прежде всего с ее безжалостностью к своим жертвам. Она будет продолжать свое существование, как остался существовать Ветхий Завет после прихода Христа, — в виде нашей памяти о людях, относящихся к нему. Вопрос, собственно, в том, не утратит ли человек вместе с ней свободу? Быть может, здесь возникнет новая форма рабства. Оно может быть связано с комфортом, с обладанием властью, но узда его будет ощущаться постоянно. Свободные же люди, напротив, будут узнаны по новому блеску, который исходит от них. Вероятно, речь пойдет о совсем маленькой группе, лелеющей свободу; может быть, эти люди будут и среди жертв, но духовные обретения во много раз перевесят страдания.

Цветы, птицы, драгоценные камни, яркие вещи и пряный аромат. Они будят тоску по их родине.

Париж, 16 августа 1942

В субботу и воскресенье в Во-ле-Серне под Рамбуйе в гостях у главнокомандующего, использующего это старое аббатство в качестве летней резиденции. Пребывание в ней имеет то преимущество, что там можно делать и говорить то, что считаешь нужным, и не видеть вокруг лемуров. Леса там влажные, почти болотистые, что соответствует привычкам цистерианцев, занимавшихся строительством, словно бобры. Я видел скромное, но внушающее уважение надгробие прежнего аббата Теобальда, известного под именем Сен-Тибо де Марли.

Чтение там: Джозеф Конрад,{82} «Аванпост цивилизации», рассказ, в котором превосходно изображен переход от цивилизационного оптимизма к совершенной бестиальности. Двое филистеров прибывают в Конго с целью заработать денег и усваивают там каннибальские замашки. Процесс, который Буркхардт очень точно назвал «мгновенным распадом». Обоим была отчетливо слышна увертюра к нашему веку. Что Конрад ощущает острее, чем Киплинг, так это англосаксонский лейтмотив в наступивших отношениях. Он составляет удивительную по неожиданности черту нашего мира, которую вообще-то издавна прочили пруссакам. Суть в том, что среди

особенностей англичан — способность переварить гораздо большую дозу анархии. Будь оба хозяевами гостиницы в обветшавшей части города, пруссак неизбежно пытался бы поддерживать внутренний регламент, действительно внося тем самым известную долю порядка, скрывающего за собой здание, все источенное до предела нигилизмом. Англичанин сразу же предоставит растущему беспорядку идти своим чередом, продолжая спокойно наливать, принимать деньги в кассу, и, если дело пойдет, поднимется в конце концов с частью одних гостей наверх и вздует там прочих.

По сравнению с пруссаком англичанин явно пользуется преимуществом флегматического темперамента перед сангвиническим, т. е. в реальности это преимущество моряка перед сухопутным человеком. Народ мореходов терпимее относится к качкам и переменам, чему они, как уже замечено, обязаны по преимуществу норманнской наследственности, более способствующей образованию слоя руководителей и вождей, чем германская. Во всяком случае, с такой родней лучше стоять спиной к спине или плечом к плечу, как в Belle-Alliance, чем сталкиваться лбами. Ведь именно к этому стремилась прусская политика, которая была хороша, пока ею руководили крупные аграрии, а не избранники демократических плебисцитов. Естественно, влияние земли ослабевает по мере того, как растет численность населения и в больших городах оседает большая его часть; влияние же моря постоянно растет. Это важное отличие. Все это мы обсуждали за столом, потом речь зашла о теперешней ситуации.

Затем в лесу с Шнатом, начальником ганноверского архива. Жителю Нижней Саксонии, знакомому с правилами ухода за лесом и связанными с ними особенностями, вспоминаются здесь коптильни и весь мир образов, разбуженный хранящимся в торфе запахом земли и пожаров. Демоны ландшафта обращают предание в род духовидения. В этом сумраке причудливо, но и ощутимо перед глазами встает историческое событие, например битва в Тевтобургском лесу, давно бы ставшая мифом, если б не посторонние свидетельства. Так в ганноверском музее, среди предметов торфяной культуры, сверкает серебряное сокровище Хильдесхайма. Эта вещь мне дорога; по ней видно превосходство богинь судьбы над сформировавшейся историей. Как бы ни была пестра и богата ее нить, именно они прядут и обрывают ее, а затем, в потоке времени, блекнет узор и остается одна тканина — общее для всех изначальное.

Генерал заговорил о русских городах; он считает, что для меня было бы особенно важно побывать в них, прежде всего ради

поправок к моему «Рабочему». На что я ответил, что уже давно прописал себе в качестве покаяния посещение Нью-Йорка; впрочем, с командировкой на Восточный фронт тоже согласен.

Париж, 17 августа 1942

Утром в Буа, затем чай у мадам Моран в ее саду, где, сидя за мраморными столиками, видишь над высокими деревьями верхушку Эйфелевой башни. Тут же Геллер, Валентинер, Ранцау и маркиза де Полиньяк, с которой я обменялся воспоминаниями о катакомбах капуцинов в Палермо. Она полагает, что зрелище этого мрачного парада мертвецов будит бешеную жажду жизни; при выходе ощущаешь сильнейшее желание броситься на шею первому же встречному. Вероятно, поэтому мумия в древние времена считалась чем-то вроде афродизиака.[85]

Каприччо: способно ли древнее искусство консервации доставлять пищу и в наши дни, нельзя ли устроить трапезу с хлебом из пшеницы, лежащей в пирамидах, и бульоном из мяса храмового быка? Тогда в некрополях можно было бы добывать «мясной уголь», как ныне в шахтах — отложившийся из растений каменный уголь. Но запасы такого питания ограничены, как и запасы угля.

Париж, 18 августа 1942

Утром уничтожал бумаги, среди них — конструктивную схему установления мира, набросанную мною этой зимой.

Затем беседа с Карло Шмидом, пришедшим в мою комнату и снова рассказывавшим о своем сыне, потом о снах и о переводе Бодлера, уже оконченном им.

В бумажном магазине на авеню Ваграм купил записную книжку; я был в мундире. Мне бросилось в глаза выражение лица обслуживавшей меня девушки, следящей за мной с невероятной ненавистью. Светлоголубые глаза, зрачки которых сузились до точек, откровенно вонзились в меня с той страстью, с какой скорпион вонзает жало в свою добычу. Я ощущал, что ранее нечто подобное было невозможно. По мостам этих лучей к нам ничего не сойдет, кроме уничтожения и смерти. Они перекинутся на нас, как вирус болезни или искра, которую не загасить внутри себя никакими усилиями.

Париж, 19 августа 1942

Днем в «Рице» с Вимером, собравшимся на днях навестить в Марселе Пупе и Эркюля. Обсуждаем нынешнее положение. «Nous apres le deluge»,[86]

Затем чай у Шармиль. Мы обедали на рю Дюра, потом шли по

ярко освещенной солнцем улице, перейдя по рю Фобур-Сент'Оноре к площади Этуаль. Слушали по дороге цвирканье сверчков, доносящееся из пекарен, и болтали обо всем на свете, подытоживая прошлое.

Чтение: «Люцинда» Шлегеля,{83} оставившая впечатление, что романтика могла бы стать здесь своего рода жизненной практикой, вроде попыток, в дурном стиле осуществленных Гентцем{84} и Варнхагеном.{85} Все это существует в виде ощущений и отголосков. Может, однажды они сложатся в отчетливую мелодию. Тогда бы романтика стала гармоничной прелюдией к избранным или рафинированным свершениям культуры позднего времени. И по сю пору ощущается, как она стремится овладеть способными натурами, подобно духу, существующему в виде схем, но взывающему к их воплощению во плоти и крови. Эти схемы могут переделать на романтический лад все, что угодно, вроде того как Людвиг II приспособил себе Версаль Людовика XIV или Вагнер — нордический мир богов. Романтический ключ отопрет девяносто девять покоев с сокровищами, в сотом же таятся безумие и смерть.

Париж, 26 августа 1942

Фридрих Георг пишет мне, что во время последнего налета на Гамбург в огне расплавился набор второй редакции «Иллюзий техники».

Вечером я зашел за докторессой, чтобы идти на прогулку по старым кварталам в полнолуние. У памятника Генриху IV мы спустились к скверу Вер-Галан, где светились огоньки кораблей и от воды пахло гнилью. Разговор о стихах Платена,{86} красоту которых она сравнила с отраженным светом луны, вторичным светом, — светом Эроса.

Подчас мне трудно бывает провести грань между сознательным и бессознательным существованием, между частью жизни, проходящей во сне, и той, что сложилась днем. То же самое случается при создании образов и фигур, — многое, обретающее плоть и кровь в процессе авторского труда, входит затем на полных правах в действительную жизнь.

Человек может раствориться в образе, магически вызванном им. Тогда происходит обратное: образы выносят его к свету и затем оставляют, спадая с плода, как лепестки.

Наше призвание — осуществить обратное романтикам движение: там, где они ныряют в глубь, мы всплываем на поверхность. Новое, более отчетливое видение еще непривычно и причиняет боль.

«Les tape-durs».[87] Так называли себя сентябристы. В этом

слове есть что-то ужасно нетвердое, что сродни дурным детским играм этого мира.

Париж, 28 августа 1942

Все еще никаких сведений о поездке в восточные области. Днем разговор с Вайнштоком о Платоне и о том, насколько он современен. Это особенно очевидно мне после чтения «Греческих богов» Фридриха Георга.

Днем меня навестил в «Мажестик» некий г-н S., владелец электротехнических заводов. Он пришел с вопросом: готов ли нравственный человек сегодня вмешаться в действительность и каковы перспективы подобного вмешательства, — о чем мы долго беседовали, упоминая при этом Ницше, Буркхардта и Ставрогина.

Моего посетителя воодушевляла известная доля технико-практического морализма или утопизма, подобно тому как отцы-иезуиты при заказе сводов церкви Святого Михаила в Мюнхене основывались на рациональности. Я же вспоминал распространенный 150 лет тому назад назидательный трактат «The Economy of Human Life».[88]

Интересно, что в подобной абстрактной беседе ощутимее и заметнее становится механизм конкретного мира, будто трогаешь поршни и маховики огромной машины.

Мы нуждаемся в ком-то, на кого можем обратить нашу искренность и сердечность. Впрочем, это не уберегает от досады, — согласье струн, сливающихся в аккорд, не всегда зависит от нашей воли. Нередко бывают встречи, которым заранее радовался, — и вот они оказываются холодными, и лишь спустя дни и недели вновь обретаешь душевное равновесие.

Ночью сны об облаках, — они точно поля из плотного снега с землистыми краями, как на тех глыбах, которые дети катают по земле в оттепель.

Париж, 29 август 1942

Днем у Де Муля на седьмом этаже здания на рю Дюмериль смотрели коллекции насекомых. Дверь открыл полный, с нездоровым цветом лица от долгого пребывания в тропиках господин лет шестидесяти с белой окладистой бородой. Он попросил меня обождать минуту в большом помещении, стены которого были заняты, точно книгами в библиотеке, коробками с бабочками. Я увидел там аквариум, с одной из полок на меня слетела горлица; воркуя, она несколько раз поклонилась и вцепилась в мой указательный палец. Затем пришел Де Муль и показал прекрасных бабочек с Соломоновых и других островов мира. Уже который раз я наблюдал странность этого стремления

накапливать сотни тысяч маленьких цветных мумий — между прочим, это египетская черта. В мире уничтожения это увлечение кажется особенно хрупким. Ведь каждая из этих коробочек — часто результат скрупулезнейшей, многолетней работы. Поэтому Де Муль был так озабочен рассматриванием последствий от взрыва упавшего поблизости снаряда.

Ночью мне снилось восхождение на гору; в одном маленьком водопаде я поймал зеленую рыбу с семью парами глаз, передние были голубые, следующие за ними, неясно выраженные, терялись в эмбриональных складках. Когда я поднялся выше к ледникам, она перестала шевелиться в моей руке. Затем я вошел в часовню на вершине горы.

Париж, 30 августа 1942

Днем с Шармиль в Багателе. Там желтая лантана с красной сердцевиной. Бархатистый цветок, распространяющий душный аромат, притягивает бабочек, особенно языкана обыкновенного, широко раскрывающего перед ним веера своих крыльев, пока его хоботок погружается в пестрый тигель цветка. Я видел их, правда фиолетовых, на Азорах, и до сих пор при виде этих бабочек меня охватывает тоска по этим местам. Там, на Канарах и в горах Рио, пережил я часы, открывшие мне, что существует рай на земле, — такой одинокий, торжественный в своей красоте; даже солнце светит там по-иному, ослепляя божественным блеском. В те мгновения одно лишь было плохо в этом мире: что им суждено пройти.

Париж, 31 августа 1942

Днем на рю Мироменил у Гоно, антиквара, открытого мной впервые. Новая антикварная лавка — это всегда новое увлечение. Особенно понравился мне квадратный, весь заставленный книгами кабинет. Я купил воспоминания барона Гримма,{87} наряду с его перепиской всегда бывшие лакомым кусочком для знатоков: на обоих томах — экслибрис барона де Гризнуа: «Je regarde et je garde»[89] — гордые слова.

Затем я приобрел подробное описание кораблекрушения американского брига «София», Париж, 1821 г. И наконец, «Искусство дуэли» Тавернье с его же собственноручным посвящением А. Гершелу, которого называет «королем фотографов».

Даже просто рыться во всех этих вещах небесполезно. Ум воспринимает, походя, массу имен и дат, они затем улетучиваются, оставляя, однако, все же своего рода гумус, дающий ему пищу, какое-то неопределенное знание, которое

часто выше точного; оно оставляет на кончиках пальцев ощущение границ и переходов духовных форм. Ни одна из прогулок по набережным, в этом смысле, не была напрасной; так, прелесть охоты состоит в выслеживании красного зверя, а не в мертвой добыче.

Париж, 1 сентября 1942

1 сентября; на набережной Сены уже отпечатался узор желтых, сердечком, листьев тополя. Мы вступили в четвертый год войны.

Вечером у Валентинера поглядеть на опускающуюся на крыши ночь. Ласточки и черные стрижи улетели. Затем с Шармиль в Тюильри; сидя на скамье под искрящейся на небе Большой Медведицей, разговаривали о цветке с золотой чашечкой, цветке воображения.

Чтение: Поль Моран, «Жизнь Ги де Мопассана». Из тех букетов, где в цветах кишат разноцветные пауки и змеи. Вообще, не надо бы браться за биографии людей, которых не очень любишь.

Париж, 2 сентября 1942

Днем в Багателе. Листья желтеют, зацветают астры. Доверительный разговор в Павильоне.

Плохо спал ночью. Существуют сны, когда вместо образов возникают мысли, и тогда нам не проникнуть под низкие своды форм — не пробиться к разгадкам.

Париж, 8 сентября 1942

Вечером у Валентинера, там Анри де Монтерлан и Небель, приехавший с островов. Небель рассказал об одном пророчестве XVI века, согласно которому в наше время будет разрушен Кёльн. Он считает, что все исполнилось в точности, по букве и по месту, так как разрушен только центр города, соответствующий тогдашним его границам. Затем речь шла об американизации, к которой неминуемо ведет разрушение старых городов.

Также о Де Квинси,{88} Небель принес такое его английское издание, что у меня потекли слюнки. О боях быков, из-за которых Монтерлан мальчиком убегал из дома. О герцоге Сен-Симоне и о воспоминаниях Primi Visconti при дворе Людовика XIV. Монтерлан рассказал анекдот о графе фон Гише, который он там откопал и упомянул затем в одной из своих книг.

Париж, 9 сентября 1942

Завтрак у Моранов, где кроме них я видел еще Бенуа-Мешена.

Разговор о Мопассане по поводу биографии Морана. Он говорит, что у него есть еще много неизвестных писем этого автора. Затем о Д'Аннунцио,{89} которого Бенуа-Мешен отыскал однажды на его острове. Как-то Д'Аннунцио, находясь на своем маленьком военном корабле, приказал палить из пушек всякий раз после того, как он произносил здравицы в честь различных наций. Наконец после особо сердечного тоста за Францию образовавшийся венец порохового дыма медленно поплыл в воздухе. После этого Д'Аннунцио обратился к гостю: «Ну, верите Вы теперь, что я поэт?»

Далее Бенуа-Мешен говорил о вербовке шестиста пятидесяти тысяч рабочих, которых Германия требует у Франции, о связанных с этим возможностях и убытках, Среди прочих он назвал усилившуюся опасность катастроф, которую несет с собой такая масса, о чисто технической надобности разобщенных людей для Центральной Европы, опасных и для Франции, хотя бы в силу их соседства.

Этот министр производит впечатление человека тонкого ума. Его ошибка в том, что, находясь на распутье, он сделал неправильный выбор и теперь стоит на тропе, становящейся все у́же и ведущей в тупик. Ему приходится прилагать бо́льшие усилия, тогда как результат становится все ничтожней. Таким образом растрачивается энергия; все это заставляет совершать отчаянные шаги и наконец приведет к краху. Европа похожа на прекрасную женщину, у которой нет недостатка в женихах; она же ждет своего суженого.

Затем в парке Багатель с Шармиль, которую встретил у Эйфелевой башни. Чудесно цветут астры, особенно одна, на кусте которой светятся мириады бледно-серых бутонов чуть больше булавочной головки. Цветок делает честь своему имени, словно отражая небо в своем микрокосме.

Париж, 10 сентября 1942

Вечером с Хуммом в «Рице» у корреспондента «Кёльнишер Цайтунг» Марио и его жены. Марио рассказал, что у него в сумятице этой войны в огне пропали все заметки и рукописи, результат тридцатилетнего труда, и сравнил свою жизнь с тех пор с существованием Петера Шлемиля — человека, потерявшего тень.

Его несчастная судьба заставила меня подумать, не следует ли мне многое из неопубликованного, например путевые дневники, издать раньше, чем я планировал. Печать дает гарантии от потерь такого рода.

Среди подводных рифов, препятствующих развитию моего

мышления, особенно сильным стал в эти годы солипсизм. Это связано не только с обособлением, но и с соблазном презрения к людям, который трудно победить в себе. Среди этого множества лишенных свободы воли людей чувствуешь себя все более чужим и порой кажется, что они или вовсе не существуют, или что вокруг всего лишь бездушные схемы, проявляющиеся то ли в демонических, то ли в механических связях.

Активный солипсизм: охваченные им, мы видим мир как во сне. Нам грезится здоровье, пока мы не умрем; если грезить еще сильнее, мы вообще будем бессмертны. Соблазн велик. Следует, однако, постоянно думать об опасностях, увиденных еще Руйсбруком l'Admirable, описанных им в его «Зеркале вечного здравия»: «Бывают и такие, дурные и одержимые сатаной люди, говорящие, будто они — Господь: будто небо и земля сотворены их руками и принадлежат им со всем тем, что на них есть».

Это соблазны, лежащие в сфере теологического выбора, проявляющегося в отшельничестве. Каким крошечным кажется по сравнению с ним наш технический мир!

Париж, 13 сентября 1942

Воскресная прогулка в Сен-Реми-ле-Шеврез. Обычно я уютно завтракаю там в гостинице «У Иветты» и затем поднимаюсь на гору к большому парку, брошенному его владельцами. Хорошая сигара инвалиду — сторожу у ворот — открывает доступ в этот одичавший сад. Я отдыхаю на безлюдном, поросшем низкими каштанами склоне, откуда видны зеленые аллеи елей и дубов. Между ними снуют дятлы и сойки. Быстро пролетает в спокойном размышлении вся вторая половина дня.

Париж, 14 сентября 1942

Загадка жизни: разум трудится над ней, как над сложными комбинациями замка с шифром.

Невероятное в этой работе: содержимое сейфа меняется вместе со способами, какими его открывают. Когда замок взламывают, содержимое испаряется.

Doucement! Чем мягче наши прикосновения, тем все более удивительные возможности комбинаций открываются нам. Они также становятся проще, и наконец до нас доходит, что мы открыли собственную душу и проникли в самих себя и что загадка мира — это отражение загадки жизни. И бесконечный космос входит в нас.

Париж, 15 сентября 1942

Чтение: продолжаю Библию, регулярным чтением которой я

захвачен вот уже год. Среди псалмов мне теперь особенно замечательным кажется 138-й, излагающий божественную физику. Ее можно назвать монистической, в том смысле как единый ствол несет на себе ветвящуюся крону противоположностей. Бог присутствует во всем, вплоть до бездн ада, и тамошний мрак становится светом, пронизывающим материю и весь состав зачатого в материнском лоне человека, чья судьба ведома Ему.

Этот псалом становится нам совершенно понятен, если вспомнить другие, как, например, мощный 89-й;[90] он современнее так же, как Фукидид современнее Геродота. По сравнению с прочими древними песнями судеб он состоит из духовного вещества высшей пробы. Стихи 19–22 выпадают из него и принадлежат, должно быть, если я не обманываюсь, другому автору. Прекрасен 14-й стих, где человек благодарит Бога за то, как чудесно тот его сотворил. Очевидно, что подлинная набожность мыслима лишь как связь между чудесными существами. Звери восхваляют Творца многообразием своих форм, великолепием расцветки, человеку же дано для этого слово.

Затем рассказ Фонтане{90} «Квиты». Это чтение снова утвердило меня в мысли, что незаурядный дар рассказчика легко может повредить автору, если в быстром потоке его речи не уживается тонкий духовный планктон. Причина в том, что талант рассказчика издревле связан с риторикой, и перу здесь некомфортно — слишком быстро его несет. Конечно, чаще всего это свидетельствует об отменном здоровье, но, быть может, именно потому талант соединяется с неким оптимизмом, слишком поверхностным в исследовании людей и вещей. Но если на высшей ступени поэтическая и повествовательная силы уравновешиваются, появляется тот, кому нет равных, например Гомер. У древних певцов риторическая и поэтическая силы не были расколоты и фабула рождалась крылатой. Поэзия — родной язык человеческого рода, как предполагал Гаман.

Наконец, Морис де Герен. В некотором отношении он не имеет себе равных, например его мысль, что язык — не только передатчик чувств и ощущений, он и сам по себе является некой насквозь пронизанной чувством одушевленной субстанцией, до последнего слога жаждущей обретения формы. Так как Герен обладает этим свободным дыханием, при котором глина превращается в плоть и кровь, его язык, как никакой другой, годится для изображения и описания пантеистически одушевленного мира.

Я заметил, что в своей дневниковой записи от 6 февраля

1833 г., приводя ряд имен немецких поэтов, он не упомянул Новалиса, с которым у него и в жизни и в творчестве много общего.

Париж, 16 сентября 1942

Днем в среду в Зоологическом саду. Среди копошащегося населения фазанника я обратил внимание на парочку суматранских курочек, черных, с глубоким зеленым отливом, чудесно сиявшим при ярком солнечном свете. Самец, сильный, с длинным волнистым хвостом, не торчащим серпом, как у нашего петуха, а преображенным в шлейф на восточный манер. Это украшение особенно идет сидящим на деревьях птицам — каскад из отливающей металлом зелени.

Почему восторг особенно оживает, когда что-нибудь давно знакомое, вроде нашего славного домашнего петуха, появляется в неожиданном обличье, сформированном на островах по ту сторону изъезженных морей? Этот восторг настолько силен, что временами перехватывает дыхание. В такие моменты нам открывается неслыханная плотность материи, проявляющаяся в сходных картинах. Каждая клетка этой субстанции плодоносна, и, распускаясь роскошным цветом в разных поясах, она выплескивает наружу это изобилие. Вот она, та первооснова, что выступает в этих волшебных играх! Вид ее кружит голову: ослепительная игра свойств бросает нас в объятья материи. Радужная лестница; думаю, и весь мир как целое сотворен по единому прообразу, поворачивающемуся разными гранями в мириадах солнечных систем.

Именно в этом прелесть коллекции, не в ее многочисленности. Речь идет о том, чтобы в многообразии наметить точки наблюдения, размещенные вокруг центра творческой энергии. В этом же смысл садов и, наконец, смысл всего жизненного пути вообще.

Затем чай в тени деревьев у павильона д’Арменонвиль на краю крошечного пруда с тем же названием. Тихие всплески рыб или падение спелого каштана морщат его поверхность маленькими кругами волн, при пересечении образующих легкую решетку, заключающую в себе отраженную зелень сада. Ее невод поднимается к краям пруда, а посредине листья большой катальпы заманивают рыбу в свои круги и овалы, смешиваясь затем у берега в зеленые полотнища, вздрагивающие точно опущенные в воду знамена.

Мысль: вот здесь, у этого отражения, на такой знакомой картине можно учиться, отыскивая совершенно новые оттенки. На этом замкнутом пространстве существуют более свободные

законы. И разве это не верно? Новое всегда действует так, присоединяясь к уже существующему в виде мягкого сопротивления, некоего оттенка возможного, постепенно утверждаясь затем в предметах. То же самое и в истории живописи, — она складывается из теней, отражений, проблесков, прорывающих темноту. Впрочем, мы наблюдаем это и в истории вообще: новое гнездится в рефлексии, в придуманных пределах; оно развивается в духовных играх, утопиях, философемах, теориях, осмотически просачиваясь в реальное. Челны, несущие нам веление судьбы, таятся в тени неких отдаленных бухт.

Не забыть: пара голубых зимородков, кружащихся здесь, на окраине города, над водяной подушкой. Они гнездятся у маленького ручья, питающего пруд. Из всех движений этих похожих на ювелирные изделия птиц самое красивое, по-моему, то, как они показывают оперение хвоста, — ярко-голубая спинка мгновенно вспыхивает бирюзовой пыльцой.

Париж, 17 сентября 1942

Чтение: Гарольд Бегби, «Pots Casses».[91] В этой переведенной с английского книге изображены судьбы некоторых лондонских пролетариев, физически, духовно и нравственно повергнутых на самое дно и обращенных затем на праведный путь. Книга со всей очевидностью показывает, до какой степени отдалился от выполнения свойственных ему задач институт англиканской церкви и насколько утрачена им техника оздоровления. В страшных водоворотах падения есть потребность в лоцманах, знакомых с нравом стихии, в которой борется за жизнь утопающий. Здесь можно поучиться у сект, прежде всего у Армии Спасения — самого позднего из известных крупных орденов. Как бенедиктинцы занимались строительством в горах, а цистерианцы — на болотах, так она выбрала для себя полем деятельности большие города, безрадостные пустыни которых определили ее устав и тактику.

Кроме мощного накопления совершаемого ими добра, работа этих мужчин и женщин еще важна и в том смысле, что она сравнима с работой саперов. Как саперы устраивают бреши для массированной атаки, так спасение и обращение отдельного человека предшествуют наступлению в борьбе за здоровье масс, жизнь которых проходит в отсутствии истинной природы. Чтобы лучше, чем любая экономика, накормить их, сегодня будет достаточно кусочка духовного хлеба.

Среди прочих мне, в частности, понравился раздел об алкоголе. Здесь в обширных, но, к сожалению, лишенных ссылок цитатах делается вывод, что непреодолимое влечение к алкоголю

основано не на физическом наслаждении, а на его мистической силе. Несчастные находят в нем прибежище не из развращенности, а от жажды духовной силы. Нищему, необразованному человеку напиток дает то же, что другому музыка, библиотека, он одаряет его возвышенной действительностью. Он уводит его от пропасти реальности внутрь ее деятельной жизни. Для многих лишь забытье опьянения стало тем крошечным участком, где они могут ощутить дыхание бесконечности. Так что ошибается тот, кто считает пьянство своего рода обжорством, только направленным на жидкость.

Также эфир и закись азота названы ключами мистической проницательности. Они позволяют взглянуть в открывающиеся одна за другой бездны истины. Что совершенно верно и описано Мопассаном в его маленьком эссе об эфире, переведенном мною когда-то. Автор приходит к заключению, что есть не только одно состояние сознания, но множество их, замкнутых между мембранами, которые становятся проницаемыми в периоды опьянения.

Точно такие же мысли преследовали меня, когда я обратился к изучению действия наркотиков. Нормальное сознание я понимал как стекло, вертикально укрепленное на стержне. Одурманивающие вещества меняют, смотря по употребляемому наркотику, его угол — тем самым вспыхивают новые знаки и горизонты. Полный оборот заключает в себе сумму изменений и с ними духовное целое, образ шара. Если бы я объездил все моря наркотического опьянения, побывал бы на всех его островах, во всех его бухтах, в волшебных городах и на архипелагах, мне удалось бы совершить полный круг путешествия вокруг света в течение тысячи ночей, — я бы двигался по экватору моего сознания. Это неслыханный вояж, поездка в духовный космос, в котором затерялись бесчисленные приключения.

Париж, 18 сентября 1942

Днем кормил голубей, сидя на скамье на площади Этуаль; они были столь доверчивы, что трогали мою руку своими коралловыми коготками. Вид голубиного горлышка всегда возвращает меня в детство. Не было для меня тогда ничего более чудесного, чем эта игра зеленого, золотого и фиолетового, в которую складывались движения перышек, когда голубка клевала зерно с земли, а самец торжественно гулил перед своей дамой. В этих переливах обыкновенный серый вдруг превращался в благородный опаловый, вспыхивая таящимся в его глубине светом.

Затем по рю Фобур-Сент-Оноре в сопровождении Шармиль,

заставившей меня приобрести карманную книжечку, выставленную там в витрине антикварной лавки, по-видимому, перевод из рукописи старого Брахмана. Беглый просмотр показал, что это действительно ценная находка. Затем приобрел «Histoire Générale des Larrons» d'Abricourt[92] в первом издании 1623 года.

Потом мы сидели на площади Тертр в садике Mère Cathérine и затем обошли по спирали Сакре-Кёр. Этот город для меня — вторая духовная родина, он все больше становится воплощением всего, что мне дорого и мило в старой культуре.

Париж, 21 сентября 1942

В трехлетних детях выступает полная достоинства нравственная природа человека в ее соединении с радостью, это единство, которое мы с годами утрачиваем.

Днем в Венсене, где я при особых обстоятельствах обнаружил старую консьержку. Наши знакомые подобны пестрым нитям, вложенным нам судьбою в руку. Когда мы соединяем и переплетаем их, возникают узоры, ценность которых тем больше, чем больше мера отпущенной нам гармонии. Не всякий способен распорядиться этим богатством.

Париж, 23 сентября 1942

Прогулка с Шармиль в Венсенском лесу. Мы обсуждали с ней итоги последних лет и близость катастроф. Шел дождь; мокрые дорожки были усыпаны глянцевыми каштанами.

Ночью снилось, что я среди солдат. У всех на груди были маленькие круглые ордена за расстрел раненых. Я понял, что это международные знаки отличия, вроде Красного Креста.

«Совершенно верно, раненые это то, что вас еще связывает».

Париж, 24 сентября 1942

Пупе и Геллер навестили меня в «Рафаэле». Разговоры о мемуарах Кэлло, вышедших теперь у Плона. Пупе рассказал, что он недавно видел на каком-то обеде мадам Кэлло, которая в 1914 году застрелила редактора Кальмета. Она явилась в длинных красных перчатках, доходивших до локтя.

О прелести вещей, долгие годы впитывавших ароматы, таких как ступки, терки, мельницы для пряностей или целые дома, например старые аптеки или табачные склады, виденные мною в Байи.

Париж, 25 сентября 1942

Чтение актов и свидетельств современников о событиях французской революции. Судьба королевской семьи выглядит

столь трагично, заставляет в таком безотрадном свете увидеть этот позор рода человеческого! Такое ощущение, будто несметные стаи крыс окружили беззащитные жертвы и кинулись на них.

Днем Клаус Валентинер зашел в «Мажестик» и подарил мне издание произведений Вико, выпущенное в 1835 г. Мишеле.

Париж, 27 сентября 1942

Воскресная прогулка под дождем в Венсенском лесу. Мы обошли вокруг озера Minime с его островами и на опушке понаблюдали за играющими в шары людьми, чьим неподражаемым хладнокровием я уже однажды вместе с Хёллем имел случай любоваться. Здесь можно встретить мужчин между сорока и шестьюдесятью, в основном это мелкие чиновники и лавочники. На бетонной площадке металлическими шарами, умещающимися на ладони, они целятся в меньший, размером с апельсин, шар, который они должны сбить. Впечатление такое, что падения империй и военные поражения воспринимаются здесь довольно смутно. Отдыхаешь, наблюдая, как катаются шары, словно вступаешь в круг философов.

Затем в конюшнях маленького цирка, где мы следили за манипуляциями помощника дрессировщика; там во дворе он надраивал щеткой трех слонов, готовя их к представлению. Дождь стекал по палатке, образуя по ее краям мутные лужи, откуда один из слонов хоботом ухитрялся выуживать нанесенную туда ветром сенную труху. Он скатывал добычу в маленькие шарики и с удовольствием отправлял их в рот. Когда туалет был закончен, помощник, чтобы сделать слонов окончательно презентабельными, заставил их опорожниться, хлопая кнутом и выкрикивая при этом «си-си-си». Славные животные поднялись на задние ноги и извергли мощное количество жидкости и помета.

Помощник, по-видимому, боялся не поспеть к началу представления, что еще более увеличивало комизм происходящего. Вообще, комизм, свойственный подобным абсурдным занятиям, вроде того как заставить какать слона, растет по мере серьезности исполнения. Собственно, в этом состоит комическое в Дон Кихоте, и комическая потенция тем более увеличивается, чем серьезней кажется рассказчик.

Париж, 29 сентября 1942

Бессонная ночь, полная лихорадочного возбуждения. И все же время летит; не спишь, но скользишь по поверхности сна, как по темному льду.

По привычке я перебирал в уме прогулки прошлых времен. В таких случаях я пристаю к какому-то острову и предаюсь

воспоминанию. На этот раз я снова поднимался в горы Лас-Пальмаса. Как и тогда, сыпал мелкий теплый дождь и в чудесном свежем воздухе я глядел на фенхель; в изящнейших переплетениях его, точно в смарагдовых жилах, кружил зеленый сок. Вся внутренняя жизнь растения была явной. Это были, наверное, лучшие мгновения в этом мире, способные осчастливить больше, чем объятия прекрасных женщин, — мгновения, когда я склонялся над этим чудом жизни. У меня перехватило дыхание, меня вознесло на гребень поднявшегося из голубого моря вала. Звездочка цветка не меньше достойна преклонения, чем все небеса.

Мысль: ночь за ночью наше тело пребывает во сне все на том же месте, но духовно мы все время в новой чаще, в далеких чужих странах. Так и лежим мы в гиблых пределах, бесконечно далекие от нашей цели. Поэтому так часта необъяснимая усталость после глубокого сна.

Перпетуя пишет мне, что при последнем налете на Мюнхен разрушена мастерская Родольфа. К счастью, картины там не хранились. А портрета, для которого я позировал в Юберлингене, мне вообще не жалко.

Утром пришел Циглер, рассказавший о налете на Гамбург. Зажигательные бомбы сбрасывались связками по семьдесят штук; в каждую десятую, чтобы отпугнуть от тушения дежурных местной противовоздушной обороны, помещен взрывной заряд. Когда загорелась типография, в городе уже бушевало 150 пожаров.

Вечером доклад, сделанный одним из маленьких мавританцев, с циничным удовольствием распространявшемся о технике пропагандистской обработки масс. Такого сорта люди, без сомнения, — новое явление, хотя бы в сравнении с XIX веком. Их преимущества лежат целиком в сфере негативного и состоят в том, что они раньше, чем большинство прочих людей, отбросили соображения морали и внесли в политику законы автоматизма. Но в этом преимуществе их скоро догонят другие, — и это будет не нравственный человек, заведомо уступающий им в беззастенчивом пользовании силой, а им подобные, сидевшие с ними в школе за одной партой. И тогда последний дурак скажет себе: «Если ему на все плевать, как же он ждет уважения к себе?»

Это заблуждение — считать, что религия и религиозность восстановят порядок. Животные отношения существуют на почве животной, а демонические — на демонической, т. е. акулу схватит спрут, а черта — Вельзевул.

Париж, 30 сентября 1942

Корректура «Писем из Норвегии». При этом сомнения относительно «расплавленных свинцовых рек». Вероятно, они безосновательны, ибо реки могут быть и застывшими и замерзшими.

Недостаток, ощущаемый здесь мною, коренится в самом языке, в существующих в нем прорехах. В нем отсутствует существительное для понятия «застывшая река».

Нижняя часть тела многих живущих на земле животных неокрашена, например у камбалы, ресничных червей, змей; природа — экономная художница.

Днем в Национальной библиотеке. Зал каталогов. Как часто мне хотелось владеть этими фолиантами, в которых можно справляться о любой напечатанной книге! Здесь, однако, понимаешь, что существуют вспомогательные средства, которыми не подобает владеть отдельному человеку, как бы он ни был богат. Их масштаб годится только для Важной Персоны, т. е. государства. Вся система каталогов оставляет впечатление духовной машины, созданной методичным умом.

Я разговаривал также с доктором Фуксом, работающим над общим каталогом немецких библиотек. Этот каталог должен вобрать в себя все, что с пчелиным прилежанием создано человеческим разумом. Работа по накоплению и отбору материала уже началась; это некое мандаринское предприятие, новая Китайская стена, лишенная творческого характера. Такое занятие все же требует умения обращаться с выкристаллизовавшимися идеограммами. Тем самым в области музееведения возникает более строгая и скромная, но обещающая между тем массу наслаждений наука, по сравнению с которой наука XIX века носит анархический характер. Скорее, ее нити протянулись к XVIII веку, к Линнею, энциклопедистам и рационализму в теологии. С этими умами чувствуешь себя уютнее, они лучше поддаются контролю. В мире уничтожения они охраняют прошлое, им предстоит строительство пирамид и катакомб — требующее муравьиной деловитости занятие. Как в древние времена стремились уберечь от забвения фараона со всем его домашним миром, так теперь то же самое до последней мелочи совершают с методично организованным плодом познающего духа.

Затем в зале рукописей, где выставлены прекрасные вещи, например: Евангелие Карла Великого, Библия Карла Плешивого, Часослов герцога Берийского, из которого вырван календарь за август и сентябрь. Помещение похоже на шкаф, в воздухе его дрожат солнечные пылинки, будто входишь в картину Мем-линга. Музейная тщательность обретает высший смысл, когда раритет

является еще и реликвией, — живущая в нем власть прошлого выше его стоимости. Здесь бы следовало, вопреки исторической последовательности, учредить новый тип музейного работника. Но этому должен предшествовать новый менталитет. Можно ли ждать его от государства, ставящего полицейского к могиле Неизвестного солдата?

Среди музыкальных произведений — партитура оперы «Пелеас и Мелисанда» Дебюсси, оставляющая впечатление невиданной точности, она напоминает чертеж электрического включающего устройства; ноты сидят, точно маленькие фарфоровые изоляторы на проводах.

Вечером с Циглером, чьи приезды в Париж всегда доставляют мне удовольствие, и Геллером в харчевне «Ник» на авеню Ваграм. Разговор о нашем положении, в оценке которого мы сходимся уже десять лет. Потом о знакомых, среди прочих о Герхарде, чья жена на четверть еврейка. Эта причина заставила ее вместе с детьми отказаться от пользования бомбоубежищем. Вряд ли инстинкт чистоты крови так обострен у гамбургских учителей, живущих в том же доме, — скорее, они нюхом чуют возможный объект для избиения.

Вечером читал Притчи Соломона, затем, как теперь часто бывает, плохо и мало спал. Сон не подвластен воле, так что чем больше пытаешься заснуть, тем больше бодрствуешь. Мысли же — целиком в нашей власти. Можешь думать, о чем хочешь. Хотя, впрочем, не можешь избавиться от того, о чем думать не хочется. По этому поводу о крестьянине, которому обещают сокровища, но, однако, с условием, что, выкапывая их, он не будет думать о медведе. Шутка глубже, чем кажется, она указывает на путь, ведущий к сокровищам земли.

Париж, 2 октября 1942

Перпетуя пишет мне, что конец этого столетия будет еще ужаснее, чем его начало и середина. Не хочется в это верить; я думаю, век уподобится Гераклу, задушившему змей в своей колыбели. Но она права, говоря, что в эти времена нужно, как ящерице, уметь находить и использовать редкие солнечные места. Это верно и в отношении войны; не следует бесплодно умствовать над тем, когда же она кончится. Эта Дата не зависит от нас, но в нашей власти — черпать радость для себя и для других хотя бы в погоде. Тем самым мы удерживаем в себе толику мира.

Далее она пишет, что уже некоторое время заметно отсутствие отца астролога; предполагают, что русские пленные убили его, позарившись на одежду. Это напоминает мне ужасную судьбу старого Кюгельгена. Впрочем, я уже давно предвидел

появление банд грабителей, не предполагая, однако, как все будет выглядеть на самом деле, — я просто заключил это по некоторым априорным негативным признакам, по ставшим общегосударственными несправедливости и превышению власти.

Вечером встретился на площади Терн с докторессой за чашкой прописанной ею вербены. С тех пор как мне пришлось заняться своим здоровьем, этот час стал и часом посещения врача.

В постели сперва читал дневники Леона Блуа, затем продолжил чтение Притчей. Появление в Писании документа, полного скепсиса, да еще в качестве одной из ее истинных книг, удивительно; оно становится понятным, лишь если рассматривать Библию как ландшафт, плод творения, части которого взаимосогласуются и дополняют друг друга. В этом смысле взмываешь к высотам, где гнездится матерый орлиный царь в своей седой короне, где разрежен воздух и откуда ясно виден остов земли. Ни у кого нет такого острого глаза, как у мудрого царя, хотя Иов больше него проникает в глубину. Его плод поспеет в старости, ибо Иов испахан болью.

Соломон же считает боль еще и тщеславием. В этом смысле он избежал участи Лира, предпочтя наслаждаться жизнью, как стареющий Фауст. Он превращал страны в цветущие сады, насаждал леса и виноградники и жил в своих дворцах сладострастия в окружении сонма рабынь и певуний. Но все это было лишь пустое колебание воздуха; и такая мысль его страшнее той, что принимает сущее за покрывало Майи.

У каждого в жизни есть вещи, которые он не доверит даже самому близкому человеку, что-то вроде камешков в желудке курицы, никакое дружеское участие не поможет их переварить. Это самое дурное и самое лучшее ревниво охраняется человеком, и если на исповеди он разрешается от дурного, то лучшее в себе он бережет для Бога. Добро, благородство, святость хранятся нами вдали от социальной сферы; это то, что не поддается пересказыванию.

Впрочем, женщины в этом смысле гораздо более скрытны, иногда это настоящие могилы прошлых любовей, и никто, будь это хоть супруг, хоть любовник, держащий ее в самых крепких объятьях, не знает всего. Всякий, встретивший свою прежнюю возлюбленную спустя годы, бывает сражен этим умением молчать. Воистину дочери земли! Бывает ужасный одинокий опыт, хранимый в их сердце, например отцовство. Бездны Медеи разверзаются за буржуазным благополучием. Что вы скажете об образе женщины, годами видящей, как ее супруг ласкает ребенка, не принадлежащего ему?

«Два любящих человека должны быть до конца друг с другом откровенны», но достаточно ли они сильны для этого?

«Я хочу исповедоваться перед тобой, но, боюсь, ты будешь слушать меня, как священник. Достанет ли у тебя мудрости выслушать меня?»

И здесь неоценимо целительное действие молитвы, расправляющее на мгновение наше зажатое сердце и открывающее его свету. Единственно она, особенно в наших северных широтах, дает человеку доступ к вратам истины, последней и безоглядной честности. Иначе не мог бы он общаться с близкими и дорогими ему людьми, не тая злобы в темных закоулках своей души, — и где не удержала бы языка та же осторожность, это сделает уважение.

О согласных, придающих слову негативный характер, особенно *N* и *P: Pes, pejus, pied, petit, pire*.[93] Это *P* вносит в слово презрительную ноту. Нога — символ ущербного, неудавшаяся рука. Об этих связях, особенно о том, как человеческое тело находит отражение в языке, я хотел бы написать работу после войны. Было бы хорошо побеседовать на эту тему с Фридрихом Георгом, такой разговор многое бы прояснил.

Париж, 3 октября 1942

Днем в книжном магазине в Пале-Рояль, где я приобрел издание Кребийона,{91} напечатанное в 1812 г. у Дидо. По обложке из телячьей кожи, выкрашенной в зеленый цвет, видно, как сохранялся стиль времен Империи; еще оставался слой ремесленников старого режима, и это — более важное, чем стиль, — было силой корней. Этим преимуществом сохранения традиций Франция владеет до сих пор и, по-видимому, будет его хранить и впредь благодаря своей в большей мере благоразумной политике. Ибо что теперь важно в этой стране? То, что ее старинные гнезда, города не перепаханы настолько, чтобы на их руинах строить новые Чикаго, как это случилось в Германии. Активизировать еще имеющийся крупный капитал — цель обеих ведущих войну партий, и эта малая группа людей удерживает в равновесии стрелку весов. То, что это до сих пор удавалось, тем удивительнее, что противостоит грубой политике наших дней.

Я решил не стирать пометки книготорговца о сохранности, цене и прочем, что так часто видишь на шмуцтитуле, — они вносят новую ноту в то, что Feltes-se называл аутентичностью книги. На экслибрисе я отмечаю число и место приобретения книги, имя дарителя, иногда связанные с этим особые обстоятельства.

За столом у докторессы. Смотрел, как она готовит. В том, как

она это делает, чувствуется женщина-ученый, особенно в том, что касается распределения времени, чередования движений рук и действий. В результате варка приобретает вид продуманного процесса, выглядит как химический эксперимент. Впрочем, само добывание продукта нынче стало искусством, так как в магазинах почти ничего нет. Голод царит повсюду.

Чтение: Конан Дойль. Наш возраст таков, что уже и хорошие криминальные романы скучны. Калейдоскопическая игра фактов теряет всякий смысл; все эти элементы слишком знакомы.

То же самое можно сказать и о жизни; наступает момент, когда мы овладеваем реальностью, мы насыщены ею. «Наша жизнь длится семьдесят лет…», можно добавить: и хватит! Кто же еще не достаточно выучился, чтобы перейти в старший класс, тому придется проходить все снова, придется догонять.

Отсюда детскость старцев-неудачников, особенно похотливых, жадных, жестоких и мелочных. Беспорядок поэтому берет верх, они лишены опыта удавшейся жизни, остающейся обычно в виде определенных, внешне заметных признаков.

Париж, 4 октября 1942

Поездка в Сен-Реми-ле-Шеврез. После завтрака бродили по лесу. В его влажной чаще растут грибы, шляпки их светятся во мху среди покрытых жемчугом росы паучьих сетей. Видел круглый гриб-дождевик, из шляпки которого росли длинные белые иглы, он был словно еж в этом окружении.

На высоком каштане резвилась белка, ярко-рыжая во влажной зелени. Она сбрасывала глянцевые плоды; мы составили ей компанию.

Меланхолия, так как я все время недоволен своим состоянием. За последние недели я заметно похудел. Все мне опостылело, надо бы усмирить взбунтовавшееся тело, но лучше открыть уши и вслушаться в то, чего оно хочет.

Вечером продолжил «La Porte des Humbles»[94] Леона Блуа, чтение которого всегда доставляет мне радость, несмотря на все его маниакальные, без разбору, выпады против всего германского. Так, Лондон он собирается уничтожить одной-единственной бомбой, Дания для него — грязный Содом. Кажется, я уже научился отдавать должное духу людей, чья воля отлична от моей, и различать по ту сторону всех границ и принципов их истинное лицо.

Далее Песнь Песней.

Париж, 5 октября 1942

Днем листал «Пирра» Кребийона. Неподражаемо

раскрывается язык в этой вещи; столь совершенны гладкость и округлость стиля, здесь автор непревзойден. Умение извлечь из слов новые звучания и краски сродни работе химика в лаборатории. Это уже почти подходит декадансу.

Прекрасна легкость, с какой льется стих, непринужденно стремясь к рифме; языку привольно в этой поэзии, как будто в ней нет никакой искусности. Этой гибкости способствует также звучность односложных слов, дактилически членящих строфу:

La nuit est plus claire que le fond de mon coeur.[95]

Вечером на набережной Вольтера, где я встретился с уже закадычными Валентинером и Пупе. Дома окутывал серебристо-серый туман, над ними — серо-голубые облака с коричневым кругом заката. Некоторые тона обесцвечены; четкий абрис Сен-Жермен-де-Пре словно размыт, и только темные очертания колокольни просвечивают сквозь туман.

В светлом камне, из которого сделаны многие дома, тротуары, мосты и набережные, часто заключены, в виде полой формы, маленькие отпечатки раковин улиток. Мне нравится на них смотреть: они будто тайный герб, символическое украшение микрокосма города.

Париж, 6 октября 1942

Закончил «La Porte des Humbles» Леона Блуа. Старый Лев стал мягче; такому крепкому вину потребовалось семьдесят лет, прежде чем оно начало выдыхаться.

Это чтение подарило мне за обедом истинное наслаждение. Собственно, прелесть дневников состоит не в чем-то особенном и необычном, гораздо труднее описать течение повседневной жизни, те отложившиеся формы, которые она приняла. Блуа это удалось прекрасно, словно участвуешь в каждом его дне. Так протекшие годы снова радуют нас; как тлеющие в камине дрова, они греют нас теплом ушедшего лета.

В этой книге есть предсказания, среди них — о русской революции. Да, действительно, именно из этого утла доходит до нас апокалипсис наших дней. Среди последних слов старика было: «Я ожидаю пришествия казаков и Святого Духа». Незадолго до кончины, 16 октября 1917 г., звучит его пророческое слово: «Не могу есть. Не хочу. Нужно, чтобы все переменилось во мне». Это свершила смерть. Его лицо, преображенное ею, было «величественным, радостным, значительным».

Его жизнь — пример того, что нет таких заблуждений, которые мешали бы нам въехать в те последние врата чести, куда стремится наш дух. Скорее, может сказаться недостаток заблуждений, ощущаемый там как слабость. Мы расстанемся с

ними, подобно Дон Кихоту, снимающего с себя латы и ощущающему при этом радостное облегчение.

Днем в антиквариате Жана Банье, рю Кастильоне, 8. Я приобрел там «Roma Subterranea»[96] Арингуса — вещь, содержащую множество досок и надписей мира катакомб, ее можно рассматривать в качестве предвестника к «Roma Sotteranea» Росси.{92} В нашем охваченном пламенем уничтожения мире покой упрятанных в скалы могил, вечный сон в лоне земли обретают удивительную заманчивость.

Но, прежде всего, я приобрел прекрасное издание Бретона «Китайская миниатюра», на которую уже несколько раз облизывался, словно лиса на приманку, перед тем как попастся в ловушку. Покупка превысила мои возможности. Но доход с книг хочется потратить на книги же, хотя часто кажется, что собираешь их для той кучи мусора, в какую может превратиться дом, где они стоят. Однако я сразу с наслаждением пролистал все шесть томов, где дивными красками сияли собранные более чем за 130 лет миниатюры. Пустыни и моря разделяли, наверное, не меньше, чем небесное пространство, и потому картины жизни этих далеких царств глядят на нас, как с иной звезды.

Об извращениях: страсть намыливать себя или смазывать маслом, о которой пишут авторы, это атавизм, корни которого в прошлом; это память о временах, когда вся кожа была покрыта слизью. Слизистая — это прежняя кожа, свидетельство нашего морского происхождения. Здесь осязание стремится ощутить привычную стихию, так же как глаз младенца прежде всего воспринимает красный цвет. Но есть и другие типы, вроде сангвиническо-солярного. Это вялые фигуры со скудной пигментацией, предпочитающие парную, парикмахерские и зеркало, лунный мир и пещеры. Среди расстройств у них найдете болезни крови и предрасположенность к экземам. Необыкновенная, часто маниакальная страсть к чистоте, часто они альбиносы, страх перед микробами и ужас перед змеями ярко выражены.

Перверсии, собственно, не являются отклонением от нормы, — это вырвавшаяся на свободу стихия, скрыто действующая внутри нас. Часто во сне она поднимается из своих теснин. Чем глубже эти вещи упрятаны под самую нашу основу, тем яростнее мы их отторгаем, возмущенные, что природа, подобно химику-демонстратору, вдруг открыто показывает их нам. Тогда змея выползает из ущелья. Это похоже на ужасное возбуждение, в которое приходит миллионный город, узнав о совершении убийства из похоти. Каждый ощущает бряканье засова на двери, ведущей в его собственное подсознание.

Здесь полезно назвать заблуждения некоторых врачей, пытающихся уберечь преступника от судьи. Это имело бы смысл, не будь это нашей, в основе общей болезнью, выявленной на виновном и помогающей нам освободиться. Мы же, подобно приношению человеческих жертв в прежние времена, вмуровываем его в опоры моста, поддерживающего общество. И речь идет не о бедном мошеннике, скорее о миллионах его собратьев.

Париж, 7 октября 1942

Плохо спал. Рано утром меня будит изнутри тихое, странное возбуждение. Словно тело хочет что-то сказать, поговорить с нами, но мы в той искусственной жизни, которую ведем, вряд ли понимаем его, вслушиваемся в его речь не лучше, чем в слова старого арендатора, беседующего с нами в нашем городском доме об освящении храма, урожае, болезнях приплода. Как мы суем ему деньги, так мы пичкаем тело таблетками. В обоих случаях: к природе, т. е. к земле, обратно к стихии.

Из газет: «Книга, чей тираж достигает миллиона, в любом случае — необычная книга, событие в духовном мире… Видно, что в этой книге нуждаются. Успех „Мифа“ — знак, повествующий о скрытых желаниях грядущей эпохи». Так говорит мудрый Кастор в «Фёлькишер беобахтер» от 7 октября 1942 г. о «Мифе» Розенберга, самом пошлом собрании наспех написанных общих мест, какое только можно себе представить. Тот же Кастор десять лет тому назад высказывал аргументы в том же издании: «Разве г-н Шпенглер не читал газет?» Итак, философ, указывающий другому философу на газеты как на источник признания, и это в Германии! Причем, expressis verbis,[97] никогда это еще не выступало так явно. И этот Кастор считается первым в своем предмете, сверхфилософ героического понимания истории и т. п. Маленький пример атмосферы, в которой существуем.

Люди вроде этого Кастора, впрочем, относятся к тому типу наевшихся трюфелями свиней, какие встречаются в каждой революции. Так как их тупые единомышленники не способны выявить избранного противника, они пользуются услугами коррумпированной интеллигенции более высокого сорта, заставляя вынюхивать и выслеживать его, а затем атаковать привычными полицейскими способами. Каждый раз, когда он брался за меня, я ожидал обыска в доме. Так что и на Шпенглера он натравил полицию, и есть посвященные, знающие, что Шпенглер на его совести.

Париж, 8 октября 1942

Вечером у Бере, смотрел книги. Купил старый «Malleus Maleficarum»[98] Шпренгера, причем в венецианском издании 1574 г., — приобретение, которое восхитило бы меня лет двадцать тому назад, когда я наряду с изучением наркотиков занимался магией и демонологией.

Париж, 9 октября 1942

Днем прогулка верхом в Булонском лесу, где листва уже пестрая. По словам полковника Космана, вопрос о моей отправке в Россию, кажется, на днях будет решен; уже подготовлены приказы. После того как моя жизнь здесь изменилась, такой поворот дела надо, наверное, только приветствовать. Поэтому я столкнул со стола бокал, сразу разлетевшийся на куски.

Надо попробовать, чтобы Рема отпустили со мной ординарцем.

Париж, 11 октября 1942

Воскресенье. Днем на рю Бельшас. Может, я в последний раз переступаю порог лестничной клетки, на аметистовых поворотах которой мною всегда овладевала подавленность, точно в преддверии большой тайны. Я снова заметил, что на камне порога — узор маленькой улитки, так часто радовавший меня в этом городе.

Париж, 12 октября 1942

Очень плохо спал, что, без сомнения, результат болезни. В момент, когда надо ехать в Россию, нельзя болеть. Такие совпадения уже часто случались в моей жизни; тогда наступает дискомфорт.

В почте письмо от Ум-эль-Банин,{93} татарской писательницы, приславшей свой роман «Нами». Когда я перелистывал книгу, из нее выпал прекрасный засушенный ландыш. С его темно-коричневого стебелька, точно вытисненные на старинной бумаге ручной выделки, свисали десять пожелтевших бубенчиков.

Сюрен, 13 октября 1942

Опять очень плохо спал; утром пошел к врачу главного штаба, назначившему мне краткое пребывание в госпитале Сюрен, которое успеет закончиться ко времени вступления в силу приказа об отправке. Прибыл туда. Провожу время то читая в постели, то глядя в окно с видом на Мон-Валерьен. Листва еще почти вся зеленая, иногда вспыхивают медного, огненного или желтого цвета кусты. Форт, старый Бюллерьян 1871 г., тонет в них по самую крышу.

Впрочем, в памяти остались сны последней ночи: я с отцом стою в нашей комнате, рядом находятся некоторые мои сестры и братья, один из них барахтается в бельевой корзине. Я хотел сделать по этому поводу замечание, обращаясь к отцу, но он, однако, все пропустил мимо ушей. В конце я произнес:

— Никому из нас не удалось создать подлинных уз. Я заключаю это из добродетелей, присущих нам в целом, но ни одному из нас в отдельности.

Старик помедлил несколько секунд, отрешенно уставившись в пустоту, и сухо произнес:

— Ты прав, пожалуй.

Было еще что-то в этом роде. Я бы охотно все записал, но боялся прихода бессонницы в случае, если зажгу свет.

Черная тоска. Вчера приехал Рем, так что по части поручений я не стесняю себя.

Сюрен, 14 октября 1942

Вечером меня навестила докторесса и принесла красные цинии. Она не отставала, мучая меня, пока я не пошел к штабному лекарю. И там она, конечно, затеяла консилиум с главным врачом.

Еще раз о вчерашнем сне: трактат о смерти следовало бы начать с подчеркивания случайности нашей индивидуальной жизни. Нас бы не было, будь у нашего отца другая жена, а у матери — другой муж. Но даже учитывая существование этого брака, мы всего лишь один из миллионов зародышей, т. е. мы лишь результат моментальных комбинаций Абсолюта, подобно вытащенному лотерейному билету, и выигрыш, записанный на карте судьбы, выплачивается нам валютой жизни, точно деньги, даваемые в рост.

Из этого можно сделать вывод о нашем несовершенстве как индивидуумов и о том, что вечность нам не впору и не по карману. Нам следует скорее вернуться к Абсолюту, и именно эту возможность предоставляет нам смерть. Смерти свойственны внешняя и внутренняя формы, из которых последняя иногда обнаруживается физиогномически, она видна на лице мертвого человека. У смерти есть своя мистерия, далеко превосходящая мистерию любви. В ее руке мы делаемся посвященными, мистиками. Улыбка потрясения — духовного порядка, но отблеск его ложится и на физический мир, запечатляясь на лице умирающего.

Здесь также мои замечания по поводу колеса фортуны и рулетки.

Чтение: Поль Бурже «Voyageuses»,[99] букет маленьких

рассказов, в которых автор выступает в такой роли, что не хочется перечитывать. Не удается прорваться сквозь кожуру банальности до истинно человеческой сердцевины.

Затем продолжал разглядывать китайские миниатюры, среди которых обратил внимание на изображение торговца змеями. В корзине на дне — чашка со змеиным отваром, сверху — сосуд, где хранятся живые змеи. Как и в старых аптеках Европы, их употреблению в опасных для жизни случаях приписывалась особая целительная сила. Змеи, обитатели земли, — отличное лекарство.

Снова, как не раз уже за последние годы, я встретил при чтении упоминание о дневниках императора Хань-Ши, — произведение, которое я давно жажду приобрести. Необыкновенная притягательность этого ума действует через пространство и время.

Затем Исайя, певец гибели, над которой «сердце его трепещет арфой». Пророк и для наших дней.

Всякий раз когда я люблю человека, меня тянет отделаться от него — будто его образ так сильно запечатлелся во мне, что сам он с его физической близостью становится невыносимым излишеством.

Человек, убивающий свою возлюбленную, выбирает обратный путь; он стирает ее образ, чтобы полностью завладеть им. Может, также поступают с нами бессмертные.

Совместная смерть — всегда значительный акт. Прекрасно описан он в «Акселе» Вилье де Лиль-Адана.{94} Клейст{95} подобен тому, кто в спешке берет с собой первого попавшегося.

«Ныне же будешь со Мною в раю». Такое вполне подходит и для разбойников, но об этом не принято говорить вслух.

Сюрен, 15 октября 1942

Плохая ночь. Во сне я видел всех врачей, каких посещал в своей жизни, один из них — воображаемый, в его кабинете я ощущал к нему особое доверие. Когда проснулся, потребовалось время, чтобы избавиться от этого видения.

Утром довольно разбитый физически, но бодрый духовно; это я заключаю из того, как волновал меня представший моим глазам свод, образованный зелеными и желтыми кронами деревьев в саду.

Затем чтение Исайи, чей мощный дух оживает в картинах разрушения. Его Я — в крушении исторического мира, старых городов, житниц и виноградников; триумф стихии; в ней для него кроются возможности выздоровления и подготовки к возведению нового нерушимого мира в Божьем Законе. Какими

представляются внутреннему видению люди и царства, такими они однажды и станут.

Этот образный мир выступает в некоем роде как трехполье: возделывание земли, пар, духовные плоды. Средняя часть этой триады, время безмолвия, исполнена особой красоты, ведомой тому, кто видел пустыню в буйстве весеннего цветения. Сам Бог был землемером этих угодий.

Меня взвесили и нашли, что я очень похудел. Но картина деревьев стала истинной мерой моего духовного веса. Уже не впервые в моей жизни физический упадок соседствует с напором образов, — будто болезнь выявляет обычно скрытые от глаза вещи.

Днем посещение Валентинера и докторессы. Она поставила мне на стол фиолетовую орхидею-катлею с бахромчатой нижней губой и чашечкой цвета желтоватой ванили. Забавно, что маленькая медсестра из Гольштейна, которой по душе, что я читаю Библию, с недоверием обходит этот цветок, словно опасное насекомое.

Сюрен, 16 октября 1942

Снова хмурая, беспокойная ночь. Во сне мы с Фридрихом Георгом находились в зале, пол которого был выложен белым фарфором. Стены были сделаны из стеклянных кирпичей, на полу стояли стеклянные и керамические сосуды цилиндрической формы, размером с нагревательную колонку в ванной комнате.

Мы играли там, перебрасываясь стеклянными шариками, похожими на плоды снежноягодника, но только каждый десятый шарик был такой же белый, остальные были бесцветны и невидимы в полете. С глухим стуком шарики ударяли об пол, отскакивали от стен и сосудов, образующих своими угловатыми и прямыми формами геометрические фигуры. Траектории невидимых шариков были воображаемыми, тогда как белые образовывали белые нити, сетка которых придавала осмысленность этой чересчур духовной, чересчур абстрактной игре.

Мысль: это была, по-видимому, одна из потаенных, невесомых келий в обители мира труда.

Далее Исайя; потом еще афоризмы Лихтенберга{96} и шопенгауэровская «Парерга», два испытанных утешителя в трудную минуту. Я дочитал книгу, шагая по комнате, изо рта у меня торчал зонд, который мне затолкали в желудок.

Суждение Лихтенберга о Жан-Поле:{97} «Начни все сначала, он стал бы воистину великим».

Хоть с точки зрения индивидуума это невозможно, но все

равно такое утверждение является свидетельством живительной, сперматической силы, скрытой в прозе Жан-Поля. Ее ростки дали себя знать в рассказах Штифтера.{98} Мне всегда было жаль, что Геббель{99} не мог «начать сначала», прежде всего развитием потенций, содержащихся в его дневниках.

Мы говорим: «Это ясно, как дважды два четыре».

А не «…единица равна единице».

Впрочем, первый вариант убедительнее; преодолен подводный камень в определении тождества.

В отношении упрека, что я избегаю известных, устоявшихся выражений, ставших общеупотребительными, вроде слова «тотальный»: «Времена инфляции возвращают силу золоту».

Это из письма к Грюнингеру, он любит такие штуки.

Сюрен, 18 октября 1942

Воскресенье. Утром верхушка Эйфелевой башни закутана в туман.

Фридрих Георг во вчерашнем письме в основном о чтении Исайи, которого он начал читать почти одновременно со мной. Так некие невидимые нити связывают нас.

Визит Шармиль, принесшей мне цветы. Что так влечет меня к ней? Может быть, то детское, что я открываю в ее существе. Нам встречаются люди, которых хочется оделить, пробудить, вот почему я жалею, что не владею всеми сокровищами земли.

Лишь к вечеру обрисовался Сакре-Кёр, то светясь на своем холме, то расплываясь в фиолетовой дымке. Что-то фантасмагорическое есть в этом здании; его очарование сильнее всего на расстоянии, когда он воспринимается как символ заключенного в нем чуда.

Сюрен, 20 октября 1942

Ночью сильные приступы: la frousse.[100] Потом подведение итогов: от Карла Великого до Карла V, от Реформации до неразберихи после первой мировой войны.

Занимаясь рыбной ловлей на морском берегу, нашел большую черепаху: когда я ее вытащил, она сбежала от меня и проворно закопалась в землю. Преследуя ее, я не только поранился крючком, но еще на меня с нее переползло какое-то мерзкое, многоногое морское чудовище. Я первый раз видел черепаху во сне, да еще таком многозначительном.

Днем меня выписали с пометкой «анацидный гастрит» в моей солдатской книжке. Докторесса, боявшаяся, казалось, худшего, обрадовалась диагнозу и снова говорила с главным врачом, знакомым ей еще по клинике Бергмана. Рем заехал за мной. Я

отправился с ним в «Мажестик» подготавливать отъезд.

Париж, 21 октября 1942

Читал акты процесса против Дамьена,{100} в томе, вышедшем еще в 1757 г., сразу после произошедшего в январе покушения на короля. В исторической справке, предваряющей книгу, дано также подробное описание всех ужасов наказания.

Поведение Людовика XV во время покушения на его персону было воистину королевским: он сам указал на виновного, поняв, что это он, единственный, стоит перед ним с покрытой головой, велел его задержать, запретив при этом чинить ему зло.

Вечером в «Нике», затем американские игры.

Париж, 22 октября 1942

Дурная ночь. La frousse. Так как теперь не время говорить о болезни, я разыскал на рю Ньютон французского врача, поддержка которого мне сейчас очень важна, — важнее, чем госпитальные врачи со всей их аппаратурой. Когда он услышал, что я еду в Россию, то не хотел брать гонорара. Говорил от Шрамма по телефону с Риттером.

Днем у Морена, последний раз порыться в книгах; я провел еще один сладостный час в его маленькой антикварной лавке. При этом я обнаружил давно разыскиваемую рукопись Магиуса «De Tintinnabulis»[101] с прилагавшимся к ней трактатом «De Equuleo».[102] Потом «De Secretis»[103] Векеруса, кладезь находок. Потом «Испанское путешествие» Суинберна,{101} в красном марокене. Наконец, еще процесс против Карла I, в котором я пролистал описание казни; король вел себя очень достойно, он был отрешен от страданий плоти, как пассажир, стоящий на трапе корабля и прощающийся со своими друзьями и свитой перед дальней дорогой.

Книг мне будет не хватать; дивные часы провел я в этих оазисах среди мира уничтожения. Сама прогулка по обоим берегам Сены в своем роде совершенство; время течет здесь спокойно. Нигде она не бывает лучше, чем здесь, ибо в чем была бы ее красота, если б не было книг? Или воды?

Вечером в «Нике», там разговор о скачущем на оглобле маленьком Алькоре. Затем короткая тревога, несколько выстрелов в темноте. Опять американская игра, из тех лабиринтов, в которых бег никелированных шариков зажигает электрические лампочки и суммирует цифры. Старинная игра судьбы в техническом обличье.

Париж, 23 октября 1942

Рапорт об отбытии у Космана и главнокомандующего, сказавшего мне, что в его штабе для меня всегда будет сохранено место. Все были особенно любезны; может, это было всего лишь отражением моей собственной приветливости. «Мир есть мнение», — говорил Марк Аврелий. Генерал — из тех людей, что стали для меня неожиданным подарком судьбы, когда уже было невозможно дышать, Он распространял здесь мои книги, которые не могли быть напечатаны на родине, и вообще ждет от меня многого.

Первая половина дня прошла в передаче текущих дел Нойхаусу; все остальное я запер в сейф, ключ от которого беру с собой.

В церкви на прощание: Сен-Пьер-де-Шайо. Я посчитал добрым знаком, что лестница покрыта красной дорожкой, а высокий портал украшен пологом. Но он был закрыт, пришлось идти через боковой вход. При выходе я заметил, что дверь портала открыта, и, проходя через нее, обнаружил, что все эти украшения предназначались для похорон. Неожиданность открытия освежила меня; я нашел здесь толику иронии, превосходящую сократовскую. Ребус, «сквозь вещи» — это может служить девизом.

Снова на рю Фобур-Сент-Оноре; шагаешь уже по узору ковра прошлого. И на рю Кастильоне, где я на память об этом дне купил печать.

Странно, как часто во время моих прогулок мне попадается изображение черепахи, после того как она мне приснилась. Мы в окружении всех знаков, однако глаз выбирает лишь некоторые из них.

Прощание с Шармиль в «Нике», недалеко от площади Терн. Началась тревога; она, к счастью, скоро закончилась, а то бы я опоздал на берлинский поезд.

Кавказские заметки

1942

Кирххорст, 24 октября 1942

Днем через Кёльн, на разрушенные улицы которого я глядел из окна вагона-ресторана. Останки домов и кварталов, словно дворцы, излучают мрачное величие. Скользишь мимо них, как мимо чуждого ледяного мира: там обитает смерть.

Дюссельдорф тоже выглядел печально, Свежие руины и множество красных заплат на крышах говорили об ураганном налете. Еще один шаг на пути к американизации; на месте наших старых гнезд появятся города, спроектированные инженерами. А может быть, только овцы будут щипать траву на развалинах, как это видишь на старинных картинах с изображением римского Форума.

Вечером Перпетуя встретила меня на вокзале. Шольц давно копил бензин для этой поездки. Рема я отпустил к его жене в Магдебург.

Кирххорст, 2 ноября 1942

Кирххорст, где моя склонность делать записи сильно поубавилась. Я занят по горло; это, наверное, лучшее, что можно сказать о каком-либо месте.

По прибытии сюда чувствуется, что обилие книг, переписки, коллекций подавляет меня. Они требуют, чтобы я незамедлительно занялся ими, при этом я, именно в силу усталости, ясно ощутил, как все существующее живет и зависит от проявляемого к нему участия, от духовной и физической ответственности перед ним. Мы *обладаем* благодаря особой добродетели, своего рода магнетической силе. Богатство в этом смысле не только дар, но и дарование *соответствовать* достигнутым пределам. Главное, что большинство внутренне не способно и к самому скромному обладанию, не только к богатству. Даже доставшись каким-нибудь случайным образом, оно все равно ускользает от них бесследно. Приносит еще и несчастье. Тем незаменимее родовое богатство, при котором не только дар, но и способность владеть и свободно им распоряжаться наследуются детьми и внуками.

Разборчивость в отношении приобретаемых нами вещей и благ. Иначе вместо облегчения жизни нам достается роль их сторожей, слуг и хранителей.[1]

Погода осенняя, то пасмурная, то снова солнечная. Светлая желтизна тополей, стоящих на дороге в Нойвармбюхен, прекрасно

сочетается с бледно-голубым небом, накрывающим наш скромный ландшафт.

Кирххорст, 5 ноября 1942

Ночью сны о древних системах пещер на Крите, которые кишели солдатами, как муравьями. Разрывом снаряда только что смело их тысячи. Проснувшись, вспомнил, что Крит — остров Лабиринта.

Туманный день. На черно-красной кудрявой капусте плотной каймой осела роса, вроде отливающих серебром пузырьков воздуха по краям темно-красных водорослей на дне моря. Первым это заметил Брокес, чей опус вообще изобилует наблюдениями такого рода, где новое осознание природы порой совершенно незаметно вырастает из барочной тяжеловесности; так возникают, проникая друг в друга, переливы цвета голубиного горлышка или муаровой ткани.

Мысль: природа забыла о воздушных гигантах — животных легче воздуха, которые плавали бы в атмосфере, подобно китам в океане. Решая проблему полета более изящными способами, она осталась должником по части создания своего рода естественных дирижаблей.

О привычке стучать по дереву, когда хочешь избежать последствий дурного предзнаменования. Ее происхождение связано, вероятно, с каким-то частным случаем, но вообще подобные обычаи рождаются, как правило, если в них живет символическое содержание. Здесь оно заключается, по-видимому, в органической природе дерева; за него хватаются, как за нечто живое, и в переносе на судьбу имеют в виду течения человеческой жизни во всех ее проявлениях в противоположность мертвому механизму секунд, tempus mortuum.

Бьющееся стекло как символ счастья соответственно означает разрушение механической формы и высвобождение живого содержания.

Кирххорст, 6 ноября 1942

Фридрих Георг пишет мне из Юберлингена о лилиях и эремурусе, луковицы которых он посадил в своем саду в Лайсниге. С большой радостью узнаю, что он окончил не только новый сборник стихов, но и второй трактат по мифологии под названием «О титанах», и вообще, ему хорошо работается. Порой в светлые часы я ощущаю в отношении своей судьбы не только благодарность как человек, которому выпал счастливый удел, но и удивление, что сверх того мне досталась еще и награда в виде нашего братства.

Вечером в туман и мелкий дождь по одиноким полям, где вдали неясно брезжат расплывающиеся очертания деревьев и между ними — старые хутора, точно серые ковчеги с их грузом людей и животных.

Заканчиваю: Луи Тома, «Генерал Галифе», в экземпляре, снабженном надписью автора и еще одной — самого генерала. Как и подобает славному кавалеристу, и в особенности гусарскому командиру, Галифе являет собой образец сангвинического темперамента, — темперамента человека, обязанного двигаться и принимать решения быстрее, легче и искрометнее, чем остальные. Сангвинический оптимизм быстрее сокрушает свои цели, конечно, те, что стоят ближе и в ограниченном ряду обстоятельств. Поэтому мировой дух выдвигает такие характеры на передний план, когда нужен натиск, как это было при Седане или во время восстаний. По части проявления животных инстинктов Галифе есть также типическая фигура в истории современного насилия. Мексика была для него хорошей школой.

Читая, я вспомнил о своем старом плане — изобразить ряд, в котором фигуры располагались бы слева направо в естественном порядке: сперва трибуны, затем сенаторы, от Мария к Сулле, от Марата к Галифе. Вообще, мне хотелось бы попробовать создать краткую типологию истории — изобразить эти кусочки калейдоскопа.

Чего не хватало Галифе, чтобы стать Суллой, и что отличало его, скажем, от Буланже?{102}

Потом Шамфор,{103} которого я читал урывками; его максимы кажутся мне более острыми и терпкими, чем у Ривароля.

После обеда выкапывал морковь, сельдерей, свеклу и носил в погреб. Работая с землей, чувствуешь, как возвращается здоровье.

Кирххорст, 9 ноября 1942

Под утро сны о будущих воздушных налетах. В огне пронеслась над селением гигантская машина размером с Эйфелеву башню, а рядом с ней обрисовалось нечто вроде радиомачты, на площадке которой стоял наблюдатель в длинной шинели; время от времени он делал заметки и сбрасывал их в дымовых патронах.

Вечером похороны старой фрау Колсхорн. Как всегда в таких случаях, в глаза бросалась прежде всего группа из пяти-семи мужчин среднего возраста в сюртуках и цилиндрах: отцы Кирххорста. Так как у общины нет машины-катафалка, соседи несли гроб до кладбища сами. Ибо сказано: «И отцы ваши пойдут за гробом».

Вечером приход соседей, но едва завязался разговор, как вступили сирены в Ганновере. Собрались в нижней комнате, в пальто, с чемоданами, словно в каюте корабля, терпящего крушение. Поведение во время налетов изменилось, чувствуется приближение катастрофы.

Видел из окна красные и пестрые следы пуль, мчащихся снизу в пелену облаков, сверкание выстрелов и полыхание пожаров в городе. Несколько раз сотрясался самый фундамент дома, хотя бомбы разрывались далеко. Присутствие детей придает всему происходящему какой-то более стертый характер.

Кирххорст, 10 ноября 1942

Как я понял, при вчерашнем налете речь шла всего о каких-то пятнадцати самолетах. Гораздо больше занимает меня высадка американцев в Северной Африке. Род участия, какой я замечаю в себе по отношению к современной истории, принадлежит, скорее, человеку, сознающему себя замешанным не столько в мировую, сколько во всеобщую гражданскую войну. Поэтому ощущаю себя втянутым совсем в иные коллизии, нежели в конфликты между борющимися национальными государствами. Суть не в них.

Берлин, 12 ноября 1942

Отъезд. Утром с матерью и Перпетуей. Показал малышу на прощание красивого селезня, с удовольствием плавающего в пруду недалеко от стоянки. Еще ни разу не уезжал я настолько лишенным всякого представления о цели и смысле своей поездки. Я напоминаю себе рыбака, зимним днем забрасывающего сеть в мутную воду.

Физиогномические штудии по дороге. Легкие, почти неразличимые черточки опытности, притаившиеся в уголках рта молодой девушки. Так страсть наносит едва заметный след на лицо, подобно алмазу, скользящему по стеклянной поверхности.

Вечером в Далеме; мы живем у Карла Шмитта.

Берлин, 13 ноября 1942

Пятница, 13 ноября. Первый снег в этом году. Утром прогулка с Карлом Шмиттом в парке Груневальд.

Берлин, 15 ноября 1942

Чтение журнала «Залмоксис», названного в честь упомянутого Геродотом скифского Геракла. Прочел две статьи, одну об обычаях, которыми сопровождается выкапывание и употребление корня мандрагоры, и вторую — «О символике воды», трактующую отношения, существующие между луной,

женщиной и морем. Обе принадлежат Мирче Элиаде,{104} издателю, о котором, как и о его учителе Рене Геноне,{105} Карл Шмитт рассказал мне подробней. Интересны этимологические отношения между раковинами и женскими гениталиями, как на то указывает латинское *conca* и датское *kudefisk* — раковина, причем *kude* значит еще и *вульва*.

Планы, о которых свидетельствует журнал, многообещающие. Вместо логического в нем зреет образное мышление, где каждое предложение, подобно рыбьей икре, чревато будущими плодами.

Карл Шмитт также подарил мне книгу Де Губернатиса «Мифология растений». Автор шестьдесят лет тому назад был профессором санскрита и мифологии во Флоренции.

Вечером прогулка по затемненному Далему. При этом мы говорили об изречениях гернгутеров,{106} о четверостишиях Нострадамуса, об Исайе и пророчествах вообще. То, что пророчества сбываются, и именно в самых различных временных отрезках, есть знак, по которому узнают собственно профетическую силу видения. В ходе времен калейдоскопически повторяется то, что стихийно открылось провидцу. Его взор покоится не на истории, но на субстанции, не на будущем, но на принципе. Не случайно поэтому одна лишь осведомленность относительно будущих дат и обстоятельств считается признаком нездорового любопытства или пошлой магии.

Уже поздно мы навестили Попица, где я встретил также хирурга Зауэрбруха.{107} Беседа о различии между военным и медицинским авторитетами, как они более-менее сливаются, а также проявляются в виде конфликтов в работе фронтового врача. Затем о солидном издании античных классиков, которое министр намерен предпринять.

Зауэрбрух рано попрощался, чтобы осмотреть старшего лейтенанта, которому русской пулей раздробило таз. Он считал, что его искусство здесь вряд ли в силах помочь; в лучшем случае придется снова слепить кости, как осколки глиняного кувшина. «Но посещение во время кризиса должно, во всяком случае, благотворно подействовать на пациента».

Лётцен, 17 ноября 1942

Вчера в девять часов отъезд с Силезского вокзала, куда меня провожала Перпетуя. Мы посидели еще немного в зале ожидания. У поезда брат Физикус и Рем, которого пришлось оставить. После отъезда я сразу заснул и проснулся уже поздним утром в Мазурах. В этом краю есть что-то от чуткой косули, что-то скромно-домашнее видится в этой коричневой шкуре земли и тихих глазах озер.

В течение дня в лесных лагерях вокруг Ангербурга и Лётцена, где я обзавелся удостоверениями личности и разрешениями на проезд; и вот я уже в Лётцене в довольно обветшавшей комнате отеля.

Лётцен, 18 ноября 1942

Я задержался в Лётцене, так как все места в самолете на Киев были заняты. Их количество уменьшилось, потому что три дня назад из-за обледенения рухнул один самолет.

Первая половина дня на пустынном кладбище, вторая — в музее, задуманном, скорее, как памятник героям; здесь собраны вещи, напоминающие о восточнопрусской кампании 1914 года. Посещение было неприятным; все еще слишком свежо в нашей памяти. Тело той войны еще не успело истлеть. При этом возрождаются многие из ее проявлений. Точно призраки на кладбищах.

Лётцен, 19 ноября 1942

Утром на аэродроме. Из-за непогоды снова не хватает мест. Завтра я опять останусь здесь.

Перед едой я совершил короткую прогулку по полям, во время которой наблюдал перед заброшенным сараем за двумя хохлатыми жаворонками.

Мысль: во время путешествия что-нибудь должно надежно греть нас, как этих птиц — шубка из перьев. Как часто завидовал я им, одиноким, но без тени сиротства, сидящим на своих ветвях в заснеженном лесу. Как оперение — им, нам придана душевная аура, оберегающая нас в отсутствии тепла. Она создается и подкрепляется молитвами, уже только поэтому необходимыми нам.

Днем с майором Дитрихсдорфом ездили в Видмины, куда нас пригласил товарищ, у него там имение. Уже почти стемнело; в стороне заката лежало тихое озеро в коричневых и фиолетовых испарениях, к утру ставшее легким, прохладно-зеленым зеркалом. Его окаймляли молодые березы; белые стволы светились на мягком коричневом фоне окружавшей их чащи.

В Видминах нас встретили горой пирожных с кофе. Потом мы пили восточно-прусский «медвежатник», смесь меда и спирта. Пока гурман лакомится медом, алкоголь оглушает его. Вечером явились колбасы, вареные гусиные ножки и грудки. Тут же беседа, также Посвященная в основном всякому вкусному съестному. Жизнь в этих восточных провинциях течет медленнее, в ней больше земного, больше сонливости, уютного смакования. Чувствуешь близость стран в медвежьем углу Европы.

Наш хозяин был завзятым охотником; среди разных чучел в его комнате я заметил сосновую сойку, которую никогда ранее не видел: бурая птица со светлыми крапинами и светлой каймой на хвосте, как раз для жизни в сумраке северных ельников.

Лётцен, 20 ноября 1942

Утром прогулка вокруг форта Бойен, зигзагообразные укрепления которого окружены редким лесом из ольхи и березы, в их голых вершинах возятся тучи воронья. Я заглянул также на холм у озера, где высится большое железное распятие в память о Бруно фон Кверфурте, миссионере, подвергнутом в 1009 году мученической смерти в этой стране.

Чтение: снова Иеремия, затем полистал немного книгу Генри Бона «Смерть и ее проблемы». Я нашел там мрачную цитату из Парменида, приписывающего трупам способность испытывать ощущения; по его словам, они чувствительны к отсутствию звуков, холоду, темноте. При этом я подумал о жутком впечатлении, какое на меня производили изменившиеся лики павших лошадей, виденных мною во время маршей.

Вечером в темноте снова на озере, месяц светился сквозь облака. Я ощутил себя более уверенным и тем самым внутренне готовым ко всему, что ждет меня в этой поездке.

Киев, 21 ноября 1942

В девять часов отлет при низкой облачности и легком снегопаде. С высоты я вновь увидел озера вокруг Лётцена с их хороводами берез и блеклыми камышами у берегов. Затем слегка присыпанные снегом поля, так что были видны бурая земля и зелень посевов. Дальше пошли сосновые леса и пожелтевшее жнивье с сеткой ручьев, на морозе отливавших голубизной, и жирные черные торфяники. Между ними — большие буро-зеленые острова застроенной земли в отдельных или вытянувшихся вдоль дорог селениях. Хижины и хлева лежали точно во сне, и только протоптанные в снегу дорожки, отходившие от них, выдавали, что хозяева уже брали сено, солому или запасы из сараев, стогов или буртов.

К полудню облака сгустились, самолет заскользил над землей. Я немного задремал, но вдруг, изменив позу, проснулся и увидел, как длинное бледное пламя сверкнуло из раструба. Самолет сразу устремился к земле, но, конечно, не по причине пожара в двигателе, как я подумал, а потому, что мы прибыли в Киев. Удивление и испуг слились при виде всего этого в некое подобие магического оцепенения. Что-то древнее пробуждается в нас в такие минуты.

После приземления я говорил с пилотом о падении, случившемся на этой линии в прошлую неделю. Самолет загорелся; трупы пассажиров нашли сгрудившимися у герметично закрытых дверей.

В Киеве меня разместили в «Палас-Отеле». Хотя рядом с раковинами не было полотенец, в комнате — чернил, а на лестнице — нескольких мраморных ступеней, говорят, это лучший отель в оккупированной России. Краны, сколько бы я их ни крутил, не давали ни горячей, ни вообще какой-нибудь воды. То же и с клозетом. Так что скверный аромат наполнял весь «Палас-Отель».

Час, остававшийся до начала сумерек, я использовал для прогулки по улицам города и по истечении его рад был вернуться домой. Как существуют на нашей земле колдовские страны, так доводится нам узнать и иные, которые удалось лишить всякой магии очарования, отняв у них и толику привлекательного.

Ростов, 22 ноября 1942

Я делю комнату с молодым капитаном-артиллеристом, укрывшим меня, несмотря на все мои возражения, своей шинелью, когда стало холодно. Проснувшись, я увидел, что он довольствовался одним тонким одеялом. Он также прогнал большую крысу, которая, вылезши из недр отеля, расправлялась с моими припасами.

Меня разбудили рано. Отлет в пасмурную погоду около шести часов. Полет проходил над гигантскими пшеничными полями Украины, где местами еще желтели колосья, тогда как всюду в основном уже чернела свежая земля. Деревьев мало, зато часты разветвленные, глубоко размытые овраги, вид которых наводит на мысль, что чернозем достигает невероятной глубины и что используется урожай только самого тончайшего его слоя.

В девять часов в Сталино и спустя еще час в Ростове. Погода так ненадежна, что пилот счел, что будет лучше отвезти курьерскую почту в Ворошиловск, оставив пассажиров, тем более что корпус его машины уже начала покрывать ледяная корка.

На следующий день я решил поехать в Ворошиловск поездом и заночевал в офицерском общежитии. Так называется один из опустевших домов, в комнатах которого рядами разложены набитые соломой матрацы и где витает страшная вонь.

Ходил по городу; все те же унылые картины. Так же как мои прогулки в Рио, Лас-Пальмасе и на иных побережьях напоминали слаженную мелодию, так здесь все отвращало душу. Видел несколько оборванных детей, они играли на катке и казались мне странными, как луч света в царстве мертвых.

Единственное, что предлагается на продажу, — черные семена подсолнуха, которые женщины выставляют на обозрение в плоских корзинах на пороге сожженных домов. В кронах аллей посреди оживленных улиц я заметил множество вороньих гнезд.

К сожалению, я недостаточно экипирован; я и не подозревал, что такие мелочи, как карманное зеркало, нож, нитки, бечевка, являются здесь ценностью. К счастью, я все время сталкиваюсь с людьми, готовыми мне помочь. Нередко они оказываются моими читателями, и их помощь я могу приписать собственным заслугам.

Ростов, 23 ноября 1942

Утром в солдатской казарме, где мне удалось раздобыть тарелку супа.

Менял деньги; на русских банкнотах все еще портрет Ленина. При расчете служащая пользовалась счетным устройством с грубыми шарами, которые она ловко гоняла туда-сюда. Как я понял, устройства эти не имеют ничего общего с теми, какими играют у нас дети; кто владеет ими, считает быстрее, чем с помощью карандаша на бумаге.

Днем в одном из немногих кафе, где разрешена свободная торговля; кусочек пирожного стоит там две, яйцо — три марки. Грустно глядеть на людей, сидящих в сумрачном ожидании, словно на вокзале перед отъездом к некоей путающей цели, — и это еще привилегированные.

Снова знакомство с улицами и все то же впечатление — Восток, лишенный всякой магии. Глаз должен притерпеться к виду, невыносимо тягостному; нет ничего, на чем бы он мог успокоиться. В порядке только техника — железные дороги, машины, самолеты, громкоговорители — и, разумеется, все, что относится к вооружению. И напротив, недостаток в самом необходимом — в питании, одежде, тепле, свете. Еще очевиднее это в отношении более высоких сфер жизни, того, что нужно для радости, счастья и веселья и для щедрой, любящей творческой силы. И все это — в одной из богатейших стран, какие есть на земле.

Кажется, здесь заново повторяется история Вавилонской башни. Но не ее строительство, а наступившие затем мешанина языков и всеобщий развал. Эти вобщем-то понятные вещи здесь проникнуты ужасом распада. Это та стужа, которая зовет огонь, так железо притягивает молнию.

Проемы окон сожженных рабочих и служебных корпусов вверху, куда пробился чистый огонь, прокалены докрасна; по сторонам раскинулись черные крылья копоти. Полы провалились,

на голых стенах болтаются батареи парового отопления. Из подвалов растет чаща железной арматуры. В грудах золы роются беспризорные дети, крюком выискивая остатки дерева. Идешь миром запустения, где хозяйничают крысы.

Что касается промышленности, то наряду с торговками семечками видны лишь мальчики с сапожными щетками и еще те, кто соорудил тележки, чтобы возить багаж солдатам. Они берут охотнее хлеб и сигареты, чем деньги.

Одевание стало укутыванием; кажется, люди натянули на себя все вещи, которые имеют, и не снимают их на ночь. Пальто встречаются реже, чем толстые стеганые кители, которые, впрочем, как и все остальное, представляют собой лохмотья. На голове шапки с наушниками или опущенными отворотами; часто видишь советский головной убор песочного цвета, ткань его на затылке вытянута наподобие острия шлема. Почти все люди, а в особенности женщины, ходят с мешками на плечах. Впечатление посвященной таскaнию грузов жизни — таков их вид. Их перемещение беспокойно и быстро, но лишено видимой цели, как в потревоженном муравейнике.

Среди прочего множество униформ, венгерских и румынских, и вовсе незнакомые, вроде украинского ополчения или местной службы безопасности. С наступлением темноты слышны выстрелы на пустынных фабричных площадях вблизи вокзала.

Днем задержали отпускников, ожидавших своих поездов, и в наспех сформированных воинских соединениях отправили на фронт. Значит, русские прорвались к северу от Сталинграда.

Ворошиловск, 24 ноября 1942

К вечеру я поехал дальше, сперва на Кропоткин, куда мы приехали в четыре часа утра. Там до отхода поезда на Ворошиловск я спал на стойке буфета в зале ожидания. Всего за два дня я привык к жизни в переполненных купе, в холодных залах, без воды, без удобств, без горячей еды. Но есть люди, которым еще хуже, — это русские, стоящие на ледяном ветру на грузовых платформах или на подножках вагонов.

Поезд идет по плодородной кубанской степи; поля сжаты, но не обработаны к будущему посеву. Их вид впечатляет, границы необозримы. На их лишенном деревьев просторе то там то здесь возвышаются силосные башни, резервуары и хранилища, откуда светятся горы желтого и бурого зерна, словно символ высочайшей возможности, до которой поднялась в своем плодородии эта славная земля. Видны следы возделывания пшеницы, кукурузы, подсолнечника и табака. Края железнодорожной насыпи покрыты высохшими, бурого цвета зарослями чертополоха и других

растений, есть тут также растение, формой похожее на хвощ, а величиной с небольшую елочку. Оно напомнило мне японские цветы чая, которые я ребенком распускал в теплой воде; точно так же я пытался угадать некоторые его сорта, заставляя их цвести в своем сознании.

С наступлением темноты прибытие в Ворошиловск. Я жил в здании ГПУ, выделяющемся колоссальными размерами, как все, что имеет отношение к ведомству полиции и тюрем; я получил комнатку со столом, стулом и, что самое главное, с целым стеклом в окне. Кроме того, я нашел осколок зеркала. Опыт последних дней заставил меня понять ценность подобных вещей.

Ворошиловск, 25 ноября 1942

Погода дождливая; улицы покрыты грязью. Пока что я застрял здесь. Кое-что на улицах, которыми я ходил, кажется более приветливым, чем все виденное до сих пор. Прежде всего тепло, которым веет от домов царского времени, тогда как все эти советские коробки повсюду задавили страну.

Днем я поднялся на возвышенность, где стоит православная церковь, — византийское, грубо выведенное строение с наполовину сорванной взрывом крышей колокольни. Вообще древние строения проникнуты духом варварства, воспринимаемым все же приятнее, чем абстрактное безличие новых конструкций. Здесь можно сказать вместе с Готье: «La barbarie vaut mieux que la platitude»,[104] переводя *platitude* как «нигилизм».

За обедом командующий группы войск, генерал-полковник фон Клейст.{108} Я знал его еще по годам, проведенным в Ганновере. Разговор о французском генерале Жиро,{109} командующем теперь в Тунисе. Сразу после его бегства Гитлер сказал, что от него еще следует ждать неприятностей.

Голоса женщин, особенно девушек, не слишком мелодичны, но приятны, в них есть энергия и веселость. Кажется, слышишь, как вибрирует тайная струна жизни. Думаешь, что всякие изменения идей и схем скользят по таким натурам, не задевая их нутра. Что-то вроде этого я видел у южноамериканских негров: глубокая, нерушимая жизнерадостность, и это — после веков рабства. Врач при штабе, фон Гревениц, рассказал мне, между прочим, что при медицинском обследовании большинство девушек оказались девственницами. Это видно по их лицам; трудно сказать, читаешь это в глазах или на лбу, — это серебряное сияние чистоты, окружающей лицо. То не слабый отсвет записной добродетели, скорее, отраженный блеск луны. По нему угадываешь солнце, источник этой радости.

Ворошиловск, 26 ноября 1942

Гонит снег, сильный ветер. Пытался, чтобы получить обзор сверху, подняться на колокольню, однако обнаружил, что верхние ступени сильно обгорели. Так что ограничился видом на окрестности со средней высоты, а затем устремился к редкому лесу, оттуда высмотренному. К сожалению, оказалось, что при бездорожье это довольно трудно, поэтому пришлось довольствоваться тем, что любовался стаей птиц, проворно скользивших по зарослям кустарника. Птицы были похожи на наших синиц, но мне показалось, что они больше и ярче окрашены.

За столом майор фон Оппен, сын моего старого полкового командира. Мы говорили между прочим о стихах «Таврия», которые Фридрих Георг посвятил его отцу, покоящемуся там.

Днем прививка от сыпного тифа. Прививка — примечательное действо; когда-то я сравнил его с крещением, но в духовном плане оно соответствует скорее причастию. Мы усваиваем жизненный опыт, собранный для нас другими: путем жертвы ли, болезни, укуса змеи. Лимфа ягненка, пострадавшего за нас. Овеществленные в материи чудеса — их высочайшее проявление.

Вечером старший лейтенант Шухарт на большой карте объяснил мне ситуацию, созданную в эти дни прорывом русских на соседнем фронте. Удар мгновенно уничтожил занятые румынами участки и привел к окружению 6-й армии. Снабжение в таком котле, пока к нему не будет пробит коридор, должно осуществляться с воздуха.

Жизнь на этих окруженных уничтожением пространствах ставит труднейшие задачи; по своей опасности она напоминает жизнь в осажденных античных городах, где о милости не могло быть и речи. Так же и в моральном отношении; все время видишь, как смерть день за днем, неделями и месяцами приближается к тебе. И тут за многое приходится платить, ибо политическая система, принятая на себя государствами, выступает своей обратной стороной.

Ворошиловск, 27 ноября 1942

Утром в городском музее, основанном еще в царское время и содержащем главным образом зоологическую коллекцию, пострадавшую от времени. Так, я увидел змей, выцветших на солнце, белыми чешуйчатыми спиралями обвивших сучья или высохших до состояния мумий в сосудах, откуда улетучился спирт. Тем не менее, судя по всему, экспонаты были расставлены

по своим местам с любовью и желанием сделать это наглядно. Посетитель замечает это по едва уловимым признакам; так, мне бросилась в глаза надпись, указывающая на местный круг любителей: «Acta Societatis Entomologicae Stauropolitanae, 1926». Ставрополь — старое название Ворошиловска.

Среди чучел зверей я обратил внимание на пару двухголовых существ: козу и теленка. У козы уродство сформировалось в виде головы Януса, тогда как у теленка при двух мордах образовалось всего три глаза, причем третий, как у Полифема, находился на лбу. Это слияние было совершено не без известной доли элегантности и производило впечатление обдуманной комбинации, скорей мифологического, нежели зоологического толка.

Это, между прочим, было бы интересной задачей как для естествоиспытателя, так и для гуманитария — разработать тему «двухголовости». Вероятно, пришлось бы признать, что явление это подчиняется низшим, не касающимся ни вегетативного, ни демонического отделам жизни. Ожидаемые преимущества, вроде некоей стереоскопической духовности или уникальной возможности разговаривать с самим собой, уже приданы нам более простым и гениальным способом — двудольным строением нашего мозга. Сиамские близнецы не были слитным существом, они были прикованы друг к другу.

Несмотря на ранний час, я увидел какое-то количество разглядывающих витрины посетителей. Я наблюдал за двумя по-крестьянски одетыми женщинами, обсуждавшими экспонаты, из коих некоторые казались им особенно достойными восхищения, как, например, красно-розовая, ощетинившаяся длинными иглами раковина.

Вечером у квартирмейстера, старшего лейтенанта Мерка, подобно всем снабженцам отличавшегося точным, здравым взглядом на вещи. Две кореянки, близнецы, грациозно обслуживали нас. Разговор с капитаном Литлофом, управлявшим здесь до войны большим имением, о возможностях колонизации и использования этих мест. Изобилие неслыханное; но оно, как обычно бывает, простирается также на мучения и хлопоты. Ледяные ветра, в минуты уничтожающие посевы в полном цветении, пшеничная ржа, поднимающаяся во время жатвы облаком, так что лошади слепнут, далее полчища саранчи и нехрущей и к тому же чертополох, стебли которого достигают толщины руки. Опасна также колючка, куст которой, вырастая, сбивается в шар и, отвалившись от корней, катится под осенним ветром по полям, рассеивая семена.

Ворошиловск, 29 ноября 1942

Утром на большом рынке, где много посетителей, но ничтожно мало товаров. Цены — в соответствии с голодом. Я заплатил три марки за небольшой моток пряжи, какой еще недавно во Франции предлагали за несколько пфеннигов. Вокруг поющего нищего со свежеперевязанным обрубком руки толпился народ; казалось, они меньше внимали мелосу, чем бесконечно длящемуся тексту. Картина, достойная Гомера.

Затем мимо прошла похоронная процессия. Впереди две женщины несли деревянный крест с венком, за ними четверо других шли с крышкой гроба на плечах, как с украшенной цветами лодкой. Сам гроб четверо молодых мужчин несли на льняных полотенцах; в нем лежала мертвая женщина приблизительно тридцати шести лет с темными волосами и резко очерченным лицом. Голова покоилась на цветах, а в ногах, которыми несли вперед, лежала черная книга. Православная традиция показать так человека при свете дня встречалась мне уже на Родосе; она мне нравится, кажется, будто он еще в сознании и прощается со всеми, прежде чем сойти во тьму.

На днях мне снова пришел в голову план новой работы, «Тропа Масирах». Рассказчик Оттфрид начинает в момент, когда он уже прошел огромную пустыню и видит признаки приближающегося побережья. Сперва идут солончаки, саранча и змеи — растительный и животный мир, рожденный в высохших песках. Затем цветущий терновник и наконец пальмы и следы прежних селений. Но земля все равно пустынная и вымершая; временами дорога ведет через разрушенные города, с проломами в стенах, перед которыми завязли в песке осадные машины.

У Оттфрида есть карта, которую нарисовал Фортунио; частично словами, частично иероглифами она описывает дорогу в Гадамар, где Фортунио отыскал жилу с драгоценными камнями, Карту читать трудно; Оттфрид выбрал бы охотнее путь морем, но ему приходится двигаться по предуказанным следам, так как каждая отметка связана с другой, как звенья одной цепи, будто Фортунио задал владельцу карты задачу, успех решения которой и будет увенчан нахождением сокровищ. Этапами этой задачи становятся приключения, сначала занимательные, затем требующие духовных сил и превращающиеся наконец в этические испытания.

Оттфрид, вечер за вечером, словно мехи гармоники разворачивающий странную карту, давным-давно оставил бы это предприятие, если бы не вид драгоценного камня, данного ему Фортунио в качестве образца, — опала, формой и размером напоминающего гусиное яйцо, в волшебной глубине которого

клубится цветной туман. Если долго вглядываться, то внутри него можно различить магические превращения, картины прошлого и будущего. Драгоценная жила дошла до нас из сказочных времен земли, являясь последним свидетельством канувшего в вечность изобилия «золотого века».

Тропа Масирах, которой Оттфрид и его спутники Должны пройти на головокружительной высоте над береговым прибоем, представляет собой один из этических этапов. Ее история, ее топография. Крутая и узкая, она вырублена в гладкой скале, так что человеческая нога или копыто мула с трудом могут ступать по ней. Она не просматривается целиком, и, чтобы караваны не сталкивались, на обоих ее концах установлены вышки, с которых криком оповещают о намерении пройти по ней. Оттфрид проигнорировал это предупреждение, как, к несчастью, также и группа евреев из Офира, следующих навстречу с противоположной стороны. Обе группы со своими мулами встречаются в самом узком, страшном месте над пропастью, где от самой мысли о повороте назад замирает сердце. Как разрешится конфликт, грозящий гибелью одной или обеим партиям?

Обдумывая эту тему, пока ходил по рынку, я не хотел упустить ни одной детали; все это годилось бы для изображения жизненного пути вообще. Карта должна предсказывать судьбу, запечатленную на ней, как на линиях ладони. Рудник самоцветов — Вечный город, описанный в Откровении Иоанна; это цель, оправдывающая путь. Так что это многообещающий замысел.

Эти мысли осенили меня, конечно, в самое неподходящее время, и сегодня я отложил уже написанную первую страницу. Возможно, наступят лучшие, более свободные для этого дни.

Ворошиловск, 30 ноября 1942

На кладбище, самом заброшенном, какое я когда-либо видел. Оно занимает прямоугольный участок земли; полуобвалившаяся стена окружает его. Заметно отсутствие имен; надписи едва видны как на замшелых плитах, так и на изъеденных непогодой андреевских крестах, вырезанных из мягкого, желто-бурого известняка. На одном я различил слово «Patera», вырезанное греческими буквами, и подумал о Кубине и его городе-мечте Жемчужине, о котором здесь многое напоминало.

На могильных холмиках густо разросся кустарник; чертополох и репейник растут повсюду. Между тем вырыты, по-видимому как попало, новые могилы, не отмеченные ни каменным, ни деревянным надгробием. Только старые кости белеют на разрытом дне. Позвонки, ребра, берцовые кости

разбросаны как в головоломке. Я видел также позеленевший детский череп, лежавший на ограде.

Обратно по полуразрушенному предместью. В облике домов, в складе лиц, в бесчисленных, большей частью неразличимых подробностях разум улавливает отголосок дыхания Азии. Я ощутил это в особом жесте, каким маленький мальчик в своеобразной позе скрестил на груди руки. Все это рассеяно в незаметных деталях, ускользающих от взгляда. Третий глаз, глаз на темени, следы которого, как верят ученые, они нашли, был, вероятно, глазом для архетипов; страны, звери, источники, деревья, видимые сегодня как пространства и тела, воспринимались тогда как образы, как боги и демоны.

Ворошиловск, 1 декабря 1942

Посещение Института чумы, в котором работают русские ученые и служащие. Обильная земля этой страны — также своего рода Эльдорадо эпидемий и болезней, таких как украинская лихорадка, дизентерия, тиф, дифтерит, инфекционная желтуха, возбудители которой еще не обнаружены. Говорят, чума возвращается раз в десять лет; она была в 1912, 1922 и 1932 годах, и теперь снова пришло ее время. Ее заносят караваны из Астрахани. Мор среди грызунов является ее предвестником. В этих случаях институт посылает экспедицию, состоящую из зоологов, бактериологов и сборщиков, для более подробного изучения. Распространение эпидемии контролируется «чумными станциями». Особое внимание уделяется истреблению крыс; для этого во всех колхозах есть специальные ловчие, «дератизаторы».

Разговор с научным руководителем, профессором Хохом, с которым мне было особенно легко. Это отношение человека к человеку, которое во Франции назвали бы *гуманным,* в случае с русским приобретает оттенок стихийности, идущей словно из тайной глуби. Обоюдная приязнь, создаваемая там благородным усилием, душевной активностью, здесь основана, скорее, на инертности, носит женственный и в то же время смутный, не имеющий отношения к морали характер.

Профессору Хоху назначена смягченная форма высылки, которая называется «минус шесть»; это означает, что ему запрещено пребывание в шести крупнейших городах страны.

Так как Институт чумы получает в больших количествах вакцину, к нему после вхождения немецких войск была приставлена охрана. Для снабжения ему выделили колхоз, в котором русское государство до этих пор содержало и кормило восемьсот душевнобольных. Чтобы освободить хозяйство для института, этих больных уничтожила служба безопасности. В

подобной акции сказывается стремление творцов идеологии заменить мораль гигиеной, точно так же, как правду — пропагандой.

Ворошиловск, 2 декабря 1942

Дыхание этого мира палачей столь ощутимо, что умирает всякое желание работать, писать и размышлять. Злодеяния уничтожают все, людское простанство становится нежилым, будто из-за припрятанной падали. При таком соседстве вещи теряют свою душу, вкус и аромат. Дух изнемогает на задачах, которые он ставит перед собой и которые могли бы его увлечь. Но именно вопреки этому он обязан бороться. Краски цветка, растущего на смертельной кромке, не должны поблекнуть для нашего глаза, будь это расстояние хоть в ширину ладони от бездны. Это именно та ситуация, которую я изобразил в «Скалах».

Ворошиловск, 4 декабря 1942

Туманная погода, достаточно прояснившаяся к вечеру. Звезды скорей угадываются, чем заметны за вуалью тумана.

Семена подсолнуха, которые здесь всюду предлагают. Они черные с красивыми белыми полосками. Все время видишь, как стар и млад, стоя или на ходу, без устали грызут их, быстро кидая в рот и ловко щелкая. Шелуху выплевывают, ядрышко съедают. Порой кажется, это времяпровождение — вроде курения, иной раз — род гомеопатического питания. Утверждают, что у женщин от них делаются крепкими груди. На всех дорогах и тропах земля усеяна выплюнутой шелухой, будто здесь до этого проходила армия грызунов.

В общении с людьми я заметил, что мне, в силу склада ума или характера, труднее разговаривать с представителями средних слоев, тогда как общение с простыми или высокоразвитыми натурами не представляет никакой трудности. Тут я похож на пианиста, нажимающего лишь крайние клавиши, и должен с этим смириться. Либо крестьяне и рыбаки, либо важные персоны. Обычно общение состоит в утомительном переходе на язык будничных понятий или в поисках по карманам денег на обмен. Часто я ощущаю себя находящимся в мире, для которого я недостаточно вооружен.

Ворошиловск, 6 декабря 1942

Воскресенье, морозно и ясно. Лежит легкий снег. Утром гулял в лесу и, глядя на его тонкое покрывало, вспоминал удивительные стихи, которые тихонько произносила про себя Перпетуя в нашей лейпцигской мансарде:

Заносит снегом зло…

Мы жили тогда в студии. По ночам сквозь стеклянную крышу мы видели кружение звезд, зимой тихо падали снежинки.

В лесу было немного веселее. Навстречу мне шли крестьянки с длинными гнутыми деревянными шестами на плечах, на концах которых качались ведра или какой-нибудь небольшой груз. Даже на хомуты лошаденок, танцующие над ними во время ходьбы, было весело смотреть. Это наводит на мысль о прежних временах, о прежнем достатке. Ощущаешь, чего лишила этот край абстрактная идея и как бы он расцвел под солнцем благой отеческой власти. Когда я слышу людскую речь с этими гласными, в которых звучит затаенная радость, сдержанный смех, то вспоминаю, как в зимние дни подо льдом и снегом чувствуется биение родника.

Закончил: Иеремию, чтение которого начал 18 октября в Сюрене. В течение всей поездки я читаю Книгу Книг, и мир вокруг дает все основания для этого.

Видения Иеремии невозможно сопоставить с визионерством Исайи, безмерно превосходящим первого по силе. Исайя рисует судьбу универсума, тогда как Иеремия — пророк политической ситуации. В этом смысле роль его значительна; он — признанный ясновидец, тончайший инструмент национального самосознания. Силы проповедника, поэта и государственного деятеля еще слиты, еще нераздельны в нем. Конец мира для него — не космическая катастрофа, возбуждающая не только ужас, но и восторг страсти, а политический крах, крушение корабля государства, навлеченное изменой божественному порядку.

Положение, в котором он себя ощущает, угроза со стороны Навуходоносора, власть которого он умеет оценить по-другому и правильнее, чем царь. В соответствии с этим он и дает советы Зедекии — но тщетно. Мы уже не в силах оценить всю сложность миссии Иеремии, ибо теократия для нас теперь чуждое понятие. Для этого следовало бы сравнить его задачу с задачей обласканного прусским двором ясновидца, если бы он в 1805 году, зная завершение не только 1806, но и 1812 года, давал королю советы, направленные против Наполеона. В подобном случае против него была бы не только военная партия, но и чернь. Так что смелость, с которой выступил Иеремия, вряд ли возможно переоценить; она основывается на том, что факт его союза с Богом для него неоспорим. Это придавало ему уверенность.

Ворошиловск, 7 декабря 1942

Вчера был важный день; меня вдруг озарило, что значит «Это — ты». Уже многие годы, со времен Южной Америки, я не

испытывал ничего подобного.

Существует ли географическое, точнее, геомантическое воздействие на характер? Я думаю: не только на нравы, что наблюдали уже Паскаль и Стендаль, но и на самые основы нашего существа. Будь это так, тогда в других широтах мы испытали бы распад и затем перекристаллизацию. Это соответствовало бы и физическим изменениям: сперва у нас появился бы жар, затем возникло бы новое здоровье. Гражданами мира в высшем смысле были бы мы, если б земной шар, как целое, влиял на наше формирование. Такого состояния достигали в пределах своих наций только властители мира; легенда о космическом зачатии Александра касается этого предмета. Молния попадает в его мать, в лоно земной жизни. Великие поэты, как Данте в его блужданиях и Гёте в «Западно-Восточном диване», проницательно намекают на это. Затем — мировые религии, исключая ислам, слишком привязанный к своему климату. Сон Петра о зверях, символизирующих в своей радости сообщество стран и царств этого мира.

Вечером ясно и звездно; великие картины вспыхивают в мерцании, какое я видел только на юге. Существовало ли в иные времена чувство безграничного холода, охватывающее нас при виде всего этого? Самое явное выражение его я находил до сих пор только в некоторых стихах Фридриха Георга.

Во сне я был занят множеством дел, но в памяти осталась только последняя картина: машина, капот которой несет на себе маленького долгоносика, орехового вредителя. Во сне он был размером с ягненка и сверкал на солнце, чей луч проходил сквозь него, как сквозь темно-вишневый, прозрачный, с красными прожилками рог. Разрывы семи бомб, сброшенных русским летчиком на рассвете, разбудили меня как раз когда я любовался этой фигуркой.

Утро было сияющим; ни одно облачко не омрачало небесного пространства. Я поднялся на колокольню, представлявшую собой восьмигранную башню на четырехугольном цоколе, несущую наверху купол в виде плоской луковицы. Впервые я увидел всю местность с ее вытянутыми прямоугольными кварталами приземистых домов, из которых то тут то там торчал гигантский новострой — казарма или управление полиции. Итак, чтобы понастроить эти ящики, пришлось уничтожить несколько миллионов людей.

Эльбрус с его двойной вершиной и серебрящимися в утреннем свете заснеженными склонами встает, казалось, сразу за воротами, хотя на самом деле он находится на расстоянии четырех дней пути. Темная цепь гор Кавказа, из которых он

вздымается, кажется крошечной. Давно уже не видел, чтобы земля вот так представала перед моим взором — как рукотворное создание Господа.

На обратном пути я проходил мимо группы пленных, работавших под присмотром на дороге. Они расстелили на обочине шинели, и проходящие клали туда иногда свои малые дары. Я видел бумажные деньги, куски хлеба, луковицы и помидоры, из тех, что здесь готовят зелеными в уксусе. Это была первая черточка человечности, увиденная мною в этих местах, если не считать нескольких детских игр и прекрасного товарищества среди немецких солдат. Но в этом эпизоде соединились все: жители в роли дающих, закрывающая на это глаза охрана и несчастные пленные.

Кропоткин, 9 декабря 1942

На следующий вечер отъезд в 17-ю армию курьерским поездом в виде установленной на путях машины, тянувшей грузовой вагон. После недолгой езды из-за вьюги остановились на рельсах на ночь. Так как удалось раздобыть немного дров, маленькая печка грела нас часа два.

Утром прибытие в Кропоткин, где я провел день в ожидании поезда на Белореченскую. В большом холодном зале томились, подобно мне, сотни солдат. Они молча стояли группами или сидели на вещах. В определенный час они устремлялись к окошкам, где получали суп или кофе. В огромном помещении чувствовалось присутствие невероятной силы, которая двигает людьми, оставаясь невидимой для них, — железная титаническая сила. Такое впечатление, что ее волей пропитана каждая жилка, и бессмысленно пытаться познать ее. Если бы удалось наглядно изобразить ее, как на картине, это, без сомнения, было бы большим облегчением. Но это невозможно так же, как историку или романисту невозможно определить направление хода истории. На данном этапе силы, выступившие друг против друга, еще не поименованы.

Мысль, вызванная этим зрелищем: не может быть восстановлена свобода в понимании XIX века, как мечтается многим: ей придется подняться к новым ледяным вершинам хода истории и еще выше, как орлу над уступами первозданного хаоса. И этот путь пройдет через боль. Свободу надо снова заслужить.

Белореченская, 10 декабря 1942

Я покинул Кропоткин с опозданием на пятнадцать часов. Впрочем, слово «опоздание» теряет в этих местах всякий смысл. Впадаешь в вегетативное состояние, когда утрачиваешь и само

нетерпение.

Так как ливмя лило, я позволил себе немного почитать в купе при свете свечи. Что касается чтения, я живу теперь à la fortune du pot,[105] читая иногда то, что в другие времена счел бы бесполезным, вроде взятого мной из Ворошиловска «Абу Тельфана» Вильгельма Раабе,{110} которого хвалил еще мой дедушка, учитель, не вызвав, впрочем, жажды познакомиться с этим произведением поближе. Вечная ироническая затейливость этой прозы напоминает позолоченные завитушки, имитирующие рококо, на ореховой мебели той эпохи, например: «Тополя силятся показать, что способны отбрасывать очень длинную тень». Или: «Белый, к сожалению лирически уже использованный нашим славным календарем туман как раз выказывался на лугах».

Провинциальная ирония — вообще типичный симптом XIX века; существуют авторы, у которых это нечто вроде хронической чесотки. Однако теперь в России гибнут не только люди: гибнут также книги, они блекнут, как листья от мороза, и замечаешь, как целые литературы сходят на нет.

Утром прибыл в Белореченскую. Стоя в ожидании на слякотной платформе, я разглядывал великолепно искрящиеся созвездия. Странно, как совсем по-новому действуют они на наш дух, когда мы приближаемся к царству боли. Именно в этом смысле упоминается о них у Боэция в его прекрасных последних стихах.

В предназначавшейся мне постели были два водителя, машины которых застряли в грязи. В хижине было только одно разделенное пополам большой печью помещение, где еще на двух кроватях спали хозяйка и ее подруга. Они улеглись вместе, а я занял освободившееся таким образом нагретое ложе.

Днем я был у командующего, генерал-полковника Руоффа, которому передал привет от его предшественника Генриха фон Штюльпнагеля. Разговор о позициях. Как в первую мировую войну самой большой угрозой был холод, так теперь, по крайней мере на этом участке фронта, мокрота и сырость еще более разлагающе действуют на людей. Войска расположились во влажных лесах, большей частью в землянках, так как наступление три недели тому назад остановилось. Наводнения снесли мосты через ручьи и реки, снабжение прекратилось. Даже летчики ничего не могут сбросить над тонущими в тумане лесами. Так что напряжение достигло высшего предела, за которым умирают от упадка сил.

Днем я присутствовал на допросе девятнадцатилетнего русского лейтенанта, попавшего в плен. Неопределенное лицо, немного девичье, с нежным, еще не знавшим бритья пухом. На юноше меховая шапка из ягненка, в руках длинный посох.

Крестьянский сын, затем учеба на инженера, перед тем, как попал в плен, — командир роты гранатометчиков. Крестьянин, ставший слесарем, — весь вид говорит за это. В движениях рук тяжеловесность, степенность; видно, что эти руки еще не забыли работу с деревом, хотя уже привыкли к железу.

Разговор с офицером, который вел допрос, прибалтийцем, сравнившем Россию со стаканом молока, с которого снят слой сливок. Новый еще не образовался, или в нем нет уже прошлого вкуса. Да, это весьма наглядно. Остается только спросить, что за сладость растворена в тонкой структуре молока. Она вновь могла бы подняться в мирные времена. Иными словами: проник ли ужасный нож отвлеченной идеи в самое нутро индивидуума до его плодоносной основы? Хотелось бы сказать: нет, основываясь исключительно на своих впечатлениях от того, о чем говорят лица и голоса людей.

Но вернемся к действительности: странно, прежде чем до меня дошло, что случилось, с потолка отвалился тяжелый кусок и оставил дыру, своими очертаниями напоминающую Сицилию.

Белореченская, 11 декабря 1942

Так как ночью ударил мороз, я совершил прогулку по местности, чьи утонувшие в грязи дороги я вчера счел непроходимыми. Сегодня они, точно деревенские пруды, покрыты блестящим льдом. Дома небольшие, одноэтажные, покрытые камышом, дранкой и крашенной суриком жестью. У тростниковых крыш нижние слои — из крепких стеблей, верхние, наоборот, — из метелок растений, что придает им вид голов с желтыми чубами. Странен род балдахина, украшающего вход в государственные здания, служащего частично для защиты ступеней от дождя, частично для придания пышности всему строению. Это, по-видимому, пришло в архитектурный стиль из жизни в палатках. Частенько лист жести, покрывающий навес над входом, восходит к украшению в виде кистей и бахромы.

Внутри жилищ нередки теплолюбивые растения, фикус или лимоны с висящими на них плодами. Маленькие помещения с большими печами напоминают теплицы. В садах и по краям широких дорог в изобилии высятся тополя, похожее на метлу дерево преображается в солнечном свете.

Маленькое солдатское кладбище хранит кроме нескольких сбитых над этой местностью летчиков также тела умерших в полевом лазарете. Насыпаны и снабжены крестами тридцать могил, также какое-то их количество вырыто про запас, что мастер Антон в геббелевской «Марии Магдалине» считает кощунством.

Затем у реки Белой. По ней несется высокая, вся в воронках, грязно-серая вода. По берегам протянулись полевые позиции с заграждениями и гнездами для стрелков вдоль них. Группы женщин работали там под присмотром саперов. В лощине — мертвая лошадь, с остова которой мясо срезано до последней жилки. Город с его деревянными амбарами и замшелыми крышами неплохо выглядит отсюда; чувствуется создаваемая трудом рук жизнь, заметно органическое выветривание, в условиях которого приходится здесь обитать.

Затем у моей хозяйки, фрау Вали, уменьшительное от Валентины. Муж ее отсутствует с начала войны, он в противохимическом полевом отряде. С ней шестнадцатилетняя подруга Виктория, дочь врача, говорящая немного по-немецки, читавшая Шиллера, которого она, как почти все ее соотечественники, почитает в качестве образцового поэта. «О, Шиллер, здорово!» Девушка собирается в Германию, отправке в которую она подлежит. Гимназистка, ее подруги по классу, которым уже за шестнадцать, были мобилизованы в партизаны. Она рассказывает о четырнадцатилетней подруге, застреленной у реки, хоть и без всякой черствости, но перенося при этом события совсем в иную, чем область чувств, сферу. Это произвело на меня сильное впечатление.

Вечером разговор с майором К., в основном о партизанах, розыском и подавлением которых он занят. Даже между регулярными частями борьба идет не на жизнь, а на смерть. Солдат отдает последние силы на то, чтобы не попасть в руки врага, и этим объясняется стойкость, с какой сопротивляются в котле. Обнаружены русские приказы, назначающие цену за каждого приведенного живым пленного, необходимого службе разведки. Есть также инструкции, определяющие, что пленного сначала предоставляют военным и только потом — политическим службам; т. е. легко можно представить себе обстоятельства, в которых происходит «выжимание лимона».

Противники не ждут пощады друг от друга, и пропаганда укрепляет их в этом сознании. Так, прошлой зимой сани с ранеными русскими офицерами заехали по ошибке на немецкие позиции. Прежде чем обитатели траншеи заметили их, они подорвали себя гранатами. За пленными охотятся постоянно, чтобы заполучить как рабочую силу, так и перебежчиков. Партизаны же тем более стоят вне законов войны, если вообще о таковых еще может идти речь. Их обкладывают в лесах, подобно волчьим стаям. Мне рассказывали здесь о вещах, являющихся уже принадлежностью животного мира.

На обратном пути я размышлял об этом. Здесь в этих

пространствах нашла подтверждение мысль, которую я уже однажды развивал в разных направлениях, а именно, что там, где все дозволено, возникает сперва анархия, а затем — жестокий порядок. Тот, кто творит произвол со своим противником, не может ожидать пощады; так возникают новые жестокие законы войны.

Теоретически это выглядит весьма убедительно, на практике же неминуемо ведет к тому, что поднимают руку на беззащитных. На самом деле подобное хладнокровие можно представить только в схватке со зверем или в войнах, которые ведутся между атеистами. И лишь существование Красного Креста имеет тогда хоть сколько-нибудь внятный смысл.

Всегда будут сферы, в которых нельзя оставлять противнику право предписывать себе законы. Война — не пирог, который противники делят без остатка; всегда какой-то кусок будет общим. Это — заповеданное Богом человеческое участие, всегда стоящее над схваткой и лишающее борьбу дьявольской жестокости и демонизма. Уже Гомер знал и почитал его. Истинно сильного, того, кому предопределено властвовать, узнают по тому, что он является не в образе врага, не в образе ненавистника, — он чувствует себя так же ответственным и за противника. Преобладание в силе доказывается в гораздо более высоких сферах, чем физическая мощь, убеждающая только рабов.

Майкоп, 12 декабря 1942

Вчерашний разговор дал понять, что мне не удастся провести «инвентаризацию» в этой стране: есть много мест, являющихся для меня табу. К ним относятся все те места, где поднимают руку на беззащитных и где пытаются действовать путем репрессий и акций массового уничтожения. Я, впрочем, не жду изменений. Все это в духе времени, хотя бы потому, что стало своего рода эпидемией. Противники в этом недалеко ушли друг от друга.

Но, может, надо было бы исследовать эти места ужаса, в качестве свидетеля увидеть все и понять, кто они — участники и жертвы. Какое сильное влияние оказал Достоевский своими «Записками из Мертвого дома», но ведь он очутился там не добровольно, а как заключенный!

Но и возможностям свидетельства поставлены пределы. И вообще для такого свидетельства следует иметь более высокое предопределение, чем его способно дать наше время.

Намеченный на утро отъезд из Майкопа задержался до наступления темноты. Снова в гостях у командующего вместе с маленьким саксонским генералом, чья машина застряла в грязи. Он рассказывал о трудностях, с которыми встретился в Харькове.

Поначалу у него умирало от голода семьдесят пять человек в день, но он довел их число до двадцати пяти. О полицейских мерах он говорил тоном заботливого отца, как, например:

— Я считаю совершенно ошибочным мнение, что не следует ликвидировать захваченных с бандами тринадцати-, четырнадцатилетних мальчишек. Из тех, кто, подобно им, вырос в лесу без родительского призора, уже никогда ничего путного не выйдет. Пуля — единственное правильное решение в таких случаях. Впрочем, русские так с ними и поступают.

В доказательство он рассказал о фельдфебеле, из сострадания взявшего на ночь двух мальчишек девяти и двенадцати лет; утром его нашли с перерезанным горлом.

Прощание с фрау Валей; мне неплохо жилось в ее каморке с большой печью, было какое-то подобие простого уюта. Странные остановки бывают на жизненном пути.

В Майкопе я был в гостях у начальника снабжения. Поселили в доме, где не было света, за исключением крошечного язычка пламени, освещавшего икону. Однако начальник прислал мне медово-желтую свечу, распространявшую изысканный аромат.

Куринский, 13 декабря 1942

Совсем рано я отбыл в Куринский. Сразу за Майкопом дорога пошла в гору. У обочины щиты: «Внимание, опасно, бандиты! Оружие наготове!» Лесные области защищены от русских узкой полосой позиций, скорее постами, тогда как на обширных пространствах за ними задействованы только войска на дорогах. Они опасны не только партизанами, читай по-немецки — бандитами, но и разведдозорами или остатками регулярных сил; так, недавно из тыла в машину командира дивизии попал заряд.

Земля промерзла, наша машина легко поднималась в гору. Ехали по дороге на Туапсе, ставшей знаменитой благодаря наступлению немецких егерских полков и обороне русских. Полотно было уже очищено; только тяжелые машины — это были катки и трактора — виднелись порой на откосах. В чаще лежала насквозь промороженная лошадь, у которой мясо было срезано только с верхней половины тела, так что со своей обнажившейся грудной клеткой и вывалившимися из разреза голубыми и красными кишками она напоминала анатомический атлас.

Густой лес зарос кустарником, растрепанные купы молодого дубняка, сколько видел глаз, простирались все новыми завесами вплоть до белых зубцов и вершин высокогорья, сменявших голубые горы. Иногда в них замешивались группы старых деревьев, с них слетали дятлы, долбившие трухлявое дерево. На заснеженных стволах то там то здесь ярко светились их

малиновые грудки.

В Куринском рассказывают, что вершины эти заросли частично кустарником, частично молодыми отпрысками старых пней. Говорят, лес снова вырос, в основном уже при власти русских, так как черкесы, обитавшие здесь, вырубили все догола для пастбищ своему скоту. Они пощадили только несколько могучих долгожителей, называемых теперь черкесскими дубами. В других местах бескрайнего леса, в котором обитают медведи, участки древних деревьев взорваны. Но и так этот лес поражает первобытной мощью — глаз ощущает его первозданность, нетронутость даже пришлым народом.

У Хадыженской мост разрушен наводнением. Саперы переправили нас на надувных лодках через бурную реку: это Пшиш. Рядом со мной примостился молодой пехотинец со своими вещами:

— Когда я последний раз сидел на такой штуковине, ее разорвало надвое прямым попаданием и убило четверых товарищей. Только я и еще один остались живы. Это было на Луаре.

Так, еще на несколько поколений хватит детям и внукам рассказов об этой войне. И всякий раз они узна́ют, что на долю рассказчика в этой ужасной лотерее выпал счастливый билет. Конечно, рассказывать будут только выжившие, как и вообще вся история пишется ими.

В совершенно разрушенном Куринском я явился к генералу Де Ангелису, командиру 44-го егерского корпуса, австрийцу. Он показал мне на карте позиции. Бросок на линии Туапсе — Майкоп принес массу потерь, так как русские укрепились в бескрайних и густых лесах и защищают их с завидным упорством. Так случилось, что, почти по Клаузевицу,{111} наступление застряло у водораздела и увязло перед стратегическими целями, В этом положении несчастья следовали одно за другим. После жестоких ближних боев на опушках мощные ливни разрушили мосты и сделали дороги непроходимыми. И вот войска уже несколько недель обитают в мокрых норах, измотавшись от холода и сырости, подвергаясь огню и частым атакам.

Днем в горном лесу, нависшем над хижинами Куринского. Подлесок его состоит из рододендронов с уже желто-зелеными почками. Назад я возвращался узкой долиной горного ручья, текущего в зеленом мергеле. Здесь в маленьких пещерах местные жители пережидали бои; еще были видны остатки и следы лагерного житья.

Куринский, 14 декабря 1942

Ясная звездная ночь. Я провел ее в голой каморке казацкой хижины, в которой из мебели не было ничего, кроме койки для сна. К счастью, большая, из красного кирпича сложенная печь была исправна, так что хороший огонь обогревал меня в течение нескольких часов. Прежде чем уснуть, я прислушался к сверчку за печкой, чей голосок был силен и мелодичен, скорее звенел, чем стрекотал. Утром заметно похолодало. Было слышно, как русские летчики кружили над долиной, а затем сбросили в отдалении ряд бомб, после чего мощно заработали зенитки.

Утром я присоединился к старшему лейтенанту Штрубельту, чтобы в ясную погоду осмотреть местность по обе стороны дороги на Туапсе. Мы ехали в машине с пробоинами в кузове — следами нападения партизан.

Долина Пшиша, в которую упиралась шедшая вдоль дороги железнодорожная линия, производила впечатление адского месива. Уровень воды, бывший еще несколько дней тому назад очень высоким, снова упал, так что между водоворотами светились галечные гряды. Там, где долина расширялась, пространство использовалось для батарейных позиций, командных и медицинских пунктов, складов вооружения. На этих местах колеса размололи дорогу в вязкую желто-бурую кашу, под которой, казалось, не было дна. Из нее торчали части машин и лошадей. Немного выше, на склоне, выстроились шеренги палаток и хибарок. Голубоватый дым овевал их; перед дверьми виднелись русские и туркменские пленные, занятые колкой дров. Все в целом производило впечатление караван-сарая, воздвигнутого на берегах бескрайней реки грязи, сообщавшей всему свойство своей материи в виде тусклых красок и сонновлачащейся жизни. Среди всего этого вспыхивал иногда огонь — артиллерия стреляла по позиции батальона, куда русские проникли утром.

Караваны измученных животных и колонны носильщиков с азиатскими лицами тянулись туда сквозь топь. Среди них были прежде всего армяне, с их темными пронзительными глазами, сильно загнутыми носами и оливковой, часто покрытой оспинами кожей. Тут же виднелись монголоидные типы туркмен с гладкими черными волосами и иногда прекрасные, статные фигуры грузин и прочих кавказцев из разных племен. Некоторые еле ползли; было видно их смертельное изнеможение. Действительно, Штрубельт рассказывал мне, что некоторые забивались в какую-нибудь нору, чтобы тихо скончаться там, подобно зверью.

Свернув с долины, мы поехали, постепенно поднимаясь, дальше в зимний лес. По дороге мы видели высокие горы, местами сверкавшие в просветах. Частично они находились в

руках русских. То есть мы были на виду, но противники здесь берегли боеприпасы, с таким трудом доставлявшиеся по грязи на позиции. На мгновение вынырнул летчик и ловко увернулся, когда перед ним выросли два дымовых облака. Низ самолета сверкнул в развороте, словно тело форели, на котором советские звезды казались двумя красными точками.

На перевале Елизаветы Польской мы сделали остановку у маленького кладбища или, скорее, группы могил, к примеру одного зенитчика, вокруг которой руками товарищей была устроена ограда из желтых узких картечин. Их воткнули в землю, словно донышки бутылок, как это делают для ограждения клумб в наших садах. Находящееся рядом место упокоения трех саперов было любовно, хотя и преходяще, огорожено шнурами с нанизанными на них дубовыми листьями. Могилу одного туркмена венчал деревянный столбик с чуждыми письменами, вероятно стих из Корана.

Мы поднимались по северному склону горы. Там лежал легкий снег, который подтаивал и за ночь замерзал опять. Перекристаллизация произвела на нем узор из широких, голубовато искрящихся игл. После длившегося три четверти часа подъема мы достигли гребня, откуда открылся необозримый вид на море горных лесов. Ближние были матово-зеленого цвета из-за покрывавших голые ветви лишайников, далее постепенно темнели голубые волны, и за ними в мягком свете вновь вставали острые грани снежных гор. Напротив нас торчал Индюк, длинный гребень которого, заканчиваясь двойным зубцом, завершал волнистую линию с тыла. Еще один заснеженный конус вздымался за ним. С правого фланга вставала Сарай-Гора, на вершине которой обосновался русский наблюдатель. Поэтому мы, как только развернули белые карты, отступили в кусты.

Мы достигли гребня в том месте, откуда лейтенант артиллерии направлял огонь на наши позиции, занятые утром русскими. Далеко внизу за нами, в густой чаще леса, слышалось тяжелое грохотание орудий, затем высоко над нами стали взлетать снаряды, с пронзительным свистом исчезая в пространстве, и наконец в зеленых ущельях звучал слабый, едва различимый гул взрывов. Затем из чащи ельника взвились белые облака и долго стояли в сыром воздухе.

Какое-то время мы наблюдали это действо на обширном пространстве. Затем я двинулся к южному склону, густые деревья которого защищали нас от глаз наблюдателей. Солнце пригревало его покрытый пятнами поблекшей листвы подъем, будто спину в прекрасный весенний день. В то время как северная сторона заросла замшелыми от ливней буками, покрытыми

черными серповидными трутовиками, здесь преобладал дуб. Зеленели растения — пышные заросли чемерицы и нежные альпийские фиалки с их лепестками в светлых пятнах и фиолетовой сердцевиной.

В этом было что-то знакомое; будто я много раз находился на этих заросших дубами склонах. Кавказ — не только колыбель народов, языков и рас; в его ларце хранятся также животные, растения, ландшафты пространств Европы и Азии. В горах пробуждаются воспоминания; смысл земли выявляется отчетливее, до него, словно до руды или драгоценных камней, рукой подать, и воды берут отсюда свое начало.

Куринский, 16 декабря 1942

Со старшим лейтенантом Хойслером обход позиций, расположенных выше Шаумяна. Сперва мы присоединились к генералу Фогелю до командного пункта 228-го полка, карабкаясь вверх по узкому и крутому ущелью, почва в котором была глубоко размыта талыми водами. По обеим сторонам, подобно ласточкиным гнездам, лепились увязшие в глине хижины, выглядывая только своими фасадами. Внутри них было тесно и грязно, но сложенные из кирпича печи распространяли приятное тепло. В этом лесном море нет недостатка в топливе.

Далее мы поднимались густым, но лишенным листвы лесом и задержались на истоптанной в грязь вьючными животными и их погонщиками тропинке, которую с трудом прошли. К тому же она однажды уже была под гранатным огнем; снаряд вдавил в грязь прелестную черно-рыжую лошадку. В желто-глиняные следы ее подков стекла темная кровь и так и стояла в них.

Деревья, чаще дубы, густо поросли печеночником, с ветвей длинными серебристыми бородами свисали лишайники. Они мягко шевелились на ветру. На зимнем солнце с дерева на дерево перелетали дятлы и проворные поползни. С треском взлетела сойка. Она оживляла лес своей кавказской разновидностью, характерной черным гребнем на макушке. Но снова ощущал я, как дух времени пытался уничтожить в нас все прекрасное; все это воспринималось как сквозь решетку тюремного окна.

Мы поднялись, следуя зарубкам, к высотной позиции, словно нос выдавшейся вперед. Ни проволочные заграждения, ни общая траншея не отличали ее от нейтральной полосы; в лесу виднелась лишь группа кротовьих холмиков. В каждом таком холмике прятался маленький блиндаж — выкопанная нора, укрепленная стволами деревьев и вновь закиданная землей. В качестве жалкой защиты от дождя то тут то там были накинуты плащ-палатки.

Ротный командир, молодой тиролец из Куфштейна, показал

нам свои владения. Совсем рядом на другом склоне устроились русские; по чуть заметной разнице в окраске мы отличали в серо-зеленом сумраке лесного ущелья их убежища. Словно в подтверждение, раздались резкие хлопки очереди в нашу сторону. Были слышны рикошеты, с треском проносившиеся сквозь сучья. Одним из них сорвало мушку пулемета.

Мы прыгнули в укрытие и переждали бой. Подобные положения видятся мне теперь полукомическими, полудосадными. Возраст или, скорее, состояние, в котором эти вещи кажутся увлекательными, когда стараешься превзойти самого себя, остались для меня в далеком прошлом.

Чтобы выкурить всех из блиндажей, русские притащили наверх противотанковую пушку. Маленькие снаряды, взрывающиеся рядом с целью, готовили много неприятностей. Множество наполовину обезглавленных деревьев подтверждали их силу.

Было тихо, сыро, тоскливо. Люди большей частью спали после бессонной ночи; несколько постов вглядывались в лес. Другие счищали свежую ржавчину со своего оружия. Маленький тюрингец намылился с ног до головы и подставил свое тело под теплую воду, которую его товарищ лил на него из котелка.

Я заговорил с ними, так далеко заброшенными сюда, на край света. Они выдержали тяжелые бои и продвинулись на шаг в этих горах, чтобы здесь окопаться после того, как спала сила атаки. Они давно под огнем и не ждут замены. Ранения, прямые попадания, болезни, вызванные сыростью и усталостью, косят их и без того малое число. Такова их жизнь на грани возможного.

Спускаясь в Шаумян, мы снова прошли мимо лошади, которую видели утром, разделанную ныне до самых костей и кишок. Этим занимаются туркменские солдаты, усердные едоки конины; на позиции было видно, как их желтые лица склонились над котлами с бурлящим гуляшом.

Шаумян сильно простреливается; местность ежедневно под огнем. Одного снаряда достаточно, чтобы развалить хижины, как карточные домики, так что можно изучать их строение; четыре стены — легкая коробка, обмазанная смесью глины с коровьим навозом, и прикрытая тоненькой дранкой крыша. Из бесформенной кучи мусора торчат два предмета: большая каменная печь и железная койка.

В местечке есть железнодорожная ветка; сюда носильщики стаскивают с гор раненых. Но кладбище с частично уже тоже обстрелянными крестами свидетельствует, что и на этой первой станции смерть взимает свою пошлину.

В медицинском пункте в восстановленной хижине мы

встретили доктора Фукса, соединившего здесь свою службу с солдатской. Он гостеприимно предложил нам поесть. Пункт никак не помечен; красный крест не имеет здесь никакого авторитета. Только вчера разорвался снаряд в соседнем доме, тяжело ранив одного санитара.

Раненые прибывают скопом; как только вспыхивает бой, тогда много работы. Заболевшие выходят в темноте из леса и являются совершенно обессиленные или просто умирают по дороге. Сегодня утром доктор услышал снаружи: «Да помогите же мне!» — и увидел солдата, влипшего руками в глину и не имевшего сил освободиться.

После еды наш хозяин пожертвовал нам к кофе кусок рождественского пирога, присланного женой. Затем мы попрощались с этим скромным спасателем, само пребывание которого здесь овеяно созидающей силой, какую подобные натуры никогда не утрачивают.

О мифологии: тайна «Одиссеи» и ее влияние в том, что это парабола человеческого пути. За образами Сциллы и Харибды кроется архетип. Человек, над которым тяготеет гнев богов, движется между двух опасностей, каждая из которых страшней другой. Так и стоит он на поле сражения между смертью в бою и смертью в плену. Он знает, что может рассчитывать только на узкое, полное опасности ущелье между ними.

Захоти великий поэт в наше время выразить тоску по покою заброшенного на грань уничтожения человека, ему пришлось бы создать из «Одиссеи» другой эпос или придумать идиллию «Одиссей у Пенелопы».

Куринский, 18 декабря 1942

Подъем на Сарай-Гору, — высоту, вершина которой в руках русских. «Сарай» — слово татарского происхождения, «гора» — немецкое «Berg».

Это объяснил мне молодой переводчик, несший автомат Хойслера, так как местность кишит партизанами. Он — русский немец, отпрыск швабских эмигрантов. Его родители были зажиточными крестьянами в Крыму, под Евпаторией. Потом, как кулаки, они были отправлены в Омск, в Сибирь. Им пришлось оставить сына в возрасте девяти лет. С 1936 года он ничего о них не слышал.

Мы поднимались густым лиственным лесом, состоящим из молодых дубов, осин и буков. Время от времени пробирались сквозь кустарник с ярко-красными и светло-зелеными ветками, пересекали болотные островки с высокими кочками, с которых ниспадали бурые клочья мха. По дороге к нам присоединился

один унтер-офицер с топором, отыскивавший себе рождественскую елку.

Спустя два часа мы достигли гребня горы, ниже которого протянулся ряд блокгаузов. Посты были расположены немного выше, чтобы можно было заглянуть по ту сторону склона. Мы обошли всю линию, расположенную в высшей степени удачно. На правом фланге зиял широкий просвет, далее находился туркменский батальон. Здесь унтер-офицер с топором отправился за добычей и через час вернулся с прекрасной елкой, иглы ее с изнанки были как будто покрыты воском.

Мы передохнули у командира роты, сводившего нас затем к еще более высоко расположенному пункту, где русским удалось прорваться две недели тому назад. При этом состав был уничтожен. Могильные кресты венчали высоту; они были обвиты рождественскими розами. Оттуда была видна вершина — лысая глава с бункерами в ближнем кустарнике. Как раз в это время группа снарядов с треском разорвалась рядом с ним. Они вспугнули мощного орла, чертившего спокойные крути над суматохой внизу.

Потом спуск, во время которого местный житель рассказывал о расстреле партизан. Я услышал сзади смех переводчика и внимательнее взглянул на него. Мне показалось, что стали заметнее пергаментный оттенок его кожи, неподвижность взгляда, которые я наблюдал у тех, кто стремится участвовать в таких кровопролитиях. Ставшая автоматической привычка к убийству в состоянии производить физиогномически те же разрушения, что и механический секс.

За чаем у генерала Фогеля, давшего мне конвой до Куринского, так как только вчера после наступления темноты двое связных были застрелены с тыла и ограблены вплоть до рубахи.

Навагинский, 19 декабря 1942

Днем попытка добраться до командного пункта 97-й дивизии. Ее командир, генерал Рупп, ожидал меня у взорванного моста через Пшиш. Мы перебрались через глинисто-желтую реку на надувных лодках. Чтобы добраться до штаба, пришлось пересечь крутой горный хребет, так как ведущий сквозь него туннель из-за взрыва стал непроходимым.

Мы шли густым подлеском, потом по скалам, на которых олени объели все длинные сочные листья. Сотни носильщиков, русских и азиатов, встретились нам на узкой тропе, нагруженные провиантом, материалами и боеприпасами. На склоне при спуске лежал мертвец, облепленный глиной с головы до ног, с которых

были украдены сапоги. Лицо его было закрыто длинными черными волосами. Его едва можно было отличить от окружавшей его грязи. Генерал наклонился над ним и пошел дальше, не говоря ни слова. Никогда еще не видел я мертвого человека, по отношению к которому любое пришедшее на ум замечание выглядело бы таким неуместным, как здесь. Предмет, выброшенный на берег морем человеческого безразличия.

В долине мы снова наткнулись на Пшиш. И здесь высокий железнодорожный мост был взорван. Наводнение до тех пор копило принесенные деревья, пока вся конструкция не двинулась в сторону долины. В пролетах ее висели деревья, передки орудий, в ветвях дуба — лошадь с хомутом на шее, кажущаяся в соседстве с этой титанической массой крошечной, как утонувший котенок.

Штаб расположился в будке путевого обходчика. Я остался у генерала, любезного, застенчивого, немного меланхоличного. Мне показалось, что, несмотря на некоторые странности, офицеры его любили. Как Чичиков в «Мертвых душах» объезжал помещиков, так разъезжаю я здесь среди генералов и наблюдаю их превращение в рабочих-исполнителей. Надежды, что среди них появится Сулла или хотя бы Наполеон, следует оставить. Они умеют только приказывать, их можно переставлять и заменять, как части в машине, используя любую деталь, какая покажется лучше.

Ночью в домике офицера-ординарца. Щели между толстых дубовых балок заткнуты мхом. Три койки, карточный и рабочий столы. Два телефона звонят время от времени. Шум суматохи снаружи: люди и животные увязают в грязи. Возле печи сидит на корточках русский пленный, «Иван», и подкладывает дрова, когда гаснет огонь.

Навагинский, 20 декабря 1942

Подъем с майором Вайраутером на наблюдательный пункт, лежащий высоко над долиной. В сыром тумане прошли мы галереями мощных буков с растущими на них черными древесными грибами. Меж ними возвышаются дубы и дикие груши со светло-серыми потрескавшимися стволами. Дорога была помечена зарубками; шаги вдавливали в ее жирную глину плоские островки альпийских фиалок.

Достигнув нашей цели, спрятанной под срубленными ветвями хижины, мы разожгли костер и направили бинокли на покрытую лесом местность. В ее долинах вяло полз густой туман, хоть и мешавший глазу, но делающий рельеф более отчетливым. Поле обзора замыкают длинные полосы водораздела. Сегодня тоже был виден огонь на позиции у подножия Индюка,

возвышающегося справа со своим двойным рогом и крутыми гранями. Слева — Семашхо, самый высокий купол, откуда видно Черное море. Он уже принадлежал немцам, но был сдан из-за трудностей с продовольствием. Подходы к таким вершинам сразу усеиваются трупами носильщиков и вьючных животных.

На голой, покрытой снегом площадке бинокль различил группу русских, казалось, бесцельно окружавших ее то с одной, то другой стороны, как муравьи подползавших к ней. В первый раз, сам того не желая, я наблюдал за людьми, как в телескоп, наставленный на луну.

Мысль: в первую мировую войну отдали бы приказ стрелять в них.

Навагинский, 21 декабря 1942

Рано утром отправился с Наве-Штиром вдоль долины Пшиша. Деревья у обрыва на вершине стоят в инее; их припудренные серебряной пылью ветки выделяются в отдалении на темном фоне нижних деревьев. Как странно, что незначительное изменение установившейся температуры, разница в несколько градусов, рождает такое волшебство. В этом есть что-то, вносящее надежду в жизнь и даже в самую смерть.

Мы отдохнули у капитана Мергенера, командира боевой группы. Его командный пункт оказался белым домом, точно лесничество, одиноко лежавшее на утонувшей в грязи поляне. Посреди этой заваленной военным мусором пустыни я заметил ряд содержавшихся в чистоте могил, украшенных к рождеству ветками падуба и омелы. Участок был окружен воронками, но жильцы еще не выехали; слишком велика была разница между теплым жильем и бесприютным болотом.

Боевой отряд двадцатишестилетнего командира состоял из саперного батальона, мотоэскадрона и нескольких групп. После чашки кофе мы поднялись на позицию к саперному батальону. Здесь дело обстояло несколько лучше, чем на других участках. Между деревьями перед постами дозорных по крутому склону тянулась скромная проволочная сетка. Перед ней находилась тройная цепь мин.

Установка мин, особенно ночью, — опасное дело. Мины ставят по шаблону, с тем чтобы их снова можно было обнаружить. Они должны быть хорошо спрятаны, так как бывало, что русские их извлекали и закапывали перед своими позициями. Чаще всего здесь применяют противопехотные выпрыгивающие мины, которые, когда их задевают, взлетают на высоту человеческого роста и затем взрываются. Срабатывание происходит или за счет рывка, когда нога задевает провод, или контакта с одним из трех

усиков, торчащих из земли. Минное заграждение тщательно обходят, особенно в темноте, но все равно часто что-нибудь случается.

Так, недавно один фенрих с унтер-офицером и еще одним ефрейтором проверяли здесь мины. Они следовали глазами за натянутой проволокой, но не заметили, что она примерзла к кому земли, дернувшему проволку, когда на него наступили. Унтер-офицер вскрикнул: «Ну, вляпались!», и, бросившись на землю, остался в живых, тогда как взрыв разорвал его товарищей. Прежде чем мина выскочит, раздается шипение, еще есть время бросится на землю. Взрыв вызывают иногда также зайцы или лисы. Несколько недель тому назад на воздух взлетел крупный олень, бродящий в поисках самки между двумя позициями.

Капитан Абт, с которым мы все это обсуждали, наступил недавно на мину и успел броситься на землю. Он не пострадал.

— …так как их уложили не по моим указаниям. — Добавил он в дополнение к длинному непечатному выражению. Эта тирада доставила бы истинное удовольствие старому прусскому вояке.

Итак, позиция была лучше, но состав был без сил. Живут по трое в штольне, здесь же и крошечный командный пункт. Один из троих стоит на посту, к тому же еще служба, раздача пищи, шанцевые работы, установка мин, чистка оружия и рубка дров. И так без замены с конца октября на сильно обстреливаемой позиции, устройству которой предшествовали долгие и тяжелые бои.

То, что сильно стреляли, видно по лесу. В нем зияет множество воронок, среди них новые, свежие, с краев которых осыпается земля. В них еще чувствуется удушливая гарь. Снесены верхушки деревьев. Так как русские не жалеют гранат, из рядов вырывает то одного, то другого постового.

Визит к капитану Шперлингу, батальонному командиру, в его блиндаж, сложенный из дубовых жердей. Потолок подперт толстыми стволами. Двое грубых нар, на стенах полки, на них консервы, котелки, винтовки, одеяла, бинокли. Командир устал, небрит и выглядит, как человек, проведший без сна целую ночь, и не только эту. Он прыгал от дерева к дереву в темном лесу, где капало сверху, и ожидал удара, пока ревущие сталинские орудия заставляли взлетать фонтаном землю, а листву — с шумом валиться вниз. Еще убитый, еще раненый. И так ночь за ночью. К тому же и собственная артиллерия влепила снаряды в его позицию с тыла.

— Мы тут на склонах тоже не бездельничаем, так еще и наши снаряды валятся на нас в лесу.

Старый, классический спор между артиллерией и пехотой.

— Люди больше не сволочатся. Апатия. Это-то и хуже всего.

Он говорит о своем балочном перекрытии, которое не боится мин, но не выдержит тяжелых снарядов. О потерях: «Бывает, что за день никого». Болезни: ревматизм, желтуха, воспаление почек, когда все члены опухают; люди умирают на пути к медицинскому пункту.

Все эти разговоры я уже слышал в первую мировую, однако ныне ощущение страдания притупилось, стало принадлежностью войны, скорее правилом, чем исключением. Мы здесь в одной из самых больших в мире мясорубок, какие были известны со времен Севастополя и русско-японской войны. Мир автоматов, техники испытывает силу земли, ее жизнеспособность, так все это и возникает. По сравнению с этим Верден, Сомма и Фландрия — лишь эпизоды, и невозможно себе представить, что эти картины разыгрываются в других стихиях — на море или в воздухе. В истории идей вторая мировая война совершенно отличается от первой; по-видимому, это величайший со времен персидских войн спор о свободе воли. И вновь фронты протянулись совершенно по-другому, чем это видишь на карте. Первую мировую немцы проиграли вместе с русскими, возможно, что вторую они проиграют вместе с французами.

Около двенадцати часов спуск. Артиллерия, чтобы захватить подносчиков пищи, начала обстрел ущелья тяжелыми снарядами, теми самыми, которых, глядя на свой блиндаж, опасался Шперлинг. И действительно, их звук был мощным, словно рушились горы, с грохотом взлетавшие на воздух.

Обратно долиной Пшиша. У самой воды облепленная грязью фигура — мертвый русский, лежащий лицом вниз, уткнувшись, словно во сне, в правую руку. Видны черный затылок, черная рука. Труп так разбух, что все туго слилось в сплошной, раздутый, с натянутой оболочкой предмет, вроде кожи на тюлене или на большой рыбе. Так и лежал он здесь, вроде прибитой волнами кошки, ужас и кошмар этих мест. На Урале, в Москве или в Сибири дети и жена еще долго будут Ждать его. В дополнение к этому разговор на «такую» тему, и вновь меня поразило всеобщее отупение даже среди образованных людей. Люди чувствуют себя частью машины, в которой на их долю выпало только пассивное участие.

Вечером читал в армейских новостях странный пассаж, где речь шла об опасности с фланга. Намек, по-видимому, об угрозе Ростову, ибо он является, без сомнения, стратегической целью наступления русских. Так всегда есть шанс быть втянутым в массовую катастрофу, подобно рыбе в стае, хотя сеть и ставят вдали от нее. Однако лишь от нас зависит, станет ли массовая

смерть — смерть, когда правит ужас, — также и нашим уделом.

Куринский, 22 декабря 1942

Утром назад в Куринский. Снова мимо снесенного железнодорожного моста, где по-прежнему видна мертвая лошадь, крошечная, висящая на одном из деревьев, украшающих мост, как букеты.

Как раз подломилась средняя доска на дощатом настиле, отодранная зацепившим ее передком орудия, так что ездовая лошадь провалилась в отверстие и болталась на постромках вниз головой над пенящимся потоком. Сначала она на мгновение, потом со все более краткими паузами с ноздрями уходила под воду, пока едущие и возницы наверху с беспомощным ужасом суетились вокруг нее. Тогда один унтер-офицер со штыком в руке прыгнул на мост и перерубил ремни; животное сразу же ринулось в воду и, поплыв, спаслось. Атмосфера беспокойства, неустроенности окружала это место — настроение на перевале.

Снова о туннеле на высоте. Омар, добродушный азербайджанец, заботившийся обо мне в эти дни, позади нес мои вещи. Все так же лежал там в грязи мертвый носильщик, хотя ежедневно сотни людей проходили мимо. Брошенные трупы, видимо, становятся системой — не для людей, но для демона, хозяйничающего в таких местах. Злая необходимость погоняет всех.

Чуть повыше я увидел еще двух мертвых, новых, из которых один был по пояс раздет. Он лежал в русле лесного ручья, откуда вздымалась его мощная, посиневшая от мороза грудная клетка. Правая рука, будто он спал, была у него закинута к затылку, на котором зияла кровавая рана. С другого трупа, по всем приметам, тоже хотели стащить рубашку, но это не удалось. Однако она была так высоко вздернута, что открылось маленькое бледное входное отверстие от пули в области сердца. Мимо них торопливо двигались горные стрелки с тяжелыми рюкзаками и вереницей носильщиков, груженных балками, мотками проволоки, провиантом, боеприпасами. Все давно не бритые, в заскорузлой глине, распространяющие запах людей, неделями не видевших воды и мыла. Их взгляд вряд ли замечает мертвецов, но они сразу вздрагивают, если снизу, как выплеск из большого котла, до них доносится выстрел тяжелой пушки. Тут же вьючные животные, в корке грязи, точно огромные крысы со свалявшейся шкурой.

На канатной дороге через Пшиш. Качаясь на узкой доске высоко над рекой и вцепившись обеими руками в трос, я объемлю всю картину пейзажа — момент из тех, что полезнее всяких штудий. Волны внизу кажутся отсюда затвердевшими, иногда

совершенно неподвижными, точно чешуя со светлыми краями на теле змеи. Я раскачиваюсь у одной из высоких опор моста — сохранившейся здесь вздыбленной башне с романскими окнами. Из трещины в ней смотрит — точно так у Босха из полых яиц и диковинных машин выглядывают люди — какой-то офицер и выкрикивает Цифры обслуге тяжелого орудия. Внизу видны канониры, столпившиеся у серого чудовища, затем они отступают назад и зажимают уши, когда красный огненный сноп разрывает воздух. Сразу же из стены вновь появляется орущая цифры голова. Раненых в белоснежных повязках переправляют через реку и тащат затем на носилках к скопищу санитарных машин. Замазанные красные кресты. Сотни и тысячи носильщиков, точно муравьи, с помощью длинных цепей подносят доски и проволоку. Неземными голосами тут же наполняют этот чудовищный котел мелодии рождественских песен: громкоговорители одной пропагандистской компании передают: «Тихая ночь, святая ночь». И при этом — выстрелы тяжелой пушки, которым отвечают горы.

Куринский, 23 декабря 1942

Вечером первая почта, привезенная де Марто из Майкопа. Пакетик с рождественскими пирожными, испеченный Перпетуей праздничный кекс с орехами из пасторского сада. Письма от нее, от матери, от Карла Шмитта. Он пишет о нигилизме, считая, что при прохождении через четыре стихии ему соответствует огонь. Стремление дать себя сжечь — своего рода бунт. Но из этого пепла возникает птица Феникс, иными словами, стихия воздуха.

Карл Шмитт относится к немногим, кто пытается измерить мировой процесс категориями, не столь преходящими, как национальные, социальные, экономические. Просвещение только увеличивает слепоту, человек блуждает в световом лабиринте, власть тьмы более неведома ему. Например, ее величие, завораживающее зрелище которого открылось мне вчера с троса канатной дороги, — величие, царственно утвердившееся в своем логове. То, что порою извлекаешь из этого ада глубокое наслаждение — это очевидно.

Чтение: «Оборотень» Лёнса, которого я не читал давно, с детства. Я нашел его здесь, в бункере, валявшимся среди книг. В нарочито-грубоватой, словно топором рубленной манере чувствуется влияние древних саг и притчей. И все же чтение захватило меня, так как действие происходит совсем рядом, собственно в окрестностях Кирххорста.

Потом еще Иезекииль. В видении, с описания которого начинается его книга, скрыт взгляд на устройство мира. Оно превосходит все самые смелые мысли, высочайшие произведения

искусства. Мы вступаем в очерченный экстазом круг вдохновенного творчества. Здесь открывается радужный блеск колеса мира с его надмирами, и все это — в осязаемой модели.

Куринский, 24 декабря 1942

Ночью сны; я долго разговаривал с Фридрихом Георгом, вводя его в парижскую жизнь, и другими людьми. Один из них, маленький саксонец: «У людей есть все устройства для счастливой жизни, но они не пользуются ими».

После завтрака поход в долину Пшиша, на охоту за насекомыми, — изысканное занятие. Такие вещи способствуют сохранению чувства собственного достоинства как образец свободного волеизъявления.

Днем празднование Рождества; при этом мы вспомнили 6-ю армию. Если ей придется погибнуть в окружении, то зашатается вся южная часть фронта, и это будет именно то, что Шпейдель предсказывал мне весной как вероятное следствие кавказского наступления. Он полагал, что оно повлечет за собой «раскрытие зонтика», т. е. создание длинных фронтов с узкими подступами.

Вечером мы собрались все вместе в маленьком помещении, устроенном капитаном Диксом в бывшей бане. Вокруг курительного стола поставили кожаные сиденья от автобуса; деревянное колесо от русского орудия весом с центнер свисает с потолка в качестве люстры. Из-за огромной печи слышен голосок сверчка, нежный и мечтательный. Подали жареного гуся, к нему сладкое крымское шампанское.

Я вскоре ушел, чтобы заняться в своей казачьей хижине разбором обширной корреспонденции, доставленной мне де Марто во время праздника. В ней были прежде всего четыре письма от Перпетуи. Фридрих Георг сообщает мне о поездке во Фрайбург и разговоре с профессорами, «из своего германского уединения наблюдающими бег времени». Грунерт пишет о своих лилиях и эремурусе и извещает о посылке с красивоцветущим аллиумом. На полях его письма есть также замечание о магистре и встрече с ним в лондонском пабе незадолго до начала войны. Клаус Валентинер пишет о парижском круге друзей. Два письма от незнакомых людей указывают на авторов, а именно: на сэра Томаса Брауна, жившего с 1605 по 1681 год, и на Юстуса Маркорда с его «Молитвой неверующего». Из фотокопии завещания я узнаю, что еще один незнакомец, писавший мне время от времени, ныне уже погибший, сделал меня наследником всего своего литературного творчества. Примечательно также сообщение доктора Блума из Мёнхенгладбаха об одном месте, которое он нашел в «Садах и улицах». Описывая Домреми, я

упоминаю надгробие лейтенанта Райнера, павшего там 26 июня 1940 года. И вот теперь я узнаю, что этот молодой офицер был гениальным садоводом, любовно выращивавшим элитные плоды и цветы, среди которых отдавал предпочтение амариллисам. Превзойдя голландцев, он добился на одном стебле восьми огромных цветков, от снежно-белого до глубокого черно-красного, и вел дневник обо всех своих растениях. Блум считает, что я не напрасно увековечил память об этом редкостном человеке, и я с ним согласен. Затем письма от Шпейделя, Штапеля, Хёлля, Грюнингера, Фрайхольда, сообщившего, что он послал мне лосося с финского берега. Удивительно, как нити жизни продолжают тянуться среди всеобщего уничтожения. И не будь больше почты, они бы все равно тянулись через пространства.

Куринский, 25 декабря 1942

Утром служба одного молодого католического священника, превосходно справлявшегося со своими обязанностями. Потом причащение у евангелического пастора, молодого унтер-офицера, делавшего свое дело также с большим достоинством.

Затем охота на насекомых в долине Пшиша. В гнилом пне гнездо *diaperis boleti* с красными ножками — это его кавказская разновидность. Изучение насекомых поглотило много времени моей жизни, но я рассматриваю это занятие как поле, на котором упражняют тончайшую способность к дифференцированию. Эта способность позволяет увидеть самые скрытые особенности ландшафтов. Спустя сорок лет читаешь на этих крыльях письмена, словно китаец, знающий сотню тысяч иероглифов. Армия школьных учителей и педантов разработала систему, мудрствуя над ней вот уже скоро двести лет.

Днем в ущелье Мирное со старшим лейтенантом Штрубельтом, одним из умнейших учеников Хильшера. Во время беседы с ним, касавшейся положения 6-й армии, как никогда прежде мне стало ясно то обстоятельство, что каждый из нас замешан в этот котел, даже если физически не присутствует в нем. По отношению к нему не может быть нейтралитета.

Мы блуждали в тумане среди армии дубов и диких груш, низкие вершины которых закрывали обзор плотной завесой. На одном из склонов мы наткнулись на группу могил, среди них — Герберта Гоголя, старшего ефрейтора саперов, павшего здесь 4 октября 1942 года. Вид этого креста в сыром, оплетенном серыми прядями тумана девственном лесу тоскливо поразил меня своей глубокой покинутостью.

Мысль: они заблудились здесь, как дети в жутком колдовском

лесу.

Апшеронская, 27 декабря 1942

На два-три дня в Апшеронскую, помыться и отдать в починку вещи, износившиеся во время похода по горам.

Место занято войсками обеспечения и снабжения, а также госпиталями, вокруг которых быстро растет венец кладбищ. Эти посевы мертвых обильны. Многих из погребенных здесь убила эпидемия, что я заключаю по нередко встречающимся на крестах именам врачей.

Вечером отвечал на письма. Но работу пришлось закончить, так как рядом завел свою волынку громкоговоритель. С тех пор как Лютер кинул свою чернильницу в жужжащую муху, этот вид помех становится в наши дни все более бессовестным. Мне кажется, что помехи акустически соответствуют тем фигурам, что мы видим на картинах Босха, Брейгеля и Кранаха, изображающих искушения, — дьявольские, адские звуки, врывающееся в духовный труд демоническое тявканье, подобное хихиканью фавнов, глядящих с вершин скал на окрестность, или проникающему на поверхность бешеному разгулу в пещерах ада. Но выключать нельзя — это было бы кощунством.

Апшеронская, 28 декабря 1942

Переход на другой берег Пшиша по длинному и узкому подвесному мосту, который раскачивается на проволочных канатах, точно на лианах. Река здесь шире, чем в горах, ее вода в ложе из глинистого, стоящего вертикальными ребрами сланца отливает зеленым камнем.

Вдоль берега тянутся леса с великолепными деревьями. Я наткнулся на грустное селение, состоящее из деревянных домов, трухлявые драночные крыши которых дымились, а женщины, несмотря на холод, хозяйничали на воздухе у маленьких печей. Все здесь отдавало средневековьем, — проклюнувшийся из земли мир дерева и глины. Рядом также машины, которым здесь принадлежит роль, подобная той, что досталась белому человеку в Америке. Так, я видел пилораму, вокруг которой лес на значительном расстоянии был начисто вырублен. Глядя на это, ощутимо понимаешь варварский характер истребления, изображенного Фридрихом Георгом в «Иллюзиях техники». Оно происходит, покуда позволяют богатства природы, и оставляет за собой землю обессиленной, навечно бесплодной. Тут нужны ду́хи старого Марвица, заботившегося о том, чтобы брали только от прироста, но не от капитала земли.

Кутаис, 29 декабря 1942

Ночью сны. Среди прочего я листал прагматически составленную историю этой войны. Например, отрывок «Разъяснения к войне», каких я увидел там целую тьму, — толкования значений от простой атаки до важнейших церемоний.

Утром отъезд, сперва к вокзалу Мук, потом через Асфальти и Кура-Цице на Кутаис. Из Кура-Цице я воспользовался грузовиком, так как дорога с ее глубокой колеей не годилась для легких автомобилей. Ночью подморозило, но под тяжестью колес верхний слой снова таял, так что дорога напоминала намазанный маслом хлеб. К тому же подъемы, выбоины, встречный транспорт, когда приходилось толкать машину по грязи. Водитель, шваб из Эслингена, человек холерического темперамента, близко к сердцу принимал эти беды:

— Мля, выть хочется, кто в машинах понимает! — и опять при особенно сильных встрясках: — Бедная машинка! — говорил он своему мамонтообразному чудовищу.

Дорогу окружали леса, частично задушенные лишайниками, свисавшими с ветвей зеленой пряжей. Она шла вдоль взорванных буровых вышек и уничтоженных сооружений нефтяного района. Уже виднелись отдельные люди, как муравьи снующие между развалин.

Кутаис, 30 декабря 1942

Место это — грязная дыра, отдельные пункты которой связаны гатью; это штаб, госпиталь, продовольственная служба. Вне этой тропы испытываешь совершенно невыносимые трудности. Так что смертельные случаи от перенапряжения не редкость.

Х Поток грязи проникает и внутрь помещения. Я был утром в госпитале, стоящем посреди желто-бурой топи. При входе навстречу мне вынесли гроб старшего лейтенанта, которого доконало вчера шестое ранение. Одного глаза он лишился еще в Польше.

В таких обстоятельствах необходимо соблюсти по крайней мере три условия нормального самочувствия: тепло, сухо, сытно. Это удавалось; видно было, как апатичные группы больных сумерничали в своих натопленных закутках. Преобладали простудные заболевания, притом в их острых формах: воспаления почек и легких. Здесь были часты также отморожения из-за постоянного перенасыщения воздуха влагой при температуре выше нуля — вследствие охлаждения испарением. Казалось, из людей выкачано все. У организма полностью отсутствуют резервы; тогда, слегка задев, пуля может привести к смерти, так

как для борьбы даже с этим уже нет жизненной силы. Часты также поносы со смертельным исходом.

В этом месте лежат также многочисленные мины, и они несут беду. Так, на днях у края дороги нашли русского с оторванными ногами. При нем обнаружили взрыватели и сразу же его застрелили, согласно, по-видимому, тому смешению гуманности и зверства, какое сопутствует утрате способности различать добро и зло. Царство смерти становится чердаком, куда суют все, что неудобно, с глаз долой. Может быть, в этом и есть наше самое большое заблуждение.

Кутаис, 31 декабря 1942

Ночью сны. Я присутствую при разговоре между дамой в амазонке и господином средних лет, будучи сам то одним то другим партнером в разговоре и вообще чувствуя, что как индивидуум осуществляюсь в диалоге. Тут же отчетливо обнаружилась пропасть, существующая между действующим и наблюдающим: процесс, цельность которого я вначале ощущал совершенно отчетливо, приобретал диалектический характер, как только я начинал говорить. Эта картина характеризует мое положение вообще.

Утром навестил г-на Майвега, командующего в Широкой Балке частью под названием «минералогическая бригада». Так называет себя полувоенное-полутехническое формирование, задача которого — разведка, безопасность и освоение занятых нефтяных областей. *Широкая Балка* — это название широкой впадины, одного из мест, где нефть добывается в значительных количествах. Перед уходом русские сделали все, чтобы разрушить скважины и сооружения. Они залили отверстия для бурения цементом, завалив их затем кусками железа, спиралями, винтами и старыми бурами. Они опустили железные грибы, которые, когда их пытались пробурить и поднять наверх, раздавались в стороны и срывали буровые штанги.

После длительного разговора мы оседлали лошадей и объехали местность. Со своими перевернутыми вышками, взорванными резервуарами она напоминала ящики для железа, какие мы видим иногда в слесарных мастерских. Заржавленные, погнутые, разобранные детали валялись вокруг, между ними — взорванные машины, котлы, баки. Мысль о том, чтобы что-то начинать делать в таком хаосе, может привести в отчаяние. То там то здесь на местности виднелись люди, поодиночке или группами; они блуждали, как посреди разваленной головоломки. Зияли свежие минные воронки, особенно рядом с вышками. Вид саперов, тщательно обследующих землю своими щупами, будил

тягостное чувство, которое охватывает человека, когда даже земле под ногами нельзя доверять. Но в конце концов, подо мной была лишь смирная лошадь.

За обедом мы пили кавказское вино и обсуждали вечную тему: как долго продлится война? Майвег, десять лет проживший в Техасе в качестве инженера-нефтяника, считал, что война против России потребует предела возможного и точно так же выдохнется против Америки, причем за счет англичан и французов.

Я же, напротив, приводил доводы, что именно интенсивность войны говорит об обратном. Ведь неясность исхода — самое худшее, что можно предположить. Распространенный прогноз, что война будет длиться бесконечно, основывается, в сущности, на нехватке фантазии; его приводят люди, не видящие выхода.

Деталь: русские пленные, которых Майвег велел отобрать из всех лагерей для восстановительных работ; бурильщики, геологи, местные рабочие-нефтяники одной воюющей частью использовались на вокзале в качестве грузчиков. Их было пятьсот человек, из которых триста пятьдесят умерло на обочинах. Когда вернули оставшихся, умерло от истощения еще сто двадцать, так что осталось только тридцать.

Вечером Новый год в штаб-квартире. Я снова увидел, что чистая радость праздника стала невозможна в эти годы. Так, генерал Мюллер рассказывал о чудовищных позорных акциях службы безопасности после взятия Киева. Снова упоминался туннель с отравляющим газом, куда завозили поезда с евреями. Это слухи, и я записываю их в качестве таковых, но наверняка массовые убийства в огромных количествах имеют место. Я думал при этом о жене славного Потара — он за нее так боялся. Вглядываясь в отдельные судьбы и подозревая о размерах злодеяний, совершающихся в местах уничтожения, ощущаешь такие страдания людей, что опускаются руки. Отвращение охватывает меня тогда перед мундирами, погонами, орденами, оружием, чей блеск я так любил. Старое рыцарство умерло; войны ведутся технологами уничтожения. Итак, человек достиг состояния, которое Достоевский описал в «Раскольникове». Себе подобного он воспринимает как вредного паразита. Именно этого он должен прежде всего остерегаться, если не желает очутиться в мире насекомых. Это ведь о нем и его жертвах потрясающее, вечное: «Это — ты».

Я вышел на улицу, где мерцали звезды и зарницами вспыхивали выстрелы. Вечные картины: Большая Медведица, Орион, Вега, Плеяды, туманность Млечного Пути, — что такое люди и наш земной путь перед этим сиянием? Что все наши

преходящие муки? В Полночь среди шума застолья я вспомнил дорогих мне людей и живо ощутил их дошедший до меня привет.

1943

Апшеронская, 1 января 1943

Пророческие новогодние сны: я нахожусь в большой гостинице и с носящим при себе посеребренные ключи портье беседую о чемоданах путешественников. Он считает, что эти люди в высшей степени неохотно, с ощущением большой растерянности расстаются с чемоданами, которые означают для них нечто большее, чем просто футляр для их имущества. В них заключено все: путешествие, престиж и кредит. Чемоданы для путешественников — как их собственная кожа, как корабль, последнее, с чем расстаются в бурю. Я смутно ощутил, что гостиница — это мир, а чемодан — жизнь.

Потом для стрельбы из лука я вырезал Александру стрелу из побега розы с красным бутоном на конце. Встал рано, готовясь к отъезду в Апшеронскую. Великолепное солнце сияло в горах, леса дышали фиолетовыми красками, обещавшими скорую весну. Я был в превосходном настроении, как воин, вновь выходящий на арену. Мелкие будничные дела в первый день года исполнены особой прелести; умывание, бритье, завтрак и записи в дневнике — символические акты, торжественно совершаемые человеком.

Три благих решения. Первое: «жить умеренно», ибо почти все трудности в моей жизни основывались на прегрешениях против чувства меры.

Второе: «всегда видеть несчастных». Человек от рождения склонен не воспринимать истинное несчастье, более того, он отводит от него глаза. Сочувствие всегда плетется в хвосте.

И наконец: я хочу прогнать от себя всякую мысль о собственном спасении в том круговороте катастроф, которые возможны. Гораздо важнее вести себя достойно. Мы стараемся утвердиться лишь на поверхностных точках скрытого от нас целого, и, быть может, уловки, которые мы при этом измышляем, как раз и ведут нас к гибели.

На этот раз дорога не казалась такой безжизненной. Я насчитал по крайней мере пятьсот человек, работавших на ней. Остальные пятьсот подвозили на машинах и лошадях снабжение. Такие картины подавляют зрелищем огромного пространства, и даже сами горы, такие как Семашхо, обретают титаническую тяжесть. Замечательный прогноз Шпенглера также пришел мне на ум.

В Апшеронской я сначала обедал с Массенбахом, затем мы совершили прогулку по лесу. Белые горы сияли на горизонте. Мы

говорили о позорных акциях, совершаемых в наше время. При этом он был уже третьим, кто считал их неизбежными. Кровавая расправа с русской буржуазией после 1917 года, уничтожение миллионов в тюрьмах ввергли в панический ужас немецкого обывателя и обернулись кошмаром. Так, справа пришло то, что казалось еще более страшным слева.

Такие беседы ясно показывают, как глубоко техническое мышление проникло в нравственность. Человек ощущает себя находящимся внутри огромной машины, из которой он не в силах выбраться. Здесь всюду правит ужас, идет ли речь о помрачении или гротесковости в Деле хранения секретов или о всеобщем недоверии. Всюду, где встречаются два человека, они начинают подозревать друг друга, едва успев поздороваться.

Майкоп, 2 января 1943

Ночью до пятидесяти бомб упало на местечко. С утра я отправился в Майкоп. Машина ехала мимо смененных отрядов, тянувших за собой средневековый канат. Вообще, все это скорее напоминает Тридцатилетнюю войну, чем прошлую, — и не только своими формами, но также религиозной проблематикой, высвечивающейся все яснее.

Погода была ясной и мягкой. Утром я ходил в парк культуры, в котором крошатся гипсовые фигуры современных сверхчеловеков. Затем на крутой берег Белой. Днем меня принял генерал Конрад, командующий верхнекавказским фронтом. Он показал мне на столе огромную карту и сказал, что готовится отступление. Удары, нанесенные 6-й армии, расшатали все южное крыло. Он полагает, что наши силы за последний год были растрачены впустую людьми, разбирающимися в чем угодно, но только не в умении воевать. Особенно дилетантским является пренебрежение созданием ударной группировки войск на главном направлении; Клаузевиц перевернулся бы в гробу. Следуют за любым капризом, за любой случайной идеей, пропагандистские цели вытесняют стратегические. Можно захватить Кавказ, Египет, Ленинград и Сталинград, но не одновременно же! — и при этом существует еще несколько побочных планов.

Теберда, 3 января 1943

Когда я в восемь часов приехал на аэродром, приземлился немецкий самолет-разведчик. Во время утреннего полета зенитный снаряд попал в его левое крыло, в котором теперь виднелась дыра величиной с арбуз. Потом на него накинулись четыре истребителя.

Свой же бортовой стрелок при рывке машины вверх запустил

сноп из двадцати пуль в верхнее рулевое управление. Во время воздушного боя снаряд оторвал у бортовой пушки правое боковое управление; свыше тридцати пуль продырявило машину. Серое покрытие отскочило, царапины отливали серебром. Бензобак также имел пробоины.

Летчик, старший лейтенант, бледный, безмерно усталый, жадно затягивался сигаретой, объясняя, как он выдержал бой. Пробоины в бензобаке автоматически закрылись резиновой прокладкой, Разговор о прыжке в случае пожара. «Над русским районом это невозможно. Тогда уже все равно, стреляют ли сверху в голову или справа в парашют».

Я сел в Физелер Шторх, самолет, рассчитанный на пилота и одного пассажира. При подъеме стал виден план поселка: правильные квадраты домов, с садами между ними. Мы медленно парили над землей. Я с восхищением следил за птицами внизу, гусями, спешившими строем, и курами, суетливо ищущими укрытие в тени изгородей и заборов, будто они на самом деле увидели аиста, Ястребы с хищным размахом чертили перед нами круги; стаи синиц и зябликов мелькали в дебрях подсолнечника.

Я подумал тогда о разговоре с отцом приблизительно в 1911 году. Его темой было: наступит ли когда-нибудь такой день, когда летящий в воздушном пространстве человек будет так же мало удивлять нас, как стая журавлей. Романтически устремленному в будущее, мне казалось, что скоро все будут летать, словно птеродактили в древности. Сейчас я уже утратил это чувство. Оптика слабеющего глаза уже не подходит тем, кто стремится к таким полетам. Но за все наши желания, наши страсти мы платим сполна.

С аэродрома в Черкесске мы въехали на машине в долину Кубани, большой, торжественной ареной лежащую в преддверии хребта. Ее зеленая вода несла с собой льдины, широкую котловину окружали волнистые цепи бурых гор, круто обрывавшихся у долины белыми утесами, гладкими или отвесными ребристыми стенами, сменявшимися трубчатыми образованиями в красивых складках. Затем пошли каньоны со столовыми горами из красно-коричневого или красновато-розового камня, лежавшего горизонтальными слоями, так что казалось, будто едешь мимо сложенных титанами стен. Внизу — широкое русло реки с белыми отшлифованными валунами.

В Кумаринском и других селах центром служили маленькие деревянные мечети с полумесяцами. Пастухи верхом гнали перед собой овец и коров. Другие спускались из леса рядом с ослами, до отказа нагруженными хворостом. На них были бурки — плащи из валяной овечьей шерсти с высокими плечами без рукавов,

которые носят черкесы.

Постепенно горы приблизились и образовали своими зубцами врата, сквозь которые открывался вид на голубоватые снежные вершины великанов горного хребта. У Микоян-Шахара, словно по мановению волшебной палочки выросшей из земли резиденции правительства, дорога свернула в долину Теберды. В Теберде, курорте для легочных больных, виден налет уюта, изобилия, каких ждешь, скорее, от долин Гарца или Тирольских Альп.

Полковник фон Ле Сюир, командовавший там боевой группой, сформированной из горных стрелков, знаком мне еще по войскам управления внутренних дел. Он сердечно приветствовал меня в кругу своего маленького штаба, — высокие горы поднимают настроение, я это часто замечал, они убыстряют ток крови, делая общение более товарищеским и открытым.

Для дневника: краткие, маленькие заметки часто сухи, как крупинки чая, а точно следуя событиям, мы будто добавляем горячей воды, раскрывающей их аромат.

Теберда, 4 января 1943

Далее вверх по долине Теберды до командного пункта капитана Шмидта, перегораживающего вместе со своими высокогорными стрелками два перевала наверху. Я воспользовался мотоциклом на гусеничном ходу, машиной для подъемов по бездорожью.

Узкая тропинка вела наверх между гигантскими хвойными деревьями и замшелыми валунами. Ручеек бежал по ней из-под намерзшего пузырьком ледяного колокольчика. Справа, между отвалами бледной гальки, — словно разделенная на множество сосудов Теберда, а потом Аманаус, питающийся водой из ледников. Веселое журчание, своего рода голос вершин.

Высоко наверху, в котловине Аманауса, стоят деревянные здания школы альпинистов и санатория. Шмидт принял меня на своем командном пункте, над которым высились ледяные великаны: слева массив Домбай-Ёльген, затем острый Карачаевский пик, восточная и западная Белая Кайя, а между ними своеобразный рог горы Суфрудшу. На мощном леднике Аманаус с его полями зеленоватого льда, глубокими ущельями и сверкающими гранями находятся посты, обеспечивающие перевалы. Им надо еще преодолеть семичасовой путь до своих хижин из льда и снега. Дорога ведет их между валунами, лавинами, страшными обрывами. Как рассказал мне Шмидт, опасности восхождения превращаются здесь в опасности войны; на трудных подъемах помнят прежде всего о враге. Только что он получил сообщение: русские Дозорные группы окопались наверху

в снежных землянках; бой в разгаре. Эти снежные норы выстланы газетами, и свеча служит источником тепла. Вот и весь комфорт.

Я намеревался как можно дольше оставаться здесь наверху, поднимаясь время от времени в этот ледниковый мир. Мне было хорошо здесь; я чувствовал, в этих массивах кроются гигантские источники жизни, что остро ощущал еще Толстой. Но пока я обсуждал со Шмидтом подробности моего пребывания, из Теберды пришел радиошифр, незамедлительно требовавший моего возвращения. Это означало, по-видимому, что положение под Сталинградом ухудшилось. К тому же погода, бывшая до сих пор ясной, внезапно испортилась: над перевалами курились потоки теплого воздуха с Черного моря, вихри и полотнища тумана цеплялись за острия скал. Снова и снова оглядывался я из котловины на этих великанов — на их острые края, зубцы и пропасти. Захватывающе смелые мысли соединялись с темным страхом перед этой мощью. Замысел мира запечатлен в этих местах.

В Теберде все тоже неспокойно. Слева 1-я танковая армия оставляет свои позиции; верхнекавказский фронт охвачен движением. На днях будут сданы позиции, завоевание которых стоило больше крови и усилий, чем способен вместить человеческий ум. Из-за спешности отступления многое бросают. Полковник приказал взорвать боеприпасы и уничтожить часть провианта; кресты сняли с могил, их следы заровняли. Впрочем, полковник был настроен философски, например:

— Любопытно, кто эту Анастасию через неделю будет щипать за задницу!

Восклицание относилось к одной из двух девушек, прислуживающих здесь же за столом. Они плакали и говорили, что русские перережут им глотки; пришлось полковнику найти им местечко у троса.

Теберда, 5 января 1943

Утром снова в долине Теберды, несмотря на дождь. Кто знает, когда глаза немца снова увидят эти леса! Боюсь, после войны наглухо закроются многие участки планеты.

Прежде всего хотелось еще раз насладиться видом старых деревьев; то, что они вымирают на этих почвах, кроме прочих дурных последствий, внушает крайнее опасение. Ведь они не только могучие символы неисчерпаемой земной силы, но и дух предков, сохраняющийся в дереве колыбели, кровати и гроба. В них, как в ларцах, заключена священная жизнь, которую человек теряет, когда они гибнут.

Но здесь они все еще возвышались: мощные ели, ветки

которых точно плотное одеяние облегали стволы, буки в серебристом глянце, корявые девственные дубы, серые дикие груши. Я прощался с этими деревьями, как Гулливер перед отбытием в страну лилипутов, в которой все великое возникает как результат конструирования, а не свободного роста. Все окружающее казалось мне призрачным, словно во сне, точно рождественская сказка, которую ребенок подглядел в замочную скважину, — и все же это останется в воспоминаниях в качестве мерила. Следует знать, что способен предложить мир, чтобы не сдаваться слишком задешево.

Ворошиловск, 6 января 1943

Встал рано к отъезду в Ворошиловск. В плотной снежной замети я плохо различал долину Теберды, а затем — и Кубани. Летучие, свободные мысли и фантазии исполнены духовной силы. Я отношу это на счет горного воздуха, а также живительной силы меда — древней пищи не только богов, но также отшельников и одиночек, чьей жизнью по преимуществу я жил в эти дни. Кто имеет их постоянно в достатке, может расправить духовные крылья, точно бабочка.

Дорога запружена потоками отступающих колонн. Тут карачаевцы в своих черкесках, верхом на лошадях; они отгоняют скот или сворачивают в боковые долины. Эти люди в трудном положении, они встретили немцев, как освободителей, и теперь им придется, если только они не присоединятся к отступлению, укрываться в недоступных местах, чтобы избежать кровавой расправы. Самое страшное — постоянная смена властей, взимающих все более кровавую плату за частую смену заблуждений.

За Черкесском дорога вообще исчезла в снегу и дальше тянулась меж стеблей кукурузы и зарослей высохшего подсолнечника. Затем и эти знаки стали постепенно исчезать, и водитель долго ехал по едва заметной колее. Впрочем, этот след довел нас до огромной соломенной скирды; обогнув ее, он возвращался обратно. Вторая попытка закончилась у реки, темной полосой прорезавшей снежную пустыню. При этом начинались сумерки, поднимался туман.

Наконец мы добрались до сарая, в котором когда-то шла молотьба, и молодой парень показал нам дорогу, скача галопом рядом на лошади. Он не хотел садиться в машину, боялся, очевидно, что мы его потом не отпустим. Двигаясь по наезженному следу, мы добрались до склона, покрытого тонким слоем глины, коричневой и скользкой, словно шоколадное масло. Мы пытались толкать машину, но колеса крутились на месте и

окидывали нас с ног до головы упругими струями грязи. Несколько крестьян, работавших поблизости, пришли к нам на помощь, навалились, как медведи, стискивая при этом стекла машины своими широкими плечами.

Попытка объехать это место увенчалась тем, что машина сквозь тонкий слой намерзшего льда провалилась в болото. Пока я смотрел, как она погружается все глубже, с дороги явился возчик, выпряг своих лошадей и вытянул нас на веревке из этой топи. Дальше мы ехали ночью в метель, крутившуюся над машиной тысячами снежинок, искрившихся в свете фар и затем пропадавших, будто растворившись в пространстве. Позднее прибытие в Ворошиловск.

Мои блуждания показали мне, с какой силой степь захватывает душу. Сложное чувство, этим вызванное, выражается в смутном, парализующем ощущении, какого я не испытывал никогда даже на море.

Ворошиловск, 7 января 1943

В штабе настроение было еще более подавленным, чем в войсках; дело в том, что здесь ситуация была яснее. Котел вызвал то состояние духа, какого еще не знали в прошлые войны нашей истории, — оцепенение, сопутствующее приближению к абсолютному нулю.

Дело не в фактах, как бы ужасны они ни были сами по себе, не в морозе и снеге, не в гибели среди массы трупов и умирающих. Речь идет о состоянии людей, верящих, что разгром неизбежен.

В штабах лучше всего слышно шуршание набрасываемой сети, почти ежедневно кто-нибудь попадает в ее петли. Темпераменты отчетливее выявляются в недели, когда паника подкрадывается незаметно, как тихие струи воды на реке предвещают еще невидимое, но уже близкое наводнение. В этой фазе люди обособляются Друг от друга; они становятся молчаливы, задумчивы, как подростки в пубертатный период. Но по самым слабым уже заметно, чего следует ожидать. Это наиболее уязвимые точки; так, маленький старший лейтенант, которого я нашел в его кабинете, сотрясался в истеричных рыданиях.

Население тоже неспокойно; на рынке появились припрятанные товары, цена денежных знаков растет.

Русских денег жаждут остающиеся крестьяне, немецких — часть горожан, собирающихся присоединиться к отступающим. Такое уже происходило на территории 1-й танковой армии, а также и то, что люди, собравшиеся в дорогу с семьями, на второй

или третий день не могли уже двигаться дальше и были обозлены еще больше, так как теперь на них стояло клеймо.

Разумеется, русские стараются, чтобы все мосты и железные дороги взлетели на воздух, и посылают с этой целью многочисленные диверсионные группы, проникающие частично через бреши во фронтовой полосе, частично на парашютах. Офицер абвера армейской группы войск рассказал мне подробности об одном таком отряде, состоявшем из шести человек: трех мужчин и трех женщин. Из мужчин двое были офицеры Красной Армии и один — радист; из женщин — одна радистка, другая — разведчица и стряпуха, третья — медсестра. Их захватили, когда они ночевали в стогу. Они не смогли выполнить задание по взрыву моста, так как парашют с взрывчаткой приземлился в деревне. Женщины-гимназистки служили в Красной Армии и были направлены на курсы диверсантов. После окончания курсов их посадили в самолет и вытолкнули за немецкой линией фронта, не ознакомив с заданием. Экипировка состояла из автоматов — один из них был и у медсестры, — а также рации, консервов, динамита и санитарной сумки.

Человеческая черта: при аресте одна из девушек кинулась к русскому врачу, сопровождавшему бургомистра и немецких солдат, пытаясь его обнять и обращаясь к нему как к отцу. Затем она заплакала и сказала, что он похож на ее отца.

В этих людях оживают старые нигилисты 1905 года, разумеется в других обстоятельствах. Те же средства, те же задачи, тот же стиль жизни. Только взрывчатые материалы им теперь предоставляет государство.

Ворошиловск, 8 января 1943

С утра на рынке, полно народу. Ситуация располагает к продаже, так как легче увезти деньги, чем товар. Еда обильна; растранжиривают припасы. В садах я видел солдат, коптящих гусей; на столах громоздятся горы свинины. Я ощущаю панику, предвещающую близость Восточной армии.

Днем у главнокомандующего, генерал-полковника фон Клейста, которого я нашел озабоченно склонившимся над картой. Хорошо, что прямо из рыночного переполоха я шагнул сюда, в центр происходящего. Ситуация для главнокомандующего чрезвычайно упростилась. Эта ясность носила, однако, демонический характер. Частные судьбы исчезли из поля зрения, присутствуя в то же время незримо в виде сгустившейся, невыносимо давящей атмосферы.

В соседней комнате офицер-связной протянул мне

телеграмму; отец тяжело болен. Одновременно распространились слухи, что сообщение с Ростовом прервано. Случайно я встретил старшего лейтенанта Краузе, с которым мы связаны по прошлым распрям, особенно со времени тайного заседания в Айххофе. Он ожидал самолет из Берлина и предложил мне вернуться вместе с ним. Пока мы об этом говорили, начальник отдела кадров при главнокомандующем сообщил мне, что в курьерском самолете, вылетающем завтра утром из Армавира, оставлено место для меня. Машина идет туда через два часа.

Киев, 9 января 1943

Возвращаясь, живо вспоминал отца. Я не видел его с 1940 года, когда после французской полевой кампании отдыхал в Лайсниге. Пару раз я все же говорил с ним по телефону. И вот в безмерной усталости ранних утренних часов я увидел на темном небе его глаза, сияющие и голубые, еще более глубокие и живые, чем прежде, — глаза, какие были у него одного. Я видел их, они, наполненные глубокой любовью, остановились на мне. Когда-нибудь мне удастся отдать ему должное как человеку, соединившему мужской интеллект с сердечной материнской любовью.

В два часа прибытие в Армавир, где я немного подремал на туго набитых почтовых мешках. Сонные секретари разбирали письма и посылки, пока на город падали бомбы. Посреди этой беспокойной дремы я ощущал всю тяжесть ночной стороны войны, непременной принадлежностью которой является бессонница, все эти бесконечные ночные бдения на фронте, на родине, в тыловой службе.

В шесть часов отлет в блестевшей зеленым лаком машине, носившей название «Globetrotter» и управляемой принцем из Кобург-Готов. Через два часа мы перелетели Дон, зеленый, замерзший, покрытый белыми ледяными торосами. На дорогах виднелся поток отступающих колонн. В Ростове мы приземлились на краткий миг на аэродроме, где стаи бомбардировщиков загружались огромными ракетами.

В Киеве я остановился в старом отеле, казавшемся мне теперь очень комфортабельным. Все относительно, Я делю комнату с офицером еще первой мировой войны, прибывшим из сталинградского котла. Кажется, там уже даже аэродромы находятся под прицельным огнем. Они заполнены разбитыми машинами. Обитатели большого лагеря заключенных, запертые там, питались вначале кониной, затем занимались каннибализмом и в конце концов умерли от голода. Котел оставляет след на всю жизнь; его покидают в шрамах,

меченными, — быть может, это стигматы будущего возрождения.

Лётцен, 10 января 1943

Днем прибытие в Лётцен, тут же заказал разговоры с Кирххорстом и Лайснигом. В семь часов узнал от Перпетуи, что мой добрый отец, как я и предчувствовал, скончался. В среду его должны похоронить в Лайсниге; итак, я еще успеваю, что меня очень успокаивает.

Как часто в последние дни я подолгу думал о нем, о его судьбе, его характере, его человечности!

В спальном вагоне, 11 января 1943

Хлопоты в Лётцене, где резко похолодало. Вечером отъезд в Берлин. В поезде полковник Ратке, шеф управления армии. Разговор о положении под Ростовом, которое он считает поправимым. Потом о войне вообще. Первые же три оценки выдают сторонника другого лагеря, и разговор вежливо касается общих мест.

Кирххорст, 21 января 1943

Взгляд назад. Во время поездки в Лайсниг 12 января я глядел на лица соседей в вагоне — бледные, неестественно опухшие; такая плоть — приманка для злостных, разрушительных болезней. Большинство дремали, измотанные до крайности.

«Немецкое приветствие», главный знак добровольного принуждения, или принудительной добровольности. Человек совершает его при входе в купе или выходе из него, проявляясь, так сказать, индивидуально. Но окружающие, оставаясь при этом анонимными, не отвечают. Подобная поездка — достаточное поле Для изучения уловок, на какие способна тирания.

В Лайсниге после краткой встречи с братьями сразу отыскал кладбище, где привратница дала мне ключ от склепа. Были уже сумерки, когда я раскрыл ворота. В открытом гробу на возвышении, во фраке — отец, чужой, торжественный. Я медленно приблизился, зажег свечи справа и слева от изголовья. Долго всматривался в сильно изменившееся лицо. В особенности нижняя часть — подбородок, нижняя губа — были чужими, незнакомыми. Отойдя влево, я разглядывал лоб и щеку, на которой был виден хорошо знакомый мне шрам от сабельного удара в виде красной черты; и мне удалось все вновь соединить — я видел его, как уже бесчисленное множество раз, разговаривающим в своем кресле после еды. Радость видеть отца, прежде чем земля скроет его от меня. Мысль: знает ли он что-нибудь о моем присутствии? Я коснулся его похудевшего плеча,

холодной руки, на которую упала слеза, чтобы растаять на ней. Что означает это всепоглощающее молчание, которое окружает мертвых?

Затем возвращение и чай в старой, так хорошо знакомой столовой с разговорами о нем. Он заболел в первые дни Рождества и лег в постель, проведя до того несколько дней на софе. «Ну, вот видите, дело идет к концу», — сказал он вскоре. Состояние быстро ухудшалось, так что врач велел отвезти его в больницу, где поставили диагноз: двустороннее воспаление легких.

У Фридриха Георга было ощущение, что там он полностью погрузился в себя и не находил времени, чтобы принимать посетителей. «Садитесь» и «Воды» — были последние слова, которые он от него услышал. Он видел его еще в пятницу днем. По словам медсестры, он умер в час ночи. То есть это было в тот же час, когда во время поездки в Армавир мне показалось, что я вижу его глаза. Меня также поразило, что, перелистывая теперь свои дневники, я обнаружил, что год тому назад именно в это же время проснулся от тоски, так как мне приснилось, что он умирает.

Он умер в семьдесят четыре года, будучи на десять лет старше своего отца и на десять лет моложе своей матери, и это вновь подтверждает мое мнение, что один из методов, каким можно вычислить конечный возраст человека, состоит в том, что берут среднее между датами жизни родителей, при условии, что они умерли своей смертью.

Вечером я спал в его комнате, где он охотно читал в постели при уютном свете лампы или играл в шахматы. Еще лежали книги, которыми он занимался в последние дни, на ночном столике — «История греков» Егера,{112} труды о чтении иероглифов, шахматные задачи. Здесь я чувствовал себя близким ему, ощущал сильную боль, разглядывая всю эту благоустроенную домашность, библиотеку, лабораторию, подзорные трубы и аппараты, — так, уже в последние дни жизни он велел установить в особой комнате в подвале дома рентгеновский аппарат для просвечивания грудной клетки. Дом — продолжение нашего естества, это оболочка, которую мы организуем вокруг себя. Когда мы умираем, теряется и его форма — точно так же, как и тело ее теряет. Но тут все еще было свежо, каждый предмет еще помнил прикосновение его рук.

На следующий день состоялось погребение, в котором, как он и желал, участвовала только его семья. Мы еще раз, как я до того, коснулись его руки. «Какая холодная», — сказала мама.

Записываю, что по возвращении домой меня охватила

неистовая веселость. Эта древняя человеческая черта существует в порядке следования мистерии, которую мы давно забыли.

В субботу я поехал на несколько дней в Кирххорст. В поезде нас четырежды проверяли, один раз — криминальная полиция.

Кирххорст, 22 января 1943

Я углубился в новые работы Фридриха Георга, которые мы обсуждали с ним на прогулках в Лайсниге: «Титаны» и «Ветер с запада», в котором я нашел много не известных мне стихотворений, среди них «Зимородок» и «Автопортрет». В его стихах о животных царят магическая проницательность и покой, совершенно отличные от импрессионистического восприятия этих существ его непосредственными предшественниками. Здесь в лирике выступает принцип, давно воплотившийся в живописи.

Среди почты письмо от одной корреспондентки под псевдонимом Огненный цветок, сообщающее о новогоднем сне, в котором ей явилось название города Тодос или Тодсо. Памятуя о сне, она отказалась от поездки в Ганновер 3 января в определенном поезде, потерпевшем затем крушение. Тосдо она расшифровывает как «so Tod».[106]

Кирххорст, 23 января 1943

Чтение: «Les Aventures de Lazarille de Tormes»[107] {113} — прекрасно иллюстрированное Рансоннетом и в 1801 году в Париже напечатанное у Дидо-младшего издание. Бумага, печать, переплет и гравюра — все способствует наслаждению содержанием.

Затем продолжение «Histoires Desobligeantes»[108] Леона Блуа. Здесь я нашел следующее предложение, вторящее основной мысли «Мраморных скал»: «Я сильно подозреваю, что этот мир устроен на манер гнусной живодерни».

Но это означает также и его задачу.

Берлин, 24 января 1943

Со вчерашнего дня краткое пребывание в Берлине, где я снова остановился у Карла Шмитта и принимал сегодня участие в обычном возложении венка кавалерами ордена «За мужество» у памятника Фридриху Великому с тем ясным чувством, какому суждено проявиться здесь в последний раз. Прекрасное высказывание Мюрата — «Я ношу орден, чтобы в меня стреляли» — мне хочется употребить, когда я обдумываю свое положение, в перевернутом виде. Еще это талисман.

Сильные разрушения в Далеме. В последний налет разрушило не только дома, но и сорвало крыши и разбило тысячи

оконных стекол. Воздушные потоки ведут себя довольно странно; так, в соседнем доме воздушную волну протянуло под балконной дверью, оставшейся незадетой, а внутри комнаты ею разнесло табурет у рояля.

Прогулка в темном парке. Разговор о смерти Альбрехта Эриха Гюнтера, потом обсуждали сон. Карл Шмитт — вовлеченный во сне в разговор о некоторых запутанных обстоятельствах, проявивший при этом осведомленность, вызвавшую у многих одновременно как восхищение, так и недоверие, — сказал мне на это:

— Да разве вы не знаете, ведь я — Дон Каписко!

Прекрасно сказано, ухвачен весь риск и в то же время дурачество, сопутствующее состоянию истинной проницательности.

Вчера оставили Триполи.

Кирххорст, 9 февраля 1943

Снова в Кирххорсте, где я в отпуске до 18 февраля. С заметками дело застопорилось. Уже несколько недель меня мучает легкая мигрень, какой никогда раньше не было. Она связана со значительными сдвигами, каких ни в коем случае не может избежать дух, даже при самом замкнутом образе жизни. Их действие простирается как на сферу стихийного, так и на самый центр ментальной жизни. Это не говоря уже о просто грубом натиске, несущем с собой беду.

Совершил сегодня прогулку по местности: Моормюле, Шиллерслаге, Ольдхорст и Нойвармбюхен, что и быстрым-то шагом составляет три часа.

Справа на полях — хранилище с вывеской «Бургдорфские плантации спаржи», далеко видной, словно газетный заголовок, так что само здание за ней едва заметно. Такую вывеску можно сменить на любую, пока ветер и непогода не сотрут ее и за ней не обнаружится старый, честный сарай, несший ее на своем горбу, точно послушный осел. Так истинная мера вещей выживает в ходе времени.

Мысль об отношениях вдохновения и методичного труда. Будучи невозможными одновременно, они все же не могут существовать друг без друга, как открытие и обработка результатов, разведка недр и география. Вдохновенный ум проникает дальше, непосредственнее, этот процесс более увлекательный. Такой ум черпает свой опыт в безграничном. Без такого опыта невозможна поэзия.

Впрочем, импульс, ведущий к созданию стихотворения, не следует путать к вдохновением, — первый подобен перестройке

молекул перед кристаллизацией. Так начинается акт любви; раскачивание настраивает нас на переход к высшему аккорду.

При взгляде на Моормюле я подумал о Фридрихе Георге и разговоре, который мы вели в 1939 году об «Иллюзиях техники». Так как книга эта взывает к духу покоя, я вижу знак судьбы в том, что она тогда не вышла. Слишком противоречила бы она всему окружающему.

Затем о Шопенгауэре и его «Метафизике половой любви». Хорошо, что магнетизм эротического акта он видит в ребенке, а не в индивидуумах. Но, в сущности, и ребенок — всего лишь символ высшего обретения, происходящего здесь. В этом смысле слияние — более значительный и непосредственный символ, еще Платон видел в акте любви, скорее, не пир плоти, а мистерию духа. У Шопенгауэра страдает уже биология. Вилье де Лиль-Адан глубже проникает в суть не знающего времени и красок ядра любовного огня. Вейнингер{114} по праву восторгался «Акселем».

Наконец, о записи некоторых данных из моей жизни в связи с заметками, которые я сделал о своем славном отце. Среди них некоторые сокрыты от меня; их темный смысл все еще мне неясен. Для прояснения таких мест вовсе не необходима, как считал Руссо, честность. Честное признание, естественно, не следует презирать, но, в сущности, все зависит от того, обрел ли автор свободное дыхание в отношении своих умозрительных построений. Это удастся ему лишь в той мере, в какой он сумеет стать выше своих собственных индивидуальных проявлений.

В стремлении совершить этот путь и прошла, наверное, прогулка болотом от Шиллерслаге в Нойвармбюхен.

Кирххорст, 10 февраля 1943

Завтрак вместе с толстой Ханной и Перпетуей. Затем чтение Рембо, «Пьяный корабль» которого — последний маяк не только в поэзии XIX века, но и во всей поэзии коперниканского мира. Всякой поэзии суждено с этого конечного пункта входить в новый космос, независимо оттого, открыт он физикой или нет. В этом аспекте ужасный Исидор Дюкас{115} только кажется соответствующим нашему времени, на самом деле он соответствует только своим собственным вкусам. С тропическими лихорадками покончено; отныне пути ведут в ледяные океаны.

Работал с коллекцией, особенно над размещением семейства *galeruca,* представителей которого в изобилии находишь на влажных болотах этой местности. Родственные виды встречаются по большей части на сходных жизненных пространствах или, говоря языком охотников, на сходных участках. Но бывают исключения, как со сцимнусом, маленькая группа которого

существует не за счет сока растений, а за счет тли. Теории об этом, исходящие либо из условий жизни, либо из характера, так как это — лежащее в основе struggle for life[109] качество. Обе они односторонни; ведущаяся здесь борьба умов напоминает спор о бороде императора. Все эти теории соответствуют лишь частям, слоям действительности. Их следует, точно кальки, накладывать друг на друга, тогда сквозь них проступает пестрая карта природы. Естественно, для этого требуется свежий взгляд; я описал этот процесс в «Сицилийском письме».

Вечером в центре округа у парикмахера. Он повторил байку о злобности русских, отнимающих корм у собак, и присовокупил мысли на этот счет: стоит им что-то отдать на сохранение, они это сразу сжирают, а спаржу жрут просто сырой. И вообще, всякое дерьмо им на пользу. И этот парикмахер еще довольно добродушный малый!

Кирххорст, 13 февраля 1943

Чтение: «Мертвые души» Гоголя спустя большой промежуток времени. Без рефлексии этот роман был бы еще сильнее, без слишком часто демонстрируемого автором убеждения, что он создает жанровые картины.

Утром я долго оставался в постели, так как был сильный ветер и дождь, даже завтракал там, размышлял над средствами защиты у травоядных, обычно такими заметными у представителей многих классов животного мира. Вегетативный характер этих образований; они даже ветвятся, как, например, у оленей и многих питающихся древесиной насекомых. Сбрасывание этих рогов тоже носит вегетативный характер, у хищников нет ничего подобного. Боевое назначение этих наростов, по-видимому, вообще вещь вторичная, это можно заключить из того, что они по большей части относятся к половым признакам и существуют у видов, вообще не использующих их как оружие, например у навозных жуков или у насекомых, наблюдаемых в древесине или в древесной трухе. Наросты — часть их облика, они образуют не только челюсти, но и другие части хитинового скелета. Может, эти вегетарианцы вообще стараются казаться более грозными, чем есть на самом деле. Образ нашей жизни, весь уклад нашего существования — это арсенал, из которого мы черпаем по мере надобности средства защиты и нападения. Мысль эта важна в качестве противовеса к схематизму принципа «борьбы за существование». Здесь действуют другие законы.

«Приставленный к делу Господом от него же получает и разумение свое».

Есть хищники с повадкой и характером травоядных, — вроде китов, обирающих с обширных пастбищ свою добычу.

Кирххорст, 14 февраля 1943

Порывистый ветер с дождем. В комнате раскрылись цветы на ветке сливы, которую я принес из сада, чтобы прорастить. На голой ветке полно белых звезд.

Растущая мигрень, по-видимому — атмосферное давление.

Кирххорст, 15 февраля 1943

Вчера русские взяли Ростов. В почте письма от сестры Эдмонда, уже думающей бежать из Польши. Мы предложили ей и ее детям кров.

Затем Фридрих Георг из Юберлингена: «Может быть, мы попадем в такую ситуацию, когда противникам вместе с нами придется обдумывать создавшееся положение, и если они из чувства мести этого не сделают, то сами окажутся в глубокой черной яме».

Кирххорст, 17 февраля 1943

После нескольких дней бурной и дождливой погоды сегодня солнечно и чудесно. Утром рвал свежую петрушку, зеленую, мохнатую, покрытую корочкой замерзшей росы.

Гонкуры пишут о Домье,{116} что в изображении людей он достиг степени реальности, впадающей в фантастическое. Это наблюдаешь всюду, где действительность достигает пика; последние взмахи кисти наносят фантастические оттенки.

Вчера русские заняли Харьков. Мы ждем Фрици Шульц, бежавшую с детьми из Александрова, где ее предки жили более ста лет. Перед отъездом я намереваюсь спрятать часть моих рукописей, для которых кроме опасности налетов и пожаров возникает еще возможность грабежа и обысков. Когда думаешь, как трудно найти надежное убежище, становится странно, что вообще все старое наследие дошло до нас сквозь водоворот времен.

Второй парижский дневник

1943

Париж, 19 февраля 1943

Вчера после полудня отъезд в Париж. Перпетуя проводила меня на вокзал и долго махала, пока я не скрылся из виду.

В поезде беседа с двумя капитанами, которые полагали, что Кньеболо применит в этом году новые средства, может быть и газ. В их голосе не слышалось одобрения, но они ограничились моральной пассивностью, столь свойственной современному человеку. Технические аргументы здесь убедительнее всего, например тот, что при слабости воздушных сил подобная затея равносильна самоубийству.

И когда Кньеболо планирует нечто подобное, то для него, как и во всех его концепциях, определяющими являются внутриполитические соображения. В данном случае его цель — создать пропасть между народами, которую не преодолеть никакой воле. Это отвечает характеру его гения, проистекающего из раскола, размежевания, ненависти. Такие трибуны хорошо известны.

Высветим его на мгновение: когда подобным личностям рассказывают о злодеяниях противника, на их физиономии отражается не возмущение, а демоническая радость. По этому признаку можно судить, что Диффамация врага входит в придворный культ в царстве тьмы.

Париж после таких городов, как Ростов, предстал предо мною в новом, неслыханном блеске, хотя оскудение коснулось и его. За исключением книг, встречу с которыми я праздновал, добыв прекрасную монографию о Тёрнере.{117} Я нашел в ней описание его достопримечательной жизни, прежде мне неизвестной. Не часто зов судьбы проявляется столь настойчиво. В последние годы он не рисовал, а только пил. Всегда будут существовать художники, пережившие свое призвание; чаще всего это бывает в тех случаях, когда дарование проявилось рано. Тогда они напоминают чиновников на пенсии, наконец-то получивших возможность предаться своим склонностям, как, например, Рембо — добыванию денег, а Тёрнер — запою.

Париж, 21 февраля 1943

Днем с Геллером и художником Купом в «Тур д'Аржан». Разговор о том, что книги и картины оказывают свое действие, даже если их никто не видел. «Все деяние — внутри». Эта идея неосуществима для современников, стремящихся расширить круг

своих общений и связей, т. е. заменяющих духовные отношения техническими. Не дойдет ли до того, что моления монахов будут слушать лишь те, кому они на пользу? Это знал еще Виланд;{118} он говорил Карамзину, что на необитаемом острове сочинял бы не менее ревностно, будь он уверен, что его произведения слушают музы.

Затем «Мёрис», где Куп, служащий ефрейтором у коменданта, показал нам картины, из которых мне особенно понравился пестрый голубь, чьи розовые и темные тона сливались на заднем плане с красками города: «Городские сумерки». По пути домой мы говорили и об этом, и о сумерках как настроении, и о том воздействии, какое они оказывают. Они творят из индивидуумов силуэты, лишая лица деталей и выявляя их общее значение, например: мужчина, женщина, человек. Они уподобляются художнику, в котором тоже есть много сумеречного, темного, что и дает ему возможность видеть силуэты.

Вечером листаю номер «Верв» за 1939 год и обнаруживаю там фрагменты из незнакомого мне автора, Пьера Реверди.{119} Выбираю и записываю следующее:

«Я защищен броней, выкованной из ошибок».

«Être ému c'est respirer avec son coeur».[110]

«Его стрела отравлена; он окунул ее в собственную рану».

На стенах парижских домов часто появляется мелом написанный год — 1918. А еще — «Сталинград».

Кто знает, не окажутся ли и они там, среди побежденных?

Париж, 23 февраля 1943

Утром рассматривал папку с фотографиями, сделанными отделом пропаганды при взрыве портового квартала Марселя. Опять превратили в пустыню место неповторимое, к которому я привязался всем сердцем.

Во время обеда я теперь всегда отдаю должное зрительной закуске. Сегодня, например, перелистывал Тёрнера, в морских пейзажах которого с их зелеными, синими и серыми тонами стынет великий холод. Они создают видимость глубины, возникающей через отражение.

Затем на маленьком кладбище в Трокадеро, где я снова увидел надгробную часовню Марии Башкирцевой{120} и вновь ощутил непосредственное присутствие покойной. Уже цветут некоторые травы, например желтофиоль и пестрый мох.

В книжной лавке на площади Виктора Гюго обнаружил целую серию произведений Леона Блуа, коего хочу изучить основательней. Всякая великая катастрофа влияет также на мир книг, легионы их она ввергает в забвение. И только когда

лихорадка уже позади, видно, на что опирался автор в устойчивые времена.

Вечером совершил небольшую прогулку. Такого тумана я не помню, — он был таким плотным, что лучи, падавшие из отверстий затемненных окон, казались мне крепкими, как балки, и я боялся на них натолкнуться. Многие спрашивали у меня, как пройти на Этуаль, но не получали ответа, а мы стояли прямо на ней.

Париж, 24 февраля 1943

Истинные размеры нашей значимости: рост других силою нашей любви. По их росту мы узнаем свою весомость и то, зловещее: «Исчислен, взвешен, разделен»,[111] которое открывается нам в отречении.

Есть умирание, которое хуже смерти и которое состоит в том, что любимый человек умерщвляет в себе наш образ, живший в нем. В нем угасает наш свет. Это может произойти из-за темного свечения, которое мы посылаем от себя; цветы тихо закрываются перед нами.

Париж, 25 февраля 1943

Бессонная ночь, нарушаемая мгновениями дремы, в которые снятся сны; сначала кошмар, где я косил траву, а потом — сцены, как из театра марионеток. Мелодии, вливающиеся в грозовые молнии.

По законам тайной эстетики морали благородней падать вниз лицом, нежели затылком.

Париж, 28 февраля 1943

Докладываю о своей роте. Тем временем пал Сталинград. По этой причине ужесточилось казарменное положение. Если, согласно Клаузевицу, война есть продолжение политики другими средствами, значит — чем совершенней ведется война, тем меньше в нее вмешивается политика. В бою не ведут переговоров; там нет свободы действий и на нее не хватает духу. В этом смысле война на Востоке приняла тот абсолютный масштаб, который Клаузевиц после опыта 1812 года не мог себе и представить, — это война между государствами и народами, война гражданская и религиозная с зоологическим уклоном. На Западе есть еще некоторая свобода маневрирования. Это одно из преимуществ войны на два фронта, в которой все решает судьба, постоянная угроза центру. 1763 год — тоже явная звезда надежды для тех, кто несет ответственность. Колонками этой даты они ночью исписывают стены, а «1918» и «Сталинград» зачеркивают.

Но смысл тогдашнего чуда заключался в том, что старый Фриц[112] пользовался симпатией всего мира. Кньеболо же почитается за всемирного врага, и умри трое из его великих противников, война все равно бы продолжилась. Их заповедное желание не в том, чтобы кто-нибудь протянул руку, а в том, чтобы Кньеболо потерпел крах. В результате мы замерзаем все больше и больше и без посторонней помощи не можем оттаять.

На столе стояли импортные кубинские вина в длинных узких бутылках. Их выменивают в Лиссабоне на французский коньяк, коего высокие штабные господа другой стороны лишить себя не могут, — как-никак еще один способ коммуникации.

К моим служебным обязанностям добавляются наблюдения за сторожевыми постами на оккупированной территории, — шутовское и во всех отношениях сомнительное занятие.

Париж, 1 марта 1943

Вечером размышлял над словом «роение». Так мог бы называться один из разделов в книге по естественной истории человека. Для «роения» нужны три вещи: повышенная пульсация жизни, собирание и периодичность.

Жизненная пульсация, или вибрация, в том виде, как ее, например, можно наблюдать у мотыльков, есть сверхиндивидуальная сила; она поднимает тварей до уровня рода. Их жизнедеятельности — браку, сбору урожая, странствию, игре — служит собирание.

Ритм роения в прежние времена был совершенно естествен, он определялся Луной, Солнцем и их влиянием на Землю и на произрастание растений. Большие цветущие деревья, пронизанные жужжащими насекомыми, чудесным образом дают нам почувствовать, что значит роение. Свою роль играет здесь и разное время суток, например сумерки, или электрические явления, например грозовая атмосфера. Эти природно-космические знамения суть подоплека исторических эпох и их смены, они запечатлеваются в *datax* празднеств, значение которых, казалось бы, изменяется вслед за сменой культов и культур. Но меняется только культово-сакральная часть, природная же — остается неизменной. Отсюда языческие элементы в каждом христианском празднике.

Название «роящиеся духи» выбрано, пожалуй, удачно, ибо оно означает блуждание, сущность которого состоит в смешении культовой и природной частей празднества.

Париж, 3 марта 1943

Днем на берегу Сены, с Шармиль. Мы прошлись по

набережной, от площади Альма до виадука Пасси; там мы устроились на деревянном парапете и глядели, как течет вода. В одном из швов каменной кладки расцвел латук с семью желто-золотыми венчиками; в одном из них сидела большая муха, отливавшая металлической зеленью. А на каменной кладке парапета я снова любовался многократными оттисками маленькой улитки.

Париж, 4 марта 1943

Завтрак с Геллером у Флоранс Гульд, перебравшейся на авеню Малакофф. Там мы встретили кроме нее и Жуандо еще Мари-Луизу Буске и художника Берара.{121}

Беседа перед витриной египетских находок из Розетты. Наша хозяйка показала нам древние баночки для мазей и сосуды для плакальщиц из античных Могил, с которых она игриво соскабливала темно-фиалковую и перламутровую пленку — осадок тысячелетий, так что взметывалась пыль, переливаясь всеми Цветами радуги. Кое-что из своего богатства она раздаривала; я не мог отказаться от великолепного светлосерого скарабея с пространной надписью на подставке. Потом она показала книги и рукописи, переплетенные у Грюэля; в одном томе со старинными гравюрами не хватало трех листов, — она их вырвала, чтобы подарить какому-то гостю, которому они особенно приглянулись.

За столом, упомянув имя Реверди, я узнал подробности о нем, ибо и Берар, и мадам Буске с ним коротко знакомы. Дух раскрывает, обнаруживает себя одной-единственной эпиграммой.

Разговор с Жуандо, чьи «Chroniques Maritales» мне когда-то прислал Эркюль, о его манере работать. Он встает, поспав не более шести часов, в четыре часа утра и сидит над своими рукописями до восьми. После этого отправляется в гимназию, где учительствует. Тихие утренние часы, которые он проводит с грелкой на коленях, — самые для него сладостные. Затем речь зашла о строе предложений, знаках препинания, в частности о точке с запятой; от нее он не только не может отказаться, но рассматривает ее как необходимую замену точки в тех случаях, когда фраза логически не завершена. О Леоне Блуа; от Риктуса он знал о некоторых подробностях из его жизни, мне неизвестных. Блуа еще не классик, но когда-нибудь станет им. Должен пройти какой-то срок, пока из произведений не выветрится все сиюминутное. У них тоже есть свое чистилище. Пройдя через него, они делаются неуязвимыми для любой критики.

Париж, 5 марта 1943

Во время обеденного перерыва в Трокадеро, где любовался крокусами, что росли на травянистых склонах синими, белыми и золотыми группами. Их тона сверкают, как драгоценные камни, светящиеся в стройных бокалах, — видно, что это первые, самые чистые огни поры цветения.

Сегодня закончил: Леон Блуа, «Quatre Ans de Captivité à Cochons-sur-Marne»,[113] включающую в себя дневники с 1900 по 1904 год. На этот раз мне особенно бросилось в глаза полное безразличие автора к мнимостям техники. Среди роящихся людских толп, воодушевленных атмосферой большой всемирной выставки 1900 года, он живет, как старомодный отшельник. В автомобилях он видит безудержный рост инструментов уничтожения первой степени. Вообще, техника для него сопряжена с надвигающимися катастрофами, — так, средства быстрого передвижения, например моторы и локомотивы, он считает изобретением духа, замыслившего побег. Скоро придется спешно перебираться на другой континент. 15 марта 1904 года он впервые едет в метро, катакомбам которого не может отказать в некоей подземной, хотя и демонической, красоте. Это устройство создает у него впечатление, что пришел конец райским рекам и рощам, предрассветным и вечерним сумеркам, — ощущение гибели человеческой души вообще.

Охарактеризовать этот дух, ожидающий судного дня, можно надписью на солнечных часах: «Уже поздно; позднее, чем ты думаешь».

Париж, 6 марта 1943

После полудня у Пупе на рю Гарансьер. В его мансарде, набитой книгами и картинами, я встретил романиста Мегрэ, с которым переписывался еще в мирное время, и докторессу. Пусть бы такие островки не исчезали.

Меня все еще мучает легкая мигрень, продолжающаяся с начала года. И все же новый год вселил в меня уверенность в переменах к лучшему. Но об этом — о том, что все в конце концов наладится, — мы забываем в периоды слабости, меланхолии.

Мужская среда. В обществе двух женщин наше положение может походить на роль судьи в соломоновом решении, но в то же время мы играем и роль ребенка. Мы должны решить в пользу той, которая не захочет нас делить.

Париж, 9 марта 1943

Вечером на просмотре старого сюрреалистского фильма «Le Sang d'un Poète»;[114] {122} приглашение на него мне прислал Кокто. Некоторые сцены напоминают замысел моего «Дома»,

правда, только чисто внешне. Например, ряд гостиничных номеров, увиденных сквозь замочную скважину. В одном из них можно разглядеть убийство Максимилиана Мексиканского, повторяющееся в двух версиях, в другом — как маленькую девочку учат летать при помощи хлыста. Универсум похож на улей с тайными сотами, в котором произвольно громоздятся друг подле друга обрывки жизни, разыгрываемой в плену маниакальной одержимости. Мир как рационально устроенный сумасшедший дом.

К этому жанру относятся также открытия сюрреалистов Лотреамона и Эмилии Бронте, включающие их странную любовь к Клейсту, из которого им известна, по-видимому, только «Кэтхен из Хайльбронна», но не его театр марионеток, где он предлагает опасный рецепт. Других, например Клингера,{123} Лихтенберга, Бюхнера{124} и даже Гофмана, они просто не заметили. Если заглянуть к ним за кулисы, то хочется спросить, отчего же великим магистром их ордена не стал маркиз де Сад.

Париж, 10 марта 1943

Вечером у Баумгарта на улице Пьер-Шаррон за нашей обычной шахматной партией. Эта игра знакомит если не с абсолютным, то со специфическим превосходством духа, некоей разновидностью логического принуждения и глухой реакцией того, кто это принуждение познал. Это дает нам представление о страдании тупиц.

На обратном пути я, по своей привычке, безоглядно ринулся сквозь тьму и больно ударился об одну из решеток, стоявших для предупреждения диверсий перед служебными зданиями. Пока такое случается с нами, мы никогда не образумимся; подобные травмы проистекают изнутри. Вещи, способные причинять такой вред, устремляются к нам как бы из недр нашей рефлексии.

«Тайные кладбища», слово из современной этимологии. Трупы прячут, дабы конкурент их не вырыл и не сфотографировал. Подобные аферы, достойные лемуров, указывают на чудовищно возросшее зло.

Париж, 11 марта 1943

Обед у Флоранс Гульд. Там же Мари-Луиза Буске, сообщившая о своем визите к Валентинеру: «Полк из таких молодых людей — и немцы завоевали бы Францию без единого пушечного выстрела».

Потом Флоранс рассказала о своей деятельности в качестве сестры милосердия в операционной Лиможа:

— Когда отрезали ногу, а не руку, мне было не так страшно.

И о браке:

— Я вполне могу ужиться с мужем; я говорю об этом с полной уверенностью, потому что дважды удачно выходила замуж. Исключение для меня — только Жуандо, так как он любит ужасных женщин.

Жуандо: «Я не выношу сцен, которые мне устраивают при помощи капельницы».

Париж, 12 марта 1943

Чтение: «Contes Magiques»,[115] Пу Сунлина.{125} Там есть чудная иллюстрация: литератор, вынужденный колоть дрова в каком-то дальнем лесу, доходит до того, что на ладонях и ступнях у него появляются «пузыри, похожие на коконы шелковичных червей».

В одном из этих рассказов обнаруживают средство, помогающее распознать колдунью. Существо, в чьих человеческих качествах сомневаются, ставят на солнце и смотрят, нет ли изъяна в его тени.

Насколько это важно, тут же узнаешь по исключительно злой шутке, которую одна из этих волшебниц сыграла с одним молодым китайцем. Ей удается обольстить его в саду, он заключает ее в объятия, но тут же с ужасающим криком падает на землю. Выясняется, что он обнял большое полено с проделанной в нем дыркой, где притаился скорпион со своим жалом.

Среди острот, ходящих за столом в «Рафаэле», есть весьма удачные, например: «Норма на масло увеличится, если портреты фюрера вынуть из рамы».

Может быть, есть хроникеры, которые вели дневники острот, сопровождавших все эти годы. Записывать их стоило, ибо их последовательность весьма поучительна.

Существует стилистическая невежливость, выступающая в таких оборотах, как «ничуть не менее чем» или «ne pas ignorer».[116] Они похожи на узлы, вплетаемые в нить прозы; развязывать же их предоставляют читателю. Грибки иронии.

Париж, 14 марта 1943

После полудня у Марселя Жуандо, проживающего в маленьком домике на рю Командан Маршан, которая из всех парижских уголков мне особенно мила. С его женой и Мари Лорансен{126} мы сидели в его крошечном садике; несмотря на то что он не больше носового платка, в нем было множество цветов. Его жена напоминает одну из масок, встречающихся в старых винодельческих деревнях. Они приковывают нас не мимикой, а неподвижностью, какой светятся их деревянные и ярко

раскрашенные лица.

Мы прошлись по квартире, имевшей, не считая маленькой кухни, на каждом из трех этажей по комнате: внизу — небольшой салон, посредине — спальня, а наверху, почти как обсерватория, — оборудованная под жилое помещение библиотека.

Стены спальни окрашены в черный цвет и разрисованы золотыми орнаментами; их дополняет китайская мебель, покрытая красным лаком. Вид этой тихой обители тягостен, но Жуандо чувствует себя в ней хорошо и работает здесь в самую рань, пока жена еще спит. Он замечательно рассказывал, как постепенно просыпаются птицы, сменяя друг друга своими мелодиями.

Потом пришел Геллер и мы расположились в библиотеке. Жуандо показал мне свои рукописи, одну из которых подарил, а также гербарии и собрания фотографий. В папке с портретами его хозяйки были фотографии ню еще тех времен, когда она была танцовщицей. Но меня это нисколько не удивило, ибо я знал из его книг, что летом она любит так разгуливать по квартире и даже принимает в таком виде доставщиков, газовщиков и ремесленников.

Разговоры. О дедушке госпожи Жуандо, почтальоне; в 4 часа утра, прежде чем разносить почту, он обихаживал свой виноградник. «Работа в нем была его молитвой». Он считал вино универсальным лекарством и поил им даже детей, когда те заболевали.

Потом о змеях, которых друг дома однажды принес целую дюжину. Животные расползлись по всей квартире; в течение многих месяцев их еще находили под коврами. У одной из них было обыкновение заползать по ноге торшера наверх; она обвивала талию абажура в том месте, где он был теплее всего.

Я вновь утвердился в своем впечатлении от парижских улиц, домов и квартир: они — хранители пронизанной старинной жизнью сущности, до краев наполненной экспонатами и воспоминаниями всякого рода.

Вечером визит к больной Флоранс; в доме Селина она повредила себе ступню. Она мне рассказала, что у этого автора, несмотря на большие гонорары, вечно нет денег, ибо он все отдает уличным девкам, которые донимают его своими болезнями.

Когда рухнут все здания, останется язык — волшебный за́мок с зубцами и башнями, древними сводами и ходами, исследовать которые до конца не дано никому. Долго еще будут блуждать по его шахтам, заброшенным штольням и карьерам, — пока не

исчезнут из этого мира.

Закончил «Contes Magiques». В этой книге меня восхитила фраза: «Здесь, в мире сем, только люди высокого духа способны на большую любовь, ибо только они не расточают идею на внешние соблазны».

Париж, 17 марта 1943

О «Рабочем». Рисунок точен, и все же он похож на резко вычеканенную медаль без обратной стороны. Во второй части надо бы изобразить подчинение описанных динамических принципов покоящемуся порядку высшего чина. Когда дом построен, механики и электротехники уходят. Кто же будет его хозяином?

Найду ли я время, чтобы заново все сплести? Вот Фридриху Георгу своими «Иллюзиями техники» удался в этом направлении значительный шаг. Это показывает, что мы — истинные братья, духовно нерасторжимые.

Кровь и дух. Часто устанавливаемое родство отражается также и в их сопряженности, поскольку различие между красными кровяными тельцами и сывороткой имеет и духовное соответствие. Здесь следует различать материальный и спиритуальный слой, двойную игру мира образов и мира мыслей. Однако в жизни оба мира тесно связаны и редко друг от друга отделяются. Образы катятся в потоке мыслей.

Соответственно следует различать сывороточную и корпускулярную прозу; существует прямая накопления образов вплоть до иероглифического стиля у Гамана. Возникают и удивительные переплетения, как у Лихтенберга. Его образный стиль преломляется интеллектом, создавая подобие мортификации. Продолжая сравнение, можно сказать, что оба элемента отделились друг от друга и снова перемешались в искусственном соединении. Иронии всегда предшествует надлом.

Париж, 20 марта 1943

Днем говорили с президентом о казнях, которые он в качестве генерального прокурора видел в изобилии. О типах палачей; на эту должность охотно идут прежде всего коновалы. Те, кто орудуют топором, могут похвастаться перед гильотинщиками известным художественным мастерством, сознанием штучной и искусной работы.

Первая казнь под властью Кньеболо: палач — сняв перед казнью фрак, засучив рукава, в цилиндре набекрень, в левой руке топор, с которого стекала кровь, правая поднята для «немецкого приветствия» — отрапортовал: «Казнь исполнена».

Патологоанатомы, осматривающие череп и то, что внутри него, пока он еще свеженький, следят за ударом топора, как коршуны. Как-то раз, перед казнью человека, который повесился в камере, но был вынут из петли еще живым, можно было видеть их скопище у подножия эшафота. Утверждают, что развивающееся с годами особое душевное заболевание выражается именно в виде такой попытки самоубийства и что предрасположенность к нему намечается в мозговых изменениях уже рано.

После полудня в Сен-Жерве — церкви, где я прежде не бывал. Узкие улочки, которыми она окружена, сохранили следы средневековья. Невосполнимое в этих постройках: в каждой уничтожено что-то от первоначала. Часовня святой Филомелы. Эта святая мне неизвестна. Там была коллекция сердец, из них, как из круглых плошек, выбивалось пламя; одни были из меди, другие — бронзовые, несколько золотых. Это место побудило меня задуматься над событиями, отметившими начало года на Кавказе.

В купол этой церкви 29 марта 1918 года угодил снаряд немецкой «парижской пушки», убив много верующих, собравшихся там на Страстную пятницу. Их памяти посвящена особая часовня, окна которой украшает лента с надписью: «Hodie mecum eritis in paradiso».[117]

Потом на набережных смотрел книги. Этот час мне особенно дорог как некий оазис во времени. Я раздобыл там «Le Procès du Sr. Edouard Coleman, Gentilhomme, pour avoir conspiré la Mort du Roy de la Grande Bretagne», Hambourg, 1679.[118]

Как я узнал от Флоранс, Жуандо отозвался обо мне после моего визита к нему так: «Difficile à développer».[119] Это суждение фотографа душ.

Муассон, 21 марта 1943

Отъезд в Муассон, куда меня откомандировали на курсы. С вокзала Бонньер мы отправились вдоль Сены и слева, на том берегу, увидели цепь меловых утесов. Перед ними высились замок с крепостью Ла-Рош-Гюйон и одинокая колокольня, сооруженная над сводами пещерной церкви Ла-От-Иля.

Я живу у старого священника по имени Ле Заир, который всю жизнь провел иезуитом в Китае, строя там христианские церкви, а остаток дней посвятил этому постылому, расположенному на скудной земле приходу. Его взгляд по-детски кроток, хотя один глаз у него и незрячий. Я завел с ним разговор о ландшафтах, услышав от него, что ездить далеко не стоит, ибо формы везде одинаковы — в основе их лежит всего несколько образцов.

Это суждение отшельника, который любит жизнь по ту

сторону призмы и, очевидно, считает, что глядеть на спектр не стоит, потому что вся его полоса уже содержится в солнечном свете. Тут, однако, следует возразить: вместе с радугой человеческий глаз в качестве редкостного дара получает и способность различать цвета.

Беседа напомнила мне одно из моих прежних сомнений: не теряем ли мы, отступая в единство, способность наслаждения, которое нам может предоставить только время и только разнообразие, и не в том ли кроется основа нашего существования, что самому Богу потребна индивидуация. Наблюдая за насекомыми и морскими животными и за всей небывальщиной потока жизни, я постоянно испытывал это чувство. Мысль о том, что однажды со всем этим придется расстаться, причиняет мне глубокую боль.

В противовес этому надо бы сказать, что при отступлении мы приобретем органы, нам неизвестные, хотя они заложены и прообразованы в нас, как, например, легкие в младенце, носимом матерью в утробе. Телесные очи иссохнут, подобно нашей пуповине; мы будем наделены новой силой зрения. И как мы *здесь* видим цвета в их разделенности, так и *там,* испытывая высшее наслаждение, узрим их сущность в нераздельном свете.

Вечером разговор о Востоке, в том числе о каннибализме; утверждают, что особое пристрастие наблюдается здесь к половым органам. Причиной тому — не простой голод; рассказывают, например, о партизанах, которых доставляли в хлебных сумках в обмен на сигареты.

При упоминании таких зоологических или даже демонических черт низшего порядка на ум приходит Баадер{127} со своим учением. Чисто экономические доктрины приводят к каннибализму.

Муассон, 23 марта 1943

Новые здешние удовольствия: вид цветущего персика, пробуждающегося от зимнего сна, — он словно бабочка, выползающая из темной куколки и расправляющая свои крылья. Сухая земля полей и серые стены домов воодушевляются этим новым блеском; легкая цветная вуаль оживляет их. Розовый цветок при этом скромнее, чем белый, но выглядит более пышным на фоне голой ветки. Поэтому и на душу действует гораздо сильнее. Нежный занавес, которым год начинает свою волшебную пьесу.

Также утренний огонь в камине. Вечером в холодной комнате я сооружаю пирамиду из сухих прутьев и дубовых чурок, которую зажигаю утром за полчаса до подъема. Вид открытого огня,

излучающего тепло и свет, оживляет и делает радостным начало дня.

Муассон, 26 марта 1943

До полудня полевая служба на сухой пустоши, покрытой беловато-серыми и зелеными сплетениями корней и поросшей кое-где березами и соснами. Двигаясь по спирали, мы снова обращаемся к прожитым вещам, преодолевая их, и если они не вовсе лишены значения, то становятся материалом для высшего триумфа. Так вышло и у меня с обеими мировыми войнами — первой и второй. В час смерти вся жизнь проходит перед нами, в этот час случай освящается необходимостью. Его запечатлят высшей печатью, после того как воск расплавится страданием.

На этой пустоши с ее сосновыми рощицами было уже довольно жарко. В полуденном солнце я увидел некое создание, порхнувшее мимо меня и показавшееся мне незнакомым: это было существо, вздымавшее прозрачные крылья розовато-опалового оттенка и тянувшее за собой два длинных, красиво изогнутых рога, напоминавших хвосты или шлейфы. Я тут же узнал в нем самца жука-дровосека, которого впервые увидел в полете. В таком молниеносном прозрении кроется великая радость, мы прозреваем тайные истоки природы. Живое существо является нам в своей исконной сущности, в своих волшебных танцах и в той оправе, какой его снабдила природа. Это одно из высших наслаждений, доставляемых нам сознанием: мы проникаем в глубь жизненной грезы и живем в ней жизнью тварей. Словно на нас падает искорка, отброшенная непосредственной, неосознанной радостью, которая их наполняет.

После полудня вместе с Мюнхаузеном и Баумгартом я во второй раз совершил экскурсию в От-Иль и Ла-Рош-Гюйон. На этой местности с ее крутыми и причудливо изрезанными меловыми утесами, которые сопровождают течение реки, возвышаясь над ней подобно органным трубам, лежит отпечаток, дающий почувствовать, что она уже с незапамятных времен заселена людьми. В Ла-Рош-Гюйоне смена эпох налицо; в белой, увитой плющом скале можно увидеть темные впадины глубоких и извилистых пещер, некоторые из них до сих пор служат кладовыми или конюшнями; тут же — неуклюжие крепостные строения эпохи норманнов и, наконец, на переднем плане — гордый замок с башнями, запечатлевший смену менее грозных столетий. И посреди всего этого, как глубокие погреба, где витает дух древнейших времен, сохранились пещеры с кремнёвыми прослойками, где, может быть, спрятаны сокровища, золото и

оружие или покоятся убитые в бою, — пещеры с предками-великанами, а в каком-нибудь тайном и заваленном проходе — даже с драконами. Это чувствуется и на открытом пространстве как некое магическое присутствие.

Париж, 27 марта 1943

Вечером отъезд в Париж, но до полудня успел еще, сидя у камина, кое-что записать в дневник. Уже в «Рафаэле» обнаружил кипу поздравлений с днем рождения; сначала прочел письма знакомых и клиентов, потом друзей и, наконец, родных, прежде всего Перпетуи и Фридриха Георга.

Перпетуя пересказывает мне сны. Вот она забросила сеть, чтобы поймать рыбу, но вместо нее с трудом вытащила из воды якорь и прочитала вырезанные на нем слова: «Персидский диван, 12.4.98. Рембо своим последним друзьям». Соскоблив ржавчину, она увидела, что якорь был сделан из чистого золота.

Ранг, которым обладают наши родные, мы можем присвоить и себе. Здесь дает себя знать укорененность на хорошей почве, в нужном месте. То же самое подтверждает и неверность учеников, друзей, возлюбленных по отношению к нам. Еще в большей степени — их самоубийство: оно свидетельствует о непрочной основе. Если нас, как Сократа, постигнет несчастье, не следует исключать возможности еще одного симпозиума.

Париж, 28 марта 1943

У Валентинера. Он привез мне из Берлина письмо от Карла Шмитта с пересказом сновидения, которое тот записал для меня утром. А также цитату из «Таинства соли» Этингера:{128} «Несите соль в себе с миром, не то вы будете посолены другой солью».

Это напомнило мне мой образ замерзания и оттаивания.

Париж, 29 марта, 1943

Так как ночью часы были переведены на час вперед, то я сразу же прыгнул в следующий год жизни. Стряхнув с себя сновидение, я нацарапал на записке, которую обнаружил, когда окончательно проснулся: «Плацента Евы. Мад(т)репоровый коралл».

Мысль, если я правильно запомнил, была следующая: физическую пуповину разрезают, метафизическая же остается нетронутой. Из этого соотношения, из недр жизненного потока вырастает второе, незримое родовое древо. Его кровеносными сосудами мы навсегда соединены друг с другом и общаемся с каждым, кто когда бы то ни было жил на свете, — со всеми поколениями и сонмами умерших. Мы сплетены с ними

флюидом, являющимся нам все время во сне и в сновидениях. Мы знаем друг о друге больше, чем нам это кажется.

У нас есть два способа продолжения рода — почкование и совокупление. Во втором случае нас производит отец, в первом — мы происходим только от матери и остаемся как бы вечнозелеными. В этом смысле у всего человечества единый день рождения и единый день смерти.

Мистерия, впрочем, наделена и патернитарным полюсом, поскольку в каждом зачатии скрывается духовный акт, и в своей чистейшей возвышенности это обстоятельство выявляется при зачатии абсолютного человека. Так, понятие «человек», как в отношении мужской, так и женской половины своего генезиса, соответствует крайней возможности.

Собственно, двойной генезис человека просматривается и в символах. Их можно разделить на такие, в коих выявлен генезис материальный, и такие, где превалирует генезис духовный: человек выступает как лилия, как горчичное или пшеничное зерно; он выступает и как наследующий небеса, и как Сын Человеческий.

В девять часов из Харькова позвонил Шпейдель и первым, через необозримое пространство, пожелал мне счастья. День прошел весело и приятно. Вечером с Геллером и Валентинером у Флоранс, знакомству с которой сегодня исполняется год. Мы продолжили с ней разговор о смерти, который вели тогда.

Париж, 30 марта 1943

Вечером у оберлейтенанта фон Мюнхаузена, с ним я познакомился во время учений в Муассоне. Его корни, подобно Клейстам, Арнимам или Кайзерлингам, — на Востоке, в одном из наших духовных родов, и это прекрасно отразилось на его стати. Там был и его врач, русский эмигрант, профессор Залманов.{129} Разговор у камина о больных и врачах; в Залманове, после Цельсуса, который наблюдал меня какое-то время в Норвегии, и Вайцзекера, завсегдатая моего дома, я нашел первого врача с масштабными идеями и охотно отдался бы в его руки. Он исходит из целого, а также из времени как целого, называя его больным; для отдельного человека, живущего внутри него, так же трудно быть здоровым, как для капли воды сохранять покой внутри бурного моря. Особенное зло времени он видит в склонности к конвульсиям и надрывам. «Смерть досталась даром» — такая формула для него означает, что здоровье нужно заслужить, и заслужить не иначе, как через взаимные усилия больного и врача. Заболевание часто начинается как моральная ущербность и уже потом переходит на физические органы. Если больной на этом

моральном этапе излечиваться не желает, врач должен лечение отменить, он только зря будет получать деньги.

Залманову семьдесят два года,[120] он учился и лечил почти во всех европейских странах и на многих фронтах и уже в зрелом возрасте, став профессором университета, бросил классическую медицину, чтобы выстроить свое учение на практике. Его пациентом был Ленин, про которого он рассказывал, что тот умер от скуки. Главным даром Ленина была способность к конспирации и созданию малых революционных групп, — попав же на высшую ступень и обладая неограниченной властью, он оказался как бы в положении шахматиста, не находящего себе партнера, или в положении образцового чиновника, которого раньше времени отправили на пенсию.

Свой главный гонорар Залманов получал за то, что во время визита передавал Ленину записки с именами арестованных, после чего отдавалось распоряжение их освободить. Ленин достал и паспорт, позволивший ему и его семье эмигрировать.

Залманов не верит, что русских можно победить; он говорит, что из войны они выйдут обновленными и очищенными. Нападение на Россию удалось бы в том случае, если бы оно поддерживалось более высокой моралью. В будущем, по истечении какого-то срока, он предвидит союз между Россией и Германией.

Париж, 31 марта 1943

Во время обеденного перерыва в Музее человека, чья двойная сущность — рациональная духовность и чародейство — не перестает меня восхищать. Я рассматриваю эту особенность, как резко отчеканенную медаль, целиком состоящую из потемневшего от древности радиоактивного металла. Соответственно и дух подвергается двойному воздействию — как системно упорядоченному разуму, так и незримому излучению накопленной им магической субстанции.

Вечером с Баумгартом за шахматами в «Рафаэле». Потом беседа с ним и с Венигером, который в 1915 году вместе со мной служил в Монши артиллеристом. Он объезжает войска с донесениями, после чего в ночных разговорах зондирует офицерский корпус и считает, что нынче среди влиятельных генералов начинается движение, напоминающее вопрос из Евангелия от Матфея: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»

Париж, 1 апреля 1943

Обед у Флоранс, где я встретил Жироду{130} и мадам Буске.

Она подарила мне письмо Торнтона Уайлдера для моей коллекции рукописей.

Письма. Странно, что самым близким женщинам я пишу небрежно и мало внимания уделяю стилю. Возможно, это связано с ощущением, что письма здесь излишни. Пребываешь внутри самой материи.

Но Фридриху Георгу или Карлу Шмитту и еще двум-трем лицам я пишу всегда старательно. Такое старание напоминает усилие шахматиста, сообразующегося с партнером.

Париж, 3 апреля 1943

После полудня на улице Лористон, за чашкой турецкого кофе у Банин, магометанки с Южного Кавказа, чей роман «Нами» я недавно прочитал. Там были места, напомнившие мне Лоуренса, {131} — та же бесцеремонность по отношению к телу и насилию над ним. Удивительно, насколько человек может дистанцироваться от своего тела, от мускулов, нервов, связок, словно от инструмента с клавишами и струнами, прислушиваясь, как посторонний, к его мелодии, протянутой сквозь судьбу. Этот дар всегда включает в себя опасность особой ранимости.

Париж, 3 апреля 1943

После полудня у Залманова, который принимает в маленькой, набитой книгами комнатке. Пока он задавал мне вопросы, я изучал названия — они внушали доверие. Основательно обследовав, он обнаружил у меня маленькую спайку, оставшуюся после ранения легкого. Диагноз и предписания просты; он считает, что через три месяца я буду собой доволен. Speramus.[121]

Пожалуй, он отличается от моего доброго Цельсуса тем, что применяет, хоть и в малых дозах, лекарства. Но даже и в лучших врачах всегда есть что-то от шарлатана; можно нарисовать схему их обращения с пациентами. Этакий пророк: задает вопрос, повышающий, независимо от утвердительного или отрицательного ответа, его престиж. Первый случай сопровождается глубокомысленным раздумьем, второй — ссылкой на прозорливость: «Я так и думал».

Я слегка разочарован; виной тому — обостренная наблюдательность, за которую я расплачиваюсь так, как другие расплачиваются за чересчур тонкий орган обоняния. Слишком четко вижу я мельчайшие черточки, свойственные людям. В период недомогания и болезни это усиливается еще больше. Случалось, что приближающихся к моей постели врачей я видел так ясно, словно просвечивал их рентгеновскими лучами.

Хороший стилист. Он, собственно, хотел написать: «Я поступил справедливо», но вместо этого написал «несправедливо», потому что так оно лучше встроилось во фразу.

Париж, 4 апреля 1943

Воскресенье. Как только, отобедав в «Рафаэле», я переоделся, завыла сирена и в ответ сразу же загрохотала артиллерия. С крыши я видел высокую стену дыма на горизонте, хотя сами бомбардировщики к этому времени уже удалились. Кажется, что такие налеты длятся не более минуты.

Затем, поскольку метро не работало, пешая прогулка к Жоржу Пупе на рю Гарансьер. Стоял удивительно мягкий и наполненный синевой весенний день. В то время как в пригородах сотни людей утопали в крови, толпа парижан прогуливалась под зелеными каштанами на Елисейских полях. Я долго стоял перед группой магнолий, самой великолепной из всех, какие я когда-либо видел. Одна цвела ослепительно белым цветом, другая — нежно-розовым, третья — пурпурно-красным. Воздух по-весеннему трепетал, такое волшебство можно ощутить только раз в году как веяние космической энергии любви.

У Пупе я встретил супругов Мегрэ. Разговоры о войне и мире, об анархистах 1890 года, ибо в то время я как раз изучал процесс против Равашоля. Мегрэ рассказал, что однажды Бакунин, проезжая мимо дома, который сносили, выпрыгнул из кареты, снял сюртук и схватил мотыгу, дабы посодействовать. Это — гротескные предвестники мира уничтожения, на глазах у изумленных бюргеров устраивающие кровавый кордебалет.

Ненадолго в Сен-Сюльпис. Полюбовался фресками Делакруа с их потускневшими красками и изящным орга́ном Марии Антуанетты, клавиш которого касались Глюк и Моцарт.

Посредине церкви две старушки пели латинский текст; старик, подпевавший им, сопровождал их на фисгармонии. Прекрасные голоса, исходящие из изношенных тел, из иссохших глоток, где видна была игра хрящей и связок, из обведенных морщинами ртов, говорили о вечности мелодий, доступных и ветхим инструментам. Под этими сводами, точно так же как в церкви Святого Михаила в Мюнхене, царят рациональная теология и космическая духовная энергия. Как часто случается со мной в подобных местах, и здесь меня посетили мысли о плане творения, о духовной структуре мира. Кто провидит ту роль, какую подобная церковь играет в истории человечества?

Несмотря на то что времени у меня было в обрез, я все же поднялся по узкой винтовой лестнице, описанной Гюисмансом в «Là-Bas»,[122] на самую высокую из двух колоколен, с которой вид

на город открывается наиболее полно. Солнце только что зашло, и среди серебристо-серых стен великолепно светилась свежая зелень Люксембургского сада.

Способность на такое созидание всегда будет свидетельствовать в пользу человека, даже если его занятия и пристрастия весьма низменного сорта, В этом смысле искусно сотворенные и сверкающие жилища, производящие из своей слизи моллюсков и еще долго блистающие на морском берегу, диву даются, что населявшие их тела истлели. Они творят по ту сторону смерти и жизни, для некоей третьей силы.

Париж, 5 апреля 1943

К нынешнему полдню насчитывалось более двухсот погибших, Несколько бомб попали на ипподром Лонгшана, где была масса народу. Навстречу гуляющим, выходившим из шахт метро, ринулась толпа задыхающихся раненых, одни — в разодранных платьях, другие — держась за руку или за голову; мать с окровавленным ребенком на руках. Многие, чьи трупы теперь вылавливались, снарядом, угодившим в мост, были сметены в Сену.

Одновременно по другую сторону рощи фланировала веселая толпа нарядно одетых людей, которые наслаждались цветущими деревьями и ласковым весенним воздухом. Таково нынешнее время с его ликом Януса.

Париж, 10 апреля 1943

Во время воздушной тревоги на площади Терн. Пока мы беседовали возле маленького цветника на круглой площадке, мимо нас пробегали люди, устремившиеся в бомбоубежища. Риторические конфигурации; самые смелые дополнялись огненными снопами падающих бомб. Сквозь вымершие улицы — к Этуаль, пока по ту сторону леса поднимались цепи белых, красных и зеленых взрывов, рассыпавшихся в вышине, как искры от наковальни. Это был символ жизненного пути, путь Волшебной флейты.

Париж, 11 апреля 1943

Человеческие встречи и разлуки. Когда назревает разлука, в иные дни изнурительная связь снова становится тесной, кристаллизуется, — в эти дни она является в своей самой чистой, необходимой форме. Но именно такие дни и приближают неизбежный конец. Так, после целого ряда солнечных дней наступает неопределенная погода, и если случится какое-нибудь особенно ясное утро, когда все горы и долы еще раз явятся в

своем полном блеске, оно возвещает о перемене погоды.

Я размышлял об этом, стоя утром в ванной, и, как и в тот раз, перед поездкой в Россию, опрокинул стакан — и он разбился.

Хорошая проза — как вино, она все время живет, все время развивается. В ней есть фразы, еще неистинные, но тайная жизнь доводит их до истины.

Свежая проза тоже еще сыровата, но с течением времени она покрывается патиной. Я часто замечаю это по старым письмам.

За обедом разговор с Хаттингеном о часах, в частности о песочных. В струении песочных часов вьет свою нить еще немеханизированное время, время судьбы. Это то время, которое мы ощущаем в шуме лесов, в потрескивании пламени, в накате морской волны, в кружении снежинок.

Потом, хотя было и пасмурно, ненадолго в Буа, рядом с Порт-Дофин. Я видел там играющих мальчишек в возрасте от семи до девяти лет; их лица и жестикуляция показались мне необыкновенно выразительными. Индивидуация просыпается здесь раньше и выявляется резче. Но, по моим наблюдениям, чаще всего их весна к шестнадцати годам уже угасает. Так, француз преждевременно переступает границу, за которой изнашивает себя, в то время как немец зачастую вообще до нее не доходит. Смешение по этой причине благотворно; два недостатка в сумме дают преимущество.

Я сел отдохнуть под вязом, окруженным пышно разросшейся бледно-сиреневой крапивой. Вокруг цветков вился шмель; пока он, жужжа, висел над чашечками, видны были коричневый бархат его корсета, слегка искривленная спинка, приподнятый хоботок, подобно черному роговому зонду что-то целенаправленно ищущий. На лбу выделялось желто-золотое пятнышко цветочной пыльцы — знак, возникший от бесчисленных прикосновений. Замечателен был самый миг погружения; ныряя в цветок, это существо обхватывало его обеими передними лапками и, как чехол, натягивало на хоботок, почти так же, как это проделывает шут на масленицу, примеряя себе искусственный нос.

Чай у Валентинера; там я встретил Геллера, Эшмана, Ранцау и докторессу; говорили о Вашингтоне Ирвинге,{132} Эккермане и князе Шварценберге, по инициативе которого в Вене был собран огромный, еще не обработанный материал о европейских тайных обществах.

Париж, 12 апреля 1943

Чтение: «Carthage Punique»[123] Лепейра и Пеллегрена. Завоевание этого города богато штрихами, подобающими великому событию. После того как римляне проникли внутрь

стен, на крыше самого высокого из храмов оборонялись те, кто решил драться до конца, — и среди них прежде всего Гасдрубал с семьей и другие знатные карфагеняне, а также девятьсот римских перебежчиков, не рассчитывавших на милость.

В ночь перед решающей схваткой Гасдрубал оставляет своих и, с оливковой ветвью в руке, отправляется на поиски Сципиона. Наутро Сципион приводит его к храму и выставляет на обозрение защитникам, дабы их обескуражить. Они же, извергнув на изменника бесконечные проклятия, поджигают здание и бросаются в огонь.

Во время поджога жена Гасдрубала в одном из внутренних покоев храма надевает на себя лучшие одежды; затем, взяв детей, в полном блеске подходит к ограде и сначала обращается к Сципиону. Она желает ему на всю оставшуюся жизнь счастья, — она на него не гневается, ибо он действовал согласно законам войны. Затем от имени города, а также от себя и своих детей она проклинает супруга и богов, навечно от них отрекаясь. После чего душит детей и швыряет их в огонь, а потом и сама низвергается в пламя.

В таких обстоятельствах люди приобретают зловещую меру; индивидуальные сосуды до краев наполняются символическим содержанием. В лице этой женщины в момент гибели сам Карфаген выступает на пылающую сцену, к приготовленному для последней жертвы алтарю. Она благословляет и проклинает с ужасающей, нахлынувшей на нее сакральной силой. Место, обстоятельства, человек — во всеоружии, и случайность отпадает. Древняя жертва Ваалу, сжигание детей, повторяется здесь в последний раз. Жертва свершается, дабы выстоял город; ее приносят затем, дабы город жил в веках. Пусть тогда вместе с плодами сгорает и корень; мать приносит в жертву самое себя.

Париж, 13 апреля 1943

«Carthage Punique». В те времена отношения между государствами были пластичнее, сила договора — прочнее. При знаменитом договоре между Ганнибалом и Филиппом Македонским присутствовали и боги обоих партнеров, в частности боги войны, представленные верховными жрецами.

После разрушения города место его проклиналось. В знак проклятия его посыпали солью. Соль, таким образом, служит здесь символом неплодородности. Обычно она считается символом духа; как во всяком символе, мы и в данном случае находим отрицательный и положительный полюс. Особенно это относится к цвету: желтый означает патрициев и плебеев, красный — господство и непокорность, синий — чудодейственное

и ничтожное. Наверняка это разделение сопровождается различиями по чистоте, как замечает Гёте в своем учении о цвете, говоря о желтых тонах. Так, например, соль проклятия можно представить грубой и неочищенной, в противоположность соли аттической, которой за трапезой духа солят кушанья и тем самым надолго их сохраняют.

Кубин снова прислал мне из Цвикледта одно из своих иероглифических писаний, которое я хочу, когда будет побольше времени, расшифровать путем медитации. Грюнингер извещает о копиях последних писем оберлейтенанта Кроме из Сталинграда. По-видимому, на этих Потерянных постах происходит сильное обращение в христианство.

Париж, 14 апреля 1943

Визит художника Холи. Он передал мне привет от Жены Келлариса и сказал, что, несмотря на длительное заключение и тяжелую болезнь, тот не падает духом. Это вселяет надежду, что он еще увидит свет. Разговор напомнил мне тот страшный день, когда я приехал в Берлин и позвонил его защитнице, столь же мало надеясь найти понимание, как испить глоток воды в пустыне. Пока я стоял в телефонной будке, мне казалось, что Потсдамская площадь раскалена.

Вечером в «Комеди Франсэз» на премьере «Renaud et Armide»[124] Кокто. Убедился, что хорошо запомнил оба сильных места этой пьесы, привлекшие мое внимание во время ее чтения на рю Верней: волшебное пение Армиды и молитву Оливье. На примере такого таланта, как Кокто, видишь, как время набрасывает на него свои мучительные петли; в противоборстве с ними самоутверждается сущность. Магическое дарование растет и исчезает соответственно тем слоям, по которым оно движется. В самых непрочных оно становится пляской на канате, буффонадой.

Среди публики знакомые лица, видел также Шармиль.

Париж, 15 апреля 1943

До полудня разговор с Радемахером о военном положении. Он надеется на Келлариса и Тауроггена. Вечером у Залманова.

— Если бы немецкая интеллигенция так же хорошо знала русскую, как русская немецкую, войны бы не было.

Потом о массовых захоронениях в Катыни, где найдены тысячи польских офицеров, попавших в русский плен. Залманов считает, что все это делается ради пропаганды.

— Но как туда попали трупы?

— Видите ли, у трупов нынче билетов не спрашивают.

Разговор об Аксакове, Бердяеве и русском писателе по

фамилии Розанов. Залманов достал мне его книгу.

Обратный путь через Буа; полумесяц освещал свежую траву. Несмотря на близость большого города — полная тишина. Это производило отчасти приятное, отчасти пугающее впечатление, как, например, вид сцены перед спектаклем, полным ужасов.

Париж, 16 апреля 1943

На рассвете многозначительный сон о Кньеболо, перевитый событиями в доме моего детства. В связи с чем его ждали, не помню. Шли разные приготовления, а я, чтобы с ним не встречаться, скрывался в дальних комнатах. Когда я вышел, его уже не было; обсуждали подробности визита и среди прочих ту, что отец его обнимал. Проснувшись, это обстоятельство я отметил особо, вспомнив об одном зловещем видении, о коем рассказывал Бенно Циглер.

В разговорах о жестокостях нынешнего времени часто возникает вопрос: откуда берутся все эти сатанинские силы, эти живодеры и убийцы, которых никто никогда не видел и даже представить себе не мог. Но, как показывает действительность, где-то они скрывались. Новшество заключается в их зримости, в том, что их выпустили на волю, а это позволяет им причинять вред людям. В таком попустительстве — наша общая вина: лишая себя связей, мы одновременно освобождаем от связей и то, что лежит под спудом. Нечего тогда и жаловаться, что зло поражает нас индивидуально.

Париж, 17 апреля 1943

После полудня в парке Багатель. Жара, царящая в эти дни, сгущает все цветущее в симфонию — несметное число тюльпанов пылало на газонах и на островках небольшого озера. В некоторых соцветиях — как, например, фиалково-синих и шелковисто-серых или же в легких, как перья, и в то же время тяжелых своей красотой гроздьях глициний, свисающих по стене, — флора, казалось, переливается через край, продолжаясь в садах из волшебных сказок.

Я всегда воспринимаю это как обольщение, как обещание вечных блаженств, как луч света, искрящийся из сокровищниц, чья дверь на миг приоткрылась. Мгновенное увядает, и все же это цветущее чудо хранит символы жизни, не увядающей никогда. Оттуда приходит восторг, пробуждающий ее цвет и запах; разноцветными искрами сыплются они в сердце.

Я снова увидел своего старого приятеля, золотого язя; его спинка вспыхивала в зеленой воде гротов, Он тихо здесь обитал, пока я странствовал по России.

Об извращениях: не является ли их источником взаимная неприязнь отца и матери? Тогда в странах и социальных слоях, где царит брак по расчету, они должны встречаться чаще. Точно так же они должны преобладать у рас с холодной кровью, а не наоборот, как принято думать. Через брак наследуется ненависть, отвращение к другому полу. Он — основа всего, остальное присовокупляется; природа предпочитает плоды любовных зачатий. Возможно, однако, что индивидуальное возмещается духовным, — гениальные натуры представляют собой зачастую поздние плоды, например Бодлер; вспомним также смешной способ, которым папаша Шенди{133} заводит часы.

Эти обстоятельства мало изучены и ускользают от научного взора. Следовало бы проникнуть в тайную историю целых семейств, целых родов.

На данное утверждение можно возразить, что есть крестьянские местности, где браки по расчету существуют с незапамятных времен. Однако индивидуация там тоже менее развита; каждый здоровый человек равен другому. Кроме того, вырождение в некоторых селах достигает уровня больших городов, но не так выявлено. Возможно, и проявляется оно иначе; содомия в сельской местности встречается чаще, чем в городе.

Впрочем, то, что мы рассматриваем как отклонение от нормы, может быть связано с более глубоким миросозерцанием, и именно потому, что взгляды меньше зависимы от условности, от брачных уз. Это бросается в глаза у гомосексуалистов, критерием для которых является духовное. Человеку духовному они всегда готовы услужить, хотя их обхождение и вызывает улыбку.

Дело Дрейфуса{134} — часть тайной истории, т. е. такой истории, которая обычно не видна. Как правило, она расположена в лабиринтах, скрытых за политическими зданиями. При чтении возникает чувство, что занимаешься чем-то запретным. Прикасаешься, как в случае с мумией Тутанхамона, к сильно сгущенным субстанциям, поэтому та непринужденность, с какой молодые историки, например Франк, обращаются с подобным материалом, настораживает.

Выбор профессии. Я бы хотел быть звездным пилотом.

О самовоспитании. Даже если рожден хворым, можешь достигнуть значительной степени здоровья. Точно так же и в науке; можешь путем образования освободиться от влияния плохих учителей и тех предрассудков, которые господствовали в твое время. Гораздо труднее дается даже самый скромный прогресс в морали, если ситуация полностью продажна. Здесь недалеко и до дна.

Когда неверующий, например в атеистическом государстве,

требует у верующих присяги, это похоже на действия шулера-банкомета, ждущего, что игроки выложат на его сукно чистое золото.

В атеистической государственной системе есть только один сорт присяги, которая является достоверной, — лжесвидетельство. Все остальное — святотатство. А вот если имеешь дело с турком, то ему можно и клясться, и обмениваться с ним присягами; это сделка без обмана.

Вечером Книгой пророка Малахии закончил читать Ветхий Завет, начатый 3 сентября 1941 года в Париже. Завтра начну апокрифы.

Начал также «Esseulement»[125] Розанова. Тотчас же понял, что Залманов навел меня на мыслителя, который если и не возбуждает новых споров, то приводит к разрешению старых.

Париж, 18 апреля 1943

Чай у Мари-Луизы Буске, на площади Бурбонского дворца, выделяющегося римской строгостью своей архитектуры. Эти старые и обставленные наследными вещами квартиры в течение десятилетий и столетий приспособились к человеку и его обитанию, как платье, после долгого ношения прилегающее к телу каждой своей складкой. Они становятся теплицами в смысле высшей зоологии. Там я встретил также Геллера, Пупе, Жироду и мадам Оливье де Прево, правнучку Листа. Мадам Буске — в обращении с которой я обычно проявляю некоторую осторожность, как химик в обращении с веществами при неопределенной реакции, — показала мне библиотеку, маленькую, квадратную и всю обшитую деревом. Я рассматривал рукописи, посвящения и изящные переплеты. Частично они были сделаны из тисненой кожи, прикосновение к которой удваивает наслаждение жизнью, и выдержаны в тонах, угадываемых сквозь золотую лакировку, — от мягкого сиреневого, сгущающегося в черный, до его более светлых оттенков, и от темного злато-коричневого до образцов, высвечивающихся золотыми блестками и огнями.

Вечером назад, через Елисейские поля. Был великолепный солнечный день. Собой я тоже был доволен, что и записываю, ибо такое могу о себе сказать редко.

Закончил: Розанов, «Esseulement», не частый в наше время случай, когда удалось сохранить и авторство, и собственное оригинальное мышление. При таких знакомствах у меня всегда появляется ощущение, будто заполняется одно из бесцветных мест в своде, покрывающем наше пространство. Примечательно у Розанова его родство с В. З.; так, он употребляет слово «семя» в

точном ветхозаветном смысле. Слово это, относящееся к человеку как символ его сущности, было для меня с давних пор неприятным, я испытывал к нему отвращение, подобное тому, какое Геббель испытывал к слову «ребро», вычитанному им из домашней Библии. Вероятно, здесь действуют древние представления о табу. Сперматический характер В. З. вообще, по сравнению с пневматическим характером Евангелий.

Розанов умер после 1918 года в монастыре; говорят, от голода. О революции он заметил, что та провалится, ибо не оставляет места для мечты. По той же причине рухнет и все ее здание. Привлекает в нем и то, что его летучие записи, подобия плазматического движения духа, случались у него в моменты досуга, — когда он разбирал свою коллекцию монет или же загорал после купания.

Париж, 19 апреля 1943

Нойхаусу, большому любителю цветов, пришла в голову разумная мысль — оставить на часок контору и отправиться со мной в Ботанический сад Отёй, где цвели азалии. Большая холодная оранжерея была разодета в тысячи цветущих кустов, так что походила на зал с пестротканым ковром и пестрыми стенами. Большего разнообразия, большей живости нежных красок, казалось, невозможно было достигнуть. И все же я не отношу себя к любителям азалий, чья окраска лишена для меня метафизичности; они демонстрируют тона только одного измерения, хотя именно в этом и кроется причина их успеха; они радуют глаз чистотой, но в выжатой из них тинктуре не хватает капли arcanum arcanorum supracoeleste.[126] По этой же причине нет у них и запаха.

Мы подошли также к глоксиниям и кальцеоляриям. Кальцеолярии образуют одну из эластичных форм жизни, где разнообразие имеет наибольшую сферу действия, — среди миллионов единичных экземпляров не найдется двух совершенно одинаковых цветков. Самые красивые — темно-пурпурные и тигровожелтые; чтобы насладиться глубиной этих полных жизни чашечек, нужно уметь превращаться в шмеля. Это соображение, которое я высказал Нойхаусу, весьма развеселило сопровождавшего нас шофера, и я догадался почему. Из орхидей цвели только немногие, тем не менее мы прошли и мимо этих культур, ибо ими занимается Нойхаус. Раскрашенная зелеными и сиреневыми полосами адамова голова обратила на себя внимание темными пупырышками, украшавшими ее верхнюю губу; с каждой стороны игриво торчали три или четыре колючих волоска. Это напомнило мне улыбку одной умершей приятельницы, ее темную

родинку.

Для таких садов важно, чтобы садовники оставались невидимыми; разрешается смотреть только на их произведение. Следы, которые оставляешь на песке, должна бы тотчас стирать рука невидимых духов. Только так полностью насладишься растениями и их языком, сущность которого можно запечатлеть в девизе: «Praesens sed invisibilis».[127]

Прообразом всех садов является сад волшебный, прообразом всех волшебных садов — рай. У профессии садовода, как и у всякой простой профессии, — культовая подоплека.

В Библии закончил Книгу Юдифь, вещь в манере Геродота. Описание Олоферна вводит в один из роскошных покоев Вавилонской башни; в балдахин его постели вотканы драгоценные камни. Накануне той ночи, которую Юдифь проводит в его шатре, Олоферн обменивается с ней восточными любезностями. Край чаши обсыпан сахаром, на дне ее покоится смертельный яд.

Юдифь была избавлена от того, чтобы отдаться Олоферну, но она была к этому готова. В этой книге властвует красота, она сильнее целых армий. И вот — победный гимн над головой Олоферна; в своей высшей зоологии, в главе о танцах победителей, следующей за «роением», я хочу описать лежащую в его основе прафигуру.

«Юдифь и Шарлотта Корде, сравнительное описание», «Юдифь и Орлеанская дева как национальные героини». Две темы для школьников и школьниц старших классов, но прежде им нужно вкусить от древа познания.

Париж, 20 апреля 1943

Днем мавританский часок у Банин, Она имеет обыкновение пить кофе в постели, которую покидает так же неохотно, как рак-отшельник оставляет свою раковину. Окна ее студии выходят в сторону высокого бассейна, на улицу Коперника. Перед ними, пока еще без листьев, цветет большая павловния. Высокие матово-лиловые чашечки, в чьи амурные углубления погружаются пчелы, резко, но и легко, выделяются на фоне бледной голубизны весеннего неба.

Разговор о южном типе, и в частности о лигурийцах и гасконцах. Затем о законе и мистике в религии. В мечетях явно присутствует закон. Думаю, что это относится и к синагогам. Под конец — о словесном выражении страха в различных языках и связанных с этим нюансах.

Вечером у Радемахера, который теперь время от времени наезжает в Париж и живет на улице Франсуа I. Там, всего на

несколько минут, я встретился с Альфредом Тёпфером, вернувшимся из Испании и собравшимся ехать в Ганновер. Я попросил его присмотреть для меня в районе Танцена, в пустоши, небольшой домик. Разговоры о политике, затем воспоминания о Келларисе и о времени первых националистов. Особенно запомнилось тайное сборище в Айххофе в 1929 году. История тех лет с их мыслителями, деятелями, мучениками и статистами еще не написана; мы обитали тогда в чреве Левиафана. Преуспевала Мюнхенская школа, самая пошлая из всех; ей это давалось даром. В моих письмах и бумагах того времени выступает множество лиц, среди которых выделяются Никиш, Хильшер, Эрнст Саломон, {135} Крайц и Альбрехт Эрих Гюнтер, недавно почивший. Единомышленники убиты, эмигрировали, разочаровались или же занимают высокие посты в армии, в абвере, в партии. И все же те, кто еще остался жив, охотно говорят о тогдашних временах, когда все были одержимы идеей. Таким я представляю себе Робеспьера в Аррасе.

Продвигаясь в чтении Библии, начал «Премудрость» Соломона. Смерть имеет совершенно разное значение, в зависимости от того, кого она поражает, — глупца или мудрого. Одному она несет уничтожение, другого же очищает, испытывая в горниле, как золото. Такая смерть — только кажущаяся: «Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия».

При этих словах я вспомнил прекрасное изречение Леона Блуа, согласно которому умереть намного легче, чем мы думаем, — может быть, так же легко, как стереть пыль со стола или дивана.

Париж, 21 апреля 1943

Днем меня навестил старожил Нижней Саксонии, полковник Шаер. Обсуждали ситуацию. Оливковой ветви пока нет. Из всего, о чем он рассказывал, особенно жутким было описание расстрела евреев. Он слышал о нем от одного полковника, кажется Типпельскирха, которого для изучения происходящего послало туда его войсковое соединение.

При таких свидетельствах меня охватывает ужас, горло сжимается от предчувствия чудовищной опасности. Я говорю об этом в общем смысле и нисколько бы не удивился, если бы земной шар — от падения ли кометы или от взрыва — разлетелся на куски. В действительности меня не оставляет ощущение, что эти люди собираются просверлить Землю и что не случайно в качестве главной жертвы они выбрали евреев. Верховные палачи обладают даром зловещей прозорливости, которая зиждется не на

интеллекте, а на демонических инстинктах. На каждом перекрестке они определяют направление, ведущее к великому разрушению.

Впрочем, расстрелов больше не будет, ибо их сменили газовые камеры.

Днем у Грюэля. По дороге я снова сорвал свежий лист со смоковницы у храма Вознесения, чьей зеленью любуюсь уже третий год. Это — одно из моих самых любимых деревьев в городе; другое — старая стриженая акация в саду дворца Почетного легиона. Третье — пожалуй, павловния в саду у Банин.

Париж, 22 апреля 1943

Завтрак у Моранов, там графиня Пальфи, Селин, Бенуа-Мешен. Беседа склонялась к анекдотическим несчастным случаям; так, Бенуа-Мешен рассказал, что как-то в гололед его машину занесло, и он вдавил в дерево женщину, шедшую с супругом по улице. Он посадил супружескую пару к себе в машину, чтобы доставить в больницу, и заметил, что муж вздыхает и стонет куда больше своей жены.

— Надеюсь, Вы не пострадали?

— Нет, но перелом бедра — — это же по меньшей мере три месяца клиники — какая неудача! Кто же все это время будет готовить для меня диэту?

Осмотр показал, что, к счастью, это был просто ушиб, но заживление потребует восьми недель. По истечении этого срока министр нанес женщине визит, чтобы справиться о здоровье, и застал ее в трауре. Муж тем временем скончался от несварения желудка. Министр уже было собрался выразить ей соболезнование, но она прервала его:

— Ах, оставьте. Вы не представляете себе, какую услугу мне оказали.

Далее о женах военнопленных. Подобно тому как Троянская война есть мифологическая модель исторических войн вообще, так и трагедия возвращенца и образ Клитемнестры будут повторяться всегда. Жена, услышав, что ее муж освобожден из плена, отправляет ему вслед за этой вестью посылку — дар любви. Между тем муж возвращается раньше, чем она ожидала, и застает не только ее, но ее любовника и двоих детей. В Германии, в лагере для военнопленных, товарищи делят между собой содержимое посылки, — четверо из них умирают, отведав масла, в которое был подмешан мышьяк.

К этому Селин добавил кое-что и из своей практики, отличающейся нагромождением ужасных случаев. Между прочим, он — бретонец, это объясняет мое первое о нем впечатление, по

которому я причислил его к каменному веку. Он вот-вот собирается посетить меловые захоронения в Катыни, служащие предметом нынешней пропаганды. Очевидно, что такие места его притягивают.

На обратном пути моим спутником был Бенуа-Мешен, снедаемый неким демоническим беспокойством. Мы вели с ним беседу, неизменную от сотворения мира: в каком аспекте усиление власти сопряжено с высшим удовольствием — в аспекте ли политической практики или же в скрытом, духовном.

Вечером читал статью Кокто о смерти Марселя Пруста, ее принесла мне Мари-Луиза Буске. Вычитал в ней фразу о великом безмолвии, в которое спускаются мертвые: «Il y régnait ce silence qui est au silence ce que les ténèbres sont à l'encre».[128]

Вспомнил при этом леденящее душу описание мертвеца в нью-йоркском метро у Томаса Вулфа.{136}

Париж, 23 апреля 1943

Страстная пятница, Утром заходил Эшман — от Валери. Разговор о снах; беседа шла о вещах, касаться которых я бы не стал. И все же в ней были прозрения, словно я рассматривал себя в чистом зеркале. Самые чистые зеркала, собственно, мутны — в них есть сновидческое измерение. В него можно войти. Вместе с аурой.

После полудня отправился на набережную Вольтера по рю Фобур-Сент-Оноре. Здесь я обычно теряю ощущение времени; на этом пути властвуют песочные часы. Вошел в Сен-Филипп-дю-Руль. Белые, с красными пятнышками цветы каштанов опали и окружностями расположились на плитах двора, ограняя камни, словно оправа из слоновой кости и других драгоценных материалов. Это придавало входу в церковь торжественный вид. Вошел сначала в часовню, посреди которой лежало распятие, потом — в саму церковь, где толпились женщины; там выслушал прекрасную проповедь о страстях Христовых. Великие символы ежедневно осмысляются заново, например то, что разбойника Варавву люди предпочитают Князю света.

У Валентинера; там оба брата Эшманы и Мари-Луиза. Разговор о «Nouvelles Chronique Maritales» Жуандо, о шахматах, о насекомых, о Валери. Затем у докторессы в обществе Шлюмберже. Мы не виделись с 1938 года.

Париж, 24 апреля 1943

Утром беседа с полковником Шаером. Спросил его еще раз, верно ли я запомнил, что Пиппельскирх был очевидцем бойни, о деталях которой он мне рассказывал. Он подтвердил это.

Подобное кажется мне подчас сновидческим кошмаром, дьявольским наваждением. Однако необходимо смотреть на факты глазами врача, а не отворачиваться от них. Мещанин от таких впечатлений прячется в футляр.

Размышлял о колоннах, что вчера рассматривал в Сен-Руле. Они хоть и кажутся такими мощными, на самом же деле — мертвые точки, пустота в пространстве. Так и мы — трупы в жизненном потоке. Оживем, когда нас настигнет смерть.

Вечером чтение «Титанов», присланных мне сегодня Фридрихом Георгом, потом — глубокий сон, как после сильнодействующего лекарства.

Париж, 25 апреля 1943

После полудня в Буа. Прогулка от Порт-Дофин до Отёя. На кустарниках — разнообразные баланы; это существо напомнило мне один мой сон в Ворошиловске. Затем петляние по незнакомым улицам, пока не оказался перед большим зданием на набережной Блерио, где мы однажды на седьмом этаже праздновали день рождения маленькой модистки. Дальше по бульвару Эксельмана. Метро там проходит над землей; в его мощных сводах есть что-то античное, древнеримское, окончательное, что отличается от нашей архитектуры. В городах, построенных по такому образцу, жить приятней. Снова повсюду павловния, царское древо. Она дополняет городской пейзаж, поскольку мягкий серый цвет строений удачно задымляется ее фиолетовой вуалью. Стволам присуща могучая архитектоника; они похожи на праздничные канделябры, в которых колышется легкое нежное пламя. Что для Рио Flamboyant,[129] то для Парижа павловния; это сравнение можно отнести и к женщинам.

У Валентинера; там был скульптор Гебхардт; его мать, после исчезновения тетушки, — в тяжелейшем состоянии. На лестнице я встретил княгиню Барятинскую вместе с графом Меттернихом, предоставившим Гебхардту убежище под крылом главнокомандующего, она о Гебхардте заботится. Назад — через Тюильри; там опять павловния, а также кусты красной крушины и иудино дерево, чьи цветки походили на гроздья кораллов. Беззубая, но сильно нарумяненная старуха вынесла в кусты два стула и манила меня к себе, жеманно улыбаясь. Были сумерки, и само это видение было сумеречным.

В «Рафаэле» продолжил «Титанов»; продвигаюсь по главам, как по древней мастерской мироздания. Прибытие богов я представляю себе как приземление планет, залитых светом радости. Читал и видел перед собой Фридриха Георга во время наших экскурсий, а также его тонкую улыбку, когда он

наклонялся, рассматривая цветы и картины.

Париж, 27 апреля 1943

Днем у Моранов, где встретил также Абеля Боннара.{137} Я попросил показать мне статую мексиканской богини смерти, о которой мне рассказывал Эшман и которую мадам Моран хранит в полутьме своего салона за перегородкой; грубый, наводящий ужас идол из серого камня, перед чьим изображением проливалась кровь бесчисленных жертв. Выразительность и естественность подобных изваяний не может передать ни одна фотография.

Разговор о ситуации, потом о Жиде, которого Боннар окрестил «le vieux Voltaire de la pederastie».[130] Суета, возникавшая вокруг Жида, Барреса,{138} Морраса,{139} Георге,{140} иссякнет сама собой; ей присуще нечто бесплодное, как шуму полей с пустыми колосьями под лучами искусственного созвездия. С заходом солнца все исчезает, не оставляя следа. Все — чистейшая эмоция.

О Леоне Блуа, упрекнувшего Боннара, что тот поверил в специально для него сотворенное чудо, — черта, которая мне, напротив того, нравится. О Галифе и Рошфоре;{141} Рошфора Боннар знал лично, тот показался ему похожим на маленького фотографа.

Потом о русских, которых сегодня переоценивают так же, как два года назад недооценивали. В действительности они еще сильнее, чем о них думают; возможно, однако, что их сила не так уж и страшна. Впрочем, это относится ко всякой настоящей, творческой силе.

Беседа имела для меня и общий интерес, так как Абель Боннар — прекрасный образчик позитивистской духовности, доведенной им до совершенства. По этой же причине бросается в глаза чуть-чуть приглушенный солярный характер его лица, некое подобие детско-старческой угрюмости. Чувствуется, что у этого мышления есть еще узловые точки. Правда, разговоры с такими людьми, в том числе и с моим отцом, уподобляются стоянию в прихожих. Но они дают нам гораздо больше, чем беседы с нашими созерцателями и мистиками.

Париж, 28 апреля 1943

Письмо о «Титанах» Фридриху Георгу. Также о сновидениях, где нам является отец. Брат однажды написал мне, что видел его со мной в саду; особенно примечательным ему показалось, что на отце был новый костюм.

Вечером в «Рафаэле» с лейпцигским издателем Фолькмаром-

Френцелем, Лео и берлинским юристом-международником Греве, от которого я узнал подробности о мучительной смерти А. Э. Гюнтера.

Продолжаю «Премудрость» Соломона. Седьмую главу в ней можно рассматривать как аналогию Песни Песней, но на более значительной ступени, — чувственная страсть Песни преображается здесь в духовную. Бывает духовное сладострастие, недостижимое для тех, кто проводит свои дни только в прихожей настоящей жизни и не ведает о ее блаженствах. «И в дружестве с нею — благое наслаждение» (8, 18).

Премудрость восхваляется здесь как высший, не зависимый от людей разум, как Дух Святый, полонящий своей присносущностью мировое пространство. Даже самые смелые пути человеческого духа ни на шаг не приближают к Нему. Только если человек очищается, если он превращает свое сердце в алтарь, тогда и Премудрость незаметно входит в него. Всякий, таким образом, может стать причастником высшей Премудрости. Она — космическая власть; интеллект, напротив того, — власть земная, может быть, просто зоологическая. Наши атомы умнее, чем наш мозг. Примечательно, что в Притчах Соломона Писание выступает в своей крайне скептической форме, в то время как книгу Премудрости, проникнутую Божественным Промыслом, причисляют к апокрифам.

Париж, 30 апреля 1943

Среди почты письмо от Элен Моран о «Рабочем». Она называет искусством жизни искусство заставлять работать других, а самому в это время предаваться наслаждениям.

«Знаменитая фраза Талейрана „— — n'a pas connu la douceur de vivre“[131] относилась только к узкому кругу элиты, которая вовсе не была привлекательной. В салонах мадам Деффан или мадам Жоффрен{142} мы бы все умерли с тоски. У этих людей не было ни сердца, ни чувств, ни воображения, и они вполне созрели для смерти. Умирали они тоже премило; жаль только, что самому Талейрану удалось выкарабкаться — — на брюхе».

Примечательно в этой женщине ее сильное политическое дарование, вызывающее как восхищение, так и ужас. Здесь замешано искусство магии, прежде всего огонь воли, сполохи которого высвечивают химер, подобных тем, что на крышах чужих храмов освещаются заревом пожарищ. Я ощущал это и по отношению к Келларису; собственно, опасность заключается вовсе не в том, что здесь играют в карты, на каждую из которых поставлены судьба и счастье тысяч людей, она кроется в воле одиночки — в его манере выбрасывать руку. Вся демонская рать

при этом тут как тут. Момент риска знаком каждому из нас, когда приказываешь молчать сокровенному в себе самом, дабы совершить тот или иной прыжок, применить тот или иной прием. Такие моменты, только невероятно усиленные, и такое безмолвие, только бесконечно более глубокое, я ощущал, встречаясь с иными событиями на своем пути. Поэтому демонические натуры опаснее, когда они молчат,

чем когда ораторствуют и создают вокруг себя движение.

Затем открыл новый номер «Современной истории», изданный Трауготтом и Майнхардтом Зильдом; я отметил, без особого удовольствия, что они черпали вдохновение для своих статей из моего «Рабочего». Однако замечание кого-то из авторов, что в этой книге дан чертеж, по которому еще нельзя судить о всей постройке, возводимой на его основе, — справедливо.

Существуют разные степени интенсивности сна, разные глубины отдыха. Они похожи на передачу движения с помощью колес, вертящихся вокруг центра, называемого точкой покоя. Так, минуты глубочайшего сна приносят больше отдохновения, чем целые ночи полудремы.

Ле-Ман, 1 мая 1943

Поездка с Баумгартом и фройляйн Лампе, историком искусств, в Ле-Ман, в гости к художнику Наю.{143} Но прежде мы побывали на одном из малых приемов у главнокомандующего, где провели большую часть ночи. Там был также профессор, почитающийся лучшим знатоком сахарного диабета. Меня все больше удивляет та серьезность, с которой и ныне произносят фразы наподобие следующей: «На сегодняшний день установлено уже двадцать два гормона, выделяемых железой гипофиза».

Как бы сей дух ни преуспевал, ему всегда будет сопутствовать успех в единичном. Он по спирали карабкается наверх по внешней стенке некоего цилиндра, в то время как истина находится внутри него. Естественно, что болезни при этом прогрессируют. Главный же гормон — тот, который определению не поддается.

Среди приглашенных к обеду был также Венигер, недавно прибывший из Германии. Он привез оттуда неплохую эпиграмму в качестве надписи на будущем монументе, который будет воздвигнут в память о второй мировой войне: «Победоносной партии — благодарный вермахт». На лице главнокомандующего в таких случаях появляется какое-то загадочное выражение, — улыбка сказочного волшебника, раздающего детям подарки.

На следующее утро отъезд с Монпарнаса. Был день ландышей, их повсюду продавали в изобилии, напоминая мне Рене. Боль при воспоминании о садах, в которые я не ступал, все еще наполняет меня. Шел дождь, но земля стояла в цвету. Среди деревьев особенно примечателен был боярышник; из его раскрасок самая притягательная для меня — меловая, что-то среднее между светло- и темно-розовой. В перелесках — дикорастущий гиацинт, в Германии не встречающийся. Его темно-синие цветы на одном из склонов, где он светился посреди кустиков зелено-желтого молочая, показались мне особенно роскошными.

В Ле-Мане Най встретил нас на вокзале. Поскольку он служит здесь ефрейтором, то после завтрака мы встретились с ним в его мастерской, предоставленной ему неким господином де Теруаном, скульптором-любителем. Картины произвели на меня впечатление экспериментальных работ, прометеева творчества, прорывающегося к новым формам. Но окончательного суждения я вынести не мог, поскольку речь шла о произведениях, которые нужно рассматривать часто и подолгу. Разговор о теологии; здесь Най, как и большинство хороших художников, знает, что сказать. Своими мыслями о пространстве его воодушевил также Карл Шмитт. Особенно удачной мне показалась фраза, что якобы во время работы он достигает точки, Когда полотно «приобретает

напряжение», — в такие моменты ему кажется, что картина увеличивается до невероятных размеров. Подобное случается и с прозой, — предложение, абзац приобретают особое напряжение, особое витье. Это можно сравнить с моментом, когда женщина, на которую долгое время равнодушно или же просто по-дружески смотрел, вдруг становится для тебя эротически значимой; в этот миг преображается все — мгновенно и навсегда.

Мы зашли также к антиквару Морену, показавшему нам свои книги, в том числе великолепные ранние издания.

Париж, 2 мая 1943

Ливень. Но, несмотря на это, мы втроем отправились завтракать в Л'Эпо. Потом к Морену. У него застали Ная. Господин Морен показал нам свои коллекции: картины, среди них один Деверия,{144} мебель, монеты, китайские диковины и тому подобное. Коллекция представляет собой некую разновидность дистилляции, плавки и переплавки путем сокращения, просеивания, отбора и обмена собранного. Это была своего рода крепкая эссенция, концентрат из содержимого двух или трех комнат.

Я стоял с господином Мореном в мастерской его единственного сына, которого недавно отправили на работу в Германию, а именно в Ганновер. Отец кое-что рассказал о нем, как он уже ребенком с благоговением обращался с книгами и охотней проводил время за чтением, чем в играх или спортивных занятиях. «C'est un homme de cabinet».[132] Когда он упомянул, что оборудовал ему на рю Шерш-Миди маленький антикварият, я тут же понял, что его сын — не кто иной, как тот, кто продал мне книгу «De Tintinnabulis»[133] Магиуса. Отец подтвердил это, вспомнив, что сын пересказал ему даже разговор, который мы вели тогда. Поскольку эта встреча показалась мне знаменательной, то я записал адрес Морена, чтобы воспользоваться им во время своего следующего отпуска.

Затем мы снова вернулись к книгам. Заодно я приобрел хороший запас старой бумаги, в основном XVIII века. Частично она была переплетена в большие, почти незаполненные счетные книги, какие я видел у Пикассо и какие можно использовать также в качестве гербариев.

Через верхний город, где улицы хранили еще готические черты, к собору — особенно величественны его узкие, сильно вознесенные хоры. В этом могучем строении резко выступает план, обнажающий весь костяк. Многое от будущих невзгод дремлет в этой дерзости, столь откровенно обнажающей свою цель посвященному.

Наконец, ненадолго к Наю, на второй просмотр картин. Они отмечены как примитивностью, так и сознательным артистизмом и представляют собой настоящее знамение нашего времени. Краски сочетаются свободно, зачастую в манере, символизирующей их способность передавать движение. Так, поднятая для действия рука окрашена в кроваво-красный цвет.

Затем назад, в Париж, куда мы прибыли в девять часов.

Париж, 3 мая 1943

Днем у Валентинера, отбывающего сегодня в Э. Его мансарда на набережной Вольтера играет в моей жизни ту же роль, какую когда-то играл круглый стол в «Георге V». Я дал ему рекомендательное письмо для Медана.

После полудня пришел Карло Шмид. Обсуждали ситуацию; приближающийся провал в Тунисе повлечет за собой политические изменения, особенно в Италии. На берегу канала собираются соорудить мощные ракетные установки для жидкого воздуха, чтобы из них обстреливать Лондон. Подобным новшествам Кньеболо всегда придавал преувеличенное значение.

Париж, 4 мая 1943

Среди французской почты письма от Банин и Морена, у него четкий почерк архивариуса. После полудня навестил Вайнштока, которому на дорогу дал «Титанов». Вечером с Карло Шмидом в «Рице». Среди прочего он рассказал мне гротескную историю одного из своих коллег, шестидесятилетнего юриста из Военного управления в Лилле, возглавлявшего бюро паспортов. У него было обыкновение, если паспорт заказывали девушки или женщины, приглашать их к себе на квартиру, и, прежде чем отдать им документ, он заводил с ними всегда один и тот же разговор:

— Паспорт Вы получите, но сначала должны поплакать, дитя мое.

— Почему? Не понимаю!

— Сейчас увидите.

С этими словами он привычно втаскивал свою жертву на диван, задирал ей юбку и небольшим хлыстиком порол по ягодицам.

Странный автоматизм повторялся не один раз, поскольку пострадавшие не смели жаловаться, пока этим, наконец, не занялся военный суд.

Герой этой аферы был до последнего времени руководителем ведомства по еврейским вопросам в Берлине и сотрудником «Штюрмера», для которого писал статьи о сексуальных

преступлениях евреев. Одно зеркально отражает другое. Преступника ищи у себя под лавкой.

Потом о Кньеболо. Многие, даже его противники, признают за ним определенное демоническое величие. Но если оно и есть, то лишь элементарное, хтоническое, без той личной оформленности и возвышенности, какая свойственна, например, Байрону или Наполеону. Карло Шмид сказал на это, что немцу недостает физиогномического инстинкта. Кто выглядит так, что ни художники, ни фотографы не могут сделать ему лица, кто так бесцеремонно обращается с родным языком, кто способен собирать вокруг себя подобное сонмище ничтожеств — — и все же здесь есть загадки, кои не так просто разгадать.

Париж, 5 мая 1943

Многочисленные павловнии на площади Италии — аллея из волшебных канделябров, где возжжён тонкий ароматный елей. Я снова вспомнил своего отца с его упрямством и всеми его недостатками, — до какой же степени в воспоминаниях смерть облагораживает человека! Вообще я все меньше склонен думать, что в то мгновение, когда люди, дела и события уходят в прошлое, они застывают в своей форме и такими пребывают в вечности. Напротив того, время, бывшее при их жизни будущим, их постоянно меняет. В этом смысле время целостно, и подобно тому как совокупное прошлое участвует в создании будущего, так и настоящее влияет на прошлое, изменяя его. Так, есть вещи, которые тогда еще не были истинными; истинными *делаем* их мы сами. Точно так же, как фрукты или вина, дозревающие в погребах, меняются и книги. А иное снова быстро увядает, превращаясь в ничто, в небывшее, бесцветное, серое.

Во всем этом скрыто множество разных значений, оправдывающих культ предков. Живя праведно, мы возвеличиваем отцов, как плод возвеличивает дерево. Таков пример отцов великих людей; как в ореоле света, выходят они из безымянного, ушедшего.

Прошлое и будущее — два зеркала, и между ними светится, не видимое глазом, настоящее. Но смерть переставляет аспекты; зеркала начинают плавиться, и все более отчетливо проступает настоящее, пока в момент смерти не сольется с вечностью.

Божественная жизнь — это вечное настоящее. А жизнь есть только там, где присутствует Божественное.

Неприятные, мучительные мысли, нечистые слова или ругань, навязчиво преследующие нас в помыслах, в беседах с самими собой. Они — верные знаки того, что в нас что-то неладно; так, например, чадящее пламя указывает на сырые

дрова. Подобно этому агрессивность или несдержанность по отношению к другим часто бывает следствием ночных кутежей или еще того хуже.

Днем у президента, чью комнату я разыскивал в затерянных коридорах «Рафаэля». Разговор об отрешенности и постепенном стяжании благ, — они приходят к нам вместе с годами и зрелостью. В юности мы похожи на нетерпеливого охотника, который только распугивает дичь. Обретя спокойствие, мы замечаем, что дичь сама стремится попасть в наши сети.

Вечером в небольшом кафе на рю Помп. По-видимому, гораздо легче, по крайней мере для женщин, от дружбы перейти к любви, чем наоборот. Это заметно в браках, продолжающихся как дружба, — они не что иное, как могила потухших мистерий.

Тела — чаши; смысл жизни заключается в том, чтобы наполнять их все более и более драгоценными эссенциями, бальзамом вечности. Если это осуществится в полной мере — не важно, даже если разобьется сам сосуд. Именно это подразумевается в книге Премудрости Соломона, где говорится, что смерть праведника — только кажущаяся.

Продолжаю апокрифы. «Премудрость» обрывается на исторической части, переходит в нее. Это читать менее интересно, подобно тому как доказательства Спинозы, примыкающие к его тезисам, менее интересны, чем сами тезисы.

Переход через Красное море оставил в народе Израиля болезненный след, врезался в его судьбу навсегда. Чудо — субстанция, питающая жизнь. Море, красное и в то же время тростниковое, — вот символы жизненного крута, где господствует обычай рыб, пожирающих друг друга. Остается великим чудом, что такое море расступилось, не поглотив никого. Что произошло однажды, позволяет не терять надежду и во всех будущих гонениях.

Книга Товита, душеспасительная история, которую приятно читать. Есть в ней замечательные зарисовки пастушеской жизни в тот ее период, когда она соприкасается с историческими силами, угрожающими ей. Начал Книгу Иисуса, сына Сирахова; если я правильно помню, Лютер называет ее доброй домашней книжкой, но в ней уже с самого начала высказываются идеи высочайшей мудрости.

О стиле. Существительное всегда сильнее глагольных форм. «Они сели есть» слабее, чем «они сели за стол» или «они собрались за трапезой». «Он раскаивается в содеянном» слабее, чем «он раскаивается в своем поступке». В основе этого лежит разница между Движением и сущностью.

Париж, 6 мая 1943

Во время обеденного перерыва у Ладюре, куда меня, позвонив по телефону, пригласила докторесса. Перед этим зашел к одному антиквару на рю Кастильоне и купил там несколько превосходных книг, например Гроция,{145} собрание материалов о готах, и «Mémoires sur Vénus»[134] Ларшера, посвященные именам, культам и статуям этой богини. Я взял их для Фридриха Георга, несмотря на его предубеждение против любого французского вклада в мифологию.

Докторесса мне рассказала, что утром в ее квартире побывала полиция, расспрашивала о ее знакомых и тому подобное. Из деталей ее рассказа я уловил, что все дело в обычном доносе. Ее ответ, которым она разделалась со своими визитерами, когда те стали откланиваться, я нашел неплохим:

— Благодарю вас, вы раскрыли мне глаза.

Париж, 7 мая 1943

В клинике Истмана. На площади Италии я обычно останавливаюсь, чтобы поглядеть на уличного фокусника лет примерно пятидесяти, седовласого великана в трико, зарабатывающего себе на хлеб выжиманием гирь и проделыванием других трюков; в нем особенно наглядно выявлено добродушно звериное начало, присущее человеку. Он собирает деньги в кулек.

Сюда я езжу весьма охотно на метро, поскольку оно во многих местах выходит наружу. Фронтоны белесых домов, кажущихся вымершими, настраивают на веселый лад; при взгляде на них во мне просыпается древняя маленькая душа ящерицы. За тишиной освещенных стен я вижу людей, вольно отдыхающих в своих комнатах или предающихся мечтам и любовным играм. Едешь вдоль галереи скрытых натюрмортов, мимо столов, на которых стоят запотевшие бокалы и разрезанные дыни, в одном окне мелькнет женщина в красном купальном халате, раскрывающая новый роман, в другом — голый мужчина с окладистой бородой, размышляющий, уютно устроившись в кресле, о возвышенных вещах, или парочка, после любовной ласки угощающая друг друга апельсином.

Кто мыслит понятиями, а не образами, проявляет по отношению к языку ту же бессердечность, как и тот, кто видит только социальные категории, а людей не замечает.

Путь к Богу в наше время чудовищно далек, словно человек заблудился в безграничных пространствах, изобретенных Его гением. Поэтому даже самое скромное приближение к Богу — уже великая заслуга. Нужно научиться воспринимать Бога заново.

В таком состоянии человек способен, по существу, только на отрицательные поступки: он может очистить сосуд тела своего. Это не пройдет для него даром: он приобретет новое сияние, прибавит себе радости. Но даже высочайшей аскезе, какой он подвергнет себя, суждено свершиться в атеистическом, обезбоженном пространстве, более страшном, чем просто безбожное. И вот однажды, через годы, случится так, что Бог ему ответит, — либо медленно к нему приближаясь, как бы прокладывая себе путь духовными щупальцами, либо являясь во вспышке молнии. Мы посылали свои искры на неподвижную звезду, а она оказалась обитаемой.

В этом кроется одна из величайших прелестей гётевского «Фауста»: в показе неутомимого радения о высших мирах длиною в жизнь и последующего вхождения в их порядки.

В «Мажестик» беседа с доктором Гёпелем о Максе Бекмане, {146} которого он иногда видит в Голландии и от которого привез приветы. Живопись, перешагнувшая в романтических школах границы поэзии, дерзает нынче проникнуть в области, музыке недоступные. Бекман придерживается своей собственной сильной линии. Сила убедительна даже там, где она жестока: «И тут есть боги», — провозглашено не без блеска. На этом пути можно представить себе архаическое скрещение европейских и американских элементов: Микен и Мехико.

Д-р Гёпель рассказал также об одном графе, которого он посетил на побережье Нормандии и чей род проживает там уже тысячу лет. «За это время мое семейство износило здесь три замка», — прекрасное выражение, ибо дома для поколений — все равно что платья для отдельного человека.

Потом пришел еще и Клеменс Подевильс, он привез из России привет от Шпейделя. Вечером с Венигером в «Рафаэле». Разговор о Георге и «Кровавом светильнике» Шулера, затем — о превосходной книге, которую Клагес написал о нем. Венигер знает в Германии почти всех, кто хоть что-нибудь да значит, и его познания распространяются на все их генеалогическое древо. Такие личности важны как раз сегодня, когда происходят основательные изменения в духовно-политическом распределении сил, не доходя пока до всеобщего сознания. Они похожи на нити, поднимающие петли и соединяющие их в ткань. При этом выясняется, что большей частью они ведут кочевой образ жизни, истощая себя в дискуссиях, разговорах, болтовне, так что история едва ли запомнит их имена.

Среди почты письмо от Фридриха Георга; он согласен с моим предложением отказаться от предисловия к «Титанам».

Париж, 8 мая 1943

После полудня с Геллером в Сен-Жермен у Анри Тома, который обитает в старой квартире напротив замка, украшенного саламандрами. Кроме него и мадам Тома мы встретили там двух литературных друзей, и меня снова поразила духовная утонченность подобных встреч по сравнению с теми, что устраивают молодые немцы, отличающиеся своим элементарноанархическим характером. На тех встречах возвышенных банальностей не говорят.

У самого Тома примечательно странное соседство духовного присутствия и отсутствия. С ним разговариваешь, словно говоришь с кем-то, кто витает в далеких сновидческих странах и вдруг выдает неожиданные, меткие ответы. О нем можно сказать словами Князя Линя:{147} «J'aime les gens distrait; c'est une marque qu'ils ont des idees».[135]

Разговор о Паскале, Рембо, Леоне Блуа, потом об успехах европейской революции. Также о Жиде, который теперь в Тунисе. Назад возвращались через Сену, по берегам которой мощной, почти черной зеленью светились ивы. Долина Сены — алтарь Афродиты; он оживляется идеальной влажностью.

Вечером у Флоранс, вернувшейся из Ниццы, в привычном кругу. Она рассказала о Фрэнке Джее Гульде, который после прочтения «Мраморных скал» якобы произнес: «В действительность он приходит из сновидений», что для американского миллиардера не так уж и плохо.

Жуандо, немного выпив, принялся преподносить истории из своей супружеской жизни, которые нас развеселили. Так, он рассказал, что когда Элиза, накрывая на стол к завтраку, закатила ему сцену, он с такой точностью и ловкостью канатного плясуна поддал ногой поднос, что вся посуда разлетелась по полу мелкими осколками.

Париж, 10 мая 1943

В антикварной лавке Дюссара, на улице Мон-Табор. Там я купил «Заколдованный мир» Бальтазара Беккера{148} — книгу, которую давно искал, и на каждом из четырех томов, изданных в 1694 году в Амстердаме в одну восьмую листа, обнаружил даже автографы.

Мысль: и я принадлежу к бесчисленным миллионам, отдавшим этому городу нечто от своего живого вещества, от своих мыслей и чувств, засасываемых каменным морем, дабы в течение столетий тайно бродить по нему, участвуя в созидании коралловых рифов судьбы. Когда я думаю о том, что мой путь проходил мимо церкви Сен-Рок, на ступенях которой был ранен

Цезарь Бирото,{149} и огибаю улицу Прувер, где прехорошенькая чулочница Баре снимала мерку с Казановы в задней комнатке своей лавки, и сознаю, что это только две крошечные даты в море фантастических и реальных событий, — меня охватывает чувство, похожее на радостную тоску, на мучительное наслаждение. Я охотно принимаю участие в жизни людей.

Темное свечение прожитой жизни в виде запахов и ароматов воскрешает воспоминание. Так, на маленьких улочках вокруг Бастилии я всегда ощущаю немного «essence de Verlaine».[136] То же самое относится и к теням; в этом смысле Мериан{150} — великий рисовальщик и летописец города.

После полудня у Залманова. Он подарил мне книгу Бердяева, который является его пациентом. О падении Туниса и о политической ситуации вообще. Повторил свое пророчество о союзе России и Германии в ближайшем будущем. Такой союз предполагает падение диктаторов также и у них.

Затем о болезнях: «Болезнь снимает с человека маску; она выявляет как хорошие, так и дурные его стороны».

Шопенгауэровское «кто что собой представляет» он сравнил с листьями артишока: есть обстоятельства, которые обдирают с человека листву, и то, «что он есть», оборачивается либо великолепием, либо ничтожеством.

Париж, 11 мая 1943

Вечером в «Рице» с генералом Гайером, во время первой мировой войны он был сотрудником у Людендорфа. О ситуации, обострившейся в связи с падением Туниса. Затем об отношениях между Людендорфом{151} и Гинденбургом, в которых я всегда видел особенно четко выраженное различие между волей и характером. Людендорфу после 1918-го надо было бы спокойно выждать, тогда бы он всего достиг, но как раз этого-то он и не умел. На его примере можно изучить все достоинства и слабости прусского Генерального штаба, после отставки старого Мольтке{152} все более клонившегося в сторону чистой энергетики. Именно по этой причине Людендорф был и остался неспособным к сопротивлению против Кньеболо. Такие умы могут только переставлять, только организовывать, подоплекой чего является нечто иное, сугубо органическое.

В Гинденбурге же налицо как раз это органическое. Когда Тренер узнал, что тот стал рейхспрезидентом, он сказал: «В любом случае старик не наделает глупостей», — и был прав. Если кто-то и мог оказать сопротивление тому, что надвигалось, то это ни в коем случае не были силы демократии, питавшие и укреплявшие как раз энергетический принцип. Уступка

Гинденбурга была неизбежна; и дело было не в его почтенном возрасте, скорее символическом. Органическое в нем связано с древесным; «железный Гинденбург» был на самом деле Гинденбургом деревянным, только подбитым гвоздями. Вокруг этого старца, без сомнения, витает историческая сила — в противоположность элементарно опустошающему излучению Кньеболо.

Конечно, как молодой офицер я был за Людендорфа. Этому способствовало и одно замечание Гинденбурга, расстроившее меня: «Опасно в такие молодые годы получать высшие награды». Тогда мне это показалось педантством, сегодня же я знаю, что он был прав. Подтверждение своим словам он видел на примере судеб некоторых участников кампаний 1864, 1866 и 1870 годов.

Париж, 12 мая 1943

Разговор с докторессой, позвонившей мне, так как ее муж был арестован в Виши как раз на следующий день после того визита в Париж. Поскольку подобные аресты совершаются по так называемому указу «мрака и тумана», изданному Кньеболо, т. е. без указания причин и места лишения свободы, то прежде всего предстояло выяснить, куда его упрятали. Я рад, что она мне доверяет.

Париж, 13 мая 1943

Вечером с д-ром Гёпелем, Зоммером и Геллером в «Шапон Фэн» у Порт-Майо. Разговор о картинах и о волшебстве вложенной в них художественной субстанции. Банкир Оппенгейм, приобретя «Белые розы» Ван Гога, два часа рассматривал эту картину, а потом отправился на заседание, где приобрел большинство акций Национального банка, — это была его самая крупная сделка. Если посмотреть с этой стороны, то владение картинами дает магически-реальную власть.

Разговор с начальником, устроившим праздничный обед. При этом он произнес тост, характерный для его профессии: «Je peux vivre partout, ou j'ai quarante copains».[137]

Вернувшись к себе, я долго размышлял о трагедии людей, которых здесь встретил. Например, здешний хозяин, именуемый соседями «Le Boche de la Porte Maillot».[138] Он одержим марсиальной страстью и детской любовью к немцам, чей боевой дух товарищества ему сродни. Мне было трогательно видеть, сколь беспомощно он пытается привести эту астрологическую связь в соответствие с региональной противоположностью крови.

Париж, 15 мая 1943

О стиле. Требование Шопенгауэра не включать относительные придаточные предложения в главное, а каждую фразу строить отдельно — совершенно справедливо, если это касается ясного, логического хода мыслей в их последовательности. Напротив того, преподнесение и переживание образов вводом относительного предложения может быть даже усилено. Напряженность нарастает и перехлестывет через край, словно ток фразы, будучи прерван, возгорается.

Мы долго пользуемся этими средствами, пока не задумаемся над ними, и становимся похожи на крестьянина, однажды к своему удивлению узнавшего, что говорит прозой.

Продолжаю Иисуса, сына Сирахова. Прекрасны описания луны, солнца и радуги, которые можно найти в 43-й главе. По соседству — мысль о том, что каждая деталь творения хороша: зло имеет провидческий характер; оно распределяется во времени так, как это нужно Богу. Для иллюстрации приводится скорпион. Например, в химическом процессе, при изготовлении арканита, попутно выделяются яды, участвуя в промыслительном плане премудрости.

Одна такая фраза, которых в Сирахе множество, может стать фундаментом философем, нравственных учений или провидческих образов в стиле Якоба Бёме.{153} В этом смысле Библия, безусловно, — Книга Книг, семя и праматерия всей письменности; она произвела на свет мировые литературы и будет производить их и впредь.

В Иисусе, сыне Сираховом, помимо мудрости и острословия, просеянного в ходе мировой истории, заключена вся полнота Востока, ибо: «Я мог бы сказать еще больше; я полон мыслями, как полная луна».[139]

Еврейский народ должен вернуться к своей великой литературе, и чудовищные гонения, которые он теперь претерпевает, наверняка ему этот путь укажут. Еврей, подчас неприятный своим умничаньем, становится другом и учителем там, где он глаголет устами мудреца.

Ганновер, 19 мая 1943

Отъезд в Кирххорст с Северного вокзала. Накануне беспокойная ночь. Пока выносили вещи, успел написать несколько строк президенту, препоручая ему супруга докторессы, место заключения которого стало известно.

Поздно вечером прибыл в Ганновер, где был встречен воздушной тревогой. Спустившись в бомбоубежище, продолжил чтение — отчет о несчастных охотниках за лангустами, забытых на острове Сен-Поль и погибших от цинги. Их судьба позволяет

заглянуть как в тайны одного из самых заброшенных островов, так и в тайны нашего делового мира, фирма, эксплуатировавшая эти кишащие лангустами скалы, обанкротилась, и ее посланцы вместе с остатками имущества исчезли из сознания сограждан.

После отбоя я еще несколько часов отдыхал в отеле «Мусман», где мне отвели комнату, в которой я обнаружил уже спящего постояльца.

Кирххорст, 20 мая 1943

Утром, пока одевался, немного поболтал со своим соседом и узнал, что в Норвегии он руководил карательной кампанией. Он должен был сообщить двадцатилетнему волонтеру, приговоренному к смерти, что его прошение о помиловании отклонено. Это так подействовало на моего соседа, что у него случились судороги, перешедшие в хроническую форму.

Бреясь, я слушал длинную и запутанную историю и задавал вопросы, на которые лежащий в постели толстяк лет пятидесяти восьми и весьма добродушного вида отвечал с удовольствием. Я торопился и особенного любопытства не выказывал; это придавало разговору странно официальный характер.

Потом на автобусе я выехал за город. Перпетуя провела меня по саду, оказавшемуся в хорошем состоянии. Он показался мне даже гуще и пышнее, чем прежде, но в то же время немного чужим, подобно оазисам, мимо которых мы иногда проносимся на поезде и вид которых будит в нас тоску по тенистой пристани. Здесь я нашел свои желания исполненными. Из растений я приветствовал эремуруса, которого перед отъездом в Россию доверил земле; он поднимался четырьмя высокими цветущими стеблями, снежно серебрившимися в зеленой тени.

С Александром отправились на болото. Там позагорали. Вероника; хоть я и знаю этот цветок с раннего детства, сегодня я увидел его как бы впервые, с голубыми глазами-звездами, серые зрачки которых окружает тускло светящаяся эмаль радужной оболочки. Мне вообще кажется, что в последнее время я стал особенно чутким к голубому цвету.

Кирххорст, 23 мая 1943

Сон, в котором ищешь, куда спрятать тело убитого, и в связи с этим дикий страх — наиболее распространенный и древний из снов. Недаром Каин — один из наших великих предков.

Возраст Книги Бытия угадывается и по тому признаку, что там сокрыты великие сновидческие фигуры, выявляющиеся в нас по ночам, может быть, и еженощно. Уже одно это доказывает, что данная книга относится к истокам, древнейшим свидетельствам

человеческой истории. Наряду со сновидением о проклятии Каина фигурами Бытия являются также сон о змее, а также сон, когда ты, нагой или полураздетый, выставлен для обозрения на открытой площади.

Чем окажется человек, когда история нашей планеты Земля будет распродана? Что-то темное и неизвестное витает вокруг этого создания, которому 89-й[140] псалом предвещает ужасную судьбу. Собственно, было только трое, облеченных чином этого анонимного человека, живущего во всех нас: Адам, Христос, Эдип.

Где все одинаково значимо, там угасает искусство, в основе которого лежит различение, выбор. Точно так же и там, где нет сорняков, а все сплошь плоды, приходит конец садоводству.

Поэтому великий путь духа ведет через искусство. Так, философский камень венчает целый ряд дистилляций, все более расчищающих путь в абсолютное, в беспримесное, — кто завладел камнем, тот уже не нуждается в искусстве разделения.

Данную связь можно представить как прохождение через вереницу садов, из коих один превосходней другого. В каждом последующем краски и формы богаче и ярче. Это богатство непременно достигает границ, где его рост прекращается. Тогда наступают качественные изменения — одновременно и упрощения, и одухотворения.

Сначала краски сияют все ярче и ярче, затем они становятся прозрачными, как драгоценные камни, и наконец вовсе блекнут. Формы поднимаются ко все более высоким и простым соотношениям, от кристаллических переходят в круглые и шарообразные, где наконец исчезает противоположность периферии и Центра. Подобным образом плод и цветок, свет и тень и вообще все отграниченные друг от друга области и различия сливаются в единства более высокого порядка. Из самого изобилия мы входим в его источник, в сокровищницы из прозрачного стекла. Вспомним хрустальные трубки на картинах Иеронима Босха как один из символов трансцендентного.

Первые жемчужины этого розария мы можем осязать уже в нашей повседневной жизни, но тогда мы должны переступить через себя и выйти из своего тела.

В раю, как в первом и последнем из этих садов, в саду Божьем, царит высшее единство; добро и зло, жизнь и смерть там не различаются. Звери не раздирают друг друга, они еще в длани Творца; находясь в праистоке, они еще не потеряли своего духовно-неуязвимого обличья. Роль змеи — учить различениям. В них отделяются друг от друга Небо и Земля, Отец и Мать.

Из этого сада вышли и обе великие секты, которые прослеживаются через всю историю человеческого мышления и

знания. Первая памятует о единстве и рассматривает все синоптически, в то время как другая подходит к делу аналитически. В добрые времена по крайней мере известно, на каком поле они появляются, *где* искать истину.

С точностью обвинительного заключения.

Atome + Hamann[141] = Athome = At home.

Кирххорст, 26 мая 1943

Ранним утром начальник Бургдорфского вокзала сообщил о прибытии принцессы Ли-Пинг, встречать которую мы отправили толстую Ханну. Дабы защитить хрупкую даму от ветра и непогоды, она спрятала ее у себя на груди, весьма внушительной. Зверек — бежевого цвета; голова, хвост и лапки словно задымлены китайской тушью. Она проглотила только немного тунца, но с жадностью. Несмотря на крошечные размеры, будучи сиамкой, она важно уселась напротив трех персиянок, выгнув спину, подняв хвост и по-змеиному зашипев. Поспав немного в моей постели, Ли-Пинг последовала за мной, как собачка, в сад и прыгнула, когда я сел, ко мне на колени. В ней прячется грациозная изысканность, пластичность Дальнего Востока, отзывающаяся бамбуком, шелком и опиумом.

Относительно окраски подобных созданий я уже давно отказался от дарвинистских идей, с коими подходил к ней прежде. Нынче мне кажется, что она вызвана спонтанным действием, тушью и кисточкой, вынутыми из ящика художником. Такого зверька, как Ди-Пинг, чуть-чуть, самыми кончиками, окунули в черную краску. Безусловно, черные маски и странные конечности, как, например, клешни крабов, указывают на существ, ищущих укрытия в пещерах. Но маски и пещеры встречаются в местах, вычислениям не поддающихся.

Теория Дарвина верна настолько, насколько верны сами перспективы; она задает только направление. Многое совершается в преходящей материи, о чем позволяет судить та могущественная роль, которая признается за временем, за периодом в миллионы лет. Творение постигается тогда, когда оно приходит в упадок.

Среди почты письмо от Фридриха Георга, которого мы ждем в гости. Он комментирует словечко *впрочем.* Совершенно справедливо, за всеми этими служебными словами нужно зорко следить, особенно если их любишь. Во-первых, они должны быть к месту, во-вторых, должны точно соответствовать обозначаемому ими обстоятельству. Под этим утлом зрения неплохо почаще бы отсекать уже написанные фразы.

Далее письмо от президента, он обещает похлопотать об

арестованном. В дружбе пятидесятилетнего я теперь учусь ценить источник, скрывающий в себе радость жизни.

Кирххорст, 27 мая 1943

Приезд матери и Фридриха Георга. Прогулка через Филлекуле к небольшому пруду; пока гуляли, Фридрих Георг рассказывал о годах жизни нашего отца, мне мало известных, например о его пребывании в Лондоне. Перпетуя: «Когда я увидела его в гробу, у меня было чувство: вот XIX век прощается с нами». Верно, отец воплощал это явно, почти нарочито, и поэтому идея Фридриха Георга — написать о нем воспоминания — весьма импонирует мне.

В прошлую войну, встречаясь, мы рассказывали друг другу о раненых и погибших на поле боя, в нынешнюю — еще и о пропавших без вести или злодейски убитых.

Кирххорст, 30 мая 1943

Визит моего парижского антиквара Шарля Морена, которому я показал книги и рукописи, раздобытые в Ле-Мане у его отца. Прогулка с ним, Фридрихом Георгом и Александром по болоту, где цвел коровяк и мягкие коричневые кочки излучали приятное тепло.

В разговоре с молодыми французами поражаешься полному единомыслию с ними. Это делает беседу по-домашнему уютной; всегда окружен четырьмя стенами. Напротив того, Вульт из романа «Озорные годы»{154} прекрасно чувствует себя в доме, где передней стены вовсе нет, так что спокойно можно наслаждаться вольной природой с ее холмами и цветущими долинами. При духовном контакте немцев и французов противоположность Шекспира и Мольера могла бы исчезнуть.

О «Титанах» Фридриха Георга и возможных филологических возражениях; не привлечены, например, такие источники, как трагедии Софокла. В противовес этому можно сказать, что автор по отношению к источникам самостоятелен и тексты создает, а не комментирует. Затем о нашей методике вообще, о разнице между скомбинированным и логическим концами. Великие законы соответствий менее зависимы от времени, чем законы причинности, и поэтому более подходят для описания отношений между богами и людьми. Третье сочинение, о героях, должно завершить работы о мифе.

Кирххорст, 3 июня 1943

Отъезд матери и брата; я провожаю их до Ганноверского вокзала, вызывающего все большее чувство безнадежности. Что

еще произойдет, прежде чем мы увидимся снова? Есть только одна максима — подружиться со смертью.

Фридрих Георг производит впечатление человека, вступившего в зрелый творческий возраст, в полное осознание дарованных ему сил.

В саду цветет жасмин, с ароматом которого я в этом году впервые подружился. Так происходит у нас со многими признанными вещами: дабы воспринять их всерьез, мы сначала должны прорвать зону, где они являются нам как декорации, как литературные сюжеты.

Есть люди, играющие в нашей жизни роль увеличительных, или, лучше сказать, огрубительных стекол и тем самым причиняющие нам вред. Такие натуры воплощают наши склонности, наши страсти, может быть, и наши тайные пороки, которые только в их обществе и становятся зримыми. Но добродетелей наших в них нет. Иные держатся за своего героя, как за кривое зеркало, искажающее образ. Поэтому использование таких фигур, как, например, слуги, является одной из черт, излюбленных авторами: на своих главных героев они тем самым бросают более резкий свет. Так, Фальстаф бражничает с приятелями из низшего крута, родственными ему по чувствам, но не по духу. Ясно, что они живут за счет его кармана.

Такие сообщники посланы нам также для испытания, для самопознания. Они льстят дешевым, грубым материям нашей духовно-чувственной структуры и развивают нас именно в этом направлении. Большей частью мы разлучаемся с ними не по своей воле, а в результате какого-нибудь незначительного события, к коему безошибочно ведет такое общение. Тогда наш злой дух покидает нас.

Кирххорст, 4 июня 1943

После полудня в саду, пышно расцветшем, собираю виноград — за неимением времени несколько раньше, чем того требует это искусство. Попутно надо было решить две задачи: прежде всего, не повредить усики, украшающие своей зеленью комнату Перпетуи, и, кроме того, сохранить гнездо малиновки, поселившейся под окном библиотеки.

Устойчивость винограднику придают не столько зеленеющие, сколько одеревеневшие или многолетние усы. Это хороший пример той роли, какую играют отмершие органы в строении природы. Мертвое продолжает жить — и не только в истории, но и в настоящем.

«Мертвое, участвующее в созидании», как в данном случае древесное, ни в коем случае не является просто инструментом, —

в нем вибрирует отзвук жизни. Оно действует в таких веществах, как уголь, растительное масло, воск, известь, шерсть, роговые отслоения, слоновая кость. Это же соотношение отражается и в человеческом быту. Человек питается тем, что быстро истлевает, но что заменяется новым слоем веществ, в которых отголоски жизни прядут свою нить. Человек одевается в льняное белье, в шерстяные и шелковые одежды, живет в деревянном доме среди деревянной мебели при свете восковых свечей или лампад. Его бренные вещи — кровать, колыбель, стол или гроб, автомобиль или лодка — и его высшие инструменты — скрипка, кисть, перо, картина, писанная маслом, — все это окружает его как аура из жизненной материи. Но в нем давно уже явлено стремление освободиться от этих оболочек, которые жизнь плетет для его защиты, оставляя их сыну Земли в наследство. Силой духа он стремится соткать себе искусственное платье. Последствием станут еще неразгаданные опасности. Он будет противостоять Солнцу как некто, лишенный воздушной оболочки, предоставив себя действиям космических лучей.

Если мы хотим, чтобы наша любовь плодоносила, то должны укоротить побеги нашего сердца на один глазок.

Восстание евреев в варшавском гетто закончилось, по всей видимости, поражением. Здесь они впервые сражались, как против Тита или как гонимые во время крестовых походов. Как всегда в таких противостояниях, несколько сотен немцев встали на их сторону.

Кирххорст, 7 июня 1943

Чтение: снова Лихтенберг, редкий пример немца, знающего границы. По-видимому, германской расе всегда следует подмешивать что-нибудь отягощающее, накладывать на нее некие оковы, дабы она не заблудилась в стихиях. Роль оков может играть море, как у англичан, или, как у Фонтане, смешение с западной кровью. У Лихтенберга — это горб, который он несет на себе с детства.

Немец походит на вино определенных сортов, которое пригодней всего, когда сорта смешаны.

Затем «Naufrage de la Méduse»[142] Корреара и Савиньи, Париж, 1818. Самое поучительное в этих кораблекрушениях, которыми я изрядно занимался в последнее время, — то, что они представляют собой конец света в миниатюре.

Кирххорст, 16 июня 1943

Последний день отпуска; может быть, последний в этой войне? После завтрака прогулка по саду и кладбищу. Там на

могилах только что расцвели великолепные огненные лилии; особенно сильное впечатление они производят, когда горят, словно светильники, среди сочных трав в прохладной полутени кустов. Цветок полыхает там, как факел, излучающий чувственность на скрытую радость жизни.

Наше дарование похоже на описанный в «Тысяче и одной ночи» шатер, который пери Бану подарила своему принцу: если его сложить, он уместится в скорлупе ореха, а если разложить — вместит в себя не одно войско. Это указывает на его происхождение из нерастяжимого.

Иногда к своему дарованию мы прибегаем непосредственно. Так, после важного разговора протягивая на прощание гостю руку, мы в этот миг безмолвия стараемся сообщить ему больше, чем поведали во всех предыдущих словах. Случается также, что, принимаясь за дело, собираясь что-то предпринять и долго взвешивая все за и против, мы каждый раз бездумно и безо всякой цели вслушиваемся в себя. И тогда улавливаем либо подтверждение своим замыслам, либо необходимость что-то изменить.

Отношения между юностью и старостью — не последовательно-временные, а качественно-периодические. Уже не один раз я был старше, чем нынче, например, когда мне было около тридцати лет. Это отразилось и на моих фотографиях. Бывают периоды, когда с нами «все кончено»; за этими периодами могут наступать просветы, для творческого человека весьма важные. Эрос также приносит с собой новую молодость. Новому росту могут способствовать страдания, болезни или утраты; так юная листва на деревьях венчает усердие садовника.

Настоящая сила творческого человека вообще лежит в растительной жизни, в то время как сила практика питается животной волей. Дерево может быть каким угодно старым: оно молодеет с каждым новым цветком. К растительной жизни относятся также сон, сновидения, игры, формы досуга и вино.

Чтение: Фолкнер, «Полный поворот кругом», книга, которую я периодически перечитываю, ибо абстрактный ад мира техники изображен в ней точно. Как и историю капитана Раггада, расщепителя гор, включенную Казоттом в продолжение «Тысячи и одной ночи»; ее я всегда перечитываю с удовольствием. Этот Раггад — прототип Брамарбы и низшего властелина, из-за своей ненасытности копающего воду и доводящего себя до абсурда. Его исключительную прожорливость никак не унять, но «вместе с тем ужас, который он нагоняет на весь свет, удаляет от него необходимые для его нужд вспомогательные источники». Его технический арсенал внушает страх, но о себя же и разбивается.

Ему назначено побеждать, но наслаждаться победой не дано.

В поезде, 17 июня 1943

После полудня, как уже бывало не раз, отъезд в Ганновер; Перпетуя проводила меня на вокзал. Крепко обнялись — неизвестно, что может произойти за это время, но я знаю человека, которого оставляю здесь.

Путь сквозь выжженные города Западной Германии, темной цепью следующие друг за другом, и снова мысль: то же самое происходит ведь и в головах. Разговоры спутников только усилили это впечатление: вид развалин вызвал у них жажду еще больших разрушений; они надеялись в ближайшем будущем видеть в таком же состоянии Лондон и намекали на мощные батареи, которые сооружаются на берегу канала для обстрела этого города.

Париж, 18 июня 1943

Около девяти часов прибыл в Париж. Тотчас запросил президента о судьбе арестованного, так и не прояснившейся.

Среди почты письмо от Фридриха Георга, который завершает свое пребывание в Лайсниге и переезжает в Юберлинген. Тамошняя биржа труда строит против него козни и подобрала ему должность «машинистки». Власть бюрократов и полицейских приводит к гротескным явлениям. Подобные умники соскребли бы краски с Тициана, чтобы из его полотен шить себе портянки.

Кроме того, почта от Грюнингера с письмами и дневниками солдат, погибших в Сталинграде. Унтер-офицера Нюсле, которого я тоже знал, смерть настигла 11 февраля близ Курска. На Востоке в течение обеих зим дело дошло до решительного противостояния, до столкновения в пустыне, до абсолютного нуля. После такой дрессировки дух приобретает детские, трогательные черты, как у Нюсле в беседах с самим собой, когда он, прижимая ручную гранату к груди, спотыкаясь, пробирается по заснеженной улице, а сквозь тьму, сбоку и сзади, сверкает огонь преследующих его танков. «Господи Боже, Ты знаешь, если я ее и рвану — она не мне предназначена».

Париж, 19 июня 1943

После полудня в «Румпельмайере», осведомиться об арестованном. У него все не так уж плохо, как можно было заключить по сообщению президента. В книжной лавке на рю Риволи купил новую монографию о Джеймсе Энсоре.{155} Затем в Отёй к Залманову, который остался доволен моим телесным платьем.

— Есть два врачебных метода: один подкрашивает, другой отмывает, что я и проделывал с Вами.

Залманов считает, что вся операция закончится в октябре. Обоснование: она ничтожна, и ниже ей падать некуда. Недовольные массы равны нулям, но они страшно вырастут в числе, как только кто-нибудь новоявленный найдет им применение.

Примечательно, что у гурманов почерк всегда с наклоном вверх.

У Кньеболо же, напротив, как ни у кого другого, сильный наклон вниз. Его почерк — Nihilum nigrum[143] в мастерской Бога. Наверняка отсутствует вкус и к хорошей еде.

Париж, 22 июня 1943

Визит к художнику Холи, который привез мне одну из своих гравюр на дереве. О Келларисе, чья позиция воспринимается как образцовая. Она показывает, какая редкость на сей земле настоящее сопротивление. Келларис еще в 1926 году основал журнал с таким названием. Уже незадолго до ареста аура предстоящего, казалось, окружала его. Так, его мать, умершая в те дни, все время восклицала в предсмертном бреду: «Эрнст, Эрнст, как они мучают тебя, ведь это ужасно». Говорят, что и д-р Штрюнкман во время беседы с ним в Бланкенбурге застыл будто в столбняке, длившемся одну секунду, в некоем подобии ясновидения и, побледнев, сказал: «Келларис, я Вас больше не увижу, Вам предстоит нечто ужасное». Все это странно не вяжется с абсолютно трезвым и посюсторонним характером Келлариса. Но очевидно одно: этот человек мог сыграть значительную роль в немецкой истории, направив ее поток в единое русло, где бы власть и дух, нынче разделенные, сошлись в той мере, каковая придала бы им куда большую прочность и неприступность. Правда, демагоги обещали то же самое за меньшую цену, одновременно понимая, как он опасен. Ясно одно, что под его эгидой войны с Россией можно было бы избежать; может быть, войны вообще. И не дошло бы до этих ужасов с евреями, восстановивших против нас универсум.

Париж, 23 июня 1943

Днем у Флоранс. Она показала мне картины, заказанные ею для новой обстановки, среди них портрет лорда Мелвилла Ромнея, одного Гойю, одного Йорданса, несколько примитивистов, короче — маленькую галерею. Было занятно смотреть, как она приподнимает и показывает картины, расставленные вдоль стен, будто непринужденно осиливает

тяжести, превышающие человеческие возможности.

Завтрак, потом кофе в «малом бюро». Беседа о «Повороте» Фолкнера и «Записной книжке» Ирвинга.

Вечером поездка в Буа. У корней могучего дуба сидел самец жука-оленя, и именно та его разновидность, у которой рога уменьшены до размера щипцов. В Мардорфе, забытом болоте у озера Штейнхудер-Мер, в старых дубравах, я ловил превосходные экземпляры этого насекомого и всегда уповал на встречу с его мелкой породой. И вот наконец я вижу его — как он сидит на корне дерева, красновато поблескивая своими рогами в лучах закатного солнца и отряхивая с себя долго лелеянный сон. При таких зрелищах я каждый раз отчетливо сознаю, какое великое чудо явлено нам в животных, принадлежащих нам, как лепестки розы принадлежат ее чашечке, — они наша жизненная материя, наша праэнергия, отраженная в них, как в чистом зеркале.

Как всегда, когда прислушиваешься к тайне, попутно возникают и другие, непрошенные мысли. Я набредал на влюбленные парочки, населявшие мягкие сумерки леса в разных стадиях объятий. Там есть подлесок, состоящий из округлых кустов, с годами превратившихся в полые зеленые шары или лампионы. В эти беседки парочки составили желтые стулья, в изобилии разбросанные городскими властями по лесу. Можно было разглядеть, как особи обоего пола молча прижимались друг к другу по мере сгущения сумерек. Я проходил мимо великолепных по своей пластике групп, из которых мне запомнилась одна: мужчина, сидя на стуле, медленно поглаживал голени своей партнерши, стоявшей перед ним, и этими прикосновениями, направленными к бедрам, приподнимал ее легкое весеннее платье. Так после дневного зноя мучимый жаждой пьяница обхватывает пузатую амфору, направляя ее ко рту.

В этой битве я выступаю против цифр — за букву.

Париж, 25 июня 1943

В первой половине дня пришел д-р Гёпель, рассказавший о своем посещении дома, где умер Ван Гог. Там ему удалось поговорить с сыном врача, лечившего художника, он назвал и его имя, кажется д-р Гаше. Гёпель полагает, что в таких случаях духовно вялая среда скорее может предотвратить катастрофу, — хорошо, что Гёльдерлин попал к ремесленнику. Гаше был удивительно сдержан: «Никто не знает, что о нашей беседе напишут через пятьдесят лет». Это, пожалуй, верно, но неуправляемо; наши слова — броски, мы не знаем, в кого они попадут за высокой стеной времени. Особенно если нас окружают

великие индивидуальности; они — факелы, светящие во тьме забвения.

Потом пришел полковник Шаер. Разговор о Кирххорсте, где его сестра, еще до нас, сидела под арестом в доме священника. Здешняя так называемая служба безопасности, дабы шантажировать богатых французов, связалась, по-видимому, с французскими уголовниками; для начала им было поручено раздобыть фотографию, на которой бы их жертва изображалась в обществе масонов.

Шаер рассказал также, что последний налет на Западную Германию за одну ночь уничтожил шестнадцать тысяч человек. Картины поистине апокалиптические; огонь низвергался с неба дождем. Пожар вспыхнул от смеси фосфора с камедью, — смеси, охватывающей все живое неугасимо, неотвратимо. Говорят, что видели матерей, бросавших своих детей в воду. Этот ужасный подъем преступности вызвал некое подобие безумия; ожидают неслыханного возмездия, применения еще более изощренного оружия, находящегося уже в боевой готовности. Люди цепляются за надежду на новые средства, в то время как потребны лишь новые мысли, новые чувства.

Потом принялся за письма. Мне показалось, что снова, после долгого перерыва, я получил любовное послание от Огненного цветка, но тут же разглядел, что это почерк не ее, а ее матери. Та сообщала мне, что дочь ее умерла, и не где-нибудь, а в Париже! Я знал, что она стремилась в этот город и достигла своей цели, на этот раз не услышав во сне предупреждения — тьмерес: се смерть! Эта девушка, что написала мне сперва то странное письмо в Бурж, Капую 1940 года, вошла в мою жизнь романтическим видением. Взяв духовно за руку, она повела меня по своему саду, с его за́мком, где на флюгере развевалась надпись: «Делай то, что тебе нравится». Мы виделись несколько раз, за считанные годы она прислала мне сотни писем. Этот внезапный расцвет, это духовное раскрытие, как в оранжерее, явило собой зрелище, наблюдение которого могло заполнить менее занятого человека; тогда мне это казалось расточительством, но нынче я разгадал его смысл. Думаю, что найду его в стопках поспешно исписанной бумаги: в последнее время она искала настоящего читателя, доброго друга. И не ошиблась.

Было также письмо из Цвикледта от старого чародея Кубина, чьи астрологические знаки все более замысловаты и все более глубокомысленны. Это настоящие послания, идеограммы, вовлекающие глаз в сновидческие водовороты. В одном месте я, кажется, уловил кое-какой смысл: «— — в конце концов только

астральный театр, где наша душа представляет самое себя — — Я!!!»

Вечером, как теперь почти ежедневно, одинокая прогулка в Буа. Здесь я впервые увидел малого пестрого дятла, самого мелкого из данного семейства, и нашел его поведение полностью соответствующим тому превосходному описанию, которое дал ему Науман. Я поведал об этом Генриху Штюльпнагелю, всегда открытому для таких сообщений.

Может быть, мне бы стоило собирать материал для описания того исторического отрезка, когда бодрствовало мое сознание, т. е. с 1900 года до конца нынешней войны, — я мог бы воспользоваться своей собственной историей и тем, что видел и слышал от других. Правда, речь могла идти только о записках, на остальное у меня нет времени; да и молод я еще для этого.

Закончил Книгу Варуха, ее последняя глава знаменательна подробным описанием магических культов и идолопоклонничества. Она относится к тем текстам Писания, которые примыкают к миру Геродота.

Париж, 26 июня, 1943

У Грюэля. Общение с ним и беседа о сортах кожи и разновидностях переплетов всегда дает мне представление о позднем, изысканном расцвете ремесел. Какое удовольствие жить в городах, населенных людьми только такого типа! Может быть, именно таких людей создавал Тамерлан, добывая со всего света художников и мастеров, как разноцветных птиц для своих вольеров.

Потом в небольшой церкви Сен-Рок, на чьих ступенях я каждый раз вспоминаю Цезаря Бирото. Впрочем, и в нее вкраплен маленький символ Парижа — раковина улитки.

На набережных, у букинистов; поучительно уже одно прочтение многочисленных названий. С небольшими промежутками, теперь уже привычно, раздавалась сирена, на которую парижанин в своих повседневных заботах давно уже не обращает внимания.

Гуляя, размышлял о своей грамматике. Нужно как можно глубже вникнуть в звуки. Письменный текст создал слишком сильную зависимость языка от глаза, первично же язык связан со слухом. Язык есть *lingua,* язык, и, будучи написанным, он предполагает присутствие наиболее сильного слушателя, — слушателя духовного. *Orare* и *odorare*[144] деяние здесь одно и то же, на божественное присутствие указывает только приставка. Какое мощное различие между о — а и а— о — а!

Чтение: Гюеган, «Le Cuisinier Français»,[145] Париж, 1934.

«Coupez en morceaux la langouste vivante et faites-la revenir à rouge vif dans un poêlon de terre avec un quart de beurre très frais».[146]

Париж, 29 июня 1943

Клеменс Подевильс рассказал мне о Майоле, которого навестил в Баньюле и который, будучи восьмидесяти с лишним лет от роду, живет там жизнью скульптора и мудреца. Его третьим словом было: «Aquoi ca sert?»[147] Потом о Ли-Пинг. Особенность сиамских кошек состоит в том, что они больше привязываются к человеку, чем к дому, соединяя преимущества кошки с достоинством собаки.

Вечером приступ лихорадки; долго сидел в ванне, рассматривая новый каталог жуков Райттера из Троппау. Сухие латинизмы я изучаю теперь как ноты, но в голове вместо музыки рождаются краски. Сильный недостаток товаров и переизбыток насекомых способствуют в государстве повышению акций сушеных особей, — это тоже одно из удивительных последствий нашего экономического положения. В то время как основные ветви на древе экономики засыхают, начинают цвести самые отдаленные их верхушки. Об этом мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из специалистов по национальной экономике, переросших масштабы своей профессии и имеющих понятие о фиктивности денег. Нынче здесь многому можно было бы научиться, подобно тому как во времена деструкции понятней становится механизм общественной машины. Мы заглядываем в него, как дети внутрь разломанных игрушек.

Что же мы, люди, такое — с нашими отношениями в любви, нашей борьбой за верность, за благосклонность? Значение всего этого гораздо выше того, что мы знаем о нем, но мы угадываем его, испытывая страдания и переживая страсти. Суть дела в том, какую обитель мы разделим друг с другом в Абсолюте, по ту сторону царства смерти, до какой выси мы поднимемся все вместе. Этим объясняется и тот ужас, какой охватывает нас, находящихся между двух женщин, — ведь речь идет о спасении.

Гласные — внутренность чаши?[148] Гласный звук оправлен согласным; *согласный* — оправа невыразимого. Так плод служит оправой ядра, а ядро — зародыша.

Париж, 30 июня 1943

Бомбардировка Кёльнского собора. Его «дымные громады», как я прочитал в газете, «должны стать для немецкого народа маяком возмездия». Не означает ли это, представься случай, поджог Вестминстера?

Париж, 2 июля 1943

До полудня разные визиты, один из них — полкового священника, привезшего привет от ракетчика по имени Краус, который дружит с братом Физикусом и Валентинером, уже несколько дней как вернувшимся в свою студию. Кроме того, унтер-офицер Кречмар принес мне написанную им биографию Шиллера.

Как сообщает баллистик, Келларис в чрезвычайной опасности. Начали «чистить» тюрьму, где он сидит, но при первой же попытке расправиться с ним за него заступились начальник тюрьмы, священник, а также смотрители. Однако защита от коварных нападок, какую эти люди могут предложить больной и беспомощной жертве, весьма ограничена. Между прочим, сын этого самого Келлариса воюет в России.

Париж, 3 июля 1943

В Кёльне служат молебны под открытым небом, перед дымящимися развалинами церквей. Такое специально не выдумаешь, но я это предвидел задолго до начала войны.

Из писем, которые я получаю, многие окрашены в зловещие, эсхатологические тона, подобно воплям из нижних кругов водоворота, где уже видно скалистое Дно.

Перпетуя, 30 июня: «Что касается тебя, то я безошибочно чувствую, что из этого чудовищного Мальстрема ты выберешься невредимым; не теряй веры в свое истинное призвание».

Мальстрем Эдгара Аллана По — одно из величайших видений, прозревающих нашу катастрофу, и самое образное из всех. Мы погрузились в ту часть водоворота, где его темная математика, простая и захватывающая одновременно, становится видимой; движение, достигшее своей высшей точки, в то же время вызывает впечатление застылости.

Париж, 4 июля 1943

В сборнике приговоров военного суда, циркулирующего здесь в назидание, перемешаны разные решения.

Офицер безо всякой видимой причины расстреливает нескольких русских пленных и при допросе объясняет свой поступок тем, что его брата убили партизаны. Его осуждают на два года тюрьмы. Кньеболо, которому докладывают о приговоре, отменяет его, заменяя помилованием и объясняя свое решение тем, что в борьбе против зверей сохранить хладнокровие невозможно.

Другой офицер во время дорожной пробки забывает выйти из своего автомобиля, дабы вмешаться и повлиять на водителей, как

того требует предписание. Приговор гласит: два года тюрьмы и лишение чина.

Из этого противопоставления видно, что в сем мире шоферов достойно прощения, а что считается преступным.

Пожалуй, дело здесь не только в отсутствии духовного цветового зрения, как я долгое время считал; это справедливо только в отношении масс. Такие типы, как Кньеболо, по своей внутренней склонности исходят из идеи всеохватного убийства; по-видимому, они сами принадлежат миру мертвецов, оттого и стараются его заселить, запах трупов им приятен.

Закончил: Фритьоф Мор, «Далекая страна Африка», Берлин, 1940. Удовольствие от таких книг — как от хороших фильмов, но и неудовлетворенность остается та же. В съемке красок, форм и их движения есть что-то механическое, последовательность образов видится, как из окна автомобиля, то ускоряющего, то замедляющего свой ход. Таким способом описания фактов литература достигает уровня, до которого, собственно, может добраться всякий или, по крайней мере, большинство, как, например, большинство умеет фотографировать.

Впрочем, я все дальше отхожу от мнения, что такой вид технического реализма препочтительней, чем импрессионизм. И все же смена одного другим неизбежна.

Стилистически этому переводу с норвежского мешает слишком частое сочетание союза *когда* с настоящим временем. «Когда я достигаю вершины холма, то на опушке леса вижу антилопу». *Когда,* однако, указывает только на прошедшее время; этим союзом делают как бы первый мазок на картине прошлого. Относительно последования, отграничения и взаимодействия времен в языке жива еще добрая совесть, хотя сколько глаголов исчезли бесследно или сделались необычными в употреблении! Вместе с тем существует целый ряд средств и вспомогательных инструментов, при помощи которых сохраняется временная перспектива и архитектоника изображения, дабы, как этого требует Шопенгауэр в своих примечаниях о стиле, искусственно не поддерживать употребление глагольных форм.

Париж, 5 июля 1943

Приезд Бенно Циглера, коего я не видел почти целый год. Разговор о его издательстве, в противовес всем господствующим тенденциям превращенном в частное предприятие. Необходимые для этого переговоры и сделки он провел с большим искусством. В наши времена автоматизма всегда благотворно видеть кого-то, кто плывет наперерез течению или вообще против него.

Потом о ситуации. Все более отчетливо вырисовываются две

войны: одна из них идет на Западе, другая — на Востоке. Им соответствует разница в идеологии. Лучшее из всего, что Кньеболо может сегодня пообещать народу, — это продолжать войну вечно. Циглер упомянул и те слова, которые молодой Клемансо слышал, кажется, от Гамбетта:{156} «Не доверяйте генералам, они — трусы».

Беспокойный сон. Утром размышлял, как это часто со мной бывает, о разных авторах, среди них и о Леоне Блуа. Я представил его в небольшом пригородном доме, сидящим за письменным столом. Сквозь открытое окно виднелись цветущие на садовой дорожке каштаны и ангел, одетый в синюю форму письмоносца.

Париж, 6 июля 1943

У Флоранс. Рассказывали анекдоты. Недурна история, которую поведал Жироду об одном благодарном арестанте, избавленном лионским прокурором Дюпоном от гильотины и сосланном в Гайенн. Тот захотел прислать своему спасителю подарок. Но так как у него ничего не было, то он воспользовался дарами природы. Кроме того, как арестант он вообще не имел права отправлять посылки. Однажды в Марсель прибыл корабль с попугаями; один из них все время повторял: «Je vais chez maître Dupont a Lyon».[149]

Париж, 8 июля 1943

После завтрака читал 89-й псалом.[150] В нем мухе-однодневке удался ее самый величественный, самый трагический гимн.

Среди почты письмо от Грюнингера, он спрашивает, не хочу ли я с определенным заданием, приготовленным для меня генералом Шпейделем и касающимся бойцов Сталинграда, отправиться на Восток. Это подтверждает мой опыт: страны, к коим мы однажды прикоснулись, притягивают нас снова. Несмотря на то, что я даже не бросил в Пшиш монету, как обычно делаю это у пограничных вод. Когда же окажут свое действие те медяки, что я опустил у Родоса в Эгейское море, а у Рио — в Атлантику? Возможно, после смерти; тогда мы переселимся в миры всех морей и звезд, везде будем дома.

Вечером у д-ра Эптинга; у него я застал также Марселя Деа{157} и его жену. Разговор о третьей части дневника Фабр-Люса, опубликованного в обход цензуры и вызвавшего большое неудовольствие. У меня впечатление, что за этим последует история с полицией.

Деа, которого я видел впервые, выказал некоторые черты, замеченные мною у разных людей, но пока трудно определимые.

Речь идет о глубинных моральных процессах, отражающихся физиогномически и прежде всего на коже, делая ее то пергаментной, то словно обожженной, но в любом случае придавая ей огрубленный характер. Стремление к власти во что бы то ни стало ожесточает человека, и он легко становится жертвой демонической сферы. Эту ауру нельзя не почувствовать, особенно сильно я ощутил ее, когда мы вышли и он повез меня на своей машине домой. Двое кряжистых парней, где-то прятавшихся весь вечер, сидели теперь рядом с шофером, но и без них было ясно, что в этой поездке скрыт какой-то умысел. В дурной компании опасность теряет свое очарование.

Среди словесных фетишей, возникающих во время беседы с подобными личностями, особую роль играет словечко «молодежь», или «le jeunes», произносимое с тем же ударением, как прежде произносили «Папа». При этом неважно, действительно ли молодежь их поддерживает, — речь здесь идет, скорее, об апелляции к присущему юности сочетанию пламенной воли и ограниченной способности к суждению, в чем зачинщики беспорядков видят выгодное для них средство.

Чтение: большой глоссарий средневековой латыни Дю Канжа{158} — все три тома я приобрел на набережных за гроши. Здесь как бы путешествуешь по космосу отжившей свой век литературы. Потом снова полистал Шопенгауэра, к которому не обращался несколько лет и у которого нашел подтверждение приобретенному за эти годы опыту.

«Избавиться бы от иллюзии рассматривать породу жаб и гадюк как себе подобных, — тотчас стало бы легче».

Да, верно, но, с другой стороны, всегда нужно говорить себе, даже при виде ничтожнейших тварей: «Это — ты!»

Вот в этом и состоит моя вечная двойная роль — видеть одновременно и родство, и чужесть. Эта роль сковывает меня в действиях, сквозь образцы которых я всегда вижу мерцание неправды, и постоянно указывает мне на мою причастность тому непогрешимому праву, когда проигравший должен погибнуть. Именно поэтому я вижу вещи отчетливей, чем это потребно индивидууму, если, конечно, он не пишет историю, оглядываясь назад.

Париж, 9 июля 1943

Прощание с Бенно Циглером в «Кантоне». Он привез известие, что Фабр-Аюс сегодня арестован. О последних днях А. Э. Гюнтера, его мучительной агонии.

Перед смертью он сказал брату: «— — и все это при ясном сознании». Это имеет непосредственное отношение к страстям XX

века вообще.

В десять часов я брел по бульвару Пуассоньер, на котором всегда вспоминаю жулика, приставшего здесь ко мне. Характерно, что я тотчас же его раскусил, но глупейшим образом дал ему и «случайно» возникшему его напарнику себя обобрать, т. е., по существу, составил им компанию против себя же самого.

Как я сегодня узнал из бюллетеня распоряжений по пехоте, погиб генерал Рупп, этот маленький симпатичный меланхолик, командир дивизии, у которого я служил на Кавказе. Вообще известия о смерти моих знакомых множатся, как и известия о гибели их домов при бомбардировках.

Париж, 10 июля 1943

Постился. Чувствую, что искусственную жизнь этого города мне долго не выдержать. До полудня ненадолго в Сен-Пьер-Шаррон, моей черепаховой церкви, смертные врата которой я вновь нашел открытыми.

Разыгравшаяся несколько дней тому назад в центре Восточного фронта битва задает происходящему иной тон, своей сгущенностью для этих пространств необычный. Силы разбалансированы, движение благодаря этому исчезает, а огонь наращивает все более яростную силу.

После полудня на улочках вокруг бульвара Пуассоньер, чтобы снова покопаться в пыли прошлого. В уютной книжной лавке Пурсена, на рю Монмартр, с наслаждением рассматривал книги; за бесценок купил серию «Abeille»,[151] на первом томе старческой рукой энтомолога Режимбара было выведено посвящение.

Вечером разговор с Шери, венским музыкантом, о мелодии и ритме, рисунке и цвете, гласных и согласных.

День запомнился, поскольку англичане высадились в Сицилии. Это первое прикосновение Европы докатилось и до нас; мы вступили в фазу повышенной боевой готовности.

Чтение: «Les Bagnes»;[152] нашел там утверждение, что во время казни даже самый дикий и страшный из арестантов на прощание обнимал священника, сопровождавшего его. Священник присутствует здесь как *общий* человек, как тот единственный, который за всех нас поднял голос в 89-м псалме. Как таковой он — свидетель, облеченный достоинством, вознесшийся над виной и покаянием.

О словах: для *terrasser* в значении «низвергать», «швырять на землю» нам не хватает глагола соответствующей точности. Если говорить в общем смысле, то глаголы, образованные от существительных, выразительней; движение в них благодаря материальной, царственной силе существительного приобретает

более высокий чин. Так, *fourmiller* полнее, чем «кишеть», *pivoter* наглядней, чем «махать», и «брить бороду»[153] следует предпочесть глаголу «бриться».

Если посмотреть с обратной стороны, то существительные, образованные от глагольных форм, наименее выразительны. Так, «умирание» слабее, чем «смерть», а «рана» сильнее, чем «порез».

Париж, 11 июля 1943

Продолжаю поститься. Днем в городе, на улицах и площадях, бесцельно, как человек толпы, по-воскресному праздной. Ненадолго зашел в Нотр-Дам-де-Лоретт. Видел целый ряд благодарственных свечей, сделанных из стекла, а не как обычно из воска, огонь изображала остроконечная электрическая лампочка. Свечи стояли на столах со щелями для опускания монет; таким способом достигался контакт, дававший свечам гореть одну минуту или дольше, в зависимости от суммы опущенных денег. Я видел женщин, управлявших этими автоматами благочестия, ибо трудно подобрать более чудовищное слово, дабы должным лингвистическим образом удостоить происходящее.

В этой церкви охраняется дверь в келью, где сидел взаперти один из ее священников, аббат Сабатье, пока в 1871 году чернь не расправилась с ним.

Потом у Валентинера, вернувшегося сегодня в Э. На набережной видел два экземпляра старых песочных часов, к сожалению, они мне не по карману.

О Сицилии сведения скудные. Высадка удалась; остается ждать, приведет ли она к сооружению плацдармов. В целом исход этих боев считают прогнозом для исхода окончательного; Сицилия снова играет свою прежнюю роль стрелки на весах двух континентов, как это уже было в период Пунических войн.

Париж, 13 июля 1943

Беспокойная, нервозная ночь, предвестница воздушных налетов. Мне снились змеи, и какие-то все темные, черные, которые пожирали разноцветных, солнечных своих собратьев. Перед этими животными, играющими в сновидениях столь важную роль, я почти никогда не испытываю ужаса, так и кажется, что они обращаются ко мне всем, что в них есть живого, своим струящимся, быстрым, подвижным нравом, который прекрасно разглядел Фридрих Георг.

Серебряно блестя,
Как плоть гадюки,

Спешащей прочь, спешат
Ручья излуки.

Первозданная сила этих животных состоит в том, что они олицетворяют жизнь *и* смерть, а также добро *и* зло; стоило только человеку с помощью змеи обрести познание добра и зла, как он тотчас обрел и смерть. Поэтому вид змеи для каждого является сильнейшим переживанием — едва ли не более сильным, чем переживание сексуальное, с коим оно ведь и связано.

Главнокомандующий дал мне через полковника Космана знать, что ехать в Россию я пока не могу. Жаль, я с удовольствием бы проветрился и чувствую, что рецепт Цезаря — длинные марши — мне необходим.

Среди почты письмо от оберлейтенанта Гюллиха, в чьем полковом штабе на Восточном фронте культивируют «Мраморные скалы».

«— — Ночью, когда улеглась напряженность битвы и все ее кошмары были позади, мы, лежа в палатках, прочитали в „Мраморных скалах“ о том, *что,* собственно, пережили сами».

Днем встреча с молодым капитаном, который в Киеве укрывал меня своей шинелью. Удивительно, как разные фрагменты, разные ландшафты нашего существования переплетаются друг с другом, сливаются в одно. Мы несем в себе силу, созидающую образцы, и можно сказать: все, что мы переживаем, подобно рисункам на гобелене, соткано из *одной* нити.

Вечером у графа Бьевилля де Науйана, живущего на рю Сен-Пэр в доме, обставленном с величайшей тщательностью. Эти дома, которых в Париже, и особенно на левом берегу, все еще великое множество, похожи на тайные кладовые, хранящие старое добро; свечение внутри них совершенно удивительное. Правда, всем владеют вещи, которые служат только свечению, а не пользе, а потому и само бытование среди них призрачно, нереально. Эта мысль пришла мне в голову при виде старой шахматной доски с изящными фигурками, стоявшей на столе только для украшения.

Там я встретил критика Тьери Молнье,{159} мадемуазель Тассенкур и адмирала Селье, в котором есть что-то основательное, что свойственно большинству моряков этой жизнелюбивой нации. По его мнению, искусство во Франции не так индивидуально, как в Германии, поэтому в ней меньше или вовсе нет гениев, но зато гораздо больше дарований. По той же причине творческий порыв более коллективен, а его величайшим деянием, его лучшим творением является сам город Париж.

Разговор о маршале Лиотее,{160} Андре Жиде, Эркюле, Жанене,{161} Мальро и других. Потом о боях в Сицилии и о возможностях немецко-французского сближения. Я отчетливо вижу, как далек от идеи национального государства, и, участвуя в таких разговорах, становлюсь похож на Лихтенберга, который иногда, лишь упражнения ради, разыгрывал из себя атеиста, или на Жомини,{162} во время боя думавшего за Генеральный штаб противника. Люди сегодня под старыми знаменами борются за новый мир; они воображают, что находятся все еще в тех пунктах, откуда вышли. Но здесь не стоит слишком умничать, ибо заблуждение, в коем они пребывают, необходимо для действий — оно составляет их механику.

Позиция немцев выгодна для них, и выяснится это именно в случае поражения. Именно тогда вторичные преимущества отодвинутся на задний план, оставив только первичные, например преимущества недвусмысленного положения. Тогда и обнаружится, как удачно сказал Ривьер, что немцы — народ не «или — или», а «и то и другое». Они снова обретут два пути, вместо одного-единственного, как сегодня, на котором заблудились. Именно от них будет зависеть, повернется ли мир в XX веке на Восток или на Запад, или же здесь возможен синтез.

Париж, 15 июля 1943

Стиль. В таких сочетаниях, как «я бы хотел услышать Ваше мнение об этом» и им подобных язык из одной чувственной сферы недопустимо перескакивает в другую. Часто это зиждется на бездумном заимствовании какого-нибудь клише, и все же такая смена образов, если она порождена силой, может объемно выделить высказывание.

Париж, 16 июля 1943

До полудня в морском министерстве, где обсуждали обстановку. Тема: акция Penicion, т. е. отправка на юг всех имеющихся в распоряжении речных судов, чтобы обеспечить войска в Сицилии малым флотом, поскольку из-за воздушного и морского превосходства англичан отправка больших кораблей невозможна. Это достаточно красноречиво обрисовывает ситуацию.

Париж, 17 июля 1943

Обед с президентом. Краткий разговор с глазу на глаз о нашем пленнике.

Кофе у Банин, настолько «турецкий», что всю вторую половину дня у меня сильно колотилось сердце. Она дала мне

«Pilgrim's Progress» Беньяна и «Brave New World»[154] Хаксли,{163} которые достала специально для меня. Беседа, сначала о гаремах, потом о Шопенгауэре и профессоре Залманове, наконец, об области чувств в империи языка — тема, меня активно занимающая. В связи с этим она сказала, что по-русски говорят: «слышать запах».

Турок вместо «Он приковал взгляд к такому-то предмету» скажет: «Он его пришил». Я попросил ее поохотиться для меня за словами, мне вообще нужны сотрудники для моего замысла. В качестве названия я мог бы предложить: «Метаграмматика» или «Метаграмматические экскурсы».

Идти назад было невыносимо жарко; от зноя улицы притихли. Сквозь витрину рассматривал внутренность маленькой антикварной лавки на улице Лористон. Среди предметов старинной мебели, картин, стекла, книг и разных редкостей в бархатном кресле сидела продавщица — красивая молодая женщина в шляпе из перьев — и спала. В ее сне было что-то гипнотическое — ни грудь, ни ноздри не шевелились. Я как бы заглядывал в некий заколдованный кабинет, предметы в котором, казалось, бесценны, но и сама спящая была как бы превращена в предмет, в заводную куклу.

Послеполуденное время вообще было отмечено каким-то чародейством; например, мне показалось, что в магазине немецких книг, когда я туда вошел, продавщицы встали против меня единым фронтом, — подобное в своей жизни я испытывал считанные разы. Как во сне я поднялся по лестнице в другие помещения, не задумываясь о том, открыты ли они для посетителей, и вошел в комнату, где на столе лежали журналы. Я их полистал, сделав несколько заметок на полях против иллюстраций, привлекших мое внимание. Затем вернулся в магазин, где стайка продавщиц рассматривала меня с исключительным любопытством. Я слышал, как одна спросила: «Что он там наверху делал?»

Полистал «Dictionaire de la Langue Verte»[155] Дельво, Париж, 1867. Там нашел толкование «Бреда-стрит» как парижской Цитеры, где вот уже свыше двадцати лет обитает женское население, «dont les moers laissent à désirer — mais ne laissent pas longtemps désirer».[156]

«Бисмаркер» на жаргоне игроков в бильярд означало дуплет, слово появилось в мае 1866 года.

Donner cinq et quatre, раздать пять и четыре, означает одну из тех экономических пощечин, которыми бьют сначала направо, а потом налево, т. е. туда — ладонью, а обратно — тыльной стороной той же руки. Во второй пощечине большой палец не

участвует. Если проделка повторяется дважды, то говорят: *Donner dix-huit.* [157]

Париж, 18 июля 1943

Ночью не спал, прочитав первые главы «Паломничества» Беньяна. Кофе Банин все еще действовал. В полночь снова зажег свет и записал, сидя в постели, следующее.

Я заметил, что особенно сержусь на людей, которые позволяют себе несостоятельные суждения и при этом изо всех сил доказывают свою правоту. Дерзкое упорство или самоуверенность, это относится и к пропаганде, таит в себе нечто такое, что я поначалу принимаю всерьез; мне трудно поверить, что за аргументами не скрывается ничего, кроме чистого воления.

Когда же, нередко по истечении многих лет, начинают говорить факты, они больно жалят меня; я вижу, что дал обмануть себя обычным сутенерам, безвкусным пятикопеечным молодчикам сиюминутной власти. Продажную девку они нарядили истиной.

К тому же у них отсутствует всякое чувство духовного стыда; им знакома только *та* краска, которая сопутствует оплеухам. Поэтому они не перестают продажничать, угодничая на новый манер, и охотнее всего — перед теми лицами и властями, коих сами же ценят и считают истинными. Особенно горько слышать, как эти пройдохи из чистого оппортунизма восхваляют правду.

Мне кажется, что если я и приближаюсь к Абсолюту, то в своей любви к истине. Я могу преступать законы морали, могу невольно перечить ближним, но от того, что считаю настоящим и истинным, отступиться не могу. В этом смысле я похож на юношу, который, возможно, и согласен жениться на богатой старухе, но в брачную ночь, несмотря на все стимуляторы, потеряет мужскую силу. Неподвластные воле мускулы моего духа отказываются мне служить. Для меня истина похожа на женщину, чьи объятия обрекают на проклятие импотенции по отношению ко всем остальным. Только в истине заключена свобода и поэтому — счастье.

Оттого и теология доступна мне лишь в сочетании с познанием. Бога я должен сначала доказать, прежде чем в него поверю. Это значит, что назад я должен вернуться тем же путем, на котором я Его оставил.

Прежде чем всей своей сущностью и без оглядки ринуться через поток времени к другим берегам, я должен перебросить к ним духовные мосты, проделать деликатнейшую разведывательную работу. Лучше бы это было даровано милостью, но она не соответствует ни моему положению, ни

моему чину. В этом есть свой смысл; я предчувствую, что именно своей работой, своими арками, каждую из которых от самого основания укрепляет и делает проходимой контригра сомнений, что именно этим своим радением я смогу помочь кому-нибудь перебраться к добрым берегам. Иной, возможно, умеет летать или, взяв доверившегося ему за руку, может вести его по воде, но эон, кажется, таких не рождает.

Что касается нашей теологии, то она должна довольствоваться малым и сообразовываться с поколением, чья элементарная сила ослаблена. С давних пор наша вера жива для всякого, кто умеет распознавать силы, в биологии, химии, физике, палеонтологии, астрономии проявляющиеся решительней, чем в церквах. То же самое относится и к философии, разделившейся на отдельные науки. Путь этот, безусловно, ложен; отдельные дисциплины вновь должны очиститься как под теологическим, так и философским воздействием, и именно ради самих себя, дабы из простого мировоззрения снова сделаться наукой. Теологические и философские элементы следует выделить как золото и серебро; золото — теология — придаст наукам устойчивость и задаст курс, наложив на них также узду, поскольку хорошо известно, куда ведет необузданное познание. Оно, подобно колеснице Фаэтона, поджигает земной шар, а нас или наш образ превращает в мавров, негров и каннибалов.

Добавление: как-то в Бразилии, после напряженной охоты за насекомыми в горных лесах, ночью на корабле я разбирал свою добычу. Случилось так, что, записывая названия мест, я ошибся на один день, т. е. вместо 15-го поставил 14 декабря 1936 года. Тогда, хотя это ровным счетом ничего не меняло, я заново переписал сотни бумажек.

Во время беседы я часто умолкаю, ибо, прежде чем произнести фразу, я ее оттачиваю, выравнивая и вооружая против всех сомнений и возражений. Из-за этого я проигрываю своим партнерам, которые свое мнение чуть ли не выпаливают.

Если беседа ладится, то во время нее часто возникает особая задушевность, эмоциональная гармония. Тогда я замечаю у себя склонность — даже в семейном кругу, даже по отношению к Фридриху Георгу — не задерживаться подолгу на этой ноте, уйти поскорее из этой гавани, либо используя новый, еще не взвешенный аргумент, либо придавая всему иронический оттенок. Эта черта делает меня невыносимым на любых встречах и сборищах — смысл которых, собственно, как раз и состоит в создании единодушия, — исключая, таким образом, из заседаний, заговоров и политических собраний. Особенно неприятно, когда я

сам становлюсь фигурой, к коей приспосабливается всеобщее настроение; умеренное, критическое уважение или обоснованное признание мне было всегда приятней, чем восхищение. Восторгам я никогда не доверял. Те же самые чувства я испытываю, читая критику на свои книги; детальный разбор или обоснованное несогласие мне любезней, чем похвала. От нее мне становится неловко, но и неоправданное поношение — из-за личной ли неприязни или просто из желания покритиковать — причиняет мне боль и преследует меня. Если критика доброжелательна, то она мне, напротив того, приятна. При этом у меня нет потребности вступать в дискуссию: что если прав именно мой оппонент? Критика, касающаяся дела, не задевает личности; она похожа на молитву, произносимую рядом, когда сам стоишь лицом к алтарю. Дело ведь вовсе не в том, чтобы правым оказался я.

Последняя фраза объясняет также причину, по которой я не стал математиком, как мой брат Физикус. Окончательное удовлетворение дает не точность прикладной логики. Высшая правда, справедливость, не может быть доказуемой, она должна оставаться спорной, К ней следует стремиться в формах, к коим мы, смертные, можем приблизиться, но не можем осуществить их полностью. Это уводит в области, где не мера, а неизмеримость украшает мастера, ведя его на встречу с мусическим.

Здесь же меня, прежде всего, приковывает служение слову и работа с ним, те тончайшие усилия, которые все ближе подводят слово к пограничной с ним мысли, отделяющей его от невыразимого.

Но и здесь скрыта тоска по соразмерности, присущей универсуму, — читатель может разглядеть ее сквозь слово, как сквозь окно.

После полудня в Зоологическом саду. Там я наблюдал за развитием цветовой игры — от глубокой ляпис-лазури до золотисто-зеленых и золотисто-бронзовых тонов, которые выставлял напоказ самец особенно роскошной павлиньей породы. Пена золотисто-зеленой бахромы овевала сказочный наряд из перьев. Сладострастие этого существа проявляется в безупречном параде, в чванстве своими прелестями; достигнув кульминации спектакля, он переходит к дрожанию, к тонкому судорожному побрякиванию и постукиванию стержнями своих перьев как бы под действием электрического озноба, словно кто-то потряхивает колчаном с роговыми стрелами. В этом жесте выражен восхитительный трепет, но в то же время автоматизм и судорога страсти.

Затем парк Багатель, где цвела Lilium Henryi.[158] Опять видел

золотого язя. Теплынь стояла замечательная.

Закончил: Морис Алуа, «Les Bagnes», Париж, 1845, с иллюстрациями. Для старых тюрем преступник значил больше, чем преступник; к нему подходили с понятиями, не выходящими за пределы его сферы. Поэтому жизнь его была более суровой, но и более естественной и цельной, чем жизнь преступников в наших сегодняшних тюрьмах. В основе всех исправительных схем, всех социально-гигиенических учреждений лежит особая форма изоляции, какая-то особая жестокость. Настоящее несчастье отличается глубиной, оно субстанционально; бытию, внутренней природе свойственно и злое начало, нельзя по-пуритански от него отворачиваться. Зверей можно сажать в клетки, но непозволительно приучать их к цветной капусте, их все равно следует кормить мясом. Нужно отдать должное французам — у них нет этого пуританского воспитательного зуда, свойственного англичанам, американцам и большинству немцев; в их колониях, на кораблях, в их тюрьмах все гораздо естественнее. Они предоставляют всему идти своим чередом, а это всегда приятно. Той же природы и недостаточное соблюдение гигиены, в котором их упрекают; но, несмотря на это, живется у них удобней, спится лучше, а еда гораздо вкусней, чем в дочиста продезинфицированных ландшафтах.

Курьезом было для меня то, что еще незадолго до 1845 года в брестской тюрьме арестанту, смотревшему за бельем, для стирки предоставлялись сточные воды уборных. Он стирал рубашки в моче, которой, говорят, присуща очищающая сила, и использование ее, по-видимому, имеет глубокие этнические корни. Книга вообще дает богатый материал для изучения хищнических, звериных черт в человеке, не забывая упомянуть и его светлые стороны, например такие, как явно выраженное добродушие и вспышки благородного инстинкта. Тюрьмы всегда были своего рода государствами, и изучение их весьма впечатляет: если бы мир населяли одни преступники, то и тогда бы выработался закон, дабы не дать миру погибнуть. Впрочем, история исправительных колоний эту мысль подтверждает.

Париж, 20 июля 1943

Днем у Флоранс. Кокто рассказал, что был на процессе против одного молодого человека, обвиняемого в краже книг. Там было редкое издание Верлена, и судья спросил:

— Вам известна стоимость этой книги?

На что обвиняемый ответил:

— Стоимости не знал, но я знал ей цену.

Среди украденного были книги и самого Кокто, и следующий вопрос гласил:

— Что бы Вы сказали, если бы у Вас похитили книгу, которую написали Вы сами?

— Я бы этим гордился.

Беседа, в том числе с Жуандо, о курьезах различного сорта. Нарциссизм павлина, восхитивший меня в воскресенье, был ему знаком; но такие разряды слышны только в сухую погоду. Очищающее действие мочи, о коем сообщала книга про тюрьмы, основывается, очевидно, на содержащемся в моче аммиаке. На Востоке кормящие матери чуть-чуть вкушают от мочи младенцев, — это полезно для молока.

Кокто уверял, что в Индии один факир с расстояния в двадцать футов спалил его носовой платок и что тамошние англичане в неотложных случаях пользуются телепатической передачей известий через туземцев, действующих быстрей, чем радио.

В охотничьих магазинах продаются свистки такого высокого тона, что его не способно воспринять ни наше ухо, ни звериное, но собака различит на большом расстоянии.

У Флоранс в больших вазах стояла прекрасная живокость, pied d'alouette.[159] Некоторые ее виды достигают металлических тонов, у цветов встречающихся весьма редко, как, например, сине-зеленый и сине-фиолетовый небывалой красоты. Синий цветок словно залит огненно-зелеными или фиолетовыми чернилами, засохшими на нем зеркальным блеском. Эти цветы, как и аконит, следовало бы выращивать только голубых тонов, — они наиболее эффектны.

После полудня в бюро: встреча с президентом. Затем Эрих Мюллер, опубликовавший в свое время книгу о «Черном фронте»; сейчас он ефрейтор противовоздушной обороны в Сен-Клу. Беседа о Келларисе и его аресте.

Париж, 25 июля 1943

Почему с интеллигентными и утонченно интеллигентными людьми мне общаться проще и я веду себя с ними раскованней, вольнее, беззаботней, менее осмотрительно? Они действуют на меня тонизирующе. На них простирается «all men of science are brothers»;[160] в понимании друг друга, в обмене свободными, легкими мыслями есть что-то братское, словно все они являются одной семьей. Для меня и враг, если он интеллигентен, не так опасен.

Но сталкиваясь с глупцами, с теми, кто знает только общие места и живет ими, кто одержим пустой внешней заботой выстроить весь мир согласно табелю о рангах, я делаюсь неуверенным, беспомощным, совершаю просчеты, говорю

глупости.

К сожалению, мне не хватает здесь дара лицедейства. Перпетуя тотчас может определить, как повернется дело, когда у меня посетитель. «Кто имеет, тому дано будет», — это и моя максима.

«Таково было положение, в котором я находился». Образец многочисленных погрешностей, простительных в устной и недопустимых в письменной речи.

Cependant, как и наше «между тем», имеет и временной, и противительный смысл. Здесь проясняется одно из соответствий грамматики и логики: два одновременных события — по крайней мере в восприятии — всегда отчасти исключают друг друга.

Париж, 26 июля 1943

До полудня визиты; например, некоего майора фон Услара и оберлейтенанта Кучера, прибывшего из Голландии. Кучер привез мне письмо от Генриха Тротта, странный ночной визит которого тогда, в дачном домике Юберлингена, посреди виноградника, повлиял на мою концепцию «Мраморных скал».

Вечером с Альфредом Тёпфером в саду дома офицеров на рю Фобур-Сент-Оноре. Сначала поговорили о Келлариссе, а потом пошли в сад, сели на одинокую скамейку и стали обсуждать ситуацию. Тёпфер, как в последнее время многие, обратился ко мне с предложением: «Вам надо подготовить воззвание, обращенное к молодежи Европы».

Я рассказал ему, что зимой 1941/42 года я уже делал наброски под таким заголовком, но потом сжег их. Снова вспомнил о них уже в «Рафаэле». «Мир/Обращение к европейской молодежи/Обращение к молодежи всего мира».

Париж, 27 июля 1943

Начал воззвание, разделив его на тринадцать частей, — все это заняло полчаса. Нужно писать доступно и просто, но без общих мест.

Париж, 28 июля 1943

Работал над воззванием. Набросал план первого отрывка, что-то вроде напутствия, имеющего свои трудности, ибо с самого начала следует задать общий тон и при этом быть эмоциональным. Пишу не так, как при первой попытке, зашифрованно, а открытым текстом.

При написании слова *юность* осознал ликующее благозвучие первого слога, такое же, как в Jubel, jung, Jul,[161] iucundus, iuvenis, iungere, coniungere,[162] во многих возгласах и в именах

богов. Древний праздник *ютурналий.*

Вечером в «Ваграме», с директором министерства Экельманом, полковником Кревелем, графом Шуленбургом, главой управления Силезии. Кревель, недавно минут двадцать проведший с глазу на глаз с Кньеболо, определил его взгляд как «мерцающий», пронизывающий человека насквозь и явно принадлежащий личности, стремительно идущей навстречу катастрофе. Я обсудил воззвание с Шуленбургом, считавшим, что мне лучше отправиться с верховным командованием вермахта в Берлин. Но я думаю, что такого убежища, какое верховная власть предоставила мне здесь, там я не найду. Кейтель еще тогда советовал Шпейделю меня остерегаться.

Популярность — болезнь, вероятность угрозы ее перехода в хроническую форму увеличивается с возрастом пациента.

Париж, 29 июля 1943

Обширная корреспонденция. Фридрих Георг отвечает на мой вопрос о дрожании павлинов, отсылая меня к одному месту своего стихотворения о них:

Хвост — колесо,
А перья — как пружины,
Упругие до гула,
Похожего на прутьев
Дребезжанье.

Брат разыскал по моему поручению священника Гориона; после того как его коллекции сгорели в Дюссельдорфе, он переехал в Юберлинген. С января он уже снова собрал тысячу четыреста видов жуков. Сгорел, к сожалению, дом Гекке, но спасти коллекции ему удалось. Из Гамбурга и Ганновера сообщают о новых ужасах… От фосфорных налетов начал гореть асфальт, так что пытавшиеся спастись вязли в нем и сгорали до углей. Настали дни Содома. Перпетуя пишет, что населению спешно выдали противогазы. Житель Буржа сообщает, что перевод «Садов и улиц» пользуется у них успехом и о нем много говорят.

Закончил: Хаксли, «Brave New World». На примере этой книги видно, что все утопии изображают, по существу, время, в какое жил их автор, — они представляют собой игровые проявления нашей натуры и рисуют ее развитие в пространстве более значительной резкости, именуемом будущим. Утопии чаще всего оптимистичны, поскольку будущее и надежда по сути своей одно и то же; но в данном случае перед нами — утопия

пессимистическая.

Значительным мне показался следующий образ: группа из пяти небоскребов сияет в ночи, как длань, подъявшая свои персты для прославления Бога. Но об этом не подозревает ни один из цивилизованных атеистов, населяющих эти небоскребы; об этом знает только дикарь, попавший сюда из джунглей.

Париж, 30 июля 1943

Наконец-то известие от Перпетуи. Налет на Ганновер произошел в полдень, когда она работала в саду. Ребенок испугался и прочел длинную молитву. Центр города опустошен; разрушены Опера, Leineschloß, Marktkirche,[163] а заодно большая часть старых переулков с домами в стиле Возрождения и барокко. Пока неизвестно, что случилось с ее родителями.

Я никогда так ясно не сознавал, как теперь, читая эти строки, что города — как сновидения. Их можно легко стереть, когда наступает рассвет, но в нас они продолжают жить на неслыханной глубине, в неразрушенном пространстве. Переживая это и другие события последних дней, я испытываю чувство, словно вижу великолепно разрисованный занавес перед охваченной пламенем сценой; но именно он и раскрывает глубину, перед неприступностью которой я содрогался.

Как бы странно это ни звучало, но в утрате есть глубокая радость, как предвкушение того счастья, что настигнет нас в последней земной потере, — в утрате жизни.

Днем у Потара, все еще ничего не знающего о судьбе своей жены. Говорят, что лемуры на авеню Фош обозначают такие судьбы «как действия морской волны». Полная неизвестность, в которой держат членов семьи, основывается на изданном Кньеболо указе «мрака и тумана». Это всего лишь пробы некоего гротескного жаргона шулеров и демонов — заимствования из выкрутасов Иеронима Босха.

«Кто на такое способен, тот не любит Германию», — полагает добряк Потар, и, пожалуй, он прав.

Париж, 1 августа 1943

Суббота и воскресенье с главнокомандующим в Во-ле-Серне, где в эту непомерную жару было прохладно.

На озере и в его густых камышовых зарослях, откуда мы с Венигером наблюдали за растительностью и живностью. Здесь царила тропическая духота, задающая тон подобным болотным экспедициям.

Говорили о разных людях, на них у Венигера особая память, Его голова — энциклопедия имен. Также о Ганновере и гвельфах,

которых я решил упомянуть в своем воззвании. Мое политическое нутро похоже на часы с колесиками, действующими вразлад: я и гвельф, и пруссак, и великогерманец, и европеец, и в то же время космополит, но могу представить себе такой полдень на циферблате, когда все это будет звучать в унисон.

Вечером разговоры о ботанике, к которым у главнокомандующего особая склонность. Описание Hottonia palustris, кратко представленное мне таможенным начальником Лоттнером, возбудило во мне желание когда-нибудь понаблюдать над этим растением на одном из болотистых участков. Никогда не видел и багульника.

Wille и *Wollen:*[164]во втором есть призвук чего-то морального и благоразумного, это один из примеров могущества *O.* Оно усиливается в повторяющейся эвфонии: *Wohlwollen,*[165] в то время как *Wohlwillen*[166] режет слух.

Pondre, «клясть», — к нему нет у нас такого сочного существительного, как *la ponte,* которое в лучшем случае можно перевести как «откладывание яиц». Реальные языки сотканы довольно-таки небрежно.

Tailler un crayon, наше «точить карандаш», напротив того, точнее, удачней.

Париж, 2 августа 1943

Среди почты — детский рассказ Александра о налете на город.

После полудня, как всегда по понедельникам, час у мадам Буэ; обсуждали предлоги. Удивительно, что древнее *en* перед городами, начинающимися с гласных, сохранилось только для Авиньона — не потому ли, что этот город считался государством? Кажется, уже Доде потешался над этим «en Avignon».[167] В старинном духовном за́мке языка такие единичные случаи похожи на куски старинной кладки, просвечивающие сквозь штукатурку.

В прихожей мадам Буэ сказала: «Я молилась, чтобы Кирххорст остался цел».

Водяные растения в Серне, мерцавшие на дне темной зеленью. Они похожи на растительность из сновидений; тихая вода — их сон. Когда мы днем вспоминаем подробности нашего сна, то словно видим поверхность цветка, лепестка или усика. Тогда мы беремся за них, извлекая на свет их мокрое, темное, ветвящееся произрастание.

Париж, 3 августа 1943

Письма принимают апокалиптический характер, какого не

было со времен Тридцатилетней войны. Кажется, что в таких положениях потрясенный человеческий разум теряет чувство земной реальности; он попадает в космические вихри и ему открывается новый мир гибельных видений, пророчеств и сверхчувственных образов. Удивительно, что на небе еще не вспыхнуло знамение, как это обычно бывает в переломные времена. Но, может быть, в качестве предвестницы мирового пожара нам подойдет комета Галея?

Продолжил работу над воззванием, начал и закончил сегодня вторую главу: «Страдание должно быть плодоносным для всех».

Париж, 4 августа 1943

Завтрак у Флоранс Гульд. Утверждают, будто налеты последних дней на Гамбург унесли жизнь двухсот тысяч человек, что, по-видимому, сильно преувеличено.

Флоранс привезла из Ниццы известие, что в полночь там объявили об отречении Муссолини. Еще до рассвета отряды сжигали его портреты. Хотя иного я и не ждал, все же удивительно, как бесславно, беззвучно и безгласно подобная диктатура, построенная на страхе, переходит в ничто.

Геллер, к моей радости, сообщил, что благодаря тем сведениям, какие я дал главнокомандующему, Фабр-Люсу смягчили тюремный режим. И суд, перед которым он должен предстать, тоже весьма приличный.

Париж, 5 августа 1943

Как уже не раз бывало во сне, я находился на балаганной или ярмарочной площади. Я переходил ее с маленьким слоненком, на котором то ехал, то просто вел его, положив левую руку ему на шею. Из всех картин я запомнил вид открытого поля, где были устроены клетки для хищных зверей. Стояло холодное, туманное утро, и, чтобы защитить зверей, смотрители лопатами громоздили вокруг них горы разного железа, какие-то куски, похожие на обрывки цепей и ржавые магниты, и все они были до того раскалены, что их движение пронизывало туман оживленным мерцанием.

Я поглядел на этот способ обогрева вскользь: он был мне знаком во всех технических подробностях. Здесь использовался материал, который не нужно было сжигать, как уголь, но который излучал радиоактивную теплоту.

Закончил: «Записная книжка» Вашингтона Ирвинга, одно из произведений великой литературы, коего я до сих пор не читал. Я нашел там отрывки, сильно захватившие меня, и другие, для меня поучительные, как, например, описание английского характера

под названием «Джон Буль». Я сделал выписки для своего воззвания.

При упоминании Якова I Шотландского, долгие годы своей юности бывшего узником Виндзора, называется также Боэций; действительно, в тяжелые времена читать его особенно утешительно. Это я испытал у Западного вала в камышовой хижине.

Здесь же нашел удачное замечание о некоторых выскочках: «Скромность других они объясняют собственным высоким положением».

Париж, 6 августа 1949

До полудня работал над воззванием, а именно над третьей главой, где следует написать, что семенем, из коего война произрастит плоды, является жертва. Наряду с солдатами, рабочими, невинными страдальцами я не могу умолчать и о жертве тех, кто погиб в результате кровожадной и бессмысленной бойни. Именно на них, как когда-то на замурованных в сваи моста детях, будет построен новый мир.

«Побледнеть сильней» — выражение, справедливо раздражающее меня. Язык, подпавший под власть логического опрощения, я все упрямей стараюсь использовать согласно с его образной системой. Нужно вообще вернуться назад, в образы, чей логос является лишь их отсветом, внешним блеском. Язык — древнейшее и благороднейшее здание, пока еще сохранившееся, наши история и предыстория запечатлелись в нем своими тончайшими жизненными чертами.

В обеденный перерыв снова в Музее человека. Кто более жесток: дикарь, отделывающий черепа поверженных врагов с художественной тщательностью, разрисовывая их, протравляя разноцветными линиями, заполняя глазницы ракушками и кусочками перламутра, или же европеец, собирающий эти черепа и выставляющий их напоказ?

Вновь отчетливо осознал, насколько материя, в частности камень, обогащается ручной работой. Это проникновение внутрь — пожалуй, даже одушевление — ощутимо физически, во всех первоначальных ремеслах чувствуется волшебство искусства. Сегодня едва ли сыщется подобное, если только не в отдаленных китайских провинциях или на самых дальних островах, — и то лишь там, где живы еще художник, знающий, что такое цвет, и автор, понимающий, что такое язык.

В Музее человека меня всегда охватывает сильное желание потрогать вещи, — желание, которое я никогда не испытывал перед другими коллекциями. Радует и то, здесь часто видишь

мальчишек в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет.

Вечером с Нойхаусом и его зятем фон Шевеном в «Coq Hardi», [168] Беседа о дипломатах первой мировой войны, таких как Кидерлен-Вехтер, Розен, Хольштайн и Бюлов, с коими Шевен близко знаком. Здесь имеют значение мельчайшие детали, равнозначные открытию космической шахматной партии.

В Германии растет число участников секты под девизом «Наслаждайся войной, ибо грядущий мир ужасен». Вообще во всех толках о том, что будет дальше, я разглядел два сорта людей: одни считают, что в случае проигранной войны они жить не смогут, в то время как другим перспектива поражения кажется вполне вероятной. Может быть, правы и те и другие.

Париж, 7 августа 1943

Писал воззвание, начав четвертую главу, где собираюсь продолжить рассуждения о жертве. Хочу сопоставить четыре слоя, все более и более плодотворных:

жертву активно действующих, т. е. солдат и рабочих обоего пола, жертву обычных страдальцев, усиленную жертвой гонимых и замученных, и, наконец, жертву матерей, в которую каждая из предыдущих вливается, как в глубочайший резервуар боли.

После полудня изучал улицы за Пантеоном, бродил по рю Муфтар и боковым переулкам, где еще что-то сохранилось от суеты перенаселенных предреволюционных кварталов XVIII века. Там продавалась мята; это пробудило во мне воспоминания о странной ночи в мавританских кварталах Касабланки. Рынки всегда полны всяких неожиданностей для человека, они — страна мечты и детства.

Вновь испытал сильное чувство радости, благодарности за то, что этот город вышел из катастрофы невредимым. Было бы настоящим чудом, если бы он, подобно нагруженному по самый верх древней богатой кладью ковчегу, спасся от нынешнего потопа и, достигнув мирного порта, пребыл в веках.

Париж, 10 августа 1943

Днем у Флоранс, где беседовал с главным конструктором Фогелем о нашей авиационной индустрии. Несколько месяцев тому назад он предсказал, что пришло время, когда возросшее строительство ночных бомбардировщиков сделает налеты на город регулярными, — а если авиаэскадры пожалуют средь бела дня? Поговорили о фосфоре как оружии уничтожения; кажется, мы владели этим средством уже в период нашего превосходства, но отказались от его применения. Это можно рассматривать как заслугу, что, учитывая характер Кньеболо, довольно странно.

Фосфорная масса доставляется в больших глиняных сосудах и представляет собой для пилота опаснейший груз, ибо достаточно одной искры, чтобы превратить самолет в пылающую массу, откуда уже не выбраться.

Вечером у Жуандо, на столь уютно расположенной улочке Командан Маршан на краю Буа. Однако вначале я застал только его супругу, знаменитую Элизу, героиню большинства его романов, женщину демоническую и обладающую сильным характером, пожалуй, даже слишком сильным для нашего времени. Жуандо охотно сравнивает свою жену с камнем — то со скалой Сизифа, то с утесом, с которого тот низринулся. Мы с ней немного побеседовали, в ходе беседы она выделила понятие dégénéré supérieur,[169] применимое к большинству сегодняшних французских писателей: мораль и плоть уже переступили порог декаданса, в то время как дух отличается силой и высокой зрелостью. Так, часовой механизм слишком слаб для сильной пружины, которая им движет, и именно это порождает многие непристойности и извращения.

Около десяти часов пришел Жуандо и составил мне компанию для прогулки по улицам вокруг Этуаль. Высокое и зеленое, как стекло, небо светилось на западе тем холодным светом, который сменяет вечернюю зарю. Легкие облака, окрашенные в жемчужно-аметистовые и серо-фиолетовые ночные тона, обрамляли его. «Voilà un autre Arc de Triomphe»,[170] — сказал Жуандо. Мы прошли также мимо того места, где я, из чистого озорства, познакомился с мадам Л., дабы проверить рецепт Мориса, коего могу считать одним из своих учителей по части зла. Так, пока мы бродим по городским лабиринтам, вновь оживают ушедшие времена, словно дома и улицы обретают свои краски, одушевляясь и пестрея в калейдоскопе воспоминаний. Жуандо согласился со мной и сказал, что отдельные площади и улицы он буквально посвящает памяти определенных друзей. Мы прошлись по авеню Ваграм, которую, с ее освещенными красным светом кафе, куртизанками и боковыми улочками, заполненными маленькими Hotels de Passe,[171] он определил как диковинный остров в столь респектабельном 16-м районе, — как разноцветно воспаленную вену в сплетении его улиц.

Париж, 11 августа 1943

Ночью оборонительный огонь, направленный против бомбардировщиков, на большой высоте возвращающихся после обстрела Нюрнберга, растянулся на долгие часы. Утром главнокомандующий пригласил меня к себе и подарил прекрасный труд по ботанике. Потом зашел оберлейтенант

Зоммер, побывавший в Гамбурге. Он рассказал, что там видели вереницы поседевших детей, маленьких старичков, состарившихся за одну фосфорную ночь.

Дописал четвертый раздел воззвания, — работа хоть и медленно, но продвигается. Обе его части можно обозначить как фундаментальную и конструктивную; в первой излагается причина жертвы, во второй — новый порядок, который может быть на жертве устроен. В первой части мне лишь с большим трудом удается не впадать в обыкновенную жалостливость, в связи с чем надеюсь, что во второй мое перо станет более независимым.

Вечером с Баумгартом две партии в шахматы. Краузе, во время налета и сразу после него остававшийся в Гамбурге, сообщает, что видел там примерно двадцать обугленных трупов, друг подле друга, как на гриле, прислоненных к перилам моста. Залитые фосфором люди бежали, чтобы броситься в воду, но, не успев, превращались в угли. Кто-то видел женщину, в каждой руке державшую по обугленному трупу ребенка. Краузе, у которого в сердце вросла пуля, проходил мимо дома, с чьей низкой крыши стекал фосфор. Он слышал крики, но прийти на помощь не мог, — все это напоминает адское видение, кошмарный сон.

Париж, 13 августа 1943

Иногда я встаю на двадцать минут раньше обычного, чтобы во время утреннего кофе немного почитать Шиллера, пользуясь для этого небольшим изданием, выпущенным Кречмаром, которое он сам мне недавно и подарил.

Читая, я вспомнил об одном из своих давних планов, а именно о плане «Светской душеспасительной книги». Я хотел бы собрать там небольшое количество коротких текстов либо о религии, вливающейся в искусство, либо об искусстве, поднимающемся до религии, — некий букет высших проявлений человеческого духа по отношению к вечности. Человек может достигнуть этого на основании присущего ему добра и принадлежности к какой-нибудь конфессии, поднимаясь до откровений, правота которых выдержит все расхождения веры и все догматические измышления. В сборник можно было бы также включить отдельные репродукции произведений изобразительного искусства. Отдавая должное пространным описаниям, я тем не менее всегда испытывал потребность в Vademecum[172] подобного типа.

Шиллеровские «Три слова» и гётевские «Орфические праслова» ввели в обиход разделение идеального и

субстанционального духа, и не чудо ли, что два созвездия такой величины сошлись в одной и той же провинции, где и без того было много светочей, в то время как нынче пространство, вмещающее в себя многомиллионные государства, не может высветить никого, им подобного.

Кстати, для только что затронутого различия, наряду с часто восхваляемой беседой о первичном растении, важно также упоминание астрологии в переписке о «Валленштейне».

Среди почты кроме едва разборчивого письма от Тронье Фундер, которая собирается бежать из Берлина, рецензия Адольфа Заагера на «Сады и улицы» в «Книжном обозрении» от 19 июня 1943 года. Там читаю: «Неосведомленность этого антирационалиста подтверждается также данными самой кампании. Безусловно, автор ведет себя корректно, даже гуманно, но, несмотря на свою чуткость, он позволяет себе заигрывать с французами любого толка, словно ничего не случилось».

Париж, 15 августа 1943

Возвращение из Ле-Мана, где я провел субботу и воскресенье с Баумгартом и фройляйн Лампе.

В мастерской Ная, подарившего мне рисунок: влюбленная пара посреди тропического парка, взрывающегося флорой. Чудовищная луна всходит над стволами и раскидистыми ветвями деревь; на заднем плане — страж с единственным красным глазом на лбу.

Там я снова встретил господина де Теруана, наделенного той духовностью, какую может дать только жизнь, проведенная в праздности. В подобных случаях у меня создается впечатление, что духовное платье долго носили, оно стало таким удобным и каждой своей складкой так прилегает к телу, что в конце концов стало второй натурой. На этом зиждется превосходство перед всеми сословными, имущественными, национальными и религиозными различиями, даже различиями в самом духе, — превосходство, достигаемое не за счет расширения до всеобщего, а за счет восхождения, за счет роста аристократизма, благородства. Аристократизм может стать столь значительным, что придаст человеку детские черты и высветит в своем носителе те первозданные времена, когда все люди были братья. Из всех качеств простота — самая благородная. Адам — наш верховный правитель. К нему ведет любой аристократизм.

Най относится к самым одержимым труженикам, каких я когда-либо встречал среди художников, — он рисует даже в короткий обеденный перерыв, который предоставляет ему служба. Иногда в мастерскую приходит Теруан, чтобы пообщаться

и полежать на диване с книгой.

У Ная, как у ефрейтора, дел хватает, но при всей занятости он чувствует себя в Ле-Мане весьма вольготно. Это означает, что государство вряд ли балует художников. А здесь в мастерскую не врываются никакие полицейские с проверкой, не пользуется ли художник кистью. В Кньеболо, в коем символично все, символична и его профессия маляра. Месть за Садову[173] свершилась сполна.

В воскресенье с утра на католической службе для вермахта, куда меня привел счастливый случай, ибо благодаря ему я смог насладиться краткой и умной проповедью о Деве Марии как вечной Матери. Потом прогулка вдоль Юин, мелкой, глинистой речки, на поверхности которой расположились напоминающие форму сердца листья кувшинок и где сонмы рыбаков предавались культу праздности. У самого берега были привязаны большие крытые лодки для общественной стирки белья.

Потом на кладбище, где у могил кипела жизнь, ибо было Успение, а мертвые ведь тоже сопричастны праздникам. Среди надгробий скромный обелиск возвещает место упокоения Левассера де ла Сартра, наградившего себя необычным титулом «Ex-Conventionell».[174] При этом я подумал, не завещает ли кто-нибудь позднее, лет через тридцать, вот так же похоронить себя как экс-нациста? Кто может предсказать, какие еще изломы и причуды ожидают человеческий дух?

На обеде у Моренов; застолье затянулось почти до пяти часов. Хозяйка дома среди прочего порадовала нас паштетом из шампиньонов, яиц и говяжьего спинного мозга под названием «amourette».[175] Среди вин было бургундское, его господин Морен разлил по бутылкам в год рождения сына и оно сопровождало знаменательные события его жизни как мелодия, становящаяся все прекрасней и тоньше, ибо внутренняя стенка бутылок с течением времени гальванизировалась дубильной кислотой. Внизу, в магазине, мы еще посмотрели книги; я приобрел Вульгату, которую всегда хотел иметь, в прекрасном парижском издании 1664 года, знаменитом своей микроскопической печатью.

На обратном пути нас поразило зрелище лунного затмения. Поскольку самая глубокая фаза темноты совпала с сумерками, то край растущего серпа, первоначально белый, становился все красочней, наливаясь золотом.

Чтение в поезде: Шарль Бенуа, «Le Prince de Bismarck, Psychologie de l'Homme Fort»,[176] Париж, 1900, типография Дидье. Читая эту книгу, я наслаждался определенной стереоскопичностью изображения, в чем и состояла для меня ее

истинная ценность, поскольку, в течение десятилетий слушая застольные беседы своего отца, я с детства знал жизнь Бисмарка во всех подробностях.

Потом полистал «Spleen de Paris»,[177] издание, подаренное мне в прошлом году Шармиль. Эпилог

> Je t'aime ó capitale infame! Courtisanes
> Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs
> Que ne comprennant pas les vulgaires profanes[178]

обобщает духовное удовольствие от обычных вещей, от их пестроты, в коих принимаешь участие как некто, попавший за решетки зоопарка. По той же причине приятно читать и Петрония.

Воззвание может появиться только при стечении обстоятельств, в данный момент трудно определимых. Если я закончу его раньше, то буду выхаживать до тех пор, пока не пробьет его час.

Париж, 16 августа 1943

Во сне я наблюдал за новой, совершенной машиной, она плела ткань из воздуха. Когда она медленно вращалась, было видно, как из ее сопл выползает и сочится что-то, похожее на рыхлую вату, а когда она работала быстрее, то производила рубашки и полотно. И в том и в другом случае применялись разные газы. Я наблюдал за этим воздушным ткачеством не без восторга, хотя в то же время оно было мне отвратительно.

В начале дня город атаковало около трехсот самолетов; я следил за огнем противовоздушной обороны с плоской крыши «Мажестик». Эти налеты — один из наших грандиозных спектаклей; ощущаешь издалека идущую титаническую силу. Я не мог разобрать деталей, но попадания, кажется, были, ибо над Монмартром, медленно приближаясь к земле, парил парашют.

Париж, 17 августа 1943

Налет на Гамбург представляет собой помимо прочего первое подобное событие в Европе, которое не поддается статистике. Бюро регистраций не в силах сообщить, сколько людей погибло. Жертвы гибли, как рыба или саранча, вне истории, в зоне стихии, не ведающей списков.

Стиль. Повторение некоторых предлогов в немецком, как, например, «Das reicht nicht an mich heran» или «Er trat aus dem Walde heraus»,[179] мне уже не мешает так, как прежде; в этом есть и некое усиление, закрепление мысли. Не следует только

перебарщивать. Вечером с Венигером и Шнатом говорили о достопримечательностях Ганновера, на что нас подвигло известие о разрушении нашего родного города. Смотритель купален Шрадер, изготовитель масок Грос и мой дед, школьный учитель, заняли здесь достойное место среди других старожилов.

За колонной Ватерлоо темный проход вел к Маш; там солдаты болотной казармы перед вечерней зарей прощались со своими девушками, там же как привидения шныряли пьяницы и царили непристойность и всяческие бесчинства, — оттого-то и прозвали этот проход «помойным». После революции 1918 года, когда Лайнерт — впрочем, весьма толковый — стал городским головой, на одном из тамошних заборов можно было прочитать: улица Лайнерта (бывший помойный проход).

Пасквиль в нижнесаксонском духе.

Париж, 21 августа 1943

Вечером у Жуандо, в котором есть что-то от средневекового монаха, причем экстатического типа. Самое замечательное в его духовности — утонченные восхождения; еще немного — и полет начнется. Есть, правда, и черты Люцифера.

Разговор о небезопасной обстановке в Буа, что выяснилось недавно во время моей одинокой прогулки впотьмах. На дорожках и среди кущ встречались только подозрительные фигуры. Из-за того, что многие из завербованных на работу в Германию покидают свои Дома, число живущих вне закона быстро увеличивается, а вместе с тем растет и беззаконие. Частые и разнообразные формы, ущемляющие свободу, поставляют сословию разбойников бесчисленных рекрутов; я предвидел это уже давно, еще не зная, как это проявится в действительности.

Рю Командан Маршан лежит неподалеку от Буа. Жуандо рассказывал, что там часто раздаются выстрелы; недавно их дополнил душераздирающий предсмертный вопль. Элиза побежала на помощь; это ее характерная черта. Она походит на солдата, которого притягивает пушка, и принадлежит к тем натурам, чьи силы высвобождает только опасность. Такие женщины могут вызывать народные восстания. Между прочим, я заметил, что германофильство, исключая, безусловно, продажных типов, наблюдается как раз у той части населения, где жива элементарная сила. Это такое же тайное подводное течение, каким в Германии является русофильство. Ему противодействуют силы, ориентированные на Запад. Из этого противоборства, происходящего преимущественно в центре, могут возникнуть новые конфигурации.

Об умерших. Мать Жуандо умерла в глубокой старости. В

минуту смерти ее лицо преобразилось как бы от внутреннего взрыва; она стала похожа на двадцатилетнюю девушку. Потом снова стала старше и до самого погребения сохраняла вид сорокалетней. О современном идиотизме, особенно ощутимом в отношении к смерти и проявляющемся в неспособности разглядеть губительные силы, господствующие совсем рядом. Потом о Леоне Блуа.

В одну из ночей 1941 года жена кого-то из приятелей Жуандо вот-вот должна была родить, и муж спешно ушел за акушеркой. Это случилось после комендантского часа; французский патруль задержал его и повел в участок. Он объяснил свой случай; акушерку оповестили, а его задержали до утра, чтобы проверить показания. За это время раскрыли какой-то заговор; в спешке похватали заложников, и среди других нарушителей комендантского часа расстреляли и этого человека. История исключительно правдива и напоминает жуткую сказку из «Тысячи и одной ночи».

Мавританские истории:

1. Порфировые скалы. Описание раскопанного Бракемаром города как первопрестола деспотизма.

2. Тропа Масирах. Как Фортунио искал залежи драгоценных камней и его приключения во время странствий.

3. Бог города. Ведет за пределы сверхчеловека, поскольку высшее понятие человека анимализируется и обожествляется в одно и то же время. Это — одна из целей современного искусства и науки о нем, под маской рационализма скрывающей магические черты; застылость в Вавилонской башне.

Первые пятьдесят лет нашего столетия. Прогресс, мир механики, наука, техника, война как элементы мира пре- и постгероического, мира титанов. Каким раскаленным, каким элементарно опасным становится все! Дабы изобразить этот период, стоит начать с фигуры, утверждающей его неясно, но чрезмерно, с какого-нибудь Вертера XX века, может быть с Рембо. К этой демонической фигуре следовало бы присоединить другую, обладающую знанием порядков высшего типа, т. е. знанием не только консервативным, но и властно действующим, — фигуру гроссмейстера Вавилонской башни.

Париж, 24 августа 1943

С отцом и еще несколькими знакомыми я сидел за столом; это был момент, когда кельнер приблизился, чтобы подать нам счет. Меня удивило, что он начал в подробностях распространяться о вине и его ценах и, пока шел разговор, пододвинул к себе стул и сел. По одному замечанию отца мне

стало ясно, что говоривший с нами был сам хозяин. Этому положению соответствовали также его жесты и слова, которые не мог произносить кельнер.

Проснувшись, я спросил себя вместе с Лихтенбергом о внутреннем смысле и драматичности подобных происшествий. Почему прояснению сути дела, с самого начала несомненной, помогло только замечание, сделанное в конце разговора? Не участвует ли сам сновидец, чтобы сделать сны интересней, в их режиссуре? Или же он играет роль актера в пьесе, превосходящей его своей значительностью?

И то и другое верно, поскольку в наших сновидениях мы выступаем как личности, являясь вместе с тем частями универсума. В этом втором качестве в нас живет несравненно более высокая интеллигентность, коей мы дивимся, когда пробуждение возвращает нас в нашу обособленность. Во сне мы походим на статуи, наделенные мозгом, и, следовательно, целиком, всеми своими молекулами примыкаем к космическим потокам мыслей. Мы погружаемся в воды пред- и посмертного интеллекта.

Был ли ум Лихтенберга слишком высок для этой игры? Во всяком случае, я бы охотно поговорил с ним об этом, поскольку для меня его вопрос плодотворнее всяких ответов.

Закончил «Cashel Byron's Profession»[180] Бернарда Шоу, книгу, которая меня развеселила, несмотря на викторианскую пыль. На примере таких, немного устарелых, пьес учишься понимать, что же раньше всего становится добычей времени. Из множества рассыпанных там парадоксов я выписал следующий: «Рациональное безумие — самое скверное, ибо у него есть оружие против разума».

Далее краткая биография художника Пьера Боннара,{164} которую рекомендовала мне мадам Кардо. Среди анекдотов, рассказываемых о нем, один показался мне особенно поучительным: у Боннара было пристрастие дорабатывать свои старые картины, даже если он давно их уже продал, ибо промежуток времени, отделявший их от совершенства, он воспринимал как упрек себе. Так, он караулил в музеях, поджидая, когда удалится смотритель, вынимал крошечную палитру и кисточку и наносил на одну из своих картин несколько светлых точек.

Подобная черта освещает некоторые соотношения, среди них — и духовную собственность художника, не столь выявленную, как собственность писателя. Художник больше привязан к материи, отчего греки по праву ставили его ниже философа, поэта, певца.

Сегодня вспомнил одну из своих детских философских мыслей, для ребенка не такую уж плохую: «Собственно курица голая, как это можно судить по тем экземплярам, что висят перед птичьми лавками. Какую же роль играют перья? — Они просто прикрывают тело от холода».

Соответственно этому я мог бы, пожалуй, заключить, что скелет, мышцы или нервные волокна вместе с головным и спинным мозгом образуют собственно форму. Действительно, у меня и сегодня возникает чувство первооткрывателя, когда я листаю анатомические атласы. Но я вижу вещи и с другого конца, когда разнообразные системы, образующие наше тело, представляются мне схемами, проекциями, направленными в растянутое пространство. Лишь в отношении к целому, нерастяжимому проявляется их реальность, а без нее они смешны и бессмысленны, как ощипанная курица.

Кстати, деревья — лучшие образцы развития из нерастяжимого; то, что их действительная точка вегетации расположена в пространстве, столь же маловероятно, сколь и то, что действительная ось колеса является зримой. То же самое можно сказать о ветвистом и корневидном характере многих наших органов. Так, наш мозг похож на раздвоенный лист почки, соединенной в нашем теле со стволом головного и волокнами корешков спинного мозга. Из этого следует, что сам он — не плод, а плодообразующая, плодоприготовительная субстанция.

Без четверти семь большая эскадра, обрамленная коричневато-фиолетовыми облачками взрывов, низко пролетела над городом. Не отклоняясь от курса, она направилась в сторону Этуаль через авеню Клебер. В этих спектаклях, разыгрываемых над метрополиями, есть что-то титаническое; чудовищная сила коллективной работы выходит из анонимности, принимая наглядный характер. Потому в них есть и что-то веселящее.

Налет был предназначен аэродрому Виллакублэ; бомбы разгромили двенадцать ангаров и двадцать один бомбардировщик и вспахали летное поле. Кроме того, в ближних деревнях были уничтожены крестьянские дворы, вместе с ними погибли многие жители. В перелеске нашли велосипедиста вместе с велосипедом, — их отбросило туда взрывом с большого расстояния.

Париж, 25 августа 1943

После полудня в Лез-Эссар-ле-Руа, на охоте за куропатками. Осень незаметно вырастает внутри лета, как кристалл в маточном растворе. Ощущаешь ее аромат, первую свежесть, манеру проявлять свой плодоносный характер в ландшафте, — как она

наливает, округляет, наполняет формы изнутри.

До выстрелов у меня дело не дошло, так как на краю трясины я увлекся мелкой охотой; она намного увлекательней. Там я обнаружил *Yola bicarinata,* западную особь, строением которой я занялся вечером с помощью прекрасного сочинения Гюиньо о водяных жуках Франции.

Уже на ночь глядя заглянул в комнату президента. Он только что прибыл из Кельна и рассказывал, что в разрушенных погребах можно обнаружить пивные с рейнскими винами, где после бомбежки собираются бездомные и где царит весьма задушевное настроение. Там бражники поют старые карнавальные песни — особенно популярна «Ну и штучки!»

Все это напоминает «Короля Чуму» Э. А. По, которого вообще наряду с Дефо и его «Лондонской чумой»[181] можно рассматривать как одного из сочинителей нашего времени.

Париж, 26 августа 1943

Несколько продвинулся в воззвании, работу над которым прервал из-за невыносимой жары; удивительно, как мало можно сделать только на одной воле. Мусическое начало тоже относится к нашему вегетативному, а не анималистскому бытию. Поэтому в большей степени оно зависит от погоды. Выдрессировать его тоже нельзя, и никакая угроза не заставит его платить дань; настоящее перо никогда не станет продажным.

Вечером в «Максиме» с Нойхаусом и его зятем фон Шевеном, у которого я, как и у большинства старых консерваторов, нахожу ошибочную переоценку новых властей. Они не видят, что превосходство этих властей состоит лишь в том, что они работают задешево, соблюдая предписания нравов, закона и приличия там, где им это выгодно. Они ведут двойную игру, всегда оставляющую им еще низшую возможность.

Так, например, шахматную партию они заканчивают ударом дубинки, а договор о пожизненной ренте — тем, что приканчивают рантье. Такие вещи действуют как шок, но только на короткое время. Именно подобные удальцы становятся тихонями, когда им отвечают их же, единственно внятным им способом. Так же поступают и консерваторы, если им хватит глубины, чтобы коснуться родственной им почвы, как это видно на примере Суллы или Бисмарка. Мне зачастую даже кажется, что определенные метаморфозы, повторяющиеся в истории, служат лишь тому, чтобы возбудить и вызвать эту реакцию как ответ первородной расы, подобно тому как дождь способствует прорастанию зерна. Правда, невинность тогда потеряна; восстановленная монархия склонна к грехопадению.

Париж, 27 августа 1943

Кофе у Банин. Искусство общения с людьми заключается в том, чтобы в течение долгого времени сохранять приятную среднюю дистанцию, не слишком отдаляясь, не сближаясь, но и не меняя качества общения. На этой доброй середине между центробежной и центростремительной силой зиждется как астрономический, так и социальный космос знакомств, браков, дружеских связей. Наиболее приятная часть жизни, без сомнения, не та, что строится на переменах, а та, что покоится на повторении.

Вечером в «Рафаэле» долгий разговор с Венигером о нашем соотечественнике Лёнсе{165} и той особой форме декаданса, которая роднит его со скандинавскими и некоторыми английскими авторами. Германец в эти десятилетия одержим некоей странной morbidezza,[182]

знание которой дает разгадку целому ряду вещей и лиц. Они оказывают сильное влияние на стиль «модерн», нынче воспринимаемый еще слишком узко и формально, а не как духовная игра. В определенные же десятилетия все дело именно в ней. Впервые я это понял в казино 73-го полка в Ганновере, где по стенам были развешаны портреты старых офицеров, начиная с Ватерлоо, и где повсюду сквозила странная раскованность рубежа веков. В таком состоянии германцу нужен еврейский ментор, какой-нибудь Маркс, Фрейд или Бергсон, которого бы он по-детски почитал и Эдипом которого стремился бы стать в будущем. Знать это нужно, чтобы понять антисемитизм бельэтажа как симптом типический.

В постели начал читать: Хаксли, «Point Counter Point».[183] Температуры ниже нуля тоже восхищают, когда подают слишком низко. Это можно заметить на примере некоторых романов в стиле рококо, и, возможно, что в данном смысле и Хаксли дождется посмертных почестей. При таких градусах плоть и эротическое прикосновение теряют свою сладость; наружу выступают их физические свойства. Вообще, Хаксли, как чистый рисовальщик и препаратор, выстраивает научный костяк нашей эпохи. Хороший стиль предполагает сегодня естественнонаучное образование, как когда-то прежде — теологическое.

Париж, 28 августа 1943

Ранним утром, как уже не раз бывало, я беседовал со своим отцом о книгах и вдруг заметил, что уже давно ошибочно сужу о наших с ним отношениях. Ошибка состояла в том, что умер не он, а я. «Правильно, ведь он умирает во мне, а это означает, что я

умираю в нем».

И я принялся осмысливать обстоятельства своей смерти, но долго не находил точки опоры. Казалось, что речь идет о небольшом путешествии, о простой перемене места, о чем скоро забываешь. И вдруг каждой своей подробностью в памяти вспыхнула картина последнего пути.

Это было на большом вокзале с множеством маленьких залов ожидания, и в дверях одного из них я стоял с группой других пассажиров. Нас было семь или девять, может быть, двенадцать человек. Одеты мы были просто, как рабочие, собравшиеся на воскресную прогулку; мужчины были в синих блузах из тика, женщины — в накидках из коричневого вельвета. Нашей эмблемой была булавка с одной из тех желтых бабочек, цвет которых, когда они поднимают крылья, отливает синевой. Я заметил, что ни у кого не было багажа, даже чемодана или маленького портфеля, какой часто можно видеть у человека трудящегося.

После того как мы какое-то время постояли в толпе зала ожидания, открылась дверь и быстрым шагом вошел священник. Это был маленький, сухонький человек в темной сутане, деятельный, как это свойственно духовникам больших, скудно обеспеченных приходов, когда требы сменяют друг друга, — то крестины, то похороны, то срочная исповедь. Таковы духовники предместья.

Священник пожал нам руки и повел по длинным, плохо освещенным проходам и лестницам внутрь вокзала. Я подумал, что мы, возможно, направляемся к пригородному поезду для небольшого паломничества к какой-нибудь чудодейственной иконе или в монастырь на проповедь заезжего епископа.

И все же я, пока мы вот так шли, ощущал в себе приливы все более возраставшего страха, пока наконец с усилием, как в некоем мутном сне, не понял того положения, в котором оказался. Группа людей, сопровождавшая меня в подземных переходах, была общиной смертников, созданной из тех, кто чувствовал потребность в последнем очищении и собирался сбросить с себя тело, как старое платье. С тех пор как мир погрузился в хаос, таких общин появилось множество, и их структура зависела оттого способа смерти, какой избрали себе их члены. Что касалось нас, то нам была уготована фосфорная баня. Оттого наша группа и была такой маленькой.

Как я жаждал этого великого очищения! Мои теологические штудии никак не меньше, чем мои метафизические познания, мои стоические и спиритуальные наклонности, врожденная страсть к крайнему риску, а также роскошь утонченного любопытства,

учение Nigromontanus'a, тоска по Доротее и благородным воинам, моим предшественникам, — — все это слилось воедино, укрепляя меня в моем решении и устраняя все препятствия. И вот теперь в этом узком, темном проходе совершенно неожиданно меня охватил панический страх.

«Как хорошо, — думал я, — что ты, по крайней мере, ничего не взял с собой и можешь вот так сложить руки». Я тут же ухватился за молитву, подобно кому-то, кто над страшной бездной хватается за единственную ветку. Я проникновенно, неистово читал Отче Наш и начинал снова, как только заканчивал. В этом не было ни утешения, ни спасения, вообще никакой мысли, только дикий последний инстинкт, первобытное знание; так утопающий хватает ртом воздух, а жаждущий — воду, так дитя кличет мать. Лишь изредка, когда волной накатывало облегчение, я думал: «О ты, велелепная молитва, неизмеримое богатство, никакое земное открытие не уподобится тебе».

Наконец наш путь по этому лабиринту закончился; нас провели в помещение с верхним светом, устроенное как музыкальный салон. Священник исчез в небольшой ризнице и вернулся в стихаре из белого шелка и в расшитой разноцветными камнями епитрахили. Между тем мы поднялись на какой-то помост или балюстраду — сверху я видел, что ею служила крышка большого рояля. Священник сел за рояль и ударил по клавишам. Мы запели под его аккомпанемент, и вместе с наполнившими меня звуками на меня нахлынуло необычайное чувство счастья — новое мужество, сильнее всякого, какое может дать духовное или телесное восхождение. Радость росла и сделалась такой сильной, что я проснулся; удивительно, но это был один из тех снов, из которых просыпаться не хочется.

Париж, 29 августа 1943

В воскресенье пополудни полистал немного свою сказочную книгу — я имею в виду Музей человека. Там снова увидел мисс Бартман, готтентотскую Венеру, возле которой всегда толпятся отчасти насмешливые, отчасти шокированные посетители. Она умерла в возрасте тридцати восьми лет году в 1816-м в Париже, но была превращена не в чучело, а отлита со всеми деталями своих интимных прелестей, не соответствующих никакой норме, и выставлена в гипсовой копии, точно повторяющей живой оригинал. Рядом помещен ее скелет.

Мысль, когда я рассматривал зрителей, стоящих перед ней: сколько еще на свете особей, незримых и в высшей степени опасных, для коих вы — всего лишь музейный и выставочный экспонат?

Затем на военно-морской выставке, на несколько недель открытой в нижних помещениях музея. Наряду с разнообразными моделями судов, оружием, навигационными приборами, песочными часами и документами там были собраны и картины, например виды разных гаваней и набережных, принадлежащих кисти Жозефа Верне.{166} Одна из картин, панорама Бандольского залива, оживлялась на переднем плане изображением ловли тунца. Рыбацкие лодки, где охота идет полным ходом, окружены роскошными галерами, с которых элегантная публика любуется кровавой бойней. Между белыми кружевами волн и грубо сплетенными сетями кучка полуголых парней расправляется со странно неподвижными рыбами размером с человека. Они тянут их на себя крючьями, зацепленными за жабры, или же обхватывают руками, вспарывая горло длинными лезвиями, — дети-убийцы со своими игрушками. Горожане в восторге от кровавой оргии; женщины заслоняют глаза или уже в полуобморочном состоянии протягивают руки, как бы защищаясь от обилия впечатлений, в то время как кавалеры подхватывают их, обнимая за грудь. По-видимому, здесь изображен кровавый спектакль у тоннаров, как он обрисован в великолепном описании аббата Четти.

Изображенное в 1828 году Гюденом{167} кораблекрушение впервые прояснило мне подобное событие и, сверх того, напряженность, динамику катастрофы, где спрессовано невероятное богатство образов. Уже беглый осмотр картины вызывает в зрителе чувство слабости, головокружения. Он видит большой корабль среди грозно разбушевавшегося, обложенного мрачными тучами и дождевой завесой моря. Положение корабля таково, что он почти вертикально стоит на форштевне и, как полено или топор, прорывая страшную пучину, засасывается в глубь. Из воды выныривает только широкая корма, где можно разобрать слово «Кент», и часть бортовой стены, из окон и иллюминаторов которой выпрастывают дым и пламя, вздымаясь над водоворотом. На этом широком, наполовину окутанном красным огнем, желтым чадом и белой пеной обломке сбилась в кучку большая группа людей; от их темной грозди кое-кто отделяется, бросаясь в пучину или карабкаясь по канатам. На одном из талей, прямо над кипящей бездной, парит женщина с ребенком, — ее пытаются спустить в лодку. Кажется чудом, что при такой ужасной суматохе кого-то пытаются еще спасти; но вот посреди скопления людей, на самом верху, виднеется фигура человека в высокой шляпе и с властно указующей рукой; по-видимому, он отдает приказания. Останки корабля окружены переполненными лодками, которые борются с волнами, на одной

из них веслом отталкивают пловца, приблизившегося к борту. Раздвигая белую кружащуюся пену, волны разглаживаются в эластичную зелень наркотической силы. Можно разглядеть людей, — одни цепляются за обломки, другие, уже утопленники, уносятся пучиной, словно спящие: они еще различимы по цветовым пятнам, но уже погребены в зеленом аквамариновом кристалле. Красный шейный платок живописно высверкивает оттуда.

Вечером у Морана, ставшего послом в Бухаресте. Настала осень, ласточки улетают прочь.

Париж, 30 августа 1943

На лестнице «Мажестик» в старую, затоптанную дорожку вделан свежий, мягкий кусок материи более ярких, светящихся тонов. Я заметил, что в этом месте замедляю подъем. Это к соотношению боли и времени.

Карл Шмитт пишет, что его чудесный берлинский дом — в развалинах. Из спасенного имущества он упоминает только картины Ная и Жилля,{168} и этот выбор верен, ибо произведения искусства относятся к магическому быту, важнейшему благу, которое можно приравнять изображению лар и пенатов.

Париж, 31 августа 1943

Обед с Абелем Боннаром на улице Талейрана. Разговор о морских путешествиях, летающих рыбах и Argonauto argo, о последнем аммоните, который только при абсолютном штиле поднимается в своей драгоценной оправе, как в роскошной лодке, из глубин и ведет свои игры. Затем о картине Гюдена на морской выставке, чьи детали я описал. Боннар рассказывал, что этот художник, изучая материал для своих панорамных кораблекрушений, дубинками расправлялся с прекрасными старыми моделями парусных судов XVIII века, приводя их в желаемое состояние.

Зачем такая ясная голова, такой умница, как Боннар, забрался в дебри политики? Глядя на него, я вспомнил изречение Казановы о деятельности министра, якобы окруженной неким очарованием, — хоть он и не может это очарование объяснить, но видит его действие на всех, занимавших этот пост. XX веку достались только труд и ослиная поступь демоса, с коим рано или поздно придется считаться. К тому же и сомнительная репутация безостановочно набирает силу.

Париж, 1 сентября 1943

В свой список адресов я вынужден все чаще вносить два

значка, а именно ✝: умер, или ⚲: погиб при бомбардировке.

Так, д-р Отте пишет мне из Гамбурга, что 30 июля вместе с Fischmarkt[184] была разгромлена и его аптека; вместе с наследием прадедовских времен погибли и помещения, где он содержал архив Кубина. Временную аптеку он оборудовал в табачной лавке: «Только не уезжать из Гамбурга! Остаться здесь — живым или мертвым!»

Вечером ужин с президентом, рассказавшим мне о событиях 1933 года в концентрационном лагере земли Райнланд, со многими подробностями из жизни живодеров. Я чувствую, к сожалению, что знание подобных вещей начинает влиять если не на мое отношение к отечеству, то уж во всяком случае на мое отношение к немцам.

Париж, 4 сентября 1943

Вчера, в пятую годовщину начала войны, приступ сильнейшей меланхолии; рано лег спать. Я опять недоволен своим здоровьем, но с тех пор, как я поставил себе диагноз, меня это беспокоит меньше. Мое произрастание напоминает мне корень, растущий под землей, — он то почти засыхает, то, под влиянием духовных сил, дает время от времени зеленые ростки, цветы и плоды.

Продолжал Хаксли, чья сухая холодность все же затрудняет чтение. Достойным внимания нашел одно место, где он развивает мысль о том, что влияние времен года, сезонная упорядоченность жизни, сужается с ростом цивилизации. В Сицилии, например, число рождений в январе пока еще в два раза выше, чем в августе. И это закономерно; периодичность уменьшается с течением времени, в чем проявляется своего рода изношенность, стертость вследствие ротации. По той же причине исчезает разница между буднями и праздниками; в городе ярмарка — каждый день. Отзвуки этой в зависимости от времени года изменяющейся морали кое-где еще остались; на Боденском озере между супругами существует уговор, что ночью оба должны проявлять друг к другу снисходительность. Исчезновение периодичности представляет собой только одну сторону процесса, другая же состоит в том, что, исчезая, периодичность уступает место ритму. Колебания становятся ниже, но чаще. Конечная точка — наш мир техники. У машины ритм бешеный, но периодичности ей не хватает. Ее колебания сосчитать невозможно, но они равномерны; вибрируя, они уподобляются друг другу. Машина — символ, ее экономичность — обман зрения; машина — это своего рода молитвенная мельница.

Во сне мне стало лучше, я видел себя в саду, где прощался с

Перпетуей и сыном. Там я что-то копал и задел лопатой маленькую земляную пещеру, в которой дремала темная змея. Прощаясь, я рассказал об этом Перпетуе из опасения, как бы змея не ужалила увлекшегося игрой ребенка, и вернулся, чтобы ее убить. Тут я обнаружил, что в саду таилась не одна, а множество змей; свернувшись клубком, они грелись на солнечной террасе полуразвалившегося павильона. Змеи были темно-красной, синей и разнообразной окраски, с черно-желтыми, черно-красными и просто черными мраморными прожилками, а некоторые — даже цвета слоновой кости. Едва я принялся, поддевая палкой, вышвыривать их за пределы террасы, как змеиные клубки, разматываясь, нитями стали подниматься и обвиваться вокруг меня. Мне они показались безобидными, поэтому я ничуть не испугался, увидев рядом с собой малыша, который незаметно следовал за мной; он брал животных поперек туловища и уносил, будто шла увлекательная игра, в сад. Сон меня развеселил; я проснулся в приподнятом настроении.

Как выяснилось сегодня утром, англичане высадились на юго-западной оконечности Апулии. Во время вчерашнего налета на город обстрелу впервые подверглись внутренние кварталы, среди них — мои любимые улицы Ренн и Сен-Пласид. Также и на рю Шерш-Миди упало две бомбы, одна совсем рядом с антикварной лавкой Морена, которому я тотчас же позвонил, другая — напротив квартиры докторессы.

После полудня в Латинском квартале, сначала у незнакомого читателя по имени Лелё, по пневматической почте попросившего меня о встрече. Он представился как коммивояжер по продаже тканей из Лиона и принял меня в крошечной комнатке заштатного отеля. Мы сели, я — на единственный стул, он — на кровать, и погрузились в разговор о ситуации, в ходе которого он обнаружил решительные, хотя и путаные, коммунистические наклонности. Я вспомнил годы, когда и сам кромсал свою жизнь ножницами концепций, вырезая из нее бумажные цветы. Сколько драгоценного времени таким вот образом пропало зря!

Потом у Морена; по дороге изучал разрушения на рю Шерш-Миди. Прекрасный мягкий камень, из которого построен город, перед пострадавшими домами был уже свален в большие белые кучи, а из пустых окон свисали гардины и постельное белье, на каком-то подоконнике стоял одинокий цветочный горшок. Молнии, упав с ясного неба, поразили мелких лавочников и тот скромный люд, что ютился на старых кособоких этажах. Я зашел и к докторессе, попросив открыть мне квартиру, — ибо сама она была в отъезде, — с целью посмотреть, что там делается. Как и в других домах, из оконных рам вывалились стекла, остальное же

повреждено не было.

Пока я делал свой обход, снова, и уже безо всякого объявления тревоги, над центром города пролетел одиночный самолет, окруженный облаками взрывов, — ему помешало только царившее на улицах оживление.

Величайший грабеж, которому Кньеболо подвергает нацию, — грабеж принадлежащего ей права; это значит, что он похитил у немца самую возможность быть правым и защищать свое право по отношению к причиняемым или угрожающим ему несправедливостям. Разумеется, и народ несет на себе ответственность через аккламацию, — то был жуткий, шокирующий призвук среди бурь и оргий ликования. Гераклит и здесь попал в самую точку, сказав, что языки демагогов подобны секирам.

Париж, 5 сентября 1943

Снова плохо со здоровьем, вдобавок ко всему заметно худею. Этому есть две причины: во-первых, сидячий образ жизни в течение длительного времени в большом городе для меня вреден и, во-вторых, моя духовная суть похожа на лампочку, которую слишком много потребляют. Я решил применить единственное средство, обещавшее успех: долгие прогулки, и начал ходить от Этуаль через Каскад в Сюрен — и оттуда вдоль берега Сены через мост Нейи назад к Этуаль.

Короткая мелкая охота на берегу пруда в Сюрене. Растения на большой насыпной площади, раскинутой там, — рай ночных теней. Поиски дурмана успехом не увенчались, зато я впервые на открытом пространстве нашел ядовитую ягоду, Nicandr'y, родом из Перу. Она поселилась в пышных, развесистых и вьющихся кустах на южном склоне насыпного холма и наряду с пятиконечными, как звезды, чашечками в желтую и темную крапинку красовалась маленькими, еще зелеными лампионами. Столь крупной в садах она мне не попадалась, впрочем, как и другие ночные виды, заставляющие вспомнить о тех существах, которые вообще не нуждаются ни в каком уходе, так как лучше всего произрастают на мусорных кучах и задворках общества.

На набережной Галльени толпы рыбаков; один только что поймал красноперку величиной с мизинец, которую бережно вытянул на берег сквозь гладкую поверхность воды, нежно приговаривая: «Viens, mon coco».[185] С нежным, дивно тягучим свистом пролетали над глинистой водой зимородки. Отдых в маленькой церквушке, по-сельски ветхой, возвышавшейся над кварталами предместья. На набережной Насьональ, на одном из нежилых бараков, доска в память Винченцо Беллини,{169}

умершего здесь 23 сентября 1835 года. Я вчитывался в нее с мыслью о жертвенности творческого человека и о его роли чужака в этом мире. И здесь сборища рыбаков, которые, сидя в лодках или на прибрежных камнях, выманивали из воды крошечных серебристых рыбок. Вид рыбака благотворен, он — мастер в искусстве уютно растягивать, расслаблять время и поэтому являет собой одну из фигур, противостоящих человеку техники.

Impatiens noli tangere, бальзамин садовый, или недотрога. Бродя по лесу с женщинами, я всегда имел возможность убедиться, что они чувствительны к тактильным раздражителям этого растения. «Oh, ça bande».[186] В этих разбрасывателях семян скрывается упругость и сильное, готовое взорваться, эластичное давление жизни. Я видел их тропические варианты в оранжереях, почти в натуральную величину. Именно их я хотел бы посадить в своем идеальном саду на цветочные клумбы, огородив веселыми статуями Приапа,{170} — их и еще какую-нибудь смешную травку.

Я не противоречу себе, это — предрассудок времени. Скорее, я двигаюсь по различным слоям истины, где каждый высший слой подчиняет себе остальные. В этих высших слоях, если подходить объективно, истина упрощается — подобно тому как в высших слоях мышления, но уже при субъективном подходе, понятие наращивает свою подчинительную силу. Будучи рассмотрена вне времени, эта истина уподобляется разветвленному корневищу, которое собирается во все более крупные стебли и в том месте, где пробивается к свету, сливается в *единый* глаз. Это, я думаю, произойдет в момент смерти.

Продолжаю Хаксли. В его стиле еще много от спекулятивного мышления, чисто конструктивной работы мысли. Но попадаются места, где отдельными золотыми крупинками, как в горных россыпях, дух сгущается в образы материальной силы. Например, в замечании, которое мне сегодня бросилось в глаза: о том, что человеческая экономика эксплуатирует умершую жизнь, как залежи угля, эти остатки первобытных лесов, нефтяные поля, целые побережья из птичьего помета и прочее. В этих месторождениях смыкаются лучи железных дорог и судоходных путей, в них целыми кланами поселяются пришельцы. Если встать на позицию далекого астронома и представить себе стяженное время, то подобный спектакль покажется нам суетой мушиного роя, почуявшего крупную падаль.

В таких образах писатель глубоко увязает, касаясь слоев, скрывающих в себе превосходство мышления нашего века по сравнению с ушедшим. Различие здесь световое, выступающее уже не как простое, а как корпускулярное колебание.

Париж, 6 сентября 1943

Продолжил воззвание. Работая над ним, я отмечаю особый род усилия, которое трудно объяснить. Какая-то фраза мне ясна, я готов ее записать. И все же записыванию предшествует внутренняя борьба. Создается впечатление, что для решимости не хватает капли особой эссенции, но раздобыть ее можно только с великим трудом. Любопытно, что записываемое чаще всего укладывается в концепцию, но, несмотря на это, меня не покидает чувство, будто именно теперь, проскользнув сквозь напряжение, она стала иной.

Читаю дальше Хаксли. После чего без конца вижу сон о пребывании в крестьянском доме, где я был гостем, — и все же единственное, о чем я вспомнил утром, было то, что я вошел в комнату, на двери которой висела табличка со словом *astuce*. «Ага, — подумал я, просыпаясь, — это была неплохая комната, ведь *astuce* значит „высокомерие“». Тут же, открыв словарь, читаю, что это слово переводится как «коварство», «лукавство». Что ж, и такое значение подходило к ситуации.

Париж, 7 сентября 1943

Повторил свою прогулку по лесу и набережным в обществе Жуандо, поведавшего мне, что наплыв образов и мыслей настолько держит его, что он работает почти без перерыва. И я действительно застал его на нашем привычном месте встречи — на скамейке у Этуаль, он что-то усердно писал, целиком уйдя в работу. Я думаю, что чудовищные несчастья, которые обрушиваются на народы, высвобождают духовные силы, все более мощными волнами и порывами влияющие на восприятие, обостряющие его. Вокруг голов, как вокруг башенных шпилей во время грозы, кружат стаи галок и голубей; легионы духов ищут места упокоения.

Я показал Жуандо растения на мусорной свалке и от него узнал, что коровяк именуется «Le Bon Henri».[187]

Париж, 9 сентября 1943

Утром объявили о безоговорочной капитуляции Италии. Пока я рассматривал большую карту Средиземного моря, снова раздались сирены, и я отправился в «Рафаэль». Там я закончил чтение апокрифов и тем самым Ветхого Завета, начатое два года тому назад, 3 сентября 1941 года. У меня прочитана теперь вся Библия и я намереваюсь еще раз, привлекая Вульгату и Септуагинту, перечитать Новый Завет.

Обе Книги замечательным образом сопряжены друг с другом. Обе излагают историю человека, сначала как Божьей твари, а

затем как Сына Божьего. Открытость, незаконченность Книги нуждается в Третьем Завете: *после* Воскресения, изнутри Преображения. Фактически это уже намечено в конце Библии, в Откровении. Высшие взлеты западноевропейского искусства можно истолковать как попытку создать этот Завет; он уже мерцает сквозь великие художественные творения. Но справедливо и то, что автор Третьего Завета — каждый из нас; жизнь — это рукопись, и из нее образуется высшая действительность текста в Невидимом, в посмертном пространстве.

Подойдя к окну, я увидел две эскадры бомбардировщиков, журавлиным клином низко опустившихся над городом, — и в ту же минуту орудия противовоздушной обороны открыли огонь.

Прекрасное место в начале Книги Эсфирь, где Артаксеркс обращается к подвластным ему ста двадцати семи князьям от Индии до Эфиопии и к их министрам. Но слова его — лишь вступление к кровавому приказу. Это — образец, действующий и сегодня.

Вечером у Жуандо просматривали стихи XVI и XVII веков, среди них «Сонет» Меллена де Сен-Желе{171} с его изящно повторяемым «Il n'y a pas»,[188] петли которого соединяются в последнем стихе. Это напомнило мне «Утешительную арию» Иоанна Кристиана Гюнтера,{172} где слово *срок* повторяется подобным же образом.

> В срок на пальме будет плод,
> Будет в срок цвести алоэ,
> Будет, будет — дай лишь срок.

Впрочем, предсмертные слова Сен-Желе тоже значительны. Врачи устроили у его постели консилиум, споря, как лечить болезнь. Выслушав их спор, он, со словами «Messieurs, je vais vous mettre d'accord»,[189] повернулся к стене и умер.

Продолжал Хаксли. Его проза похожа на сеть тонко сплетенных стеклянных тычинок, в которую попались отдельные экземпляры рыб редкой породы. Только их и помнишь.

Париж, 10 сентября 1943

Ночью сны, из коих запомнил только обрывки. Так, характеризуя плохого художника, я изрек: «Не сумев продать картины, он воспользовался пособием по безработице».

Проснувшись, вспомнил про годичные комплекты своих дневников, которые сжег вместе с ранними работами и стихами. Конечно, мысли в них были несовершенны и часто наивны, но с

годами становишься мягче и в самокритике. Нужно уметь отходить от своих работ на значительное расстояние, а также меняться, чтобы оценивать себя справедливей, беспристрастней. Такое отношение напоминает отцов, недовольных своими сыновьями только потому, что те похожи на них, внукам же — снова благоволящих. Перпетуя тоже сожалела тогда о моем аутодафе, последовавшем весной 1933-го сразу за обыском. Я решил, что у меня ищут письма старого анархиста Мюзама, который по-детски ко мне привязался и которого потом убили таким страшным образом. Он был одним из лучших и добродушнейших людей, какие мне только встречались.

Контакт, связи очень важны на земле. Я замечаю это по той боли, какую вызывает упущенное прикосновение, — боль остается надолго, на всю жизнь. У меня это случилось, например, с маленькой темной Tentyria на выжженном пастбище в Касабланке, где росла чахлая смоковница. Как досадно, что я тогда не дотронулся до этого создания! Также и эротические связи, — сколько здесь упущенных возможностей, несостоявшихся свиданий! Теряется что-то, выходящее за пределы физической сферы, если мы в нашем охотничьем житье-бытье вовремя не «выстрелим». В этом случае мы не удваиваем наш талант. Хоть и в ограниченных пределах, но, без сомнения, это тоже один из могучих символов.

Мысль: когда мы достигаем контакта, может быть где-то, в неизвестных пространствах, вспыхивает свет.

Что касается восприятия исторических реальностей, то к ним я подключен заранее; это значит, что я заранее их чувствую, чуть-чуть раньше их появления. Для практики моего бытия это невыгодно, поскольку в этом случае я становлюсь в положение конфронтации к соответствующим властям. И в метафизическом аспекте я не вижу здесь преимущества, ибо какая разница в том, относится ли мое видение к сегодняшнему состоянию, или же к одному из его последующих развитий? Я стремлюсь, напротив того, к духовной помолвке с мгновением в его безвременной глубине, ведь только оно, а не длительность, является символом вечности.

Вечером у Флоранс. У нее оказался и Жуандо, проведший бессонную ночь, потому что его внесли в исполнительный лист: когда он рассказывал о своих злоключениях, в нем было что-то от маленького мальчика, которого взял на заметку полицейский.

Париж, 11 сентября 1943

Среди почты письмо от Карла Шмитта, который относится к редким умам, способным непредвзято оценить ситуацию. Он

пишет о «России и Германии» Бруно Бауэра.[173] «Токвилю обстановка была уже совершенно ясна в 1835 году. Конец второго тома „Démocratie en Amérique“[190] останется величайшим документом „Заката Европы“». Потом о Бенито Серено и инспирированном мною упоминании его у Фабр-Люса. *«Du reste:* [191] Притч. Солом. 10, 1».

В сегодняшнем письме от Перпетуи, которой понравился сон о змеях: «Я тоже чувствую, что из этой одинокой точки на тебя исходит необходимая сила и что ты вернешься, чтобы здесь завершить свою миссию».

Курьез нынешнего времени заключается в том, что выхода не видно. Ни одна звезда не мерцает в одинокой ночи. Это наш метафизический гороскоп; войны, в том числе гражданские, и средства уничтожения располагаются в нем как вторичная, временна́я декорация. Задача, которую нам надо решить, — это преодолеть мир уничтожения, что на историческом уровне сделать не удастся.

Во второй половине дня в Национальном архиве, где Шнат показал мне несколько актов, из коих следует, что немецкая история соприкасается с французской. На протяжении столетий культура пергамента особенно была развита в папских канцеляриях. На удостоверениях личности печать висела на шелковом шнурке, на остальных — на пеньковом. Монахи, в обязанность которых входило скрепление указов печатью, Fratres barbati,[192] не должны были знать грамоты — так они лучше хранили тайну. Особо тонкие пергаменты вырабатывались из кожи нерожденного ягненка.

Прошелся по книгохранилищам, пищи в которых хватит еще для целого поколения архивариусов и «книжных червей». Национальный архив расположен в помещениях особняка Субиз, бывшей ратуши старого Маре; по ней видно, что у благородного сословия для ее постройки еще были силы.

Затем, петляя, проделал путь от рю Тампль через старые кварталы к Бастилии; среди названий было Много таких, которые меня развеселили, например улицы Короля Доре и Малая Мускусная. Я купил винограду и хотел угостить детей, сидящих у дверей. Почти все отказывались или смотрели недоверчиво, — человек не привык получать подарки. Потом на набережных у торговцев книгами, где достал несколько изображений тропических птиц.

Продолжаю Хаксли. Наткнулся на ремарку: «Каждое переживание имеет существенное отношение к своеобразию человека, испытавшего его». Таково и мое мнение: не случайно, что по отношению к убийству мы являемся убийцей, убитым,

свидетелем, полицейским или судьей. Также и теория среды не противоречит этому взгляду; она, скорее, подчиняется ему en bloc.[193] Наша среда — видовой признак, как форма и цвет раковин в мире моллюсков. Как существует множество «petit gris», [194] точно так же существует и множество пролетариев.

Отсюда следует огромное значение работы над тем, что мы есть внутри. Мы формируем не только свою судьбу, но и свой внутренний мир.

У К. — консистенция тыквы; если в нее ткнуть пальцем, то сначала она твердая, затем мягкая, а потом пустая. П., напротив того, похож на персик: сначала мякоть, потом твердое ядро, в свой черед заключающее в себе мякоть.

Париж, 12 сентября 1943

Днем у скульптора Гебхардта, на улице Жана Ферранди. Разговор об итальянских смутах, в которых эта война распускается новыми, странными цветами. Обе великие стихии — войны вообще и войны гражданской — проникают друг в друга в виде взрыва. В то же время возникают картины, не виданные со времен Возрождения.

Потом о Франции. И здесь ненависть все возрастает, но, как в стоячих водах, — подспудно. Многие получают по почте миниатюрные гробы. Роль Кньеболо состоит также в том, чтобы порочить добрые идеи, поднимая их на свой щит. Например, идею о дружбе между обеими странами, в пользу которой столь многое говорит.

Обратный путь через Сен-Сюльпис; ненадолго зашел в церковь. Из деталей бросились в глаза две гигантских размеров раковины, служившие сосудами для святой воды. Их волнистые края были отделаны металлическим кантом, а перламутровый слой имел цвет медового опала. Они покоились на цоколях из белого мрамора; на одном из них красовались морские растения и большой морской краб, на другом — каракатица. Во всем играл дух воды.

Мысль, возникшая перед весьма посредственным изображением поцелуя Иуды: меч, который выхватил Петр, был при нем, очевидно, всегда, — значит, Христос разрешил ему его носить? Или же Петр, прежде чем ударить, выхватил его у Малха?

Париж, 13 сентября 1943

Утром пришло сообщение, что Муссолини освобожден немецкими отрядами парашютистов. Не сказано — ни где, ни при каких обстоятельствах. Война становится все более образной. Если бы дела в Италии затянулись, то вполне очевидно, что и

там, как в Испании, не обошлось бы без массовых истреблений. Человек попадает в тупик.

Телефонный разговор со Шнатом о графе Дежане и о возможности проверить его досье. В свои малые сочинения я бы хотел включить ряд статей о людях и книгах, моих помощниках, — своеобразный памятник благодарности.

Как мне только что сообщил Хорст, великолепный дом генерала Шпейделя в Мангейме разрушен. Сразу же после этого сообщения прибывший из России с письмами от Шпейделя и Грюнингера курьер подробно рассказал мне о битве при Белгороде. Грюнингер полагает, что на въезд паладинов на белых конях через Бранденбургские ворота едва ли можно рассчитывать, ибо прежде всего неясно, сколь долго Бранденбургские ворота простоят, и, кроме того, белый цвет исчезает. Верно, но ведь верховное наступление на красный происходит на синем фоне.

Продолжаю Хаксли, нашел следующее удачное наблюдение: «Никогда не стоит давать имени злу, приближение коего чувствуешь, дабы не предоставлять судьбе модель, по которой она может формировать события».

Это обрисовывает процесс, именуемый в народе «призывом». Этому призыву отдаются сегодня миллионы. Духовное расписывание деталей рокового будущего, погруженность в них, одним словом *страх,* разрушает в нас тонкий слой благодати и надежности, защищающий нас, как ширма. Особенно тревожно это в той ситуации, когда знание путей, какими можно укрепить и сохранить этот слой, прежде всего знание молитвы, утеряно повсеместно.

Париж, 14 сентября 1943

Телефонный разговор с Марселем Жуандо. «Je vous conseille de lire la correspondance de Ciceron — c'est le plus actuell».[195] Да, к этому все время возвращаешься. Виланд писал почти то же самое в Йену и Ауэрштедт.

Париж, 15 сентября 1943

Ночью небольшая лихорадка. Сновидения, в которых я пересекал пышноцветущие заливные луга и высматривал насекомых. Сорвал несколько металлических видов высокого роговика и водяного фенхеля — это были бупрестиды,[196] как я с удивлением понял.

«Очень странная находка, по своему строению они полностью ориентированы на сухую и жаркую солнечную погоду, совершенно чуждую болотному и водяному миру».

На это голос из нижнего регистра: «Но это же переходные

явления, подтверждающие себя в чужеродном элементе. В случае с фенхелем виды выбрали себе влажную среду, к тому же фенхель, вытягиваясь ввысь, попадает в полосу солнечного жара. Вспомни Прометея».

Итак, ничто так не вразумляет нас, как исключение, — более того, исключение и толкование находятся в прямой зависимости друг от друга. Правило, так же как и свет, необъяснимо, невидимо и проявляется, только если есть противодействие. Поэтому справедливо говорят, что исключение подтверждает правило, — можно даже сказать, что оно-то и делает правило зримым.

В этом состоит духовное очарование зоологии — в штудиях призматического излома, когда невидимая жизнь познается в бесчисленном разнообразии своих поселений. Какой восторг я ощутил, будучи еще ребенком, когда отец открыл мне эту тайну! Все ее детали как раз и образуют арабески в оправе великой мистерии, незримого философского камня, которому посвящены наши исследования. В один прекрасный День оправа сгорит и камень засверкает.

Днем у докторессы. Потом прогулка по разным кварталам и улицам города с кратковременным отдыхом в церкви Сен-Северен, вид которой и внутреннее убранство меня живо заинтересовали. Готика осталась не только архитектурой; внутри архитектуры она сохранила свое свечение.

Я ужинал у себя в «Рафаэле», как вдруг, примерно без двадцати восемь, объявили тревогу. Вскоре начался оживленный обстрел, и я поспешил на крышу. Оттуда взору открылось страшное и одновременно величественное зрелище. Две мощные эскадры клинообразно прочесывали центр города с северо-запада на юго-восток. Очевидно, бомбы они уже сбросили, так как в той стороне, откуда они прибыли, поднялись, расползаясь до самого горизонта, облака дыма. Это имело зловещий вид и ясно давало понять, что там сейчас сотни, может быть даже тысячи, людей задыхаются, горят в огне, истекают кровью.

Перед этим мрачным занавесом лежал город в золотом свете заходящего солнца. Вечерняя заря освещала самолеты снизу; их туловища выделялись на фоне голубого неба, как серебристые рыбы. Казалось, хвостовые плавники особенно улавливают и собирают лучи; они сверкали, как сигнальные ракеты.

Эскадры, низко мерцая над городом, тянулись журавлиным клином, сопровождаемые группами белых и темных облачков. Видны были огненные точки, вокруг которых, сначала остро и мелко, как булавочные головки, а затем все более расплываясь, расползались шары. Иногда, загоревшись, медленно и не оставляя

дымящегося хвоста, напоминая золотой огненный снаряд, стремительно падал какой-нибудь самолет. Один из них, кружась как осенний лист, упал на землю темным пятном, оставив за собой белый дымящийся след. Другой взорвался во время падения, и его большое крыло долго парило в воздухе. Иногда что-то коричневое, как сепия, что-то необъятное летело вниз с нарастающей скоростью; это означало, что на обугленном парашюте низвергался человек.

Несмотря на эти потери, эскадры держались своего курса, не отклоняясь ни вправо, ни влево, и это прямолинейное движение создавало впечатление ужасающей силы. Оно сопровождалось к тому же глухим жужжанием моторов, наполнявшим пространство и заставлявшим голубей в испуге кружиться вокруг Триумфальной арки. Зрелище несло в себе обе великие черты нашей жизни и нашего времени: строго сознательный, дисциплинированный порядок и элементарную разнузданность. Оно отличалось возвышенной красотой и в то же время — демонической силой. На какие-то мгновения я терял видимость, и сознание растворялось в ландшафте в ощущении катастрофы, но также и смысла, лежашего в ее основе.

Мощные пожары, чьи горнила смешивались на горизонте, с наступлением темноты полыхали сильнее. Следом за взрывами, пронзая ночь, вспыхивали молнии.

Читал Хаксли дальше, его рыхлая композиция утомляет. Речь у него идет об анархисте, в прошлом консерваторе, выступающем против нигилизма. В такой ситуации ему бы следовало чаще пользоваться образами, чем понятиями. А так он лишь в редких случаях достигает действительной силы своего таланта.

Хорош образ, в котором он описывает безличное, ползучеобразное в сексуальных отношениях: клубок змей, тянущих головки вверх, в то время как нижние части их туловищ, беспорядочно сплетаясь, вползают друг в друга.

Кино, радио, вся техника, возможно, помогают нам лучше познать самих себя, — познать то, чем мы *не* являемся.

Париж, 17 сентября 1943

Среди почты статья для моей гаманиады, присланная Дондерсом, настоятелем Мюнстерского собора: «И. Г. Гаман. Речь на торжественном заседании, прочитанная 27 января 1916 года в Мюнстере в актовом зале Вестфальского университета им. Вильгельма Юлиусом Смендом».

Гаман, по Гердеру,{174} «человек Древнего Союза», — иероглифическое свойство, к которому я обращаюсь как к предгеродотову, предгераклитову характеру. Как у Веймара были

Гёте и Шиллер, так у Кенигсберга — Гаман и Кант.

Кант говорит о «божественном языке созерцающего разума» у Гамана.

Если ты — писатель, иди в ученики к живописцам, прежде всего познавай науку «доработок», искусство все новых и более точных наложений на грубый текст.

Вечером закончил Хаксли, среди его промахов и такой, что он своих героев не принимает всерьез, превосходя в этом Достоевского, отчасти Жида.

Париж, 18 сентября 1943

Гулял по лесу и набережным с докторессой. Среди разнообразных ночных видов, цветущих на этом пути, на береговом откосе Сены, напротив маленькой сельской церкви Нотр-Дам-де-ла-Питье, обнаружил пышно разросшийся серо-зеленый дурман, покрытый цветами и плодами.

Закончил: Жан Деборд, «Le vrai Visage du Marquis de Sade», [197] Париж, 1939. Удивителен масштаб, с которым в этом имени сосредоточилось все самое позорное, закрепившееся именно за ним. Это можно объяснить только незаурядной потенцией пера и духа: позорная жизнь давно бы забылась, не будь позорного сочинительства.

Когда имена собственные входят в язык, образуя в нем понятия и категории, это редко происходит на основе деяний. Среди великих деятелей и князей рода сего только Цезарь выделяется подобным образом. Хотя можно сказать: это александринское, фридериканское, наполеоновское, — но всем этим словам всегда свойственно нечто специфическое, индивидуальное. Когда говорят: это — цезаристский, или кесарь, царь, кайзер, то здесь имя отделяется от своего носителя.

Гораздо чаще встречаются случаи, когда имя привязано к учению, как в кальвинизме, дарвинизме, мальтузианстве и т. д. Такие слова многочисленны, разнообразны и часто недолговечны.

На самой высокой ступени находятся имена, в которых учение и его творец сливаются: буддизм и христианство. Уникально это соотношение у христиан, где, по крайней мере в нашем языке, каждый носит имя основателя: «я — христианин». Христианин является здесь перифразой «человека», и в нем открываются ранг и тайна этого учения, отзвук которых слышится также в наименованиях «человек», «Сын человеческий» и «Сын Божий».

Париж, 19 сентября 1943

До полудня закончил, сидя в «Мажестик», первую часть

воззвания, озаглавив ее «Жертва». Случайно, листая Спинозу, нашел для этой части девиз, а именно в 44-й теореме «Этики»: «Ненависть, совершенно преодолеваемая любовью, переходит в самое любовь; и такая любовь сильнее, чем та, которой ненависть не предшествовала».

Париж, 20 сентября 1943

Начал вторую часть воззвания: «Плод».

Чтение: А. Шаван и М. Моноточчо, «Fossiles Classiques»,[198] Париж, 1938. Из книги узнал, что моя маленькая улитка называется *Cerithium tuberculosum,* а большая, которую я нашел недалеко от Монмирая в воронке от бомбы, — *Campanile giganteum.* Обеих первым описал Ламарк.

Париж, 23 сентября 1943

Утром сообщили о новом сильном налете на Ганновер; жду следующих известий.

После обеда с Баумгартом у Бернаскони, который обещает переплести для меня «Catalogue Coleopterorum».[199] Обратно шел садами Трокадеро; там в траве — крупные далии кирпичного цвета и многоцветные астры с желтым диском в сиреневых звездах. В это время года вокруг них роятся медово-коричневые цветочные мухи; посидел на них и адмирал, расправив крылья. Светлый, чистый и яркий красный цвет крыльев этой бабочки сливается в моих воспоминаниях с картинами тихих садов и парков, грезящих о чем-то в лучах солнца, пока осень холодит тени.

Снова воздушная тревога, в продолжение которой мы с президентом вели в его комнате разговоры о политике. Немецкие войска на Восточном фронте отступают, англичане и американцы вгрызаются в Италию, авиаэскадры трамбуют города рейха.

Иногда мне кажется, что в несчастии, со всех сторон обступившем нас, участвуют законы отражения.

Вселенная — наша зеркальная оправа, и прежде *мы* должны осветиться, чтобы прояснился горизонт.

Пловцы медленно, сквозь волны, пробиваются к берегу. Лишь немногие достигнут его, лишь единицы доплывут до прибоя. Только там выяснится, кто из них одолеет последний, самый тяжелый вал.

Вечером с Геллером и д-ром Гёпелем в «Шапон фэн». Беседа с хозяином, примечательным тем, что в нем отчетливо запечатлелись все черты низшего Марса. Крупную фигуру венчает голова с низко свисающими на лоб темными волосами. Скулы выдаются вперед, глаза бегают, буравя взглядом; чрезвычайно деятелен. Диспропорция между волей и интеллектом проявляется в некоем подобии муки, с которой он выжимает из себя идеи и которая заметна и в речи. Форма беседы — шумная задушевность в товарищеском кругу. Что-то похожее на избирательное сродство сдружило его с немцами, чья воинственная натура ему близка, — есть, где развернуться. С этого времени у него предостаточно треволнений, нет недостатка и в слежке. Он уже получил по почте маленький гробик.

Едва мы собрались уходить, как завыли сирены, и авиаэскадры залетали над городом. Тут наши почувствовали себя в своей стихии. Вооружившись стальными касками, шинелями и карманными фонариками, в сопровождении овчарок, наши люди сновали по темной площади, свистком подавая сигналы и задерживая прохожих и автомобили. Расторопные слуги, служители геенны. При этом не лишенные добродетелей, таких как верность и отвага, да и вообще им присущи все достоинства и недостатки собачьей породы, оттого и собаки всегда при них. У

Кньеболо тоже есть черты низшего Марса, но в нем, зловеще поблескивая, действуют и другие созвездия, например Юпитер. В нем были все необходимые качества, чтобы открыть эпоху вражды;

он сыграл роль орудия гнева, открывшего ящик Пандоры. Когда я сопоставляю вполне справедливые притязания своего отечества с тем, что получилось из них в этих руках, меня охватывает бесконечная скорбь.

Париж, 24 сентября 1943

Визит священника Б., который заходит довольно часто, чтобы почитать мне стихи. Разговор о ситуации; по его мнению, из нее есть только один выход, а именно применение нового оружия, о чем в Германии, при тайном участии и режиссуре пропаганды, повсюду нашептывают друг другу чудеса. Считают, что оно может уничтожить целые группы или даже все английское население. При этом, правда, уверены, и не без резона, что подобные желания существуют и у противоположной стороны, и не только у русских, но и у самих англичан. Тяжелые фосфорные бомбардировки, постигшие, например, Гамбург, отчасти уже осуществляют их. Так на пепелище возникают надежды и мечтания, которые тешат себя истреблением целых народов. До какой степени люди запутались в кроваво-красной чащобе, можно судить уже по тому, что священник, служитель культа, не только одержим этим безумием, но и усматривает в истреблении единственное благо. Видно, как шаг за шагом эти люди исчезают во тьме, в духовной смерти, подобно детям из Гамельна, поглощенным горой.

Закончил: Морис Пилле, «Thèbes, Palais et Nécropoles»,[200] Париж, 1930. Там есть фотография саркофага, где, вместе с сокровищами, лежит Тутанхамон в своей золотой маске. Читая эту книгу, вновь убедился, до чего же наше музейное дело, только в миниатюре, соответствует египетскому культу мертвых. Человеческую мумию у нас заменяет мумия культуры, и метафизический страх, свойственный египтянам, равносилен у нас страху историческому: то, что наша магическая выраженность может погибнуть в потоке времени, — вот забота, которая движет нами. А покой в лоне пирамид среди одиночества каменных палат, среди произведений искусства — папирусов, разнообразной утвари, статуй богов, украшений и богатого погребального убранства — своими возвышенными формами устроен на века.

Париж, 26 сентября 1943

За завтраком начал второе чтение Нового Завета: Матфей 5, 3 в сравнении с текстами издания Нестле. «Блаженны нищие духом…». До сих пор это место было мне известно в версии *Божьим духом.* Раздвоение в *spiritu* или *to pneumati*[201] не выявлено. Без сомнения, имеется в виду и то и другое; с одной стороны, *Божьим духом* в смысле «умудренные Писанием», какими были фарисеи, и с другой — *духом,* поскольку высшая причастность порождает сомнение, делая путь спасения поэтому незримым. И то и другое вмещается в слово *кроткий.* «Блаженны кроткие». В этом кроется мирская слабость и вместе с тем метафизическое превосходство. Горчичное зерно тоже крошечное, кроткое. Большинство притч рассчитано именно на это человеческое кроткое простодушие, на добродетели его по-детски грезящей души.

Далее Матфей 6, 23. Потрясающие слова: «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»

И в этом месте я нахожу положительную связь: тьма — величайшая сила. Глаз преломляет и отделяет от нее частичку, расщепляя глубинное чувство темноты — осязание, истончая и ослабляя его. Собственный смысл осязания мы храним в сексуальной памяти.

Может быть, подобно мятежникам из Питкэрна,[202] истребив себя на девять десятых, мы снова вернемся к Писанию как к Закону.

Париж, 28 сентября 1943

Опять сообщение о сильном налете на Ганновер прошедшей ночью. Так, подобно зубьям пилы, тянутся дни над нашими головами.

Закончил: Эрдманнсдерфер, «Мирабо», один из лучших исторических портретов, которые мне довелось читать. Автору было далеко за шестьдесят, когда он это написал. Книга излучает мягкую просветленность старости и дает почувствовать ту чудесную перемену, какую дух испытывает в своей осени, — перемену к простоте.

У себя на рабочем столе нашел четырехлистник клена, подаренный неизвестной рукой; он плавал в вазе. Прибыли и книги, в частности «Plaisir des Météores»[203] Мари Жевер, писательницы, мне не известной. От Фридриха Георга пришли «Скитания по Родосу» и «Письма из Монделло». Во время обеденного перерыва я вместе с ним углубился в наши «прогулки» по Средиземному морю.

Париж, 29 сентября 1943

Все еще без всякой причины на этом невольничьем корабле. В моем следующем воплощении я явлюсь в мир стаей летающих рыб. Это возможность распределить себя по частям.

Ночью сны. В какой-то комнате, в качестве гостя, я нашел на ночном столике гостевую книгу в красном кожаном переплете. Среди многих имен там было имя и моего дорогого отца.

После обеда на рю Реймон Пуанкаре. Купил здесь у Шнайдера для Перпетуи клавир «Фантастической симфонии» Берлиоза в переложении Листа — звуки, для Кирххорста необычные.

Перед общественными конторами и магазинами очереди, которые непрерывно растут. Когда я в униформе прохожу мимо них, то ловлю на себе взгляды величайшей неприязни, приправленной жаждой крови. По выражению лиц видно, какая бы была радость, если бы я растворился в воздухе, исчез как дурной сон. Сколько еще в каждой стране таких людей, лихорадочно ожидающих мгновения, когда и они смогут внести свою лепту в пролитие крови. Но именно от этого и следует воздерживаться.

Париж, 30 сентября 1943

Осенняя погода, влажная и серая. Жухлая листва деревьев сливается с туманом. Во сне мне явилась Виолетта, моя полузабытая подруга; за время, что мы не виделись, она научилась летать или, точнее, парить, и в синей юбочке, надувающейся как парашют над ее розовыми бедрами, выступает в цирке. Мы, ее старые берлинские друзья, встретились с ней в церкви, где она собиралась причащаться, и, как и прежде, нашептывали друг другу, стоя на хорах, двусмысленные шутки о «девчонке моряка». Особая удаль обуяла нас, когда она шла по красным плитам среднего прохода вниз к алтарю. Но вдруг мы с ужасом увидели, как перед ней с грохотом раскрылся люк и нашим взорам предстала чудовищная бездна. У нас закружилась голова и мы отвернулись. Осмелившись наконец посмотреть вниз, мы различили на дне крипты еще один алтарь, казавшийся маленьким из-за глубины бездны; его обрамлял венок из золотых предметов. В центре стояла Виолетта: она спорхнула вниз, подобно бабочке.

После полудня в Осеннем салоне на авеню Токио, поглядеть на картины Брака,{175} которого собираюсь навестить в понедельник. Я нашел их выразительными как по композиции, так и по цвету и исполненными с бóльшим чувством, чем у Пикассо. Мгновение, которое они для меня воплощают, — то самое, когда мы восстаем из нигилизма и материя сбивает нас в

новые композиции. Соответственно этому разорванные линии сменяются закругленными, а из красок особенно удались интенсивно-синяя и темно-фиолетовая, искусно переходящая в мягко-коричневый бархат.

Выставка изобиловала картинами. Впечатление было такое, что живописцы, как и вообще все художники, невзирая на катастрофу, инстинктивно продолжают творить дальше, подобно муравьям, восстанавливающим полуразрушенную постройку. Возможно, это только поверхностный взгляд, и в недрах великого разрушения на большой глубине пролегают уцелевшие артерии. Этим повязан и я.

Разглядывание картин, как всегда, стоило мне большого напряжения; обилие произведений искусства захватывает, как магическое действо. И если мы с какими-то из них подружимся или приобретем их, введя в свой дом, то и у нас прибавится от их силы.

Париж, 2 октября 1943

Депрессия; в это время я, как обычно, худею.

За завтраком продолжал читать Евангелие от Матфея. История со статиром, который ученикам предстоит найти в утробе рыбы, по-видимому — позднейшая магическая вставка, она противоречит простоте текста, цель которого — спасти, а не озадачить, как это обычно бывает при чудесах. Гл. 16, стих 14 свидетельствует, что лишь некоторые удостаиваются земного воплощения: названы Иоанн, Илия и Иеремия. Возможно, что такая вера особенно распространяется на пророков. В этом и в некоторых других местах сохранилась, по-видимому, еще мелкая расхожая монета тех разговоров, от коих в основном тексте остались одни золотые.

Среди почты письмо от старшего лейтенанта Хойслера с Кубанского плацдарма. Он пишет, что погиб д-р Фукс, к которому мы тогда в Шаумяне заходили в гости.

После полудня прогулка по лесу и набережным с докторессой. Деревья у пруда в Сюрене: красноватые, как вино, блеклые, золотисто-коричневые отражения в чистой воде, окаймленной водорослями и травами. Ненадолго зашли в парк Багатель. Там я напрасно высматривал золотого язя. Зато увидел кувшинку, наподобие гиацинта развернувшую свои нежные цветки с остроконечными лепестками. Листья, куда насекомые уже вписали свои иероглифические ходы, тронуты осенью, и, как венок из покрытых красным лаком клейм, сердцеобразно опоясывают цветущее чудо.

Вечером листал монографию Грапуйо о французской прессе,

испытывая чувство, будто заглянул в лабиринт огромной клоаки. Свобода прессы в области политикосоциальной — то же самое, что свобода воли в области метафизической; она относится к проблемам, которые всегда возникают и которые никогда не разрешить.

Париж, 3 октября 1943

Утром читал Евангелие от Матфея дальше. Там в 18,7 сказано: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит».

Здесь in nuce[204] дано отграничение предопределенности от свободной воли, и это место, безусловно, принадлежит к тем, которые вдохновляли Боэция.

Я был кроток и укрощу себя вновь.

Париж, 4 октября 1943

После полудня с Жуандо у Брака, в его маленькой, теплой, выходящей окнами на юг мастерской, близ парка Монсури.

Нас встретил человек среднего роста, но крепкого сложения, лет примерно шестидесяти, в синей полотняной куртке и брюках из коричневого вельвета. Удобные домашние туфли из кожи, мягкие шерстяные чулки и постоянно дымящая сигара усиливали впечатление свободы в привычной обстановке. Выразительна была голова — четкой формы, с густыми и абсолютно седыми волосами; прекрасные глаза цвета голубой эмали и, как линзы на увеличительных стеклах, необычайно выпуклые.

Стены были увешаны и заставлены картинами. Особенно мне понравилось изображение черного стола, поверхность которого не столько отражала, сколько одухотворяла стоявшие на нем сосуды и стаканы. Начатый натюрморт стоял на мольберте, унаследованном еще от отца, ибо толстыми слоями на нем лежала засохшая краска, свисавшая разноцветными сталактитами.

Разговор о связях между импрессионистической живописью и приемами военной маскировки, которую, если верить Браку, осуществившему в искусстве уничтожение формы цветом, первым открыл именно *он*.

Брак, избегающий присутствия оригинала и натуры, рисует всегда по памяти, и это придает его картинам глубинную, сновидческую реальность. В связи с этим он рассказал, что недавно ввел в свою картину омара, не зная, сколько ног у этого животного. Когда позднее, за трапезой, ему представился случай проверить свою догадку на конкретном экземпляре, то он увидел, что угадал все правильно, и связал это с мнением Аристотеля,

согласно которому у каждого вида имеется свое строго предопределенное численное соотношение.

Как всегда при встрече с творческими людьми, я спросил у него, какой опыт принесло ему старение. Он считал, что самое приятное для него в том, что возраст поместил его в состояние, где ему не нужно выбирать, — я это перевожу таким образом, что с возрастом все в жизни приобретает более необходимый и менее случайный характер; путь становится одноколейным.

К этому он добавил: «Нужно достичь такого уровня, чтобы источник творчества помещался не там, а здесь». При этом он указал сначала на свой лоб, а потом на диафрагму. Последовательность жеста удивила меня, так как, по всеобщему мнению, работа с годами становится сознательней, и там, где тренировка, привычка, опыт ее упрощают, речь идет о сознательном сокращении творческих процессов. И все же он прояснил мне ту метаморфозу, что совершилась с его переходом от кубизма к глубинному реализму. И на пути к наивности существует прогресс. В царстве духа есть альпинисты и рудокопы; одни следуют отцовским, другие — материнским путем. Одни достигают высоких вершин растущей с годами ясности, другие, как герой Гофмана в Фалунском руднике, проникают во все более глубокие шахты — туда, где идея открывается духу дремотно, тяжеловесно и в кристаллическом великолепии. В этом и состоит собственная разница между аполлоновским и дионисийским началами. Но самым великим присущи обе силы; у них двойная мера, как у Андов, чья абсолютная высота разделена для глаза уровнем моря. И царство их простирается от той сферы, где летают кондоры, до чудовищ морских глубин.

В Браке и Пикассо я увидел двух великих художников современности. Впечатление было одинаково сильным и все же специфически разным, поскольку Пикассо предстает властительным волшебником в умственной сфере, в то время как стихия Брака — лучащаяся сердечность. Это проявляется и в различии мастерских обоих художников: мастерская Пикассо отличается явным испанским своеобразием.

В мастерской Брака мне бросилось в глаза обилие мелких предметов — масок, ваз, стеклянных бокалов, божков, раковин и тому подобного. У меня создалось впечатление, что здесь собраны не столько модели в обычном смысле этого слова, сколько талисманы, своеобразные магниты для собирания сновидческой субстанции. Та же бережно хранимая и вдруг заискрившаяся субстанция дает, очевидно, о себе знать, когда приобретаешь у Брака картину. Среди собрания была большая, красующаяся темносиними глазами бабочка. Брак поймал ее у

себя в саду, где растет павловния, и считал, что она совершила свое путешествие вместе с деревом прямо из Японии.

Вечером в «Рице», с глазу на глаз с Шуленбургом. Обсуждали ситуацию и в связи с ней воззвание, схему которого я ему изложил. Может быть, придется переехать в Берлин. Кстати, я упомянул, что Кейтель наблюдает за моим пребыванием здесь с недоверием, но Генрих Штюльпнагель на запрос Шпейделя меня тоже не отпустил.

Париж, 5 октября 1943

Среди почты первое письмо Перпетуи о ночи 28 сентября в Кирххорсте. Бомбы упали на ивы рядом с домом. Кажется, приближается кульминация ужасов, когда в небе запылают «рождественские елки», — пучки осветительных ракет, возвещающих о массированной бомбардировке. Семилетнюю дочку соседа утром увезли в сумасшедший дом. Будущее детей настораживает меня, — какие плоды созреют нынешней весной? Высокие и низкие температуры запечатлеют на легких крылышках этих нежных душ необычные знаки.

Париж, 6 октября 1943

Вечером прогулка с Хуссером, свидание которому я назначил у могилы Неизвестного солдата. Пока мы шли назад вдоль Буа сначала к Порт-Майо и оттуда через площадь Терн, он рассказал мне о своей жизни. Несчастье Хуссера заключается в том, что он, унаследовав от отца еврейскую кровь, является в то же время преданным солдатом немецкой армии, участником сражения при Дуомоне. При нынешних обстоятельствах такое сочетание долго терпеть не могли. Вот он и вынырнул здесь как человек, сбросивший с себя тень: как неизвестный, с новым именем, новыми персоналиями и новым паспортом одного умершего эльзасца.

Живет он в дешевом отеле в Билланкуре и прибыл только что с побережья, где пас овец бретонского националиста, которому его рекомендовал Хильшер. Впрочем, Хильшер сам вскоре будет проездом в Париже, ибо собирается заслать бретонцев в Ирландию.

Я забрал почту для жены Хуссера и собираюсь отправить ей также посылку, причем сложность состоит в том, что ни она как получатель, ни ее муж как отправитель, ни я как посредник не должны быть обнаружены.

В «Рафаэле» размышлял о мерзостях, которые ни один из будущих историков постигнуть не сможет. Одна из них, например, — это позиция старых полковых союзов, пытавшихся

сначала защитить таких членов, как Хуссер, а затем, когда это стало опасно, предавших их суду народа. Поэтому Фридрих Георг, я и еще несколько человек после одного из таких спектаклей вышли из «Союза бывших однополчан 73-го». В свой план «Дома» я должен был включить комнату, в которой коррумпированное рыцарство под давлением черни, бурлящей снаружи, выпускает своих подзащитных. Смесь фальшивого достоинства, страха и наигранного радушия — все это я видел в маске председателя Бюнгера, когда он допрашивал нежелательных свидетелей на процессе по поджогу рейхстага. Прототип — Понтий Пилат. Обвиняемого оправдывают, хорошо зная при этом, в какие руки он попадет на ступенях судилища. Со мной может произойти то же самое, если главнокомандующему придется оставить «Мажестик». Только акт умывания рук, возможно, будет несколько попахивать духами. «Мой любезный Ю., Вашему дарованию здесь негде развернуться. Поэтому мы отправляем вас на „диспозицию“». И тебе дают вольную, делая хорошую мину при плохой игре. Словно на прощанье поднимают бокал, — сцена, которую можно найти у Шекспира и которой он посрамит любого профессионального историка.

Париж, 10 октября 1943

Утром в постели закончил Евангелие от Матфея, после чего — воскресный завтрак, благодаря заботам президента прошедший довольно уютно. Мысль: несмотря на то что в этой второй войне я в значительной мере окружен кулисами комфорта, я живу в большей опасности, чем во время битвы при Сомме или во Фландрии. Мне кажется также, что среди сотни старых вояк едва ли кто-нибудь выдержит эти новые ужасы, растущие по мере перехода из сферы героизма в сферу демоническую.

Матфей, 25: великая тема этой главы есть та, что человек в течение отпущенной ему жизни может возвыситься до сверхвременного, собрать масло для вечно горящей лампады и, воспользовавшись своей долей наследства, своим талантом, сможет стяжать нетленное богатство. Эта трансцендентная сила, извлекающая из времени плоды, и в самом деле есть неслыханное чудо, достойное того, чтобы его изучали в тысячах монастырей и в многочисленных скитах: время как хранилище, мир как плод. Не случайно так много образов связано с вином и с трудами виноградарей, ибо произрастание вина до того мгновения, когда оно, будучи испито, превращается в дух, есть жизненный символ великой силы.

Мы живем, чтобы воплотить себя. Только благодаря этой воплощенности смерть теряет свое значение, — человек обменял

свое имущество на золото, нигде, ни за какими пределами не теряющего своей ценности. Потому и говорит Соломон, что для праведных смерть есть только кажимость: Бог «испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную».

Мы, следовательно, можем достичь такого состояния, когда никакой обмен не сулит нам ущерба.

Париж, 11 октября 1943

Грандиозные планы уничтожения могут удаться лишь в том случае, если им будут сопутствовать перемены в мире морали. Человек должен обесцениться, стать метафизически равнодушным, прежде чем осуществится переход от массового уничтожения, какое мы переживаем сегодня, к уничтожению тотальному. Как наша общая ситуация, так и эта связь предусмотрена в Писании — и не только в изображении потопа, но и в описании гибели Содома: Бог обещает пощадить город, если в нем найдется хотя бы десять праведников. В этих словах — символ огромной ответственности каждого и для нашего времени. Один человек может стать заложником бесчисленных миллионов.

Париж, 14 октября 1943

Я спустился в усыпальницу, к гробу моего деда, школьного учителя. Утром открыл сонник и рядом со словом «Tombeau»[205] нашел: *longévité*.[206] Это одно из глупых толкований, наводняющих такие книги. Спуститься к могиле предка означает, скорее, желание получить совет в трудных ситуациях, — совет, который сам себе, как индивид, дать не можешь.

Среди почты письмо молодого солдата Клауса Майнерта, однажды уже писавшего мне в связи с моей небольшой работой о гласных. На этот раз он делится со мной своим открытием символического смысла древних маюскул.

A — воплощает ширь и высоту. Самое простое свидетельство этому знак ⋀: две удаленные точки встречаются в зените.

E — звук бесконечности, абстрактного мышления, мира математики. На это указывают три единообразные параллельные линии ≡, соединенные вертикалью.

I — как эротический знак, как Lingam,[207] выражает соотношения, связанные с кровью, любовью, исступленной страстью.

O — как звук света представляет собой воплощение Солнца и глаза.

U, или, как писали его древние, V — звук Земли, погружающийся в глубину. Он является также знаком,

противоположным *А*.

Эта работа меня порадовала, ибо в ней виден глаз. Я представил себе и те условия, в которых она возникла, — на маршах, во время ночных дозоров, в военном лагере. Молодые люди хватаются за духовные элементы жизни, как за созвездие, виднеющееся на Потерянном посту. Как редко находят они поддержку в этом лучшем из своих порывов!

Хорст, мой сосед по столу, получил известие, что его престарелый отец при налете на Мюнстер был тяжело ранен. Обстоятельства этого ужасны. Видно, бомбят с удесятеренной силой. Ущерб, который понес Ганновер в ночь с 9-го на 10-е октября, весьма значителен; сотни тысяч людей лишились крова. От Перпетуи все еще никаких известий!

После полудня беседа с капитаном Арецем, тем самым, что еще студентом навестил меня как-то в Госларе, — мы долго обсуждали ситуацию. Он считает, что я не знаком с настроением молодежи от двадцати до тридцати, которая верит только в то, что написано в газетах, и никогда ничему другому не училась. Это казалось ему благоприятным ввиду прочного положения власть имущих, правильно же как раз обратное: выходит, достаточно исправить то, что написано в газетах.

Париж, 16 октября 1943

Размышлял о машине и о том, что мы в ней упустили. Как развитие чистого человеческого интеллекта она похожа на хищного зверя, опасность которого человек распознал не сразу; он легкомысленно вскармливал ее рядом с собой, пока не узнал, что приручить ее нельзя. Удивительно, что при первом ее использовании в качестве локомотива все разрешилось прекрасно. Железная дорога в государственных или полугосударственных руках, дотошно отрегулированная, обеспечила за эти сто лет многочисленным семьям их скромное, сносное существование — железнодорожник, в общем, доволен своей судьбой. Инженеры, служащие и рабочие пользуются в этих рамках многими преимуществами солдата и испытывают лишь немногие из его неудобств. Нам жилось бы лучше, если такая же забота с самого начала, с самого момента их возникновения проявлялась бы в отношении автоматики и конструирования ткацких станков. Правда, железная дорога имеет и свои дополнительные особенности, а именно пространственный характер или то, что она является сооружением протяженным. Она обладает способностью присовокуплять большое число экзистенций, которые только наполовину сопряжены с техникой, другой же своей половиной они принадлежат органической

жизни, — я имею в виду путевых обходчиков или дежурных по станции с их простым, но здоровым образом жизни. Изначально каждому представителю технической профессии следовало бы выдавать какой-нибудь надел, хотя бы садовый участок, поскольку любая жизнь зависит от земли как от всеобщей кормилицы и в кризисное время только у нее и ищет защиты.

Техника похожа на постройку, возведенную на недостаточно исследованном грунте. За сто лет она разрослась столь мощно, что какие-либо изменения в общем великом плане стали невероятно сложными. Это особенно касается тех стран, где она выше всего развита. На этом зиждется преимущество России, ставшее заметным лишь теперь и объясняемое двумя принципиальными причинами: у нее не было технической предыстории и она владела обширным пространством. Правда, наряду с этим она пережила мощное разрушение жизненного уклада и материальных благ, но — по причинам, лежащим уже за пределами планирования.

Огромные разрушения, выпавшие на долю нашего отечества, могли бы обернуться *единственным* благом, если бы вещам, казавшимся непреложными, положили второе начало. Они, эти вещи, создают ситуацию, превосходящую самые дерзкие мечты Бакунина.

Закончил: первый том «Causes célèbres»,[208] изданных в Амстердаме М. Рише, бывшим адвокатом парламента. Там в изображении процесса, направленного против Бренвильер,[209] я прочитал: «Les grands crimes, loin de se soupçonner, ne s'imaginent même pas».[210] Это совершенно справедливо и покоится на том факте, что преступление возрастает в той же степени, в какой оно, освобождаясь от звериных инстинктов, делается все более разумным. В той же мере исчезают и косвенные улики. Если посмотреть логически, величайшие преступления основываются на комбинациях, превосходящих закон. Преступление, кроме того, все более перемещается из области поступка в область бытия, достигая ступеней, где оно обитает в чистом разуме как абстрактный дух зла. В конце концов пропадает и интерес — зло совершается ради самого зла. Злу рукоплещут. Тогда и вопрос «Cui bono?»[211] теряет свою сдерживающую силу, — во вселенной есть только *одна* власть, которой это на пользу.

Вечером в «Рафаэль» пришли Бого с Хуссером. Бого для меня в это столь бедное оригинальными натурами время — один из знакомых, о коих я более всего размышлял и о ком менее всего могу судить. Раньше я думал, что он войдет в историю нашего времени как одна из преувеличенно остроумных, но не слишком знаменитых фигур, сегодня же считаю, что от него можно

ожидать большего. Прежде всего, многие из одухотворенных молодых людей — может быть, даже большинство из того поколения, что выросло в Германии после мировой войны, — прошли через его влияние и через его школу, и я всегда видел, что встреча с ним не оставалась для них бесследной.

Он приехал из Бретани, перед этим побывав в Польше и Швеции. По старой смешной привычке он начал готовиться к дискуссиям, вынимая из чемодана разные предметы, — сначала целый набор резных трубок с фильтрами и кисетами для табака, затем камилавку из черного бархата, которой он украсил свою давно уже облысевшую голову. При этом он поглядывал на меня хитро и испытующе, но в то же время и добродушно, как человек, ожидающий каких-либо откровений и сам имеющий что рассказать. У меня было впечатление, что он выбирал трубки в соответствии с поворотами разговора.

Я расспрашивал его о некоторых общих знакомых, например о недавно умершем Герде фон Тевенаре, выяснив при этом, что хоронил его именно он. Про Ареца, который заходил ко мне позавчера, он сказал обратное: «Его я венчал». Тем самым он укрепил мое давнишнее подозрение, а именно, что он учредил какую-то церковь. Теперь, успешно справившись с литургикой, он углубился в догматику, показав мне целый ряд песнопений и праздничный цикл «Языческого годового круга», содержащий иерархию божеств, праздников, цветовых оттенков, животных, кушаний, камней и растений, Там я прочитал, что светосвятие празднуется 2 февраля. Оно посвящается Берхте, знаком которой является веретено, животным — медведь, а цветком — подснежник. Ее тона — рыжий лисий и «белоснежный»; в день ее памяти дарят пентаграмму, едят селедку с клецками, запивая тюленьим жиром, и печенье с крендельками. А в карнавальную ночь, посвященную Фрейе, предлагают язык, шампанское и оладьи.

О ситуации. Он высказал мнение, что, после того как эти остолопы не сумели взорвать Кньеболо, расправа с ним должна стать задачей специальных групп. Он дал также понять, что при сложившихся обстоятельствах сам вынужден все подготавливать и организовывать, — как некий хозяин горы, рассылающий своих молодцов по дворцам. Основная политическая проблема сегодня, как он ее понимает, звучит примерно так: «Как, захватив с собой оружие, на пять минут проникнуть в бункер номер один?» Пока он излагал подробности, я отчетливо представил себе положение Кньеболо, к которому со всех сторон, выслеживая его, как дичь, подбираются охотники.

В Бого я заметил одно существенное изменение, характерное,

пожалуй, для всей элиты и состоящее в том, что вдохновение, добытое рациональным путем, он направил в метафизические области. Эта особенность бросилась мне в глаза еще у Шпенглера, и я считаю ее благоприятным предзнаменованием. Если все суммировать, XIX век был рациональным, в то время как XX можно признать культовым. Этим-то как раз и живет Кньеболо, и с этим же связана полная неспособность либеральной интеллигенции увидеть хотя бы то место, на котором он стоит.

Потом о путешествиях Бого. В них множество тайн. Особенно потрясли меня подробности, рассказанные им о гетто города Лодзя, или, как он нынче называется, Лицманштадта. Он проник туда под каким-то предлогом и побеседовал со старостой еврейской общины — австрийцем, в прошлом старшим лейтенантом. Там живут сто двадцать тысяч евреев, скученных самым тесным образом, они работают на вооружение. Они построили один из самых больших на Востоке заводов, и этим получили отсрочку, ибо в них есть необходимость. Тем временем из оккупированных стран идут все новые депортированные евреи. Дабы избавиться от них, рядом с гетто построены крематории. Жертвы доставляются туда на машинах, которые, по слухам, изобрел главный нигилист рейха Гейдрих; внутрь машины вводятся выхлопные газы, так что она превращается в смертную камеру.

Существует еще и другой вид убийства, состоящий в том, что перед сжиганием людей нагишом выводят на большую железную платформу, через которую пропускают сильный ток. К этим методам перешли потому, что эсэсовцы, в чью обязанность входило выстреливать в затылок, испытывали замешательство и в последний момент отказывались стрелять. Эти крематории обходятся малым персоналом; в них справляет свою службу некая разновидность дьявольских мастеровых и их подмастерьев. Там-то и уходят в небытие массы евреев, «переселенных» из Европы. Вот ландшафт, на фоне которого натура Кньеболо выделяется наиболее четко и которого не мог предвидеть даже Достоевский.

Жертв для крематория назначает староста гетто. После долгого совещания с раввинами он отбирает стариков и больных детей. Среди стариков и немощных много добровольцев, — так этот страшный торг приводит к славе гонимых.

Гетто Лицманштадта закрытое; в других маленьких городках тоже есть такие, состоящие всего из нескольких улиц, где живут евреи. Там еврейские полицаи, в обязанности которых входит вылавливание жертв, хватают и выдают также немцев и поляков, проходящих через гетто, так что о них больше никто ничего не слышит. Подобные вещи рассказывают, в частности, о поволжских

немцах, ждавших там распределения по землям. Конечно, они уверяли своих палачей, что евреями не являются, но слышали в ответ: «Все так говорят».

В гетто нельзя рожать детей, исключение делается только для самой благочестивой секты — хасидов.

Уже по названию — «Лицманштадт» — видно, какие почести раздает Кньеболо. Имя этого генерала, украшенное боевыми победами, он навечно связал с логовом живодеров. Мне с самого начала было ясно, что больше всего следует опасаться его наград, и я сказал стихами Фридриха Георга:

Бесславье тем — кто с вами вместе
Бывал в сраженье.
Победы ваши — не триумф,
А пораженье.

Париж, 17 октября 1943

После полудня во вновь открытом «Théâtre de Poche»,[212] на бульваре Монпарнас, куда Шлюмберже пригласил докторессу и меня на просмотр своей пьесы «Césaire».[213] Кроме этого спектакля давали «Бурю» Стриндберга,{176} постановка которой в этом помещении только усилила ее и без того зловещий характер. Играли в костюмах конца прошлого века, вынутых из старых платяных шкафов; в духе времени был и телефон, когда-то неслыханная вещь на сцене.

Затем чай у докторессы: «Труды великих мира сего узнаешь по их математическому характеру: проблемы хорошо делятся и входят в целые числа. Деление происходит без остатка».

В этом суждении есть что-то верное, хотя оно очерчивает только одну из двух сторон творческой силы. На другой же стороне результаты отличаются тем, что *не* поглощаются целым, — всегда остается что-то неделимое. В этом разница между Мольером и Шекспиром, Кантом и Гаманом, логикой и языком, светом и тьмой.

Есть, правда, творцы, но их немного, которые в одно и то же время и делимы и неделимы. К ним относятся Паскаль и Э. А. По, а из древних — Павел. Там, где язык безглазой силой вливается в световые частицы мыслей, там в отполированной темноте сияют дворцы.

Париж, 18 октября 1943

Днем у Флоранс. Снова восторгался цветом бутылок и бокалов, найденных в древних захоронениях; их синева еще

глубже и восхитительней, чем крылья бабочек в горных лесах Бразилии.

Мари-Луиза Буске рассказала о женщине, которая отправилась в один из разгромленных городов на побережье, чтобы разыскать мужа, не вернувшегося из поездки. Она справлялась о нем в ратуше, но в списке жертв он не значился. Ступив на рыночную площадь, она увидела там множество гробов, погруженных на машины; в каждый из них была воткнута небольшая палка с запиской, где стояло имя мертвеца. Там ей тотчас же попалось на глаза имя мужа, и как раз в тот момент, когда машина тронулась с места в сторону кладбища. Так она в дорожном платье и пошла за гробом — подхваченная молниеносной сменой картин, какая бывает только во сне. Жизнь все более походит на сон.

Париж, 19 октября 1943

Новое сообщение о яростном налете, которому прошлой ночью подвергся Ганновер. Я безуспешно пытаюсь туда прорваться, чтобы поговорить с Перпетуей, — провода порваны. Кажется, город превращен в сплошные руины.

После полудня у антиквара Этьена Бинью, который по моей просьбе достал из подвалов своей лавки картину Таможенника Руссо,{177} якобы давно пропавшую. Руссо назвал это большое, написанное в 1894 году полотно «Война, или скачка раздора», снабдив его надписью: «Раздор мимоходом сеет ужас и оставляет за собой отчаяние, слезы и руины».

Первое, что бросается в глаза, — это краски: облака, раскрывающиеся на фоне синего неба как большие розовые цветы, перед ними — деревья, одно черное, а другое нежно-серое, с чьих ветвей свисают тропические листья. Ангел раздора галопирует на черном, безглазом коне, пересекая поле битвы. На нем рубашка из перьев и в правой руке поднятый меч, а в левой — факел: с его темного дымового хвоста точечками сыплются искры. Земля, над которой летит этот ужасный звездный посланец, усеяна голыми или полураздетыми трупами; на них пирует воронье. Мертвецу на переднем плане — единственному, кто хоть как-то одет в залатанные штаны, — Руссо придал черты собственного лица; у другого, на заднем плане, чью печень поедает ворон, — черты первого мужа его жены.

В этой картине, о находке которой мне сообщил Баумгарт, я вижу одно из великих пророчеств нашего времени; в ней явлена также идея о самом насущном в живописи в противовес сюжетному калейдоскопу. Подобно картинам ранних импрессионистов, конформистски следовавших старым

дагерротипам, эта следует канонам моментальной съемки. Элементарной нагруженности содержания противоречит манера сковывающего ужаса или декоративной застылости; можно спокойно рассматривать то, что обычно — из-за свойственной ли демонизму таинственности или благодаря ужасающей скорости — восприятию не поддается. Можно видеть, что уже в то время все приобрело исключительно угрожающие масштабы. Добавились и мексиканские мотивы, — за тридцать лет до этого из Мексики возвратился Галифе. Какой-то источник нашего страшного мира, без сомнения, следует искать в произрастании тропических зерен на европейской почве.

Среди различных качеств одним из самых примечательных является детскость — чистота внутри сказочных ужасов, как в романе Эмилии Бронте.

Париж, 20 октября 1943

Наконец-то получил известие от Перпетуи. Страшный налет 10 октября, разгромивший целые кварталы Ганновера, лишь слегка коснулся Кирххорста. Из дома священника она видела, как на город, подобно жидкому серебру, изливается фосфор. 11 октября пополудни сквозь дымящиеся горы мусора она проникла в дом своих родителей. Он был единственным, уцелевшим во всей округе, но зажигалки все же попали в комнаты. Она застала родителей измученными, с распухшими от слез глазами, но пожар им потушить удалось. Особенно отличилась ее маленькая племянница Виктория; именно в такие минуты у слабых откуда-то появляются силы, которых никто у них и не подозревал.

Париж, 23 октября 1943

Capriccio tenebroso.[214] Зрелище мертвой сойки с розово-серым пушком на груди и маховыми перьями черной, белой и синей окраски. Она лежит, уже наполовину погрузившись в рыхлую землю, под которой копошится целый рой гробокопателей. Ее тельце толчками, спазмами исчезает в темном грунте. Вскоре виднеется только голубой кончик крыла, прикрытого кладкой желтых яичек. Исчезает и он, а из яиц, скатившихся с него, тут же выползают личинки.

Если преступление становится болезнью, то операция — казнью.

Париж, 24 октября 1943

Наконец успокаивающее письмо от Перпетуи в связи с ужасной ночью 19-го. На этот раз бомбили Кирххорст, дворы и сараи сгорели. Фугасные и зажигательные бомбы и канистры с

фосфором упали возле дома священника, жильцы которого лежали в сенях. Затем последовал дикий грохот, словно рушилось старое добротное здание, и Перпетуя поспешила с малышом в сад — там оба прижались к древу жизни.

В этом году я потерял не только отца, но и свой отчий город. Из Лайснига и Мюнхена также поступают грозные вести. В первую мировую войну я был одинок и свободен; через вторую я несу все, что мне дорого и чем я владею. Но уже во время первой я изредка видел сны об этой второй, подобно тому как во Франции 1940-го меня ужасали не столько картины настоящего, сколько предвидение будущих миров уничтожения, которые я угадывал в безлюдном пространстве.

После полудня у Клауса Валентинера, прибывшего из Э. Он привез мне приветы от Медана, тот уже получил на дом от своих соотечественников два гроба и один смертный приговор. Его преступление заключается в том, что дружбу между Германией и Францией он считает вполне возможной.

Альман, дядюшка Валентинера, с которым я познакомился через магистра, и еще один генерал были приглашены к Карлу Шмитту на ужин и вместе разыскивали Кайзерсвертерштрассе в Далеме. Придя туда, они увидели на месте дома руины, но все-таки, ради эксперимента, надавили на звонок садовой калитки. Тут же из одного из подвалов в черном бархатном платье появилась фрау Душка и церемонно сообщила, что, к сожалению, ужин она вынуждена отменить. Это весьма для нее характерно.

Валентинер рассказал также страшную историю, случившуюся в Э. Там размещается рота СС, из которой один молодой солдат сбежал в Испанию. Дезертирство удалось, но его отправили назад. Командир взвода приказал связать его и, выставив перед строем, лично расправился с ним, расстреляв из автомата. Экзекуция произвела на всех жуткое впечатление; многие из молодых солдат лишились сознания.

В такое злодеяние верится с трудом, тем более если иметь в виду, что командир — отец для своих подчиненных. Хотя это вполне согласуется с той ситуацией, где однозначно правит грубая сила и поэтому высшим авторитетом обладает палач.

Под моросящим дождем в Люксембургском саду. Там цвели великолепные канны, ярко-красные, с пламенно-желтыми краями; они обрамляли большую овальную площадку, на которой теперь, во время войны, выращивают капусту и помидоры.

Париж, 25 октября 1943

Днем у Флоранс. Она рассказала подробности об устройстве замка, который купила когда-то в Нормандии, но название

которого позабыла.

За столом присутствовала также Мари Лорансен; мы с ней поговорили о Таможеннике Руссо. Она была знакома с ним в ранней юности, в то время, когда он давал уроки живописи и игры на скрипке, и хвалила благозвучие его речи; слушать его доставляло большее удовольствие, чем смотреть, как он рисует. Однажды она позировала ему для портрета, на коем он, несмотря на ее тогдашнюю стройность, придал ей необъятные размеры. Когда она обратила на это его внимание, он сказал: «C'est pour vous faire plus important».[215] Это напоминает каменный век.

Париж, 26 октября 1943

Трапеза, на которую был приглашен и Сократ. Он был мал ростом, худ, коротко острижен, с худощавым, интеллигентным лицом и одет в хорошо сшитый, серый уличный костюм.

«Какое утешение, что такой человек еще жив», — сказал я про себя и подумал об этом точно так же, как если бы узнал, что еще живы Буркхардт или Делакруа.

Я поделился этим с одним из сотрапезников, который поливал мои гренки из белого хлеба растопленным маслом. Это был скандинавский критик, знавший также мою подругу Биргит и вовсю хваливший поэму, которую она ему подарила. Из нескольких процитированных им оттуда стихов я запомнил только один, начинавшийся словами:

Морус, больше танцор, чем любовник — —

Он назвал такое начало «превосходным», но я тут же инстинктивно понял, что это слово он употребил и как похвалу, и как порицание, ибо «превосходный» имеет преимущественно оттенок всеобщности, в то время как о совершенном такого не скажешь.

Сны вселяют в меня надежду на будущее, дают уверенность. Прежде всего это относится к тому сновидению, когда я на пути к Родосу попал в руки Кньеболо и его банды. «Tout ce que arrive est adorable»,[216] — одно из лучших выражений, найденных для этого случая Блуа.

Проснувшись, я открыл новую гармонию — я имею в виду ту, в которой нежная зелень линиями и нитями соединяется с нежной желтизной и которую можно назвать гармонией камыша. Ее место — в павильонах на спусках к воде, в бунгало, в садовых беседках, утиных заводях и бамбуковых рощах, она годится и как переплет для произведений Тургенева и Уолта Уитмена.

Писал воззвание, начав главу о нигилизме и одновременно

переписывая уже готовые части.

Париж, 27 октября 1943

В своем письме от 21 октября Перпетуя пишет о берлинских детях, которых мы приютили. Один из детей, шестилетний малыш, сказал ей: «Тетя, у меня ноги так пугаются, что их даже шатает».

Замечательно доверие, какое малыш испытывает по отношению к сильной матери, предотвращающей все угрозы. Открываются вещи, коих никогда бы не узнал в эпоху безопасности.

Париж, 28 октября 1943

Во второй половине дня меня навестил Крамер фон Лауэ, один из тех читателей, кто познакомился с моими сочинениями еще в детстве и вырос вместе с ними. За это время он стал капитаном, и его левую щеку рассекает шрам от пули, придающий ему бравый вид.

Обсуждение ситуации, в частности вопроса, в какой мере отдельный человек должен чувствовать ответственность за злодеяния Кньеболо. Мне доставляет удовольствие видеть, как молодые люди, прошедшие мою школу, сразу понимают, о чем идет речь. Судьба Германии безнадежна, если из ее молодежи, в частности из ее рабочего сословия, не вырастет новое рыцарство.

Крамер обратил мое внимание на книгу Вальтера Шубарта под названием «Европа и душа Востока», которая появилась в Швейцарии. Он прочитал мне оттуда несколько отрывков. Надеюсь, что достану ее, хотя тираж и небольшой.

Париж, 29 октября 1943

У Бернаскони, на авеню Ловендаль. Забрал у него обе части «Catalogue Coleopterorum», которые он переплел весьма добротно. Затем по рю д'Эстре и рю Бабилон к докторессе; по делу ее мужа, все еще томящегося в тюрьме, она с утра приглашена в гестапо. Поскольку подобные приглашения всегда сопряжены с опасностью новых беззаконий, часок, проведенный у нее, походил на визит к выздоравливающему.

На старых улицах я снова почувствовал себя хорошо; плененный их очарованием, я проделывал свой путь в легком опьянении.

Париж, 30 октября 1943

Хорст, вернувшийся из Мюнстера с похорон своего старого, погибшего при бомбардировке отца, передал мне привет от

благочинного Дондерса. Во время сильного пожара тот лишился своей прекрасной, насчитывавшей более двадцати тысяч томов библиотеки.

«Хорошо, что я Эрнсту Юнгеру успел подарить Гамана», — сказал он Хорсту.

Большие пожары меняют сознание собственника больше, чем весь книжный хлам, написанный об этом от сотворения мира. Это — революция sans phrase.[217]

«Запас вина, исчисляющийся в шесть нектаров». Сегодняшняя «Парижская газета». Прекрасная опечатка.

Как я сегодня узнал из книги Бенуа-Мешена об истории немецкой армии, у шофера Кньеболо было апокалиптическое имя *Шрек.*[218]

Во-ле-Серне, 31 октября 1943

Со вчерашнего дня в Во в качестве гостя главнокомандующего. Вечером обычные разговоры перед большим камином. Генерал сообщил, что на Украине молодчики Заукеля объявили, будто отныне Пасха вновь будет праздноваться по древнему торжественному обычаю, после чего оцепили церкви и из толпы, устремившейся на службу, похватали всех, кто им был нужен.

Воскресным утром в лесу на мелкой охоте. Красавица кошениль вспорхнула на стебель камыша, блеснув в солнечном свете. У нее на нежно-желтом панцире множество белых глазков — гармония, которая удается только тогда, когда природа смешивает краски.

Два больших шершня с лимонно-желтым тельцем и красно-коричневой татуировкой лакомились струйкой сока, вытекавшего из ствола дуба. Иногда они касались друг друга челюстями, вытягивая хоботки, чтобы с груди и голов слизнуть немного налипшего на них сока. Их жесты походили на нежное объятие, и я уверен, что в этих движениях кроется симпатия, ибо одним из источников ласки является очищение. Отсюда и облизывание новорожденных детенышей — как это происходит не только у ряда млекопитающих, но также у эскимосов, — разглаживание и укладывание клювом перьев и тому подобное. Именно здесь следует искать истоки любовной склонности, во всей своей глубине выраженной в «Chercheuses de Poux»,[219] прекрасном стихотворении Рембо.

Потом дождевики, эти потрескавшиеся шары, коричнево-желтые баллоны или раздутые в своей верхней трети бокалы, заселившие обочины по-осеннему тихих дорог. В период зрелости на их макушке образуется родничок, через который выбегают

нежные споры. Эти существа целиком уходят в семя, в плодоношение и в качестве индивидуальных отходов оставляют только пергаментную кожицу. Их можно рассматривать также как мортиры, стреляющие огнем жизни. В этом смысле они были бы неплохим украшением на могилах или на гербах благотворительных людей.

Париж, 1 ноября 1943

Начало ноября. Спал беспокойно; во сне блуждал по разрушенному Ганноверу, ибо мне пришло в голову, что в своих заботах о жене и детях я забыл про бабушку и про ее маленькую квартирку, которая все еще находилась на Краузенштрассе.

Париж, 5 ноября 1943

Вечером у супругов Дидье. Там встретил Хендрика де Мана, бывшего бельгийского министра; он дал мне отпечатанную, но неизданную рукопись о мире.

Поговорили о Лейпциге, где он жил до первой мировой войны, сотрудничая в социал-демократической «Фольксцайтунг». [220] Удивительна схожесть друг с другом всех этих старых социалистов, которые тогда считались революционерами. По сути своей это был новый слой блюстителей порядка, вытесненный наверх во время родовых мук рабочего государства. Путь от чиновника до функционера или, говоря словами Карла Шмитта, от легитимности до легальности напоминает переход от иератического письма к демотическому. Это проявляется и в физиогномике. К таким типам принадлежат Макдональд в Англии и Винниг в Германии.

Париж, 8 ноября 1943

Завтрак у Флоранс. Там Геллер рассказал мне о двойнике, который якобы есть у меня и который схож со мной жестами, голосом и почерком. В этом случае должно наличествовать и кровное родство.

Мари-Луизе, всегда забывающей даты:

— Мари-Луиза, Вы, конечно, не помните дня рождения своего мужа?

— Да, но зато я не забываю день его смерти.

Возражение точное, ибо благодаря смерти, как я знаю это по своему отцу, мы окончательно обручаемся с человеком.

Речи Кньеболо напоминают теперь собрание, на котором банкрот, чтобы выиграть время, уверяет кредиторов, что расплатится с ними фантастически щедро.

Думаю, что и теперь есть такие, кто недооценивает его

ужасающую гигантоманию.

Париж, 9 ноября 1943

Сегодня закончил переписывать воззвание. Хотелось бы знать, какая судьба ожидает эту работу. Леону Блуа, пожалуй, понравится, что она направлена «против всех». Расцениваю как добрый знак, что она мне вообще удалась.

Париж, 10 ноября 1943

После полудня разговор со Шнатом, который едет в Ганновер. Большая часть его архива также погибла в пожаре вместе с реестрами, так что остатки документации превратились в гору неподвижной бумажной массы. Мы поговорили о размещении его сокровищ в калийных рудниках. Сухость там столь велика, что нитки, которыми скрепляются стопки бумаг, делаются ломкими. На поверхность пачек, кроме того, оседают кристаллы соли, при транспортировке притягивающие воду. Страдания архивариусов из-за пожаров особенно велики.

Вечером у Омона, мелкого издателя на рю Буассонад, одержимого типографской манией. С ним и Геллером поговорили о Князе Лине, книгу которого он печатает. Потом зашел д-р Гёпель, принесший мне работу Хюбнера о Иерониме Босхе. Мы отправились к «Викингам» и отужинали там в компании поэта по имени Берри, посвятившего Гаронне поэму размером свыше шести тысяч стихов. Один из них, который он процитировал в перерыве между двумя глотками вина, звучит так:

Mourir n’est rien, il faut cesser de boire.[221]

И в остальном он был не промах — так, в честь нашей единственной сотрапезницы, пришедшей с Омоном, он все порывался сочинить дерзкий диалог, в котором одна из ее грудей вступала в спор с другой. Я нашел эту идею не совсем подходящей предмету, в коем симмертия восхищает несравненно больше, чем диссонанс.

Париж, 13 ноября 1943

Утром меня навестила фрау Эрцен, старшая медсестра Красного Креста, пришедшая ко мне как читательница. Мы обменялись тайными знаками, по которым сегодня узнаешь друга друга. Говорили о ее поездках, — она ездит по всем фронтам и оккупированным территориям. Потом о Ветхом и Новом Завете. Она сказала, что если бы ей позволили взять с собой две книги, одной из них была бы Библия. А второй? У меня бы это была «Тысяча и одна ночь». Стало быть, дважды Ближний Восток.

После полудня с Мари-Луизой у Мари Лорансен; у нее на

верхнем этаже дома на рю Саворньян-де-Бразза студия, похожая на кукольную комнату или на сад доброй сказочной феи. В ней царит ее любимый цвет, светло-зеленый, чуть-чуть перемешанный с розовым. Мы рассматривали иллюстрированные сборники сказок, прежде всего те, которые вышли в Мюнхене во второй половине прошлого века.

Как я узнал, F. s[222] в Бухаресте проявляют большевистские наклонности. Это плохой знак для Кньеболо. Его бицепс теряет свой шарм.

После полудня с докторессой в Версале, где бродили под дождем по длинным, одиноким аллеям. Возвращались из Трианона в город почти в темноте. Краски, которые едва угадывались в тумане, не сможет передать ни один художник: легкое дыхание розовой, следы желтой и красно-коричневой ныряли в ночь, словно разноцветные морские животные возвращались в свои раковины и на прощанье раскрывали тайну своего великолепия.

Париж, 15 ноября 1943

Завтрак у Флоранс. Одного писателя, особую значительность придающего общим местам, Кокто окрестил «придонной морской рыбой» — «une limande des granes profondeurs».

После полудня, подобно Петеру Шлемилю, ко мне проник Хуссер. Он принес «Историю испанского заговора против Венеции».

Обсуждение ситуации; на это время я теперь всегда снимаю телефонную трубку. В разговоре он упомянул место из «Истории Карла XII» Вольтера, где говорится, что если кто-нибудь борется с коалицией сильных противников, то его едва ли можно уничтожить до конца. Да, но прежде он попадет в котел.

Потом о католическом священстве. Хуссер полагает, что нигилизм проявляется здесь в виде разногласий с наукой.

Париж, 16 ноября 1943

После полудня зашел Морен; он сообщил мне о смерти своего отца и в связи с этим попросил о помощи. Меня снова поразило, сколь искусно француз уже в молодом возрасте умеет устраивать свои дела. Он помещается в самом их центре, тогда как молодой немец либо пребывает вне круга своих интересов, либо бесцельно по нему блуждает. Его развитие по сравнению с французом более элементарно-хаотично, оно несет в себе больше непредсказуемости. При таких сравнениях мне всегда приходит на ум разница между Мольером и Шекспиром и в связи с нею — мысль: нельзя ли на этих колоссах воздвигнуть высокоразвитое

человечество, воплощение нового порядка, которое слагается из противоположностей, — из центробежной силы и закона тяготения?

Вечером в Немецком институте. Там встретил скульптора Брекера с его женой-гречанкой, кроме них — фрау Абец, Абеля Боннара и Дриё ла Рошеля, с которым в 1915-м обменивался выстрелами. Это было у Ле-Года, в том месте, где погиб Германн Лёне. Дриё тоже вспомнил колокол, отбивавший часы; мы оба его слышали. И при этом купленные писаки, субъекты, которых голыми руками не возьмешь. Все это тушится в рагу из любопытства, ненависти и страха, и на лбу у некоторых уже проступает стигмат ужасной смерти. Я вступаю в стадию, когда вид нигилистов для меня физически непереносим.

Париж, 18 ноября 1943

До полудня разговор с Баргацки, вторым читателем воззвания. Мы обсуждали возможность тайного тиража rebus sic stantibus.[223] Я подумал при этом об Омоне и о переводе, который мог бы сделать Анри Тома при условии, если к нему обратится Геллер.

После полудня пришел Циглер и сообщил о жестоких бомбардировках. Люди задыхались в горящих кварталах отчасти из-за недостатка воздуха, кто-то погиб оттого, что в подвалы проникнул угарный газ. Благодаря этим подробностям число жертв становится понятным. Подобно описанию Плиния, изображающего гибель Помпей, чудовищное облако золы превратило день в ночь, так что Циглер, собравшись писать письмо жене, зажег свечу.

Великие огневые точки. Пророки светят на них извне, апостолы — изнутри.

Париж, 20 ноября 1943

Крамер фон Лауэ принес мне еще одну книгу Шубарта. Наполеон, Ницше и Достоевский рассматриваются в ней как три главные фигуры XIX века, — в триптихе, где по обе стороны от великого преступника расположены разбойник злой и разбойник благоразумный.

Крамер был знаком и с некоторыми событиями из жизни автора; кажется, перед началом войны он отправился в Ригу, чтобы навестить свою жену, и после вступления туда русских попал в лагерь для перемещенных лиц. С тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Его книги уже потому в высшей степени значительны, что речь в них идет о второй потенции немца, о его связи с Востоком. Поэтому не случайно, что я обнаружил у него

цитаты из «Рабочего», как того произведения, где я сильнее всего продвинулся к полюсу коллективизма.

В поезде, 24 ноября 1943

По дороге в Кирххорст. Читаю «Сон в летнюю ночь».

Там, в первой сцене четвертого действия, Оберон говорит Титании:

> Пять чувств своих соедини сильнее,
> Чем свяжет их *обычный* сон.

У сна, стало быть, есть свои качества, можно даже сказать, что он обладает разными измерениями: во-первых, длиной и, во-вторых, глубиной, проникающей и в другие области, а не только в обычный отдых. Формально сон есть простая противоположность бодрствованию, но в зависимости от глубины, на которую он падает, в нем начинают действовать силы и тех элементов, из коих он сплавлен. К ним относятся пророчество, предостережение, исцеление, общение с духами и умершими. Также и бодрость, черпаемая из этих глубин, необычна; бывает такая дрема, куда погружаешься на пять минут, а просыпаешься заново рожденным. Болезнь заканчивается целительным сном, в котором, как в купели, смываешь с себя остатки греха. Искусство врачевания во все времена пытается постигнуть эту связь, особенно хорошо это делали греки, у которых в храмах Асклепия были помещения для сна, где божество прорицало сновидцам целебные средства. То, что считается непреложным в месмеризме, связано также с глубоким сном. Нынче мы отчуждены от всего этого; в наших городах сон никогда не достигает тех слоев, где манит великая добыча, и ужасом веет от мысли, что, возможно, по той же причине и смерть потеряет свою плодотворность.

Порта Вестфалика. Приезжая с Запада, я приветствую их как вход, ведущий в родные пенаты, — в Нижнюю Саксонию. Это священные знаки, они непреходящи. Стоя у окна, я присматривал себе в этом пространстве место для надгробного памятника.

Кирххорст, 26 ноября 1943

За рабочим столом в верхней комнате, где вдоль стен громоздятся пачки с нераспакованными книгами. Штабелями сложены там и персидские ковры, свезенные сюда городскими знакомыми. В сенях, как в зале ожидания, вещи беженцев. Сад в запустении, арестанты соорудили в нем убежище. На грядках и дорожках зеленеет галинсога. В болоте и на полях валяются сброшенные фосфорные канистры, вокруг — листовки и клочья

фольги. По ночам англичане сотни раз пролетают над домом, бушует огонь противовоздушной обороны, и осколки позвякивают о черепицу. Здание теряет свою основу; с ним вступаешь в отношения, которые обычно знакомы только жителям халлигов. [224] Дом словно превратился в корабль; надеешься, что во время шторма он избежит крушения и вместе со своим добрым грузом достигнет порта. В библиотеке я складываю в папки накопившиеся письма и рукописи. Потом под микроскопом изучаю водяных жуков, которых мы с Александром выудили из болота. На подушках плавающего мха, зеленеющего в коричневых водах торфяных выработок, уже скрываются виды, встречающиеся на Крайнем Севере, и я сопоставляю их с западными, привезенными из ручьев и прудов парижского бассейна. Ни с чем не сравнимое удовольствие — смотреть, как видоизменяются формы. Из крошечных признаков, из рун творения, рождается различие климатических поясов той степени утонченности, какой обычно достигает только музыка. Ученые XIX века кажутся мне наборщиками, — они хоть и знают литеры, но не знакомы с текстом, с которым работают. В этом, собственно, и заключается их доля величия, безусловно признаваемая за ними.

Близость уничтожения добавляет к занятию этими нежными объектами новое наслаждение, новое сознание их бренности.

Местные события. Перпетуя навестила маленького Грете, на которого напал баран и чуть не убил. Ребенок играл недалеко от пастбища со своим братом, и животное опрокинуло его, — может быть, ему не понравилась красная куртка, что была на мальчике. Каждый раз когда тот пытался подняться, баран приходил во все большую ярость и в конце концов растоптал ему обе ключицы и ткнул рогами в голову, распухшую до неузнаваемости. Его братишка побежал в деревню за помощью. Он слышал, как малыш пытался смягчить своего рогатого противника словами: «Послушай, баран, я хороший», когда ему удавалось вставать на ноги.

Пиротехник, несший службу во время большого разрушительного налета на Ганновер, видел, как прямо на него по горящей улице устремился пожилой человек, а за ним, накренившись, падал высокий фасад здания, пока не рухнул на старика. Однако тот, к удивлению пиротехника, как только улеглась пыль, встал целым и невредимым: оконный проем накрыл его, как рамкой, наподобие ячейки большой сети.

Кирххорст, 27 ноября 1943

После полудня в Ганновере, превращенном в груду развалин. Места, где я жил ребенком, школьником, молодым офицером,

сровнялись с землей. Долго стоял я перед домом на Краузенштрассе, где больше двадцати лет жила моя бабушка и где я постоянно бывал. Несколько кирпичных стен уцелело, и я по памяти встраивал в них кухню, маленькую гостиную, салон и уютную общую комнату, на окнах которой бабушка выращивала цветы. Десятки тысяч таких жилищ с аурой прожитой в них жизни были уничтожены за одну ночь, подобно гнездам, бурей сметаемым вниз.

На Иффландштрассе, где умер дедушка, рухнул дом, едва мы с Эрнстелем прошли вдоль него несколько шагов; бродить по этим руинам опасно.

На колокольнях сгорели шпили; обрубленные башни торчали, как пустые, черные от дыма короны. Я обрадовался, увидев, что башня бегинок на Высоком берегу уцелела. Древнейшие постройки прочнее готических.

Между развалинами царило оживление. Беспорядочное кружение и напор серой толпы напомнили мне картины, которые я видел в Ростове и в других русских городах. Восток надвигается на нас.

Зрелище тяготило меня, и все же это неприятное чувство было слабее, чем то, что я испытал задолго до войны, провидев духовными очами геенну. Подобное же чувство повторилось у меня в 1937-м в Париже. Катастрофа должна была разразиться; она выбрала себе войну как лучшего ходатая. Не будь ее — дело завершилось бы войной гражданской, как это произошло в Испании; ее роль могли бы взять на себя и комета, и небесный огонь, и землетрясение. Города созрели и стали податливыми, как трут, и человеку не терпелось их поджечь. То, что случилось, можно было предугадать заранее, еще когда в России поджигали церкви, в Германии — синагоги и когда себе подобных человек без суда и следствия отправлял на гибель в концлагеря. Эти вещи достигли точки, с которой они вопиют к небесам.

Кирххорст, 6 декабря 1943

На Ольдхорстском болоте. Поскольку оно замерзло, то, войдя в березовую чащу, я выбирал тропы, по которым обычно ступает зверь.

Читаю старые выпуски «Журнала научной энтомологии», вперемешку с ними — «Иудейскую войну» Иосифа Флавия. Снова натолкнулся на место, где описывается начало беспорядков в Иерусалиме при Кумане (II, 12). В то время как евреи собрались на праздник опресноков, римляне выставили над портиком храма для обозрения толпы когорту. Один из солдат приподнял свой плащ, повернулся с издевательским поклоном к евреям задом и

«издал соответствующий данной позе неприличный звук». Это было поводом к столкновению, стоившему жизни десяти тысячам людей, так что можно говорить о самом роковом «пуке» мировой истории.

Именно на этом примере особенно четко видно, что́ такое повод или вызов в противоположность настоящей причине. Значение вызова в философском смысле еще не оценено по достоинству; его следует рассматривать тем способом, в котором содержатся нападки на закон причинности. В известном смысле каждое действие — лишь вызов сил неизвестного рода. В действии мы похожи на покупателей, которые предъявляют чек; банковские операции и резервы нам неизвестны.

Как и все физические процессы, вызов приобретает свой действительный интерес только в мире морали. Ребенок играет со спичками — и город с многомиллионным населением превращается в золу. Стоит спросить: не играет ли в таких обстоятельствах личность зачинщика более значительную роль, чем обычно считают? В связи с этим я думаю о Кньеболо: у меня иногда создается впечатление, что мировой дух выбирал его самым что ни на есть коварным способом. «При всей своей изощренности он продвигает вперед незначительные фигуры». И боёк винтовки, незначительным усилием воспламеняющий заряд, обладает определенной формой. В «Тысяче и одной ночи» описываются происки некоей злой женщины, которую наконец топят в Ниле. Труп прибивается к берегу Александрии и вызывает там чуму. От чумы погибают пятьдесят тысяч человек.

Кирххорст, 9 декабря 1943

Читал Иосифа Флавия дальше; наряду с историческим описанием он дает целый ряд первоклассных общих картин. К ним относятся изображения военной силы и города Иерусалима. Флавий оставил после себя бесценные идеи.

Удивительно, как мало еврейского у этого писателя, хотя он был священником и вождем своего народа. Кажется, что дух еврейства изжить гораздо труднее, чем дух какой-нибудь другой народности, но в тех редких случаях, когда это удается, общечеловеческое поднимается на особую высоту.

Кирххорст, 10 декабря 1943

Вечером визит Крамера Лауэ, приехавшего на велосипеде и привезшего мне книгу Шубарта. Говорили о сильнейших разрушениях Берлина, свидетелями которых он был, и о становлении пролетариата нового типа, связанного с этими потерями. Я попросил его посмотреть мой текст о мире.

Кирххорст, 14 декабря 1943

Утро прошло в созерцании персидских насекомых, которых Бодо фон Бодемайер привез тридцать лет тому назад с Востока и которых я приобрел у Райттера.

Чтение: А. В. Томас, «Феномен Элизабет Линне». Здесь в связи с «поблескиванием» некоторых цветов в сумеречное время рассматривается одно явление, которое и меня с давних пор занимает, более того, беспокоит.

Далее: Вересаев, «Воспоминания». Записки врача из времен русско-японской войны. С нее и начались безрадостные автоматические побоища — собственно уже с Крымской кампании.

Продолжал Иосифа Флавия, там в конце 5-й книги мое внимание привлекло место, где автор пишет, что Иерусалим, если бы не был разрушен римлянами, то был бы поглощен землей, захлестнут потопом или уничтожен небесным пламенем, как Содом. Там я наталкиваюсь на мысли, которые живо меня интересуют и которые вновь приходят на ум каждый раз, когда дело доходит до катастрофы. Когда близится час смерти, форма заболевания становится несущественной. Смерть выбирает те маски, какие оказываются у нее под рукой.

Мне запомнилось также удивительное место в 7-й книге, где говорится о добровольной огненной смерти индусов. Огню приписывается свойство «отделять душу от тела в ее совершеннейшей чистоте». Огонь действует здесь как очищающий элемент. По этой же причине он применяется и как средство для очищения заключенной в слишком жестком мясе субстанции. Ту же роль он играл и при сожжении еретиков или тогда, когда дух, как это было однажды в Содоме, пронзал мир разврата, мгновенно вплетаясь в материю до самых ее волокон.

Среди почты письмо от Карла Шмитта, где он обсуждает разлад между стремлением защитить себя и послушанием, в чем население может убедиться, находясь во время обстрела в бомбоубежищах. Из всех мыслителей, которых я знаю, Карл Шмитт лучше всех умеет давать определения. Будучи классическим мыслителем права, он — подданный короны, и его положение становится по необходимости ложным, когда один гарнитур демократии сменяется другим. При возвышении незаконных властей на месте кронюриста образуется вакуум, и попытка заполнить его совершается за счет репутации. Таковы злоключения этой профессии. Поэтому самые удачливые сегодня — это мимы; всемирно знаменитый актер без труда выдержит любую перемену. Слегка перефразируя Бэкона, можно сказать,

что для того, чтобы сегодня прорваться сквозь мир, нужно взять чуть больше от мима и чуть меньше от человека чести.

По своему обычаю, Карл Шмитт приводит также место из Библии, Исайя 14, 17.

Кирххорст, 17 декабря 1943

Полистал дневники Гонкуров. Удивительно, как изменился в ходе этой войны читатель, — такое ощущение, что огромные массы книг не в состоянии переступить духовные заграждения, поставленные ею. Здесь скрываются едва заметные, но целые области разрушений. Так вещи в закрытых шкафах разъедает моль. Берешь книгу и видишь, что она потеряла прелесть, как возлюбленная, о которой часто думал с вожделением, но чья красота не выдержала определенных кризисов или событий. Скука оценит состав книг более жестко, чем любой цензор, любой книжный запрет. Однако можно заранее предугадать, что первостепенным книгам, прежде всего Библии, это только пойдет на пользу.

Под 16-м мая 1889-го я нашел любопытный сон Леона Доде. Ему явился Шарко и принес «Мысли» Паскаля. Одновременно, в знак подтверждения, он показал ему в мозгу этого великого человека клетки, где жили мысли, — клетки походили на соты засохшего пчелиного улья.

Рядом упоминается обелиск на площади Согласия, вид которого всегда создавал у меня впечатление магического указательного пальца, — здесь же он вызывает воспоминания «о розовом цвете шампанского шербета». В таких образах чувствуется уже размягченность, разъедающая камень.

Эдмон де Гонкур упоминает разговоры с Октавом Мирбо, а тот, в свою очередь, был знаком с Саша Гитри, с которым и я несколько раз беседовал. Так протягиваются мосты между мертвыми и живыми — по промежуточным столбам. При этом я часто думаю об эротической цепочке: двое мужчин могли обнимать одну и ту же женщину, один из них родился в XVIII веке перед французской революцией, в то время как другой умер в XX после мировой войны.

В поезде, 20 декабря 1943

Прощание с Кирххорстом при теплом ветре и моросящем дождике. Лёнинг прислал за мной автомобиль. Поскольку я опоздал на поезд, то еще раз прошелся по скорбным развалинам и среди руин вспоминал рождественские вечера, когда до 1914 и даже до 1939 года веселая, нагруженная подарками толпа наводняла улицы. Какая толчея была на Пакхофштрассе,

превращенной теперь в две стены мусора! Моя, доброй памяти, мама брала меня туда с собой и до полудня угощала маленькими мясными паштетами, а после полудня — ореховым тортом.

Лица с тех пор изменились; они не только выглядят более усталыми, измученными и унылыми, но стали уродливее в моральном смысле. Это особенно заметно в залах ожидания, — такое чувство, будто сидишь в клетке, окруженный зверьми. Не собственное ли одиночество, не потеря ли самого себя создают это впечатление? В таких залах ожидания четко проявляется страшная дистанция, отделяющая нас от цели.

Тогда я пошел к Кенигсвортерштрассе, посетив перед этим старое кладбище на Лангенлаубе с его странными надгробными камнями. Дом на Дайне, в котором мы жили в 1905 году, уцелел. Глядя на него, я вспомнил о приступах меланхолии, часто случавшихся со мной по дороге в школу, о великой оставленности. Меня мучила мысль, что станет со мной, если моя мать умрет, а также чувство, что я вовсе не такой, каким хотят меня видеть. И теперь, пока я шагал по длинным улицам, это настроение вернулось из забытья, — так в зловещем сне вспоминаешь о детском страхе.

Радуга, прикрытая завесой, висящей над громом катарактов. Сделана ли эта завеса из слез, или из эссенций, из коих рождается жемчужина? Все равно, ибо уже провидится чудесный мост, ведущий прочь из уничтожения.

Париж, 21 декабря 1943

Среди французской почты, обнаруженной мною в «Рафаэле», было письмо от Жана Лелё о Леоне Блуа, которого я рекомендовал ему почитать. Ему бросилась в глаза «бесчеловечность» этого автора. Он упрекает его в том, что свойственный ему католицизм зачастую перестает быть христианством. Это верно. Наряду с другими романистами Блуа можно было бы упрекнуть в «испанском» уклоне, в своеобразной жесткости, ведущей в конце концов к бессердечности. Противовесом этого является уклон германский, стремящийся раствориться в элементарном. Великий инквизитор и Ангел Силезский.{178}

Чтение: Хорст Ланге, «Блуждающий огонек», рассказ, который Кубин, со своими иллюстрациями, прислал мне из Цвикледта. Уже в первом романе этого автора меня поразило совершенное знание болотного мира с его фауной и флорой и бурлящей жизнью. В пустыне нашей литературы появляется некто, кто владеет этой символикой и уверенно использует ее. Он принадлежит левому созвездию восточных авторов, коих когда-

нибудь, возможно, назовут школой, — при этом я имею в виду такие имена, как Барлах, Кубин, Тракль,{179} Кафка и другие. Эти восточные певцы распада глубже западных; через распад как социальное явление они проникают в элементарные связи, а через них — к апокалиптическим видениям. Тракль сведущ при этом в темных тайнах разложения, Кубин прекрасно знаком с мирами праха и гниения, а Кафка — с фантастикой демонических царств, подобно тому как Ланге — с миром болот, где гибельные силы особенно живучи и где они еще и плодоносят. Кстати, Кубин, будучи давнишним его ценителем, сказал однажды, что этому автору предстоят горькие испытания.

Париж, 22 декабря 1943

Празднование Рождества у Фогеля, авиаконструктора. У него я познакомился с Бенвенути, итальянским пианистом, который связывает свое происхождение с фамилией Донати{180} и у которого целый ряд общих предков с Данте. Черты его лица обнаруживали удивительное сходство с известной головой Данте; это сходство пугающе усилилось, когда Флоранс обернула его голову красным платком и тем самым придала лицу характер маски.

Париж, 25 декабря 1943

Среди мрачных известий, поразивших меня, — смерть молодого Мюнхаузена, с которым я познакомился этой весной. В его облике и во всей его духовности сквозили черты еще XVIII века. Эту особенность в нем ценил и Залманов. Мне часто кажется, что будущие времена готовят себе почву через отрицательный выбор, — они подравнивают людей, дома, чувства, как садовник в парке подравнивает кусты. Мы плывем навстречу «укороченному» обществу.

Читал дальше Луку, дошел до 22-й главы. Здесь Христос упрекает своих противников, что те хватают его ночью, хотя он каждый день бывал с ними в храме — — «но теперь — ваше время и власть тьмы». Это может стать девизом насилий и нашего времени, происходящих в зловещей темноте и за фасадами, отвечающими вкусу демоса.

Париж, 27 декабря 1943

Одинокая прогулка по лесу и набережным при густом тумане и мягкой погоде. На берегу Сюрен я постоял в том месте, где выброс нечистот замутнял Сену и где собралось полдюжины рыбаков. Они нанизывали на крючки красных червей и вытаскивали из воды серебристых рыбок величиной с сардину с

отшлифованными до стальной синевы спинками.

Вечером у президента с Лео, Шери и Мерцем. Обсуждение ситуации; немецкий чехол стал таким тонким, что не сможет выдержать притязаний, которые новый год предъявит ему также и на Западе.

В «Краткую историю» надо бы включить главу «Германские войны», в ней развернуть ту мысль, что просчеты бывают всегда одни и те же. Там есть тайны, которых другие народы никогда не поймут, например магические чары зала Аттилы. Не он ли соблазнял Кньеболо? Иначе как объяснить его странную манеру — умышленно избегать той победы, которая сама шла ему в руки?

Париж, 28 декабря 1943

Мне приснилась Ли-Пинг, она звала меня. Когда я ее поднял, она показалась мне тяжелее обычного, а шкурка ее — светлее; вместе с ней я поднял кота Жако.

Для снов это типично; мы можем встретить в них женщину, сочетающую в себе черты матери, сестры, супруги. В сновидческих сумерках мы вступаем в мир праобразов, так сказать первичных родов. Это наводит меня на мысль, что зоологические роды являются праобразами видов вообще. Подобно праобразу, род существует не в дневном, не в зримом мире. Он проявляется только в видах, а не сам по себе. Во сне мы видим вещи, обычно незримые.

В споре Шиллера и Гёте о первичном растении также проявляется разница между дневным и ночным зрением.

«Бороться *против* врага» и «бороться с врагом» — два синонима, характерных для германца. Борются с ним, собственно, *за* что-то, что принадлежит либо обоим, либо никому. В связи с этим речь не может идти о победе, *за* которую борются.

Шекспир знает тайну, о коей подозревал и Ривьер, полагавший, что немцам свойственно не «или — или», а «и то и другое». Мистическое объяснение этому находим у Экхарта.

Перпетуя мне пишет, что настал черед и ее брата. Злая судьба настигла его 4 ноября на берегу Днепра, когда он совершал разведывательный обход. В последние годы я сблизился с ним; у него я заимствовал черты для образа строптивца, а также его афоризм:

Держи круглее локоток,
Чтоб Вилли зацепиться мог.

Конечно, он приветствовал эту войну как раздолье для

драчки и кутежей, не задумываясь о ее подоплеке. Сквозь внешнюю оболочку просвечивала его нижнесаксонская древняя порода; его род уходил корнями еще в догвельфские времена. Он был из тех, кто всю свою жизнь посвятил товариществу и раскрылся в этом. Во многом ненадежный, здесь он был чист, как золото. Однажды, когда мы с ним осматривали помидоры, я обнаружил, что он, обычно грубоватый, способен на большую нежность. Его смерть меня опечалила.

Он погиб на русских позициях. Товарищи не смогли его оттуда вытащить. Он пошел один, ибо считал обстановку чрезвычайно опасной.

Париж, 29 декабря 1943

После полудня у Жуандо. Разговор о его новой книге, «Oncle Henri».[225] Потом о романе его сверстника, Ален-Фурнье,{181} «Le Grand Meaulnes»,[226] появившемся в 1913 году, который я как раз в то время читал. Обмен сновидениями, в связи с чем Жуандо мне поведал, что ходил к врачу, так как на указательном пальце у него развилось болезненное воспаление. Доктор вскрыл палец во второй фаланге и там обнаружил красный узел, похожий на почку. Из нее расцвело что-то похожее на герань небывалой красоты, и Жуандо осторожно носил цветок на вытянутой руке.

Я опять увидел у него цыпленка, которого он растил, заменив ему наседку, — сажал с собой за стол, брал в постель. Цыпленок превратился в большого белого петуха с красным гребнем; петух давал себя гладить, обнимать и сажать на колени. Даже кукарекал, если его очень просили.

Ночью мне приснилось, что я стою в кирххорстском саду и вижу, как по улице с огромной скоростью проезжают маленькие грузовики. Они были нагружены железными блоками и кубами раскаленной добела стали; волны жара расходились от них. Водители мчались на полном ходу, чтобы жар относило назад, однако тщетно, — вот уже на них загорелась одежда, потом тело; слышались вопли, тут же пропадавшие, как и вой проносящихся мимо орудий.

На доске в конце сада пословица в идеограммах: «Кто на тигре едет, век с него не слезет». Впереди особый знак в виде нотного ключа: «Западная трансфигурация».

Париж, 31 декабря 1943

До полудня налеты на город. Я, как обычно, из «Мажестик» перебрался в комнату президента; мы используем эти перерывы для кофе и завтрака. Слышно было, как старательно работают орудия. Следом сотрясались здания: бомбовые удары опустошили

все в зоне своего действия.

Вечером насчитали свыше двухсотпятидесяти мертвых. В одном убежище, в которое прямым попаданием угодил снаряд, погибло более двадцати рабочих. Я слышал, как одна женщина, среди тех, кто пытался сквозь развалины проникнуть в подвал, выкрикивала имя своего мужа. Тот, предусмотрительно отошедший от места катастрофы, откликнулся из толпы и стал пробираться к ней. В такие моменты объятия особенно сильны, как у воскресших, — со всей силой духа.

После полудня у д-ра Залманова, которого я застал в печали из-за смерти Мюнхаузена. Обсуждение ситуации. Залманов считал, что уже в ближайшие недели можно ожидать высадки англичан и американцев. «За» говорит многое, «против» же — следующее соображение: какую выгоду, особенно для Англии, даже в случае успеха, может принести данное предприятие? Чем дольше, чем основательнее Германия и Россия будут изматывать друг друга, тем скорее укрепится Англия. Она находится в положении банкира, извлекающего выгоду из суммы потерь. Ее вмешательство позволило бы, таким образом, заключить, что сила России намного больше, чем предполагают.

Залманов считал также, что России предстоит гегемония в Европе и что можно рассчитывать на изменение русского внутриполитического курса и ее тесный контакт с Германией. Большевизм — только первая фаза, во второй — начнется возрождение Православной Церкви. Носителем нового порядка станет крестьянин в сочетании с победоносным генералитетом. Складывать оружие никто не собирается. Необходимым следствием победы явится ведущая роль на Балканах и овладение Босфором.

В этой связи он обрисовал своеобразие русской колонизации: героем ее станет мелкий крестьянин, который с ломтем хлеба и связкой луковиц в кармане в стороне от мировой истории заполонит реки, нетронутые леса и холодные степи трех континентов. В этом, однако, скрывается огромная сила.

О возмещении военного ущерба. Оно может осуществиться только силами рабочих, как это и соответствует эпохе рабочего сословия. Однако здесь имеются ступени: от рабского труда через компенсации, обусловленные в договоре, до свободного сотрудничества всех сил, прежде враждовавших друг с другом. Так я представил это в своем воззвании; однако ненависть, непрерывно питающаяся силами низшего порядка, возможно и превратит подобные вещи в утопию. При этом я не забываю, что в новые миры, у порога которых стоим мы, люди, ведет и высшая стезя, — стезя духа. Тотчас же, подобно радуге, она восстанет из

хаоса уничтожения.

Из всех соборов сохранится тот, чей купол сложен из сплетенных рук. Только в таком соборе чувствуешь себя в безопасности.

1944

Париж, 2 января 1944

В ушедшем 1943 году, начало которого я встретил на Кавказе, осуществились все самые худшие опасения. Однако конца войне, хотя многие и предсказывали его на осень, он не принес.

Новый год я начал с того, что, оставив за собой длинный шлейф, удалился от обычных обязанностей на двухдневную сиесту с разговорами, чтением, крепким кофе, вином и фруктами.

У Гёльдерлина мне снова попалось на глаза письмо к Беллармину{182} с его ужасными откровениями о немцах. До чего же метко подмечено, что возвышенный человек живет в этой стране, как Одиссей, переодетый нищим и осмеянный в собственном дворце ничтожными узурпаторами. Не менее справедливо и следующее суждение: «Рабская психология возрастает, и вместе с нею огрубляются души».

Кроме того, закончил: Ален-Фурнье, «Le Grand Meaulnes». Это одна из сухих веток, с которыми романтизм перешел в XX век. Замечаешь, как от десятилетия к десятилетию все труднее без потерь транспортировать соки.

Запутанными ходами, сматывая шлейф, по закоулкам Латинского квартала и загадочным улочкам вокруг рю Муфтар назад в «Рафаэль», куда пробрался по черной лестнице.

Париж, 3 января 1944

Во время обеденного перерыва задумал посетить могилу Верлена, но нечаянно попал на кладбище Клиши вместо Батиньоля. Там, у одной из стен, наткнулся на могилу некоего Жюльена Абонданса, с 1850 по 1917 год блуждавшего по нашей звезде. Теперь я знаю, куда девался переизбыток.

Париж, 4 января 1944

С утра, как теперь почти регулярно, воздушная тревога; это время я использовал для того, чтобы рассмотреть алтарь со Страшным судом Иеронима Босха в книге Бальдаса, которая недавно вышла и которую мне подарил д-р Гёпель. Такие изображения — загадочные картинки ужаса, вспыхивающие все новыми жуткими деталями.

Босх отличается от других художников своим особенным видением, характер которого Бальдас называет пророческим. Пророчество заключается в том, что Босх видит подспудные силы,

где эпохи отражают и обнаруживают себя, подобно сегодняшнему миру техники с его детальностью. Действительно, на этих панелях можно угадать формы авиабомб и подводных лодок, а на одной из них, кажется в «Саду наслаждений», можно разглядеть даже страшный маятник Э. А. По, один из великих символов ритмичности мира смерти. Босх — провидец вечности, как По — предвидец столетия. Насколько точен портрет голого человека, который, приводя в движение странные машины, вертится, подобно белке, в выложенном шипами колесе! А то, что среди чина блаженных попадаются эфиопы? Вот — истина; будь она выражена в словах, то привела бы художника на костер.

Днем у могилы Верлена на кладбище Батиньоль. На ней простое, сооруженное из камней надгробие, какие тысячами встречаются в парижских некрополях. Среди имен, выгравированных на нем, стояло и его ИМЯ:

PAUL VERLAINE
Poete

Крест из голубых бумажных фиалок прикрывал эту надпись, но у подножия я обнаружил живой букет, с которого сорвал листик. Не у каждого поэта через пятьдесят лет на могиле находишь свежие цветы.

Заголовок извещения о смерти, из тех, что я получил в эти дни:

«В море путь Твой, и стези Твои в великих водах, и неисповедимы пути Твои».

«Вечная радость воссияет над вашим челом».

В обоих изречениях удачно сопоставлены тайна земной и явленность небесной власти. В нас есть и то и другое, поэтому я записываю эти слова, чтобы использовать их в главе «Голова и ноги» запланированной работы о связи языка и строения тела. В ней я хотел бы рассмотреть, символически, рост человека в качестве ключа к мировому плану.

Париж, 7 января 1944

Среди почты письмо от Карла Шмитта о vis verborum,[227] с цитатами арабов Авиценны и Аверроэса, итальянского гуманиста Валлы,{183} Бисмарка и Э. А. По. «In verbis simus faciles»[228] Бисмарка он характеризует как «высший показатель головного лесничества».

Днем в «Мажестик» меня ждала мадам Ноэль. Она работала в Гамбурге, где ее мужа прямо у нее на глазах разорвало бомбой и где все ее имущество сгорело при пожаре. При этом ее преследуют как «коллаборационисту». Поскольку я пообещал кое-

что для нее сделать, она принесла мне букет цветов.

Париж, 9 января 1944

Приближается первая годовщина смерти моего дорогого отца.

Утром продолжал Евангелие от Иоанна. «Он должен расти, а я умаляться» (3,30) — одно из великих мест, смысл которого не полностью выражен в словах. Лучше: «Illum *oportet* crescere, me autem minui».[229] Также и в «autem»,[230] как в покойнейшем Conjunctio adversativa,[231] кроется не только противоречие, но и соотнесенность: бессмертный человек обретет, в то время как смертный потеряет.

Далее Ио. 4, 50, место, удивительно соответствующее нынешней годовщине смерти: «сын твой жив».[232] Размышлял над этим. Учитель говорит с неверующими, поэтому этих великих слов недостаточно. Чтобы расшевелить их спящие чувства, он должен истину сделать зримой телесно: *мертвый* должен воскреснуть. От него все время так и ждут чего-нибудь подешевле, в том числе и царствия, но только земного. Князь Света должен к словам и делам своим приставлять тени, дабы дать человеческим глазам хоть какое-то представление об истинной власти. Его чудеса — тоже притчи.

Закончил «The Garden Party»,[233] рассказы Кэтрин Мэнсфилд, {184} молодой и рано умершей новозеландской писательницы. Там изображается прекрасный лунный пейзаж ее страны: тени похожи на прутья медной решетки. Это чувство страха перед лунными тенями и их чарами мне знакомо; оно становится намного сильнее, если соприкасается с эротическим переживанием.

Под конец полистал в папке репродукции ориенталистских, в частности ассирийских и финикийских, древностей Лувра, среди которых меня развеселил саркофаг Эшмуназара, несмотря на его почтенный возраст. Этот сидонский царь придерживался египетской погребальной моды с провинциальным простодушием.

В связи с нашим разговором Хильшер прислал мне отрывки из дневников Леонардо с пророчествами. В одном месте там говорится о людях: «В своем безграничном высокомерии они захотят вознестись и на небо, но непомерная тяжесть членов придавит их к земле. Тогда на земле, под землей и в океане не останется ничего, чего бы они не подвергли преследованию, не откопали или не уничтожили, а также ничего, что бы они не перетащили из одной страны в другую. Их плоть станет могилой и сквозным проходом для всех живых тел, которые они умертвили».

В довершение ко всему мой берлинский издатель сообщил мне, что все собрания моих книг уничтожены при налете на

Лейпциг. Еще один этаж сгорел в Гамбурге, как пишет Циглер. Что ж, одной заботой меньше.

После полудня в церкви Св. Магдалины, ибо я искал место, где можно было спокойно подумать об отце. Я сидел там перед памятной доской епископа Дегерри,{185} умершего 24 мая 1871 года в тюрьме Ла-Рокетт «pour la foi et la justice».[234] Счастливец, кому удается преодолеть себя, не поддаваясь страху.

Потом приключение с прокаженным на улице Сент-Оноре.

Париж, 11 января 1944

Мне снилась бомбардировка Лайснига. На далеких холмах рушились жилые кварталы, валились фасады домов. Я переходил через рыночную площадь и увидел отца, в белом халате стоявшего в проеме двери. Это была его старая рабочая одежда, но предназначенная для исследований высшего порядка. Солдаты задержали меня у входа, втянув в разговор, но мы с отцом все же успели обменяться взглядами.

Визит Хотопа, типологически не поддающегося никаким принятым у нас классификациям. В Индии тотчас бы распознали в нем принадлежность к той особой касте, которой предписано прислуживать на кухне и в купальнях и заботиться о развлечениях во внутренних покоях дворца. Это натуры с сильно развитым осязанием и обладающие особым даром — одновременно испытывать и страх и удовольствие. Среди них можно обнаружить тончайших знатоков разных предметов — в той мере, в какой эти предметы можно оценивать ощупывая, вкушая или вдыхая их запах: экспертов тканей, тонких сортов кожи, духов, жемчуга, драгоценных камней, дерева, мебели и изысканных кушаний, а также рабынь и прочих вещей чувственного мира. Читая Камасутру, находишься в их царстве.

Благодаря своим знаниям они незаменимы для правителей и высокопоставленных особ как искатели редких вещей, устроители празднеств, сводники, maître de plaisir.[235] В наших широтах они встречаются среди гастрономов, производителей роскошных изделий, директоров крупных ресторанов. И всегда обнаруживается, что им свойственно особое осязательное чувство, — как капитал, с коего они живут среди роскоши и наслаждений. Но вскоре выясняется, что их знания проистекают из низших сфер. Чтобы они нашли применение в сферах высших, их надо доверить человеку духовному или же возвышенному, отчего, собственно, эти люди никогда и не бывают сами себе господами, а всегда составляют чью-нибудь свиту. Платье не обязательно лучше всего сидит на портном, а прическа не всегда к лицу парикмахеру.

Разговор о духáх и их изготовлении. Специалисты больших фирм, чтобы «подобрать» клиентке подходящие духи, не спрашивают, какой у нее цвет волос. Они просят прислать им образец белья, которое та носит.

Чтение: «L'Equipage de la Nuit»[236] Сальвадора Рейе, чилийского консула, с которым меня познакомила докторесса. Рейе являет собой, не считая определенного южноамериканского уклона, образец англосаксонских повествователей, разговорившихся на рубеже веков, таких как Киплинг, Стивенсон и Джозеф Конрад, чье творчество можно описать тремя словами: романтическое, пуританское, планетарное.

Среди образов его прозы мне запомнилось описание звезд, в бурную дождливую ночь загорающихся в небе, — они блестят, словно отполированы облаками. Хоть метеорологически это и неверно, зато поэтически выразительно.

Среди фраз есть и такая: «C'est l'amour des femmes qui forme le caractère de l'homme».[237] Верно, только лепят они нас, как скульптор ваяет из мрамора: снимая лишнее.

Париж, 16 января 1944

Продолжаю Евангелие от Иоанна. Там в стихе 8,58: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь». Но и в обратном временном направлении: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». Христос исповедует себя Вечным Человеком и как таковой свидетельствует о своем божественном происхождении, т. е. о себе как о Сыне Божьем. Он пребудет дольше космоса, который есть творение духовное.

Именно как вечное существо по отношению к зраку смертного, к мухе однодневной, вещает человек в 89-м псалме. Разница между речью Христа и речью Моисея — это разница между словами Крещеного и словами Обрезанного. К земному присовокупляется свет, космическое начало.

Нигилизм и анархия. Различать их так же трудно, как отличать угря от змеи, но для знания правил игры различать их необходимо. Решающим здесь является отношение к порядку, которого нет у анархиста, но которого придерживается нигилист. Разглядеть нигилизм труднее потому, что он лучше маскируется. Опознавательный знак — чувства, питаемые к отцу: анархист отца ненавидит, нигилист — презирает. Например, Анри Брюлар в противовес Петру Степановичу. Разное у них отношение и к матери, в частности к земле, которую анархист задумал превратить в болото и джунгли, а нигилист — в пустыню. Исследование надо бы начать с выяснения теологических предпосылок. Усилив остроту взгляда, они выявят фигуры,

спрятанные за экраном, за кулисами современной живописи. Прежде всего они полезны для воинственно настроенной молодежи. Молодой человек непременно проходит фазу анархии, когда он особенно легко становится жертвой сил чистого разрушения.

Париж, 17 января 1944

Продолжаю чтение Иоанна. В главе 10, стих 34 Христос, отвечая сомневающимся в его божественном происхождении, указывает на 81-й псалом. Там о людях сказано: «Вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы». В двух следующих стихах он растолковывает это особо, относя к самому себе.

Подобные места важны для экзегезы XX века, которая не может не считаться с доводами рассудка и должна поэтому отличаться от всех прежних экзегез.

В чем различие между чудесами и притчами? Притчи относятся к абсолютному, в то время как чудеса подтверждают притчи в пространстве и времени, т. е. событийно. Ранг притчи выше, ибо она является духовным знаком, в то время как чудо — материальным.

Закончил: Сильвио Пеллико,{186} «Мои темницы». Эти воспоминания, вышедшие в 1833 году, представляют собой образец классической прозы, к коей у итальянцев в их наиболее значительных представителях имеется прямой, никакими ответвлениями не ослабленный талант. Фразы и мысли преподносятся с врожденным чувством меры. Всегда ясно, где главное, а где придаточное предложение, что вообще важно, а что второстепенно. Это воодушевляет и образовывает, как прогулка среди дворцов и статуй.

Разговор с д-ром Шнатом, ганноверским архивариусом, который, вернувшись из Нижней Саксонии, сообщил мне об одном любопытном, сделанном им наблюдении. Привыкая жить в разрушенных городах и попадая после них в еще уцелевшие, например в Хильдесхайм, Гослар или Хальберштадт, испытываешь чувство, будто находишься в музейном мире или среди оперных кулис. Это чувство еще отчетливее, чем само разрушение, показывает, сколь далеко ушли мы от старой реальности, от врожденного нам исторического видения.

Вечером у Шницлеров на рю Мароннье. У них Бурден, бывший корреспондент «Франкфуртер Цайтунг», и капитан-лейтенант фон Тирпиц, сын гросс-адмирала. Капитан рассказал, что среди бумаг своего отца еще до первой мировой войны он нашел массу писем видных немецких и английских евреев, которые самую возможность войны между этими двумя

государствами обозначали как великое несчастье. Даже если принять во внимание чисто коммерческие интересы, все равно это звучит правдоподобней, чем противоположные мнения, основанные на подтасовках.

Париж, 18 января 1944

Завтрак у Друана, за круглым столом Академии Гонкуров, с Абелем Боннаром, Геллером и полковником Алермом. Боннар потешался над теми ораторами, которые столь тщательно готовят свои речи, что они производят впечатление импровизаций. Имитируются даже, как бы навеянные вдохновением, экскурсы в сторону, предварительно заучиваемые наизусть. Такие манипуляции представляют собой особую разновидность мошенничества.

— Ну, а если кто-то не владеет даром свободной речи?

— Пусть тогда читает с листа. Так делали даже великие ораторы, например Мирабо.{187}

О Пуанкаре.{188} Он не только заучивал свои речи наизусть, но и подготавливал, в зависимости от настроения, какое может возникнуть у слушателей, несколько вариантов. Так, для камерной речи, пришедшейся на период трений с Италией, он приготовил три варианта текста: смягченный, средний и резкий. Поскольку аудитория была раздражена, то он выбрал третий.

Об автомобильной катастрофе, в которую попал Абель Боннар, после чего три часа провел без сознания. Когда я спросил его о подробностях:

— Ночь, беспросветная ночь.

— Думаете, что и после смерти будет то же?

— Убежден.

При этом он грустно посмотрел на меня, как человек, открывающий другу неприятную тайну.

Полковник Алерм, в первую мировую войну начальник канцелярии при Клемансо и в качестве молодого офицера служивший в Сахаре, рассказал о своей жизни у туарегов. Порода не только запечатлена на лице человека, она выражается также в благородстве его поступков. Это встречается повсюду, где только можно говорить о породе. Наши сегодняшние эксперты — всего лишь нумизматики, ценящие в монете чекан, а не металл, из коего она сделана, люди неграмотные, придающие значение букве, ибо текстов они не знают.

Потом поговорили о верховых верблюдах; самые благородные из них теряют стать, когда, вырванные из сердца пустыни, попадают во влажный климат. Я выписываю некоторые детали для «Тропы Масирах».

Париж, 20 января 1944

У Флоранс. Во время трапезы Жуандо рассказал, что он зашел в антиквариат вблизи площади Бурбонского дворца, где статуя индийского бога, вначале выставленная для продажи, была вскоре признана чудодейственной. Антикварша извлекает из этого выгоду — так, она получает комиссионные от стенографисток, чье прошение о выигрыше в лотерее удовлетворяется. Жуандо видел пожилого господина, усердно в этой лавке молившегося; правой рукой он касался изображения, а в левой держал шляпу, благоговейно сняв ее с головы. Меня подобные вещи не удивляют; здесь мы еще не то увидим.

После полудня меня навестил д-р Гёпель, а вечером — Фридрих Хильшер, бывший сосед по «Рафаэлю». Разговор зашел о достопамятном вечере в Штралау зимой 1929-го, когда при полном единодушии жгли сперва мебель, а потом, над горящими угольями, Бого и Эдмон протянули друг другу руки.

Париж, 22 января 1944

В сопровождении докторессы совершил прогулку по лесу и набережным. Есть виды интеллигентности, с которыми мы особым образом гармонируем, — не по уровню, а по характеру. Нас соединяет с ними не напряжение, а согласие. Беседа благотворна, успокоительна, приятна; она идет своим чередом, как часовой механизм, чьи колесики работают слаженно. Это — эрос интеллигентности, смягчающий ее.

Докторесса назвала мою манеру мыслить манерой химика, в то время как Поль работает, словно каменщик. Это верно постольку, поскольку я продвигаюсь в своих мыслях не физически, сцепляя причину и следствие, а атомистически, через преобразование мельчайших частиц, через осмос и фильтрацию. Логически правильное предложение для меня ничего не значит, если оно не скреплено своими гласными. Отсюда чувство постоянной деятельности, не только в тщательно записанных мыслительных актах, но и непрерывно, днем и ночью, ночью особенно; так трудятся песочные часы. По этой причине мою деятельность трудно осмыслить и структурно. Но перемены происходят основательные — молекулярные. Этим объясняется и то, что некоторые мои друзья стали друзьями не по доброй воле, а через сновидения.

Эрос обладает особым отношением к симметрии, как на то уже намекают его символы — лук Купидона, зеркало Венеры и ее рождение из раковины. В «Пире» у Платона разнополость возникает через рассечение, через разрез. Число симметрии —

двоица, пара; она старается изжить себя в Цельности, в Единстве. С этим связано образование двуполых насекомых: слева и справа от оси симметрии. Половые органы всегда симметричны, что заметнее всего на примере цветка. Как сочетаются в тварном мире симметричные и асимметричные задатки, и можно ли из этого сделать выводы о том плане, по которому он создан? Вот какими вопросами я собираюсь заняться в своей работе о соотношении языка и телосложения.

Наряду с физическим цветовым оттенком есть еще и духовный. Как белый разлагается на зеленый и красный, так и в духовных парах поляризуются высшие единства, например синий и красный цвета во Вселенной.

Великие битвы нашего времени осуществляются подспудно; скажем, встреча, происходящая между техником и человеком искусства. Здесь попадается добротное оружие, например «Титаны» Фридриха Георга, коих я получил сегодня от Витторио Клостермана.

Париж, 24 января 1944

Всегда благотворно слышать, когда врач рассуждает о здоровье с неисправимым оптимизмом, как это делает, например, доктор Безансон в своей книге «Les Jours de l'Homme»,[238] которую вручила мне сегодня докторесса. Безансон — ученик Хуфеланда, и подобно ему и Парову, моему другу со стороны отца, продолжительность человеческой жизни он исчисляет ста сорока годами. Как и многие старые врачи, он — циник, но обладает при этом здравым смыслом и хорошими эмпирическими основами.

Из его общих максим я записал:

«Смерть — кредитор, которому время от времени надо выплачивать долги, продлевая тем самым долговое обязательство».

«Здоровье — продолженное рождение».

«Акт насилия — акт глупости» («Tour de force, tour de fou»).

«Кто хочет излечиться до самого основания, залечит себя до смерти».

Из гигиенических правил запомнил, что он презирает водопитие, частые купания, мясопустные дни и спорт, особенно если им заниматься после сорока лет.

О воде говорит, что она не чистая и, прежде всего, не «изотонная». Ей он предпочитает хорошее вино, сладкий чай, кофе и соки. Несравненно чаще люди умирают от воды, чем от вина.

«Пищу переваривают ногами».

Единственное очищение пор — потение. Частым купаниям следует предпочесть растирание тела у открытого окна и последующее очищение его неразбавленным спиртом.

В шубах ходить не стоит; когда их снимают, на плечи опускается ледяной покров. Лучше носить шерстяное белье.

В пожилом возрасте полезно время от времени денек проводить в постели.

Спальню хорошо топить сухими дровами в открытом камине, прежде всего во время коварных простуд, связанных со сменой времен года. Центральное же отопление действует, как яд.

«Le bordeaux se pisse, le bourgogne se gratte».[239]

Много и курьезов. Так, маршал Ришелье, уже будучи далеко за восемьдесят, женился на шестнадцатилетней девушке и прожил еще восемь лет в счастливом браке. Маршальша унаследовала — должно быть, от него — долголетие, ибо однажды вечером удивила Наполеона III словами: «Сир, как сказал однажды король Людовик XIV моему супругу…».

Киты доживают до глубокой старости — и тому есть свидетельства. В теле одного из этих животных нашли острие норманнского гарпуна IX века нашей эры.

Париж, 29 января 1944

Закончил: Евангелие от Иоанна. В последней главе, при явлении Воскресшего на Геннисаретском озере: «Из учеников же никто не смел спросить Его: „Кто Ты?“, зная, что это Господь».

Перед лицом чудесного человек впадает в состояние оцепенелости, когда слово отказывает. И все же оно берет свое начало здесь — уста размыкаются, как у немых.

С этим согласуется вступление к этому Евангелию: «В начале было Слово, и Слово было у Бога». Для того чтобы божественное Слово пришло к людям и стало языком, оно должно открыться — тогда оно станет слышимым, членораздельным, превратится в славу, подобно бесцветному свету, который, призматически преломляясь, открывается в цветах радуги. Как это происходит, с точностью физического процесса изображено в Деяниях апостолов, 2, 2–4. После шума сильного ветра являются «разделяющиеся языки, как бы огненные», даруя апостолам власть говорения. С таким языковым даром можно идти к «каждому» народу, ибо такому языку присущ неделимый, довавилонский характер слова.

Чтение в эти дни: Робер Бюрнан, «L’Attentat de Fieschi»,[240] Париж, 1930.

Изучать заговоры стоит, так как они — одно из неизвестных в историческом уравнении. Впрочем, это касается только низших

уровней наблюдения, ибо при тщательном рассмотрении сюда привносятся дополнительные детали. Так, в заговорщике, даже если он безумец, открывается индивидуум, который проявляет себя на фоне народных настроений, оппозиций или влиятельных меньшинств. Кроме того, заговору должен сопутствовать успех. У исторического человека есть своя аура, сознание своей необходимости, сила, отводящая роковые удары. Здесь действует правило Наполеона: пока он в плену своей задачи, его не сломит никакая земная власть, но достаточно и пылинки, когда служба его исчерпана. Но как ввести в эту систему Цезаря и Генриха IV?

Заговоры действуют зачастую как стимуляторы, своими реакциями четче выделяя тенденции, лежащие в основании времени, как, например, неудачное покушение на Ленина. Когда личность, за коей охотятся, поражают в ее физически выявленное тело — это свидетельствует о грубом мышлении. С веток сбивают почки, но благодаря этому они пробиваются еще сильнее.

У Фиески хорошо выявлено безумие, саморазрушительная сила такого поступка — слепая сторона исторической ткани, в чьей выделке он участвует. Луи Филипп проносится вдалеке в сиянии блестящей свиты, в то время как Фиески, в маленькой замаскированной каморе, запалив камин, поджигает фитиль на своей адской машине, похожей на орга́н из ружейных стволов. Часть их взрывается; осколки калечат ему руки и раскурочивают череп, в то время как на улице сорок человек захлебываются кровью, среди них и маршал Мортье. Такие натуры — носители дисгармонии; следует спросить: адская ли машина взрывается здесь, или сам Фиески? Его долго лечили, а уж потом обезглавили. Сегодня он один из отцов церкви в катакомбах анархии.

Среди вступлений, открывающих главы, я нашел одно, чеканность которого мне особенно понравилась: «Le roi monta à cheval à neuf heures». В этом простом предложении слова расставлены согласно своему рангу; ни одного недостающего, ни одного лишнего. Перевод нарушает эту стройность, он звучал бы так: «Король сел на лошадь в девять часов». Слова отклоняются здесь от своего оптимального распределения, они разваливаются логически, фонетически, синтаксически.

Далее: Марсель Фукье, «Jours Heureux D'Autrefois»,[241] Париж, 1941. Это описание парижского общества с 1885 по 1935 год похоже на рассыпчатый пирог, в который вставлены изюмины хороших цитат. Одна из них — изречение герцогини Да Тремуаль: «Легковерие распространяется в той же степени, в какой исчезает вера».

Ларошфуко: «Для нас труднее скрыть чувства, кои мы

испытываем, чем изобразить те, коих у нас нет».

Nego,[242] второе мне кажется трудней. Такая разница в оценке затрагивает одно из существенных различий между романским и германским духом.

Париж, 2 февраля 1944

О языке. Бутылка вина, ложка супа, вагон угля; в таких выражениях наш язык подчеркивает содержимое емкостей через порядок слов — в противоположность суповой ложке и винной бутылке. У французов же для обозначения содержимого есть специальное окончание: *assiettée, cuillerée, gorgée, charrettée.*[243] Замечательно, как конечное ударное е придает предметам свойство «нагруженности». Можно даже сказать, что благодаря этому е слово приобретает потенциальную, сравнимую с беременностью женственность.

Париж, 7 февраля 1944

Из-за гриппа в постели. Визит президента, которому главнокомандующий рассказал о вечере, проведенном со мной и Баумгартом. Завести меня было трудно, как тяжелый мотор, но потом он вдруг заработал с большой скоростью.

Нас беспокоит судьба Шпейделя, запертого со своей армией в России. Поговаривают об обращении к нему генерала Зейдлица по русскому радио.

О языке. *Wort*[244] имеет в нашем языке две формы множественного числа; в словарях как общее правило указывается, что *Wörter* употребляется по отношению к разрозненным словам, в то время как *Worte* относится к связной речи. Определение нечеткое; мне, скорее, кажется, что значение во множественном числе раздваивается, а именно на ветвь грамматико-физическую и ветвь метафизическую. В *Worten* содержится неделимое добро. Подобный же эффект у других существительных возникает из-за различия в артикле, например: *der* Verdienst и *das* Verdienst.[245]

Париж, 12 февраля 1944

Встал, но грипп все еще бродит в костях. Около полуночи позвонил декан вермахта Роннебергер. В горячке я увидел входящего кельнера, который сказал: «Capitaine, un appel téléphonique à longue distance».[246] Мне не захотелось вставать, но я уловил слово «Вильгельмсхафен» и мигом вспомнил, что Эрнстель служит на берегу в качестве юнги. «Может быть, случилось несчастье при обстреле». Я тут же вскочил. Внизу с некоторым облегчением узнал об аресте группы школьников,

вожаками которой считаются мой сын и один из его товарищей по имени Зидлер. Оба уже несколько недель как заперты в Вильгельмсхафене, и, если я правильно понял, им вынесен и приговор — шесть и девять месяцев тюрьмы. Причиной послужили якобы вольные разговоры о ситуации. Сын из ложной сдержанности ничего не дал о себе знать, хотя такое поведение делает ему честь. По-видимому, никто из его начальников не счел нужным поставить меня в известность. Вместо этого за детьми шпионили, чтобы «собрать материал», а затем отдать в лапы государственной власти.

Такие известия настигают нас преимущественно тогда, когда наши силы не полностью нам подвластны.

Париж, 13 февраля 1944

Время до полудня провел в телефонных переговорах с Ганновером и Вильгельмсхафеном. После обеда позвонил профессор Эрик Вольф, временно живущий у Валентинера, и завел разговор о бупрестидах Кайзерштуля,[247] но я не мог следить за ходом его мыслей с тем вниманием, с каким обычно отношусь к этой теме.

Париж, 15 февраля 1944

Дело я расшевелил, встретив в начальнике Вильгельмсхафена разумного человека. Кажется, и его адмирал, Шойерлен, не принадлежит к мракобесам. Через генерала Лёнинга, коменданта Ганновера, мне удалось известить Перпетую, чтобы она сразу же присмотрела за мальчиком. Трудность заключалась прежде всего в технике, ибо по телефону было не пробиться. Наконец, мне это удалось благодаря стараниям унтер-офицера Кречмара, работающего на телефонной станции.

Чтение: «Песни из ущелья, где растет серебряный чертополох», рукопись которых прислал мне Фридрих Георг. Удивительно, что его перо становится легче и свободней в той же мере, в какой бесчинствует разрушение. За пылающим миром прячется некая тайна — порядок духовных фигур, иногда пронизываемых морем пламени.

По вечерам я давно уже начал перечитывать Сен-Симона. Мне кажется, что я никогда еще так не наслаждался элегантностью отдельных выражений, теми нюансами, коими оттеняются прежде всего описания характеров и их иерархия, — растешь и как читатель.

Париж, 16 февраля 1944

Визит д-ра Гёпеля; он только что вернулся из Ниццы и привез

мне песочные часы. Их форма указывает, пожалуй, на XV или XVI век; возраст окрасил стекло в цвет опала, так что красноватый песок струится как бы за вуалью, сотканной временем. Эта вещица мне весьма кстати, поскольку вид механических часов все более меня раздражает, особенно во время беседы, чтения, тихих размышлений и штудий, чью длительность нельзя высчитать с точностью до минуты, — пусть этим займется стеклышко. Время песочных часов иное, оно интимней связано с жизнью, не отбивает каждый час и не передвигает стрелки. В них живет еще то время, которое течет, струится, иссякает, — время ненапряженное, неритмизованное.

Вечером зондерфюрер докладывал о способах и разных ухищрениях, с коими следует допрашивать сбитых английских и американских летчиков, выуживая у них сведения. Техника таких процедур омерзительна; еще наши деды сочли бы ниже своего достоинства задавать пленнику даже простейшие из подобных вопросов. Нынче один для другого стал особым сырьем, материалом, который должен работать, доставлять сведения и прочее. Такое состояние можно обозначить как возвышенный каннибализм. Не прямо попадаешь в руки людоедов, хотя и такое возможно, но становишься жертвой психологов, химиков, исследователей расы, так называемых врачей и других испытателей. Так на больших полотнах Босха диковинные бесы расчленяют и вспарывают адскими инструментами голых людей — свою добычу.

Из деталей записал замечание, «что курящие словоохотливей некурящих».

Париж, 18 февраля 1944

Новый звонок из Вильгельмсхафена, где тем временем побывала Перпетуя и, проявив незаурядную настойчивость, проникла в тюрьму. Во вторник еду по делам сына в Кирххорст и Берлин. Главнокомандующий, которому я дал об этом знать через Венигера, заметил: «Это один из тех случаев, когда своего генерала можно просить об отпуске».

Так мы отдаем долги отцам, в связи с чем бездетное существование в наших сотах напоминает существование трутня, если, конечно, естественное плодородие не заменить метафизическим, — тогда индивидуум, будь он клириком, жертвователем или покровителем, может войти в патристический чин.

После полудня в коридоре перед моим бюро в «Мажестик» раздался шум. Какой-то ефрейтор из летчиков столкнулся там с женщиной, которая, по-видимому, уже давно морочила и портила

солдат, — и тут же, под дикие вопли с обеих сторон, схватил ее за руку и стал пинать ногами. Я посмотрел на эту группку: мужчина нагло, сверкая глазами, уставился на женщину, но и она в свою очередь глядела на него, как хорек, налетевший на змею. Я приказал взять обоих.

Удивительна та великая слабость, какая-то опустошенность, посещающая тебя, когда ты вот так отдаешься ненависти.

Продолжаю Сен-Симона. Сознание у этого графа вполне современное; двор изображается как большая молекула органической химии. Социальные отношения между людьми, их градация до тончайших оттенков… Перед этим пасуют гораздо более молодые авторы, такие как, например, Стендаль. Для Сен-Симона характерно также, что он понимает свою задачу, свою ответственность; в его позиции кроется историческая боль, знание жителя латунного города.

Продолжаю Послание к Коринфянам. Символика Христа полностью посвящена отношению человека к Богу, в то время как в символах Павла на передний план выступает отношение человека к человеку и преображенная жизнь общины. Это есть умаление, которое всегда будет встречаться в истории богатства мира сего, — полнота должна уменьшиться, переходя от основателя к управителю. Это правомерно и для владычных особ, и для искусства. Такое умаление в субстанции, несущее с собой умножение атрибутов, можно наблюдать, например, при сравнении Босха и Брейгеля.

Подобно тому как отдельные места Ветхого Завета отражаются в Новом, словно в увеличительном зеркале, так и великолепная 13-я глава Послания к Коринфянам представляется мне аналогией Песни Песней Соломона. Она содержит удивительные речения, например такое: «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится».

Значителен и стих 12: «Теперь же мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу». Перевод *enigma* как «гадательно» лишает текст примеси платоновского учения об идее, украшающего текст греческий. О таких местах можно размышлять целыми днями.

Слова. *Wabe* от «*weben*» — пчелиная ткань. Также и звуковое подобие *Wachs* и *Waffel*[248] вряд ли зиждется на случайности.

Кирххорст, 29 февраля 1944

По делам Эрнстеля был в Берлине, откуда возвратился в пятницу. Сначала хотел проникнуть к Деницу, уже и был в его лагере, но меня недвусмысленно отговорили. Следствием могло быть только ужесточение приговора. Вообще я заметил у моряков

склонность вежливо меня выпроваживать, что особенно бросается в глаза тому, кто приезжает из такого «белого» штаба, как штаб Штюльпнагеля. Я же прибыл с пренеприятной штукой, и с ней никому не хотелось возиться. Поэтому я решил отправиться к тем, кто занимался этим по долгу службы, в частности к морскому судье Кранцбергеру. У его представителя мы с д-ром Зидлером видели приговор, из которого я вычитал еще несколько отягчающих обстоятельств. Мой сын якобы сказал, что если немцы добьются сносного мира, то им не мешало бы вздернуть Кньеболо, — правда, из шестнадцати товарищей, названных в качестве свидетелей, об этом слышал только один, но он был шпионом. И все же суд считает это высказывание несомненным. К тому же при допросе он «не выказал никакого раскаяния», что мне как раз и нравится. Люди, с которыми сталкиваешься в таком деле, являют хороший образчик из черных и белых нитей, — из таких нитей и плетется политическая ткань.

Последствия сдачи городов такого масштаба еще не оценены по достоинству. На первый взгляд кажется странным, что среди руин почему-то больше суеты, однако это логично, ибо противоположный ей вариант, тихая уютная квартира, сильно урезан. Улицы и дороги к городу были переполнены. Впрочем, свидание со столицей и ее новым обликом принесло меньше неожиданностей, чем я предполагал; из этого явствовало, что я давно не верил в ее незыблемость. Сразу после первой мировой войны и во время инфляции она казалась уже порядком подгнившей; воспоминания о призрачном городе связаны как раз с этим временем. Потом, после так называемого захвата власти, в нем правила мотыга; целые улицы превращались в груды хлама. В конце концов начали грабить лавки, поджигать синагоги, но эти злодеяния никем не осуждались. Кровь пропитала эту землю. Охота до всего, что пахло кровью и могло взрываться, резко возросла.

Но эти разрушения следует рассматривать также и изнутри: как сбрасывание старой кожи. Поначалу это смущает, но в результате — становится привычкой. Над очагами старой культуры одержала победу Америка — я имею в виду ту Америку, которая в современном берлинце с каждым годом ощущается все отчетливей.

Я жил у Карла Шмитта, после разрушения своего далемского дома перебравшегося на небольшую виллу в Шлахтензее. По вечерам за бутылкой доброго красного вина мы обсуждали ситуацию; он сравнивал ее с положением анабаптистов во время осады. Еще за два дня до завоевания Мюнстера Бокельсон обещал своим сторонникам рай.

Вместе прочитали конец второго тома «Démocratie en Amérique» Токвиля. Там имеются поразительные мысли. Перед таким углом зрения исторический театр становится маленьким и отчетливо видимым, а его фигурки — простыми и резко очерченными. Это те авторы, которые сохраняют нашу веру в смысл, скрытый за движением, кажущимся безбрежным.

Далее о Бруно Бауэре, чей архив перед последней войной купили большевики и перевезли в Москву. Друзья, подобные Карлу Шмитту, уже потому незаменимы, что снимают огромные затраты на предосторожности.

В середине следующего дня я отправился в Кирххорст.

Кирххорст, 1 марта 1944

Начавшийся март предвещает великие события. Я изучаю сочинение Бруно Бауэра о Филоне, Штраусе и Ренане, которое Карл Шмитт дал мне в дорогу. Оно возбуждает желание заняться более внимательным изучением Филона. Уничтожение огромного числа библиотек затруднит охоту за книгами и, может быть, на десятилетия создаст условия, какие существовали до изобретения книгопечатания. Вполне вероятно, что книги станут даже переписывать. И снова, как об этом можно прочесть уже у Гриммельсгаузена,{189} отдельные области, например Швейцария, удостоятся великой благодати и будут пощажены, Жизнь — продолженное зачатие: мы все время пытаемся, пока живем, соединить в себе отца с матерью. Это наша действительная задача, ею освещаются наши конфликты и наши триумфы. Следом идет новое рождение.

То, как отец и мать, отделяясь от себя, соединяются в нас, можно прекрасно доказать графологически. По этой причине важны хотя бы даже собрания писем — чтобы изучить силы, которые в течение лет и десятилетий влияют на характер, уравновешиваясь сами.

Кирххорст, 2 марта 1944

Позавтракал в постели. Лежа читал Самюэля Пеписа{190} и уютно разговаривал с Перпетуей о налаживании домашнего хозяйства в будущие мирные времена. Правда, весь вопрос в том, доплывешь ли до берега.

Продолжал Бруно Бауэра. Хороши рассуждения о напоминающих оперные декорации пейзажных зарисовках Ренана; в самом деле, вспоминаешь картины Милле.{191} Филон считает, что чувственность тоже нужно тренировать и пестовать, так как без нее чувственный мир понять невозможно, и «предвхождение в философию» «останется», таким образом,

«недоступным».

Метель, но сквозь разрывы облаков греет мартовское солнце, и, забравшись наверх, я у открытого окна принимаю солнечные ванны, читая рецензии Граббе.{192} Высказывания о переписке Шиллера и Гёте отличаются особым бесстыдством. Зато удачна угроза, направленная в адрес Беттины: «Если сочинительница будет продолжать в том же духе, ее следует рассматривать не как даму, а как автора».

О Граббе можно сказать его же словами из «Готланда»:

— — У человека мысль —
В полете орлем,
А ноги вязнут в грубых нечистотах.

Так свой девиз каждый чеканит себе сам.

Текстология XIX и XX веков с такой глубиной не проникла в Библию, с какой дарвинизм — в животный мир. Оба метода суть проекции на плоскость времени, и как в первом случае во временном растворяется Логос, так во втором — виды. Слово становится делимым, образ животного — мимолетным переходом, впечатлением.

Против этого выступает Лютер: «Недвижно слово, как скала». И Библия, и животный мир суть откровения, и в этом заключается их великая, символическая сила.

Кирххорст, 3 марта 1944

Еще до полудня получил письмо от Эрнстеля, который, слава Богу, сидя в камере, может читать.

Погода была неспокойной, небо покрыто большими, ослепительно белыми облаками. После одиннадцати над домом пролетело несколько авиаэскадр, их сопровождали бесчисленные взрывные облака, резко выделявшиеся на фоне светлых пятен. Машины тоже оставляли за собой слегка искривленные белые полосы, как конькобежцы на голубом льду.

Взялся читать «Дневники» Жида, утомившие меня. Любой дневник, безусловно, отражает образ автора, но он не должен полностью отдаваться этому «выпячиванию» себя. Значимым здесь, скорее, является постепенно возникающее, но чудодейственное чувство справедливости. И золотые весы нашего слуха, выравнивающие слова и фразы, суть лишь плата, следствие этой добродетели, глубоко коренящейся в своем носителе и делающей его значительным далеко за пределами своей страны.

Далее начал «Journal d'un Interprète en Chine»[249] графа д'Эриссона, который откопал у себя в библиотеке.

Когда автор описывает реальные страны и важные события, он может обойтись и без большого таланта. Чтобы изобразить Гёте, не столько нужен второй Гёте, сколько Эккерман.

В поезде, 4/5 марта 1944

Отъезд из Кирххорста. До полудня успел просмотреть дневники, в частности о Родосе и Бразилии, но не мог решить, что же из них взять с собой в Париж.

И нынче, как уже не раз бывало при разлуке с Перпетуей, почувствовал, что произойдут большие изменения, прежде чем мы увидимся вновь. Уже когда мы прощались, шофер генерала Лёнинга, приехавший за мной, сообщил, что Вильгельмсхафен сильно обстреливается. С беспокойством подумали мы о легком бараке, в котором сидел наш сын.

В поезде побеседовал с полковником медицинской службы о Ганновере моего детства, т. е. 1905 года. «До 1914-го» — эта формула воспоминания станет столь же значимой, как когда-то формула «до 1789-го». Потом разговор зашел о России и русских, чьим языком мой спутник, по-видимому, владел. Из пословиц, которые он цитировал, мне особенно понравилась: «Рыба гниет с головы».

Сильно запаздывая, мы пересекли зону опасных городов, в частности Кёльн, где бомба попала в одну из скотобоен и разорвала сразу шестьдесят человек.

В полудреме размышлял о разных вещах. Вспомнил удачное замечание Перпетуи о Вейнингере: «Наверняка он покончил с собой осенью». В этом смысле она обладает способностью суждения и, походя, заставляет работать величайший духовный аппарат, словно он никакого отношения не имеет к своему носителю. Самые острые умы оказываются перед ней иногда в положении страуса: когда они копаются в своих теориях, философемах и утопиях, как в кристаллическом песке, то, сами того не ведая, становятся intoto[250] мишенью ее пристального наблюдения.

Снова наслаждался мимолетной радостью, любуясь первыми летающими рыбами за островом Сан-Мигелем. Сначала я поймал взглядом стайку, разбегавшуюся прочь от борта, разглядев все ее детали, — вплоть до капель, жемчугом слетавших с плавников. И все же мое восприятие было, скорее, духовным: рыбы казались мне почти прозрачными, перламутровыми, а все видение было оптическим обманом, хотя бы потому, что этой картины я ждал. Потом показалась вторая стайка, всплывшая перед носом лодки, это подтвердили и другие свидетели. В обеих картинах передо мной вставала двойная действительность: идеальная и

эмпирическая, или нереальная и реальная. Над первой из них воображение работало намного сильней, и светилась она удивительней. Действительно ли это были рыбы, отсвечивающие опалом, или только в недрах возгорающаяся игра волн? Вопрос кажется мне несущественным. Такое у меня часто бывало с животными — как будто я сам их изобретал, после чего они становились мне знакомы. Мифический аспект предшествует историческому.

В два часа пополудни поезд въехал на Северный вокзал.

Париж, 7 марта 1944

Продолжаю 1-е Послание к Коринфянам. Там в 15, 22: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

Различение естественного и сверхъестественного человека похоже на открытие из области высшей химии. Христос — посредник, делающий людей способными на метафизическую связь. Эта способность присуща им изначально; так, через жертву они не сотворяются вновь, а, скорее, «спасаются», т. е. перемещаются в сферу высшей активности. Оная же существовала всегда как потенция материи.

Утром я вышел из дома и, пока спускался по лестнице, вспомнил, что забыл связку с ключами. Вернулся, сунул ее в карман и минуту спустя снова вышел на улицу. По этой причине — другие люди, другие события. Встретил старого друга, которого не видел уже двадцать лет, открылся цветочный магазин, где был не известный мне вид цветка, наступил на апельсиновую корку, брошенную идущим впереди прохожим, упал и повредил руку. Так упущенная минута похожа на крошечный поворот винта какого-нибудь орудия, посылающего снаряд на дальнее расстояние. Вот уж воистину аспект, не раз пугавший меня, особенно в наше время коварных столкновений на стезях мира, полного опасностей.

Себе в утешение могу сказать, что хотя масса случайностей неисчислима и непредсказуема, во всех своих комбинациях она приводит, очевидно, к одному и тому же результату. Измеряемая не отдельными точками, а всем своим итогом, сумма жизни слагается в прочную величину, вырисовываясь в картину судьбы, предназначенной нам и в перспективе времени составленной из бесконечных случайностей. Если на это посмотреть с точки зрения метафизики, то случайностей на нашем жизненном пути так же мало, как случайностей в полете стрелы.

Не стоит забывать и теологическое распутывание этого лабиринта такими возвышенными умами, как Боэций. Пока мы следуем своему предназначению, случай бессилен. Нами

управляет доверие к провидению. Потеряй мы эту добродетель, как тут же явится случай, наступая на нас подобно полчищам микробов. Отсюда и молитвенное правило, его заговаривающая сила. Случай выкристаллизовывается, становится предсказуемым.

Существуют аспекты нигилизма, все замыкающие на случай. Один из них — смехотворный страх современного человека перед микробами, особенно развитый в самых бездуховных провинциях; охота на ведьм и чертей в XV и XVI веках — одной с ним природы. Не мешает также вспомнить многие абстракции современной физики, которая, как scienza nuova,[251] высвобождает силы случая и их адекватную связь может познать только через царицу наук — теологию. Столь важно поэтому, чтобы наши лучшие головы посвятили себя ее изучению, пришедшему в упадок. Временщики здесь неуместны. Тесная связь знания и веры, четко отличающая нашу эпоху, требует, чтобы каждый, кто хочет стать здесь мастером, магистром, сначала сдал экзамен на звание подмастерья в области отдельных наук. Стоящие в высшем чине должны все охватывать единым взглядом; этим они оправдывают свое стояние.

При таком разрешении проблемы отпадут целые области разногласий, например спор о светском и духовном воспитании. Но при одном условии, что государство примется за это совсем иным способом, непосильным для государства либерально-национального. От того, как пойдут дела в России и Европе, может быть, уже завтра зависит надежда на воплощение духовных миров, которые мы в муках рождаем. Тогда исчезнет и кошмар, крадущий ныне у столь многих радость жизни: темное чувство творить среди бессмыслицы, в пространствах уничтожения, чистой случайности. Всем, наконец, станет ясно, что в эти годы происходило в России, Италии, Испании, Германии, ибо есть глубины страдания, кои навечно останутся бессмысленными, если не дадут плода. Огромная ответственность лежит здесь на тех, кто выживет.

Париж, 9 марта 1944

Днем у Флоранс. У нее застал д-ра Верна, великого знатока сифилиса и борьбы с ним. Поговорили о гонораре врача, который он объявил столь же второстепенным, как и вид оплаты пожарников во время большого пожара. Удивительно, как в наше время картина болезни отделяется от индивидуума, — собственность и здесь исчезает. При этом к одним и тем же результатам приходят как в капиталистических, так и в большевистских странах. Подобное явление я заметил уже в Норвегии. Верн пригласил меня на вторник в свою лабораторию.

Разговор с Жуандо, рекомендовавшим мне почитать переписку Микельанджело со своим отцом. Она содержит важные советы о здоровье и образе жизни.

Париж, 11 марта 1944

Мой «Рабочий» и «Иллюзии техники» Фридриха Георга похожи на позитив и негатив одной и той же фотографии, — одновременность начинаний указывает на новую объективность, в то время как ограниченный дух увидит в этом одно лишь противоречие.

Мысль на станции метро у площади Согласия: долго ли мне еще следовать по этим трубам и каналам, хитросплетения которых выдумали технические умы на рубеже веков?

Болезни такого сорта можно излечить, только сняв голову. Как в тюрьме Ла-Рокетт.

Христианин XX века физику, химику, биологу высшего уровня — ближе, чем христианину века XIX.

Книги, лишь называемые таковыми, на самом же деле служащие духовными машинами для переделки человека. Читатель входит в кабинет, наполненный ультрафиолетовыми лучами. Прочитав книгу, он стал другим. И само чтение будет каждый раз другим, его сопровождает сознание опасности.

Париж, 13 марта 1944

Среди почты письмо от Шпейделя, доверительно сообщающего о решающем сражении при Умани, которым он командовал, — документ напряжения человеческих сил, человеческого страдания и мужества: читать его можно только с благоговением. Операции предшествовало решение: транспортные средства и сто пятьдесят раненых вместе с врачами и сиделками предоставить их собственной судьбе. Многое снова налаживается, приводится в порядок.

Париж, 14 марта 1944

После полудня в институте д-ра Верна. Сначала мы пошли в лабораторию, где я долго беседовал с белобородым исследователем рака, деликатно излагавшим генеалогические древа предрасположенных к раковому заболеванию семейств. Члены семьи, коих эта напасть пощадила, были отмечены светлыми кружками, больные, напротив того, выделялись на ветвях как темные цветы. Схема походила на лист бумаги с нотными знаками; я размышлял о могучей симфонии судьбы, непостижимо там запечатленной.

«Здесь вы видите дядю той женщины, у которой рак носа, у

него болезнь в зачатке тоже была, но развития не получила». При этом он указал на зародыш в сосуде со спиртом.

Я видел также снимки двух пожилых сестер-близняшек: в возрасте девяноста двух лет у обеих одновременно развился рак груди. При таком наглядном уроке нельзя не заметить, что нынешняя наука поставляет духу несравненно больше фактов благонравия, чем прежняя.

Затем я отправился с Верном в диспансарий, из ячеек которого врачи-регистраторы направляли по разным каналам поток из трехсот сифилитиков, потом — в процедурные кабины, где женщинам задирали юбки и стаскивали трусики, втыкая шприц в ягодицы, в то время как другим пациентам доктора в белых халатах протыкали на руках вены, делая инъекции сальварсана или забирая кровь. В конце этого ряда боксов стояла кровать, возле нее над стариком хлопотала сестра; ему вкололи слишком сильную дозу лекарства и он находился в коллапсе.

Все это походило на огромное автоматическое устройство, куда больные падали, чтобы в зависимости от своих реакций подвергнуться тому или иному лечению, измышленному мозгом д-ра Верна. Он изобрел чисто математическую медицину и представляет собой тем самым противоположность д-ру Парову, у которого я был в Норвегии. Правда, пациенты у них тоже совсем разные: заботы Парова распространялись на свободную, независимую личность, в то время как Верн пытается вылечить анонимное население большого города. Оттого и болезнь становится иной: один видит индивидуальное тело, другой — его грибницу.

Так, у Верна главную роль играют внеиндивидуальные факторы, например статистические кривые или социологические показатели. Что касается Парова, то он вообще едва ли говорил о сифилисе; подобные наименования были для него чистой абстракцией. Для него не было одинаковых больных.

Ночью мне снились миры, выдвинутые далеко в нашу линию, — я стоял в огромном самолете у письменного стола и наблюдал за пилотом: стоя у другого стола, он давал старт машине. Пилот был рассеян и несколько раз чуть не задел гребни гор, над которыми мы пролетали, и только полное спокойствие, с каким я его рассматривал и говорил с ним, не дало разразиться катастрофе.

Париж, 15 марта 1944

Годы в своем движении похожи на центрифугу, вращение которой производит отбор личностей высшего пространственного восприятия, повышенных пространственных возможностей. Таким

способом создается корпорация европейской и даже общемировой мощи.

Париж, 17 марта 1944

Грипп все еще продолжается. Он превратился в хронический, потому что я прервал лечебный сон. Днем с Геллером и Велю в кафе на Елисейских полях. Там мы грелись на солнышке первого дня весны и пили красное вино, поднимая тосты за здоровье друг друга. Велю переводит «Рабочего». Поговорили о слове «style»,[252] которым он собирается переводить «Gestalt».[253] Уже на этом примере видна трудность предприятия. Точный позитивистский ум.

Париж, 23 марта 1944

Грипп постепенно сдается, кашель все меньше, температура опять нормальная. Я отмечаю это по тому признаку, что телефонная трубка остается сухой.

Среди почты письмо от Кубина, где он пишет о своих рисунках к планируемому Бенно Циглером изданию «Мирдина».[254]

Вчера закончил переписывать свой сицилийский дневник 1929 года, озаглавленный «Золотой раковиной». Объем текста при этом сильно увеличился. Краткие путевые записки при новом просмотре распускаются, как чайный цвет. Они образуют остов воспоминаний.

Продолжаю Послания Павла. Прекрасное место в Колоссянах, 2, 17: «Это есть тень будущего, а тело — во Христе». В этой фразе — высший цвет греческой мудрости: мы тоже тени, которые отбрасывает наше собственное тело. Однажды оно проявится.

Париж, 24 марта 1944

После долгого перерыва снова на кофе у Банин. Прекрасная павловния у нее в саду все еще в зимней спячке. На обратном пути проходил мимо антикварши, которая тогда спала среди сокровищ. Зашел бы и в лавку, если бы увидел в окне хоть что-нибудь, что дало бы мне для этого повод, но приманки достаточно притягательной силы там пока не было.

Потом размышлял о симметрии и ее отношении к необходимому. Наверное, надо исходить из атомов, переходя от них к молекулам и затем к кристаллам. Связана ли симметрия с полом и почему у растений именно половые органы отличаются симметричным устройством? Далее — симметрия в строении нервной системы и головного мозга как вместилищ, придающих форму духу. Но опять же всякая симметрия только вторична.

Тибетцы избегают ее в своих постройках из страха, что она может притягивать демонов.

Париж, 25 марта 1944

Начал ревизию воззвания о мире.

Среди почты письмо от Рема, подписанное: «Ваш незабвенный Рем». Он описывает свои передряги на Востоке, в том числе два ранения. Уже после того как в 1941 году во время воздушного налета на Магдебург на темной лестничной клетке одного магдебургского дома он сломал себе руку, прошлой осенью его ранило осколком снаряда. Незадолго до этого он повредил еще и запястье. Наконец, я вспоминаю подобный же случай, когда он пострадал у Западного вала, — и все та же рука. Иногда мне кажется, что астрологи, указывая в нашем гороскопе, какие же части тела и органы особенно ранимы, имеют для этого все основания. Тому есть и другие объяснения, например врожденный танцевальный ритм, побуждающий нас совершать один и тот же faux pas.[255] Но гороскоп для подобных вещей — лучшая ключевая комбинация.

Париж, 27 марта 1944

Продолжаю Послания Павла. 2-е Послание к Фессалоникийцам, 2, 11: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи».

Вчера, в воскресенье, в Сен-Реми-ле-Шеврёз с докторессой, которая теперь, после моей рекомендации, работает у Верна. Завтрак в ресторане де Л'Иветт. До чего же хорошо было бы там в мирное время! Стоял самый теплый и солнечный день из всех, что были доныне, но деревья и кусты сверкали на солнце еще без всякой зелени. Со склонов открывался вид на просторный ландшафт, где на большой высоте выполняли свой послеполуденный воскресный полет одиночные английские и американские самолеты.

Чтение в эти дни: Смит, «Les Moeurs curieuses des Chinois».[256] Есть неплохие наблюдения. Также письма и дневники лорда Байрона и стихи Омара Хайяма: красные тюльпаны, взошедшие на рыхлой кладбищенской земле.

Просматриваю воззвание дальше. Вижу, что многие из моих взглядов — в частности, оценка войны, христианства и его длительности — изменились. Но никогда не знаешь, роясь в этих старых шахтах, когда наткнешься на мины. Нельзя проглядеть и канавку, похожую на ту, что есть в песочных часах. Когда песчинки движутся по направлению к точке наибольшей плотности, где их трение сильнее всего, у них иная тенденция,

чем после того, как они эту точку прошли. Первая фаза подчиняется закону концентрации, узкого пути, тотальной мобилизации, вторая — окончательному распределению и размещению. Это одни и те же атомы, своим круговращением дающие полную картину.

Вечером меня разыскал лейтенант-полковник Хофаккер и, войдя в номер, поднял телефонную трубку. Он принадлежит к людям нашего круга, которых персонал «Рафаэля» наградил особыми именами. Его называют «L'Aviateur»,[257] в то время как Нойхауса именуют «Il Commandante»,[258] а меня «La Croix Bleue».[259]

Несмотря на то что трубка была снята — в моем кабинете уже давно велись всякие разговоры, — он чувствовал себя несколько неуютно и потому предложил мне пойти на авеню Клебер, где можно было спокойно побеседовать. Пока мы прохаживались взад-вперед между Трокадеро и Этуаль, он сообщал мне подробности из донесений доверительных людей, работающих на генералитет в высшем руководстве СС. За окружением Штюльпнагеля там наблюдают с величайшим недоверием. Самыми подозрительными, сообщил Хофаккер, считают священника Дамрата и меня. Поэтому было бы лучше всего, если бы я на какое-то время оставил город и отправился на юг Франции, например в Марсель. Главнокомандующему он так и доложит. Я удовольствовался ответом, что жду распоряжений.

В конце беседы мы обсудили ситуацию, при этом он назвал ряд имен и первым — Керделера, чье имя уже давно фигурирует в подобных комбинациях, особенно если известны Попиц и Йессен. Не может быть, чтобы Шиндерханнес и Грандгошир не осведомлены об этом, принимая во внимание, прежде всего, те подозрительные мексиканские фигуры, которые, переодевшись генералами, подслушивают в «Рафаэле» и «Мажестик».

Отечество теперь в крайней опасности. Катастрофу уже не предотвратить, но ее можно смягчить и модифицировать, ибо провал на Востоке грозит более страшными последствиями, чем провал на Западе, наверняка он вызовет повсеместные расправы. В связи с этим на Западе нужны переговоры, и еще *до* высадки; в Лиссабоне уже прощупывают эту возможность. Их условием является ликвидация Кньеболо, коего нужно просто взорвать. Наиболее подходящий момент для этого — совещание в ставке. Здесь он назвал имена из своего ближайшего окружения.

Как уже не раз случалось в подобных ситуациях, я и теперь выказал скепсис, недоверие и несогласие — чувства, которые вызывает у меня перспектива покушений. Он возразил:

— Пока мы этому парню не преградим путь к микрофону, за

какие-нибудь пять минут он снова собьет массы с толку.

— Вы сами должны владеть микрофоном не хуже, чем он; пока у вас не будет этой силы, вы не обретете ее и через покушения. Я считаю вероятным создание такой ситуации, когда его можно будет просто арестовать. Если согласится Штюльпнагель, а это вне сомнения, за ним пойдет и Рундштедт. Тем самым они получат западные передатчики.

Потолковали еще немного, как до этого с Шуленбургом, с Бого и другими. Ничто так не свидетельствует о той необычайной значительности, какую умел придавать себе Кньеболо, как зависимость от него его сильнейших противников. Между плебейской частью демоса и остатками аристократии разыгрывается великая партия. Когда падет Кньеболо, у гидры вырастет новая голова.

Париж, 29 марта 1944

День рождения. В моей комнате президент установил столик со свечами. Среди поздравителей был Валентинер, прибывший из Шантильи. Продолжал Послания Павла, где в связи с сегодняшним днем нашел прекрасное поучение: «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться», Тимофей, 2, 5.

Днем в павильоне д'Арменонвиль. Мелкие насекомые уже вились в воздухе. Их стеклянное мартовское роение показалось мне нынче особенно праздничным и таинственным — как открытие нового чувственного пространства, нового измерения.

Вечером у Флоранс. Уже третий раз я праздную этот день у нее, и снова, как и в первый раз, когда мы сидели за столом, завыла сирена. Настроение было подавленным из-за бесчисленных арестов. Жуандо рассказал, что в его родном городе молодые люди убивают друг друга «pour des nuances».[260]

«Против демократов/средство — лишь солдаты»; в 1848 году это было еще верно, но в нынешней Пруссии этот рецепт не имеет никакой силы. Для нашего элементарного ландшафта скорее годится правило, согласно которому степной пожар может быть побежден только встречным огнем. Демократии регулируются в мировом масштабе. По этой причине войны бывают только народные.

Но если военная каста хочет извлечь из этого пользу, она впадает в оптический обман ложных выводов. Лучшие головы в Генеральном штабе были не только против оккупации Рейна и приграничных областей, но и вообще против форсированного вооружения. Главнокомандующий рассказал мне об этом подробности, которые всякий позднейший историк обозначит как

неправдоподобные. Ситуация поистине парадоксальная: военная каста не прочь продолжать войну, но архаическими средствами. Сегодня же войну ведет техника.

В эту сферу врываются новые властители, пренебрегающие древним понятием военной и рыцарской чести. При изучении документов я подчас удивлялся упрямству Кньеболо, его мелочной политике, как, например, спорам о казни горстки невиновных. Этого никогда не понять, если не видеть за этим волю к разрушению Nomos'a,[261] которая неизменно им руководит. Сформулировать это можно внепартийно: он хочет создать новый уровень. И поскольку в его рейхе еще много чего от средневековья, то крутизна подъема особенно велика.

В политическом аспекте человек — почти всегда mixtum compositum.[262] Во множественном числе на него притязают времена и пространства.

Я, например, по происхождению и наследию — гвельф, в то время как государственные взгляды у меня — прусские. В то же время я принадлежу немецкой нации, а по своему образованию — европеец, пожалуй, даже гражданин мира. В эпохи конфликтов, подобные современной, кажется, что внутренние колесики движутся друг против друга, и наблюдателю трудно распознать, куда направлены стрелки. Если бы на нашу долю выпало великое счастье и высшие миры познали бы нас, то колесики работали бы слаженно. Жертвы бы тоже обрели смысл: оттого мы и обязаны стремиться к лучшему — не только из соображений собственного счастья, но и памятуя о культе мертвых.

Париж, 2 апреля 1944

Прощальный завтрак в честь Фолькмара-Френцеля, лейпцигского издателя, который возвращается к своей профессии, поскольку его книги, машины и здания стали жертвами бомбардировок. Заодно я побеседовал с Дамратом, священником потсдамской гарнизонной церкви. Главнокомандующий направил туда Хофаккера, чтобы тот не вздумал отказываться от нашего общества. Дамрат процитировал изречение, коим он увековечил большой колокол в Потсдаме. В связи с этим он вспомнил одно место из писем Фридриха Вильгельма I Леопольду Дессаускому: «Если бы я занимался только обустройством страны, а не обращением своих людей в христианство, мне бы ничего не помогло. Кто не верен Богу, тот и мне, человеку, не будет верен».

К этому можно было бы присоединить слова Леона Блуа: «Il n'y a plus de serviteurs dans une société qui ne reconnaît plus Dieu pour maître».[263]

Вечером отъезд в Кирххорст, куда меня отпустили на

несколько дней по делу Эрнстеля. Надеюсь также увидеть его в Вильгельмсхафене, где он все еще сидит под арестом, ибо дело его не решено. Однако на свободе он должен быть прежде, чем разразится катастрофа.

В поезде, 3 апреля 1944

Поезд сильно запаздывал, что было естественным при бомбардировках железных дорог и вокзалов. Чтение: дневники Байрона и «Les Moeurs curieuses des Chinois».

У окна два молодых офицера танковых войск, у одного из них хорошее лицо. Тем не менее уже целый час они говорят об убийствах. Один вместе со своими товарищами собирался утопить в озере заподозренного в шпионстве местного жителя; другой придерживался того мнения, что после каждой диверсии против войскового соединения нужно ставить к стенке не меньше пятидесяти французов. «Тогда перестанут».

Спрашиваю себя, как могло в такой короткий срок распространиться это каннибальское сознание, это абсолютное зло, эта сердечная черствость по отношению к себе подобным и чем объяснить столь быстрое и всеобщее одичание? Учитывая возраст, неудивительно, что христианская мораль ничуть не затронула этих молодых людей, но было бы вполне естественно предполагать, что у них в крови еще сохранились чувство рыцарской чести, древнегерманская стать и сознание справедливости. Ибо не так уж они и плохи сами по себе и готовы на жертвы, достойные восхищения. Остается пожелать, чтобы к их бесспорной характеристике «без страха» добавилось бы еще и «без упрека». Одно становится ценным только благодаря другому.

Сидящий напротив меня оберлейтенант парашютного подразделения читает книгу. Он тихо переворачивает страницы, время от времени делая передышки и глядя перед собой как человек, о чем-то размышляющий. Потом читает дальше; дойдя до места, настраивающего на веселый лад, улыбается. «Читатель» — великий мотив, один из значительных образов духовного человечества.

После полудня в Аахене и дальше через Кёльн мимо целого ряда выжженных западногерманских городов. Ужасно, что так быстро привыкаешь к подобному зрелищу.

«Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Притчи, 11, 11. Слова, отворяющие ворота в города будущего.

Кирххорст, 4 апреля 1944

Привел в порядок рукописи и книги и заглянул в

байроновского «Дон Жуана».

Мои нижнесаксонские земляки. Невозмутимое спокойствие, присущее им как одна из их лучших черт, отмечено уже в Хильдесхаймской хронике. 1 августа 1524 года в Нойштадте возник пожар, разрушивший массу домов и охвативший шпиль пороховой башни. Свинец на крыше начал плавиться и каплями стекать вниз. На башне стоял городской архитектор Ольдекопп и руководил огнетушительными работами. Рядом с ним находился его сын Йоханнес. После того как отец разными уговорами пытался выпроводить его оттуда, сын сказал: «Здесь нас и одного-то много. Под нами эдак двадцать тонн пороха». И лишь тогда юный Ольдекопп покинул свой пост.

Кирххорст, 5 апреля 1944

С Александром на Ольдхорстском болоте, дабы исследовать муравейник, который я обнаружил там зимой. Всегда радостно, когда твое намерение осуществляется; это — узел, скрепляющий жизненную сеть. Муравьишки уже ожили; среди пришельцев я обнаружил одного, мне не известного: *Myrmecoxenus subterraneus,* описанного в 1835 году Шеврола, тогдашним налоговым чиновником в Париже.

На обратном пути зашли в сарай, укрываясь от огня, пущенного по американским бомбардировщикам, кружившим над нами; выйдя оттуда, вымокли до нитки. Побеседовали о приключении Дон Кихота с ветряными мельницами и о пери Бану из «Тысячи и одной ночи».

В саду лилии уже высовывают свои головки, и эремурус напоминает о себе шестью мощными ростками.

Повсюду в разросшейся траве сверкают крокусы, которые я посадил с Фридрихом Георгом перед войной, — желто-золотые, темно-синие, белые с аметистовым основанием, с расходящимися от него лучами прожилок, охватывающими чашечку, как аграфы — серебряный бокал. Свежесть красок веселит душу: они — первозданны. Посадив маленькие коричневатые луковицы, я зарыл вместе с ними сокровища, которые, как в сказке, иногда выходят на поверхность. Вся метафизика покоится в мире растений, и нет лучшего круговращения невидимых вещей, становящихся зримыми, чем садовый год.

Золотая цветочная пыльца, которую шмели отрясли на синее дно чашечки.

Вечером полистал старые дневники, упакованные Перпетуей в специальный чемодан. Должно пройти несколько лет, прежде чем я снова займусь подобными записями. За это время что-то увянет, а что-то и дозреет.

Потом читал «Поощрение к мученичеству» Оригена. Там, в § 46, он предупреждает, что Бога следует называть не какими угодно, а только подобающими Ему именами, — не так, как, скажем, Юпитера. Определенные звуки и слоги, подобно вихрям, притягивают тех, чьи имена произносятся. Записал это для статьи о гласных.

Кирххорст, 7 апреля 1944

После полудня вместе с Александром на поляне — выкапывал одичавшие акации. Пока мы занимались этим, над нами, освещенные ярким солнцем, пролетели две американские авиаэскадры. Когда они поравнялись с городом, их начали энергично обстреливать, и мы тут же увидели, как на правом фланге одна из машин, волоча за собой длинный дымовой хвост, повернула назад. Ей вслед несся мощный огонь обороны, смолкший, как только выяснилась ее судьба. Она стала снижаться, пролетев над нашими головами и совершив петлю, во время которой от нее отделились три парашюта. Лишившись пилота, машина прочертила широкую спираль, увеличившись до невероятных размеров. Мы думали, что она шлепнется рядом с домом, но ее отнесло к Лонскому лесу, над вершинами которого, едва она скрылась из виду, взметнулось темномедное море пламени, тут же превратившееся в дымовую стену. Кто в этой тихой деревне мог хотя бы вообразить себе подобные представления?

После знаменитой пустыни поля битвы мы попадаем в хорошо обозримый театр военных действий. Так, в великих воздушных боях участвуют сотни тысяч, более того, миллионы зрителей.

Продолжал «Дон Жуана». В 3-й песне, начиная с 61-го стиха, дан образчик пышного пира, в организации коего соревновались чувственность и ум.

Кирххорст, 9 апреля 1944

Размышлял об огромных потерях книг, погибших в результате бомбардировок. Старые книги скоро станут редкостью; новое их издание предполагает разумное планирование. Подобно тому как через местность, сожженную дотла, сначала прокладывают главную трассу, прежде всего надо восстановить классику — в теологии, в мировой литературе, в философии и в специальных науках — серией добротных изданий. Постепенно можно перейти к авторам третьего и четвертого рангов, а потом и ко всяким чудакам, ограничивая эти побочные ветви соответствующими тиражами. В таком распределении есть и своя польза: внимание

читающей публики сразу будет привлечено к важнейшему.

Трудновато, правда, восполнить пробел в журналах, но здесь можно попробовать восстановить библиотечные фонды. Коллективный характер бытия вообще способен сильно повлиять на книжное дело.

Кирххорст, 13 апреля 1944

Вернулся с побережья, куда ездил вместе с Перпетуей по делу Эрнстеля. Оттуда мы выехали в Светлый понедельник. Но и Светлое воскресенье было омрачено многочисленными воздушными налетами с объявлением полной боевой тревоги, или «Vollala»,[264] как говорит трехлетний Петер, живущий здесь беженец. Собираясь в путь, я еще раз заглянул в синие чашечки крокусов, на дно которых пчелы стряхнули золотую пыльцу шафрана. Это то, что поддержит меня в дороге.

Путешествовать в такое время по многим причинам затруднительно, но самую большую неприятность доставляют пилоты. По Ольденбургу мы ехали целый час, позже на него был совершен налет, и когда мы вышли в Вильгельмсхафене, нас встретил вой сирены. В поезде мы познакомились с двумя офицерами; один из них, Эммель, как адъютант коменданта уже по собственному почину навещал Эрнстеля в его камере. Невзирая на тревогу, мы тотчас направились в гостиницу. Отобедав там, разыскали декана Роннебергера в его полуразрушенной квартире.

На следующее утро, пока мы перед гостиницей ждали трамвая, раздался новый сигнал тревоги. Тогда нагруженные пакетиками для Эрнстеля мы отправились пешком по улицам, все более и более пустынным. Наконец, вошли в один из башенных бункеров.

Здесь чувствуешь себя так, словно попал в особое отделение ада, которое Данте при своем обходе не заметил. Внутренность такой башни похожа на извилистый ход раковины улитки; вокруг внутреннего стержня спиралью вьется постепенно уходящий наверх коридор с бесконечными рядами стоящих вдоль него скамеек. Большие группы людей, скученных самым тесным образом, чего-то ждали. Жилище улитки было наполнено человеческой плазмой, источавшей тупой страх. Поднимаясь по извивам спирали, я разглядывал лица, устало мерцавшие в сумерках. Жители таких городов торчат в этих безрадостных башнях, проводя в них бóльшую часть дня и даже ночи. Как и во всех подобных учреждениях, призрачное прозябание здесь неотделимо от чисто механических действий. Я слышал, как жужжали вентиляторы, и на их фоне — голос, то и дело

возглашавший: «Экономьте кислород!»

Поглядев на эту спираль, вид которой вызывал еще более неприятное чувство, чем мысль о пропасти, мы вышли наружу и устроились в запущенном саду, расположенном посреди развалин. Слышалась легкая стрельба, после чего сирены возвестили об окончании тревоги.

В арестантской, Фельдфебель ввел сына в помещение, где мы сидели в ожидании. Он был бледен и выглядел ослабшим. Подбородок выдавался вперед, его прорезали мелкие морщинки. Глаза провалились, потеряв свежесть детства; преждевременный опыт поселился в них. И все же он держался с достоинством, скромно и в то же время мужественно. Когда я увидел его перед собой вот таким, в матросской курточке, я сразу вспомнил, как он, будучи ребенком, мечтал о военных лаврах и как все его мысли были направлены на участие в военном сражении. Он хотел доказать, что достоин своего отца, и потому тянулся к опаснейшей точке. «Как верно ты угадал ее, сынок, — думал я про себя, — и как хорошо, что я, отец, тебя понимаю». Война, поскольку она ведется между нациями, представляет собой только грубые кулисы, — у битвы другие, более опасные ставки. И мне казалось добрым знаком, что эту невзрачную камеру я посетил в обществе высоких чинов времен первой мировой войны. Мы ведь испытали славу, которой лишены эти юноши, и потому их заслуга — больше нашей.

На следующий день мы отправились в Куксхафен, чтобы разыскать там адмирала Шойерлена, главнокомандующего береговыми войсками Немецкой бухты, верховного судью по делу Эрнстеля. В его лице мы нашли превосходного человека. Вообще следует заметить, что, будучи вовлеченным в такое дело, узнаешь оба действительных фронта, на которых разворачивается происходящее. И кто перед тобой — человек или машина — раскрывается уже при первой реакции на твою фразу.

Кирххорст, 17 апреля 1944

В свой последний день отпуска я успел еще посадить горох, посеяв вместе с ним добрые пожелания для Эрнстеля. Сегодня опускаешь в землю семена, не зная, кто завтра будет пожинать плоды.

Нарезал кервеля, эта травка для супа то же самое, что ясменник для вина. В диком виде он разросся под старой липой, и Александр помогал мне срывать его. Я обеспокоился, не сорвет ли он вместе с ним цикуту, — и так разговор зашел о чаше Сократа, с которым он благодаря этому завязал первое знакомство.

Семена я привез с собой из Франции. Форма и окраска у них немного иные — посмотрим, как они здесь взойдут.

В поезде, 18 апреля 1944

Ночью в Японии, где ощущал неловкость по отношению к чужим вещам и людям. Стойку, на которой были разложены товары какой-то лавки, я принял за лестницу и поднялся по ней, учинив немало вреда. Японцы наблюдали за мной со вниманием, в котором смешивались вежливость и отвращение.

Потом была комната; там на диване сидели мужчины и женщины в состоянии наркотического опьянения. Один из них, пошатываясь, поднялся мне навстречу, замахнувшись тяжелым кувшином. Поскольку, судя по его состоянию, в меня ему было не попасть, то я старался не шевелиться — «не то, чего доброго, он попадет случайно».

После полудня Лёнинг отвез меня на вокзал, где под тучами шрапнели я сел на парижский поезд.

О гласных. В новую редакцию этого эссе, доказывая, что звуковая окраска слов не случайна, неплохо бы внести следующее: когда в поле нашего зрения попадают новые предметы, для их именования мы находим множество слов. Дух языка выбирает из них одно, наиболее подходящее, и вводит его в употребление, предпочитая звуковой лад логическому значению. По этой причине «автомобиль» выразительней, чем «машина».

Париж, 21 апреля 1944

Ночью мощный налет, оборонительный огонь, бомбы в 18-м районе и в Сен-Дени. Жители «Рафаэля» впервые собрались в бункере, как я узнал о том на следующее утро. Что-то похожее на летаргию удержало меня в постели. Говорят, были сотни убитых.

Днем у Шницлеров, уезжающих сегодня вечером.

Париж, 22 апреля 1944

Чтение: дневник оберлейтенанта Залевски, описывающего

будни в Уманском котле. Рукопись прислал мне Хорст Грюнингер. Об этом я говорил также со Шпейделем, который стал шефом при Роммеле и которого три дня назад я вновь увидел после большого перерыва. Описание Залевски точное и сухое, в нем есть нечто от холода расплавленного и затем зеркально застывшего металла, что соответствует атмосфере, царящей на Потерянном посту. Я обнаружил знакомый ход мыслей, как бы выращенных из семян, перелетевших через садовую ограду на кварцевый песок и с крайней бережливостью взошедших на нем. Все это поучительно, ибо тот котел есть чистейшее отражение нашей ситуации; мне это было ясно, прежде чем началась война. У него были прообразы, например судьба еврейства.

После полудня у Геллера, где я рассматривал картину, подаренную мне д-ром Гёпелем на день рождения. Возвращаясь, нашел площадь Инвалидов перекрытой; батарея тяжелых противовоздушных орудий, склады боеприпасов и небольшие остроконечные палатки для расчета были сооружены посреди нее. Во всем этом было что-то зловещее — особенно из-за палаток в центре огромного города, казавшегося поэтому пустынным и совершенно вымершим.

Я нахожусь на укреплении перед мостом, переброшенным через темный поток. Пребывание на этой выдвинутой дуге с каждым днем все более ненадежно, обвал все более вероятен, если с той стороны навстречу мосту как зеркальное отражение не вырастет довершающая его конструкция. Но другой берег лежит в густом тумане, и только иногда темноту прорывают неопределенные огни и звуки. Это — теологическая, психологическая, политическая ситуация.

Париж, 23 апреля 1944

Экскурсия в Trois Vallées.[265] Дабы составить себе представление о народе, нужно видеть население не только городских бульваров, но и сельских улиц.

Dans les forets lointaines
On entend le coucou.[266]

Париж, 29 апреля 1944

Вчерашний вечер и большую часть ночи провел в обществе главнокомандующего, навестившего меня в моем Malepartus[267] в сопровождении полковника Арендса, Баумгарта и профессора математики Вальтера. В силу математических склонностей генерала разговор зашел сначала о простых числах, а потом через

проблемы баллистики и ракетных установок он закономерно перешел на военные и политические события, которые намечаются в ближайшее время. После ухода Вальтера, бывшего здесь проездом и уезжавшего ночным поездом, я некоторое время провел наедине с генералом. Он обрисовал мне ситуацию, и в частности характер Рундштедта, — именно благодаря ему на Западе все в скором времени прояснится и демаскируется.

Если знать Штюльпнагеля, Попица и Йессена, к тому же еще Шуленбурга и Хофаккера, то картина фронды в тотальном государстве будет завершена. Очевидно также, что ведущей становится моральная субстанция, а не политическая. В действии она слабее, и поэтому ситуация только бы улучшилась, если б явился какой-нибудь Сулла, пусть даже в лице обычного народного генерала.

О зеркалах и об удивительном изменении человеческой физиогномики, чему они немало способствуют. Если наш взгляд, скользнув, увидит собеседников в зеркале, то обнаружит в них совершенно новые черты. Так могли выглядеть их предки, так могут проявляться духовные смыслы, тайно лежащие в них. Это действует особенно сильно, когда зеркальная поверхность как бы движется, вращается, словно в дыму вчерашних сигар, струйкой поднявшемся от консоли. Зеркала раскрываются. В связи с этим — изменения в лике мертвецов: мы видим их в свете, падающем из темного зеркала.

Перед обедом зашли два юных фламандца, Клаес и Виллем. Мы побеседовали о Германии и Франции, взаимоотношения коих они видят яснее, с позиции a cheval.[268] О ситуации, мавританцах, обеих литературах, в частности о Леото,{193} его книга «Passe-Temps»[269] принадлежит как раз к кругу моего чтения.

Я уже давно заметил, что моя способность говорить зависит от духовности моих слушателей. Колесо беседы словно катится по относительно гладкой поверхности — и потому сравнительно уверенно и без усилий. Примечательно, однако, что при первой встрече с незнакомцем мне не нужно ждать, пока он выскажется, — вероятно, у того также есть духовная аура, аромат духовности.

Париж, 30 апреля 1944

Первый визит к Шпейделю, ставшему начальником канцелярии при Роммеле и как раз тем человеком, который яснее всего видит ситуацию на Западе. Главная квартира находится в Ла-Рош-Гюйоне, в одном из замков Ла Рошфуко. Там я недолго побеседовал с герцогом и герцогиней, в частности о моем

пребывании в Монмирае.

Ландшафт вокруг Ла-Рош-Гюйона с его большими пещерами и, подобно органным трубам, вздымающимися над долиной Сены утесами похож на таинственный лабиринт. В этом смысле он кажется ярко выраженным субстратом исторических событий, каким он и был в действительности со времен норманнов, а может быть, еще и раньше. Он надевает на себя историю и окрашивает ее в свои тона.

Склоны были увенчаны противовоздушными батареями, а в долине находилось танковое соединение, предназначенное для личной охраны главнокомандующего, а также для политических целей. Невероятные тяготы войны приобретают в этих зонах вид величайшей легкости; находишься ближе к центру, вокруг которого вращается страшное тяжелое колесо. Используя этот образ, я хочу остаться в технической сфере, в системе координат насилия, но там, где еще сквозят некоторые черты духовности, — в Мавритании. Это требует определенной веселости, какая сопутствовала Сулле, когда он осаждал Афины.

Париж, 1 мая 1944

День ландышей. Шпейдель попросил рукопись воззвания для Роммеля, которому захотелось ее почитать. Завтрак у Друана с Абелем Боннаром. Я не перестаю восхищаться упорядоченностью и точностью его мыслей, его вольтерьянской и вместе с тем кошачьей духовностью, быстро схватывающей суть людей и предметы, играючи вертящей ими и царапающей до крови.

Я использовал возможность сообщить ему, что Леото — может быть, последний классик — в жалком состоянии обитает в одном из здешних пригородов и, несмотря на преклонные лета, не получает никакой помощи. Боннар принял это близко к сердцу и просил меня держать его в курсе дела. Леото, правда, — циник, довольствующийся единственным креслом в обществе кошек; он может наговорить и грубостей. К этому еще добавляется злосчастная политическая ситуация, каждое человеческое действие окрашивающая в мрачные тона.

После полудня снова в Венсене, в обществе докторессы. Мы немного позагорали на траве у дороги, опоясывающей форт. На бастионах полуголые солдаты перебрасывались шутками, взирая оттуда на по-воскресному одетых парижан, как римские легионеры с цитадели завоеванного города.

В лесу, в несметных количествах, цвела сцилла.[270] Мутные, серо-зеленые ручьи кишели головастиками, некоторые из них уже растопыривали свои крошечные задние лапки. По какой, собственно, причине существует это временно́е несогласие в

развитии пар конечностей, обе из которых сопричастны друг другу? Старая школа отсылает к переформированию устройства плавников — но именно это и делает предвидение чудом. Здесь видна длань демиурга, нанизывающего мотивы на жизненную материю. Босоногие дети ловили эту живность и запирали ее в маленькие запруды, обнося стенами из ила.

Потом снова у форта — в тот момент, когда над ним пролетали две американские эскадрильи и с валов пушка открыла по ним огонь. Картины смерти и ужасов сновидческими играми проникают в радости повседневной жизни, — так в коралловых садах среди пестрых теней виднеются щупальца и пасти чудовищ.

Париж, 2 мая 1944

Днем у моста Нейи, с высоты которого я долго глядел на воду. Там у плоского берега играла большая стая маленьких рыбок; как бы дыша, она то расширялась, то сжималась, словно вилась вокруг какого-то центра. Сверху движение было трудно уловить, так как спинки этих тварей мало отличались от окраски воды. Но время от времени над безымянной толчеей высвечивалось нечто, похожее на серебряную молнию, которая, искрясь, описывала крут. Это происходило оттого, что попеременно то одна то другая из рыбок, вытолкнутая вверх всеобщим усилием, кружилась по воде, подобно кораблику. При этом она ложилась на бок, и ее белое тельце сверкало в дневном свете.

Я долго смотрел, как среди темной толчеи вспыхивали серебряные точки, вновь опускаясь после того, как пульсирующая фигура, которую они описывали, завершалась. Что это были за сигналы и для чьих глаз они были предназначены?

Я долго смотрел — здесь в простейшем образе открывалось то, что у нас называется триумфом. Присутствовали все его элементы: и безымянная масса, стекающаяся воедино, и ее пульсация, и ритм, и напряжение, которое разряжалось в высшем порыве индивидуума, отделяющегося от толпы и вбрасываемого в свет. Так из сонма воинов и из серых полчищ высвечиваются герои, бойцы-одиночки, так отделяется, сияя своим облачением, солист от кордебалета и так песнь великого певца вырывается из концертного хора.

Как глубоко, как просто то, что живет в нас и обостряет наши чувства, заставляя биться сердца, — колыбель морских волн, воспоминание о плавниках, крыльях, телах драконов, солнечных и звездных часах универсума, великая страна мечты и детства, страна становления. А над нами — мраморные мосты в форме радуги, с высоты которых все видится как обретшее смысл.

Париж, 3 мая 1944

Во время обеденного перерыва на собачьем кладбище, сооруженном на одном из маленьких островов Сены у Порт-Леваллуа. Перед входом — памятник сенбернару Барри, спасшему жизнь более сорока заблудившимся в снегу путникам. Он — противоположность Бесерилло, большой кровожадной собаке, разорвавшей сотни голых индейцев. Человек со своими добродетелями и пороками как в зеркале отражается в животных, которых он воспитывает. Это место напомнило мне дни детства и те игрушечные кладбища, где мы хоронили насекомых и мелких пташек.

Продолжил Послание к Евреям; здесь еврейский род — на чистом древе, без окулировки — распускается своим высшим цветом. Очень хорошо сказано о сублимации жертвы — и явно, и между строк.

В виде прогрессии можно предложить: Каин/Авраам/Христос: Авель/Исаак/Иисус.

Здесь представлена последовательность священников и жертвоприношений. В каждой из этих параллелей открывается новое состояние общества, права, религии.

Париж, 4 мая 1944

У Флоранс. Кроме д-ра Верна и Жуандо я встретил у нее также Леото, одетого по моде 1910-х годов, — с длинным и, как шнурок, узким галстуком, завязанным бантом. В своем писательстве он не отклоняется от прямой линии, свободной от романтической размягченности, и менее празднословен, чем другие его коллеги, которых я наблюдал до сих пор.

Беседа о «Mercure de France»,[271] затем о языке и стиле. Леото ненавидит образы, сравнения, околичности. С абсолютной точностью и лаконизмом автор должен выражать то, что думает. Он должен непрестанно заботиться о ритме и оттачивать стиль. «J'aime plutôt une répétition qu'une préciosité».[272] Если хочешь сказать, что идет дождь, так и пиши: «Идет дождь». На возражение Полана,{194} что пусть тогда пишут чиновники, Леото сказал: «Alors, vivent les employés».[273]

Он придерживается мнения, что словами можно выразить все, что хочешь, и что при совершенном владении языком можно избежать малейшего несоответствия между сказанным и помысленным. Правда, это касается только неметафизиков. Но только их он и признает.

Что меня привлекает в нем прежде всего, так это позиция человека, определенно и точно знающего, чего он хочет, —

сегодня это встречается не так часто, как принято думать.

На замечание, что Виктор Гюго относится к авторам, коими я до сих пор пренебрегал: «Vous pouvez continuer».[274]

Париж, 5 мая 1944

О морской символике. Если молодые супруги ожидают девочку, то в Турене принято, чтобы мать носила на шее цепь из окаменелых ракушек. Это в связи с превосходным сочинением Мирчи Элиаде, которое я прочитал в «Залмоксисе».

Стиль: «Сюда удалилась королева Гортензия, после того как побывала на троне и на нее пал весь позор клеветы». Из перевода «Замогильных записок» Шатобриана.

Такая фраза так же неудобоварима, как и выезд на встречную полосу.

Париж, 7 мая 1944

Вечером у пруда в Сюресне, где наблюдал за жизнью цветущих кленов. Как обычно, над полосой отчуждения кружили авиаэскадры, обстреливаемые с разных сторон. Таковы образы и звуки, ставшие неотъемлемой частью повседневности.

Иудино дерево и тот особый штрих, какой оно придает вечерней палитре. Розовый цвет переходит в нем в красно-коралловый, что производит более определенное впечатление, чем окраска цветов персика, боярышника или красного каштана. К тому же этот тон и теплокровней.

Париж, 8 мая 1944

Ночью сны о трилобитах, которых я раздобыл в институте лейпцигского минералога Ринне. Я купил их по каталогу, а недостающих взял в слитках, упакованных с исключительной тщательностью частично в золото, частично в красный сургуч. Как и все мои палеонтологические сны, этот тоже отличался особой выразительностью.

До полудня меня навестил Клеменс Подевильс, сопровождавший Роммеля на одной из экскурсий вдоль Атлантического побережья, которую тот недавно совершил. В стремлении увидеть всех бойцов перед акцией скрывается античная черта. Маршал хочет воевать за побережье: «Противник должен погибнуть на воде». Этим вызвана и предпринятая им концентрация резервов.

Высадка занимает все умы; и немецкое руководство, и французы считают, что это произойдет в ближайшие дни. Какие выгоды высадка принесет англичанам? Они похожи на банкира, из непостоянства ситуации на Востоке извлекающего

основательную пользу. Какой же смысл прерывать эту выгодную партию? Тем не менее, даже если отвлечься от намерений американцев, выгод здесь множество: позиция русских может стать слишком сильной, но она может и слишком ослабиться. Они могут угрожать переговорами. Но им препятствует существование Кньеболо: пока он у дел, он играет роль скрепки для любой направленной против Германии коалиции, Он принадлежит к тому сорту людей, кто, по словам Гёте, «восстанавливает против себя универсум».

Называть отчаянным положение Германии пока еще рано, — но до чего же отвратительно созерцать весь этот спектакль!

Париж, 10 мая 1944

Ночью налеты и тяжелые обстрелы. Агенты предсказали начало высадки на четыре часа утра.

Закончил «Passe-Temps» Леото. Есть разные авторы, как есть разные рыбы, птицы, насекомые. Что восхищает в них, так это уверенное владение своей стихией. Таков и Леото. Родственны ему — у французов Шамфор, у немцев Лихтенберг. Записываю в качестве цитаты: «Être grave dans sa jeunesse, cela se paie, souvent, par une nouvelle jeunesse dans l'âge mûr».[275]

У него, вслед за Руссо, можно поучиться, как приправлять сухостью откровенные признания. Правда, при этом подвергаешься опасности впасть в цинизм. Данная же книга — настоящий кладезь цинизма.

Далее «Справочник для партизан», в третьем издании 1942 года, русская боевая инструкция. Здесь в главе «Разведка» фраза: «Вражеские трупы следует *маскировать*» — глубокомысленный синоним для «хоронить».

Париж, 12 мая 1944

Нудный разговор на авеню Ван Дейка. Но мне повезло, ибо перед окнами цвел большой красный каштан. При дневном свете я увидел это дерево словно впервые. По-видимому, при неблагоприятном освещении цветки слегка теряют в окраске и принимают матовый, коричневатый, телесный оттенок. Зато при ярком солнце они выделяются светящимся красным кораллом на фоне голубого неба. В тени они тоже очень пластичны — выступают из зеленой листвы, будто вылепленные из розового воска. Позднее, при увядании, их лепестки опадают таким плотным слоем, что вокруг ствола образуется темно-красное теневое кольцо. Это придает им дополнительную прелесть — в сброшенном цветочном платье.

Речь шла об использовании кавказских батальонов, надзирать

за которыми, поскольку они находились в распоряжении главнокомандующего, поручено майору Реезе и мне. Скучное и безрадостное занятие, но техническая сторона его обеспечивается, слава Богу, людьми генерала Нидермайера, специалистами по Востоку. Генерал решил использовать для этого огромные массы военнопленных. Но пока они пребывают на завоеванной территории, дело доходит до разных злоупотреблений, и все это валится на нашу голову. В метро парижане с удивлением рассматривают монголов в немецкой униформе. Абсорбируются желтые породы муравьев. Надзор требует особых умений; наряду с доверенными людьми, известными в качестве таковых боевым отрядам, у шефа есть еще другие, тайные агенты, а эти, в свою очередь, контролируются третьими. Такие формирования совершенно выпадают за рамки принятых норм; без деспотической власти они были бы невозможны. В связи с этим среди офицеров появляются типы нового образца. Сам Нидермайер в высшей степени странен. Во время мировой войны он стал зачинщиком беспорядков то ли в Персии, то ли в Афганистане; помню, как Штапель окрестил его немецким Лоуренсом.{195} На Кавказе я видел его фотографии, где он стоял среди целого сонма азиатов. В нем способности к географии соединились со склонностями этнографическими и стратегическими.

Париж, 13 мая 1944

После полудня с Хорстом и Подевильсом у генерала Шпейделя в Ла-Рош-Гюйоне. Мы все вместе поужинали, прошлись по парку и наверху, в самой старой части замка, под норманнскими зубцами, распили еще и бутылку вина.

При развивающемся ходе событий, знаки которых становятся все более отчетливыми, с немецкой стороны Шпейдель — самая решительная голова. Хорошо, что он не разделяет манеру других шефов генеральных штабов, — еще с ночи, набрав толстые портфели корреспонденции, удаляться с ними в свои покои. В его окружении царит, скорее, покой, безветрие, соразмерное движению оси большого колеса, вращающегося внутри бурного водоворота. Я наблюдаю за ним, пока он, сидя за письменным столом, рассматривает цветок, бросая попутно то или иное замечание о долине Сены, которая со своими лугами и цветущими деревьями виднеется внизу. Звонит телефон; он снимает трубку и снова кладет ее, быстро приняв решение:

— Танковая дивизия — не обоз, уразумейте это.

— Что? Фюрер в этом не судья.

В деревне цветут глицинии, белые звезды клематиса,[276]

сирень, золотой дождь, первые розы — пышнее, чем всегда. Мы гуляли вдоль садов, наслаждаясь их цветом и запахом. Шпейдель цитирует Платена:

Кто увидел красоту воочию — —

И затем произносит одно из слов, подобающих полководцу, который не может не быть авгуром: «К осени война в Европе закончится».

Париж, 15 мая 1944

Продолжаю Откровение; в нем запечатлелся один из величайших взглядов непосредственного ока на строение Вселенной. Наряду с этим происходят удивительные движения — именно они разрушают символическую косность Древнего Востока. Бабочка павлиноглазка, выскальзывающая из египетской или вавилонской куколки, возвращается назад, в возвышенное сияние своих истоков. Еще сегодня это привносит в чтение хаотический элемент, словно присутствуешь при высших превращениях. Становишься свидетелем одного из величайших ответвлений, рождаемых не решающей битвой, не подъемом или падением империй, а взглядом в сердцевину. Над царями и их деяниями стоит пророк.

Великого уничтожения, возвещенного там, должны избежать лишь те, у кого на челе печать Божья.

После полудня почитал свой дневник, части которого из-за ненадежной обстановки отдал переписать Ханне Мендель. Под 10 января 1942-го обнаружил запись о том, что видел во сне смерть своего отца. Примечательно, что он умер ровно через год, и именно в ночь на 10 января. Тогда, в час его смерти, я увидел его духовным оком, но въяве, — увидел в ночном небе его глаза, в лучистом взгляде которых была такая значительность, какой я никогда не встречал в своей жизни.

Вечером у Дидье. Там вновь встретился с Хендриком де Маном, показавшим мне в своем «Après Coup»[277] место, где он изобразил нашу прошлую встречу.

Париж, 17 мая 1944

У Флоранс. У нее аббат Жорже, ее духовник. О кельтах и Бретани, откуда он родом. Что в нас еще осталось от кельтов? Подобно вплетенным в за́мки фрагментам древних построек, в нации вплетены элементы исчезнувших рас. Во сне к нашей постели подходят забытые няньки.

Жорже был духовником дочери Леона Блуа. Рассказывая

подробности об этом авторе, он упомянул «Entrepreneur de Démolitions»,[278] которого Блуа вписал в свою визитную карточку. Это — нигилистическая черта, подобная «философствованию молотом» и т. д. Но для оценки нигилизма еще мала дистанция; чтобы оценить его, нужно учесть и тот круг, который нигилист себе находит, и всю сомнительную ценность этого крута, зримую только в самом нигилисте или при его посредстве. Так превращается он в оскорбителя нравственных чувств. Еще более оскорбительно зрелище умов, не чувствующих погоды, космического минимума, предвещающего тайфуны. Именно такие умники побивают камнями пророков.

В городе все больше не хватает электричества, света и газа. Мы живем в оккупации нового типа. Агрессия направлена не столько против заводов и складов, сколько против транспортных и энергетических артерий, что и соответствует войне между рабочими. Действие массированных обстрелов поддерживается диверсиями.

Ситуация напоминает обстановку 1939 года; в тот год так много и долго говорили о войне, что она действительно началась. Так же обстоит дело и с вторжением, которого, очевидно, по-настоящему не хочет ни та ни другая сторона. Но именно в этом и проявляется веление судьбы.

Невзирая ни на что, по улицам гуляют красивые женщины в новых шляпках, возвышающихся над их головами в виде тюрбанов. Мода Вавилонской башни.

Париж, 19 мая 1944

Чтение: «Слово о разрушении Гамбурга» Александра Фридриха — отчет, присланный мне в виде рукописи. Такое впечатление, что эти города похожи на болонские бутылки, чья структура благодаря внутреннему напряжению настолько атомизировалась, что достаточно их опрокинуть — и они тут же взорвутся. Удивительно, что многие из тех, кто полностью лишился имущества, охвачены, кажется, сознанием новой свободы. Это предвидел уже Фридрих Георг, и в сфере духа тоже:

> Все обретенные познанья —
> Подмокший порох.
> Приди, огонь, и уничтожь.

Весь этот ворох. Собственность подвергается сомнению не только извне, со стороны тех, кто лишен наследства; сами собственники, изнутри, сомневаются в ней, она становится для них тягостной и скучной. Владение предполагает прежде всего

владеющую силу, но кто сегодня может содержать замок, окружать себя слугами, обставлять множеством предметов? К тому же — сознание близкого конца света. Кто видел однажды, как вспыхивает большой город, словно на него упал метеорит, тот на свой дом и сундуки со скарбом будет смотреть иными глазами. Может быть, мы еще застанем те времена, когда собственность станут раздавать в подарок.

Каприччос, как их задумал Кубин в своем романе «Другая сторона» еще в 1909 году. Коровьи стада, прорвавшие решетки, с топотом продвигались по горящим улицам. Животные заполонили город, в то время как люди ночевали в лесах.

В одном из пылающих домов, среди застрявших там жителей, которым в их бегстве помешали фугасные бомбы, сидит маленькая кассирша. Вдруг туда врывается мужчина атлетического телосложения и, чтобы перенести женщину в надежное место, обхватывает ее за бедра и вытаскивает наружу. Он переступает через барьер, уносит ее в помещение, еще не охваченное пламенем, — и в ту же минуту за ними с треском рушится дом. При свете пламени мужчина обнаруживает, что вместо своей жены спас неизвестную.

Фридрих замечает на это: прекрасная мысль — возвратить Фаусту сознание в «красивой местности», как это делает Гёте.

Париж, 20 мая 1944

Жан Шаре, полярник: «За полярным кругом нет ни французов, ни немцев, ни англичан: там есть только мужчины».

Тяга к полюсам в XIX и XX веках напоминает поиск философского камня, — это магические места, конечные точки, заданные планетарным сознанием самому себе. В то же время они представляют собой половые клетки, оплодотворяемые глазами открывателей; как и многие величины старого мира, нации изменяются именно благодаря этому. Полярный круг — абсолют, где не может существовать никакая дифференцированная сила, там властвует только сила первобытная. Этому противостоит узкое воззрение Шубарта, будто для наций предусмотрены расколотые небеса, навечно расколотые отечества. Вот одно из мест, которое мне мешало; германскому духу оно тоже противоречит. Во времена наших отцов противники, еще недавно рубившие друг друга на куски, рука об руку, стройными рядами проходят врата вечности, златолиственную рощу Глазор и братаются там за праздничной трапезой.

Днем у мадам Дидье на бульваре Инвалидов. Поскольку негде было достать свежей глины, она лепила мою голову из массы, уже использованной для бюста Монтерлана. Черта,

порадовавшая бы Омара Хайяма.

В Тюильри цвел махровый мак-самосейка; проходя мимо, я подумал, до чего же удачно это название передает сущность самого цветка. Оно показывает яркость, броскость окраски и хрупкость лепестков, разлетающихся от единого дуновения. Это касается всех настоящих слов: они сплетены из срастающихся значений, из переменчивого материала. Уже поэтому я не разделяю страха перед образами, свойственного Мармонтелю{196} и Леото, как и взглядов на перспективу развития этимологии. Слово написанное или произнесенное похоже на удар колокола, далеко вокруг себя приводящий воздух в колебание.

Париж, 23 мая 1944

После полудня объявили смертный приговор генералу Зейдлицу, зачитанный в его отсутствие. По-видимому, его деятельность наполняет Кньеболо беспокойством. Может быть, и у русских есть генерал, аналогичный нашему Нидермайеру. Одновременно было зачитано верноподданническое послание войсковых фельдмаршалов, обращенное к Кньеболо и выдержанное в обычных выражениях. Кажется, это Гамбетта спросил: «Вы когда-нибудь видели храброго генерала?» Любой маленький журналист, любая маленькая пролетарка выказывает больше храбрости. Отбор происходит только по умению держать язык за зубами и выполнять приказы; немалую роль играет и достаточная степень дряхлости. Такое терпимо, пожалуй, еще только в монархиях.

Вечером у мадам Дидье, скульптура продвигается. У меня снова было ощущение прометеева, демиургова генезиса, в коем крылось что-то зловещее, особенно в разминающих, разглаживающих движениях, когда материя формируется как бы заклинаниями. Художник ближе всех подходит к великим космическим силам созидания, и они суть *его* символы, в мирах могил и развалин все еще творящие для той жизни, которая когда-то полнилась соком.

Париж, 25 мая 1944

Визит Веплера, бывшего здесь проездом. Снова говорили о смерти Огненного цветка. Друзья — старый и молодой — той, которая увяла, ушла в небытие. Ее смерть и сблизила нас.

Париж, 26 мая 1944

Ранним утром отъезд в Сиссон. Я не был там с 1917 года. В Лаоне привокзальные кварталы разрушены недавней бомбардировкой, но собор и верхний город почти не повреждены.

Города и дороги судьбы, по которым мы все время ступаем, — в какую фигуру вписано наше блуждание по сей земле? Может быть, в петли и цветы причудливой формы?

Мы отправились на плац, поскольку в одном кавказском батальоне произошли неполадки. Для поездки воспользовались газогенераторной машиной, с печкой сзади. Время от времени мы останавливались, чтобы добавить дров, и из-за низко летающих бомбардировщиков проделывали это в надежном укрытии. Сгоревшие автомобили, валявшиеся по краям дороги, обостряли нашу бдительность. Да и пулеметы, которые мы теперь всегда во время подобных поездок держали между колен, свидетельствовали о том, что стало неспокойно.

Я должен пересмотреть свои максимы; мое моральное отношение к людям становится все напряженней. В частности, к батальонному командиру, заявившему, что первого же пойманного дезертира выведет перед строем и «расправится» с ним собственноручно. При таких встречах меня охватывает чувство, похожее на тошноту. А надо бы достигнуть такого положения, откуда подобные вещи можно рассматривать так, как рыб в коралловом рифе или насекомых на лугу, или как врач осматривает больного. Прежде всего следует уяснить, что подобное имеет силу только в низшем чине. В моем отвращении к этому проявляется еще слабость, причастность к красоте мирской. Нужно разглядеть логику насилия, стараясь уберечь себя от украшательства в стиле Милле или Ренана, но в той же мере — и от гнусной роли бюргера, из надежного укрытия поучающего своих партнеров по чудовищной сделке. Кто не втянут в конфликт, должен благодарить Бога, но именно поэтому он еще не имеет права взять на себя роль законного судьи.

Это занимало мои мысли, пока я стоял рядом с Реезе, обращавшимся с воззванием к чужим солдатам. Они окружили нас четырехугольником, в немецких униформах, на рукавах которых светились знаки отличия рода войск. Какая-то мечеть с двумя минаретами и надписью «Биц Алла Билен. Туркестан». Реезе говорил медленно, короткими фразами, и их тут же переводил толмач.

Наша позиция посреди этого четырехугольника показалась мне странной, как на шахматной доске с разумно расставленными ходами, не без участия этнографических тонкостей.

Мы разделили трапезу с немецкими офицерами, производившими впечатление то ли техников, то ли полководцев наемных войск, — восемнадцатый и двадцатый век сливаются в псевдоморфозы, с трудом поддающиеся классификации. Где

ветшает теория, там является чистая сила. Военного суда не существует; жизнью и смертью распоряжаются командиры. С другой стороны, они все время должны учитывать, что в одну прекрасную ночь вместе со своими офицерами будут убиты, если их команда дезертирует.

В Бонкуре мы выпили по рюмке водки с русскими ротными командирами, а туркестанцы и армяне расселись широким кругом. Они часами, под монотонное пение, просиживали на корточках; время от времени в круг впрыгивали одиночные танцоры или пары, до изнеможения отдаваясь танцу.

Между делом мне удалось на полчасика выбраться на мелкую охоту. Впервые в естественных условиях я встретил сине-зеленую *Drypta dentata,* существо изысканной элегантности. Имя ему дал в 1790 году итальянец Росси, врач из Пизы.

Париж, 27 мая 1944

Воздушные тревоги, налеты. С крыши «Рафаэля» я дважды видел, как в направлении Сен-Жермен поднимались мощные облака взрывов, а эскадрильи на большой высоте удалялись. Их мишенью были мосты через реку. Способ и последовательность направленных против их продвижения мероприятий указывают на чью-то умную голову. Во время второго налета, при заходе солнца, я держал в руке бокал бургундского, в котором плавала клубника. Город со своими красными башнями и куполами был окутан чудным великолепием, подобно чашечке, для смертельного оплодотворения облепленной насекомыми. Все было спектаклем, явлением силы как таковой — утвержденной и возвышенной страданием.

Париж, 28 мая 1944

Троица. После завтрака закончил Откровение, завершив тем самым первое цельное прочтение Библии, начатое 3 сентября 1941 года. До этого я читал только отдельные части, среди них и Новый Завет. Эти усилия я ставлю себе в заслугу, особенно потому, что они зиждятся на самостоятельном выборе и должны были сломить некоторое сопротивление. Мое воспитание шло в противоположном русле; с ранней юности мое мышление определялось педантичным реализмом и позитивизмом моего отца. Этому способствовал и каждый учитель, имевший на меня влияние. Учителя Закона Божия были большей частью скучны; слушая некоторых, я испытывал чувство, что их смущает сам материал. Холле, наиболее умный из них, высказал догадку, что явление Христа на водах следует объяснить оптическим обманом, — та местность славится своими туманами. Наиболее

интеллигентные приятели, книги, которые я ценил, были настроены на тот же лад. Была некая необходимость в прохождении такого курса, и следы его навсегда останутся во мне. Прежде всего потребность в логическом доказательстве — я имею в виду не доказательность, а свидетельство и близость разума, должного присутствовать во всем. Цели могут быть только впереди. Это отличает меня от романтиков и освещает мои поездки по верхним и нижним мирам: в моем космическом корабле, в котором я ныряю, плыву, лечу, которым я рассекаю огненные миры и призрачные пространства, меня всегда сопровождает прибор, своей формой обязанный науке.

Париж, 29 мая 1944

Экскурсия в Trois Vallees. Был жаркий, сияющий день. До чего же хорошо было в тихой чаще, под листвой кустов, через которые светилось безоблачное небо: реально осязаемое. «Остановись — —».

Глицинии и то, как их древесные извивы поглощают прутья садовых решеток. Глаз моментально схватывает отлитую за десятилетия субстанцию.

Огненная оса *Chrysis* на серой стене, с металлической шелково-зеленой грудкой и ярко-малиновым задком. Кажется, что такое существо собирает солнечные лучи, как фокус зажигательного стекла. Оно живет, укутавшись в нежные, колышущиеся жаркие волны.

Древесные лягушки и перезвон кос, побуждающий их к хоровому пению.

«Он хотел оседлать скрипку», — изречение, обозначающее высокомерие.

Вечером у президента. В эти Тро́ичные дни здесь, во Франции, под бомбами погибло пять тысяч человек. Одна из бомб попала в переполненный поезд, пассажиры которого ехали в Мезон-Лаффит на скачки.

Президент рассказал мне об одном ефрейторе, одержимом страстью к экзекуциям. Обычно он целится в сердце, но если подрасстрельный ему не по нраву — в голову, разнося ее на куски. Это признак недочеловека: желание украсть у ближнего лицо, стремление к дефигурации, к искажению.

В кого же он так целится? Вероятно, в тех, кто больше всего воплощает в себе человеческий образ, кто ладно сделан, добросердечен, благороден.

«Солдаты, цельтесь в сердце, щадите лицо», — воскликнул Мюрат, подойдя к стенке.

Между прочим, позавчера утром здесь был расстрелян

двадцатишестилетний капитан, сын штеттинского судовладельца; он якобы сказал, что главную ставку следует разбомбить. На него донес француз из окружения Лаваля.{197}

Париж, 30 мая 1944

Днем у мадам Дидье. Разговор с ее племянником, ребенком пяти лет, который мне очень нравится. Малыша недавно впервые взяли на службу в церковь и он видел, как там раздавали Святые дары. Когда его спросили, что делал священник, он ответил: «Он раздавал витамины» («Il a distribué des vitamines à tout le monde»).

Во-ле-Серне, 31 мая 1944

С главнокомандующим в Во. Несмотря на жару, вечером, чтобы очистить воздух, мы разожгли огонь. Кроме генерала вокруг камина собрались еще профессора Крюгер, Венигер и Баумгарт.

Генералы в большинстве своем энергичны и глупы, т. е. обладают тем деятельным и диспонирующим свойством ума, который присущ каждому добросовестному телефонисту и которому толпа платит тупым восхищением. Если же они образованны, то компенсируют это жестокостью, неотъемлемой частью их ремесла. Так, им всегда чего-то недостает — либо воли, либо кругозора. Соединение деятельного усилия и образования, как это было у Цезаря и Суллы или в наши времена у Шарнхорста{198} и принца Евгения, встречается весьма редко. По этой причине генералы являются чаще всего пособниками тех, чьими услугами они пользуются.

Что касается Генриха Штюльпнагеля — который, в отличие от других генералов этого старого солдатского рода, обозначается как «белокурый Штюльпнагель», — то он наделен княжескими чертами, как и подобает должности проконсула. К этому следует добавить его умение ценить покой и досужее времяпрепровождение, а также его влияние на небольшой духовный круг людей. Такой образ жизни отличается от суетности, царящей обычно в высших штабах. Его благородный характер склонен оценивать человека духовно. Его жизнь напоминает жизнь ученого, в часы долгих болезней прочитавшего огромное количество книг. Он ищет общения с математиками и философами, в истории же его привлекает древняя Византия. При этом он как полководец прекрасно справлялся со своим делом, как государственный муж — умел вести переговоры, а как политик — никогда не терял контроль над ситуацией. Все это делает понятным, почему с самого начала он был противником Кньеболо. Но он устал, и я это вижу по одному жесту, который он

часто повторяет: он имеет обыкновение левой рукой поглаживать себя по спине, словно поддерживая или выпрямляя осанку. При этом его лицо принимает озабоченное выражение.

Разговор о Стое и ее принципах: «В определенных условиях уход из жизни становится для подвижника его обязанностью». Генерал, кажется, ведет доверительную переписку со своей женой на эту и другие этические темы.

Начал Новый Завет, переведенный Германом Менге, — мне его подарил священник Дамрат.

Далее полистал «Essais pour une Esthétique Générale»[279] Жоржа Миго, где мне бросились в глаза некоторые замечания о симметрии. Это тема, над которой я уже в течение ряда месяцев все чаще размышляю. Египтянам автор приписывает склонность к асимметрии и среди других доказательств называет их пристрастие изображать головы в профиль. То, чем в изобразительных искусствах является зеркальное отражение, в музыке является повтор. Потребность в симметрии — подсобная черта, применяемая скорей к форме, чем к содержанию, как при парных предметах в живописи, где все может быть одинаковым: величина картины, рамка, а в некоторых случаях также и мотив, но не собственно исполнение. Остальные замечания второстепенны и не отличаются особой точностью. Симметрия — тема обширная. Мне хотелось бы, если позволит время, дерзнуть на ее изучение двумя путями: во-первых, изучить ее отношение к свободе воли и, во-вторых, к эротике. К этому меня побудили созерцание насекомых и описание двуполой бабочки.

Париж, 31 мая 1944

Перед отъездом я еще успел выкупаться в озере, а затем отправился на мелкую охоту. Этой весной я был как одержимый.

Завтрак у мадам Дидье. Она в последний раз прошлась по голове и закутала ее во влажные ткани, чтобы поставить в подвал, ибо уезжает к Хендрику де Ману в горы.

О стиле политехников: «решение» становится «итогом» — т. е., во-первых, задешево переходит в мужской род и, во-вторых, из глубины рефлексии переносится на поверхность сообразного с волей присутствия.

Париж, 1 июня 1944

Днем у Флоранс. После застолья короткий разговор с Жюлем Зауервайном, приехавшим из Лиссабона, о возможности мирного урегулирования.

Вечером беседа с президентом и капитаном Укелем о Сталинграде. Там, кажется, до последних минут снимали фильм,

а именно о подразделениях пропагандистской роты. Пленки попали к русским, они будут демонстрироваться в шведских хрониках. Часть мрачных событий разыгрывается на тракторном заводе, где генерал Штрекер взорвал себя вместе со своим штабом. Заметны приготовления, видно, как подразделения, не принадлежащие штабу, покидают здание, и затем — мощный взрыв. В этом стремлении фиксировать все до мельчайших подробностей есть что-то автоматическое; в нем проявляется некое подобие технического рефлекса, похожее на судороги лягушачьих лапок в гальваническом эксперименте. Есть черты и научного анализа. Это не памятники, какие обычно оставляют потомству или ставят богам, — пусть даже в форме креста, поспешно сплетенного из ивовых прутьев, — а документы смертных для смертных и ни для кого более. Ужасает реальность Вечного возвращения в его самой жуткой форме: эта смерть опять течет в ледяном пространстве, монотонно повторяясь, — демонически заклятая, без сублимации, без блеска, без утешения. Где же там место славе?

Капитан считал, что пленки нужно не показывать, а сжечь. Зачем? Ведь это — послание людей труда своим рабочим-собратьям.

Потом о фотографии вообще. В связи с этим президент пересказал сцену, которую наблюдал в «Dreesens Hotel» у Годесберга. В холле приветствовали спускающегося по лестнице Кньеболо; во время приветствий маленькая девочка передала ему букет цветов. Он наклонился, чтобы взять его и похлопать ребенка по щеке, и одновременно повернул голову немного в сторону, сухо бросив: «Фотограф!»

Париж, 6 июня 1944

Вчера вечером у Шпейделя в Ла-Рош-Гюйоне. Поездка из-за разрушенных мостов через Сену была тяжелой. Около полуночи мы отправились обратно и, таким образом, на целый час опоздали к началу сообщения о высадке в штаб-квартире. Утром об этом стало известно в Париже и многих застало врасплох, в частности Роммеля, коего вчера в Ла-Рош-Гюйоне не было, поскольку он уехал в Германию на день рождения жены. Это — эстетическая ошибка в увертюре такой великой битвы. Первые силы высадившихся стали известны после полуночи. В операциях участвовало множество кораблей и одиннадцать тысяч самолетов.

Можно несомненно говорить о великом наступлении, которое сделает этот день историческим. И все же я был потрясен, именно потому, что о нем так много пророчествовали. Почему теперь и здесь? Вот вопросы, неразрешимые и в далеком будущем.

Чтение: «История святого Людовика», сочинение Жуанвиля. Хуссер, которого я недавно навестил в его новой квартире на улице Сен-Пласид, дал мне почитать выдержки из этого произведения. В отдельных описаниях, как, например, в описании высадки крестоносцев при Дамьетте, человечество является во всем своем великолепии, на вершине славы. Материалистическая историография схватывает в вещах только то, что может увидеть. Ей неведомо разнообразие, только и дающее ткани цвет и образчик. А в нашу задачу входит обретение многообразия мотивов. Эта задача требует большей объективности, чем позитивистская.

Париж, 7 июня 1944

Вечером прогуливался с президентом. На бульваре Адмирала Брюи тяжелые танки ждали отправки на фронт. Молодые ребята сидели на стальных колоссах в том настроении предвечерней меланхолически окрашенной веселости, что мне так знакома. Она излучала близость смерти, готовность погибнуть смертью храбрых в огненном котле.

Смотрел, как отъезжали машины, как они теряли свою тяжеловесность и становились и проще и осмысленней, напоминая щит и копье, на которые опирается гоплит. И как ребята сидели на танках друг подле друга — ели и пили, словно на брачной трапезе или на пиршестве духа.

Париж, 8 июня 1944

Посреди застолья Флоранс удалилась на телефонный разговор и, вернувшись, сказала:

— La Bourse reprend. On ne joue pas la paix.[280] У денег, по-видимому, тончайшие щупальца, и банкиры судят о ситуации тщательней, точнее, осторожней, чем генералы.

После полудня меня навестил д-р Краус, баллистик. Разговор о брате Физикусе и его работе по исследованию цепей и простых чисел, потом о Келларисе, который все еще в тюрьме, но для которого скоро пробьет час свободы, как и для тысяч его товарищей по несчастью.

Потом о так называемом новом оружии и его испытании. Краус рассказал, что недавно на датский остров Борнхольм по непредусмотренной траектории приземлился снаряд, к тому же неразорвавшийся. Англичане уже вечером его сфотографировали. Изучив его электромагнитное поле, они незамедлительно соорудили на юге своей страны электростанцию с мощной противодействующей силой.

Из разговоров об этом оружии можно, собственно, извлечь ту

науку, что уничтожение представляет собой силу, полярную эросу. Обоим свойственна некая общность — как положительному и отрицательному заряду. И шепоток вокруг этого такой же, какой окружает эротическую пикантность: говорить о таких вещах не принято, но в то же время Кньеболо надеется, что тщательно питаемые им слухи свое действие окажут. Во всем этом проявляется крайний нигилизм, напоминающий запахи из хижины живодера.

Париж, 11 июня 1944

Повторил прогулку из Сен-Клу в Версаль маршрутом императрицы. Снова принимал солнечные ванны на небольшой поляне между кустами каштанов. Во время прогулок каждый раз думаю: эта может оказаться последней.

Визит к Хуссеру, в чьей квартире на улице Сен-Пласид хочу спрятать документы, может быть, на несколько дней спрятаться и самому. Это — левый из моих опорных пунктов в Латинском квартале. В центре располагается докторесса, а антиквар Морен занимает позицию справа. Благоприобретенные друзья — дороже золота.

Сокращаю багаж до минимума, Кньеболо и его банда предрекают скорую победу, подобно тому как это делал глава перекрещенцев. Вот те фигуры, за которыми устремляется чернь. До чего же всемогущим стал охлос!

Париж, 17 июня 1944

Вчера и позавчера снова страдал от удушья. Странное сжатие диафрагмы, избавился от него только сегодня ночью. Был ли это симптом опасности, посетивший лично меня или и других тоже? Но я почувствовал, что преодолел его.

Военное командование сообщает, что «орудие возмездия» открыло огонь. Одновременно пропаганда пытается распространить во французских учреждениях слухи, будто целые районы Лондона превращены в развалины. Среди черни растет что-то похожее на праздничное ликование. Летучие бомбы, от детонации излучающие яркий свет, — один из последних блуждающих огоньков в болоте уничтожения. Если бы они обладали силой оружия, а не только пропагандистской ценностью, их применили бы уже при высадке авангарда. Но единственная реальность здесь — желание превратить живой мир в пустыню и осуществить в нем господство смерти. Кто нынче сомневается в «возмездии» и «уничтожении», тот святотатствует.

Утром в мою комнату вошел лейтенант фон Тротт Сольцский, командир роты индийского полка; после той роковой ночи в

Юберлингене я видел его впервые. И на этот раз мы встретились с ним перед великими событиями. Разговор о ситуации, в частности о генерале Зейдлице, а также о том, каким образом пруссаки попались на удочку партии.

Париж, 22 июня 1944

Днем у Флоранс. У нее Геллер, прибывший из Берлина на поезде, обстрелянном бортовыми орудиями. Он рассказал, что Мерлин сразу же после высадки срочно запросил у посольства документы и уже бежал в Германию. Удивительно, до какой же степени люди, хладнокровно требующие миллионных жертв, дорожат своей собственной жалкой жизнью. Здесь должна быть какая-то связь.

Вечером город бомбили, и осколки сыпались во двор «Мажестик». Во время бомбардировки были уничтожены огромные запасы бензина и нефти, огненное облако которых, подобно пинии Плиния Младшего, поднимаясь от узкого ствола, затемняло небосвод. Мощный бомбардировщик рухнул вблизи Восточного вокзала.

Для словосочетания «звено цепи» во французском языке есть отдельное слово: *chaînon.* Наше южнонемецкое и устаревшее *Schäkel* одного с ним корня. Изготовитель цепей — *le chaînetier,* как у нас *Kettler,* сохранившийся в именах собственных.

Дом на углу рю Регар, напротив тюрьмы, расположенной на Шерш-Миди. Всякий раз, когда прохожу мимо нее, я вспоминаю фантастический город Перл, придуманный Кубином.

Париж, 24 июня 1944

Вечером у Шпейделя в Ла-Рош-Гюйоне. Из-за разрушенных мостов через Сену нам удалось попасть туда только окольными путями. Один раз мы вынуждены были выйти из машины, так как над нами кружили самолеты.

После ужина прогулка по парку. Шпейдель рассказывал нам подробности о своем посещении Кньеболо, которому он недавно делал доклад в Суассоне. Кньеболо состарился, сгорбился, во время беседы все более нервничает и вскакивает с места. На завтрак он проглотил огромную порцию риса, пил из трех ликерных рюмок лекарства разного цвета, тут же глотая и таблетки. Между пальцами у него был зажат целый букет цветных карандашей, ими он время от времени проводил линии на карте. Он высказал неудовольствие, что англичанам и американцам вообще удалось высадиться, но в подробности, как, например, воздушное преимущество противника, вникать не стал. О дальнейших событиях у него весьма смутные представления, и он,

по-видимому, надеется, что и теперь повторится благоприятный поворот судьбы, не раз вызволявший его из отчаянного положения. В связи с этим он уже дважды ссылался на Семилетнюю войну. Он надеется также, что его противники впадут в разногласия и что им предстоят революционные перевороты. Осенью он обещает новое вооружение, в частности противотанковые орудия, и входит в rage du nombre,[281] говоря о «выбросе» индустрий. Жаловался он также и на эти исчадия ада — фланирующие бомбы, одна из которых, проделав совершенно хитроумную траекторию, приземлилась вблизи от ставки, чем и вызвала ее скоропалительный переезд.

О подробностях высадки я поговорил также с адмиралом Руге. Кажется, и в самом деле из-за «слишком высокой волны» не вышло ни одно немецкое сторожевое судно. Англичане высадились при отливе, когда все подводные помехи зримо лежали на песке. Сооружения, препятствующие отливу, были запланированы, но их постройка пока не осуществилась.

Полковник Темпельхоф рассказал о смерти генерала Маркса. Брат Маркса, лейтенант-полковник, осведомился о часе смерти, поскольку в тот же день в одиннадцать часов со стены упал портрет генерала. И действительно, без четверти одиннадцать тот был ранен и с первым ударом часов скончался.

На обратном пути наш шофер не справился с управлением, съехал с шоссе и на большой скорости угодил в куст ежевики, ветки которой приняли нас мягко, как стружки.

Чтение: Хендрик де Ман, «Après Coup». В этих мемуарах в самом начале изложено прекрасное правило, что «наводить всегда нужно чуть выше цели». Там я нашел также описание нашей встречи у Дидье.

Париж, 27 июня 1944

Уличные бои в Шербуре. Как пишет Перпетуя, утром 15 июня совсем рядом с домом упали бомбы, одна из которых угодила в наш маленький пруд у Лоне и, взорвавшись, взметнула сотни карпов и уклеек.

Париж, 1 июля 1944

Еще раз просматриваю воззвание согласно своему правилу, что работу можно переписывать до бесконечности.

Во сне новое видение, благоприятное, вселяющее надежду: дьякон. При таких встречах сразу возникает впечатление, что они идут от первоистока и будут возвращаться как постоянные фигуры.

И еще, несколько дней тому назад в больших шахтах,

змееобразными извивами уходящих глубоко под землю, за барьером из колючей проволоки — старший лесничий. В легкой охотничьей куртке, как явление исключительно собранной силы. Он стоял на лестничной площадке, «собираясь войти», и хотя я был вооружен, но тотчас же понял, что применение таких игрушек здесь бессмысленно. Своим излучением он парализовал мне руку.

О стиле. Временны́е формы могут быть четко обозначены, но они могут быть также и оттенены, например, временными вспомогательными словами: вместо «Я стану это делать» лучше сказать «Я это сделаю потом» или «Я это сделаю завтра».

Тем самым мы слегка отказываемся от логики, но и от педантичности тоже. Менге, чей перевод Библии я продолжаю читать, вместо «Стучите, и отворят вам» переводит: «Стучите, и будет вам открыто», — это школярство.

Чтение в эти дни: генерал Ж. Перре, «Minerve sous les Armes».[282] Эссе об интеллигентности и ведении войны, которое я, как цензор, читал в рукописи. Там есть высказывание маршала Жоффра об искусстве высшего командования: «Ne rien faire; tout faire faire; ne rien laisser faire».[283]

Справедливо, в полководце должно быть что-то от Бога, некая цезаристская божественность. Исходящая из него эманация важнее, чем его руководство.

Затем полистал «Guide Officiel des Voyages Aériens»[284] 1930 года, снабженный на каждой странице цитатой о воздухоплавании. Он кишит общими местами:

«L'aviation constituera un des facteurs les plus importants de la civilisation»[285] (Луи Бреге).

«Il n'y a plus de Pyrénées — — surtout en avion»[286] (Альберт I Бельгийский).

«L'air deviendra le véritable élément d'union entre les hommes de tous les pays»[287] (генерал де Гуа).

«L'aviateur conquérant du ciel est l'incarnaton véritable du surhomme»[288] (Адольф Бриссон).

И так целые страницы. Старик Леонардо видел вещи гораздо четче.

Париж, 3 июля 1944

До полудня меня в «Мажестик» навестил полковник Шаер. Он командовал полком на Востоке и был там приговорен к одиннадцати месяцам тюрьмы, ибо в самый разгар битвы не скрывал своих воззрений и не прятался в кусты. Вообще аресты и расстрелы офицеров учащаются.

Шаер показал мне также фотографию живодерни близ

Никополя; устрашающая картина, снять которую удалось одному из его людей во время отступления — тайно, поскольку эти жуткие места засекречены. Подобное зрелище побудило меня откорректировать свою рукопись.

Париж, 6 июля 1944

У Флоранс. У нее Леото, рекомендовавший мне почитать Жюля Валлеса.{199} Он деликатно предложил мне свою помощь — в том случае, если немцам в городе придется туго.

Есть два пути подняться над национальной ограниченностью: путь разума и путь религии. Леото пришел к своей цели первым путем. И на его примере можно видеть, как национальное, по мере того как оно исчезает из сознания человека, оживает в его существе, в самой его сути.

Париж, 13 июля 1944

Русские приближаются к Восточной Пруссии, американцы — к Флоренции, в то время как битва на удерживаемой территории продолжает бушевать с большими потерями. Командование, не способное на новые идеи, пытается вселить в население надежду на новое неизвестное оружие. Удивительна полная беспомощность, с какой толпа судит о своем положении, позволяя себя обманывать и впадая в состояние, близкое к эйфории.

Париж, 14 июля 1944

Вместе с Баумгартом и фройляйн Лампе навестил господина Груля на авеню Фош. Его дом, если пройтись по двору, напоминает волшебный замок Аладдина или пещеру с сокровищами Али-Бабы, Сады с фонтанами и бассейнами, где кружатся лебеди и декоративные утки, лиственные аллеи со статуями и зеркальными фасадами, галереи в стиле тех, коими славились Помпеи, террасы с попугаями и воркующими голубями скрыты от посторонних взглядов высокими решетками, за которыми плющ сплетается с диким виноградом.

Коллекции, приобретенные папашей Грулем по совету Гонкуров, еще богаче тех баснословных перечней, коими может похвастаться Бальзак. В них собрано свыше ста картин и рисунков Фрагонара,{200} а Тёрнера намного больше, чем на всех Британских островах. В огромных галереях один шедевр соседствует с другим. При этом свыше тысячи лучших экземпляров распределено по дальним замкам. Собрания эти малоизвестны, ни один каталог не был издан. Только друзья или те, кого они привели с собой, имеют право ступить в эти помещения.

Мы поговорили с владельцем неслыханных сокровищ сначала об их сохранности, потом о ценности. Он считает целесообразным оставить все вещи в Париже — транспортировка может им повредить, они могут попасть и под обстрел, кроме того, судьба остальных местностей Франции едва ли определенней судьбы этого города, находящегося, подобно Риму, под защитой своего же собственного нимба. При налетах падающие осколки пробивают иногда стеклянные крыши. Если это случается в дождливую погоду, вода проникает в помещения и причиняет немалый вред. Мы видели пастель Ватто{201} с попорченными красками и небольшими зелеными пятнами, словно она зацвела. Удивительно, как разрушение поработало над этой картиной, — не просто механически, а физиогномически, как болезнь на живом теле. По этим же законам менялся портрет Дориана Грея.

Удручает и нехватка угля. Хозяйство нуждается в персонале, насчитывающем никак не меньше двадцати человек.

Что касается ценности, то, по мнению господина Груля, ее не существует вовсе; поскольку он никогда ни одной из своих картин не продаст, этот вопрос не имеет для него значения. До чего же тягостно владеть собственностью, особенно в этом полыхающем мире. Взвалить нынче подобное себе на плечи — для этого требуется отвага пловца, нагруженного золотом, как солдаты Кортеса в «ночь печали».{202}

Чтение: Леон Блуа, «Méditations d'un Solitaire».[289] Книга написана в 1916 году при аналогичных сегодняшним обстоятельствах, она отражает все добродетели и пороки своего автора — в том числе силу, в ненависти устрашающую, коей он может потягаться даже с Кньеболо. Но, несмотря на это, я отдыхаю за этим чтением, одновременно получая и необходимую поддержку. Внутри нее скрывается поистине чудодейственное средство против времени и его пороков. Поднимаясь из смрадных низин на такую высоту, этот христианин разворачивает перед нами редкостное зрелище. Зубцы его башни достигают тончайших слоев атмосферы. С подобным взлетом сопряжена и тоска по смерти, которой он дает мощный выход, — тоска по изготовлению философского камня из низших шлаков и темной гущи, тоска по великой дистилляции.

Париж, 16 июля 1944

После полудня в Ла-Рош-Гюйоне у Шпейделя. Сегодня он принимал нас в своем кабинете в самой старой части замка, прямо под норманнскими зубцами. Он без конца звонил по телефону, поскольку Кньеболо, боящийся новой высадки, желает распорядиться двумя танковыми корпусами по своему

усмотрению, а совсем не так, как того требует ситуация. Различные разговоры, в частности о том, сколько времени понадобится немцам, чтобы спихнуть с себя эту ярмарочную фигуру. Дирижирует ими в данном случае судьба. Все это напомнило мне изречение моего отца: «Должно прийти великому несчастью, чтобы настали какие-нибудь перемены». Настроение у генерала вопреки всему, кажется, хорошее, ибо он заявил, что «мирное воззвание скоро выйдет».

Потом с Подевильсом и Хорстом я отправился в Живерни. Там мы разыскали невестку Моне, которая дала нам ключ от его сада. Подошли к пруду с кувшинками, плакучими ивами, черными тополями, бамбуковыми изгородями и полуразрушенными китайскими деревянными мостиками, — над этим местом разлито какое-то очарование. В любом влажном ландшафте, где растут ивы, можно найти такие мелкие водоемы, обрамленные тростником и касатиками и заполненные водяной зеленью, но ни один из них не показался мне более колоритным, значительным, красочным, чем этот. Фрагмент природы, как и тысячи других, и все же возвышенный духовной и творческой силой. Наука XIX века тоже обитает на этом острове, из которого художник, как из реторты, подогреваемой солнечным огнем и охлаждаемой водой, вытягивал свои небывалые краски. Небольшое болото, подобно глазу, вбирает в себя целые миры света.

В просторной мастерской, перед циклом кувшинок, над которым Моне начал работать на семьдесят пятом году жизни. Здесь можно наблюдать творческий ритм кристаллизации и распада, приближающийся к синему Ничто, к лазоревой пене Рембо. На одной из больших панелей, у самого края чистого колышащегося света, похожего на пучок материализованных лучей, как живой воссоздан кустик синих водяных лилий. На другой картине изображено только небо с облаками, от чьих отражений кружится голова. Глаз прозревает творческое дерзание и вместе с ним — оптическую мощь возвышенного распада и его мучений среди потоков струящегося света. Последняя картина располосована ножом.

Париж, 21 июля 1944

Вчера стало известно о заговоре. Подробности я узнал от президента, когда вернулся вечером из Сен-Клу. В высшей степени опасная ситуация приобретает теперь особую остроту. Свершивший покушение — граф Штауфенберг.{203} Я слышал его имя еще от Хофаккера. Это укрепило меня во мнении, что в такие поворотные моменты в действие вступает старая аристократия.

По всем данным, эта акция вызовет чудовищную расправу. И все трудней будет сохранить маску, — так, сегодня утром я затеял перепалку с одним товарищем, который обозначил происшедшее как «неслыханное свинство». Сам я при этом убежден, что покушения мало что меняют и уж, во всяком случае, ничего не улучшают. Я наметил это уже в образе Санмиры в «Мраморных скалах».

После полудня в самых узких кругах распространилось сообщение, что главнокомандующий уволен со своего поста и отозван в Берлин. Как только пришло известие с Бендлерштрассе, он приказал арестовать все части СС и Службы безопасности, чтобы тут же освободить их: после того как он доложил об этом Клюге{204} в Ла-Рош-Гюйоне, уже не оставалось никакого сомнения в том, что покушение провалилось. «Поймал удава и выпустил снова», — как сказал президент, когда мы, в высшей степени возбужденные, вели переговоры при закрытых дверях. Поражает сухость, деловитость этого ареста — его основанием послужил простой телефонный звонок коменданту Большого Парижа. Здесь, безусловно, сыграла роль и озабоченность не посшибать голов больше, чем требовалось. Но это плохие доводы по отношению к таким силам. А тут еще совершенно беспомощный и больной желудком полковник фон Линстов в качестве главы штаба, незадолго до этого посвященный в должность, поскольку был необходим технически; теперь, перед роспуском, он как привидение шныряет по «Рафаэлю». Если бы шефом был, по крайней мере, мой старый знакомый фаненюнкер Косман! Он сделал хотя бы то, чего ожидают от офицера Генерального штаба, а именно подтвердил бы достоверность известия. К тому же — крах Роммеля 17 июля, ибо вместе с ним сломался единственный столб, поддерживавший смысл подобного мероприятия.

По контрасту — ужасающая активность народной партии, которая, несмотря на акцию, едва ли потеряла почву под ногами. Это весьма поучительно: тело не лечат во время кризиса, а если и лечат, то всё сразу, а не один какой-нибудь его орган. Даже если бы операция удалась, у нас вместо одного нарыва появилась бы их целая дюжина, с кровавыми судами в каждой деревне, на каждой улице, в каждом доме. Нам уготовано испытание — обоснованное и необходимое, и эти маховики остановить уже невозможно.

Париж, 22 июля 1944

Звонок генерала Лёнинга из Ганновера, сообщившего, что в Кирххорсте все в порядке. Я поражался его шуткам, поскольку все

разговоры, без сомнения, прослушивались. Вскоре после этого я услышал от Нойхауса страшное известие, что вчера на пути в Берлин Генрих фон Штюльпнагель пытался застрелиться, однако остался жив, но потерял зрение. Это случилось в тот самый час, на который он пригласил меня в гости для философского разговора. То, что посреди всеобщего смятения он еще сумел оповестить всех об отмене обеда, меня потрясло; в этом — вся его сущность.

Вот каковы нынешние жертвы и как раз — в узком кругу последних рыцарей, свободных умов, тех, кто умеет мыслить и чувствовать по ту сторону глухих страстей. И все же эти жертвы нужны, ибо они созидают внутреннее пространство и предотвращают падение нации как целого, как монолита, — падение в страшные недра судьбы.

Париж, 23 июля 1944

Первый вопрос генерала, когда он, ослепший, очнулся, относился к обустройству лазарета; он спросил, доволен ли им главный врач. Его уже плотным кольцом окружили санитары, они же его и сторожат; он — пленник.

Я размышлял о нашем разговоре о Стое у камина в Во и о том, что врата смерти всегда открыты для человека и что на их фоне возможно решительное действие. Здесь бывают страшные уроки.

Париж, 24 июля 1944

После полудня у генерала фон Нидермайера, смутно напоминающего мне старого ориенталиста Хаммер-Пургшталя, — в той степени, в какой проникает в человека нечто восточное, азиатское, придавая окраску его идеям, делам и даже внешности.

В армии введено так называемое немецкое приветствие, означающее, что она потеряла свою дееспособность. Это одна из новейших форм — по нескольку раз в день проходить sub jugo. [290] Ее можно воспринимать и как прогресс автоматизма.

Американцы стоят в Пизе, русские — в Лемберге{205} и Люблине.

За столом разговор о Лавале и его суеверии, из-за которого он и носит белый галстук. Медяк в два су тоже всегда при нем, и когда он его забывает, то воздерживается от дискуссий. Он уверен в своем счастье, в своей доброй звезде, в качестве особо благоприятного знака засчитывая себе и то, что при рождении на его голове в виде чепчика лежала плацента, — это и в народном поверье существенное предзнаменование. Ну, посмотрим.

Париж, 26 июля 1944

Вечером у Фогеля. Говорили о покушении и его деталях, которые Фогелю были известны. Действие таких акций не поддается вычислению: тут вступают иные силы, о которых зачинщик и не предполагал. К тому же они влияют не столько на направленность исторического события, сколько на его ритм: ход либо ускоряется, либо тормозится. Первый случай — покушение на Ленина, в то время как заговор Фиески против Луи Филиппа замедлил прогресс демократических сил. В целом можно заметить, что покушение на какого-нибудь деятеля если и не заканчивается добром, то, во всяком случае, заставляет самого деятеля сделать кое-какие выводы, способствуя прогрессу его начинаний.

Париж, 30 июля 1944

Благодаря странному механизму истории, отметины выявляются на немце по мере того, как колесо судьбы поворачивается для него книзу. Он познает опыт евреев: быть соблазном. Валериу Марку имел обыкновение говорить, когда разговор заходил на эту тему, что в теле побежденного гнездится чума.

В «Рафаэле» растет паническое настроение. Прибывают типы, уже не начальники в прежнем смысле, а комиссары, основательно разрушающие старые связи, со времен Фридриха Вильгельма I бывшие неколебимыми.

Последний завтрак у докторессы. Обратно шел по рю Варенн, где меня, как всегда, восхищали высокие ворота, характерные для старых дворцов Фобур-Сен-Жермена. Высоко нагруженные повозки с сеном въезжали через них в конюшни.

Из-за моросящего дождя ненадолго в музее Родена, куда меня обычно не тянет. Морские волны и волны любви; археологи позднейших эпох, возможно, найдут эти статуи сразу же под слоем танков и авиабомб. Тогда станут вопрошать, как одно связано с другим, и строить остроумные гипотезы.

Париж, 31 июля 1944

Из Лиона прибыл Макс Валентинер. На юге, по-видимому, хозяйничают лемуры; так, он рассказал об одной женщине, уже четыре месяца сидевшей в тамошней тюрьме. Два охранника Службы безопасности рассуждали о том, куда ее деть, поскольку она не причастна к делу, по которому ее взяли: «Расстреляем — и концы в воду».

Париж, 1 августа 1944

Вечером у д-ра Эптинга; от него узнал, что Медан убит в Э. Вот и он стал жертвой ненависти, растущей с каждым днем. Единственным его преступлением было то, что дружбу между обоими народами он считал вполне возможной. С этим чувством он обнимал меня уже в 1930-м, когда я увидел его в первый и единственный раз в своей жизни. В первую мировую мы оба командовали ударными соединениями.

Передо мной лежит его последнее письмо ко мне, от 15 июля, где он пишет: «Если мне суждено умереть, то лучше в родном доме или родном городе, чем где-нибудь на дороге в жидкой грязи канавы. Такой смерти я более достоин, и она доставляет гораздо меньше хлопот».

Еще он добавил: «Je tiens à vous dire que c'est l'amitié admirative que vous m'avez inspirée qui m'a rapproché de mes anciens adversaires de 1914/1918».[291]

Мне понятно, что это — осознанные слова прощания, как и его молитва, о которой Клаус Валентинер мне написал: упаси Господи, чтобы молодой француз взвалил на себя вину, пролив собственную кровь. В эти дни я познакомился с горечью, опозорившей лучших. В первую мировую мои друзья погибали от снарядов, во вторую — это стало преимуществом счастливцев. Остальные гниют в тюрьмах, накладывают на себя руки или погибают от руки палача. В пуле им отказано.

Париж, 5 августа 1944

Американцы стоят у Ренна, Майенна, Лаваля и отрезают Бретань. Прощальные визиты, сегодня вечером — у Залманова. И мой парикмахер, уже много лет постригающий меня, чувствует, что сегодня в последний раз справляет свою службу. Его прощальные слова согласовывались с духом его сословия и с его симпатией ко мне: «J'espère que les choses s'arrangeront».[292]

Париж, 8 августа 1944

Еще раз на смотровой площадке Сакре-Кёр, чтобы кинуть прощальный взгляд на великий город. Я видел, как в горячем солнце дрожали камни, словно ожидая новых исторических объятий. Городские площади — женского рода, они склоняются только перед победителем.

Париж, 10 августа 1944

Днем у Флоранс; может быть, этот четверг — последний.

Возвращался по раскаленной улице Коперника. Там я купил маленькую записную книжку, которой в беспокойное время пользуюсь вместо дневника. Выходя из магазина, столкнулся с

Марселем Арланом;{206} мнение о нем я составил только в эти последние недели, прочитав его роман. Я ценю в нем бесстрашие, хотя оно слегка и тронуто заносчивостью. Мы обменялись рукопожатием.

J’aime les raisins glacés
Parce qu’ils n’ont pas de goût,
J’aime les camélias
Parce qu’ils n’ont pas d’odeur.
Et j’aime les hommes riches
Parce qu’ils n’ont pas de cœur.[293]

Стихи навели меня на мысль: в свою работу о нигилизме включить дендизм как одну из первых его ступеней.

Париж, 13 августа 1944

После полудня прощальные визиты, последние встречи. Прогулка с Шармиль по набережным Сены. Каждый из больших отрезков времени реализуется в бесчисленных личных расставаниях.

Кирххорстские листки

1944

В пути, 14 августа 1944

Внезапный отъезд с наступлением вечера. Привел в порядок комнату, поставил на стол букет цветов и раздал чаевые. К сожалению, забыл в шкафу письма — невосполнимая потеря.

Сен-Дье, 15 августа 1944

Путь в Лотарингию, в Сен-Дье — через Сезанн, Сен-Дизье, Туль и Нанси. Дороги, мерцая в лучах уходящего лета, тщательно выслеживались истребителями. Мы проезжали мимо вереницы горящих автомобилей. Иные лежали уже грудой белого пепла.

Сен-Дье, *17 августа 1944*

В казарме, еще несколько дней тому назад носившей имя Вицлебена и ныне лишившейся его. Ночью бурные сновидения исключительной резкости, когда, как в перевернутой подзорной трубе, сгущаются не только формы, но и краски. Я стоял на мраморной лестнице, по ступеням которой, извиваясь, взбирались змеи.

Вечером с Клэбишем в отеле «Модерн». Он привел с собой товарища, рассказавшего о парижском исходе. Категорический приказ Кньеболо взорвать мосты через Сену и оставить позади себя выжженную землю не был приведен в исполнение. Среди тех, кто мужественно и одним из первых воспротивился подобному кощунству, был, наряду с Хольтицем,{207} кажется, и друг Шпейдель.

Сен-Дье, 18 августа 1944

Вчера вечером прибыл президент; вместе с ним приехали Нойхаус и Хум. Президент еще раз осмотрел мою комнату, нашел ее чистой и прибранной. Прощание с персоналом «Рафаэля» было сердечным, даже трогательным.

После полудня купание в мелкой Мёрте, чистые струи которой закручивали пряди светло-зеленых водорослей; отсюда открывался вид на округлые вершины предгорья Вогезов.

Чтение: Морис де Да Фюи, «Людовик XVI». Этот король в свете событий нашего времени выигрывает в той же мере, в коей Наполеон проигрывает. Подобные превращения указывают на ту степень, в какой исторический взгляд на вещи зависит от хода самой истории. Кажется, что к великим часам, отсчитывающим нашу судьбу, словно тени присоединились и те часы, которые уже остановились.

Разрушение Старого света, наблюдаемое со времен французской революции и, собственно, даже раньше, с эпохи Возрождения, похоже на отмирание органических связок, нервов и артерий. Когда процесс окончен, на сцену выходят тираны; они привязывают к трупам искусственные нити и проволоки и вводят его в ожесточенную, но одновременно и гротескную политическую игру. При этом они и сами отличаются характером марионеток, резкими, ярмарочными и зачастую жутковатыми чертами. Новым государствам свойственна тяга к разрушению. Их благоденствие зависит от полученной ими доли наследства. Когда эта доля исчерпана, голод становится непереносимым; тогда эти государства, как Сатурн, пожирают собственных детей. Замышлять другие порядки, отличные от тех, что установлены 1789 годом, значит следовать чистому инстинкту самосохранения.

Сен-Дье, 20 августа 1944

Бродили с президентом по кладбищу, расположенному на широком холме. Как обычно, записываю для своего дневника некоторые эпитафии. Среди них и такую, которую прочитал на маленькой овальной дощечке из бронзы:

Ici repose Paul Rotsart, B^{on} de Mertaing.

Ne à Bruges (Belgique). Mort loin de sa famille pour ses idées trop libérales.[294]

1835–1885

Задумываясь над датами столь краткой жизни, я иногда испытываю чувство, будто судьбу не известного мне человека они выявляют глубже, чем это может сделать любое жизнеописание. Подробности уносят суть.

Сен-Дье, 21 августа 1944

Продолжаю «Людовика XVI». Некоторые разделы, например бегство в Варенн, захватывают меня столь сильно, что главы «Лингвистической географии» Доза я записываю в разряд второсортного чтения.

Де Да Фюи отмечает, что бегство в Варенн сопровождается множеством символических деталей, и приводит примеры. В этом нет ничего удивительного, ибо чем значительней событие, тем *значительней* и его подробности. В великие минуты мировой истории обнажается суть символических взаимодействий. Так, Голгофа становится средоточием мира, Крест — судьбой человечества, а Христос — человеком.

Купался в Мёрте под грозовыми раскатами. Там присоединился к охоте, которую устроили мальчишки, — они

переворачивали в воде камни и насаживали на вилку таившихся под ними мелких рыбешек. Создания величиной с палец, отливавшие зеленоватым мрамором, точнее гранитом, большими порциями нанизывались на проволоку «pour faire la friture».[295] В этом действе восхищала частная экономика, которую так любил Гёте, в отличие от государственной.

Вечером читал «Лингвистическую географию», кое-что из нее выписывая для своей работы о языке и строении человеческого тела. Судьба литературы после нынешней огненной оргии беспокоит меня. Только теперь по-настоящему понимаешь смысл пощады, коей удостоились такие страны, как Швейцария. Оказывать ей поддержку в восстановлении духовного и культурного уровня — вот в чем, собственно, я усматриваю компенсацию огромной выгоды нейтралитета. Сам по себе он уже невозможен, поскольку речь идет нынче не о balance of power,[296] а о судьбах мира. Поэтому в возможности нейтралитета состоит особое счастье, и не только для самих нейтральных стран, но вместе с ними — и для всех остальных. Здесь еще кое-что сохранилось от сокровищ старого времени.

Сен-Дье, 22 августа 1944

Новые гости, среди них Лэмпхенс, с которой я прогулялся вдоль Мёрты, и Тёпфер; еще позавчера, в воскресенье вечером, он был в Париже. Там уже созданы позиции круговой обороны, в частности вокруг «Мажестик» и морского министерства. На острове, на площади Согласия и на окраинах города слышались ружейные выстрелы. На многих улицах из окон свисали трехцветные французские флаги.

Сен-Дье, *23 августа 1944*

В Париж вступили американцы. После полудня снова на берегу Мёрты. Вершины и темные утесы Вогезских гор действуют успокаивающе, внушая сознание земной стабильности.

Загорая, размышлял о комбинациях ci, *kl,* а также *schl,* коими, по-видимому, передается звук замыкания. Например, *clef, clavis,* χλεις, *Klappe, clapier, claustrum, clandestin, Schlinge, Schluss*.[297] В них можно найти сверхвременны́е связи; нынешняя этимология со своими производными упрямо держится того же эмпиризма, какого дарвинизм придерживается в зоологии.

Скрытый темнотой, прошелся по запретным садам.

Сен-Дье, 24 августа 1944

После полудня пришел Тёпфер и захватил экземпляр воззвания в Гамбург для Циглера. Кроме этого экземпляра в моих бумагах хранится еще один. Третий остался в Париже, а

четвертый спрятан в Кирххорсте в потайном дне ящика для насекомых.

Вечером в лесном замке с президентом и Лэмпхенс, которая вела машину.

Многообразие форм и их систематизация: например, систематика насекомых, в которой я немного сведущ. Очарование заключается в оптике, проникающей через сотни тысяч граней Natura naturata в бездну Natura naturans.[298] Лучи — как в перевернутой призме: сначала они сверкают всеми цветами радуги, а потом ослепляют. В разноцветной среде царит удивление, в белой, напротив того, — радостный и полный предчувствий испуг. Дух проникает под своды сокровищниц, где покоится великая печать, исходное клише всякой чеканки.

А еще мастерские. Когда я смотрю вниз с утесов на коралловые сады, на безостановочное движение разноцветных созданий у истока жизни — сколь же возвышены подобные картины над всяким уничтожением индивидов, над всяким алчным враждованием! Мне открылись здесь великолепные тайны, и чувство благодарности охватывает меня, едва я подумаю, что мне, возможно, еще отпущено какое-то время на их созерцание.

Сен-Дье, 28 августа 1944

Жизнь похожа на ствол бамбука, ритмично завязывающего узлы и устойчиво тянущегося ввысь. В жизни всегда бывают периоды, когда чисто хронологический поступательный ход, взросление, обретает смысловую значимость. Это — дни рождения в высшем смысле, ступени зрелости в противоположность простому старению. В смерти жизненное кольцо еще раз смыкается, перед тем как перейти в полноту вечности.

Сен-Дье, 29 августа 1944

Группа солдат поселилась на крестьянском дворе. Если пропадают куры, изымается без расписки солома и происходят другие бесчинства, среди них всегда находится тот или иной, кто сознает неправедность таких поступков и пытается им воспрепятствовать. Им может оказаться крестьянин, присматривающий за своей родной усадьбой. В высших кругах, у военного главнокомандующего, я был однажды свидетелем того, что, когда пришел приказ взять заложников, члены штаба сильно смутились и мучились, как бы совестясь чего-то. Примитивный же человек, напротив, следует заповеди: «Что мои ребята делают, то и хорошо». К сожалению, такая примитивность непрерывно

возрастает, а вместе с нею усиливается зоологический характер политики.

Что можно посоветовать человеку, и прежде всего человеку простому, дабы изъять его из этой уравниловки, в которой непрестанно участвует и техника? Только молиться. В молитве даже самый ничтожный человек найдет точку, где он сможет соприкоснуться не с отдельными частями, а с цельным механизмом происходящего. Дары ее неизмеримы, в том числе дар суверенности. Правило это действует и вне границ теологии. В ситуациях, когда умнейшие сдаются и самые неустрашимые тщетно ищут выхода, вдруг встречается некто, кто спокойно дает верный совет, действует во благо. Можно поручиться, что это — человек молящийся.

Сен-Дье, 30 августа 1944

После полудня с президентом на Рош-Сен-Мартен, одной из близлежащих гор с утесом из красного песчаника. Оттуда открывается вид на зеленые луга и куполообразные вершины Вогезов.

Сен-Дье, 1 сентября 1944

Вечером читал книгу Филона об императрице Евгении. Чтение сопровождалось выстрелами, раздававшимися по соседству в Кемпберге, где уже хозяйничали маки. Домик, который мы делили с фельдфебелем Шретером, я приспособил для обороны, перестроив его на манер старой, якобы заброшенной мануфактуры.

d Во сне бродил по великолепному городу, своей элегантностью превосходящему все, известные мне доселе, ибо древнекитайские формы сочетались в нем с европейскими. Я видел аллею гробниц, рынок, высотные дома из красного гранита. Как обычно во время таких прогулок, я собирал разных жуков, отправляя их во флакон с эфиром. Когда я флакон вытряхнул, чтобы посмотреть на добычу, то заметил два или три экземпляра, попавших сюда, как мне показалось, случайно, среди них была красная, как карнеол, аноксия — почти прозрачная. Проснувшись, я вспомнил, что за несколько ночей до этого, во время другого сна, все же бросил ее во флакон, и подивился ей как некоей странности, столь конкретно вторгшейся в этот мир.

Послезавтра уезжаю в Ганновер; штаб главнокомандующего прекращает свое существование.

Сен-Дье, 2 сентября 1944

Ротмистр Адлер вернулся с совещания в главной ставке.

Среди прочих с докладом выступал и Гиммлер. Нужно, говорил он, проявлять твердость, — так, недавно дезертировавшего унтер-офицера доставили обратно в его же батальон, который как раз муштровали во дворе казармы. Тут же огласили приговор, заставили беглеца вырыть себе могилу, расстреляли, засыпали и землю притоптали. Затем, как ни в чем не бывало, продолжили тренировку.

Таков один из кошмарных отголосков, долетевших до меня из этой живодерни.

Кольмар, 3 сентября 1944

Вечером в Кольмаре; над его крышами сияла роскошная радуга. Ночью спал в приемной врача на койке, покрытой черной клеенкой и предназначенной для осмотра больных. Когда раскрыли окно, глазам вновь предстала радуга в грозовом небе, волшебной аркой соединявшая Вогезы и Шварцвальд.

Кирххорст, 4 сентября 1944

Рано утром прибыл в Ганновер, где поспал еще несколько часов. Затем отправился к генералу Лёнингу и дорогой, к своему удивлению, увидел, что рунны проросли свежей травой; на развалинах домов в центре города селится травка и разная зелень.

Кирххорст. Радостная встреча. В доме новые беженцы. Сад запущен, ограда развалилась; сени заставлены чемоданами и сундуками.

Грецкий орех, который я посадил в 1940 году, принес первые плоды.

Кирххорст, 7 сентября 1944

В деревне новые беженцы, на этот раз голландцы, в своей стране им неуютно. Преследования меняют объекты, но не прекращаются.

После полудня проездом из Амстердама в Дрезден д-р Гёпель. Он сказал, что Дриё ла Рошель застрелился в Париже. По-видимому, существует закон, согласно которому те, кто из добрых побуждений старался поддержать дружбу между народами, должны погибнуть, в то время как подлецы и деляги дешево отделались. Монтерлана тоже преследуют. Он еще не потерял веры, что рыцарская дружба возможна, и нынче чистильщики сапог учат его уму-разуму.

Кирххорст, 9 сентября 1944

Визит Циглера, с которым я обсудил публикацию мирного

воззвания. Он всегда носит его в портфеле. От него я узнал, что Бенуа-Мешена застрелили в Париже террористы.

Кирххорст, 16 сентября 1944

Непрерывные налеты. Мисбург, их главная цель в близлежащей местности, снова подвергся обстрелу, и большие запасы нефти горели по ту сторону болота под свинцово-серыми облаками. С 1940 года ночные звуки стали более зловещими; по всем признакам, близится катастрофа.

Я переведен в резерв командования и ожидаю последней стадии событий. Она тоже таит в себе немалые опасности; так, лемуры приступили к серии убийств, примеряясь уже к той ситуации, что наступит после их смерти. Они осуществляют некое подобие профилактической мести, жертвами которой стали в том числе вождь коммунистов Тельман и социал-демократ Брейтшейд. Будь они умнее, им можно было бы сказать словами Сенеки: «Скольких бы вы ни уничтожили, ваших последователей среди них не будет». Остается только надеяться, что им скоро придет конец. Уничтожены также целые кланы померанской аристократии.

Кирххорст, 17 сентября 1944

На болоте с Александром и Эрнстелем, который все еще слаб после ареста. Он записался в танковое подразделение, но я думаю, что учеба будет ему не под силу. Особенно меня радует, что в нем не осталось и следа обиды.

Увидев, как он, совершенно измученный, сидит на лесной опушке, я тут же понял, в какую ужасную ситуацию мы попали. В сравнении с ней знойное дыхание сожженных городов кажется сущим пустяком.

Кирххорст, 18 сентября 1944

Чтение: «L'Ile de Ceylan et ses Curiosités Naturelles»[299] Октава Сашо, Париж, 1863. Там обнаружил прекрасный отрывок из книги сэра Джеймса Эммерсона Теннента, которую давно разыскиваю, где описан день в тропиках.

После полудня визит Густава Шенка, с ним я когда-то вел переписку о пятнистом ароннике. Побеседовали о дурманящем кактусе «пайотль», затем о тридцатидневном посте, к коему Шенк готовится. Многое напомнило мне годы после первой мировой войны, когда я только и делал, что занимался доставанием билетов в духовные ложи. Хотя лучше выбирать двери, открытые для всех.

О ситуации. Отечество похоже на бедняка, чье правое дело

защищает адвокат-мошенник.

Кирххорст, 21 сентября 1944

Немного поработал над «Тропой Масирах». Начал изобретать имена и писать введение.

Наблюдать и *рассматривать,* ими управляет тонкое различие между конкретным и абстрактным ви́дением: я *рассматриваю* стрелку часов, но я *наблюдаю* за их ходом.

Утром разыскивал «Odes Funambulesques»[300] Банвиля,{208} мое внимание к ним привлекло одно замечание Верлена. Хотя я тщательно осмотрел библиотеку и кабинет, книгу мне найти не удалось, и я подумал, что потерял ее. Но потом обнаружил ее среди автографов, ибо она содержит посвящение автора Элизабет Отман.

Прекрасная фигура: думаешь, что потерял, а на самом деле обретаешь в более совершенной форме.

Кирххорст, 2 октября 1944

Чтение: греческие мифы в пересказе Шваба. Несмотря на некоторые слабости, они выказывают конгениальные черты в описании мира древних героев. Швабу удается проникнуть в чистую, кристально-неподвижную глубину его пространства, в коем совершаются духовные зачатия и рождения до и вне истории. Исток предваряет начало.

Накануне, читая второй том, дошел до места, где Агамемнон сравнивается с Одиссеем. Там написано, что пастырь народов возвышался над всеми стоя, а Одиссей — сидя.

Едва уснув, был разбужен шумом энергичного обстрела. Перпетуя встала и одела малыша, пока я, стоя у окна в ночном халате, наблюдал за спектаклем. Гудели бесчисленные моторы, а в небе вспыхивали взрывы — мелкие, как искры, разбрызгиваемые в кузнице раскаленной сталью. Следом, по ту сторону болота, у Андертена, взметнулось красное пламя. Вскоре раздался долгий резкий свист, и все внимание, весь ужас окружающего пространства, казалось, устремились к красной стреле, падавшей с неба на землю. Я отошел от окна и сразу же ощутил удар пламени, потрясший дом до основания. Мы поспешили вниз, чтобы выбежать в сад, но дверь оказалась запертой — ее прижало воздушной волной, причем дверные стекла грудой осколков лежали на лестничной площадке. Но выход на луг был еще свободен. Через него, осыпаемые осколками, которые с шипением прорывали листву, мы вывели детей. Спустились в бункер, пережидая, когда закончится обстрел.

На поле, посредине между Кирххорстом и Штелле, упал

фугас; больше всего пострадала усадьба Корсов и далеко вокруг сорвало крыши. По всему дому от подвала до чердака проходит трещина; лестница провалилась, в нескольких местах повреждена крыша.

Среди почты письмо от Рут Шпейдель; она пишет, что генерал арестован. В его лице схвачен последний участник исторического совещания в Ла-Рош-Гюйоне, все же остальные мертвы.

Кирххорст, 4 октября 1944

Под палящими лучами осеннего солнца, окруженный порхающими адмиралами, срезаю кусты помидоров. Нож мягко врезается в сочные стебли; руки пропитаны терпким запахом. Во время мытья с них стекает вода темно-зеленого цвета.

Поиск шампиньонов на пастбищах: издалека устремляешься к их сияющим белизной группкам. Самые красивые похожи на яйца правильной и совершенной формы, но хороши и те, у которых сквозь прорванную кожицу виднеется мякоть пластинок, прочерченных розовыми прожилками и тонко благоухающих анисом. Всей ладонью хватаешь их за ножку, как за язык колокола, и мягко тянешь вверх, ощущая пальцами холодок крепкой восковой оболочки.

Потом привожу в порядок свои охотничьи тетради. Сегодня записал места, где нашел *Dromius meridionalis,* — в основном под сводами каштанов на парижских кладбищах, например в Батиньоле, вблизи могилы Верлена. Некоторых из них я нашел под корой больших платанов, растущих вдоль берега Сены неподалеку от моста Пюто. Из превосходного сочинения Жанеля я вычитал, что этот вид распространен исключительно вдоль Атлантического побережья; наряду с Великобританией и Ирландией в качестве мест его обитания приводятся также Азорские острова, С. — Мигель и Терсейра. Действительно, один из экземпляров подписан: «Ponta Delgada, São Miguel, 26.10.1936». Он грел на солнышке свой голубой панцирь, сидя на серебристо-серой коре поваленного лаврового дерева. Что же, в своем огромном охотничьем пространстве от Нордкапа до оазисов Сахары и от островов Желтого моря до Гесперид я разбираюсь неплохо. И все еще надеюсь, что, несмотря на неблагоприятные времена, мне удастся совершить не одну чудесную прогулку по окрестностям.

Кирххорст, 6 октября 1944

На болоте. Далекие леса уже сияют своими золотыми вершинами с синеватой подкраской теней. Осеннее солнце

требует много синевы. То же самое относится и к сфере духа. Осень настраивает на метафизику, а также меланхолию.

Мне нужен длительный сон, долгая ночь. Мозг — как печень Прометея, которую выклевывает орел света. Восстанавливается мозг в темноте.

Плоды чтений. «Труды по морфологической и таксономической энтомологии».

Здесь упоминается статья о медоносной пчеле в древней Индии; статья опубликована в 1886 году профессором Фердинандом Каршем под псевдонимом «Канус».

Аналогичным словом прикрывался Й. Х. Ф. Хауг, называвший себя «Офтальмос».

После долгого поста, в котором пребывал немец, Кньеболо возвел его на высокую гору, откуда показал все царства мира. Немец не заставил себя долго упрашивать, и тут же поклонился искусителю.

Кирххорст, 11 октября 1944

Ночью мне снился отец. Мы играли в шахматы, находясь в разных помещениях; я находился в прихожей, но мы видели друг друга сквозь раздвижную дверь; постепенно, по мере развития партии, она открывалась.

Затем я увидел себя перед зданием, с которым меня связывали какие-то воспоминания; оно мне казалось то разрушенным и вновь отстроенным домом бабушки, то домом Флоранс на авеню Малакофф, то зданием на рю Шерш-Миди. Самое замечательное в сновидениях то, что они заставляют звучать общие темы, как, например, в данном случае — «Потерянный дом». Перед такими образами индивидуальное переживание становится неопределенным, от него остается только след глубокой тоски. Точно так же и в сумерках: индивидуальное умаляется, а всеобщее приобретает значительность. Под конец на пороге смертной ночи дано будет познать: равноценность переживаний, обман мира чисел. Есть только *единое* число, как есть *единый* человек. К нему устремляется эрос.

Кирххорст, 12 октября 1944

Ночью снова приснился отец. Я спускался с ним по лестнице в погреб, он шел туда за вином, чтобы дать мне его с собой в дорогу. Затем я вновь оказался в Париже.

С утра сирены, подобные тем, что медленно изматывают городское население.

Шенк подбил меня на сбор растительных семян. Буду владеть

богатейшим архивом не только пластических форм, но также энергий, ядов, лекарственных и наркотических средств. Кроме того, соберу в колбу цветочные луга, леса и целые садовые кущи.

Продолжал работу над «Тропой Масирах». Распахивать целину — труд, пожалуй, слишком тяжелый, слишком напряженный для нынешнего времени. Я использую чернила, голубой влагой стекающие с пера и за ночь превращающиеся в темно-синие. Благодаря этому новая работа четко выделяется; на пашне видны свежевспаханные борозды.

Кирххорст, 15 октября 1944

Ночные налеты. В окрестностях Брауншвейга вспыхнул большой пожар.

Бомбардировщики летали и во время завтрака, низко кружась над местностью. Дом сотрясался от взрывов.

Кирххорст, 18 октября 1944

Продолжил работу над «Тропой Масирах», несмотря на великие нестроения времени. Странно, что действующим лицам в таких рассказах трудно подобрать имена, хотя в моем распоряжении весь алфавит. Не менее странно, что их уже не изменить, когда сеть текста в своем плетении удалилась от начала. Носители имен обретают в этом случае плоть и кровь, становятся реальными.

Использование плюсквамперфекта на протяжении длинных отрывков придает тексту деревянность; опыт показывает, что лучше, поступаясь грамматической правильностью, удовлетвориться имперфектом, вставляя плюсквамперфект только изредка. Тогда читатель не выходит из временных рамок. Стиль допускает небрежности, но не ошибки.

После полудня на Ольдхорстском болоте с Эрнстелем. Растение с бледно-розовыми восковыми цветками, которое я сорвал для своего «болотного» гербария, оказалось подбелом.

В восемь часов вечера, когда я все еще сидел за микроскопом, завыла сирена и тут же появились самолеты. Над городом вспыхивали красные и зеленые ракеты; южные районы превратились в сплошной бомбовый котел. В Нойвармбюхене целая усадьба взвилась огненным столбом.

Выступление Кньеболо по радио с призывом создавать батальоны фольксштурма дает в руки новые средства уничтожения, направленные против народа в целом. Все его идеи оказались экспериментами, выпавшими в основном на долю самих немцев. Я имею в виду взрывы синагог, истребление евреев, бомбардировку Лондона, летающие бомбы и т. д. Прежде

всего он подчеркивает, что такие действия мыслимы и возможны, разрушает гарантии и дает массам повод для поддержки. Бурные овации, которыми сопровождались его выступления, были, собственно говоря, согласием на самоуничтожение, актом величайшего нигилизма. Мой ужас проистекает из того, что я понимал это с самого начала: чудовищное ликование под дудочку крысолова. Кньеболо, безусловно, явление также и европейское. Германия как центр Европы всегда будет тем пространством, где подобное становится зримым прежде и резче всего.

Кирххорст, 20 октября 1944

В генеральном командовании узнал, что дано распоряжение о моей отставке. В Берлине, по-видимому, даже торопились, желая избавиться от меня именно таким образом. Что ж, я могу еще немного поработать, как на медленно тонущем корабле или в осажденном городе, где перед опустевшими алтарями потрясают мирной жертвой. Хорошо, что издательская деятельность пришла в упадок, это делает работу бесцельней, но осмысленней. Все равно что гравировать бокалы, показывать их солнцу и топить в море.

В городе услышал, что позавчерашний налет унес не одну жизнь. Большинство было раздавлено в толпе перед входом в бункер. Есть бункеры, куда надо спускаться по лестничным шахтам; некоторые перепрыгивают прямо через перила и валятся на спрессованных внизу людей. Резкое падение ломает стоящим шейные позвонки. Гарри наблюдал за одними из таких ворот в преисподнюю; вопли и стоны раздавались из темной пасти в течение всей ночи.

Потом с Шенком в мастерской Греты Юргенс; поговорили о растениях, растущих на болотах и халлигах.

Возвращались через Ботфельд; я зашел на кладбище и среди могил увидел надгробие В., с которым отец имел тяжбу из-за земли. Теперь оба покоятся в одной и той же земле, превращаясь в нее. Что останется от нас, если мы не соберем монеты, дабы на великой таможне царства мертвых обменять их на золото, — что останется от нас для бессмертия?

Во сне сидел за ночной трапезой с верховным главнокомандующим и думал про себя: «Смертный приговор вы ему вынесли несправедливо». При этом видел на его виске светлую рану от пистолетного выстрела.

Кирххорст, 25 октября 1944

После полудня проводил Эрнстеля на вокзал в Бургдорф. Он все еще слаб после ареста, и ноги еще не зажили от долгих

переходов. Несмотря на это, он не хочет, чтобы его товарищи, которых вот-вот должны отправить на фронт, тронулись с места без него. Мы обнялись в узком холодном проходе, ведущем на платформу.

Кирххорст, 27 октября 1944

В Ботфельде в связи с отставкой от военной службы. Поскольку война присутствует всюду, вряд ли что-то изменится. По дороге нашел обломок подковы.

Кирххорст, 28 октября 1944

Снова читал Леона Блуа — дневники, затем «Sueur de Sang», [301] описание его франтирёрских, большей частью выдуманных приключений зимой 1870–1871 годов. Оно предваряет нынешний партизанский и макисардский пейзаж. Среди поступков, кои он приписывает немцам, нет недостатка в мерзостях. Но и его собственные герои могут похвастаться тем, что калечат противника топорами и донышками от бутылок, сжигают, обливая керосином, оскверняют трупы и т. д. Это приобретает размеры танталовых мук. Блуа похож на дерево, пустившее корни в болото, но увенчанное благородным цветом. В своем отношении к нему, столь многими чертами мне неприятному, я различаю ту степень, до которой моя работа удерживает меня от национальной ненависти.

Миф и наука. Первый толкует мир, вторая его объясняет. Если Палинур засыпает у штурвала, значит, бог дотронулся до его век. Химик связывает это явление с образованием в тканях молочной кислоты. Алхимия представляет собой один из удивительных переходов, будучи в эксперименте наукой, в теории — мифом.

Фридрих Георг прав, полагая, что мир титанов ближе миру техники, чем Олимп. Так, у единственного бога, коего можно назвать техником, у Гефеста, титаны еще находят прибежище и кров и бодро помогают ему в мастерской, как это великолепно изображено в сцене, где они куют Энею оружие.

Гибель «Титаника», столкнувшегося с айсбергом, соответствует, если это рассматривать как миф, разрушению Вавилонской башни в Пятикнижии. «Титаник» — Вавилонская башня en pleine vitesse.[302] Символично не только название, но почти каждая подробность. Ваал, золотой телец, знаменитые драгоценности и мумии фараонов — всё здесь присутствует.

Кирххорст, 30 октября 1944

В Целле, где у меня были дела. Одинокие придорожные

усадьбы все еще хранят дух первых землевладельцев. Царственность в ту пору равномерно распределялась между всеми. Если она исчезнет в человеке навсегда, то нас ждут времена, подобные сегодняшним; посягательству на достоинство предшествует утрата суверенности.

Продолжал читать Леона Блуа, сила которого в том, что он представляет *человека,* — во всем его ничтожестве, но и во всем блеске.

Виноградные листья на оконном карнизе спальни, откуда я по утрам вглядываюсь в туман, окрашиваются в светло-желтые тона, а их зубцы краснеют, словно их окунули в кровь. Жизнь растений и ее круговорот упрочивают реальность, грозящую исчезнуть под действием демонических сил. Верховному лесничему противостоят садовники и ботаники.

Когда сбросили футас, стены дома стали словно прозрачными; казалось, что устояли только стропила, — как органический костяк.

На кладбище, где с незапамятных времен покоятся аборигены, — Эбелинги, Грете, Ламанны, Ребоки, Шюддекопфы.

В смерти, по-видимому, сокрыто некое значительное действо, может быть даже гениальность. Я всякий раз замечаю, что при известиях о смерти на меня нападает какая-то странная сентиментальность, что-то похожее на недоверчивое удивление, словно покойный выдержал трудный экзамен, проявив блестящие способности, каких я у него не подозревал. Тотчас, словно по волшебству, преобразовывается и вся его прожитая жизнь.

Вспомнил в связи с этим Лессинга и его стихи, посвященные мертвому павиану:

> Подобье наше, милый павиан,
> Теперь лежит и тих и бездыхан!
> Клянусь, и мы подобьем павиана
> Однажды ляжем — тихо, бездыханно.

Кирххорст, 1 ноября 1944

Начало ноября. В Голландии, Эльзасе, Восточной Пруссии, Польше, Венгрии, Чехословакии, Греции, на Балканах и в Италии продолжаются бои. Авиационная война набирает мощь, и ее удары сконцентрированы на Германии.

Ходят слухи, что Голландия, частично пострадавшая от наводнения, намеревается компенсировать это за счет немецких территорий. По-видимому, повторяются все прежние ошибки, и мир, вместо того чтобы поумнеть на примере Кньеболо, прописал

его себе в качестве образца.

О молитве. В смысле высшей механики она обладает силой громоотвода — смягчает и снимает страх. В периоды, когда теряется ее навык, у населения накапливаются огромные неперевариваемые массы животного страха. Пропорционально этому пропадают свобода воли и сила сопротивления, а призыв демонических сил становится деспотичней, законы их — неумолимей.

Молитва очищает атмосферу; в этом смысле колокольный звон есть коллективная молитва, непосредственная молитва церкви. Теперь же ее заменил вой сирен, отчасти установленных на самих колокольнях.

Кирххорст, 2 ноября 1944

Чтение: пухлый том Волара о каннибализме. Книгу, богатую разнообразным материалом, принес мне Шенк. Выводы не так подробны; кроме того, трудно судить о столь разветвленном явлении. То оно охарактеризовано как «обычай рыб», пожирающих друг друга, то объединяется с ритуалом высокой культуры.

Интересны отдельные, рассеянные над планетарным пространством легенды, позволяющие предположить, что каннибализм преодолевается высшей жертвенностью. Так, сын полинезийского царя в канун праздника встречает закутанного в пламенеющие одежды раба и спрашивает, куда тот держит путь. Раб говорит, что идет в царский дворец; он предназначен для трапезы. Царевич обещает его спасти, вместо него приходит во дворец, где его оборачивают пальмовыми листьями. Когда в таком виде его подают царю, тот раздвигает обертку и вместо раба видит собственного сына. Зрелище веселит и смягчает его, и он навсегда отказывается от мысли закалывать людей. Здесь слышится высочайший мотив человеческого рода.

У индогерманских народов с древнейших времен лежит страшное табу на вкушении человеческого мяса; это можно обнаружить уже в наших сказках. Проклятье танталидов тоже восходит к подобной трапезе. О силе запрета можно заключить уже по тому, что даже нынешняя война, всколыхнувшая самые низменные инстинкты, не посмела нарушить его; это заслуживает особого упоминания, если учесть, каковы действующие лица. По сути всякая рационалистическая экономика в не меньшей степени, чем всякая последовательная расовая теория, приводит к каннибализму.

Впрочем, данная теория лучше всего развита у англосаксов, например у Свифта. В романе Хаксли «О дивный новый мир»

трупы перерабатываются в фосфор и тем самым используются в национальной экономике.

Кирххорст, 3 ноября 1944

Среди почты письмо от Ины Шпейдель, дочери генерала. Она пишет, что 29 октября арестован и Хорст. Круг старых рыцарей «Короля Георга» и рафаэлитов сильно поредел: одних — казнили, отравили, запрятали в тюрьму, других — разъединили и окружили доносчиками.

В немецком языке есть еще проселочные тропы, в то время как французский катится по рельсам. Вследствие этого увеличиваются конвенциональные, не-индивидуальные элементы; одним из них является сцепление.

Приведу высказывание Ривароля: «Если бы гласные и согласные притягивались друг к другу по естественным законам магнитных субстанций, то язык оставался бы единым и неизменным, подобно универсуму».

После полудня пришла Ханна Викенберг, только что в старых кварталах Ганновера попавшая под обстрел. Она рассказала о сценах, происходящих в бункерах. Бомбы с воем падали совсем рядом, пыль и чад проникали сквозь маленькое окошко внутрь и делали лица неузнаваемыми. Помещение гудело от вздохов, воплей и стонов, женщины падали в обморок. Детям, которых рвало от страха, лица завязывали платком. Одна женщина угрожала, что вот-вот родит:

— Врача, скорее врача, горит, горит!

Ей вторили голоса:

— Где горит, силы небесные, где?

Никто из находящихся в бункере не был в силах стоять; распростершись на полу, все тряслись, изо рта у них шла пена. Даже толстокожая Ханна сказала:

— Я уже смирилась с тем, что всем нам крышка.

Кирххорст, 4 ноября 1944

Около полудня мощный налет, во время которого жильцы собрались в небольшом бункере. Сперва появилась эскадра из сорока самолетов, встреченная сильнейшим обстрелом; видно было, как за двумя машинами потянулись дымовые хвосты; одна из них, загоревшись, проделала петлю в виде шпильки и исчезла в белом облаке, откуда тут же посыпались ее обломки.

Следом появились массы бомбардировщиков; их серебристо-белые крылья сверкали в лучах солнца. Огонь противовоздушной обороны достиг оглушительной силы, и свист стремительно падающих бомб временами наполнял пространство. Я наблюдал

за происходящим из сада, в кульминационные моменты прячась в бункере. Как только налет закончился, видимость заслонили густые облака, гонимые западным ветром, — они надвигались со стороны города.

Шум авиаэскадр, закрывших собою небо, был так силен, что заглушал оборонительный огонь и даже уханье разрывающихся бомб. Казалось, будто стоишь под колоколом, наполненным гулом металлического пчелиного роя. Чудовищная энергия века, в обычное время равномерно распределенная, выходит за пределы абстрактной возможности, становясь чувственно осязаемой. Само зрелище авиаэскадр, невозмутимо продолжающих свой путь, даже если среди них взрываются или горят машины, действует еще сильнее, чем разрывы бомб. Зримой становится воля к уничтожению, даже ценой собственной гибели. В этом есть что-то демоническое.

Маленький Александр и его мужество радовали меня; это тем более удивительно, если представить себе, каким чудовищным формам уничтожения противостоит такое сердечко. «Вот сейчас у меня немного колотится сердце», — когда бомбы уже просвистели мимо, упав, как мы узнали после, рядом с автобаном.

Вечером снова налет, сопровождаемый многочисленными «рождественскими елками», среди которых, как величайший сюрприз, одна лучилась белым светом. Горизонт окрашивали и пожары. На краю болотистого леса установили новую батарею; каждый из ее залпов бьет по дому и сотрясает его устои.

Во время воздушной тревоги на детей спешно натягивают пальто и, едва послышится гул самолетов или шум первых взрывов, уводят в бункер. Только тринадцатилетний Эдмунд Шульц в поисках приключений разгуливает по саду. Его тетушка Фрици сидит дома и изредка выглядывает из окна, странно безучастная, — мне приятно, что нашлась хотя бы одна бесстрашная душа, которая не покидает своих стен. Что касается меня, то время от времени я захожу в дом посмотреть, что там делается. Странно наблюдать, как демонические силы пожирают дух домашнего очага, подтачивают его опоры. У меня такое чувство, словно я прохожу по каютам корабля, — особенно, когда мой взгляд падает на светящуюся шкалу репродуктора, единственного источника света, не считая красного луча от печного пламени, пронизывающего мрак строго затемненных комнат. Бесполый голос дикторши сообщает о движении авиаэскадр вплоть до момента, когда они «пересекают городскую черту перед непосредственным началом бомбардировки». Иногда я слушаю другие станции; где-то на планете передают танцевальную музыку, где-то читают научные доклады.

Радиостанция Лондона транслирует новости и благодушно вещает, а в заключение призывает слушателей перейти на другие волны; в перерыве слышны раскаты бомбовых ударов.

Кирххорст, 5 ноября 1944

После завтрака в церкви, где из изящной розетки над алтарем вывалилось несколько стекол.

На кофе пришел генерал Лёнинг в сопровождении Шенка и Дильса. У Дильса особое умение заглядывать в политическую преисподнюю, особенно хорошо он осведомлен об истории создания государственной полиции, которую сам основал. От него я услышал леденящие кровь подробности о страданиях друзей и знакомых перед казнью. Шуленбурга среди других, арестованных вместе с ним, президент Народного суда именовал не иначе как «мерзавец Шуленбург» или «преступник Шуленбург». Один раз, когда этот палаческий прислужник оговорился, нечаянно обратившись к нему «граф Шуленбург», тот поправил его с легким поклоном: «Мерзавец Шуленбург». Черта, весьма для него красноречивая.

Дильс упомянул также Репке, «Общественный кризис в современном мире» — книгу, за границей чрезвычайно популярную. Дильс, по-видимому, у них вообще свой; генерал сообщил, что его видели с одним из шефов английской Секретной службы в каком-то турецком аэропорту.

Кирххорст, 6 ноября 1944

После полудня поход в Моормюле и Шиллерслаге, — до того места, где я нашел подкову. Рассматривал животных, которые попали в ямы, вырытые вдоль шоссе для защиты от бреющих полетов.

На ходу размышлял о торопливой манере нынешних мыслителей выносить приговоры идеям и символам, чьи формы вырабатывались и созидались тысячелетиями. При этом их собственная позиция в универсуме, та мелкая разрушительная работа, что предоставлена им мировым духом, им неведома. Но что же останется после нее, кроме пены, разбрызгивающей свои летучие клочья по древним твердыням? Уже близится отлив, засасывающий все обратно.

Весело также наблюдать, как старые либералы, дадаисты и вольнодумцы морализируют, имея позади себя жизнь, полностью истраченную на разрушение старых связей и на подрыв устоявшихся порядков. Достоевский, до донышка знавший весь этот аквариум, запечатлел их в моллюскообразной фигуре Степана Трофимовича. Сыновей подбадривают: плюйте-де на все,

к чему прежде относились как к незыблемым устоям. И чересчур переимчивые адепты в конце концов приходят к выводу: «Ну, папаша, хватит вздор молоть, пришло время переработать тебя на мыло». Вот тут-то и начинается паника. Если заодно прижимают еще и консерваторов, то наступает полный хаос, — так, например, в «Бесах» все уповают на немца-губернатора, кажется, его зовут Лемке,[303] а ему это дело не по плечу. Положение сего Лемке удивительно схоже с положением Гинденбурга. К тому же еще и молодые консерваторы: вначале они поддерживают демос, ибо чувствуют в нем новую элементарную силу, а затем хватают его под уздцы, и он затаптывает их до смерти. Единственный, кто в этой круговерти обладает сокрушительной силой, — это нигилист, и дерзающий соперничать с ним должен пройти его школу.

Кирххорст, 9 ноября 1944

В полночь тревога и следом, пока «облачали детей», четыре с грохотом разорвавшиеся бомбы. В половине четвертого действо повторилось; после отбоя последовал взрыв мин с часовым механизмом. В саду моросил дождь, а над кварталами старого Ганновера в дымном воздухе полыхало красное зарево.

Во время тревоги, как и во время налетов и оборонительного огня, еще царит относительный порядок, но едва послышится свист первых бомб, все, кое-как одевшись, устремляются в убежище. Детей опекают и здесь; забота предназначена прежде всего им.

Кирххорст, 10 ноября 1944

Среди почты открытка от Эрнстеля; в качестве гренадера танковых войск он направляется в Италию. Кроме того, письмо от Рут Шпейдель, — из него, к нашей великой радости, мы узнали, что генерал еще жив. О нем и об Эрнстеле я думаю теперь каждый вечер и каждое утро.

Только что — сейчас 9 часов вечера — был налет, на западе окрасивший мокрое от дождя небо пожарами и мощными взрывами. Поблизости тоже упала бомба; воздушная волна раздробила одно из треснувших окон моего кабинета и фонарь над входной дверью.

Чтение: «Основы экологии китайских рептилий» Мелля. У некоторых морских змей с весловидными хвостами функционирует только один из яичников, другой выталкивает незрелые яйца. Это дает возможность избежать слишком сильных неудобств при плавании в период вынашивания детенышей и полностью сохраняет охотничью форму в период наивысшей

потребности в пище. У некоторых видов десны, по-видимому, пригодны к приему кислорода и тем самым приспособлены для дыхания. При долгих глубинных переходах они заменяют легкие, подобно кислородным баллонам на подводных лодках. Удостоверены отдельные случаи, когда змеи нападают на людей: одна китаянка, косившая траву на острове близ Гонконга, положила своего ребенка на землю, где его проглотил внезапно выползший из кустов питон, — любая помощь была бы здесь бесполезна. Правда, на грудных младенцев, оставленных без присмотра, животные, даже муравьи, нападают всегда.

Здесь я также прочитал, как незадолго перед тем в книге Сашо о Цейлоне, что в каждой богатой змеями местности живут люди, обладающие исключительной способностью обращения с этими животными. В этом проявляется какое-то особое сродство. Думаю, при нападении таких ловцов змея испытывает некое безразличие или даже симпатию, что обычно происходит, когда к ней прикасается особь одного с ней вида.

Книга мне нравится, ибо в основе ее лежит страсть наблюдателя над животным миром, восторг встречи с магическими и тотемистскими явлениями, без которого всякая зоология тут же становится сухим нагромождением фактов.

В связи с этим снова размышлял о дарвинизме. Главная его слабость заключается в недостатке метафизики. Если посмотреть методологически, то это выражается в том, что доминирующей становится здесь одна из простых форм созерцания, а именно — время.

В противовес этому следует признать, что животные в их отношении к окружающему миру и друг к другу похожи на клубок, многообразно связанный и сплетенный. Изобилие требует не столько хронологического, сколько синоптического взгляда. Мощная одновременность, соположенность и совмещенность разрешаются дарвинизмом в последовательности — клубок наматывается на катушку. Тем самым теряется величие, свойственное творению, чудо первоначального прыжка, прорастающее мгновенно или в могучих циклах и зонах, подобно седмице Моисея, космографической иерархии Гесиода или китайской натурфилософии.

В теологическом аспекте воззрения Ламарка значительней. Вместе с тем можно было предвидеть, что триумфа удостоится механистическая теория. Кроме того, начиная с определенной временной точки отбор совершается с оглядкой на великие возможности разрушения.

Кирххорст, 11 ноября 1944

Записав события вчерашнего вечера, читал «Совиновных», где Гёте удачно обрисовал атмосферу маленькой гостиницы. Но концовка срезана, и раздражает, что Софи осталась в руках этого гадкого Зеллера. На что можно возразить: мораль заключена в названии.

После полуночи, а ночь выдалась звездная, второй налет с участием множества самолетов. Один, как насекомое, был пронзен светом прожекторов и парил в нем, осыпаемый ударами, похожими на красные искры, разлетающиеся по наковальне. Присутствие детей смягчало происходящее, придавало ему более гуманный характер, — я это знал еще по опыту бункеров первой мировой войны. Перпетуя держит малыша на коленях, низко наклоняется над ним, как-то умудряясь охватить его еще и плечами, чтобы никакая беда, если и настигнет ее, его не коснулась. Это — поза Ниобеи перед Аполлоном.

Потом заснул и видел сны о животных. В некоем орнитологическом кабинете я погрузился в созерцание птиц, среди которых был большой пятнистый дубонос. Удивился, что пятнистость переходила и на клюв, и задумался о причинах. Потом была яванская сорока, копия нашей. Отчего же тогда яванская? — ах да, у нее на манер некоторых райских птиц было красное пушистое утолщение под веерообразным хвостом.

Кирххорст, 12 ноября 1944

Воздушные тревоги часто вырывают нас из глубокого сна. При этом я не в первый раз замечаю, что существуют совершенно неизвестные области сновидений, глубинные морские бездны, в которые не попадает ни единый луч света. И подобно тому как случайно попавшие в сети создания ведут себя по отношению к воздуху и солнцу, так в единый миг изменяется плазма глубокого сна относительно сознания. В ее пряже остается всего лишь несколько ворсинок. Мы погружаемся в непостижные безглазые глубины, в плаценту образов.

Кирххорст, 14 ноября 1944

Ночь, ничем не потревоженная. Читал: Гёте, «Внебрачная дочь», искусный холодный фейерверк, схожий с творением на прометеевой ступени. Именно высокий уровень ремесла свидетельствует о даровании.

Читал также неопубликованные биографии Планка и Лауэ, которые мне прислал берлинский антиквар Кайпер и которые я собираюсь передать брату Физикусу. На этих высших ступенях физических открытий отношение к окружающему миру снова становится простым, инстинктивным, — оптическое,

математическое, волнообразное, кристаллографическое чувство пронизывает тело, подобно флюиду. Наука не может вести ни в какие иные области, кроме тех, что глубоко запрятаны в нас самих. Что бы ни открывали с помощью телескопов и микроскопов — *мы* внутри себя знали это давно. Нам тяжело хранить обломки погребенных в нас дворцов.

Среди вчерашней почты письмо от Герхарда Гюнтера, с отрывками из дневников его сына, погибшего в Южных Карпатах. Наряду с молитвами, медитациями и местами из Писания там есть заметки и к моим сочинениям, которые он внимательно прочел.

Прафигура. Наша наука стремится к ней, представляя собой мозаику на предначертанной основе. Чем больше кусочков уже «выложено», тем требовательней становятся те, что еще остались. В начале еще можно выбирать для них тот или иной план, в конце их место определено.

Свобода воли кажется благодаря этому все ограниченней, но ее следует рассматривать как присущую всему целому. Грандиозные решения определяли весь процесс, ближе к концу, по-видимому, приобретающий все больше автоматизма. На нашу долю выпало вложить в купола и своды замковые камни, узренные и замысленные отшельниками в теологических медитациях. Свобода воли в Homo magnus безусловно выше, чем в индивидууме, но и он принимает в этом участие. В неразделенном, где нужно выбирать между добром и злом, индивидуум и нынче еще суверенен. Стоит лишь воззвать к его суверенности — и узришь чудеса.

После полудня у зубного врача в Бургдорфе, где в его приемной читал Эккермана. Нашел там упоминание о «Pastoralia» софиста Лонгуса и сразу почувствовал желание их приобрести, что сделать не удастся, прежде всего из-за трудностей в доставании книг. При этом вспомнил набережные Сены между мостами и тамошние богатые уловы.

Потом врач под звуки бормашины нашептывал мне на ухо политические новости.

Кирххорст, 15 ноября 1944

Первый снег.

Может быть, многие из немцев переживают сегодня то же, что и я, когда знание о совершаемых подлостях отвращает от участия в коллективных действиях вообще, если предвидишь, что и будущие корпорации произрастают из того же корня. Уже и нынче, после столь мощных знамений судьбы, слепота ставшего необозримым плебса превосходит всякое представление, всякую

меру.

Кирххорст, 18 ноября 1944

Ночи без бомбежек, что, с одной стороны, можно объяснить ноябрьской непогодой, с другой же — тем, что англичане и американцы для своего осеннего наступления на левый берег Рейна используют также стратегические эскадры.

Читаю Штифтера, чьи «Разноцветные камни» давно занимают достойное место среди моих книг, но остаются нетронутыми, ибо круг его поклонников настораживает. Прекрасные часовни, где воскуряют дешевый фимиам.

Не связана ли склонность к созданию тоталитарных государств с музыкальностью? Во всяком случае, примечательно, насколько три музыкальные нации — немцы, русские и итальянцы — преуспели в этом. Возможно, однако, что внутри самой музыкальности происходит смещение в сторону более грубых элементов, с мелодии на ритм, — движение, которое в конце концов увенчивается монотонней.

Кирххорст, 19 ноября 1944

Вчера вечером налет с отдаленной, но тяжелой бомбардировкой. Над Ганновером зажглась «рождественская елка», похожая на красное зловещее созвездие. За ней последовали землетрясения.

Продолжаю читать «Разноцветные камни». «Гранит», «Известняк», «Турмалин», «Горный хрусталь». Первое восхождение на вершины литературных массивов стоит проделывать заранее, как бы забегая вперед.

Штифтер — Гесиод первопроходцев, ему еще известен Nomos Земли. Как чудо светится в нем старая Австрия, как великое художественное творение, коему снова можно будет воздать почести, едва рассеются последние наполеоновские схемы. Древний высокоствольный лес, где созидается чернозем счастья. В противоположность ему у нас производят боль.

Я помню, как беседовал с читателями Штифтера, коим его самоубийство казалось несовместимым с его творчеством и образом жизни. Между тем следовало бы обратить внимание на черты педантизма и преувеличенной совестливости, легко переходящие в ипохондрию. Это проявляется как в грамматике, так и в повествовательной манере, и указывает — по крайней мере в духовной сфере — на тонкую и ранимую конституцию.

«На детях были широкополые соломенные шляпы и платья с рукавами, из которых вырастали руки».

Кирххорст, 22 ноября 1944

Налеты и бомбардировки участились, приобрели более продуманный, злокозненный характер. В Мисбурге снова горели цистерны с нефтью. Днем в небе появляются длинные вереницы авиаэскадр, словно по воздушному океану петляют белые гидры. Над ними, со скоростью снарядов, пространство прорезают истребители.

Продолжаю Штифтера, в чью прозу влились также элементы архаичного австрийского канцелярского стиля. К таким ненужностям, как «тот», «та», «вышеупомянутый», «оный», привыкаешь как к особенностям, кои начинаешь ценить.

Ночью снились сны. Мне показывали растения, среди них — дерево размером с вереск, увешанное бесчисленными темными вишнями. «У него то преимущество, что никто не знает, что они съедобны».

Потом стоял у края бассейна напротив другого такого же бассейна и разыгрывал с ним шахматную партию. Однако у нас не было фигур, и мы оперировали плодами нашего духовного творчества. Так, на поверхности воды разворачивались целые армады, готовые к морскому сражению, в которых решающей была не боевая сила, а красота. Всплывали диковинные животные, гоняясь друг за другом или заключая друг друга в объятия; смотру подвергались сокровища глубин.

«В бесконечности каждая точка является средоточием». Эта аксиома, которую я установил сегодня утром, перекапывая грядки, призвана подтвердить, что бесконечность обладает не количественным, а качественным метафизическим превосходством. Крут или шар можно мыслить сколь угодно растянутым, при этом число срединных точек ни на одну не прибавится — оно всегда будет одним и тем же. Дабы каждая точка стала сердцевиной, должен начаться процесс, восприятие которого неподвластно нашим органам чувств, — таинственная переделка пространства; по всей вероятности, на простой лад.

Это соотношение обладает, подобно всякому математическому или физическому факту, также и моральным свойством. Будучи существом метафизическим, каждый человек представляет собой сердцевину универсума и в этой позиции не поддается воздействию даже отдаленнейших звездных миров. Кулисы космического пространства, при взгляде на которые у нас кружится голова, в момент нашей смерти отступают, выявляя действительность.

Чувство, вызываемое в нас непомерной удаленностью, сродни животному страху, это отражение иллюзорного мира.

Rendezvoux. Здесь царит настроение великой охоты и

магической операции. В нем есть волшебные черты, вроде приближения чрезвычайно робких животных или осуществления снов, в которые с трудом веришь. Оно вызывает смешанные чувства недоверчивого удивления, ужаса и счастья, но и великой нежности. При повторении все это пропадает, уступая место добротной уверенности.

Джудар, рыболов. Входя в подземные сферы, в поисках кольца высшей власти он встречается с целым рядом фантомов, которых должен побороть. Наконец, его собственная мать, — и она ведает о том, что, как выражается Боэций, побежденная Земля дарит нам звезды.

Завоевание мира каким-нибудь Цезарем или Александром следует понимать также символически; порфира — символ победы, в то время как жезл из слоновой кости является символом победителя; один из них имеет матриархальное, другой — патриархальное происхождение. Золото есть высшая порфира, сконцентрированная земная власть.

Кирххорст, 23 ноября 1944

В большом незнакомом городе я занимал одну из бесчисленных меблированных комнат, предоставленных мне для моей сновидческой жизни. Вошел Понс и расположился в кресле, дабы рассказать мне об одной любовной сделке. Добавил, что завтра женится. Просыпаясь, я подумал: «Смотри-ка, женщина, которую он описал, подходит ему — если учесть все обстоятельства их знакомства — гораздо больше, чем та, на коей он женился в действительности».

Так люди вступают в наши сновидения не только в своем историческом обличье, но одновременно и с его возможностями. В снах мы воспринимаем человеческие характеры не как эмпирические, но как интеллигибельные.

Сегодня начал переписывать свой родосский дневник, уже несколько недель не прикасаясь к «Тропе Масирах». Нынешнее время слишком неблагоприятно для таких работ. В «Тропе Масирах» я предполагаю дать набросок морали в фигурах исторических, географических и физических. Духовный мир должен в физическом не только высвечиваться, но запечатлеваться, как в воске.

Кирххорст, 24 ноября 1944

Истории нет, есть *свод* философии, изображение философского камня с гранями, отшлифованными гением времен и народов.

Говорил с Александром о том, «как вести дневник». Об этом

же написал некоему капитану Мюллеру, приславшему мне записки.

Просмотрев свои путевые дневники, убедился в том участии, какое принимает в них время. Оно меняет их содержание, как брожение и зрелость меняют вино, хранящееся в глубине погреба. Его нужно только еще раз осторожно перелить, освободив от осадка. Об этом у меня был долгий разговор у Флоранс с Леото, не одобрявшим такую практику, — слово, как оно упало в первом броске, он объявлял непогрешимым и неприкосновенным. Такое предписание для меня уже технически невыполнимо, ибо многое я разбрасываю по тексту в виде намеков, своего рода мнемонических клейм. Лучшая оправа для первого впечатления создается путем неоднократных усилий, вдохновенных переписок.

Кирххорст, 26 ноября 1944

Воскресное утро. После сильных дождей, ливших в последние дни, сухая и ясная погода. Так как за ночь мы пережили два налета, я отложил родосский дневник, чтобы привести в порядок элатериды, вид которых напомнил мне о прогулках в лесу Сен-Клу.

Затем объявили о приближении мощных авиаэскадр. Я надел пальто, собравшись выйти в сад, откуда было видно, как большая группа самолетов пересекла пространство на севере. Затем со стороны Целле вылетело свыше пятисот машин, выстроенных по сорок в каждом ряду. После подачи белых дымовых сигналов, расписавших южную часть неба зигзагообразными лентами, они друг за другом повернули на Мисбург и сбросили бомбы. Слышны были рокот и грохот, перекрывавшие шум пушек ПВО, а также сильные взрывы, сотрясавшие землю далеко вокруг. Захватчики пролетали низко, облачка обороны поднимались над ними.

Две или три эскадры повернули прямо на дом и оборвались над ним, так что бомбы, по моей оценке, упали поблизости от Ботфельда. Оборона стреляла сильнее, чем прежде. Флагманский самолет был поражен метким попаданием и, сопровождаемый длинным красноватым хвостом пламени, рухнул где-то неподалеку. Взрыв поднял облака дыма, вскоре окутавшие весь дом. Казалось, что одна из частей, большое серебряное крыло, на котором висел мотор и которое медленно вращалось, вот-вот обрушится на нас, но, издавая фыркающие звуки, оно перекатилось через дом учителя и исчезло за ним. Над садом протащило также двух парашютистов, одного так низко, что можно было видеть висевшего на парашюте человека, будто встретил его на улице. В ту же минуту воздух, словно самолет разодрало в черные клочья, наполнился щепками и обломками.

Зрелище пьянило, раздражало разум. Такие действа могут достигать степени, когда собственная безопасность становится второстепенной: зримые элементы увеличиваются до размеров, вытесняющих рефлексию, даже страх.

Кирххорст, 27 ноября 1944

Ни света, ни воды, ни электричества, поскольку разрушена электростанция в Альтене. По сводкам, вчера вечером на нас совершили налет более тысячи шестисот самолетов. Вычерчивая белые спирали и петли, они напоминали скопления микробов, копошащихся в огромной синей капле воды.

Крыло упало на близлежащий луг; самолет врезался в землю сразу же за Ботфельдом и сгорел. У Гросхорста нашли голову и кисть руки. Неподалеку лежали два разодранных трупа; было ясно, что парашюты зацепились друг за друга и не смогли раскрыться.

Один из пилотов приземлился в Штелле; рассказывают, что обитатель этого местечка, а именно дезертировавший голландец, бросился на него и нанес два удара топором. Сосед Ребок, отставной солдат, мимо проезжавший в этот момент со своей тележкой, вырвал у него жертву и с опасностью для своей жизни спрятал в надежном месте.

Кирххорст, 28 ноября 1944

Сегодня на маленьком кладбище хоронили обоих американцев, чьи парашюты зацепились друг за друга.

После полудня пришел генерал Лёнинг, до него тоже дошли слухи, циркулирующие уже несколько недель, согласно которым я либо арестован, либо расстрелян.

Задачей автора является точность не абсолютная, а оптимальная. Она зиждется на различии между логикой и языком. Отсюда предпосылкой хорошего стиля является, чтобы автор довольствовался оптимальными выражениями. Поиск абсолютного уводит на окольные пути.

Слова — мозаика; это значит, что между ними есть зазоры. Если посмотреть логически, то они являются пробелами; зато корням, достигающим истоков, они отдают в распоряжение всю Землю.

Кирххорст, 29 ноября 1944

Перпетуе приснился сон, что ей вырвали глазной зуб.

Около полудня при значительной облачности появились бесчисленные эскадры и сбросили бомбы. Казалось, что над деревней вертится огромная карусель, из которой выпадают

железные осадки. Они выпадали вокруг Кирххорста — в Штелле, у Лоне, где, как я видел из сада, взметнулись взрывы по меньшей мере тридцати бомб, в Буххольце, сильно пострадавшем, в Мисбурге, где из развалин извлекли трупы пятидесяти женщин из вспомогательного состава военно-воздушных сил.

Среди почты телеграмма от графини Подевильс. Ее муж написал ей из Англии; среди потока печальных известий — хоть одно радостное.

Во сне я виделся с отцом, ходил его навещать, но обе колонны перед входом в дом так тесно срослись, что я с великим трудом протиснулся внутрь.

Кирххорст, 2 декабря 1944

Ночное дежурство, введенное в нашей деревне из-за налетов. У крестьян сон глубокий, и их будят, как правило, только падающие бомбы. К счастью, моим напарником оказался сосед Ламанн, который далеко не глуп. Благодаря присутствию умного или приятного человека время идет быстрее. Эта явная взаимосвязь простирается так далеко, что духовные или эротические переживания вовсе лишают время его весомости, даже существования. Напротив того, скорбь и духовное отупение растягивают его до бесконечности. Эту мысль нужно постоянно иметь в виду, если хочешь познать смерть как разрушительницу времени в ее настоящем чине. Смерть дает то, что никто другой дать не в состоянии.

Утром визит Кольберга; поговорили о Лёнсе и о нижнесаксонских авторах вообще. Наша сухая почва весьма неблагоприятна для произрастания мусических натур. «Frisia non cantat»[304] — это касается и нас.

После полудня в Бургдорфе забрать роделендеров,[305] подарок Ханны Менцель из Силезии.

Кирххорст, 4 декабря 1944

Чтение: Ориген, «О молитве». Потом дневники Леона Блуа.

Блуа подчеркнуто человечен в своем умении пребывать в низменном, в грязи, в смраде, в стихии ненависти — в то же время познавая великий, незримый закон. Это делает чтение мучительным, уподобляя целые пассажи иглам, загнанным под кожу. И все же смею сказать, что как читатель я старался это преодолеть, принимая во внимание отягчающие обстоятельства. Здесь нельзя бояться обид и оскорблений. Иначе вымоешь из песка золотые крупицы.

Возможно, я включу Блуа в список авторов, которым в знак духовной благодарности задумал посвятить специальные

исследования. С давних пор я собираю материал для такой документации, посвященной людям, книгам, вещам, кои встретились на моем пути, щедро меня одарив.

Утром любимую кошку Эрнстеля, красавицу-персиянку Колдунью, нашли мертвой на соседнем поле, уже остывшей; мы предполагаем, что она съела яд. Она была дочерью старой Киссы, прожившей в нашем доме долгую жизнь, и матерью юной Киссы, моей любимицы. Кроме нее, компанию нам составляют большой белый упрямец, ангорский кот Жако, и сиамская принцесса Ди-Пинг.

Кирххорст, 5 декабря 1944

Ночное дежурство с соседом Ламанном. Обсуждая нынешние времена, откупорили бутылку вермута. Пожар в Гросхорсте, фугас в Штелле, воскресное утро и прошлый вторник навсегда войдут в хронику деревни, и еще внуки будут рассказывать об этом своим внукам, если таковые после них останутся.

Утром сильные налеты, но без бомбардировок. Я это предчувствовал и посему, как лакедемонец, «в тени» перекапывал сад.

Читал дальше «Mon Journal» Леона Блуа. Там попадаются — как, например, сегодня — места наподобие следующего: «Кольдинг, Дания. 8 апреля 1900. Вербное воскресенье. Ужасная погода. Сегодня день рождения тупоумного короля Кристиана, и во всей Дании праздник. Его отвратительный зять, принц Уэльский, прибыл в Копенгаген, избежав пули, приготовленной для него в Париже на Северном вокзале. Молодой бельгиец выстрелил в эту свинью и промахнулся. Предпочтительнее их закалывать. Это надежней и лучше для колбасы!»

Чтобы такое записать и паче того — опубликовать (Париж, 1904), нужно иметь чудовищное бесстыдство или маниакальную уверенность в своей правоте. Действительно, в особе этого Эдуарда гниль от сознания собственной безнаказанности скопилась в совершенно невероятных размерах, не имеющих эквивалента.

В Париже в качестве воспоминания о нем хранится аппарат, некое подобие ортопедического стула, который он заказал для себя и который позволил ему, несмотря на толстое брюхо, с максимальным удобством заниматься любовью. Путешественникам этот аппарат показывают в одном из больших публичных домов как особую достопримечательность, и Морис, считавший его, по-видимому, одним из новых чудес света, подстрекал меня на него посмотреть. Хотя я обычно не сторонюсь эротических курьезов, здесь никак не соглашался, — насквозь

механическое и бездуховно-комфортабельное измышление рассудка действует слишком отталкивающе. Такие машины были бы кстати на больших полотнах Иеронима Босха.

Делая эти записи, наблюдаю за непрерывными воздушными боями, происходящими на голубых участках небесного пространства между моим кабинетом и Изернхагеном. Возможно — нет, совершенно определенно, — эти спектакли самым магическим и даже причинным образом связаны с наличием монархов, подобных этому Эдуарду и Леопольду Бельгийскому или, хоть и в ином смысле, также Вильгельму II, которые отнюдь не принадлежали к последним осколкам западноевропейского рыцарства.

Сквозь замочную скважину рассматривал новых кур; пока они у меня еще в сарае. Петух величественно стоит возле миски с зернами, — одних наседок подзывает, других гонит прочь. После обеда одна из них, возможно фаворитка, подходит к нему, становится на цыпочки и нежно дотрагивается клювом до розовой бородки и гребня, отчего петух гордо выпячивает грудь.

Кирххорст, 7 декабря 1944

Сад постепенно возрождается. Об удобрениях, слишком долго пролежавших на воздухе, говорят, что они «выгорают». Это весьма наглядно.

О распределении интеллигентности. Она приспособлена к своеобразию органов, но в то же время приобретает смысл только во взаимодействии с ними. Утка, лягушка, пеликан, лилия — все они обладают особой интеллигентностью, скроенной по их стати. Благодаря ей они выживают. Чрезмерность вредила бы им точно так же, как недостаточность.

Выдающаяся интеллигентность человека, по-видимому, превышает эту разумную потребность; между тем переизбыток объясняется постольку, поскольку он подчинен невидимым органам. Когда метафизические органы становятся лишними, когда они атрофируются, наступает, как мы видим это нынче, нарушение равновесия, вследствие чего огромные массы интеллекта высвобождаются, превращаясь в губительную силу.

Нужно заметить еще следующее: духовное образование ремесленника достигло уровня, превышающего органическую потребность. Подобным же образом и в социальном пространстве высвобождаются чудовищные энергии, действующие разрушительно. Есть только два пути, ограждающие от этого: либо уменьшить спиритуализацию, либо создать новые органы, а они могут быть только невидимыми. Вот одна из причин, побуждающих меня дополнить мою книгу о Рабочем

теологической частью.

Из тезисов Вейнингера наибольшее раздражение вызвал тезис о том, что якобы в материнской любви никакой особой заслуги нет. Между тем нельзя с ним не согласиться, наблюдая, как малиновка, кошка или пеликан обращаются со своим потомством. Зоологическая сфера ничем не отличается от нашей. Преданность животных так же замечательна, как и преданность человека. То, что достойно почитания, находится по ту сторону и предполагает возвышение над половыми, да, пожалуй, и над всеми временными связями, — сознание возвысившегося над всяким случайным прикосновением, конечного единства сущности: родство во веки веков.

Кирххорст, 8 декабря 1944

Среди почты долгожданное письмо от Эрнстеля, стоящего со своим батальоном в одном североитальянском городке. Я рад, что он попал именно на этот фронт. Он пишет, что читает «Пармскую обитель» во французском издании.

После полудня, как обычно в пятницу, пришла Ханна Викенберг. Мы поговорили о девушках из вспомогательного батальона, убитых на прошлой неделе во время массированного налета на Мисбург. Их нашли без единого признака внешнего ранения тесно лежащими друг подле друга в траншеях, — разрывы легких отправили их на тот свет. Так как воздушная волна сорвала с них платья и белье, то они лежали совершенно голые. Крестьянин, помогавший их укладывать, был крайне подавлен этой ужасной гибелью: «Такие рослые, красивые девушки — и тяжелые, как свинец».

Кирххорст, 10 декабря 1944

Зашел в церковь, потом постоял у могилы двух американцев, единственным украшением которой, не считая нескольких цветов, были их каски.

Меланхолия. Потребность в метафизике потому сегодня примечательна, что воспитание изначально нацелено на то, чтобы ее уничтожить, истребить ее лучшие всходы. Возможно, однако, что ей открываются совсем новые, неизвестные аспекты, как человеку, который взял высоту, поднявшись по отвесной стене, доселе считавшейся неприступной. Прилепить себя к скале нужно собственной кровью.

Аррас. Говорил ли кто-нибудь о том, что здесь родились двое цареубийц, а именно Дамьен и Робеспьер? Вполне возможно. В компенсацию там были подписаны два мирных договора.

Когда Аррас перешел к австрийцам, над одной из арок они

прикрепили изречение:

> Quand les Français prendront Arras,
> Les souris mangeront les chats.

Когда тем не менее французы захватили город, они отбили от надписи только букву «р».[306]

Вот пример того, как реплика действует лаконичней и в то же время остроумней, чем высокомерный вызов. Это я и нынче заметил во Франции, на примере пропаганды. На огромных плакатах изображен французский рабочий в Германии: он стоит у машины, выказывая все признаки удовольствия. В противовес этому ночная контрпропаганда ограничилась меловым кругом, пририсованным к этой фигуре в виде кольца в носу.

Кирххорст, 11 декабря 1944

Близ деревни спешно проводят шанцевые работы. На краю болота собираются поставить две дюжины орудий. Это притянет к нам, не считая круговерти бомбардировок, еще более мощные ближние удары.

Вечером налет с обстрелом. Сочельник: в воздухе выросла «рождественская елка». С инфернальным шипением через местность пролетела тяжелая бомба, чтобы разорваться вдали, может быть рядом с автобаном. Воздушной волной выбило все стекла и вырвало наружу шторы затемнения.

На тонущих кораблях, на дрейфующих обломках. Сначала запасы распределяются по рациону, затем доски расшатываются и начинается борьба за место. И наконец, гибель среди обломков, трупов и акул.

Буркхардт оказался прав, опасаясь «скорой порчи»; он больше не доверял жаркому.

Читаю «Неблагодарного нищего» Леона Блуа, дневник, в котором сей замаскированный бедняк оставил великое сокровище утешения.

Слова. *Désobligeant,* в общем смысле переводимое как «невежливый», есть, собственно, пустая форма этого слова, поскольку изображает состояние, в которое невежливость ввергает других.

Кирххорст, 13 декабря 1944

Сны об экзаменах. Этот вид страхов описан слишком отчетливо, слишком детально и потому не может основываться на голом воспоминании. Отчего же неизмеримо более выразительные картины, например сражения, всплывают в

памяти, напротив того, столь редко и неопределенно?

Сон об экзамене связан, скорее всего, со смертью; в нем скрыта память о том, что жизненная задача, жизненный долг еще не выполнены, еще не завершены. Экзамен на аттестат зрелости, как рассказывал мне отец, предпочитает являться в виде ужасного призрака.

«О Боже, мне уже скоро пятьдесят и я побывал не в одном университете, а все еще не сдал экзамена на аттестат зрелости, не получил свидетельства об окончании *школы*».

Таков сон глуповатых девиц, никудышного отца семейства, человека, зарывшего свой талант. В ужас повергает чувство, что экзамена не сдашь никогда; именно из этого сна пробуждение особенно блаженно.

Потом во сне считал деньги, находясь в обществе Фридриха Георга. Согласно народному толкованию, это значит, что тебе предстоит преодоление трудностей. Впрочем, такие толкования несостоятельны, даже если они частично и покоились на опыте, на прозрении тайного родства сущностей. Сонники строят свою символику, опираясь на принцип перевода, словарей, простого перечисления, следуя тому же подчинительному способу, какой мы видим в «Соборе» Гюисманса.

Здесь я снова вспомнил прекрасное замечание Леона Блуа об оккультистах этого типа, которые, заклиная лукавого, в поисках ритуалов и магических книг проделывают вылазки в отдаленнейшие и забытые всем светом области, не замечая бросающегося в глаза сатанизма торговца колониальными товарами, что живет за утлом.

Почта редко приходит без неприятных известий. Маленькая почтальонша спешит ни свет ни заря, как птица, которая, возвещая о несчастье, пробегает по саду. Так, сегодня она принесла известие, что Эдмонд, чьи сестра и дети живут у нас, пропал без вести, но вполне вероятно, что он попал в плен.

Фридрих Георг пишет, что во время налета, за двадцать минут разрушившего древний, прекрасный город Фрейбург, в пламени погибла также его неуспевшая поступить в продажу книга об «Иллюзиях техники», хранившаяся там на складе. Так и кажется, что ее засекретила сама техника, ибо в Гамбурге дважды плавились уже набранные литеры.

Кирххорст, 14 декабря 1944

Участвовал в выкапывании огромного гнезда термитов. Усилия соответствовали делу; в движение были приведены краны, и земляные работы походили на рытье солидного песчаного котлована. В желтой отвесной стене выделялось темное

шарообразное строение. Полчища термитов выступали в боевом порядке; среди них я видел термитофилов и симбионтов, например мокриц с черными кожаными спинами, которые ползли на своих бесчисленных ножках. Я принимал в этом участие как специалист, как знаток устройства подобных государственных систем.

По краям болота расставляют батареи. Первые семейства покидают местность. Близящейся катастрофе предшествует шепоток, как это великолепно изображает Дефо в своей книге о лондонской чуме или Геббель в «Юдифи». Панику вызывают главным образом частности, мелкие детали. Так, только и слышно: «Снимите со стен картины».

Утром в Бургдорфе у врача. Меня охватывает странная неловкость, когда спрашивают о книгах, которые я пишу. Связана она, по-видимому, с тем, что смысл вещей, коими я занимаюсь, трудно передать словами. В аспекте абсолютного факт писательства вовсе не имеет значения, то же самое я мог бы проделывать иным способом, например при помощи медитации. Книги — щепки, отходы существования. В конце концов им присуще одно секретное свойство, родственное эротике: показывают своих детей, но не распространяются о том, как они появились на свет.

Отдых в Байнхорнском леске, одном из моих духовных мест, подобно площади Терн в Париже. Здесь я решился на второе полное прочтение Библии, а именно в переводе Лютера, с комментарием. Я надеялся, что благодаря разным чтениям сеть отрывков, понятых мною, станет более плотной, и так с течением времени возникнет экзегеза для моего личного пользования.

Наводя порядок в бумагах, натолкнулся на отзыв Нэфа о «Мраморных скалах», несколько лет тому назад появившийся в одной швейцарской газете. Если какой-нибудь нейтральный критик, который не заблуждается в отношении дел в Германии, перенесет содержание книги на наши политические события, то он обвинит меня если не в злонамеренности, то в халатности. Что касается стиля, то он упрекает меня в том, что почти на каждой странице хоть одно предложение, да начинается с «так», ссылаясь при этом на величайшего ревнителя языка Малларме, вычеркнувшего данное слово из своего лексикона. Для меня это не показатель. В моем жизненном чутье слово «так» играет определенную роль — в качестве реляции к высшему, властвующему в объектах и их взаимосвязях, наглядно зримому.

О моей склонности вводить предложения союзами и частицами: не только от предложения как такового нужно требовать, чтобы слова, выступающие в нем, стояли в

необходимом соотношении друг с другом. Стиль также выигрывает, если выражена связь, господствующая между предложениями: к ней относится логическая последовательность, антитеза, однородные структуры, динамика, введение неожиданных точек зрения. Для этого существуют вводные слова, выполняющие роль примечаний, задающие тон и настрой предложению, следующему за ними. Слова живут в предложениях, предложения, в свою очередь, — в широком контексте.

Я считаю своим авторским долгом размышлять об этих вещах; это минимум ремесленной тщательности, которую можно от автора требовать. Единственным возражением, на которое стоило бы возразить, может быть следующее: не достоин ли язык особого почтения, позволительно ли приближаться к нему с такими техниками? Не слишком ли они приспособлены для того, чтобы разрушать то бессознательное, что живет в нем?

На это можно ответить так: достоин почитания не сам язык, а то, что в нем невыразимо. Почитают не церкви, а то невидимое, что живет в них. К нему, никогда его не достигая, автор приближается при помощи слов. Его цель лежит за пределами языка и никогда не охватывается им. Словами автор подводит к безмолвному. Слова — его инструмент, и уж он, наверно, содержит его в порядке, не переставая работает им. Он не позволит себе пропустить ни одного слога, которым недоволен, но никогда не допустит и мысли, что обладает мастерством. Он должен всегда быть собой недоволен. И примириться с тем, что именно так он скорее обретет признание.

Кирххорст, 15 декабря 1944

Утром и вечером налеты угрожающего характера; бомбы падали недалеко от нас.

После полудня визит Крамера фон Лауэ, он был во второй раз тяжело ранен в Италии и пришел на костылях. Разговор о покушении и, в частности, о здоровье Кньеболо, которое сильно пошатнулось. Чувство досады, что он не распознал врага, не учуял, превзошла все остальные его домыслы; это совпадает с подробностями, которые рассказал мне в Ставрополе Клайст, и является причиной, по которой я всегда избегал встречи. Для ликвидации своих противников он распорядился об использовании нового орудия, некоего подобия гарроты. Словом, хижина живодера.

Среди почты письмо от Эрнстеля, он ждет своего первого сражения. Далее «Иллюзии техники» Фридриха Георга, которым он дал новое название — «Совершенство техники». Он послал мне

один из немногих авторских экземпляров, выданных ему до пожара во Фрейбурге.

«Проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» (Быт., 3, 17). Это место соответствует изречению Гесиода, что боги сделали пищу людей горькой и что прежде труд одного дня обеспечивал целый год.

Истинное изобилие, райская полнота лежат вне времени. Там — ландшафт великих непосредственных произрастаний, как их рисует миф, а Книга Бытия — делает зримыми. Там нет и смерти. В любовных объятиях нам удалось удержать искорку великого света сотворенного мира — и мы летим, как выстрел из арбалета, за пределы времени. В мифе этой первобытной силе положен предел победой Кроноса. Кронос, изувечив прародителя богов своим алмазным серпом, делает его неспособным для дальнейших зачатий. Роль Геи родственна той, что играет змея.

Затем Бытие, 3, 24. Изгнание человека из рая совершается не столько ради наказания, сколько для того, чтобы помешать ему добраться до древа жизни и обрести жизнь вечную. Поэтому перед подступами к древу поставлены херувимы с оголенными разящими мечами.

Что это означает? Человек, находясь в состоянии греха и будучи в то же время бессмертным, стал бы демоном, обладающим непомерной властью. Если в связи с этим он захочет прорваться к древу жизни, его поразит клинок ангела смерти, а поскольку он принадлежит земле, то кара настигает его перед вратами. Однако в своем втором качестве, как дыхание Божие, он прорывается назад, к вечности.

Кирххорст, 16 декабря 1944

После полудня в Ганновере, который горит со вчерашнего утра. Улицы в руинах и осколках, а также завалены разгромленными машинами и трамваями. Не было проходу от людей, суетливо снующих, как будто рухнула Китайская стена. Прошла женщина; прозрачные слезы струились по ее лицу, как дождь. Шли мимо люди, тащившие на своих плечах обсыпанные известкой превосходные старинные предметы мебели. Элегантный господин с седыми висками толкал перед собой тележку, на которой стоял шкафчик в стиле рококо.

Потом зашел к родителям Перпетуи на площадь Стефана. Их окна и двери снова были превращены в обломки, поскольку целый сноп бомб опустошил все в округе. Если находиться в веере атаки, то слышно, как с ужасающей силой нарастает мощный гул, перед самыми взрывами переходя в свистящие шумы. Мнение, что звук бомбы, нацеленной на то место, где стоишь, уже не

воспринимается, не соответствует, стало быть, действительности. Строительная пыль заполнила пространство, в котором обитатели домов, лежа на земле, ждали своего конца. Я спустился в убежище: коридор с голыми побеленными стенами, где, как в зале ожидания, стояли семь стульев, — так выглядят современные камеры пыток.

Возвращался по темнеющим улицам, повторяя часть своего школьного маршрута 1906 года, — но не как тогда, мимо освещенных богатых витрин, а мимо развалин, своей мрачностью напоминающих Пиранези.{209} Из подвалов красным жаром высверкивал зимний уголь. Людской поток все еще кишел. Временами кто-нибудь проходил мимо дома, в комнатах которого на стенах и потолках полыхал огонь, но это никого не беспокоило.

Кирххорст, 18 декабря 1944

В подземном магазине. Помещения встроены глубоко в скалу, под ней — мясной прилавок, вырубленный в красной, с белыми вкраплениями мраморной жиле. Он отличался удивительной чистотой; отходы смывались ручейком, который, кристаллически пенясь, вытекал из отверстий.

После полудня снова в Ганновере, из его руин все еще поднимались облака дыма. Я смотрел, как мужчины и женщины разгребали мусор и вытаскивали из него разные предметы. По краям тротуаров стояла мебель, на которую капал дождь. Казалось странным и трогательным, что улицы были тщательно и чисто выметены. Живучая склонность к порядку, о коей можно судить по-разному. Она вызывала во мне не меньше отвращения, чем почтительности.

В бомбы вложены часовые механизмы, вызывающие взрыв через несколько часов или, если в них механизм замедленного действия, только через несколько суток. Est modus in rebus[307] — в рамках мира бомб это воплощает комический элемент. Комическое имеет обыкновение усиливаться; так, часовые механизмы при прошлогоднем налете на Берлин были установлены на канун Рождества, на час раздачи сюрпризов.

В мастерской у Греты Юргенс. Сегодня навещают знакомых не для того, чтобы узнать, как у них дела, а чтобы посмотреть, живы ли они еще.

Кирххорст, 19 декабря 1944

Читал дальше Бытие. Ламех, похваляющийся перед своими женами Адой и Циллой, что он убил мужа «в язву свою и отрока в рану свою» и что за него отмстится не так, как за Каина, всемеро,

а в семьдесят раз всемеро. У Гердера есть гениальная мысль — связать этот триумфальный гимн человечества с изобретением меча, речь о котором идет чуть раньше. Ламех — отец Тувалкаина, первого ковача всех орудий из меди и железа. Поэтому он обладает неограниченной властью.

Ламех — один из титанов, сверхчеловек каинитской культуры, в значительной степени находящейся еще под властью первобытного плодородия и исполненной темного блеска. Ее твердыни нуждаются в человеческих жертвах; в коррупции (б, 2) эта культура достигает своего предела.

Каинитская культура — допотопный образ всякой чистой культуры, основанной на власти. В этом смысле такие города, как Содом, Гоморра, Вавилон, Дагомея, — ее поздние насаждения. Каинитскими на этой земле являются большие братоубийственные арены, как, например, мексиканские теокали, римский цирк, застенки технической цивилизации. Каинитскими являются: красные знамена, все равно, какая у них символика, союзы Кньеболо «Мертвая голова», военный корабль, бравирующий именем Марата, одного из величайших палачей человечества.

Каинитские женщины всегда изображаются необыкновенно красивыми. «Dans l'état de chute, la beauté est un monstre»[308] (Леон Блуа).

Кирххорст, 21 декабря 1944

Сновиденья — привиденья. Из бесконечности.

Кирххорст, 23 декабря 1944

Продолжаю Бытие. Одновременно читаю «Комментарий к Бытию» Делича (1860) и «Маймонид. Критика иудейского вероучения» Гольдберга. Гольдберг затрагивает темы, давно занимающие меня, — например, как иудаизм связан с XX веком. Самоубийство Вейнингера в этих рамках подобно гибели полководца на передовой. Иудей вечен; это означает, что у него есть ответ на все столетия. Я начинаю отступать от своего воззрения, что XX век был для евреев в высшей степени неблагоприятным, и думаю, что вторая его половина чревата в этом смысле сюрпризами. Именно на это указывают чудовищные жертвы.

Общие для всех людей черты по мере чтения Библии быстро становятся более национальными, отличаются друг от друга. Адам — отец человеческого рода, Авраам — отец семитских народов, Исаак — отец иудеев и едомитян, Иаков — отец Израиля.

Иаков не самый великий, но самый примечательный из патриархов. В его лице свершается целый ряд важных решений. Стяжание первородства обманным путем и, в частности, отеческого благословения преобразуется в предпочтение избранного народа всем другим. Его служба у Лавана — первое еврейское пленение, а Исав — первый антисемит.

Старые боги еще оказывают влияние своим магическим присутствием, составляют, быть может, и конкуренцию. В краже идолов Лавана свершается хищение закона. Их крадет Рахиль и прячет от преследующего ее Лавана актом табу: она садится на них и делает себя неприкасаемой, уверяя, что у нее кровотечение. Позднее вместе с женскими браслетами их находят зарытыми у корней дуба, где поставили царем Авимелеха (Суд., 9, б).

Ночная борьба Иакова с Господом. В связи с этим две общие мысли: человек не имеет права сдаваться задешево, Бог должен взять его силой. Человек легко поддастся искушению покориться от бессилия, признать себя побежденным, прежде чем он полностью будет пронзен, порабощен высшей силой. В этом — особая опасность нашего времени, когда значительная угроза гонит людей массами, но безо всякой награды, на крест.

Кроме того: борьба происходит ночью, поскольку человек после первородного греха не может вынести лика Божия. Бога он узнает и получает Его благословение только в утренней заре. Ночь здесь — человеческая жизнь, в которой длань невидимого Бога часто бывает жестко осязаемой, а утренняя заря — смерть, в которой является Его лик.

В своем качестве рационалистов мы должны преодолеть себя, и эта борьба происходит сегодня. Бог выдвигает против нас свои контраргументы.

Кирххорст, 28 декабря 1944

Чисто активный элемент проникает только в событийную, но не историческую действительность. В этом смысле справедливо, что открывателем Америки считается Колумб, а не исландцы, высадившиеся там задолго до него. Для созидания исторической действительности и для ее плодотворности требуется нацеленное, а не случайное попадание; в действие должна вступить духовность. Только так можно переступить сферу авантюризма, слепого случая.

Могучее эхо ласки — трепет, звучащий из сокровеннейших глубин жизни.

Кирххорст, 29 декабря 1944

В саду в мороз, но под дивными лучами солнца. При виде

оголенного, осиянного светом бука чувство тайной радости: лето покоится в ларце.

Вполне в духе времени начал читать книги о кораблекрушениях, прежде всего Рейналя, «Les Naufragés».[309] Книга описывает робинзонаду автора и его четырех спутников после кораблекрушения на Оклендских островах, расположенных южнее Новой Зеландии. Потерпевшие питались мясом тюленей, водившихся там в изобилии, рыбой, моллюсками, яйцами альбатросов и дикими ягодами. В связи с этим упоминается дерево, сплошь покрытое огненно-красными вкусными ягодами, которое, возможно, было бы уместно пересадить в наши сады и облагородить. Климат суровый, по целым неделям вокруг скалистых бастионов, о которые разбиваются волны Тихого океана, воют ветры. На торфянике растет изуродованный ветром лес, сквозь его толщу снуют пестрые птицы, есть там даже маленький, серый, откладывающий в пещерах яйца попугай, чья грудь украшена ярко-красным пятном.

Маленькая община не сидит без дела; сперва из спасенных парусов мастерят палатку, потом хижину, кузницу и столярную мастерскую, где у них за двадцать месяцев готова быстроходная лодка. На этом судне в июле 1865 года удается доплыть до острова Стьюарт, расположенного у южной оконечности Новой Зеландии. Автор пишет доходчиво, просто, исполнен common sense.[310] В качестве благотворного способа совместной жизни он упоминает чтение Библии и общую молитву; вредными, напротив того, считает перебродившие напитки и карточную игру. Поэтому после небольшой перепалки сжигают карты, разбивают устройство для дистилляции.

Книгу стоит перевести; я сделал некоторые выписки для запланированного братом Вольфгангом, географа, сочинения об островах.

Кирххорст, 30 декабря 1944

Утром визит читателя по имени Розенкранц. У него склонность к ботанике, соединенная с познаниями в современной фармакологии и токсикологии.

Сидя у печки, мы разговаривали о мескалине; в связи с этим он рассказал, что один слепой, страдающий цветовым голодом, написал ему письмо, в надежде на оптическое опьянение. Потом о различных способах, какими готовят опиумные лепешки в Китае, Индии, Персии, Турции. Нужно надрезать маковую головку, выбрав для этого солнечные дни; только под влиянием света горькое молочко достигает наркотической силы, вырабатывает внутреннее свечение. Далее о вышедшем из употребления

наркотике, лактукарии, который добывается из сквашенного молочного сока ядовитого латука. Как полевая культура это растение возделывается преимущественно в Целле на Мозеле. Врачи старой школы приравнивали его действие к действию опиума.

Кирххорст, 31 декабря 1944

Последний день года. Утро провел в церкви, которая не только разваливается внешне, но теряет и свою благодать. И все же нет лучшего места, где можно достойно подумать о мертвых и о тех, кто сейчас под огнем, а также о собственной судьбе.

Потом завтрак с Ханной Менцель и Перпетуей. Его пришлось прервать из-за воздушной тревоги; следом за ней на сияющем синевой небе появились авиаэскадры, земля же внизу лежала, затянутая слепящим снежным покровом. Новые батареи у Штелле открыли огонь; вскоре весь небесный свод был усеян облачками. Сквозь них со стороны Гросбургведеля накатывалась стремительная волна машин, следующих на Мисбург, от которого вскоре снова поднялись мощные облака дыма. Обе полосы конденсатов, в виде коротких бород приставших к моторам, вызывали впечатление сгущенной силы, бурления, сконцентрированного в кильватере энергии. Над ними растянутой нитью, как спирохеты, проделывая широкие круги и спирали, кружились истребители; была слышна перестрелка бортовых орудий. Один из истребителей, дымя, рухнул в направлении Ботфельда, мгновенно загоревшись. Я стоял у окна, время от времени выходя на луг, и старался запечатлеть то одно то другое мгновение, как некто, кому надлежит сделать целый ряд съемок.

1945

Кирххорст, 1 января 1945

Новогодний вечер провел с Перпетуей, Ханной Мендель, Фрици Шульцем и Хильдой Шоор. Год начался приветственной речью Кньеболо, приправленной духом ненависти и каинитских взглядов. Ужасно это погружение в пространства, где все меньше и меньше света, — космическая даль отделяет их от спасительной сферы. Эти пропасти извергают непрерывное разрушение в виде пламени.

Новогодняя медитация: мы приближаемся к центру Мальстрема, к почти неминуемой смерти. Поэтому я должен приготовиться, внутренне вооружиться, чтобы перейти на другую, сияющую сторону бытия, и при этом — не подневольно, не по принуждению, но по доброй воле, спокойно выжидая, когда откроются темные врата. Свой багаж, все свои сокровища я должен бросить, не сожалея о них. Они ценны лишь постольку, поскольку имеют отношение к другой стороне. Горы манускриптов, труды зрелых лет, — я должен привыкнуть к мысли, что увижу, как они сгорят. Тогда останется только то, что я придумывал и записывал не для людей: ядро авторства. Оно пригодится для долгого путешествия по ту сторону времени. То же самое произойдет с людьми и вещами, коих я покину, — не разрушится только настоящее, божественное в моих связях с ними: слой, в котором я их любил. Самое искреннее объятие есть всего лишь символ, образ этой нерасторжимости, — там мы сольемся в неистлевающем лоне, и наш глаз больше не будет светоносным, он сам будет в свете.

Новый год начался голубым небом и солнцем. Но уже очень скоро небо покрылось авиаэскадрами, проделывавшими причудливые маневры под оживленным обстрелом. Можно было видеть снаряды, висевшие в воздухе, как пылающие шары. Над домом прямым курсом несколько раз пролетели эскадрильи, простираясь над ним, как смертельные грабли. Где-то вблизи Шиллерслаге с большой высоты сбросили один из зигзагообразных дымовых сигналов, — как лот, достающий почти до земли. Затем на незначительном от нас расстоянии друг за другом прокатились ужасающие взрывы; все чаще остается впечатление, что они создают зоны, в которых уничтожено все живое. Целью был, по-видимому, Долльберген, где добывается нефть.

Вечером новые налеты, с красными «рождественскими

елками».

Леон Блуа, «Lamentation de l'Epée»,[311] опубликовано в октябре 1890 года в «La Plume».[312] Шпага выказывает свое отвращение к нынешним людям, не достойным того, чтобы пользоваться ей, и грозит снова превратиться в свою древнюю форму: форму пламенного меча, искореняющего весь род.

Девиз для шторы затемнения: «S'ils ont éteint le jour, qu'ils soient éclairés de la foudre!»[313] (Мишле{210}).

«Длань Бога» сказать можно, «кулак Бога» — нет.

Кирххорст, 4 января 1945

Чтение: Баадер, для меня трудный, как и все, что исходит от Бёме. Некоторые образы ярче загораются у первого, как, например, там, где он говорит о благодарности даже механической молитвы. Достигнутую таким путем связь он сравнивает с нажимом, с каким столяр прилаживает друг к другу две сопротивляющиеся доски, пока их, наконец, не свяжет клей.

Я бы сказал, что механическая молитва создает вакуум, зияние в причинном распорядке дня, что делает возможным воздействие высших сил. Поэтому выбор наших дней — придерживаться прежде всего религиозного закона, хотя бы и без внутреннего призвания, — не так уж бессмыслен, как считают многие. По крайней мере, он наилучшим образом раскрывает область метафизического. Бог не может не выйти навстречу. Смотри: Матфей, 7, 7—11.

Это место еще потому поучительно, что противополагает рыбу как цель и даяние молитвы существу земному, змее. У Христа подобные вещи никогда не основываются на случайных образах, а всегда восходят к основам мироздания.

Кирххорст, 5 января 1945

Утром в Бургдорфе в связи с принятием командования фольксштурмом. Мы находимся в ситуации, единственным положительным моментом которой является безвыходность, указывающая интеллигенции на ее внутренние и действительные бастионы. Спасение возможно теперь лишь в том случае, если вторгнуться в другие порядки.

После полудня отвез Ханну Менцель на вокзал. Вечером сильные налеты. В бункере. Из чердачного окна видел, как город клокотал под взрывами; над болотом вздымались желтые колокола настильного бомбометания.

Пока я записываю это в тихой, строго затемненной комнате, из репродуктора уже снова звучит монотонный голос дикторши: «Многочисленные самолеты приближаются со стороны озера

Штейнхудер-Мер к столице округа. Необходимо строгое соблюдение мер противовоздушной обороны».

Боже мой, кто в 1911 году мог представить себе подобные пейзажи! Это превосходит любой утопический роман.

В десять часов новый, еще более мощный огонь. Взрывы были столь сильны, что в доме опрокидывались предметы.

Продолжаю Левит. Кто в ритуальных предписаниях древних законодателей предполагает исключительно гигиенические цели, походит на человека, усматривающего значение улиц и площадей большого города исключительно в подаче воздуха. Это тоже верно, но во вторичном смысле. Речь идет здесь не о гигиеническом, а об оптимальном образе жизни, охватывающем *также и* гигиенический оптимум, поскольку сакральное состояние, включая в себя естественное здоровье, превосходит его. Будучи своего рода святостью, это сакральное состояние затрагивает даже бессмертие; смотри те места, где лик Моисея «сияет» и становится невыносимым для человеческих глаз.

Близкие мысли затрагивает «Дионис» Вальтера Ф. Отто, книга, составляющая в эти дни круг моего чтения; предисловие к ней свидетельствует о прекрасном понимании нашей теологической ситуации: «Основной характер культов определяется не тем, что их первые ревнители пытались ввести нечто желаемое, но тем, что они обладали этим желаемым, т. е. близостью Божией».

По-видимому, во время исхода Израиль пытался вытравить египетские ферменты; существенным доказательством тому является побивание камнями сына израильтянки, рожденного от египтянина (Левит, 24).

Кирххорст, 6 января 1945

Друг Шпейдель прислал из Фрейденштадта известие, что его освободили. Письмо, как одно из редких радостных посланий, было датировано сочельником. Я каждый день ждал его с особым напряжением и, смею думать, проникновенностью. Напротив, от Эрнстеля все еще ничего. Страстное ожидание писем, охватившее миллионы, — тоже знамение кошмарного мира.

После полудня в городе. Свежие руины, еще более внушительные; за ударом бича последовал укус скорпиона. Южная окраина горела; в домах на улице Подбельски и старого Целльского шоссе, по которым я проехал на велосипеде, пылали подвалы с углем и, рассыпая искры, рушились крыши. Пожаров уже не замечаешь, они стали неотъемлемой частью пейзажа. На перекрестках люди, лишенные крова, заворачивали уцелевшие предметы в простыни. Женщина, вышедшая из дверей одного из

домов, держала ручку от ночного горшка, на которой болтался осколок. Огромные воронки окружали вокзал, перед его пустыми павильонами Эрнст Август все еще сидел на коне. Оба входа в большой бункер, где искали убежища двадцать шесть тысяч человек, были засыпаны; вентиляция периодически выключалась, так что сдавленная толпа в первой стадии удушья начала срывать с себя одежды и требовать воздуха. Сохрани нас Бог от мышеловок подобного рода!

У платформ стояли сгоревшие поезда; подземный переход со стороны почтамта был пробит неразорвавшимся снарядом, который остался лежать на мостовой.

Дом тестя на площади Стефана — ради него я и предпринял эту разведывательную операцию — все еще стоял на своем месте. Их бункер, напротив, выдержал множество попаданий и даже не развалился. Между первым и вторым налетом мужчины отправились разыскивать свои дома и вернулись к женам с сообщением: «Дома больше нет».

Кирххорст, 7 января 1945

Меланхолия. Перед пробуждением видел сон о Келларисе. О нем я тоже вспоминаю ежедневно, — чего бы я только не дал, если бы он смог снова увидеть свет Божий, обрести духовную и физическую свободу, пусть даже его здоровье и было бы при этом подорвано навсегда.

На глубоком болоте между Кольсхорном и Штелле стоит одинокая хижина, откуда некий солдат при ночных налетах пускает «рождественские елки», дабы английским эскадрам инсценировать сигнал бомбового удара их флагманов. Вчера Александр назвал это «громоотводом» — отличное сравнение для ребенка.

Начал первый том «Истории кораблекрушений» Деперта, Париж, Третий год Республики. Речь там сначала шла о зимовке Баренца и его команды в 1596/97 годах у Новой Земли. Схватки с белыми медведями, при несовершенстве ружей эти звери весьма опасны. Эти бои дают представление о встречах человека с крупными животными в доисторические времена. Печень белого медведя описана как ядовитая; вкусившие ее страдают сильнейшим, почти смертельным заболеванием с отслоением кожи, От цинги помогает *Cochlearia,* которая даже тяжелейшие формы вылечивает за два дня. В качестве отличного средства упоминается также «растущая на земле сушеная слива» — думаю, что речь идет о клюкве.

Кирххорст, 8 января 1945

Продолжаю кораблекрушения. Восемь английских матросов, китоловы, в 1630 году оторвались от своего судна «Salutation»[314] и были вынуждены зазимовать в Гренландии. Они обустроились в хижине, приспособленной для варки печени, и питались в основном шкварками, целые горсти которых остаются при вытапливании китового жира; из китовых костей изготавливали капканы и ловили ими лисиц. 3 октября солнце исчезло и вновь появилось только 3 февраля. 28 мая 1631 года корабль вернулся.

Описание принадлежит матросу Пелхэму, одному из восьмерых. Встречая такие имена, я изредка вспоминаю о желании, высказанном Фридрихом Георгом в одном из наших ночных разговоров: создать регистр катакомб, где можно было бы найти имя любого человека, однажды блуждавшего по этой земле, приложив к каждому небольшой очерк его жизни. Кто знает, может быть, такой регистр уже существует? В сфере абсолютного он, возможно, всего лишь крошечный листок с иероглифами: временны́е фигуры похожи друг на друга и передают жизнеописание *всеобщего человека.* Миллионы книг, когда бы то ни было написанных, они сокращают до двадцати четырех букв.

По сводкам, вчерашний налет разрушил Лангенхаген. Трупы из этого места отнесло к отдаленному автобану. Несколько бомб разорвалось также поблизости, в окрестностях Альтвармбюхена.

От Эрнстеля все еще нет писем.

Кирххорст, 9 января 1945

День смерти моего дорогого отца, дата, которую я всегда буду помнить.

Продолжал кораблекрушения. Зимовка английского капитана Томаса Джеймса на острове Чарлтон в Гудзоновом заливе. Из-за цинги выпадают зубы, распухают десны. Чтобы иметь свежую зелень, на закрытом пространстве высевают горох. Использование для питья талого снега ведет к заболеваниям. Поэтому выкапывают колодец, вода в котором кажется им «такой же мягкой и питательной, как молоко». Возвращение после множества смертей и потерь. Картины этих страданий подействовали на англичан столь ужасно, что они в течение тридцати лет уклонялись от арктических экспедиций.

Далее робинзонада семи моряков, которых голландская экспедиция в Гренландию 26 августа 1633 году, с их согласия, высадила на острове Святого Маврикия для наблюдения за ходом арктической зимы. Цинга вскоре подточила их силы, страдали они также от холода, заставлявшего замерзать в бочках водку, взрывавшего камни и вздымавшего над морем пар, как в прачечной. Умирали один за другим; дневниковые записи

заканчиваются 30 апреля 1634 года. 4 июня китобойная флотилия вернулась и обнаружила на койках трупы. В руках у одного были хлеб и сыр, которые он ел перед самой кончиной, у другого — мазь для растирания десен и молитвенник.

О синхронизме. Во время этого одинокого страдания в Егере был убит Валленштейн, на других участках планеты шла Тридцатилетняя война. Такие мысли волнуют меня особенно глубоко. Они указывают на великий, всевидящий солнечный глаз и ведут к великой сердцевине мира.

Кирххорст, 10 января 1945

Вечером налет с сильнейшей бомбардировкой, после чего над городом взошли зловещие звезды. Я остался у фрау Шоор, из-за сильного гриппа она была не в состоянии спуститься в бункер.

Дальше о кораблекрушениях. Среди прочих упоминается зимовка Беринга, чей корабль «Святой Петр» потерпел крушение у побережья Камчатки. Еще до катастрофы команда страдала от цинги. Многие умерли, когда из затхлого корабельного трюма их вынесли на свежий воздух, — он оказался слишком крепким, слишком губительным для едва мерцающей жизни. Беринг тоже скончался и был похоронен на острове, с тех пор носящем его имя, — в его честь названо и все приграничное море. Среди офицеров в качестве врача и естествоиспытателя находился Штеллер. В пищу употребляли морских животных, которыми побережье изобиловало, прежде всего вымерших сирен, окрещенных в честь Штеллера его именем. Два кита, выбросившиеся на берег, также были встречены с радостным приветствием; их замерзшие трупы использовали в качестве «мясных запасов». Со свойственной русским ловкостью в обработке дерева принялись за строительство нового судна в сорок футов длиной и закончили его 10 августа 1742 года. На нем добрались до Сибири. Участие Штеллера придает экспедиции интеллектуальный, академический характер, благодаря которому повторяющаяся во время этих зимовок картина отупляющего страдания приобретает высший смысл.

Кирххорст, 12 января 1945

Эрнстель мертв, убит, чадо мое, мертв уже с 29 ноября прошлого года! Вчера, 11 января, вечером в начале восьмого пришло извещение.

Кирххорст, 13 января 1945

Мой сын нашел свою смерть 29 ноября 1944 года; ему было 18 лет. Пуля попала ему в голову при столкновении с дозорным

отрядом в Мраморных горах Каррары, в Средней Италии, и смерть, как пишут его товарищи, была мгновенной. Они не могли взять его с собой сразу, но вскоре вернулись за ним на бронетранспортере. На кладбище Турильяно у Каррары он нашел свое последнее место упокоения.

Мой милый мальчик. С детства он старался подражать отцу. И вот уже с первого раза безмерно превзошел его.

Сегодня зашел в маленькую подвальную комнату, которую отдал ему и в которой еще жила его аура. Вошел тихо, как в святыню. Там, среди его бумаг, обнаружил небольшой дневник, начинавшийся фразой: «Дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти».

Кирххорст, 14 января 1945

Боль — как дождь, сначала она обрушивается всей своей массой, а затем медленно проникает в землю. Дух не может охватить ее сразу. Вместе с нею мы вступаем в истинную, единственную общину этой войны, в ее тайное братство.

Я много думаю об Эрнстеле. В его смерти столько таинственного, разгадке не поддающегося. Было ли это особым знаком, что еще в том же году его удалось вырвать из рук тиранов? В этом было некое благоприятное знамение; все благие силы, как бы тайно сговорившись, способствовали этому. Возможно, прежде чем умереть, он должен был выдержать и такое испытание и проявить себя в собственном деле, которое по плечу лишь немногим.

Кирххорст, 15 января 1945

Сон благотворен, но тотчас после пробуждения боль возобновляется. Я спрашиваю себя, можно ли целыми неделями ежедневно думать о сыне, притом что ни отзвука правды не доходит до нас. Правда, остались записи, которые 29 ноября 1944-го, в день его смерти, я сделал на этих страницах. Тогда я сразу подумал о широко распространенном народном поверье, и все же удивительно, что при всех попытках растолковать сон Перпетуи я никак не предполагал эту ближайшую возможность.

Мы — как утесы среди молчаливых волн вечности.

Кирххорст, 16 января 1945

Молебен в память об Эрнстеле. Благочинный Шпаннут служил его в библиотеке. На столе, между еловыми ветками и двумя свечами, фотография сына. Текст — конец 72-го псалма и девиз его конфирмации, Лука 9, 62: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для

Царствия Божия».

Присутствовали: наша семья, живущие в доме беженцы и оба соседа, Ламанн и Кольсхорн.

Смерть сына вносит в мою жизнь одну из великих дат, становится в ней одним из ключевых и поворотных моментов. Вещи, мысли, дела до и после его смерти различны.

Кирххорст, 17 января 1945

В Бургдорф. У Байнхорна не переставая думал об Эрнстеле. В прошлом декабре, среди тумана, мы гуляли здесь по лесу и говорили о смерти. Он сказал: «Иногда испытываешь к ней такое любопытство, что едва можешь ее дождаться».

Кирххорст, 20 января 1945

Как только лемуры ни ухищряются, дабы проникнуть в смерть такого рода, любым способом поживиться ею! Так, командир роты, приславший мне известие, отметил, что Эрнстель «отдал свою жизнь за фюрера». При этом предыстория сына была ему, безусловно, известна. Или функционер, которому было предписано доставить мне известие «в достойной форме». Чудовищно. Да, такова наша действительность, и мне давно уже ясно, что смысл ее поддается только *одному* определению: боль.

Истинной трагедией для лучших нынче является то, что в реальности этика не совпадает с политикой. Как параллельные прямые, они не сходятся в бесконечности.

Кирххорст, 23 января 1945

В то время как умерший отец мне снится часто и осмысленно, сновидения о сыне пока темны. В его смерти есть еще что-то невыясненное, что-то, с чем нельзя примириться, что-то неумиротворенное. Прошлой ночью Перпетуя видела о нем первый отчетливый сон. Она была в больнице и встретила его в коридоре; он испугался, увидев ее. Он был уже очень слаб и умер у нее на руках; она слышала *плеск* смертельного пота.

Вторжение русских в Восточную Пруссию и Силезию. Новые попытки преградить этот прорыв, пока не закончилась мясорубка на Западе. Энергия, атлетическая воля удивительны; правда, разворачиваются они только на кривой плоскости, множа бездуховность и приводя к гибельным результатам. Это уже не война, вот почему политика, по Клаузевицу, не должна доводить до таких ситуаций.

Памятник в Танненберге, как сообщают сводки, взорван, и тело Гинденбурга переправлено в безопасное место. Старик не находит в гробу покоя, да и был он всего лишь привратником,

швейцаром Кньеболо, коему хоть и сопротивлялся, но думал все же использовать; тот его, однако, перехитрил.

Кирххорст, 24 января 1945

Ночь, богатая сновидениями. Я очутился в незнакомой местности, пейзаж которой оживляли пестрые птицы на дороге, ведущей через лес, но местами проходящей через шахты метро. Слева на груди, под пальто, я нес прильнувшего ко мне светлого голубя, справа — темную летучую мышь. Оба существа, из коих особенно дорогим мне было темное, иногда улетали, снова возвращаясь ко мне, как в свое гнездо. Сновидение было красивым и утешительным.

В эти дни я часто рассматривал фотографии Эрнстеля, по-новому размышляя о фотографии вообще.

Никакой снимок не может соперничать с хорошей картиной в той области, где управляет искусство и где господствуют идеи и сознание. Но фотографиям присуще другое, затемненное свойство — снимок по сути своей есть теневая картина. В нем запечатляется что-то от сущности человека, от его излучения, он является его оттиском. В этом смысле снимок родствен Писанию. Вспоминая, мы листаем письма и фотографии. Этому неплохо помогает вино.

Кирххорст, 26 января 1945

Прошли две недели с тех пор, как я получил извещение. Снова начал работать. Закончил переписывать родосский дневник, осталось переписать его начисто. У меня нередко создается впечатление, что я доверяю бумаге то, что уже пожелтело от дыхания пламени.

Продолжаю кораблекрушения. Постепенно появляются мысли общего свойства. Так, корабль представляет порядок, государство, статус. Во время кораблекрушения вместе с досками распадается и эта связь, и человеческие отношения нисходят на элементарный уровень. Они становятся физическими, зоологическими или каннибальскими. К чистой механике относятся отрубленные руки, о которых все время идет речь. Спасательные шлюпки вмещают только определенное число людей; всякий лишний, цепляющийся за них, грозит их потопить. То, что команда, спасаясь от губительного переполнения, пускает в ход весла, ножи и топоры, — в порядке вещей. Иногда при этом соблюдают некоторую видимость организации, как, например, в 1786 году во время крушения португальского флагмана «Святой Иаков» у скал Восточной Африки. Команда переполненной до отказа лодки выбрала командира, предоставив ему абсолютную власть, — им

стал индус-полукровка благородного происхождения. Он довольствовался тем, что легким движением пальца указывал на самых слабых, и их тут же сбрасывали в воду. Обычно в таких ситуациях власть выискивает точки наименьшего сопротивления. И когда дело доходит до каннибальской операции, останавливаются на юнге, как об этом рассказывает и Бонтеко.

Командиров, которых в таких случаях назначает корабельная команда или которые сами навязываются ей, можно назвать «черными капитанами»; с насилием и беззаконием они расправляются пиратским способом. При крушении «Батавии» у одинокого острова Новоголландского побережья один из таких предводителей, по имени Корнелис, после того, как ему была передана власть, каждого, кто не подпадал под его планы, приказывал умертвить. Он распределил добычу, причислив к ней пятерых женщин из состава пассажиров. Одну из них он оставил себе, другую, дочь посланника, пообещал своему лейтенанту, трое остальных были переданы команде для общего пользования.

Кораблекрушение ставит вопрос: существует ли порядок выше государственного? Только такой порядок может стать спасительным, как мы видели это на примере Питкэрна. Каждая команда вольна здесь выбирать.

Опустошение Восточной Пруссии и Силезии сопровождается сценами, каких не знает европейская история; это напоминает разрушение Иерусалима. Преследование евреев содержит страницы, не известные его слепым исполнителям; так, оно отменяет Новый Завет и устанавливает ветхозаветные законы.

Кирххорст, 27 января 1945

Сильные холода затянулись. По слухам, на дорогах и в открытых вагонах замерзло много детей, беженцев из восточных провинций. Пришло время чудовищных расплат за счет невиновных.

После полудня со старым Кернером в лесу для разметки деревьев, поскольку наш уголь на исходе. Были также на болоте; маленькая березовая роща по-прежнему на месте. Из-под топора проступала светлая и блестящая древесина, — записывая цифры, я видел в них, как в зеркале, отца, приобретшего этот лес. Древесина — вещество удивительное, достойное почитания.

На обратном пути побеседовал со стариком; как у многих наших нижнесаксонских крестьян, добродушие сочетается у него с каменным сердцем. Это натуры, которые даже в кругу собственной семьи нередко ступают по трупам. Среди прочего он пересказал мне сцену из своей юности, когда, отчасти пьяный, отчасти же представляясь таковым, он поймал свою жену с

дружком, тщетно дожидаясь fait accompli.[315]

Кирххорст, 28 января 1945

В церкви, где шла панихида по Эрнстелю. Завтра два месяца, как погиб наш сын. Для меня он всегда будет той частью, которую можно взять с собой: в сокровищнице своей души Omnia mea mecum porto;[316] это изречение своевременней, чем когда бы то ни было.

Кирххорст, 29 января 1945

Дальше о кораблекрушениях. Удивительна судьба команды португальского куттера, в 1688 году потерпевшего катастрофу у отмели Каламианских островов. Оставшиеся в живых первую половину года питались на этой неплодородной земле морскими черепахами, которые туда приплывали откладывать яйца, а вторую половину — мясом и яйцами олуш, больших морских птиц, выводивших птенцов в песке. Обе породы животных сменяли друг друга. Тамошнее пребывание длилось шесть лет, потом птицы исчезли. Потерпевшие, коих число сократилось до шестнадцати, принялись за строительство лодки или, скорее, некоего подобия ящика, — его сколотили из сволоченных деревьев и законопатили смесью из птичьих перьев, песка и черепашьего жира. Для прошивки употребляли крепкие жилы черепах. Из птичьих крыльев сшили парус. На этом судне им удалось достичь южнокитайского порта, откуда миссионеры переправили их в Макао.

Кирххорст, 2 февраля 1945

Читал мемуары графа Вьей Кастеля,[317] о них я уже как-то беседовал с Фридрихом Георгом. Неприятная оптика, высвечивающая в человеке только теневые стороны и скандальные черты. Правда, во Втором рейхе недостатка в этой продукции не было. Для катастрофы, в водовороте которой мы теперь вращаемся, уже тогда существовали все предпосылки. Я не перестаю удивляться, что война, подобная войне 1870/71 годов, еще так благополучно закончилась (причем для обеих сторон), не успев переродиться. Бисмарк это тоже понимал и был рад, что под его крышей — мир.

Кирххорст, 6 февраля 1945

Среди почты, касающейся в основном смерти Эрнстеля, есть открытка и от Карла Шмитта. «Ernestus non reliquit nos sed antecessit. Cum sciam omnia perdere et Dei sententia qui mutat corda hominum et fata populorum, rerum exitum patienter expecto».[318]

Адресат: фольксштурмист Шмитт, Альбрехтстеерофен. Открытка меня обеспокоила; благодаря ей я осознал резкую перемену, из-за которой миллионы людей в эти дни вброшены в чистую катастрофу, в огонь и шлак. Подобно тому как таким представлениям всегда сопутствует один какой-нибудь образ, так и теперь в моих воспоминаниях возникло кресло, обтянутое красным шелком, в котором я часто сидел в квартире Шмитта в Штеглице, когда мы поздним вечером за бокалом доброго вина обсуждали мировые проблемы.

Со дня смерти Эрнстеля я перестал фиксировать налеты и бомбардировки, хотя недостатка в них в последнее время не было. Вот и сегодня утром, когда я это пишу, в воздухе неспокойно. Тревожусь также за брата Физикуса. Последнее время он был в Шнайдемюле, попавшем в окружение.

Снова полистал Шамфора; в связи с ним, как и с Риваролем, можно сказать, что существует некая разновидность ясности, имеющей своим истоком стерилизацию. Однако это сопровождается и новой свободой, созерцать которую in statu nascendi[319] — большое удовольствие. Остроумные сочинители питались ею целое столетие.

Вновь повеселил меня анекдот: регент не хотел, чтобы его узнали на маскараде. «Я могу этому помочь», — сказал аббат Дюбуа и во время бала угостил его пинками в зад. На что регент ответил: «Аббат, ты переодеваешь меня чересчур усердно».

Разбивать на поленья: «располенивать».

Кирххорст, 7 февраля 1945

Закончил книгу о кораблекрушениях. Материал следовало бы распределить по группам и сделать из него практический трактат.

Каннибализм. После гибели «Бетси» у побережья Голландской Гвианы в 1756 году у штурмана Вилльямса, самого крепкого из тех, в ком еще теплилась жизнь, хватило «великодушия» предложить товарищам кусок своей задницы, дабы своею кровью продлить им жизнь.

В 1665 году на американском корабле «Пегги», плывшем с Азорских островов в Нью-Йорк, потерявшем маневренность и ставшем на многие месяцы игрушкой для волн, дело дошло и до убийства. После того как, исчерпав все запасы, съели бортовую кошку, команда решила убить одного из своих членов, продлив таким образом жизнь остальным. Против воли капитана, который был болен и лежал в каюте, бросили жребий, выпавший на негра, находившегося на борту в качестве раба. Это дает возможность предположить, что несчастный с самого начала был предназначен в жертву, и жеребьевка была лишь формальностью. Его тут же

прикончили.

Негра хватило на две недели. Потом наметили вторую жертву, на этот раз жеребьевкой руководил капитан, из опасения, что ее могут провести без его ведома. Он записал имена на клочках бумаги, бросил их в шляпу и перемешал. Команда наблюдала за этими приготовлениями молча, с бледными лицами и дрожащими губами. На лице каждого отображался ужас. Кому-то выпало тянуть жребий; капитан развернул клочок и прочитал имя: Дэвид Флейт. По просьбе капитана согласились потянуть с убийством до одиннадцати часов следующего утра. В десять часов, когда уже развели огонь и поставили на него котел, к счастью увидели парус; это был корабль «Сюзанна», капитан которого обеспечил «Пегги» провизией и взял на буксир.

Подробность, напоминающая романы Джозефа Конрада: в 1761 году английский корабль «Фаттисалам», военное транспортное судно, в районе Коромандельского берега дал столь сильную течь, что можно было ожидать скорую гибель. Прежде чем весть о несчастье разнеслась среди команды, капитан и офицеры тайно сели в шлюпку, привязанную к буксирному тросу, и бросили корабль на произвол судьбы. Удалившись на безопасное расстояние, они могли видеть, как на «Фаттисаламе» разразилась паника, но вскоре последовал знак, что повреждение устранено. Капитан решил было вернуться, но был остановлен своими офицерами. Спустя некоторое время они увидели, что корабль пошел ко дну; сигналами пытались вернуть шлюпку назад.

Сборник изобилует подобными чертами интеллигентного зверства. История кораблекрушений помогает разобраться и в нашем времени. Самое значительное его предзнаменование — гибель «Титаника».

Об имперском барокко. «Не подлежит, как я полагаю, никакому сомнению…».

Выдержка из «Бургомистр Мёнкеберг. Письма», Штуттгарт, 1918. На этой же странице «неминучее» в качестве сравнительной степени.

Кирххорст, 11 февраля 1945

Пока шла церковная служба, в Штелле грохотали батареи; над местностью низко кружил самолет-разведчик, видимо, делая съемки. Поскольку нефтяные заводы Мисбурга опять работают, нужно ждать новых налетов на близлежащие окрестности. В Бургдорфе низко пролетевший самолет обстрелял пассажирский поезд. Двадцать убитых.

Кирххорст, 12 февраля 1945

Все еще приходят письма, касающиеся смерти Эрнстеля, и вместе с ними — одно-другое слово утешения. Так, сегодня подумал, что наша жизнь предполагает и другую сторону; затраты слишком велики для нашего видимого существования.

Стихи от Фридриха Георга, напомнившие мне детство Эрнстеля в Госларе и Юберлингене.

НА СМЕРТЬ ЭРНСТЕЛЯ

О друге спрашивают ветры,
А эхо повторяет: «Где ты?»
Зима ушла, уже весною веет,
«Откликнись, Эрнстель», — не слыхать ответа.

Лес зеленеет. На лесных лужайках
Щебечут птицы — вешняя примета.
Дрозд на опушку в гости приглашает:
«Откликнись, Эрнстель», — не слыхать ответа.

Он далеко. Вы ищете напрасно
Его у рощ и у речных проталин.
Он в горний мир ушел из жизни рано,
А мы — оплакивать его остались.

Несмотря на свою молодость, он оставил по себе определенное впечатление, многие любили его. Сегодня из Каррары прибыла фотография его могилы; каждый день от него доносится эхо. Циглер пишет из Гамбурга, что по особому распоряжению Грандгошира пресса собирается обойти мое пятидесятилетие молчанием. Однако это — единственная ценная для меня награда.

Кирххорст, 14 февраля 1945

Беспокойная ночь. Англичане применяют тактику изматывания, упорно кружа на единичных самолетах над местностью и время от времени сбрасывая бомбы, дабы напряжение не ослабевало.

Но и днем одна тревога сменяет другую. По слухам, Дрезден подвергся сильнейшему обстрелу. Значит, в развалины превращен последний нетронутый город; на него сброшены сотни тысяч зажигательных бомб. Несметное число беженцев погибло под

открытым небом.

Работал в саду, вчера из его земли высунулся красный росток пиона. Перекопал также компост под большим вязом. В наблюдении над вещами, как они разлагаются и становятся землей, есть что-то поучительное и вселяющее надежду.

Читал Гераклита в небольшом двуязычном издании, которое 23 марта 1933 года мне подарил Карл Шмитт, и исследование Луи Рео о Гудоне, интересующем меня с тех пор, как в фойе «Комеди Франсэз» я увидел его Вольтера. Степень физиогномического правдоподобия, коего добивается этот скульптор средствами рококо, чрезвычайна; ощущаешь, что здесь выражена внутренняя правда самого столетия: его математикомузыкальное ядро. Резец моцартовской точности. Сравнительное исследование о нем и об Антоне Граффе{211} было бы весьма поучительным.

Гераклит: «Спящие суть содеятели и соучастники того, что происходит в мире».

Самую скверную службу сослужили немцам их успехи, — во всех дерзких операциях победа в самом начале опасней всего. Она — приманка, крючок, на который попадается алчность. Она вводит игрока в соблазн раскрыть свои карты. Она сбрасывает с него маску.

После победы над Францией бюргерство тоже было убеждено, что все в порядке. Ему уже не был слышен глас обездоленных, их «De Profundis».[320]

Впрочем, западные державы переживают сейчас схожую ситуацию. Успех делает их безжалостными. В той мере, в какой их оружие обретает превосходство, они перестраивают свои передатчики с восхваления справедливости на мстительные угрозы. Язык разума вытесняется насилием. Готовность к миру находится под знаком весов: когда одна чаша опускается, другая поднимается вверх. Со времен Бренна{212} здесь ничего не изменилось.

Кто останется с нами после этих спектаклей? Не те, с кем мы делили радости и сидели за праздничной трапезой, а только те, кто с нами разделял боль. Это относится к друзьям, к женщинам, но это распространяется также и на отношения между нами, немцами, вообще. Мы обретаем теперь новую, более прочную основу нашей общности.

Кирххорст, 15 февраля 1945

Утром, пока стреляли батареи и над домом проносились мощные эскадрильи, сидел за письменным столом. Окна, двери, бокалы в шкафах, картины на стенах пляшут и дребезжат, как на

корабле при сильном шторме.

После полудня взял Александра, чтобы чуть-чуть заострить его зрение, на подземную разведку. Мы раскопали кротовые и муравьиные норы, зашли в кроличий дом. Муравьиное гнездо было расположено в мертвой сердцевине сосны; его ячейки, ходы и галереи следовали за узором древесины и таким образом, не считая тонких, как бумага, стенок, прорезали кряж наподобие пчелиных сот. Обветшавшее строение отличалось некоей хрупкой прочностью, так что рука, ухватившись за какую-нибудь его часть, должна была приложить усилие, прежде чем оно распадалось на куски. Глядя на это, я вспомнил длинный рассказ о своих «муравьиных» приключениях; этим рассказом я, пятнадцатилетний, завораживал своих братьев до глубокой ночи. Когда бы ни возвращалась ко мне эта безоглядность в сочинительстве, из меня, как из кратера, извергалось все, что накопилось.

Продолжаю Ветхий Завет. Песнь Деворы, 5-я глава Книги Судей; жуткий триумф над дымящейся кровью. С 28-го по 30-й стих издевательство над горем матери Сисары, мучительно ожидающей сына, в неведении, что он не вернется, так как висок его пронзили колом.

Неслыханным насильником выступает в этой книге также Авимелех.

Горы обычно выполняют роль укрытия, считаются пристанищем свободы, в котором сохраняет себя отступающий этнос. Здесь же происходит обратное: Израиль наступает в горах и не может обосноваться на равнинах, где обитают народности с «железными колесницами». Возможно, правило здесь таково, что горы благоприятствуют более слабой, но решительной силе.

Кирххорст, 16 февраля 1945

Чудесный день. Высокая лещина перед моим кабинетом за ночь покрылась шерстистыми, желто-зелеными шнурами цветков. Чудовищным разрушениям несть конца; кроме Дрездена массированной бомбардировке подверглась также Вена. Такое впечатление, будто забивают скот. Мера боли, по-видимому, еще не исполнилась.

Работал в саду и за письменным столом. Мысль: не похожа ли эта деятельность на суету насекомых, коих иногда встречаешь на дороге, — видишь, как голова что-то еще поедает и как шевелятся усики, а туловище уже раздавлено.

Между тем это только одна сторона процесса, другая сторона символична, сакраментальна. Сеют, не надеясь на урожай. Такое поведение либо вовсе бессмысленно, либо трансцендентально. В

нашей власти определить, каково оно в каждом отдельном случае.

Разговор у садовой ограды:

Я: Сегодня хорошо летают.

Сосед: Да, Оснабрюк и Хемниц, кажется, разрушены.

Я же имел в виду первых роящихся в воздухе комаров.

Кирххорст, 22 февраля 1945

Манфред, проведший здесь несколько дней отпуска, сегодня уехал. Незадолго до этого он принял командование танковым подразделением и был отмечен Рыцарским крестом. Ранений у него тоже хватает: кисть левой руки изуродована, локтевой сустав раздроблен и не действует. Нынешняя неразбериха постепенно выявила свои идеи в их ужасающей отчетливости. Все это мальчишки, выросшие у меня на глазах.

Мне понравилась манера, в которой он оценивал ситуацию, и я, как одному из немногих моих читателей, показал ему мирное воззвание. Поговорили об этом, потом о Шубарте и Токвиле, а также о России.

У нас теперь непрерывная воздушная тревога. После полудня побывал на дальнем лугу, отчасти чтобы присмотреть за работниками, рубившими дрова, отчасти ради мелкой охоты. Все время под сильнейшим обстрелом. Осколки со свистом летели вниз; неразорвавшийся снаряд с силой упал на заболоченную землю.

Кирххорст, 23 февраля 1945

После полудня, все еще перекапывая сад, вырыл корень мандрагоры. Он имел стройную, перекрученную талию и пол гермафродита — самец, но одновременно и самка. У цветов есть похожий знак, который скорее можно принять за мужской орган, чем за женский. Я долго рассматривал его, как загадочную картинку, где примечаешь то одну то другую особенность.

Кирххорст, 24 февраля 1945

Утром налеты, под их звуки переписывал свой бразильский дневник. Выстлали три «ковра». Из окна снова видел, как над Мисбургом поднимались черные облака дыма, и позднее узнал, что подожгли учебный завод. Бомбили Бургдорф; разрушены церковь и дом священника. Теперь настала очередь маленьких деревень, последних резиденций старого времени. Машины на бреющем полете группами сопровождают эскадры, «атакуя деревни».

Впрочем, днем неохота спускаться в бункер; это

знаменательно для той роли, какую фантазия играет при налетах.

Кирххорст, 26 февраля 1945

Двое русских, рубящих для нас дрова, сказали Перпетуе на кухне, что впервые за три года плена их кормят в доме, на который они работают. Такие вещи удивляют едва ли не больше, чем сама жестокость. Правда, Розанов после первой мировой войны видел подобное и в России; это недуг всеобщего свойства.

Эпоха, столь сведущая в энергетике, утратила знание об огромных энергиях, скрытых в маленьком кусочке разделенного хлеба.

Читал дальше Ветхий Завет. Если хочешь делать политику, как Кньеболо, откажись от вялых фраз и пользуйся языком Нааса аммонитянина (1 Цар., 11, 2).

Саул и Самуил. Первый кайзер и первый папа.

Думал о Карусе. Желаю ему превосходной физической стати и возвышенного духа. В связи с этим: первая к нашим услугам в любое время, она всегда свидетельствует в нашу пользу. Что касается второго, то мы должны достигнуть его своими собственными усилиями: присутствие духа. Поэтому Афродиту предпочитают Афине; в решении Париса кроется астрологическая справедливость. Однако в конце концов побеждает власть духовная, отчего Троя и должна была погибнуть.

Кирххорст, 27 февраля 1945

Размышлял о цветовых названиях, в которых всегда есть что-то неопределенное, смутное. Например, «винно-красный», — существуют дюжины тональностей красного вина. Вместе с тем дух языка, по-видимому, выбирает оттенки по звучанию гласных; так, зрительное воображение возбуждается, скорее, не сравниванием, а непосредственными образами.

Звучание есть причина того, что *пурпурный* высвечивает более темные тона, чем *багряный.* Цвет *бордо* светлее, чем цвет *бургундского,* и не только при сравнении их субстанций по этим признакам, но и «стереоскопично», через магию звуков. Без инстинктивного владения данными законами нет хорошего стиля.

Узнал, что Юберлинген, этот древний дивный город, подвергся бомбардировке. Беспокоюсь за Фридриха Георга.

Говорят, в компенсацию за отходящие к России земли Польша должна получить Верхнюю Силезию и Восточную Пруссию. Стало быть, действия, замышленные противником, мало отличаются от тех, которые производил Кньеболо. Человеческая слепота ко всему, о чем с давних пор столь наглядно учат огненные знамения, внушает ужас.

Чтение: после долгого перерыва снова «Là-Bas» Гюисманса. Сразу после первой мировой войны эта книга оказала на меня определенное влияние, пробудила склонность к экспрессионистскому католицизму, вскоре вновь иссякшую. Есть книги, которые можно сравнить с прививками.

Далее: «Питкэрн, остров, люди и пастор», Его преп. Бойля Маррея, Лондон, 1860, в стиле моих книг о кораблекрушениях. Об островитянах фиджи здесь сказано: «Their horrible habit of feeding on human flesh is the more remarkable, as they excel their neighbours in talent and ingenuity»,[321] — такие мнения встречаются нередко, свидетельствуя о том, что каннибализм и высокая культура не исключают друг друга. Я еще прежде обратил на это внимание, читая «Белых богов» Штукена.{213}

Кирххорст, 3 марта 1945

После полудня у ограды, которая граничит с церковным двором и через которую заглядывают в сад камни и мраморные надгробия с эпитафиями. Я отстаю в земляных работах; причиной тому и общая ситуация, и смерть Эрнстеля. Утром, после того как метель и самолеты сменили друг друга, сквозь края облачной гряды пробилось солнце. Тепло проникло и в землю; я взрыхлил ее пальцами, чтобы вытащить корни сорняков, разросшихся между кустами черной смородины. В рыхлой, давно возделанной почве рука нащупывает спрятавшиеся там растения и легко вытаскивает их, как морских животных, вылавливаемых сетью. Из-под тонкого покрывала уже мощно пробиваются ростки, например крапивы, зеленым звездным великолепием выбивающейся из старых, пожелтевших корневых стеблей. Вот настоящая сила, более реальная, чем тысячи самолетов.

Голос, которым мы приманиваем и отгоняем животных, различается в зависимости от их вида. Курица, собака, кошка, воробей, лошадь, змея — каждого из них мы подзываем по-особому, для каждого есть у нас особые звуки и особая мелодия. Мы разговариваем с ними на языках и языком духа жизни, одинаково разлитого над всеми нами.

Кирххорст, 5 марта 1945

Посадил бобы, в последний положенный для них срок. Их плоские семена — крупные, округлые — похожи на медные двухпфенниговые монеты; не без удовольствия я вдавливал их большим пальцем в мягкий грунт. Молодые, с нарезанной петрушкой и нежным пластиночным салом, они образуют хотя и северное, но превосходное блюдо, каким наверняка наслаждался еще Гаман. В Сицилии я видел более мелкий сорт, слаще, его

приготовляли по образцу сахарного гороха.

Утренний визит нагруженных овощами ослов и тележек в южных городах составляет одно из моих самых сильных жизненных воспоминаний. Так, я вспоминаю момент, когда, стоя на балконе в Неаполе, я рассматривал связки луковиц, зеленого лука и фенхеля, которые ярко-зелеными и ослепительно белыми грузами покачивались в сопровождении симфоний, словно щебетали полчища пернатых. Такие картины услаждают и живят, как жертва хлебного приношения.

Кирххорст, 7 марта 1945

Среди почты письмо от Ханны, которая пишет из Лайснига. Она считает, что весть о смерти Эрнстеля послужила фанфарой, возвестившей о всех нагрянувших на нас несчастиях. От моих младших братьев, географа и физика, стоявших под Шнайдемюлем и Гросеном, уже давным-давно не было никаких известий.

Она также пишет: «Конечно, доброту и человечность можно вовсе исключить из своей программы; но тогда непомерную силу наберут волны ненависти».

В Библии читаю про строительство храма и его освящение (3 Цар., 6, 7). Удивляет неприязнь к использованию железа в культовых целях и для культовой службы. Даже камни обтесывались в удаленных местах, дабы не было слышно звука железных орудий при постройке. Напротив того, «медь» применялась в изобилии. Неприязнь к железу таинственна; в ней намечаются черты и консервативного и морального свойства. Железо — каинитский металл, но в то же время — стержень сверхчеловеческой силы.

На этом фоне кажется странным, сколь малый отклик получило в наших церквах введение электричества. Условием всякого культа является неподкупность левита относительно чистоты жертвенной сущности и чистоты того орудия, коим приносится жертва. Однако причиной такой неподкупности не должен быть, как у Гюисманса, испорченный желудок.

Кирххорст, 9 марта 1945

О стиле. Не люблю, когда в тексте появляются цифры, за исключением дат и указания текстовых отрывков. По существу эта неприязнь зиждется на том, что меня отталкивает всякое предоформленное и изъятое из созерцания понятие, к коему относится и цифра, за исключением разве что дат, в которых она обретает плоть. 1757, 1911, 1914 являются наглядными величинами. В противоположность им мне противно писать: 300

лошадей, 256 мертвецов, 100 рождественских елок. Вещи убегают от глаз статистики.

Сюда же относится ужас перед десятичной системой при каждой непрофанной записи. Такие слова, как сантиметр, километр, килограмм, в художественной словесности звучат для меня так, как для левита — шум железных орудий при постройке храма. Стараясь их избежать, возвращаешься к наглядным мерам: стопа, локоть, длина, взмах, бросок камня, час пути — суть естественные величины.

То же самое можно сказать обо всех модных понятиях и окрашенных временем оборотах, на чьи сокровища особенно посягают политика, техника и сфера общественных отношений. Это непрочные языковые связи, и мера выражаемого ими интеллекта зависит от меры его подчиненности им. Сюда относятся и сокращения: подобных оборотов следует либо избегать, либо приводить в оригинале, тогда их будут писать полностью.

Ривароль. Начал переводить «Мысли и максимы». Возможно, наш язык только сегодня достигает той степени плавкости, которая позволяет отлить его в подходящие для нее формы. Правда, это предполагает потерю потенциальной энергии.

Вновь восхитило: «Un livre qu'on soutient est un livre qui tombe».[322] Совершенство этого высказывания зиждется на согласованности, на абсолютном совпадении его физического и духовного свойства. В таком равновесии — признак безупречной прозы вообще.

Нынче смерть подошла так близко, что ее принимают в расчет даже при мизерных проблемах: например, пломбировать зуб или нет.

Возвращаюсь к Царствам. Третья глава четвертой книги позволяет увидеть все ужасающее великолепие магического мира. Царя Моавитского перед стенами его города осаждают объединившиеся против него цари. В своей беде он взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, дабы пробиться к царю Едомскому, на манер азиатов, как их подробно описывает Ксенофонт. После того как это предприятие провалилось, он собственной рукой возносит своего первородного сына на городскую стену для всесожжения. Такого ужасного заклятья не в силах вынести ни одна сверхвласть. Оно бросает на весы даже заступничество Иеговы: «Это произвело большое негодование в Израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю».

Иногда меня, как в плену, держит неслыханная реальность этих событий; насколько же они реальней, чем теория Дарвина

или модель атома, предложенная Бором! Но, может быть, именно в этой ирреальности, в абсолютной фантастичности, в позднеготической духовности нашего мира и заключается его действительная заслуга?

Кирххорст, 13 марта 1945

Илия. Елисей. Чудеса, сотворяемые этими Божьими мужами, — модели, полые формы чудес христианских. То, что здесь еще магия, там — харизма. Чудодейственная сила служит и злу; она отдает детей на растерзание медведям или насылает проказу на чело неверного раба.

Но сходство все же очевидно; поэтому и среди учеников есть такие, кто видит во Христе возвратившегося Илию. Различие улавливает Петр: «Ты — Сын Божий».

В Новом Завете есть места, где харизматическое чудо не полностью отделяется от полой формы магического; с этим связан эпизод о монете, найденной в глотке рыбы.

Кирххорст, 14 марта 1945

День рождения Перпетуи. Одновременно прибыли новые беженцы; дом все больше и больше походит на спасательное судно среди тонущих кораблей. Перпетуя прекрасно справляется с этим наплывом — кажется, средства притекают к ней в той же мере, в какой она их раздает. Еще и остается, по этому признаку я определяю истинное отношение к изобилию, к плодородию.

Обширная корреспонденция. Фридрих Георг успокаивает меня своим обычным бодрящим письмом, в котором, однако, подтверждает, что Юберлинген подвергся бомбардировке. Во время этой напасти он был в гостях у философа Циглера. В его описании я узнаю характерные для него черты. «Убиты люди и разрушены дома. Воздух далеко вокруг пропитался запахом туи, кипарисов, елок и других хвойных деревьев, ветви и листья которых размолоты и раздавлены».

Из Лайснига тоже извещали, что от брата Физикуса было письмо; еще один камень свалился у меня с сердца.

Розенкранц, щедро снабжающий меня литературой, прислал мне рукопись из наследия Георга Тракля, и я хочу переслать ее Фридриху Георгу. Ничего нового я там не нашел, ибо лирика Тракля похожа на вращение сновидческого калейдоскопа, за матовым стеклом при лунном свете повторяющего монотонные конфигурации немногочисленных, но все же настоящих камней.

Кирххорст, 15 марта 1945

После полудня еду в Бургдорф, к зубному врачу. Мой диагноз

кажется не таким уж неблагоприятным.

Великолепная весенняя погода; в лесу у Байнхорна я как всегда думал об Эрнстеле и о том, что цветов, растущих на земных лугах, он больше не увидит. Его смерть привносит новое знание в мою жизнь: знание о ране, которая не заживает.

В такие весенние дни тысячи краснокрылых афодий роями прочерчивают ласковый воздух. Покровы крыльев пока еще блестящие, красно-лакированные, а не грязно-ржавые, как в последующие месяцы. И нынешним днем я видел, как они легионами проносились по воздуху и несчетно, уже раздавленные или спрессованные колесами, устилали шоссе. Такое массовое явление в доселе неоживленном пространстве всегда настраивает на раздумье, побуждая к вопросу о праобразе, с неслыханной силой вещающем о себе в этих мириадах. Зрелище напоминает красную завесу, красное облако вокруг незримого полюса. К нему было обращено любопытство Эрнстеля, когда он говорил мне на этих полях, что ждет не дождется грядущей смерти как некоего мистического празднества.

Впрочем, в каждом зачатии присутствует праобраз. Пресуществление, расцветающее из плоти. Новалис:

> Неведомо им,
> Что именно ты
> Овеваешь перси
> Прелестной девы
> И полнишь блаженством лоно.

Все то время, что я был в пути, над местностью кружили самолеты и, серебряно поблескивая, удалялись с грохотом титанических боевых колесниц. Но весна оживала во мне с такою силой, что и от этого становилось весело. Повсюду мощное проявление жизни.

В зале ожидания читал Киплинга, чей поздний дендизм сочетается с прекрасным знанием всего, что в морали, а также в аморальности необходимо для господства. Хороший сплав: от германских предков — всеобъемлющее, подчиняющее себе пространства сознание власти, от романских — чувство формы и социальных установлений и, возможно, впитанная с кровью кельтских аборигенов метафизическая приправа, некое подобие second sight,[323] провидящего тайны мира с его народами, архипелагами и ландшафтами.

Среди германских племен наименее удачно смешались немцы, по крайней мере в отношении общей формы, но при этом вероятность, что в тигеле под шлаком отыщется какой-нибудь

крупный бриллиант или Кохинур, у них больше.

На обратном пути зашел в садоводство. Пламенное сердце, один из моих любимых цветов, прорвало уже возделанную землю грядок; на зубчиках нежнейших нефритовых тонов высверкивались красноватые, как яспис, острия. Сила, земной дух, таких композиций завораживает, она необычайна. Они — органы плодоношения нашей доброй матушки, древней Земли, все еще самой молодой из женушек, облаченных в красные юбки, поистине достойной того, чтобы в завершение этого великого зрелища мы обручились с ней всей своею плотью.

Вечером, пока делал записи, сильнейший налет на Мисбург. Разведывательные самолеты проложили сначала настоящую аллею оранжево-желтых сигналов, после чего последовала бомбардировка.

Кирххорст, 18 марта 1945

После участия в гонках я прибыл домой с большим кубком и крикнул жене, чтобы она накрывала в саду, поскольку я ждал гостей: «Кубок тоже поставь, вынь призы из витрин, можно взять что-нибудь из лент и лавровых венков, что висят на стенах».

Я был как загнанная лошадь и при этом выказывал манеры заносчивого чемпиона, целиком зависящего от мнения, от рукоплескания толпы.

Как уже не раз случалось, пробудившись, я испытал неприятное чувство от вторжения в привычки и стиль совершенно мне чуждой, противоположной экзистенции.

Закончил: «A Rebours».[324] Заслуги Гюисманса, говоря языком теологии, не выходят за рамки позднеромантических догматов. На старые бастионы его заставляет вернуться также эстетическое, но не моральное отвращение. Здесь Леон Блуа, упоминаемый, между прочим, уже в «A Rebours», неизмеримо сильнее. И все же Гюисманс оказал определенное влияние на умы, в частности тем, что ловил рыбку в лагунах и заводях, куда невозможно закинуть сеть. Часто инициация откровений, в чьих недрах не различают состояний здоровья, лежит в болезненных симптомах, в невротических выбросах. В здешнем буфете, когда приближаются эскадры, первыми начинают дребезжать бокалы из тончайшего стекла.

В области стиля то же самое можно отнести к палитре, которой он расцвечивает свою прозу. В этом неслыханном смешении и расщеплении красок, в этих окраинных аренах сетчатки декаданс триумфирует, просыпаются шестнадцатые и тридцать вторые доли нового сентиментализма. Яростное желание — стоя у самой грани невидимого, высмотреть и описать

последние его блестки — ведет местами к прозе, напоминающей де Сада и явно демонстрирующей его школу. До чего же эта гамма отличается от той, что характерна, например, для Мемлинга, играющего чистыми красками драгоценных камней, ясным спектром радуги!

Но заслуги есть и у деконструкций высокого стиля, ибо в чистой литературе не существует иерархии примитива и декаданса, так же как и иерархии морали и аморальности. Есть лишь восприятие и объект, глаз и свет, автор и мир, и между ними обоими — оптимальное высказывание, всегда остающееся жертвой.

Кирххорст, 19 марта 1945

Снова в Бургдорфе. Было немного прохладней, поэтому краснокрылые афодии попадались редко; они уже не оплетали стеклянными нитями воздух. Я иногда охотно устраиваю смотр копрофагам, пропуская их легионы перед своим мысленным взором; в этом пестром мире они образуют самую безобидную гильдию, которая не питается даже сорняками, а использует их переваренные остатки. Их жизнь праведна, ведь канонизирован же скарабей. Удивительны рога, особенно оленьи, и роговые отростки; их можно найти у многих животных видов, питающихся растениями. Это не столько оружие, сколько гербы и короны древеснокорневой мощи. Наконец, существуют великолепно расцвеченные виды, истинные драгоценные камни, — так, я вспоминаю, что на Родосе, возле межи, видел ослиное яблоко; едва я пошевелил его ногой, как оно распалось на полдюжины сверкающих смарагдов: это была зеленая разновидность онитиса, справлявшего в нем вечерю. Вот истинная алхимия Великой Матери, которая из праха созидает алмазы и из распада дистиллирует золотую жизнь.

В пути размышлял о политических системах, где передовая и консервативная жизни совпадают, — только от таких систем и можно ждать улучшения. Так, имперское собирание исторических единств в огромные пространства одновременно способствует обмену и успокаивает землю, оставляя ее в известном смысле невозделанной. Тесному сплетению технических средств, высшим из которых является государство в качестве machina machinarum, [325] должны подчиняться растущая самостоятельность и свобода органических сфер. Земля отеческая и материнская. Новый порядок должен походить на целесообразный часовой механизм, в коем главное центрирующее колесо управляет малыми колесами децентрализации. Существенное новшество состоит в том, что консервативные силы действуют уже не как помеха, а как

пружина, побуждающая к действию.

Всеобщность избирательного права только бы возросла, если бы кроме женщин в нее вовлекали и детей, — на выборах их может представлять отец. Это заключало бы в себе большую либеральность и надежность и служило бы заслоном от влияния радикальных, чисто духовных или литературных течений, от которых женатый человек зависит намного меньше. Отцы снова должны заявить о себе. Также и село сумело бы сильнее противодействовать массовым партиям больших городов, яростно взявшимся нынче за дело.

Можно, кроме того, учитывать и голоса воздержавшихся, считая их как бы отданными в пользу правительства, ибо логично предположить, что избиратель, слишком ленивый, чтобы дойти до урны, вполне доволен существующим порядком вещей. Не-избиратели олицетворяют оседлый элемент, обладающий своим достоинством.

Парламентские речи следует зачитывать, как во времена Мирабо. Это укрепило бы аргументы, приглушило бы пустую риторику. Парламенты должны отражать субстанциальный, а не духовный состав народа. В той мере, в какой практика приобретет цену за счет теорий, на задний план отодвинется и влияние шатких фигур.

Читаю Петрония, в конгениальной обработке Хайнзе. Из всех фигур, выступающих в романе, Тримальхион — самая удачная; она принадлежит к великим взлетам мировой литературы и несет на себе ее несомненные признаки, будучи действительной для всякого времени и любого места. Всегда и повсюду, где при ослабленном авторитете удаются великие спекуляции, всплывают личности, подобные Тримальхиону, что весьма вероятно и после нынешней войны. Как Гомер представил тип возвращенца, так Петроний — тип победителя, и в этом его великая заслуга. Он — автор Species nova,[326] «хорошего» тона.

Кирххорст, 20 марта 1945

Утром Александр, который лежит с простудой в постели, показал мне сочиненную им сказку; пятеро подмастерьев превратились в лягушек.

Обедали вместе с Перпетуей и Ханной Викенберг, поскольку была большая стирка. Я рассказал несколько фацеций с тем настроением, какое Ханна определяет нижнесаконским прилагательным «waehlig», обозначающим некое подобие удовольствия с эротическим привкусом.

Потом возился в саду с сорняками, чьи корни и побеги, дабы не разрастались, нужно вытягивать осторожней, чем гвинейского

червя.

Однажды ночью мне снова явился Кньеболо; ему предстояла конференция с англичанами и я готовил для него комнату. Результатом конференции было объявление газовой войны. Я понимал, что в любом случае выигрыш будет за ним, ибо он достиг того уровня нигилизма, который ставил его вне партий, — для него был выгоден каждый мертвец, независимо от того, на чьей стороне тот находился. И я в связи с этим подумал: «Потому ты и приказал расстрелять стольких заложников, что мзду за них получишь в тысячекратном размере за счет невиновных».

И еще: «Вскоре всего добьешься, к чему с самого начала имел похотение».

Все это вызывало у меня чувство почти безучастного отвращения, поскольку моя крыша была уже пробита и меня раздражало, что дождь лился прямо на моих южноамериканских насекомых. Правда, от дождя они становились мягкими и гибкими, более того, мне казалось, что в них вливается жизнь.

Кирххорст, 21 марта 1945

Когда после одного из первых теплых дней поднимается дымка мартовского вечера, из борозд вспаханного и за несколько недель перед тем удобренного поля исходит сильнейший аромат. Его элементы слагаются из сильно спрессованных животных испарений, усиленных распадом, но, кроме того, они черпаются из брожения жизни с ее легионами бурлящих плодородием ростков. Это — поветрие, в коем сплавляются меланхолия и шалость и от коего возникает слабость в коленных чашечках. Это исконный жар земли и ее лона, земли бесстыдно оголенной, terra cruda nuda, источника всех цветочных ароматов. В них — здоровье, непосредственная живая сила, и не зря врачи старого закала при изнурительных хворях советовали спать в коровьем сарае.

Кирххорст, 24 марта 1945

Подснежники и крокусы вянут, зато распускаются анемоны, фиалки и желтые нарциссы.

Читаю стихи Иоанна Кристиана Гюнтера, уже давно, в прекрасном старом бреслауском издании, нашедшие достойное место среди моих книг. Это крепкая пища, в некотором роде женьшеневый корень барокко. Например, размышления наподобие следующего:

Вмиг голова ее у чресл моих лежит,
Зефир из ревности ей перси шевелит,

И тотчас Филомен, взглянув на эту позу,
Перстами нежными расстегивает розу.

«J’espère que les choses s’arrangeront».[327] Прощальные слова моего парижского парикмахера прошлым августом. Хоть и не совсем под стать ситуации, но все же хорошая мысль, и, если понять ее правильно, в ней заключена вся соль французского благоразумия.

Кирххорст, 25 марта 1945

Воскресное утро лучилось, пока не появились большие авиаэскадры и не разбомбили в Ганновере склад масел или резины, помрачив небо дымными облаками, как при солнечном затмении.

В письмах из провинций, расположенных дальше на запад, нас предупреждают о бреющих полетах, особенно опасных для детей.

Новалис, из «Гимнов к ночи»:

Любовь дана свободной
И больше нет разлук.
Стихией полноводной
Жизнь плещется вокруг — —

С отпадением границ сокращается также число земных конфликтов. Разлука и ревность. С этим связан уверенный ответ Иисуса на вопрос саддукеев, кому женщина, имевшая многих мужей, станет по воскресении женою. Мы проникаем в высший духовный элемент любви, всякое земное прикосновение которого есть лишь символ.

«Cum enim a mortuis ressurexerint, neque nubent, neque nebentur, sed sunt sicut angeli in caelis».[328]

Кирххорст, 28 марта 1945

Англо-американские группировки стоят в Лимбурге, Гисен-Ашаффенбурге и в предместьях Франкфурта.

С утра налеты, во время которых я частично работал в саду, частично за рабочим столом, размышляя, что каждый из грохочущих вихрей, сопровождающих свист бомбежки, отзывает людей дюжинами, возможно сотнями, — в том чистом ландшафте кошмаров без возвышенностей, откуда подается absolutio in articulo mortis.[329]

Нужно признаться себе и в том, что эта бойня вызывает в

мире удовлетворение. Немец находится сейчас в точно такой же ситуации, в какой находились в Германии евреи. И все же это лучше, чем видеть его неправым властелином; его несчастью можно посочувствовать.

Киркхорст, 29 марта 1945

Пятидесятый день рождения. Середина жизни, если ее измерять не локтем, а взвешивать на весах. И все же в нынешнем столетии это — почтенный возраст, если подумать о долгом опасном восхождении, выпавшем особенно на долю тех, кто не щадил себя и в обеих великих войнах стоял на опасных постах: в первой — в вихрях войны техники, во второй — в темных хитросплетениях демонического мира.

Новый год жизни начался с одинокого ночного бдения, во время которого я устроил себе небольшой праздник, прочитав следующие тексты:

1. 72-й псалом.
2. Гёте, «Орфические праслова».
3. Дросте-Хюльсхоф,{214} «Чистый четверг».
4. Иоанн Кристиан Гюнтер, «Утешительная ария».

Стихи Дросте описывают один из старых, тайных утесов моей жизни и одновременно властно призывают к смирению. Поэтому они особенно подошли для двойного празднования — по случаю дня рождения и по случаю Чистого четверга.

В «Утешительной арии» тоже есть удивительные места, как, например, такое:

> В срок на пальме будет плод,
> Будет в срок цвести алоэ;
> В срок печаль твоя пройдет
> И забудешь зло былое;
> Будет радость течь, как сок,
> Будет, будет — дай лишь срок.

После полудня пришел Розенкранц, вместе мы посадили буддлею, как приманку для бабочек, и чуть позже — генерал Лёнинг, вчера в Ганновере лишившийся квартиры вместе со всем имуществом. Однако нынче такие вещи волнуют едва ли больше, чем прежде — переезд. Перпетуя приготовила богатый стол и достала не только вино, но и бутылку шампанского, так что у нас получилась веселая трапеза.

Киркхорст, 1 апреля 1945

Американцы в Брилоне и Падерборне. На улицах нарастает

какое-то беспокойство, лихорадка, означающая приближение фронта. Крестьяне закапывают серебро и продукты и готовятся к уходу на болота. За деревней выкапывают защитные траншеи. Если, как запланировано, между расположенными в районе Штелле крупными батареями и надвигающимися на Штелле танками развяжется сражение, тогда с деревнями и усадьбами, пережившими Тридцатилетнюю войну, будет покончено. Я прошелся по дому, заглянув в разные помещения, в частности в свой кабинет и библиотеку.

Эрнстель. Когда в семье кто-нибудь умирает, это может означать, что как бы на случай приближения больших опасностей высылается форпост. Ибо там господствует знание; мы же ситуации не знаем.

Начал: Ивлин Вуд, «От морского кадета до фельдмаршала», главным образом для знакомства с английским флотом, который относится к великим учреждениям и чеканным формам нашего мира, подобно ордену иезуитов, прусскому Генеральному штабу или городу Парижу.

Книга начинается с осады Севастополя; Вуд участвует в ней в качестве кадета одной из высадившихся батарей H. M. S. «Queen». [330] В течение последних лет я наталкивался на изображение этого эпизода в разных книгах, например у Толстого и Галифе. Не случайно, что по-настоящему тяжелая и горестная сторона современной войны, где проступают ее качества и где она становится сплошным страданием, сразу же и со всей мощью выявляется в событиях, которые разыгрываются в России. Это ощутимо уже в 1812 году; в битве народов при Лейпциге русская черта проявляется так же отчетливо. Крымская и русско-японская войны предваряют все ужасы последующих войн техники, и наши глаза лицезрели тогда такой же невообразимый ад, как сталинградский или второй севастопольский. Когда Шпенглер предостерегал от всякой войны с Россией из соображений пространства, то он, как мы могли убедиться, был прав. Еще сомнительней каждое из этих нашествий становится по причинам метафизическим, поскольку приближаешься к одному из величайших носителей страдания, к титану, гению мученичества. В его ауре, в сфере его власти делаешься сопричастным такой боли, которая далеко превосходит всякое воображение.

И все же мне кажется, что немец там кое-чему научился, приобрел кое-какой опыт, — я чувствую это иногда по разговорам с солдатами, вырвавшимися из подобного котла.

После полудня разведывательная прогулка с Фрицем Майером по Ольдхорстскому болоту. В саду увядает второе цветение года, — мне особенно по душе ковер из нарциссов,

фиалок и анемонов. Свечение двух преобладающих цветов, благодаря участию белого, только усиливается. Словно излучается скрытая гармония целого и его частей; возможно, в игре красок присутствует та же истина, которая явлена в теореме Пифагора.

Кирххорст, 3 апреля 1945

Перед штурмом. После полудня пришел генерал Лёнинг с Дильсом, освобожденным из тюрьмы, чья жена, сестра Геринга, с ним развелась. У Дильса было хорошее настроение; Лёнинг упрятал его в униформу летчика-ефрейтора. Потом явился унтер-офицер с письмом от Манфреда Шварца, чтобы сделать копию с воззвания о мире; Манфред хочет взять ее с собой в Южную Германию. По-видимому, воззвание начинает действовать само по себе и независимо от автора.

Одновременно я принимал в библиотеке командиров фольксштурма для раздачи приказов. В последние недели мне не удалось записать подробности, в высшей степени напряженные и запутанные. Фольксштурм — организация партии; его действиями она руководит из Бургдорфа. В функции фольксштурма входит также сотрудничество с бургомистрами, предводителями крестьянства, «Трудовой повинностью» и военными объединениями. Это ведет за собой уйму неприятных контактов. Приближение катастрофы обнажает их еще больше. Как сообщает радио, у многих местных правителей замечена тенденция сводить счеты с жизнью при помощи пистолета. Это вызывает уважение, но является своего рода и дезертирством. Не хотелось бы содействовать их стремлению облегчать себе развязку подобным способом, да еще за свой собственный счет.

Все командиры фольксштурма — владельцы усадеб; гвельфы как этническое единство представляют собой последнюю политическую реальность в этом пространстве. Мы обсуждали с ними строительство противотанковых сооружений. На прощанье, как бы уйдя в свои мысли, кто-то растерянно заметил: «Усадьбы нужно сохранить». От нас это, правда, не зависит. Но у меня осталось впечатление, что каждый приветствовал это от всего сердца.

Кирххорст, 4 апреля 1945

Впервые мне приснился Эрнстель — по крайней мере в том слое, какой охватывается воспоминанием. Он был при смерти, и я обнимал его. Я слышал его прощальные слова, одновременно в них скрывалась надежда на свидание.

Кроме него, облаченного в темно-синюю матросскую форму,

мне снился также Пфаффендорф, мой товарищ по первой мировой войне. Его характер, сохранив свой тип, изменился. Он стал нотариусом в заштатном городишке и устроил для меня банкет, на который явилась уйма странных и чем-то испуганных гостей. Проснувшись, я вспомнил, что он, кажется, находился в Касселе, захваченном вчера после краткой, но ожесточенной битвы.

Утром меня навестил фельдмейстер крупной батареи и поинтересовался, как я собираюсь обеспечивать боеготовность фольксштурма, если появятся танки. Поскольку у меня есть на этот счет собственное мнение, то я ему сказал, что надеюсь на подкрепление и оружие. Тут он раскрыл мне свой план: дальнобойными орудиями «утрамбовать» лагеря военнопленных, как он выразился.

Поскольку сумасшедшим следует, по возможности, возражать с помощью их же собственных доводов, то я ему ответил, что подобными действиями он достигнет только обратного, — лагеря развалятся от первых выстрелов, и доведенные до отчаяния лагерные обитатели заполонят всю страну. Но затем заявил ему открыто, что буду сопротивляться этому силой, призвав население. В его лице я познакомился с человеком, соединяющим в себе тупость с жестокостью, что в нашем мире не такая уж редкость. Типологические черты характеров, обеспечивающих грубый исторический процесс, скомпонованы по следующему рецепту: технический ум, глупость, добродушие, жестокость, всего по четвертинке, — вот смесь, не ведая о которой никогда не поймешь противоречий эпохи.

После полудня вместе с унтер-офицером проверял переписанный с оригинала текст «мира». Офицер уехал вечером, подождав, пока я напишу краткое предисловие, и захватив с собой два экземпляра. Этот текст я посвящу Эрнстелю.

Кирххорст, 5 апреля 1945

Англичане все еще стоят на Везере, переход через который тем не менее состоится в ближайшие дни. Гаулейтер Ганновера распространяет кровожадный призыв — бороться до последнего, но Лёнингу было известно, что он уже принимает меры для личного спасения. Крестьяне закапывают утварь, часть ее прячут в подвалы, а кое-что уничтожают.

Оживленное движение на дорогах привело к тому, что нет-нет, да и зайдет кто-нибудь из знакомых, как сегодня, например, лейтенант Вольны, направляющийся к Везеру. У него были вести от Никиша. Говорят, что предусмотрена «ликвидация» всех заключенных. Никиту удалось передать жене письмо, где он

писал, что, пожалуй, это будет самым разумным завершением его судьбы. Все его пророчества, высказанные, в частности, в трактате «Гитлер, злой фатум Германии», исполнились. Но его жена еще надеется, что до уничтожения дело не дойдет. Об этой судьбе я размышляю с особым чувством горечи.

Кирххорст, 6 апреля 1945

Видел высокий, как рождественская елка, дуб, увешанный меч-рыбами выше человеческого роста. Цвет этих созданий, вертевшихся на шелковых лесках, перламутровой зыбью переливался от глубокого серебряно-голубого до всех красок радуги. Игрушкой, которую совместно смастерили Нептун, Диана и Гелиос, я любовался из некоторого отдаления, одновременно слушая бой курантов.

Английские головные танки перешли Везер и остановились у Эльце. Был призван фольксштурм, дабы укомплектовать команду противотанковых заграждений; в связи с этим я поехал в Бургдорф за информацией.

Дороги уже были переполнены устремившимися с востока беженцами. В Бургдорфе царило большое оживление. Корзины и домашняя утварь были стащены в подвалы. Я переговорил с командирами фольксштурма и предводителями округов; казалось, духи жизни оставили их. Еще отдавались приказы к сопротивлению и особенно — к подрыву танков, но все больше формы ради, ибо в соседних комнатах уже вовсю укладывали вещи. Я произнес краткую речь против какого бы то ни было насилия над заключенными, но и склонности к этому ни в ком не обнаружил.

Нижнесаксонские крестьяне становятся благоразумны, когда дело касается их усадеб. Правда, пока еще опасно заявлять открыто, что усадьбы-де желательно сохранить; кое-кто из бургомистров, пытавшихся это сделать, был поставлен к стенке. Что же касается меня, то, смею думать, ради спасения этих старых насиженных мест я не жалел сил.

Через два-три дня мы увидим на нашей меже вражеские отряды. Со времен наполеоновских войн данный спектакль повторяется впервые, если не считать 1866 года. На этом повороте мне очень не хватает Эрнстеля.

Кирххорст, 7 апреля 1945

Солнечное утро после прохладной ночи. Пленные большими колоннами уходят на восток. Летчики «бреют» дорожную траву; слышны грохочущие залпы бортовых орудий. Далеко впереди, кажется, попали в цель; целый табун лошадей с развевающимися

гривами и пустыми седлами галопом унесся прочь. Время от времени заходят пленные, ища укрытия. Так, сарай заполонил отряд русских, набросившихся на кучу моркови. Перпетуя раздает им куски хлеба. Потом — поляки; спрашиваю одного из них, не намерен ли он сразу же пробираться к восточной границе;

— О нет, только через год. Пусть сначала уйдут русские.

Уже намечаются новые конфликты.

После завтрака опять раздается голос радиодиктора: «Танки продолжают продвигаться на северо-восток и угрожают столице округа».

Улица пустеет. Видно, как крестьянские тележки выезжают на болото, белые и красные матрасы сверкают далеко вокруг. Сосед Ламанн тоже запрягает — «ради лошадей», сам же еще собирается на поле сажать картошку.

После полудня «продергивал» редиску, спал и закончил читать Вуда; время от времени заходили беженцы. К несчастью, из-за вчерашней поездки под дождем я сильно простудился. Записываю это не столько для того, чтобы пожаловаться на неудобства, сколько потому, что в подобных обстоятельствах необходима особая острота наблюдения.

В остальном ситуацию нельзя назвать неприятной. Партийные приказы, продуктовые карточки, полицейские предписания потеряли свою злободневность. Ганноверское радио тоже перестало вещать. Голоса, годами упивавшиеся фальшивым пафосом, замолкают в час опасности, когда информация о положении дел населению жизненно необходима. Не слышно даже сирен воздушной тревоги.

Кирххорст, 8 апреля 1945

Ночь прошла спокойно. Принял хинин, после чего грипп немного сдался. Перед этим прочитал несколько охотничьих рассказов Тургенева, их я ценю с давних пор, хотя мне и мешает роскошное парижское ружье, с которым он разгуливает по лесам.

День рождения моего дорогого отца, столь жаждавшего узнать, чем же закончится эта война и каким по ее окончании окажется образ нового мира. Но об этом он, безусловно, узнать успел — я вспоминаю прекрасное высказывание Леона Блуа, где он говорит, что дух в момент смерти переживает историю в субстанции.

Англичане стоят у Паттенсена, у Брауншвейга и на побережье. Беженцы все еще покидают город.

После полудня мощные взрывы в окрестностях; огромные облака дыма поднялись в районе Винзена-на-Адлере. И все-таки приятно, что гнет, который сопровождал господство партии более

двенадцати лет и атмосферу которого я ощущал сам, продвигаясь маршем по Франции, рассеивается вместе с дымом.

Вечером артиллерийский огонь вблизи Херренхаузена, отмеченный точечными вспышками взрывов.

Кирххорст, 9 апреля 1945

Снова хинин. За ночь дорога переполнилась солдатами, отступавшими беспорядочным потоком. Вошел молодой унтер-офицер; Перпетуя снабдила его шляпой и плащом.

Утром с Везера возвратился д-р Мерсье. Я подарил ему машинописную копию воззвания к миру.

В течение всего дня в нашей обширной болотистой местности то там то здесь раздавались орудийные залпы. Впечатление такое, будто американцы пропитываются ею, как фильтровальная бумага.

После полудня распространились слухи, что мы попали в котел. Вечером, где-то совсем близко, — пистолетные и ружейные выстрелы.

Кирххорст, 10 апреля 1945

Беспокойная ночь. С наступлением дня при плотном тумане начинают стрелять штелльские орудия, короткими резкими залпами, вдоль самого дома. Жители, кое-как одевшись, бросаются в сад и прячутся в бункере. Я пишу это в кабинете под звуки очередных залпов, от которых дом содрогается, как наковальня под ударами кузнечного молота.

Наконец проглядывает солнце. После полудня в деревню прибывают две американские бронированные машины из Нойвармбюхена, берут в плен четверых солдат противовоздушной обороны и поворачивают назад. Рассказывают, что в Шиллерслаге, Ольдхорсте и других местах появились танки. Штелльская батарея расставила по краю местности стрелков, снабдив их фаустпатронами, и продолжает огонь. До самой ночи слышно, как они постукивают, и видно, как светящиеся снаряды перелетают через дом, направляясь в сторону Гросбургведеля. Следом — энергичная перестрелка в лесах вокруг Кольсхорна.

Кирххорст, 11 апреля 1945

На рассвете нас разбудил грохот танков. Штелльские орудия в бой не вступили. Ибо их расчет ночью скрылся, взорвав пушки последними снарядами и расправившись со своим фельдмейстером, пытавшимся бежать, переодевшись в штатское. Это был тот самый человек, который мечтал сровнять с землей лагеря военнопленных. И вот теперь его труп лежит в пожарном

депо.

В девять часов мощный, все более нарастающий размалывающий звук оповестил о прибытии американских танков. На улице ни души. Глазу, ослепленному утренним светом, улица видится еще оголенней, будто из нее выкачали воздух. В этой полосе, как уже не раз бывало, я чувствую себя последним, кто обладает командной властью. Вчера в связи с этим отдал единственный приказ: занять позиции противотанковых заграждений и затем отойти, как только покажется острие танкового клина.

Между тем, как и всегда в таких ситуациях, о чем мне докладывают наблюдатели, разыгрываются непредвиденные сцены. Заграждение расположено в «оборонительном кустарнике» старого ландвера у Данны, возле участка леса, когда-то приобретенного моим отцом. Там появились двое неизвестных и заняли позицию у опушки, вооружившись фаустпатронами. Головные танки замечают их и останавливаются, так как нужно время, чтобы отрядить стрелков, которые разоружат и возьмут их в плен.

Затем приходит еще один странник-одиночка и останавливается неподалеку от заграждения у лесной тропы. В тот момент, когда показывается первая серая машина с пятиконечной звездой, он разряжает пистолет себе в голову.

Я стою у окна и через сад, еще не покрывшийся листвой, смотрю на шоссе. Размалывающий гул приближается. Затем медленно, как фантом, мимо проскальзывает танк с ослепительно белой звездой. За ним, держа плотный строй, многочасовым потоком тянутся бесчисленные военные машины. Их сопровождают небольшие самолеты. Зрелище, сочетая в себе военную и техническую униформированность, производит впечатление высшей степени автоматизма, словно с грохотом движется кукольный парад, процессия опасных игрушек. Временами команда «стоп» осаживает колонну. Тогда марионетки, будто их тянут за нить, качнувшись, наклоняются вперед, а вновь трогаясь с места, откатываются назад. Поскольку наш взгляд всегда приковывают отдельные детали, то мне бросаются в глаза выставленные для сигналов прутья, которые раскачиваются над танками и сопровождающими их машинами: они вызывают во мне впечатление магического лова, разве что для поимки Левиафана.

Непрерывно, медленно, но неотвратимо катится поток, стихия из людей и стали. Огромные запасы взрывчатки, которую перевозит подобное войско, окружают его жутким свечением. И вновь, как уже было в 1940-м на военных дорогах в окрестностях

Суассона, я ощущаю вторжение могучей сверхвласти в совершенно поверженную сферу. Та же тоска, какую я испытывал тогда, охватывает меня и теперь. Как хорошо, что этого не видит Эрнстель, это причинило бы ему слишком сильную боль. От такого поражения не оправиться во веки, как уже было после Йены или Седана. Оно означает поворот в жизни народов, — речь идет не только о физической смерти множества людей, но и о гибели того, что волновало нас в нашей сокровенной сути.

Можно видеть необходимое, понимать его, хотеть и даже любить и при этом страдать от невыносимой боли. Знать это нужно, дабы постигнуть нашу эпоху и ее людей. Что значат муки рождения или смерти в этой игре? Может быть, и те и другие — суть одно и то же, как, например, заход солнца для иных миров является его восходом.

«Побежденная Земля дарит нам звезды». Слово сие истинно в непостижимости пространственного, духовного и надмирного смыслов. Крайние усилия предполагают крайнюю, еще неведомую цель.

Ю. Н. Солонин
Дневники Эрнста Юнгера: впечатления и суждения

Издав нынешний том сочинений Эрнста Юнгера, издатели серии «Дневники XX века» выполнили свое обещание представить отечественному читателю уникальный памятник художественного творчества и мысли европейской культуры, какими являются, по общей оценке, собрание дневников и созданные на их основе литературные произведения этого замечательного немецкого писателя.[331]

В литературном наследии Юнгера дневники занимают совершенно особое место, подобных записей нельзя обнаружить ни у одного из известных нам писателей, даже если те и одарили литературу исключительными по достоинству произведениями такого рода. Уже первая его книга, «В стальных грозах», при всех жанровых и стилистических отклонениях в формальном отношении является дневником солдата.[332] На основе фронтовых записей периода первой мировой войны сделаны и последующие его вещи, такие как «Лесок 125. Из хроники окопных боев 1918 года» или «Огонь и кровь. Маленький фрагмент великой битвы», изданные в 1925 г. К этим записям Юнгер возвращался неоднократно как при многочисленных переизданиях своих первых произведений, так создавая и новые. В каком-то смысле они могут играть роль формального критерия, по которому выделяется первый период творчества писателя, рубеж которого мы определяем 1935 г. Привычка вести дневник не покинула Юнгера и после первой мировой войны. Она сопровождала всю его необыкновенно продолжительную творческую жизнь даже в те годы, когда эта склонность могла стать причиной неприятных последствий для ее обладателя. Он и сам осознавал эту опасность и сталкивался с нею в годы фашистского режима. Выражение опасения за судьбу своих дневников читатель встретит и на страницах этого издания дневников периода второй мировой войны. Постепенно у писателя выработались особая техника и способность вести записи практически в любых условиях.

С 1927 г., когда Юнгер совершает свое первое путешествие во Францию, начинается длившийся почти до конца его жизни период заграничных путешествий и поездок, охвативших едва ли не весь земной шар. Даже служебная командировка на Восточный

фронт в 1942–1943 гг., в ходе которой Юнгер побывал в конечных южных точках немецкой оккупации территории СССР, приобрела характер изучения нового, неизвестного ему народа, а также культуры страны, всегда тревожно волновавшей воображение писателя, возбужденного русской литературой, донесшей европейцам дух какой-то совершенно особой жизни. Все эти поездки непременно воспроизводились в его подробнейших дневниковых записях. В рукописном наследстве Юнгера они составляют основную массу материала, и именно они лежат в основе всего его литературного творчества. Немецкие издатели первого 18-томного собрания сочинений Юнгера (1978–1983) выделили дневники и созданные непосредственно на их материалах книги в отдельную группу произведений, составивших шесть объемистых томов. Они включают только то, что было опубликовано в разные годы самим Юнгером. Исследователей его творчества чрезвычайно интересует вопрос, в каком отношении находится все опубликованное к первоначальным оригинальным записям. Однако публикация этих записей, т. е. дневников в точном смысле слова, — дело, видимо, весьма отдаленного будущего. Впрочем, оставим эти заботы литературоведам.

Чтение дневников Эрнста Юнгера — серьезная, интеллектуальная работа. Это не записи выдающегося деятеля, прожившего сложную, полную драматизма, потрясающих событий и незабываемых встреч жизнь. Это не полнокровное, документально точное описание быта и жизни германского общества времен великих трагических потрясений. Это не опыт воспроизведения психологии нравов социальных сословий и не галерея литературных портретов выдающихся лиц тех времен. Конечно, кое-что из указанного перечня можно встретить на этих страницах, но это «кое-что» не только не характерно, но даже и не обращает на себя внимания. Так, Юнгер, будучи в Париже, где он провел большую часть своей военной службы во время второй мировой войны, встречался почти со всеми выдающимися деятелями французской культуры и искусства, которые оставались в оккупированной столице: Пикассо, Саша Гитри, Жан Кокто и многие другие. Отдельные любопытные штрихи их быта читатель найдет в записях Юнгера, но как живые личности они в них не присутствуют. Кажется, что в этом качестве они писателя и не интересуют. Невольно думаешь, что он — не мастер литературно-психологического портрета. Возможно, это и так. Но является ли это слабой стороной его таланта?

Современные юнгероведы тратят немало сил, чтобы получить ясность в жанровой специфике того, что обычно именуется

дневниками писателя. Не является секретом для них и содержательная особенность текстов, в том числе и отмеченная выше «непортретность» их персонажей. До улаживания споров по этим темам еще далеко, но существует согласие, что тайна своеобразия дневников порождена особым типом литературного или, вернее, художнического воображения автора. Юнгер представляет собой тип писателя, у которого литературный талант наплавлен на мощную основу метафизической созерцательности. Для Германии первой половины прошлого века этот тип был отнюдь не редкостью. Мы относим к нему и Рильке, и Томаса Манна, и Германа Гессе, и Готфрида Бенна. Они, в точном смысле, — писатели-метафизики, писатели-мифотворцы. Для них литературная форма оказалась наиболее адекватным средством развития и просветления метафизических интуиций, объектом созерцания которых стали глубинные и сокрытые основания человеческого существования, исторического бытия, а также те силы, которые связывают нашу конкретную экзистенцию с жизнью таинственного космического универсума. Неслучайно, что кумирами писателей этого типа были Гёте, Ницше и Шопенгауэр, у которых метафизическое созерцание уже тяготело к художественной технике воображения, но еще не перешло ту грань, за которой оно попросту расплывалось бы в зыбкой метафорике художественных образов. Такое понимание специфики литературного таланта Юнгера, надеюсь, делает понятной известную «деперсонизацию» дневников. Накопление деталей быта, жизни и психических характеристик является в самом точном смысле эмпирическим материалом, несовместимым с основной линией художественно-метафизического усмотрения сущего.

В противоположность портретному психологизму Юнгер проявляет себя величайшим мастером обобщающе-экспрессивного наведения на глубинные сокрытые структуры происходящего. Средством нередко служат странные ассоциации, уподобления и аллюзии. С их помощью сплетается иногда очень сложная интеллектуальная ткань созерцаемого, и от читателя требуется немалое мужество, чтобы проникнуть в самую сердцевину юнгеровских рассуждений. Любопытно, что емкость описания объектов органической природы — насекомых, растений, моллюсков — у Юнгера зачастую более красочна и образна, чем точность описания мира людей. Вот почему хотя бы общее знакомство с юнгеровской социальной философией и метафизикой истории и человека принципиально необходимо для понимания как содержания дневников, своеобразия художественного мышления их создателя, так и оценки их

жанровой особенности.

Для указанного собрания сочинений, из которого и сделаны наши отечественные переводы, Юнгер сгруппировал свои дневники следующим образом. Первую группу составили записи, относящиеся к периоду первой мировой войны. Следующую группу сочинений, имеющих жанровый признак дневников, он назвал «Излучения», они состоят из четырех частей. В «Излучения I» вошли «Сады и улицы» — дневники, охватывающие период с апреля 1939 г. по июль 1940 г. Над Европой сгущаются грозовые облака новой войны, которая после Мюнхенского соглашения и аннексии Чехословакии становится неизбежной. Но обыватель все еще находится в приятном состоянии хлопотливой повседневности, подавляя в себе чувство необъяснимой тревоги. Сам Юнгер после серии путешествий, которыми была насыщена большая часть предшествующего десятилетия его жизни, выбирает для поселения маленькое местечко близ Ганновера, почти что его предместье — Кирххорст, где и обосновывается в бывшем доме пастора. Начинается новая полоса жизни, завершение которой предсказать не взялся бы никто. Заботы о маленьком приусадебном огороде, изучение с натуралистической тщательностью флоры и фауны окрестностей городка, переписка, чтение, редкие встречи и беседы — вот основные элементы заново складывающегося быта.

С этого и начинаются дневниковые записи, составившие будущую книгу. Но центром, сосредоточивающим на себе всю интеллектуальную энергию Юнгера в этот период, становится реализация нового литературного замысла. Литературная фантазия, соединявшая элементы мифологии, преображенных биографических обстоятельств и социальных реалий в интенсивно-интеллектуальную утопию, — жанр, который Юнгер нередко именовал «каприччо», — была начата еще в феврале на Бодензее. Первоначальное ее название, несколько модернистически вычурное — «Царица змей», вскоре заменяется новым — «На мраморных скалах»,[333] под которым она и вошла в литературу. Повесть была завершена 28 июля 1939 г. Кажется, после «Стальных гроз» она стала второй самой известной художественной вещью Юнгера, принесшей ему к тому же немало тревог. В некоторых сюжетах этой фантазии Европа усмотрела прозрачные аллюзии на внутреннее положение Германии, в частности на практику концентрационных лагерей, а также на его неприятие. Цензура обратила внимание высшего партийно-политического руководства страны на невозможность публикации этого произведения. Тем не менее прямых репрессий в отношении книги и ее автора не последовало; более того, она издавалась в

Германии вплоть до 1942 г. не менее шести раз, и один раз даже была выпущена оккупационными властями в Париже. Существует свидетельство, что разрешение на публикацию было дано лично Гитлером. Именно история кристаллизации этой фантазии в литературный шедевр и хлопоты по ее изданию и составляют содержание первой части указанной дневниковой книги.

Ток устоявшейся, даже идиллической жизни прерывается 1 сентября, когда вступлением Германии на территорию Польши началась вторая мировая война. Для Юнгера в развитии событий не было ничего неожиданного: он явственно ощущал, что «призрак войны со временем приобретал все более и более реальные очертания». За несколько дней до ее начала в Германии прошла мобилизация, и он был призван с присвоением звания капитана. Жизнь Юнгера начинала свой как бы повторный круг. Он снова в мундире, снова на переподготовке, снова в походных колоннах, движущихся на запад, снова почти в тех же местах, в которых прошли его долгие окопные бдения и изнурительные позиционные бои времен первой мировой. Вот только восприятие, отношение и оценка происшедшего — прямо противоположные. «6 ноября, во втором часу утра, выступили из Бергена. Бестолковая суета, такая омерзительная при погрузке, мне показалась духовным обновлением со времени первой мировой. Весьма недвусмысленно ощутил я некий озноб, какое-то излучение от холодной работы бесов, особенно под дребезжание молотов и цепей, пронизывающее ледяной воздух». Не стоит труда установить разницу в эмоциональном состоянии Юнгера «образца 1914 года» и Юнгера, вступающего в геенну новых потрясений.

Начало войны, названной на Западе «странной», не сулило больших неприятностей. Боев не было, были только утомительные марши при почти полной лояльности населения занимаемых территорий. Юнгер не изменяет своим привычкам: в походе он читает, осуществляет экскурсии, изучает быт, охотно посещая места и навещая людей, известных ему со времен прежней войны. И размышляет. Все это и составляет содержание «Садов и улиц». Их полное отдельное издание было осуществлено в 1942 г., и тогда же вышел их французский перевод. Библиографы отмечают, что с издания этой книги фактически прекращается публикация произведений Юнгера в Германии. Действует негласный запрет, запрет же официальный мотивируется еще не столь давно известным у нас предлогом: отсутствием бумаги.

Две другие дневниковые книги из «Излучений I» входят в состав настоящего издания. Это «Первый Парижский дневник» и

«Кавказские заметки». Первая непосредственно примыкает к «Садам и улицам», — разрыв во времени, не отраженном в изданных дневниковых записках, чуть более полугода. Но за этот краткий промежуток изменилось многое как в мире, так и в душе Юнгера. Он по-прежнему оставался в оккупационных войсках во Франции. Несмотря на то что военные действия внешне носили спокойный характер, не представляя опасности, сводясь к маршам и кратковременным квартированиям в провинциальных городках Восточной Франции, в целом война приобретала совершенно новый характер и другие масштабы. Внешне стиль жизни Юнгера все тот же: он изучает окрестности маленьких городков, через которые проходила его часть, наблюдает за их фауной, главным образом за насекомыми, интересуется антикварной литературой, которую задешево покупает в провинциальных лавочках, заводит местные знакомства и прочее. Записи начальных страниц дневников наполнены подобными мелочами, рождая иногда впечатление идиллической гармонии между местным населением и оккупантами. И сны. Фиксация снов, их подробный пересказ, обмен содержанием сновидений с ближними, особенно в переписке с братом, — особенная черта мемуаристики Юнгера, отчетливо выступающая уже в «Садах и улицах».

стала второй самой известной художественной вещью Юнгера, принесшей ему к тому же немало тревог. В некоторых сюжетах этой фантазии Европа усмотрела прозрачные аллюзии на внутреннее положение Германии, в частности на практику концентрационных лагерей, а также на его неприятие. Цензура обратила внимание высшего партийно-политического руководства страны на невозможность публикации этого произведения. Тем не менее прямых репрессий в отношении книги и ее автора не последовало; более того, она издавалась в Германии вплоть до 1942 г. не менее шести раз, и один раз даже была выпущена оккупационными властями в Париже. Существует свидетельство, что разрешение на публикацию было дано лично Гитлером. Именно история кристаллизации этой фантазии в литературный шедевр и хлопоты по ее изданию и составляют содержание первой части указанной дневниковой книги.

Ток устоявшейся, даже идиллической жизни прерывается 1 сентября, когда вступлением Германии на территорию Польши началась вторая мировая война. Для Юнгера в развитии событий не было ничего неожиданного: он явственно ощущал, что «призрак войны со временем приобретал все более и более реальные очертания». За несколько дней до ее начала в Германии прошла мобилизация, и он был призван с присвоением звания

капитана. Жизнь Юнгера начинала свой как бы повторный круг. Он снова в мундире, снова на переподготовке, снова в походных колоннах, движущихся на запад, снова почти в тех же местах, в которых прошли его долгие окопные бдения и изнурительные позиционные бои времен первой мировой. Вот только восприятие, отношение и оценка происшедшего — прямо противоположные. «6 ноября, во втором часу утра, выступили из Бергена. Бестолковая суета, такая омерзительная при погрузке, мне показалась духовным обновлением со времени первой мировой. Весьма недвусмысленно ощутил я некий озноб, какое-то излучение от холодной работы бесов, особенно под дребезжание молотов и цепей, пронизывающее ледяной воздух». Не стоит труда установить разницу в эмоциональном состоянии Юнгера «образца 1914 года» и Юнгера, вступающего в геенну новых потрясений.

Начало войны, названной на Западе «странной», не сулило больших неприятностей. Боев не было, были только утомительные марши при почти полной лояльности населения занимаемых территорий. Юнгер не изменяет своим привычкам: в походе он читает, осуществляет экскурсии, изучает быт, охотно посещая места и навещая людей, известных ему со времен прежней войны. И размышляет. Все это и составляет содержание «Садов и улиц». Их полное отдельное издание было осуществлено в 1942 г., и тогда же вышел их французский перевод. Библиографы отмечают, что с издания этой книги фактически прекращается публикация произведений Юнгера в Германии. Действует негласный запрет, запрет же официальный мотивируется еще не столь давно известным у нас предлогом: отсутствием бумаги.

Две другие дневниковые книги из «Излучений I» входят в состав настоящего издания. Это «Первый Парижский дневник» и «Кавказские заметки». Первая непосредственно примыкает к «Садам и улицам», — разрыв во времени, не отраженном в изданных дневниковых записках, чуть более полугода. Но за этот краткий промежуток изменилось многое как в мире, так и в душе Юнгера. Он по-прежнему оставался в оккупационных войсках во Франции. Несмотря на то что военные действия внешне носили спокойный характер, не представляя опасности, сводясь к маршам и кратковременным квартированиям в провинциальных городках Восточной Франции, в целом война приобретала совершенно новый характер и другие масштабы. Внешне стиль жизни Юнгера все тот же: он изучает окрестности маленьких городков, через которые проходила его часть, наблюдает за их фауной, главным образом за насекомыми, интересуется

антикварной литературой, которую задешево покупает в провинциальных лавочках, заводит местные знакомства и прочее. Записи начальных страниц дневников наполнены подобными мелочами, рождая иногда впечатление идиллической гармонии между местным населением и оккупантами. И сны. Фиксация снов, их подробный пересказ, обмен содержанием сновидений с ближними, особенно в переписке с братом, — особенная черта мемуаристики Юнгера, отчетливо выступающая уже в «Садах и улицах».

Сюжеты сновидений плотно входят в ткань обычных дневниковых заметок, описываются с такой же основательностью, как и реальные наблюдения, и нередко при недостаточно внимательном чтении не замечаешь, как действительность сменяется ирреальным. Это — важная черта поэтики дневниковой прозы Юнгера, уходящая корнями в его эстетику и далее — в глубины понимания им человека, культуры и бытия. В сновидениях представлены вещие знаки сущего, не только предсказания, но и разъяснения судеб, относительно которых в нас живут лишь смутные предчувствования. Несомненно, они — явное свидетельство влияния на мышление Юнгера аналитической психологии К. Г. Юнга, воздействие которой становится ощутительно в философской позиции писателя с конца 20-х годов. Вот, например, первый, наугад взятый образчик (запись от 12 апреля 1941 г.): «Новые планы, новые идеи. Еще не поздно. Во сне мне явилась прекрасная женщина; она нежно целовала меня в закрытые глаза. Потом какое-то ужасное место, куда я попал, открыв оплетенную колючей проволокой дверь; безобразная старуха, певшая чудовищные песни, повернулась ко мне задом, высоко подняв свои юбки». Даже принимая во внимание ту свободу произвола, которая представлена нам при толковании снов, нельзя не подивиться вещему смыслу в перспективе того, как складывалась жизнь Юнгера вплоть до конца войны. Остается гадать о мере аутентичности опубликованного текста первоначальной записи.

В конце апреля часть, в которой состоял Юнгер, размещается в Париже, и именно с этим городом главным образом и будут связаны почти все записи дневника военных лет.

Подобно тому как «Сады и улицы» имеют два важнейших событийных центра — завершение работы над романом «На мраморных скалах», манифестировавшего уход Юнгера во внутреннюю эмиграцию, и начало новой мировой войны, — так и парижские дневники содержат свои центры, организующие весь представленный в них событийный ряд. Первый из них — обоснование в Париже, второй — нападение на СССР,

сообщившее войне роковой характер, в чем у Юнгера не было ни малейшего сомнения. Ни у него, ни у кого-либо из группы высших офицеров оккупационного корпуса, к которой стал принадлежать и Юнгер, не было иллюзий относительно конечного исхода войны — новой катастрофы Германии.

Мы не можем сейчас сказать, как создавалась эта книга. Первые ее фрагменты были опубликованы под названием «Излучения. Из неопубликованного военного дневника» в венском журнале «Слово и истина», ежемесячнике религии и культуры в 1948 г., когда еще действовал запрет на издание сочинений Юнгера. Полностью в составе с другими дневниками военного времени она была издана в 1949 г. Заканчивается «Первый Парижский дневник» временем отъезда Юнгера на Восточный фронт поздней осенью 1942 г.

«Кавказские заметки» охватывают период с конца октября 1942 г. до середины февраля 1943 г. и выделены Юнгером в отдельный дневниковый блок, поскольку тематически определены мыслями и впечатлениями, рожденными поездкой в Россию. Длительность пребывания там составила менее трех месяцев, а о том, как возник замысел командировки и как проходило ее оформление, кое-что мы узнаем из предыдущего дневника. Но именно «кое-что». Конкретное служебное обоснование и цель поездки никак не прояснены. Возможно, эта затемненность неслучайна и продиктована осторожностью, которую должен был соблюдать круг лиц, постепенно формировавших военную оппозицию гитлеровскому режиму. Не принимая непосредственного участия в деятельности этого круга, Юнгер тем не менее сочувствовал и содействовал ей. В любом случае, во многое он был посвящен. Само «пробивание» командировки заняло много времени: судя по всему, Берлин долго медлил с разрешением.

Видимо, невыгодная репутация Юнгера в высших партийно-правительственных сферах рейха уже давно утвердилась. Следовательно, исходившая из Парижа инициатива вызывала естественное подозрение. Как уже было сказано, безопасность Юнгера в определяющей степени покоилась на личной благожелательности к нему Гитлера. Этот аспект биографии Юнгера представляет известную проблему для всех юнгероведов; при отсутствии документальных источников им приходится, по сути, основываться на двух фактах: на всем известном сентиментальном отношении фюрера к герою и ветерану первой мировой войны, так сказать, своему комбатанту, а также, возможно, на «зачете» заслуг Юнгера в развитии правоконсервативного и протофашистского движения в начале

20-х годов.

Специалисты обсуждали вопрос о том, насколько реальными были шансы Юнгера объединить и возглавить, хотя бы морально и духовно, нарождающееся движение. В поведении писателя улавливают и амбиции на реальное лидерство, которые, к счастью, не развились, а потом и вовсе зачахли, сменившись на отстраненность от движения, от его политической идеологии и от участия в различных формах государственной и общественной деятельности, к которому его призывали. Намечавшаяся в начале 30-х годов встреча с Гитлером не состоялась, и наиболее откровенным свидетельством, документирующим специфичность отношения Юнгера к главе фашистского движения и режима, доныне остается короткая дарственная надпись на преподнесенной ему вышедшей в 1926 г. книге «Огонь и кровь»: «Национальному вождю Адольфу Гитлеру! Эрнст Юнгер». Но и она многого стоила. Перспективы фашистского движения еще были туманны, но Юнгер, блистательный представитель новой прозы, человек почти легендарной храбрости и безупречного нравственного авторитета, принятый несмотря на свое бюргерское происхождение и малые чины в круг новой военной элиты, озабоченной поисками путей возрождения Германии, безоговорочно признавал в личности Гитлера общенационального лидера и уступал ему дорогу.

В публикуемых дневниках нигде не встречается прямого осуждения фюрера, как, впрочем, и восторгов. Имеются отдельные упоминания его имени, по которым судить о юнгеровских оценках этого персонажа мы не вправе. Благосклонное отношение Гитлера к Юнгеру если и не содействовало его карьере, то, во всяком случае, предохранило от смертельной опасности в самые критические моменты жизни. Именно благодаря вмешательству фюрера смогла увидеть свет фантазия в прозе «На мраморных скалах», запрещенная первоначально к изданию нацистской цензурой, верно уловившей ее разоблачительный пафос. И самое важное: Юнгер был исключен Гитлером из списков привлекаемых к суду участников событий 20 августа 1944 г., хотя его поведение в кругу «парижских заговорщиков», куда уходили нити покушения, давало веское основание для осуждения. Как известно, он отделался отставкой «за непригодностью». [334]

Как бы то ни было, разрешение на поездку в Россию было получено. 23 октября 1942 г. Юнгер совершает определяемые воинским ритуалом прощальные процедуры и отбывает на Восток.

Поездка в Россию, издавна занявшую в творчестве,

размышлениях и теоретических построениях писателя особенное место, имела исключительное значение. Русский мотив, точнее «русский сюжет», по какому-то неощутимому закону, но внешне непроизвольно, постоянно и вместе с тем неожиданно возникает на страницах дневниковых записей, сообщая им своеобразную таинственную и интригующую окраску. То естественные обстоятельства жизни нежданно приводят его в соприкосновение с русским элементом европейской жизни, то размышления о смысле происходящего или природе основополагающих человеческих отношений невольно заставляют его обращаться к глубинным нравственно-психологическим проникновениям Ф. М. Достоевского или А. Н. Толстого. И всякий раз «русский сюжет» затрагивает не столько эмоциональный, сколько духовный его мир. Обратимся к тексту. Как-то во время случайной развлекательной отлучки в Париж Юнгер попал в увеселительное заведение, обслуживаемое русскими эмигрантами, и вместо того чтобы насладиться известного рода солдатскими утехами, весь вечер просидел возле маленького меланхолического существа двадцати лет от роду и «немного захмелев от шампанского, вел с ней беседы о Пушкине, Аксакове, Андрееве, с сыном которого она когда-то дружила» (запись от 6 апреля 1941 г.).

Размышляя о природе насилия, искусах власти и подчинения, он невольно обращается к анализу этих экзистенциальных проблем в «Бесах». Вообще, Достоевский — вечный спутник Юнгера, и, что важно принять во внимание, таким образом обнаруживается еще один аспект восприятия этого русского писателя-мыслителя в Европе, восприятие идеологами радикально-консервативной установки. Чтобы проблема предстала в более весомом значении, напомним: издание собрания сочинений Достоевского в Германии было осуществлено Меллером ван ден Бруком, в работах которого содержатся протообразы многих идеологем фашистской доктрины. К тому же издание это осуществлялось при участии Д. С. Мережковского, за которым также известны тяготение и симпатии к фашистскому строю и его принципам. Достойно внимания также то, что сопряжение понятий «консерватизм» и «революция» в их положительной смысловой обусловленности мы встречаем в «Дневнике писателя»; да и позднее, в 1918 г., положение о том, что революции бывают по своему содержанию консервативными, обосновывалось в петроградском поствеховском журнале «Вестник культуры и свободы», т. е. задолго до того, как словосочетание «консервативная революция» употребил Томас Манн, которого и принято считать его автором.

Россия для понимания Юнгера во всех аспектах его

интеллектуальной, художнической и эмоционально-экспрессивной личности имеет исключительное значение. Причем не в эмпирическом значении названия, обозначающего конкретную географическую, политическую и территориальноэтническую реальность, — конечно, без этих констатаций никуда не деться, — но прежде всего как символизация гигантской культурно-исторической сущности, рождающей и выбрасывающей из своих недр протуберанцы идей, событий и процессов космической масштабности. В них обнажаются предельные основания духовного и общественного бытия человека, глубинные структуры сознания и побуждений всех его трагических волеизъявлений, т. е. те архетипы, поиском и улавливанием которых, как отблесков вечного в происходящей череде повседневной жизни, Юнгер подчинил всю свою духовную энергию и творчество. К сожалению, в доступном мне «юнгероведении» эта тема с надлежащей основательностью и не поставлена, и не сформулирована.

Можно сделать и следующий шаг в нашем обобщающем суждении. Тема России вообще имеет принципиальное значение для понимания факторов, определивших формирование духовной ситуации Германии эпохи модернизма, начавшейся в 90-х годах XIX в. и заканчивающейся 20-ми годами уже прошлого века. Духовно Юнгер сформировался в недрах этого периода. Он был младшим из когорты интеллектуалов, ставших не столько носителями, сколько выразителями настроения той эпохи. Мы назовем только несколько имен без специального прояснения их значения: Рудольф Касснер (1873–1956), Теодор Лессинг (1872–1933), Герман Кейзерлинг (1880–1946), Людвиг Клягес (1872–1956), Готтфрид Бенн (1886–1956), Карл Густав Юнг (1875–1961), а еще ранее — Х. С. Чемберлен (1855–1927). Мы бы указали еще и на Р.-М. Рильке и Т. Манна, если бы не ожидали возражения, что вопрос о месте России в их творчестве прояснен. Возможно, в литературоведческом смысле — да, но отнюдь не в смысле выяснения корней, от которых произрос присущий им тип мировидения и художественного мышления. Значение России, тревожно-чуткое восприятие того, что связано с этим именем-символом, для немецкого интеллектуала не всегда можно истолковывать в смысле той продуктивно-положительной установки, которую сводят к эмоциональным комплексам восхищения и преклонения. Если для Рильке это символ магического влечения к миру русской духовности как источнику очищения и освящения чем-то высшим, то у других отношение к нему опосредовалось противоположными ощущениями и установками.

Из дневников Юнгера всех периодов мы знаем о его увлечении русской литературой. На основании их можно было бы составить весьма внушительный список литераторов и произведений, которые не просто были им прочитаны, но активно присутствовали в его творческом сознании. В первую очередь, помимо уже упомянутых имен в приведенной цитате и ранее, это И. С. Тургенев, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров. Эти три писателя обеспечили мышление Юнгера художественно-антропологическими типами нигилистов, обломовых, русского провинциального, а значит, массового дворянства и простого мужика. Такие человеческие типы, возможно, в решающей степени определили понимание им русского характера, подменив эмпирически непосредственное восприятие реального русского человека. Посетив Россию, Юнгер везде видит не конкретности, а типическое и то, что его верифицировало в его представлении.

Таким образом, русская литература, возможно, сыграла определяющую роль в формировании образа России в представлениях Юнгера. И все же не она одна. Глубочайшее впечатление на него и мыслителей его круга произвела социальная революция большевиков и сам большевизм. Этот аспект требует самостоятельного изучения, что может привести к весьма неожиданным результатам. Юнгер выработал вполне законченное представление о роли нигилизма в историческом процессе, основанное на специфическом понимании его значения в русской общественной жизни, а также революционаризма — в политической. Насколько было возможно в тех условиях, после германской капитуляции 1918 г. он внимательно изучает русскую революцию и деятельность ее вождей. Возможно, в большей степени, чем В. Ленин, его привлекает Л. Троцкий, работы которого он знает. Он даже пишет рецензию-реферат на немецкий перевод воспоминаний последнего. Социально-политическая практика большевиков, универсализм их тотального отрицания буржуазности, решительность и рациональная проработка их радикальных преобразований общества наряду с воспринятым им пониманием продуктивной сущности современной войны представлялись Юнгеру конкретным подтверждением наступающей эпохи тотальной мобилизации. Ощутив ее явственное выражение в самой сущности и духе мировой войны, когда даже движение домработницы за швейной машинкой начинает иметь отношение к военным действиям,[335] Юнгер затем переходит к ее максимально широкой трактовке как единственно возможной продуктивной формы развития общества «эпохи работы», когда ничто не существует, не будучи функцией государства как высшей формы организованности и

мобилизации. Тотальная мобилизация в юнгеровском смысле — это наиболее адекватное понимание характера современного процесса, аккумулирующего и сосредоточивающего в одной точке всю энергию, которой наделена жизненная воля. «Русская „пятилетка“ впервые явила миру попытку сведения в *единое* русло совокупных усилий великой империи», — писал Юнгер.[336] Причины поражения Германии в войне 1914–1918 гг. он видит в «частичной мобилизации».

Юнгер понимал достижение тотальной мобилизации не как решение технического или экономического вопроса, а как план специфической *готовности* к ней общества, которая возникает как определенное состояние человека в соединении с духовно-организационными качествами общества. И если еще можно сохранить понятия прогресса и прогрессивности, то только в смысле того, что создает указанные качества общества. К их выражениям он относит, в частности, нерефлектирующий автоматизм действий, освобождение от отяготительных напластований прошлого, выступающих культурно-историческим тормозом и ограничителем решительных сосредоточенных действий. На них зиждятся традиции, патриотизм, понятия чести, веры и другие составляющие культуры. Зато общества на цивилизационном уровне, с универсальными условиями реализации прав и потребностей человека и связанной с ними демократией, с национализмом, преодолевшим культурный патриотизм, с располагающей, готовой к мобилизации массой как совокупным рабочим, реагирующим не на понятия и ценности культуры, а на пропаганду и внушающее воздействие, этот универсальный язык цивилизации, оказались единственно способными к осуществлению мобилизации неограниченной. Цивилизация рождает новый тип дисциплины и соответствующую сферу ее выражения — работу, будь ею производство, война или интеллектуальная деятельность. Конкретность связей индивидуальностей уступает место отвлеченности, обезличенности и жестокой функциональной заданности человеческих отношений. «Одновременно возрастает ценность масс»,[337] а прогрессивными формами их консолидации в целостности — мобилизации — выступают фашизм, большевизм, американизм, сионизм, движение цветных народов.[338]

Исторические типы общества соответствуют субстанциональным гештальтам его активных агентов. Гештальт буржуа традиционного гражданского общества сменяется, как писал Юнгер, гештальтом рабочего, относящегося к обществу, жизнь в котором преобразована в энергию труда как всеобщее состояние человека. Последнему посвящен главный философский

труд Юнгера — «Рабочий», опубликованный в 1932 г. Спустя десять лет он все еще находил свой анализ ситуации правильным и в фашизации Германии видел причины ее военных успехов, хотя сама война уже перестала восприниматься им как продуктивная часть универсальной работы. Эта убежденность лежит в интеллектуальной подоснове дневников. В дни разгрома Франции у него состоялся знаменательный разговор с попавшими в плен ветеранами первой мировой войны. Во время него Юнгер проверяет свое понимание происходящих событий. Его невольные собеседники ответ на вопрос, в чем они усматривают причину краха Франции, бесхитростно видели в военно-техническом преимуществе немецкой армии и расстройстве внутри французских войск, а также в бестолковости командования. «И они задали мне вопрос, могу ли я свести успех немецкого наступления к одной формуле». Французам было невдомек, что передними был знаменитый автор философской теории, содержавшей универсальный ответ на все подобные вопросы, и что они, по сути дела, подвергаются небольшому оскорбительному экзамену. Их видение поражения было ситуативным: общее расстройство военного дела Франции, бездарность командования и политиков, возможно измена. Но философ смотрел на дело иначе: «И я ответил, что вижу в этом успехе победу человека трудящегося, рабочего». Французские солдаты, не читавшие трактата Юнгера, не поняли глубоких мыслей офицера-философа, изрекшего им, униженным позором поражения, абстрактную поучительную максиму. «Они ведь не знают, что происходило с нами с 1918 года, они не ведают опыта тех лет, словно слитого воедино в пылающем тигле», — резюмировал Юнгер. Зато Франция, по его мнению, неуклонно теряла в эти годы способность к тотальной мобилизации, видимо, укоренившись цивилизационно в гештальте буржуа и партикулярных ценностях.

Конечно же, Юнгеру не терпелось посетить Россию, чтобы на месте соотнести свои многообразные представления о ней с реальностью. Тех же, кто посылал его в Россию, побуждения, двигавшие писателем, не интересовали. Похоже, он выполнял роль эмиссара, призванного выяснить ситуацию в руководстве Восточного фронта и установить связи с нужными людьми. В известном смысле, он был конфидентом тех, кто от критического дистанционирования постепенно переходил к организации заговора против верхушки рейха. Об этом можно судить по общему духу записей, по тому, как шла подготовка к командировке, и наконец, что важнее всего, по тем обязанностям, которые были вменены Юнгеру при штабе командования

оккупационных сил во Франции, о чем мы ранее говорили. В противном случае, без учета этих установок поездка выглядит каким-то бесцельным вояжем, причем в один из напряженнейших периодов войны, имевшем в конце концов фатальное значение для ее хода.

В дневниках Юнгера, при всем старании их автора уходить от острых вопросов политико-военного характера, в особенности от обрисовки внутреннего положения Германии и ее армии, все же весьма выразительно проходит мысль о противостоянии «армии и партии». Юнгер не удерживается от высокомерно-презрительного третирования тех, кто пятнал себя жестокостью, зверствами или проявлял тупоумный расизм. Но от этой интеллектуально-нравственной брезгливости до мотивированного и целеустремленного протеста лежало огромное расстояние, которое Юнгер и не стремился преодолеть. Война продолжала обладать для него очарованием и притягательностью. В присущей ей технологии уничтожения и разрушения он все еще ощущал завораживающую эстетику. Справедливость и несправедливость войны и вообще вся нравственная ее сторона фактически остались за пределами его созерцания реальности. Но к 1942 г. он набрасывает эскиз памфлета-воззвания «Мир. Слово к юности Германии и всего света», в котором развита философия мира как основной формы человеческого существования. Распространяемое в строго ограниченном числе экземпляров только среди особо доверенных лиц, оно оказало известное влияние на развитие антигитлеровской позиции ряда высших представителей командования вермахта. Таким образом, война уже не представляется Юнгеру высшей и совершенной формой сплава воли, энергии, разума и организованности. И тем не менее в ней он все еще находит проявление таких жизненных стихий, для которых она и служит наиболее органичным выражением и не чужда элементов гуманизма, если последний понимать как проявление человеческого начала жизни.

Так вышло, что отъезд в командировку совпал со временем, когда наступление 6-й армии Паулюса исчерпало свой потенциал и когда вскоре произошла предчувствуемая некоторыми проницательными аналитиками катастрофа — окружение, блокада, сдача и общий перелом в ходе всей войны. И это событие составляет истинный центр «Кавказских заметок», делает их самым драматичным произведением во всем корпусе дневников периода второй мировой войны. Крах под Сталинградом предопределил судьбу южного крыла Восточного фронта. Чтобы не оказаться в гигантском котле, немецкие войска вынуждены были спешно отступать, бросая припасы и технику.

Еще быстрее покидает фронт Юнгер, будучи срочно отозван снова во Францию. Последние записи, включенные в этот дневник, меланхолически констатируют вехи общего отступления вермахта: «Вчера русские взяли Ростов… Вчера русские заняли Харьков» (записи от 15 и 17 февраля 1943 г.). Рефлексий почти никаких. Вместо них — обращение к Гоголю, к «Мертвым душам». По какой такой ассоциативной связи? Что ищет писатель в их образах? Его чисто профессионально-писательское замечание о том, что содержащиеся в романе рефлексии ослабляют его воздействие, не заключает в себе ответа на эти вопросы. Но ведь эти «рефлексии» Гоголя, его знаменитые лирико-философские размышления о России и ее будущем, составляя как бы вторую линию поэмы наряду с жанровой, представляют гоголевский опыт прочтения призвания России, философскую сущность которого не заслоняет лирическая форма. Почему они остались не воспринятыми Юнгером, в то время как они раскрылись столь многим в переживаемое им время, остается без ответа.

Кавказский сюжет дневников, имеющих для русского читателя наибольшую ценность и материал которых позволяет посмотреть принципиально иным взглядом на некоторые аспекты нашей недавней истории в один из ее наиболее трагичных и вместе с тем величественных моментов, фактически является доныне не известным ни специалистам, ни тем более широкому читателю. Европейского же читателя вообще, видимо, он оставил безразличным. Впервые заметки были опубликованы в 1949 г. Таков состав второго тома собрания сочинений Юнгера и первого тома «Излучений».

Третий том собрания сочинений образует комплект дневников, получивших названия «Второй Парижский дневник», «Кирххорстские листки» и «Хижина в Вайнберге. Годы оккупации». Общее название комплекта — «Излучения II». Первые два дневника, входящие в состав русского издания, были опубликованы в 1949 г. в упомянутом тюбингенском издании «Излучений». В 1963 г., дополнив дневники военного периода тетрадью «Годы оккупации», Юнгер издает «Излучения» в двух томах. Автор продолжает сохранять стандартную временною последовательность записей.

После короткого отдыха в Кирххорсте, после возвращения из России в феврале 1943 г. Юнгер снова на прежней службе в Париже, которую он продолжает вплоть до принудительного увольнения из вермахта в 1944 г. Именно события этого периода и составляют содержание «Второго Парижского дневника». В нем содержатся важные сведения, касающиеся вызревания антигитлеровского заговора, хотя по необходимости они

преподнесены весьма завуалированно. Да Юнгер никогда и не рассматривал свои заметки как летопись событий, где значение имеют точность и скрупулезность фиксации происходящего. В этом случае, имея историческую ценность, они бы полностью утеряли свое художественное значение. Его дневники в опубликованном виде весьма селективны. Каждое событие или любой факт, даже если они не вплетены в контекст сложных рефлексий, аллюзий и отвлеченно-методических аналогий, всегда насыщены смыслом и в высшей степени символистичны. Если чего и нет в заметках, так это непринужденной экспрессивности и следования капризам памяти. Внимательный читатель сразу усваивает эту истину и непроизвольно входит в состояние интеллектуальной настороженности. К этому присоединяется еще одно свойство — минимальная доза интимности. В дневниках почти нет ничего, что бы могло интриговать читателя, нацеленного на ознакомление с сокровенной стороной жизни знаменитости, или шокировать его неожиданными признаниями, характеристиками, оценками и всем тем, чем обычно дневники и притягательны. Они рассчитаны на совсем иного читателя, интересы которого помещены значительно выше обыденных ориентаций, и им соответствуют такие же интеллектуальные притязания.

Юнгер явно демонстрирует безразличие к читательскому успеху, целиком поглощенный усилиями адаптировать в слове то, что проступает сквозь зримые формы реальности, ускользая от однозначности восприятия. Но есть места, в которых личный элемент начинает проявляться сквозь усложненную структуру интеллигибельных метафор. В «Кавказских заметках» это прежде всего записи, вызванные смертью отца, которого Юнгер застал уже в гробу, а во «Втором Парижском дневнике» и «Кирххорстских листках» это заметки, связанные с арестом, осуждением и гибелью любимого сына Эрнста. Молодой человек, призванный на морскую службу, был осужден по обвинению в создании «кружка сопротивления», чья деятельность сводилась к разговорам о «положении вещей», в наказание выслан на «фронтовые испытания» и погиб в Италии в Каррарских горах. Весть о смерти сына Юнгер получил спустя полтора месяца после его гибели — 11 января 1945 г. «Смерть сына стала одной из дат, одной из главных и поворотных точек в моей жизни. Вещи, мысли, поступки прежде нее и после совершенно различаются», — замечает он спустя несколько дней.

Пребывание в Париже после кавказской командировки отмечено в дневниках нарастающей экспрессией суждений. Они стимулировались общим ухудшением ситуации во всех сферах, в

частности во внутреннем положении страны, где под гнетом трудностей нарастали ропот и уныние, а также безнадежностью военно-политической ситуации. В высших военных кругах в Париже вызрела военная оппозиция, постепенно обдумывавшая средства устранения Гитлера. Юнгер входит в узкий круг лиц, в котором осторожно, но все же вполне определенно обсуждаются все эти вопросы. Его собеседниками являлись командующий оккупационной армией генерал пехоты Генрих фон Штюльпнагель, генерал-лейтенант, начальник Генерального штаба оккупационной армии Ганс Шпейдель и другие видные генералы и офицеры. Известны контакты Э. Юнгера с фельдмаршалом Роммелем. Но Юнгер уклоняется от активного участия в заговоре. Его влияние, скорее, умственное. Еще в начале 1941 г., как свидетельствуют дневники, он делает первый набросок трактата-воззвания «Мир. Слово к молодежи Европы и к молодежи всего света», затем, однако, уничтоженный. Но по мере того как ситуация в Германии ухудшалась, нарастали и пессимистические настроения Юнгера. Его «пораженческие» взгляды не были ни для кого секретом.

По возвращении с Кавказа он снова берется за изложение своих взглядов на войну и будущее Европы. В октябре 1943 г. воззвание было готово и подпольно, в гектографированном виде стало распространяться в Париже и кое-где в Германии. Существует свидетельство о том, что оно было прочитано Роммелем и в какой-то мере повлияло на его решение примкнуть к противникам режима. Записи, сделанные Юнгером на второй день после неудачного покушения, свидетельствуют, что он не видел смысла в заговоре. «Вчера стало известно о покушении… По всему видать, что это дело приведет к чудовищной резне… Становится все труднее сохранять маску; так, сегодня утром неожиданно вступил я в спор с одним сослуживцем, который обозвал случившееся „неслыханным свинством“. При всем том, что издавна был убежден, что посредством заговора немногое изменится, но прежде всего — ничего не улучшится» (запись от 21 июля 1944 г.). Доказательство правоты, однако, радовать не могло.

В служебном положении Юнгера происходят между тем изменения, вызванные резким ухудшением военной ситуации, и в августе, после упразднения штаба военного командования, он покидает Париж, Странно, что как назначение в Париж — столицу культуры, в которую он стремился, так и вынужденное оставление его не отражены в дневнике никакими особыми эмоциональными цезурами. В конце октября следует отставка, к тому же над головой Юнгера нависла угроза фашистского

судилища. Факт его прямого общения с главарями заговора, и в первую очередь с Цезарем Хофаккером и графом Шуленбургом, был очевиден. Можно отнести к аристократической гордости Юнгера то, что он не драматизировал ситуацию, он коснулся ее вскользь, намеками. В 1986 г. был обнаружен документ, представляющий собой письмо президента «Народной судебной палаты» Роланда Фрайслера, возглавлявшего суд над заговорщиками, начальнику партийной канцелярии Гитлера Мартину Борману. Оно касается причастности к заговору Юнгера. Фрейслер сообщает, что, повинуясь указанию фюрера, переданному ему лично по телефону, он прекратил следствие в отношении писателя. Причем дело Юнгера, с которым пожелал лично ознакомиться Гитлер, составило три тома. Решение фюрера состоялось 1 декабря 1944 г. Выше уже приводились высказываемые соображения, которые якобы определили позицию Гитлера. В них мало достоверности, учитывая, например, что он казнил знаменитых военачальников и расправился с офицерской элитой вермахта.

Итак, 13 августа 1944 г. Юнгер покидает Париж, чтобы спустя много лет, только в 1961 г., посетить его уже в качестве туриста. (Интересно, что в общественном мнении французов его имя никогда не связывалось с понятием оккупанта, а видный участник Сопротивления Ф. Миттеран даже посетил Юнгера в Вильфлинге в дни празднования 90-летия писателя, где тот провел последнее десятилетие своей жизни). В начале сентября он возвращается в свой дом в Кирххорсте, откуда ушел на вторую мировую войну ровно 6 лет назад. Вскоре он полностью выводится из кадров вермахта. Закончилась вторая по счету в XX в. мировая война. Германия перестала существовать как целостное самостоятельное государство, и казалось, что это — навсегда. Впереди у Юнгера оставались только закатные дни жизни. Уже много лет не издавались его книги, и, кажется, пришла пора забвения. По иронии судьбы, цензурный запрет фашистского режима продлился до 1950 г. уже как запрет на публикации книг писателя в западной зоне Германии со стороны английской военной администрации. Он находит в себе мужество спокойно встретить сообщение своего гамбургского издателя Циглера о том, что, согласно особому указанию цензуры, газетам запрещено как-либо откликнуться на 50-летие писателя. «Это единственный знак, что я чего-то стою», — прозорливо констатирует Юнгер. Какое-то время он еще возглавляет местный отряд самообороны — фольксштурм, но лишь затем, чтобы не допустить беспорядка и воспрепятствовать бессмысленному сопротивлению. Последние дни войны отражены в «Кирххорстских заметках», а первые годы

жизни под союзническим управлением — в «Хижине в Вайнберге. Годы оккупации», впервые вышедшей в 1958 г. Ими и заканчиваются «Излучения», но — не дневники.

Перечисленные книги составили мемуарный корпус, получивший название «секстета» и являющийся уникальным свидетельством интеллектуального переживания войны человеком, создавшим культурно-философское и психоантропологическое обоснование ее как фундаментальной формы жизни человека и затем все же пришедшим к отвержению ее положительного смысла. Основные дневники из этого «секстета» и представлены в этом первом русском издании.

В. Ноткина
О переводчике Нине Олеговне Гучинской

Нина Олеговна Гучинская, автор перевода Второго Парижского дневника Эрнста Юнгера, к сожалению, уже не увидит этой книги. 13 февраля 2001 г. не стало этого замечательного, талантливого человека.

Вся ее деятельность исследователя-лингвиста, литератора и педагога была проникнута духом ее неповторимой личности, глубокой и сильной, исполненной добра и мужества, лишенной всякой мелочности и искательства. Выдающийся филолог-германист, она обладала энциклопедическими познаниями и широчайшим кругозором во всем, что касалось немецкой культуры: ее истории, литературы и философии.

Но активная научная деятельность далеко не исчерпывала отпущенных ей возможностей. Нина Олеговна была и ученым, и поэтом. Опыт, накопленный ею в исследованиях природы поэтического слова, нашел выход в прекрасных переводах средневекового немецкого эпоса, Фридриха Гёльдерлина, Райнера Марии Рильке, Стефана Георге. Особо следует сказать о ее переводе «Херувимского странника» Ангела Силезского: среди многих достоинств этого виртуозного перевода — поразительная свобода владения древними формами русской речи. Вообще Гучинской было присуще редкостное по нашим временам знание и целостное ощущение родного языка, всех исторических этапов его развития. Великолепное знание немецкого позволило ей познакомить немецкоязычного читателя со своими переводами стихов Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Елены Шварц.

Особенно интенсивно работала она над стихотворными и прозаическими переводами в последние годы: «Введение в метафизику» Мартина Хайдеггера с поразительной точностью терминологии, великолепный «Путь человека по хасидскому учению» Мартина Бубера, вдохновенный перевод проповедей и трактатов Мастера Экхарта, где старинные русские и церковнославянские формы служат красоте текста и естественности его восприятия. Все это было сделано за сравнительно короткое время и явилось свидетельством какой-то послушнической жажды труда. В этих работах Гучинской многое стало принципиальным открытием в области теории и практики перевода. Мыслители разных эпох обрели в русском языке

органичное, глубокое и точное воплощение.

Переводы Эрнста Юнгера стали новым этапом и вместе с тем последней работой Нины Олеговны. По сравнению с прежними авторами, которых она переводила, Юнгер — наш современник. Его дневники, посвященные постижению физического и духовного макро- и микрокосма, изучению существующих в нем взаимосвязей, проникнуты сознанием ответственной роли человека — творения, стоящего между природой и Богом. Перевод Гучинской исполнен доверия к автору, как будто он не только жил с нами в одно время, но и говорил с нами на одном языке. Стиль, поражавший, например, в переводах Стефана Георге лексическим богатством и разнообразием, здесь лаконичен и точен. Отказываясь от риторических ухищрений и прикрас, переводчик стоит вровень с мыслью автора. Поражают своей мощью места, связанные с религиозно-философской проблематикой. Здесь во всей полноте выступают ее уникальное знание и проникновение в глубинную сущность Священного Писания, а также всей богословской и религиозно-мистической литературы, от раннехристианских памятников до творений русских религиозных философов Серебряного века. Хочется обратить внимание читателя на замечательные переводы стихов, встречающихся в текстах дневников. Вот только один пример — «Павлин», где эстетика экспрессионизма воссоздана всего в нескольких строчках.

Сделанное далеко не исчерпало творческий потенциал Нины Олеговны. Ее болезнь и кончина оборвали жизнь, полную энергии, планов и жажды творческого общения. Но то, что сделано, — своеобразная и заметная страница нашей культуры, ищущей новые духовные ракурсы, позволяющие глубже понять историю мира и заглянуть в его завтрашний день.

В. Ноткина

notes

Примечания

1

аплодируют другу (*лат.*). (*Здесь и далее — примечания переводчика).*

удар молнии (*фр.*).

3

«Если частица не умирает» (*фр.*).

курицы (*фр.*).

тоска (*лат.*).

Жена Э. Юнгера. Perpetua (*лат.*) — постоянная.

благонравие (*фр.*).

«На белом камне» (*фр.*).

гора Юпитера (*лат.*).

«Морской ветер» (*фр.*).

11

«Да здравствует Мелвилл!» (*фр.*).

«У Вас есть и дама?» (*фр.*).

13

«Никогда не сотрудничай!» (*фр.*).

«Мадам без смущения» (*фр.*).

«Новое французское обозрение» (*фр.*).

«Удел человеческий» (*фр.*).

«Путешествие пилигрима» (*англ.*).

«Он убивает наших» (*фр.*).

19

«Саша Гитри поклонник» (*фр.*).

«Не могу писать против того, кто предписывает» (*лат.*).

21

«Чтобы воздать должное людям, следует оценить их руководителей» (*фр*.).

подонок, мерзавец (*фр*.).

23

«Мерзкая тварь» (*фр.*).

«Прекрасно!» (*фр.*).

«Нет такой» (*фр.*).

«Путешествие по комнате» (*фр.*).

«Спящий — человек уменьшенный» (*фр.*).

оставаться (*нем.*).

замок, усадьба (*фр*.).

после праздника (т. е. слишком поздно, *лат.*).

гибкость (*фр*.).

непринужденность (*фр.*).

с первого взгляда (*лат.*).

34

«Для такой ласки это чересчур сильное объятие» (*фр*.).

35

«В этом весь Саша» (*фр.*).

«Подсчет стоп в прозе намного труднее, чем в стихах» (*лат.*).

вереница, пряжа (*фр*.).

дерьмо (*фр*.).

«Обожаю головы» (*фр*.).

островной изгнанник (*англ.*).

41

«Есть вещи, портящие все удовольствие» (*фр.*).

Здесь: место, где дубят кожи (*фр.*).

вымачивание льна (*фр*.).

Здесь: вспышка (*фр.*).

Здесь: старый пердун (*фр.*).

Здесь: отстрелявшийся запальщик (*фр*.).

запальный фитиль (*нем.*).

поджигатель (*нем.*).

ладно (*фр.*).

Пусть будет так (*фр*.).

к праотцам (*фр.*).

«Ученые женщины» (*фр*.).

«Мраморные скалы» (*фр.*).

«Хроники супружеской жизни» (*фр.*).

55

«Крушение американской бригантины „Промысел“» (*фр*.).

Имеется в виду Фридрих Великий.

«Сады и улицы» (*фр.*).

«отчаяние художников» (*фр.*).

«Цветы зла» (*фр.*).

«У сверчка за печкой» (*фр.*).

«Мартиролог японской церкви» (*фр.*).

«Мой дневник» (*фр.*).

«Время — собака, кусающаяся, как нищий» (*фр.*).

«Стремлюсь к краткости» (*лат.*).

«Юные девы» (*фр.*).

сундук (*нем.*).

бродить, шататься (*нем.*).

«Опасные связи» (*фр.*).

69

Перевод И. Лихачева.

«Учение о смерти» (*лат.*).

71

Следующая забота (*лат.*).

«Монография о чае» (*фр.*).

«Город и республика Венеция» (*фр.*).

«Вступление к будущей жизни» (*фр.*).

«Амуры Шарля Гонзаго» (*фр.*).

«Через нарастающие трудности» (*лат.*).

«В бедствиях мужают» (*лат.*).

«Смерть — это покой» (*лат.*).

здесь, вот (*фр.*).

80

Бесконечное любопытство (*фр.*).

81

Роклор — танцор великий,
Но
Если не познает связи,
То ни за что не станет танцевать (*фр*.).

«Влюбленный дьявол» (*фр.*).

«Опыт косвенной критики» (*фр.*).

«Сверхъестественное сейчас — естественно завтра» (*фр.*).

85

Стимулятор потенции.

«Мы после потопа» (*фр.*).

«Неколебимые» (*фр*.).

«Экономика человеческой жизни» (*англ.*).

«Я смотрю и охраняю» (*фр.*).

90

У Э. Юнгера — 139-й и 90-й. Нумерация псалмов, согласно западной традиции, на один номер больше.

«Разбитые горшки» (*фр.*).

«Всеобщая история мошенников» д’Абрикура (*фр*.).

нога, худший, нога, маленький, худший (*лат.* и *фр.*).

«Врата обездоленных» (*фр*).

95

Ночь яснее, чем бездна моего сердца (*фр.*).

«Подземный Рим» (*лат.*).

точнее сказать (*лат.*).

«Молот ведьм» (*фр.*).

«Путешественницы» (*фр.*).

страх (*фр.*).

«О колокольчиках» (*лат.*).

«О лошадях» (*лат.*).

«О тайнах» (*лат.*).

«Варвару хочется большего, чем ничтожеству» (*фр.*).

чем Бог послал (*фр.*).

«се смерть» (*нем.*).

107

«Приключения Ласарильо с Тормеса» (*фр.*).

«Неприятные истории» (*фр.*).

борьба за существование (*англ.*).

110

«Быть взволнованным — значит дышать сердцем» (*фр*.).

111

Цитаты из Библии (Ветхого и Нового Заветов) приводятся по каноническому русскому переводу.

Имеется в виду Фридрих Великий.

113

«Четыре года пленения в Кошоне-на-Марне» (*фр.*).

«Кровь поэта» (*фр.*).

«Рассказы о чудесах» (*фр.*).

не отрицая (*фр.*).

117

«Ныне же будете со мною в раю» (*лат*). Перифраза Евангелия от Луки (23, 43): «Ныне же будешь со мною в раю».

118

«Процесс сэра Эдуарда Кольмана, джентльмена, замыслившего убийство короля Великобритании», Гамбург, 1679 (*фр*.).

119

«Трудно раскрывается» (*фр.*).

Так у Юнгера, который ошибся на 4 года.

121

Подождем (*лат.*).

«Там» (*фр.*).

«Карфаген Пунический» (*фр.*).

«Рено и Армида» (*фр*.).

«Уединенное» (*фр.*).

Здесь: сверхнебесной тайны (*лат.*).

«Присутствующий, но незримый» (*лат.*).

128

«Там царит такое безмолвие, словно мрак окрашен чернилами» (*фр*.).

129

Буквально: сверкающий, пламенеющий (*фр.*). Дерево с ярко-красными цветами.

«Старый Вольтер педерастии» (*фр.*).

«…не познали сладости жизни» (*фр*.).

«Это кабинетный человек» (*фр*.).

«О колокольчиках» (*лат.*).

«Заметки о Венере» (*фр*.).

135

«Люблю рассеянных людей; это знак того, что у них есть идеи» (*фр.*).

«присутствие Верлена» (*фр.*).

137

«Я могу жить везде, где найду сорок друзей» (*фр.*).

«Бош Порт-Майо» (*фр*.).

139

В русском варианте Книги Иисуса, сына Сирахова, эти слова обнаружить не удалось.

140

Здесь и далее указывается нумерация псалмов, принятая в восточной церкви, т. е. на один номер меньше, чем в традиции западной, которой, естественно, придерживается и Э. Юнгер (у Него этот псалом указан под номером 90).

141

Гаман (*нем.*).

«Гибель Медузы» (*фр.*).

черное ничто (*лат.*).

говорить и *наполнять духом* (благоуханием) (*лат.*).

«Французская кухня» (*фр.*).

146

«Отрежьте кусок живой лангусты и тушите, пока он не покраснеет, в глиняном горшке, добавив четверть фунта свежего сливочного масла» (*фр*.).

«Для чего это?» (*фр*.).

148

В немецком языке — непереводимая звуковая игра: *Vokale* (гласные) — *Pokale* (бокалы, чаши).

149

«Я еду к господину Дюпону в Лион» (*фр.*).

150

Здесь и далее указывается нумерация псалмов, принятая в восточной церкви, т. е. на один номер меньше, чем в традиции западной, которой, естественно, придерживается и Э. Юнгер (у Него этот псалом указан под номером 90).

«Пчелы» (*фр.*).

«Тюрьмы» (*фр.*).

153

По-немецки это выражается одним глаголом: «barbieren».

«О дивный новый мир» (*англ.*).

«Словарь блатного языка» (*фр.*).

156

«…чьи нравы оставляют желать лучшего — но ненадолго» (*фр.*).

157

Раздать восемнадцать (*фр.*).

158

Одна из многочисленных разновидностей лилейных.

след жаворонка (*фр*.).

«все ученые — братья» (*англ.*).

ликование, юный, июль (*нем.*).

радостный, юный, соединять, сочетать (*лат.*).

замок на Лайне, церковь у рынка (*нем.*).

воля и *хотеть* (*нем.*).

благожелательность (*нем.*).

искусственное слово, можно перевести как «добровольность».

в Авиньоне (*фр.*).

«Храбрый петух» (*фр.*).

169

Буквально: возвышенный дегенерат (*фр.*).

«Вот еще одна Триумфальная арка» (*фр.*).

171

Дома свиданий (*фр*.).

172

Путеводитель (*лат.*).

173

Садова — деревня в Чехии, где в 1866 году, во время австро-прусской войны, велись ожесточенные бои. Символ поражения австрийцев.

«Бывший член Конвента» (*фр.*).

«костный мозг» (*фр.*).

«Князь Бисмарк, психология сильной личности» (*фр.*).

«Парижский сплин» (*фр.*).

178

Люблю тебя, проклятая столица! Куртизанок / И бандитов, что часто предлагают свой плезир, / Профанам пошлым вовсе недоступный (*фр*.).

«Это до меня не достает»; «Он вышел из лесу» (*нем.*). Повторяющиеся предлоги: an/heran; aus/heraus, т. е. перед объектом и после него, в конце предложения.

«Профессия Кашеля Байрона» (*англ.*).

181

Имеется в виду «Дневник чумного года».

размягченность, изнеженность (*итал.*).

«Контрапункт» (*англ.*).

184

Буквально: рыбный рынок. Знаменитый рынок в Гамбурге.

Здесь: «Иди сюда, мой цыпленок» (*фр.*).

«О, эта шайка» (*фр.*).

«Добряк Анри» (*фр.*).

«Этого нет» (*фр.*).

«Господа, я приведу вас к согласию» (*фр.*).

«Демократия в Америке» (*фр.*).

напоследок (*фр*.).

бородатые братья (*итал.*).

в целом (*фр.*).

Здесь: малых сих (*фр.*).

195

«Я Вам советую почитать письма Цицерона — это весьма злободневно» (*фр*.).

Buprestiden (*лат.*) — золотые жуки, златки.

«Истинное лицо маркиза де Сада» (*фр*.).

«Классические ископаемые» (*фр.*).

199

«Каталог жесткокрылых» (*лат.*).

«Фивы, дворец и некрополь» (*фр.*).

Духом, духовно (*греч.* — имеется в виду Дух Божий).

202

Остров в Полинезии, населенный потомками мятежных английских матросов, высадившихся там в 1790 г.

203

«Радость метеоров» (*фр*.).

в самой сути, кратко (*лат.*).

гроб, могила (*фр.*).

долгая жизнь (*фр*.).

207

Эротический, в частности фаллический, знак в индуизме.

«Знаменитые процессы» (*фр*.).

209

Маркиза (1630–1676), обезглавленная и сожженная на Гревской площади за отравление отца и двух братьев.

210

«Даже не вообразить, сколь далеки великие преступления от подозрений» (*фр.*).

211

«Кому это на пользу?» (*лат.*).

212

Буквально: карманный театр (*фр*.).

«Цезарь» (*фр*.).

Траурное каприччо (*итал.*).

215

«Это чтобы придать Вам внушительный вид» (*фр.*).

Буквально: все, что происходит, — восхитительно (что ни случается — все к лучшему) (*фр.*).

в прямом смысле этого слова (*фр.*).

Нем. Schreck — ужас.

219

«Искательницы вшей» (*фр.*).

«Народная газета» (*нем.*).

221

Смерть есть ничто, лишь перестаньте пить (*фр*.).

По-видимому, фашисты.

Здесь, без правки и купюр (*лат.*).

224

Незащищенные от ветра острова в Северном море.

«Дядюшка Анри» (*фр.*).

«Большой Мольн» (*фр.*).

сила слов (*лат.*).

«На слова мы легки» (*лат.*).

229

«Ему *должно* расти, а мне умаляться». Именно так это место переведено в русском тексте Евангелия.

Но, же, напротив (*лат.*).

231

Соединение противоположностей (*лат.*).

В тексте русского перевода — «сын твой здоров».

«Пикник» (*англ.*).

за веру и правду (*фр*.).

устроитель развлечений (*фр*.).

«Ночной экипаж» (*фр.*).

237

«Характер мужчины формирует женская любовь» (*фр.*).

«Жизнь человеческая» (*фр.*).

239

«От бордо — мочиться, от бургундского — чесаться» (*фр.*).

«Покушение Фиески» (*фр.*).

241

«Добрые старые времена» (*фр*.).

отрицаю (*лат.*).

полная тарелка, содержимое ложки, глоток, полная тележка (*фр.*).

слово (*нем.*).

der Verdienst — заработок; *das Verdienst* — заслуга (*нем.*).

«Капитан, междугородний звонок» (*фр*.).

Kaiserstuhl (*нем.*) — горная область на Верхнем Рейне.

Wabe — пчелиный сот; *weben* — ткать; *Wachs* — воск; *Waffel* — вафля (*нем.*).

«Дневник исследователя Китая» (*фр.*).

в совокупности (*лат.*).

новая наука (*итал.*).

стиль, жанр, манера (*фр*.).

образ, форма, фигура (*нем.*).

254

Одно из имен волшебника Мерлина.

ложный шаг (*фр.*).

«Диковинные нравы китайцев» (*фр.*).

«Летчик» (*фр.*).

«Командир» (*итал.*).

«Голубой крест» (*фр.*).

из-за мелочей (*фр.*).

закона (*греч.*).

сложная смесь (*лат.*).

263

«Кто не признает Бога господином, тот не служит и обществу» (*фр.*).

Произносится: Фоллала (от нем. voll, полный).

265

Три долины (*фр.*).

В отдаленных лесах / Слышен голос кукушки (*фр.*).

нора (*нем.-лат.*).

верхом на лошади (*фр.*).

«Прошедшие времена» (*фр.*).

270

Семейство лилейных.

«Французский Меркурий» (*фр.*), еженедельная газета.

«Украшениям я предпочитаю повтор» (*фр.*).

«Прекрасно, да здравствуют чиновники!» (*фр.*).

«Можете продолжать» (*фр.*).

275

«Быть значительным в молодости — вот цена, которую часто платишь за возрождение молодости в зрелые годы» (*фр.*).

Klematis (*лат.*) — ломонос.

«После удара» (*фр*.).

«Антрепренер разрушения» (*фр.*).

«Очерк общей эстетики» (*фр.*).

«Биржа набирает силу. Они не работают на мир» (*фр*.).

неистовая ярость (*фр.*).

«Минерва под ружьем» (*фр.*).

283

«Ничего не делать; все, что надо, — делать; не принуждать к деланию» (*фр*.).

«Служебный гид воздушных путешествий» (*фр.*).

285

«Авиация является одним из наиболее важных факторов цивилизации» (фр.).

286

«Пиренеев больше нет — — — особенно в самолете» (*фр.*).

287

«Воздух станет надежным элементом союза между людьми всех стран» (*фр.*).

288

«Летчик, завоевывающий небо, — вот истинное воплощение сверхчеловека» (*фр.*).

«Размышления одиночки» (*фр.*).

под ярмом (*лат.*).

291

«Я хочу Вам сказать, что та восхитительная дружба, на которую Вы вдохновили меня, сблизила меня с моими бывшими противниками 1914/1918 годов» (*фр*.).

«Надеюсь, что все изменится» (*фр.*).

293

Люблю ледяной виноград, / Оттого, что он безвкусен, / Люблю камелии, / Оттого, что они не пахнут. / И люблю богатых людей, / Оттого, что нет у них сердца (фр.).

294

Здесь покоится Поль Росар, барон де Мертэн. Родился в Брюгге (Бельгия). Умер вдали от семьи, пострадав из-за своих слишком либеральных взглядов (*фр.*).

для жаркого (*фр*.).

равновесие власти (*англ.*).

clef (*фр.*), clavis (*лат.*), χλεις (*греч.*) — ключ; Klappe (*нем.*), clapier (*фр.*), claustrum (*лат.*) — клапан, нора, ловушка и т. д.; clandestin(us) (*лат.*) — скрытый, тайный; Schlinge, Schluss (*нем.*) — петля, конец.

Natura naturata — природа сотворенная, т. е. «вещи»; *natura naturans* — природа творящая, т. е. сам Творец (*лат. схол.*).

299

«Остров Цейлон и его природные достопримечательности» (*фр.*).

«Потешные оды» (*фр.*).

301

«Кровавый пот» (*фр.*).

на полной скорости (*фр.*).

303

У Достоевского — Лембке.

«Фризы не поют» (*лат.*).

305

Порода кур.

306

Буквально: когда французы возьмут Аррас, то мыши съедят кошек (*фр.*). Если от «prendront» (возьмут) отнять «р», то останется «rendront» (вернут).

307

Есть мера в вещах, т. е. всему есть мера (*лат.*).

«В тюремном государстве красота уродлива» (*фр*.).

«Кораблекрушения» (*фр.*).

здравый смысл (*англ.*).

«Жалобы шпаги» (*фр.*).

«Перо» (*фр.*).

313

«Если они затемняют день, пусть их тогда освещает молния» (*фр*.).

«Приветствие» (*англ.*).

315

Буквально: совершившийся факт, вещественная улика (*фр.*).

316

Все свое ношу с собой (*лат.*).

Vieil Castel, *буквально* — Старый Замок (*фр.*).

318

«Эрнст не покинул нас, а опередил. Поскольку я знаю, что потеряю все и что произволение Божие меняет умонастроения людей и судьбы народов, — я терпеливо ожидаю исхода событий» (*лат.*).

в стадии зарождения (*лат.*).

320

Из глубин (воззвах к Тебе, Господи…) — начало 129-го псалма (*лат.*).

321

«Их ужасный обычай поедания человечины тем более примечателен, что они превосходят своих соседей талантом и изобретательностью» (*англ.*).

«Книга, которую держат, — падающая книга» (*фр.*).

второе зрение (*англ.*).

«Наоборот» (*фр*.).

машина машин (*лат.*).

новый образец, новое изображение (*лат.*).

«Надеюсь, что все изменится» (*фр.*).

328

«Ибо, когда из мертвых воскреснут, *тогда* не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах» (Мрк., 12, 25) (*лат.*).

освобождение в момент смерти (*лат.*).

корабль Ее Величества «Королева» (*англ.*).

331

За сведениями о биографии Э. Юнгера отсылаю читателя к предисловиям к русскоязычным изданиям его двух наиболее известных вещей: *Юнгер Э.* В стальных грозах. СПб.: Владимир Даль, 2000; *Юнгер Э.* Рабочий. Господство и гештальт. СПб.: Наука, 2000.

О сложностях литературоведческой характеристики этого сочинения см.: *Солонин Ю. Н.* Эрнст Юнгер: от воображения к метафизике истории // *Юнгер Э.* В стальных грозах. С. 11—44.

Дотошный русский читатель может встретить и другие версии перевода этого произведения: «На мраморных утесах», «На мраморных отрогах».

334

См. публикацию соответствующих документов в кн.: Ernst Junger. Leben und Werk i Bildrn und Texten / Hrsg. v. Heimo Schwilk. Stuttgart, 1988.

335

Юнгер Э. Тотальная мобилизация // *Юнгер Э.* Рабочий. Господство и гештальт. С. 449–450. Эссе было издано в 1930 г. в составе сборника «Война и воин» и многократно переиздавалось. Юнгер не предпринимал пересмотра ее основных положений, полагая, следовательно, их полную оправданность.

Юнгер Э. Указ. соч. С. 452.

Там же. С. 468.

338

Там же. С. 467.

comments

Комментарии

1

Мирбо Октав Генри (1850–1917) — французский журналист, писатель, театральный критик.

2

Жид Андре (1869–1951) — французский писатель, проповедовавший индивидуализм; высоко ценил творчество Э. Юнгера, прежде всего книгу «В стальных грозах», о чем свидетельствуют записи в его дневнике.

З

Шлюмберже Жан (1877–1968) — французский драматург, литератор.

4

Де Ла Бар Жан-Франсуа Лефевр (1747–1766) — юноша, обвиненный в кощунстве и казненный за то, что он якобы изуродовал распятие, стоящее на мосту. Этот процесс привлек всеобщее внимание, так как вина юноши все-таки не была доказана.

5

Иудино дерево — так называют церцис, согласно легенде именно на этом дереве повесился Иуда.

6

Хёль Вернер (1898–1984) — немецкий художник.

7

Перпетуя — под этим именем скрывается *Грета фон Йенсен* (1906–1960), жена Э. Юнгера (бракосочетание состоялось в августе 1925 г.), мать его сыновей — Эрнста и Александра.

8

Клемансо Жорж Бенжамен (1841–1929) — премьер-министр Франции в 1906–1909 и 1917–1920 гг.

9

…персонажи из «Ардингелло» — имеется в виду роман *Вильгельма Гейнзе* (1746–1803) «Ардингелло и блаженные острова» (1787).

10

Шпейдель Ганс (1897–1984) — военный деятель, генерал пехоты; с 1941 г. начальник штаба командующего вермахтом в Париже, один из самых активных участников антигитлеровского заговора. После провала был арестован и долгое время содержался в тюрьме; так как следователям не удалось получить никаких доказательств, был признан невиновным. С 1950 г. советник президента ФРГ К. Аденауэра. С 1957 г. командующий сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе.

11

Жионо Жан (1895–1970) — французский писатель и драматург, писавший в основном о радостях крестьянского труда; после войны был обвинен в сотрудничестве с гитлеровцами и несколько месяцев провел в тюрьме.

12

Гёльдерлин Фридрих (1770–1843) — немецкий поэт-романтик.

13

Гитри Саша (1885–1957) — французский актер, режиссер, драматург.

14

Небель Герхард (1903–1976) — немецкий писатель и эссеист, старый знакомый Юнгера, считавший себя учеником последнего; его открытая враждебность к гитлеровскому режиму в 1942 г. послужила причиной ссылки на остров Альдерни.

15

Дриё ла Рошель Пьер (1893–1945) — французский писатель и поэт, сформировавшийся под влиянием сюрреалистов; поддерживал немецкую оккупацию; покончил с собой 15 марта 1945 г., у Юнгера дата этого самоубийства указана неверно.

16

Мальро Андре Георг (1901–1976) — французский писатель и политический деятель; в 1922–1929 гг. участник археологической экспедиции в Индокитай, капитан военно-воздушных сил во время гражданской войны в Испании, во вторую мировую участник движения Сопротивления, в 1958–1969 гг. министр культуры Франции в правительстве Шарля де Голля.

17

Калло Жак (ок. 1592–1635) — французский рисовальщик и гравер.

18

«Путешествие пилигрима» — аллегорическое произведение английского сектанта-проповедника *Джона Беньяна* (1628–1688), написанная им за 12 лет, проведенных в тюрьме.

19

Зибург Фридрих (1893–1964) — немецкий писатель и публицист; во время оккупации — сотрудник немецкого посольства и одновременно Немецкого института в Париже.

20

Гитри Люсьен (1860–1925) — французский актер, девять лет проработавший на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге; в 1891 г. вернулся во Францию; в 20-х годах выступал во многих спектаклях, созданных его сыном Саша Гитри.

21

Блуа Леон (1846–1917) — французский писатель и критик, ярый приверженец римской католической церкви, острый критик и полемист. Его имя в дневниках Юнгера упоминается чаще всех остальных.

22

Дебюсси Клод (1862–1918) — французский композитор, основатель музыкального импрессионизма.

23

Шмитт Карл (1888–1985) — известный немецкий публицист, специалист по государственному и международному праву, знакомство Юнгера с которым относится к 1927 г. В 1933 г. приветствовал приход к власти Гитлера, однако быстро дистанцировался от национализма.

24

Мелвилл Герман (1819–1891) — американский писатель, посвятивший свое творчество описанию собственного жизненного опыта, приобретенного во время морских плаваний. «Бенито Серено» (1856) — часть трилогии «The Piazza Tales».

25

Брайтбах Йозеф (1903–1980) — немецкий публицист, рассказчик и драматург, с 1929 г. проживавший в Париже; обладатель уникальной библиотеки, в 1940 г. конфискованной гестапо. Благодаря ему Юнгер познакомился со многими французскими писателями.

26

Гюисманс Йорис Карл (1848–1907) — французский писатель, автор натуралистических романов с налетом мистики, автор библии декаданса — романа «Наоборот» (1884); первый председатель Академии Гонкуров.

27

Рафаэлли Франсиск Жан (1845—?) — французский карикатурист и живописец, изображавший парижских бедняков, бродяг, нищих.

28

Дез Эссент — главный герой романа Й. К. Гюисманса «Наоборот».

29

Кентон Рене (1867–1925) — французский физиолог, выдвинувший гипотезу о происхождении жизни из морских глубин, о тождестве крови человека и морской воды.

30

Пуссен Никола (1594–1665) — выдающийся французский художник, одна из главных фигур в истории европейского искусства, создатель классического стиля.

31

Галлимар Гастон (1881–1975) — французский издатель, один из основателей знаменитого журнала «La Nouvelle Revue Française» (1908), позже (1919) основал издательский дом, известный под названием «Librairie Gallimard».

32

Кокто Жан (1889–1963) — французский поэт, драматург, художник, режиссер, один из властителей умов Франции в годы между первой и второй мировыми войнами. В 40-х годах оказался втянутым в круги профашистских интеллектуалов.

33

Моран Поль (1888–1976) — французский дипломат и писатель; во время второй мировой войны работал в Лондоне (1940), Бухаресте (1943), был послом в Берне (1944), в 1945 г. уволен с поста за присоединение к правительству Виши. Автор рассказов и новелл о поствоенной космополитической Европе.

34

Сваммердам Ян (1637–1680) — нидерландский натуралист и энтомолог.

35

Кубин Альфред (1877–1959) — австрийский писатель и график, с которым Юнгера связывала дружба, вылившаяся в многолетнюю переписку и сотрудничество. Так, в частности, в 1944 г. Кубин иллюстрировал книгу Юнгера «Письма из Норвегии».

36

Аннам — бытовавшее в китайской и европейской литературе название Вьетнама.

37

Лемуры — в римской мифологии вредоносные тени, призраки непогребенных мертвецов, преступно убитых и бродящих по ночам и насылающих на людей безумие.

38

Ривароль Антуан де (1753–1801) — французский литератор и журналист, мастер мелких публицистических форм — эссе, анекдотов, остроумных слов.

39

Мерлин — имеется в виду *Селин Луи* (наст, имя — Дестуш Луи Фердинанд, 1894–1961) — французский писатель, новатор-стилист, выражавший в своем творчестве мироощущение человека, понявшего бессмысленность существования; приветствовал немецкую оккупацию, в 1944 г. бежал из страны и вернулся на родину только в 1951 г., получив амнистию.

40

Геллер Герхард (1909–1982) — с 1942 по 1944 г. атташе по вопросам литературы в посольстве Германии, в чьи обязанности входила цензура всех выходивших в оккупационной Франции книг; был дружен со многими французскими писателями.

41

Гармодий и Аристогитон — граждане древних Афин, в 514 г. до н. э. составившие заговор с целью убийства тиранов, правивших городом; заговор не достиг цели, Гармодий был убит на месте покушения, а Аристогитон после жестокой пытки казнен. Их скульптурные изображения, о которых идет речь, находятся в Национальном музее Сицилии.

42

Юнгер Фридрих Георг (1897–1977) — младший брат Эрнста Юнгера, известный литератор и натурфилософ; занимался проблемой техники и ее роли в культурном процессе, его главный труд в этой области — «Иллюзии техники» (1944).

43

Гинденбург Пауль фон (1847–1934) — президент Германии в 1925–1943 гг., фактически диктатор, ориентировавший экономику страны на военные производства; в 1933 г. передал власть в руки фашистов, поручив Гитлеру формирование правительства.

44

Моммзен Теодор (1817–1903) — крупнейший немецкий историк Рима.

45

Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий историк и культурфилософ, автор известного труда «Закат Европы».

46

Буркхардт Якоб (1818–1897) — швейцарский историк искусств, в основном посвятивший свои работы итальянскому Возрождению.

47

Дузе Элеонора (1858–1924) — самая популярная в 1880-х годах актриса Италии.

48

Квинтилиан Марк Фабий (ок. 30–ок. 100 г. до н. э.) — римский оратор, первый учитель риторики, получивший государственное содержание.

49

Маре Жан (наст, фамилия — Виллен-Маре, 1913–1999) — выдающийся французский актер, скульптор и автор нескольких книг.

50

Попиц Йоханнес (1884–1945) — государственный деятель, юрист, профессор, активный участник движения Сопротивления; после провала июльского заговора 1944 г. был приговорен к смертной казни, повешен.

51

Йодль Альфред (1890–1946) — военный деятель, генерал-полковник, один из круга приближенных фюрера; во время июльского покушения на Гитлера получил легкое ранение. В 1945 г. военным трибуналом в Нюрнберге приговорен к смертной казни.

52

Штюльпнагель Отто фон (1878–1948) — военный деятель; с 1940 по 1942 г. возглавлял военную администрацию во Франции. Из-за чрезмерно жестокой оккупационной политики пользовался репутацией самого ненавистного человека во Франции. После разгрома Германии покончил жизнь самоубийством.

53

Рампоно — имя парижского трактирщика XVIII в., прославившегося добродушием, веселым нравом и тем, что продавал вино за полцены.

54

Дю Бос Шарль (1882–1939) — французский литератор и критик.

55

Токвиль Алексис Чарльз Генри (1805–1859) — французский писатель и политический деятель; после 9-месячного проживания в США написал книгу «Демократия в Америке», снискав тем самым мировую известность; в дальнейшем министр иностранных дел (1849).

56

Сен-Альбен Руслен де (1773–1847) — французский политический деятель и публицист.

57

Келлярис — за этим именем скрывается *Эрнст Никиш* (1889–1967), один из тех людей, кого Юнгер особо любил и уважал. После первой мировой войны Никиш увлекся идеей большевизма и считал, что возрождение Германии возможно только в союзе с Россией; ориентировался на рабочего как главную социальную силу общества. В созданном им журнале «Сопротивление» Юнгер опубликовал многие свои статьи, в том числе отрывки из «Рабочего». Считают, что эта работа Юнгера может быть истолкована в качестве теоретического фундамента к политической программе Никиша. В 1937 г. был арестован и до 1945 г. находился в тюрьме, все эти годы Юнгер материально поддерживал его семью. После освобождения тщетно пытался включиться в политическую и культурную жизнь ГДР. Умер в забвении.

58

Штюльпнагель Карл Генрих фон (1886–1944) — военный деятель; в 1942 г. возглавил военную администрацию во Франции, сменив на этом посту своего брата Отто фон Штюльпнагеля. Один из руководителей антигитлеровского заговора в июле 1944 г., произведший бескровный, но неудачный переворот в Париже. Получив приказ приехать в Берлин, пытался застрелиться, но в результате лишь потерял зрение. Был приговорен к смерти и повешен.

59

Шмид Карло (1896–1979) — немецкий юрист, политик и литератор, знакомый Юнгера с 30-х годов. Занимался переводами, высшим его достижением считается перевод на немецкий язык «Цветов зла» Бодлера. Вице-президент бундестага в 1949–1966 и 1969–1972 гг.

60

Гульд Флоранс (1895–1983) — парижская знакомая Юнгера, супруга американского миллиардера Фрэнка Гульда; содержала в Париже блестящий литературный салон в отеле «Бристоль», а с 1942 г. — в своей квартире на ул. Малакофф.

61

Жуандо Марсель (наст, фамилия — Прованс, 1888–1979) — французский писатель, преподаватель в католической гимназии, автор более 120 книг и 30 томов дневников. Его населенная многочисленными домашними животными квартира служила местом встреч многих художников и писателей.

62

Бернанос Жорж (1888–1948) — французский писатель, автор новелл, проникнутых глубоким чувством нравственности и католицизма. В 1938 г. покинул Францию и до 1945 г. проживал в Бразилии.

63

Энгр Жан Огюст Доминик (1780–1867) — французский живописец, представитель неоклассицизма, лучший рисовальщик французской школы; достиг совершенства в изображении человеческого тела.

64

Грильпарцер Франц (1791–1872) — австрийский поэт и прозаик.

65

Эптинг Карл (1906–1979) — ответственный по вопросам культуры и директор Немецкого института в Париже во время немецкой оккупации.

66

Монтерлан Анри де (1896–1972) — французский писатель; дабы иметь возможность публиковать свои произведения в оккупированной Франции, был готов к сотрудничеству с немцами. После войны писал драмы, исполненные духом христианства. Будучи почти слепым, покончил жизнь самоубийством.

67

Гаман Иоганн Георг (1730–1788) — немецкий философ, литератор и критик, оказавший влияние на писателей эпохи «бури и натиска».

68

Биас (VI в. до н. э.) — один из так называемых семи греческих мудрецов, автор знаменитой фразы «Все свое ношу с собой».

69

Кольбер Жан-Батист (1619–1683) — французский государственный деятель, министр при Людовике XIV.

70

Лотреамон (наст, имя и фамилия — Дюкас Исидор Люсьен, 1847–1870) — поэт и писатель, уроженец Уругвая, в 1860 г. переехавший во Францию; в 20-е годы XX в. сюрреалисты объявили его своим предшественником.

71

Керубини Луиджи (1760–1842) — итальянский композитор, с 80-х годов XVIII в. проживавший в Париже.

72

Кирико Джорджо де (1888–1978) — итальянский художник, предтеча сюрреализма.

73

Равальяк Франсуа (1578–1610) — католик-фанатик, убивший короля Генриха IV.

Бурже Поль (1852–1935) — французский писатель и критик.

75

Жоффр Жозеф Жак Сезар (1852–1931) — маршал Франции, в 1915 г. главнокомандующий французской армии, автор трудов по военному искусству.

Бош — бранное прозвище немцев во Франции.

77

Латрейе Пьер Андре (1762–1833) — французский энтомолог, отец современной энтомологии.

78

Ренан Жозеф Эрнст (1823–1892) — французский писатель, историк христианства.

79

Сестры Бронте — дочери ирландского священника и писателя Патрика Бронте (1777–1861): *Шарлотта* (1816–1855), *Эмилия* (1818–1848) *и Анна* (1820–1849). После обучения в пансионе для дочерей церковнослужащих обратились к литературе; под псевдонимами Currer, Ellis и Action Bell опубликовали произведения, в которых описали свои семейные горести и нужду.

80

Траз Робер де (1884–1951) — швейцарский франкоязычный писатель.

81

Тальман де Рео Гедеон (1619–1692) — французский историограф, автор «Анекдотов», в которых он живо рассказывает о людях и нравах своей эпохи.

82

Конрад Джозеф (наст, имя и фамилия — Юзеф Теодор Конрад Кожнёвский, 1857–1947) — английский писатель, поляк по происхождению, автор романов-притч о трагическом уделе человека и торжестве его духа, сломить который не под силу никаким испытаниям.

83

Шлегель Фридрих фон (1772–1829) — немецкий писатель и литературный критик; его философские идеи вдохновляли многих немецких писателей-романтиков.

84

Гентц Фридрих фон (1764–1832) — немецкий политик и философ-кантианец, поддерживал идею объединенной «свободной Европы», но в дальнейшем обратился к старым порядкам XVIII в.

85

Варнхаген Энзе Карл Август фон (1785–1858) — немецкий дипломат и писатель, биограф королей и военных деятелей того времени.

86

Платен Август (1796–1835) — граф, немецкий писатель и драматург.

87

Гримм Фридрих Мельхиор фон (1723–1807) — барон, немецкий критик, бóльшую часть жизни проживший во Франции. Издавал своего рода информационный бюллетень о жизни Парижа, имеющий огромное историческое значение. В 1812 г. все его заметки были собраны и выпущены под названием «Correspondance littéraire».

88

Де Квинси Томас (1785–1859) — английский писатель, постоянно принимал в качестве наркотика опиум; его опыт переживания «предельных» ситуаций оказался полезным для позднейшего мироощущения европейского декаданса.

89

Д’Аннунцио Габриэле (1863–1937) — итальянский писатель, воин и политический деятель, ярый сторонник фашистской идеологии.

90

Фонтане Теодор (1819–1898) — немецкий прозаик, автор романов из бюргерской жизни.

91

Кребийон Проспер Жолио де (1674–1762) — французский драматург, создатель трагедии ужасов и жестоких страстей.

92

Росси Джованни Батиста де (1822–1894) — итальянский археолог, открывший римские катакомбы и составивший их схемы.

93

Ум-эль-Банин (1905—?) — псевдоним французской писательницы, русской эмигрантки, азербайджанки из Баку, страстной почитательницы творчества Юнгера; известна своими мемуарами об Иване Бунине. Юнгер какое-то время жил в ее квартире на улице Лористон.

94

Вилье де Лиль-Адан (1838–1889) — французский поэт и прозаик.

95

Клейст Генрих фон (1777–1811) — немецкий писатель, поэт, драматург.

96

Лихтенберг Георг Кристоф (1742–1799) — немецкий писатель-просветитель, сатирик и юморист, профессор математики и естествознания Геттингенского университета.

97

Жан-Поль (наст, имя и фамилия — Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763–1825) — немецкий романист, сатирик, публицист и эстетик.

98

Штифтер Адальберт (1805–1868) — австрийский писатель, мастер психологических новелл и романов. Страдал неизлечимой болезнью, во время приступа покончил с собой.

99

Геббель Фридрих (1813–1863) — немецкий поэт, прозаик, драматург.

100

Дамьен Робер Франсуа (1715–1757) — маньяк, в 1757 г. совершивший покушение на Людовика XV с перочинным ножом; был казнен.

101

Суинберн Алджернон Чарлз (1837–1909) — крупнейший английский поэт, страстный республиканец и бунтарь, критиковавший все нормы викторианской морали; один из лучших пейзажистов в английской поэзии.

102

Буланже Жорж Эрнест (1837–1891) — французский генерал и политический деятель; принимал участие в разгроме Парижской коммуны, в 1885 г. командующий оккупационными войсками в Тунисе.

103

Шамфор Никола Себастьен де (1741–1794) — французский сочинитель и драматург, прославился заметками, написанными на клочках бумаги и опубликованными посмертно.

104

Элиаде Мирча (1907–1986) — румынский религиовед и писатель. В 1928 г. в одном из гималайских монастырей приобрел познания в практической йоге; преподавал в Бухаресте, Париже и США и там же опубликовал романы, эссе, научные труды, в том числе знаменитую, восстановленную им книгу о йоге. В 1939–1942 гг. руководил в Париже редакцией религиозного научного журнала «Залмоксис».

105

Генон Рене (1886–1951) — французский философ, автор комментариев к некоторым священным текстам.

106

Гернгутеры — религиозная община, основанная Николаем Цинцендорфом (1700–1760) в его поместье Гернгут; ее членам предписывался суровый, аскетический образ жизни.

107

Зауэрбрух Фердинанд (1875–1951) — знаменитый немецкий хирург; был лечащим врачом многих руководителей третьего рейха; участник движения Сопротивления.

108

Клейст Эвальд Людвиг фон (1881–1954) — военный деятель; его знакомство с Юнгером относится к 20-м годам, в то время Клейст служил в Ганноверском кавалерийском училище.

109

Жиро Анри (1879–1949) — французский генерал, в 1940 г. командующий войсками в Марокко; попал в плен и в 1942 г. бежал; в 1943 г. вместе с де Голлем состоял во главе Комитета национального освобождения.

110

Раабе Вильгельм (наст, имя и фамилия — Якоб Корвинус, 1831–1910) — немецкий поэт и романист.

111

Клаузевиц Карл (1780–1831) — немецкий военный историк и теоретик военного искусства.

112

Егер Оскар (1830–1910) — профессор Боннского университета, популяризатор исторических знаний.

113

«*Приключения Ласарильо с Тормеса*» — первое произведение из жанра испанского плутовского романа (1554, автор неизвестен).

114

Вейнингер Отто (1880–1903) — немецкий писатель, женоненавистник; покончил с собой сразу же после выхода своей знаменитой книги «Пол и характер».

115

Исидор Дюкас — настоящие имя и фамилия французского писателя Лотреамона, см. примеч. к с. 141.

116

Домье Оноре (1808–1879) — французский живописец, скульптор и рисовальщик, самый известный карикатурист XIX в.

117

Тёрнер Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) — английский художник-пейзажист, опередивший свою эпоху; стремился освободиться от конкретного предмета изображения и считал, что основой живописи является цвет.

118

Виланд Кристоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель, поэт, пропагандист идей просветительства.

119

Реверди Пьер (1889–1960) — французский поэт-сюрреалист.

120

Башкирцева Мария (1860—1884) — русская художница и писательница, особо прославившаяся своим «Дневником», переведенным на многие языки.

121

Берар Кристиан (1902–1949) — французский живописец и декоратор, исполнил декорации к нескольким спектаклям и фильмам Жана Кокто.

122

«*Кровь поэта*» — первый фильм Жана Кокто (1930), построен как чередование алогичных поэтических образов.

123

Клингер Фридрих Максимилиан (1752–1834) — немецкий писатель и драматург эпохи «бури и натиска».

Бюхнер Георг (1813–1837) — немецкий драматург.

125

Пу Сунлин (1640–1715) — знаменитый китайский писатель, автор одной из самых популярных книг в Китае «Рассказы Ляо Чжая о чудесах», которую часто сравнивают с «Декамероном» Боккаччо.

126

Лорансен Мари (1885–1959) — французская художница и поэтесса, публиковавшая свои стихи под псевдонимом Луиза Лаллан.

127

Баадер Франц Ксавьер фон (1765–1841) — немецкий католический писатель и философ.

128

Этингер Фридрих Кристиан (1702–1782) — швабский теолог, лютеранский церковный деятель и мистик.

129

Залманов Александр (Абрам) Соломонович (1875–1965) — русский врач, получивший три врачебных диплома — в России, Германии и Италии, а также обладавший обширными знаниями в юридических науках, литературе и философии. В 1918 г. начальник Главного курортного управления и председатель Комиссии по борьбе с туберкулезом. В 20-х годах переехал в Германию, где работал в самых знаменитых клиниках, а затем — во Францию. Создатель собственной теории, ядром которой является изучение организма на основе системы кровеносных капилляров. Автор книги «Тайная мудрость человеческого организма», переведенной на многие языки.

130

Жироду Жан (1882–1944) — французский писатель и драматург, один из создателей «интеллектуальной» драмы; долгое время служил в Министерстве иностранных дел.

131

Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) — английский писатель и талантливый живописец.

132

Вашингтон Ирвинг (1783–1859) — американский писатель-романтик.

133

Папаша Шенди — имеется в виду Тристрам Шенди, герой романа *Лоуренса Стерна* (1759–1767) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

134

Дело Дрейфуса — нашумевшее судебное дело по несправедливому обвинению в измене родине и шпионажу в пользу Германии капитана французского Генштаба *Альфреда Дрейфуса* (1859–1935), еврея, ставшее предметом ожесточенной борьбы между реакционерами и демократами во Франции в 90-х годах XIX в.

135

Саломон Эрнст фон (1902–1972) — немецкий публицист.

136

Вулф Томас Клейтон (1900–1938) — американский писатель и драматург.

137

Боннар Абель (1883–1968) — французский литератор, министр образования в правительстве Виши; в 1945 г. бежал в Испанию, был заочно приговорен к смерти и исключен из Французской академии; в 1958 г. вернулся на родину.

138

Баррес Морис (1862–1923) — писатель и публицист, проповедовавший доктрину силы и военной диктатуры.

139

Моррас Шарль (1868–1952) — французский поэт, публицист, критик; был обвинен в сотрудничестве с гитлеровцами и приговорен к пожизненному заключению.

140

Георге Стефан (1868–1933) — немецкий поэт, близкий мироощущению декаданса; после прихода Гитлера к власти эмигрировал в Швейцарию; его поэзия почиталась участниками июльского заговора 1944 г.

141

Рошфор Анри (1830–1913) — французский журналист, памфлетист. После поражения Коммуны был сослан в Новую Каледонию, по возвращении перешел в лагерь реакции.

142

Деффан Мари де Виши-Шарон (1697–1780) и *Жоффрен Мари-Тереза Роде* (1699–1777) — хозяйки литературных салонов, где собирались энциклопедисты.

143

Най Эрнст Вильгельм (1902–1968) — один из крупнейших представителей немецкой живописной школы, близкий абстрактному экспрессионизму.

144

Деверия Эжен (1805–1865) — французский живописец, славившийся как организатор костюмированных балов.

145

Гроций Гуго (1583–1645) — нидерландский ученый, поэт, политик и гуманист, автор знаменитой «Истории готов, вандалов и лангобардов» (1637).

146

Бекман Макс (1884–1950) — немецкий живописец; во время первой мировой войны служил санитаром, с 1915 г. вел класс живописи в Штеделевской художественной школе, но в 1933 г. под давлением нацистов оставил эту должность и в 1937 г. переехал а Амстердам.

147

Князь Линь — подразумевается *Линь Карл Жозеф де* (1735–1814), бельгийский военный деятель, фельдмаршал, в 1788 г. отказавшийся возглавить бельгийское восстание против австрийского владычества.

148

Беккер Бальтазар (1634–1698) — голландский богослов-протестант.

149

Цезарь Бирото — герой романа О. де Бальзака «История величия и падения Цезаря Бирото» (1837), лавочник-парфюмер.

150

Мериан Маттеус (1593–1650) — швейцарский художник и гравер, знаменитый своей «Топографией», содержащей любопытные виды важнейших городов Европы.

151

Людендорф Эрих (1865–1937) — военный деятель, чья деятельность на протяжении ряда лет (1914–1918) была тесно связана с П. фон Гинденбургом. Их отношения ухудшились после того, как в 1925 г. Людендорф выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.

152

Мольтке Хельмут Карл Бернгардт (1800–1891) — прусский фельдмаршал, победитель Франции в войне 1870–1878 гг., в результате которой Эльзас перешел к Германии.

153

Бёме Якоб (1575–1624) — немецкий философ-самоучка, сапожник по профессии; создал свою натурфилософсистему, содержащую зачатки диалектики, и изложил ее на языке библейских и мистических символов.

154

«*Озорные годы*» — роман немецкого писателя Жан-Поля.

155

Энсор Джеймс (1860–1949) — бельгийский художник, писатель и композитор, чье творчество проникнуто мистицизмом.

156

Гамбетта Леон (1838–1882) — французский государственный деятель, республиканец; играл выдающуюся роль в организации обороны во время франко-прусской войны в 1870–1871 гг.

157

Деа Марсель (1894–1955) — французский политический деятель и публицист.

Дю Канж Шарль (1610–1688) — французский филолог, автор монументального словаря средневековой латыни.

159

Тьери Молнье (1909–1988) — французский писатель и публицист.

160

Лиотей Луи Юбер (1854–1934) — маршал Франции, в 1912 г. создавший в Марокко французский протекторат. В молодости завсегдатай литературных салонов, друживший со многими писателями.

161

Жанен Жюль (1804–1874) — французский писатель-романтик, критик и журналист.

162

Жомини Генрих (1779–1869) — швейцарский барон; с 1804 по 1812 г. служил во французской армии, в 1813 г. перешел на русскую службу и даже состоял в штабе Александра I.

163

Хаксли Олдос (1894–1963) — английский писатель, внук знаменитого биолога Томаса Хаксли (Гекели); его антиутопия «О дивный новый мир» положила начало произведениям, изображающим духовную опустошенность поколения после первой мировой войны.

164

Боннар Пьер (1867–1947) — французский живописец, представитель постимпрессионизма; формировал свое искусство под влиянием Поля Гогена, а также японских гравюр; считается одним из создателей современного плаката.

165

Лёнс Германн (1866–1914) — немецкий писатель; в августе 1914 г. добровольцем отправился на фронт и через два месяца погиб во время боев на Марне. По лексическому богатству, свободе в оценке событий военный дневник Лёнса можно сравнить с дневниками самого Юнгера.

166

Верне Клод Жозеф (1714–1789) — французский пейзажист, в чьих картинах доминируют стихийные бедствия, бури, кораблекрушения, что предвосхищало романтические настроения в искусстве.

167

Гюден Жан Антуан Теодор (1802–1880) — знаменитый в свое время французский художник, посвятивший себя изображению моря, кораблей и морских сражений.

168

Жилль Андре — французский художник, творчество которого в настоящее время почти забыто; но в Париже до сих пор остался кабачок, обязанный Жиллю своим именем: «Lapin agile»: Là peint A. Gill («Ловкий кролик», после двоеточия в омонимичном варианте оно означает «Здесь рисует А. Жилль»).

169

Беллини Винченцо (1801–1835) — итальянский композитор.

170

Приап — в античной мифологии божество производительных сил природы; наиболее распространенный иконографический тип — старичок с фаллообразной головой, одной рукой поддерживающий полу или корзину с овощами или фруктами, а другой — фаллос.

171

Меллен де Сен-Желе (1487–1558) — французский поэт, хранитель библиотеки в Фонтенбло. Автор стихов, блещущих остроумием, зачастую сдобренных непристойностью.

172

Гюнтер Иоганн Кристиан (1695–1723) — первый так называемый субъективный поэт Германии, гениальная, но лишенная всяких нравственных устоев, почти душевно больная натура.

173

Бауэр Бруно (1809–1882) — немецкий историк и преподаватель теологии, лишенный кафедры за критику Библии; в дальнейшем социалист.

174

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий ученый, публицист, поэт и философ-моралист; придворный проповедник при веймарском дворе.

175

Брак Жорж (1882–1963) — французский живописец, один из основателей кубизма. Сам термин «кубизм» был произведен от выражения, употребленного одним из критиков, назвавшим работы Брака «кубическими странностями». В 1961 г. стал первым художником, при жизни удостоенным выставки в Лувре.

176

Стриндберг Юхан Август (1849–1912) — шведский писатель-публицист и драматург.

177

Таможенник Руссо — прозвище *Руссо Анри Жюльена* (1844–1910), французского художника-примитивиста. Его картина «Война, или скачка раздора» в настоящее время находится в музее д'Орсе в Париже.

178

Ангел Силезский (наст, имя — Йоханнес Шефлер, 1624–1677) — немецкий поэт и мистик, член монашеского ордена францисканцев. Особенно известен как автор книги замечательных религиозно-поэтических афоризмов «Херувимский странник», блестяще переведенных на русский язык Н. О. Гучинской.

179

Тракль Георг (1887–1914) — австрийский поэт; в 1914 г. был призван на фронт санитаром; не выдержав зрелища безмерных человеческих страданий, отравился.

180

Донати Бальтазар (? —1603) — итальянский композитор, капельмейстер в Венеции.

181

Ален-Фурнье (наст, имя — Анри Фурнье, 1886–1914) — французский поэт и писатель, автор лишь одного романа «Большой Мольн» (1913), получившего мировое признание; во время первой мировой войны погиб.

182

Беллармин Роберто (1542–1621) — знаменитый итальянский богослов, автор еврейской грамматики.

183

Валла Лоренцо (1405/07–1457) — итальянский гуманист.

184

Мэнсфилд Кэтрин (наст, имя — Кэтлин Бошан, 1888–1923) — английская писательница новозеландского происхождения, автор нескольких сборников коротких рассказов.

185

Дегерри Гаспар (1797–1871) — французский аббат, приобрел большую известность как проповедник; в 1871 г. по распоряжению Коммуны был арестован и расстрелян.

186

Пеллико Сильвио (1789–1854) — итальянский писатель, поэт и политический деятель, борец за освобождение Италии от австрийского владычества; много лет сидел в австрийских тюрьмах, там же написал книгу «Мои темницы».

187

Мирабо Оноре Габриель Рикетти (1749–1791) — граф, политический деятель во времена французской революции.

188

Пуанкаре Реймон (1860–1934) — французский политический деятель, в 1912–1913 гг. премьер-министр, в 1913–1920 гг. президент Французской республики.

189

Гриммельсгаузен Ганс Якоб Кристоф (1621–1676) — немецкий писатель, в первую очередь известный как создатель замечательного произведения «Симплициссимус», написанного в традициях плутовского и героико-галантного романа.

190

Пепис Самюэль (1633–1703) — английский моряк, в дальнейшем секретарь адмиралтейства; автор уникального дневника, написанного методом стенографии, в котором дана неприкрашенная картина деятельности морской администрации, а также придворная жизнь той эпохи.

191

Милле Жан Франсуа (1814–1875) — знаменитый французский художник-реалист, живописец деревенского быта.

192

Граббе Кристиан Дитрих (1801–1836) — немецкий драматург, один из создателей национального немецкого театра.

193

Леото Поль (1872–1956) — французский писатель; симпатизировал Германии и ратовал за союз с нею. В 1978 г. Юнгер перевел на немецкий язык воспоминания Леото об отце.

194

Полан Жан (1884–1968) — французский писатель, критик и эссеист; участник движения Сопротивления, к концу 40-х годов занявший примиренческую позицию по отношению к коллаборационистам.

195

Лоуренс Томас Эдвард (Лоуренс Аравийский, 1888–1935) — английский разведчик, в основном известный своей деятельностью на Востоке.

196

Мармонтель Жан Франсуа (1723–1799) — французский писатель, поэт, автор либретто для многих опер и опереток.

197

Лаваль Пьер (1883–1945) — французский политический деятель, министр, а затем премьер-министр в правительстве Виши; был казнен как государственный изменник.

198

Шарнхорст Герхард Иоганн (1755–1813) — прусский генерал и военный реформатор.

199

Валлес Жюль (1832–1885) — французский писатель, журналист, политический деятель, участник Парижской коммуны.

200

Фрагонар Жан Оноре (1732–1806) — выдающийся художник французского рококо.

201

Ватто Антуан (1684–1721) — выдающийся французский художник, мастер «галантных» празднеств.

202

…*как солдаты Кортеса в «ночь печали»* — «noche triste», как называли ее испанцы; имеется в виду ночь, когда ацтеки разбили войско Кортеса при его попытке вырваться из столицы Мексики Теночтитлана.

203

Штауфенберг Клаус Мария фон (1907–1944) — граф, военный деятель, с июля 1944 г. начальник штаба армии резерва; один из руководителей июльского заговора; вместе с Хефтеном прибыл на совещание в Растенбург и заложил там бомбу; после провала был расстрелян.

204

Клюге Ганс Гюнтер фон (1882–1944) — генерал-фельдмаршал, с июля 1944 г. командующий группы армий на Западе; присоединился к группе заговорщиков, планировавших убийство Гитлера, но после провала заговора поспешил направить ему верноподданническое письмо, но все-таки был выдан; покончил жизнь самоубийством.

205

Лемберг — название г. Львова, когда он входил в состав Австро-Венгерской монархии.

206

Арлан Марсель (1899–1986) — французский критик и новеллист, автор нескольких сборников рассказов.

207

Хольтиц Дитрих фон (1894–1966) — генерал пехоты, с начала августа 1944 г. командующий вермахтом в районе Большого Парижа; с приходом американских войск капитулировал, был взят в плен и в 1947 г. освобожден.

208

Банвиль Теодор де (1823–1891) — французский поэт, прозаик, драматург и критик, член группы поэтов парнасцев.

209

Пиранези Джованни Батиста (1720–1778) — итальянский рисовальщик и гравер.

210

Мишле Карл Людвиг (наст, фамилия — Михелет, 1801–1893) — немецкий философ, ученик Гегеля.

211

Графф Антон (1736–1813) — немецкий придворный портретист и рисовальщик.

212

Бренн — предводитель галльских племен, в 390 г. до Р. Х. разрушивший Рим.

213

Штукен Эдуард (1865–1936) — немецкий поэт, в чьем творчестве была главной религиозно-мифологическая тематика.

214

Дросте-Хюльсхоф Анетта (1797–1848) — баронесса, выдающаяся немецкая поэтесса; участница кружка ценителей старины, помогавшая братьям Гримм собирать народные сказки.